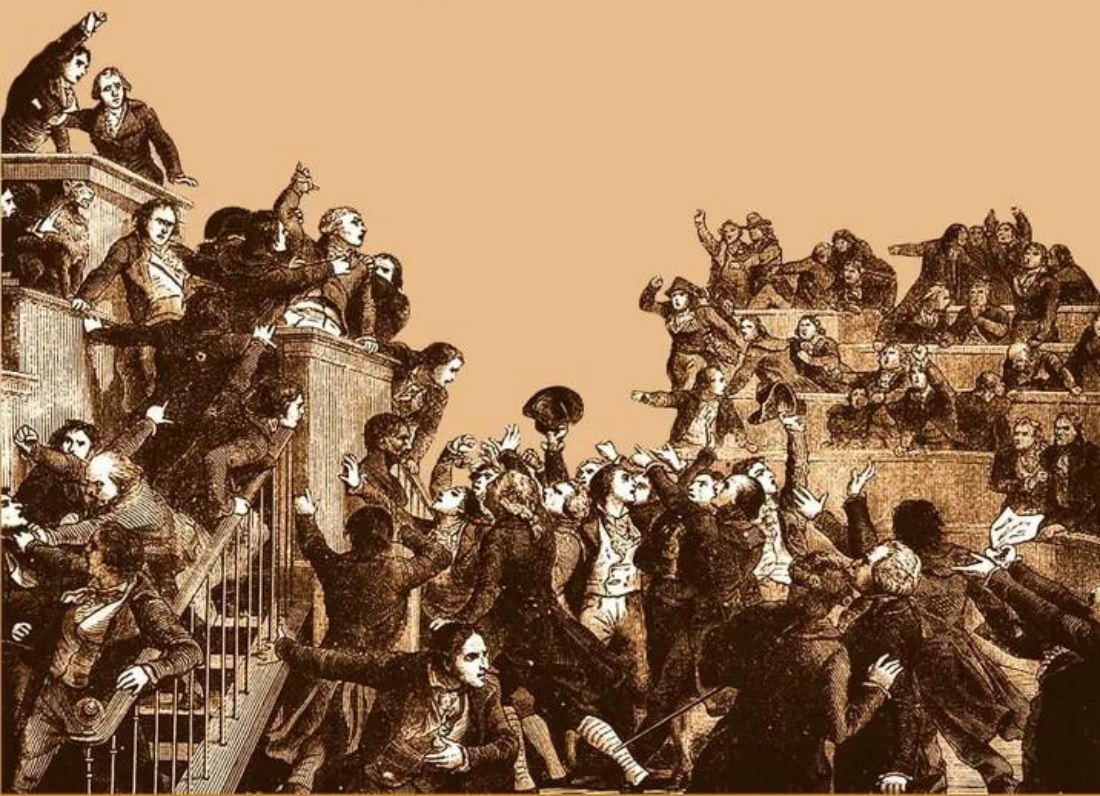


Н.И. Кареев

ВОСЕМНАДЦАТЫЙ ВЕК
И ФРАНЦУЗСКАЯ
РЕВОЛЮЦИЯ



ИСТОРИЯ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ
В НОВОЕ ВРЕМЯ



**АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ПРОЕКТ**

В общем предисловии к настоящему труду, помещенному в первой его части, выяснены происхождение, характер и цель всего труда. В настоящей книге изложена западноевропейская история между 1715 и 1799 гг., хотя эти общие рамки не помешали автору, с одной стороны, включить в изложение кое-что и из более ранних эпох, а с другой — в изложении истории некоторых стран остановиться и раньше 1799 г., до которого, собственно говоря, доведена только история Франции. Этого требовал общий план настоящего издания, а вместе с тем и план дальнейшего изображения западноевропейской истории в XIX в., дать которое читателю автор не теряет надежды. Подобно тому как в предыдущей книге на первый план были выдвинуты Германия (в XVI в.) и Англия (в XVII в.), так в настоящем издании самое большое место отведено Франции. В истории XIX в. придется уже более равномерно распределить изложение между Англией, Германией, Италией и Францией, как это, впрочем, уже было сделано в первой книге. Читатель заметит еще, что чем ближе к современности подвигается изложение, тем оно становится полнее и подробнее и тем более делается указаний на историческую литературу. Того же принципа автор намерен держаться и в истории Новейшего времени.

24 февраля 1892 г.

7 марта 1893 г. Н. К.

Н.И. Кареев

ИСТОРИЯ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ В НОВОЕ ВРЕМЯ

Развитие культурных и социальных
отношений

ВОСЕМНАДЦАТЫЙ ВЕК
И ФРАНЦУЗСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

«Гаудеамус»
Москва, 2015

«Академический проект»
Москва, 2015

УДК 94(100)''05/...''
ББК 63.3(0)4/6
К22

*Издано при финансовой поддержке Федерального
агентства по печати и массовым коммуникациям
в рамках Федеральной целевой программы
«Культура России (2012–2018 годы)»*

Кареев Н.И.
К 22 История Западной Европы в Новое время. Развитие культурных и социальных отношений. Восемнадцатый век и Французская революция. — М.: Академический проект; Гаудеамус, 2015. — 603 с. — (История Европы: эпохи).

ISBN 978-5-8291-1873-0 (Академический проект)

ISBN 978-5-98426-150-0 (Гаудеамус)

Данный том посвящен интереснейшему периоду истории Европы — эпохе Просвещения. Кареев так характеризует эту эпоху: «В середине XVII в. реформационный период кончается, и наступает новый период западноевропейской истории, характеризующийся господством на материке абсолютной монархии, период от Вестфальского мира до начала Французской революции, т. е. от 1648 до 1789 г., но подобно тому, как Реформация XVI в., начиная новый исторический период, находится вместе с тем в центре эпохи, первая половина которой была временем ее подготовки и ее предшественников, а вторая — временем ее развития и обнаружения ее следствий, так и Французская революция, с которой начинается новейшая история Западной Европы, может быть рассматриваема как событие, к которому сходятся и от которого расходятся все главные явления предыдущей и последующей истории».

Книга может быть рекомендована как историкам-профессионалам, так и всем, кто интересуется историей Европы.

УДК 94(100)''05/...''
ББК 63.3(0) 4/6

ISBN 978-5-8291-1873-0
ISBN 978-5-98426-150-0

© Составление, оригинал-макет, оформление.
«Академический проект», 2015
© «Гаудеамус», 2015

ВСТУПЛЕНИЕ

I. Изучение истории XVIII в.

Значение Реформации и революции в новой западноевропейской истории.—Главные явления истории XVIII в. — Общие обработки истории XVIII в. — Историография Просвещения. — Незаработанность истории просвещенного абсолютизма. — Общий взгляд на литературу по истории Французской революции. — Главные вопросы при изучении эпохи. — Основные элементы ее движений. — Государственное и личное начала в истории Нового времени. — Политическая свобода и социальная борьба.

История Западной Европы в Новое время может быть разделена на два больших отдела по двум, так сказать, центральным эпохам, сообщающим то или другое значение каждому из этих двух отделов в целом культурно-социального развития европейских народов в последние века. Первенствующее место в первом отделе принадлежит религиозной Реформации XVI в. со всеми культурными и социальными, церковными и политическими движениями, которые ей предшествовали, ее вызвали, ее сопровождали и осложняли, за нею последовали и из нее вытекали. В середине XVII в. реформационный период кончается, и наступает новый период западноевропейской истории, характеризующейся господством на материке абсолютной монархии, период от Вестфальского мира до начала Французской революции, т. е. от 1648 до 1789 г., но подобно тому, как Реформация XVI в., начиная новый исторический период, находится вместе с тем в центре эпохи, первая половина которой была временем ее подготовки и ее предшественников, а вторая — временем ее развития и обнаружения ее следствий, так и Французская революция, с которой начинается новейшая история Западной Европы, может быть рассматриваема как событие, к которому сходятся и от которого расходятся все главные явления предыдущей и последующей истории. Мы имеем право идти и далее в этом сравнении: в конце XVIII в. Западная Европа вступила в столь же бурную эпоху, как и в начале XVI столетия, но как тогда общественные движения совершались под знаменем религиозных идей, еще ранее высказывавшихся в литературе, так и движениям, начавшимся в конце XVIII в., предшествовала эпоха работы культурной мысли, направленной на вопросы философские, моральные и политические. Это явление и составляет одну из характерных особенностей XVIII столетия, века Просвещения (*siècle des lumieres*, *Zeitalter der Aufklärung*) или философского века,

как его еще называют. Новое культурное направление, соединившее в себе результаты гуманизма и протестантизма, унаследовавшее свободомыслие и светский характер первого и усвоившее заключающиеся во втором элементы религиозной и политической свободы¹, в середине XVIII в. овладело до известной степени абсолютными монархами и их советниками, что породило характерное явление «просвещенного абсолютизма», или «просветительного деспотизма», как его еще называют, характеризующего целые полстолетия перед началом Французской революции (1740–1789). Как в реформационный период церковные преобразования совершались двояким путем, т. е. или сверху, путем действия государственной власти, или, наоборот, снизу, в силу народного движения, так и в это время государственных и общественных реформ последние предпринимались либо по инициативе правительств («просвещенный абсолютизм»), либо были, напротив того, результатом общественного движения (революция), причем «просвещенные деспоты» являлись как бы предшественниками революции, поскольку они и революционные деятели ставили себе одни и те же задачи и исходили из одних и тех же идей. Таким образом, *главными явлениями культурно-социальной истории XVIII в. нужно считать Просвещение, «просвещенный абсолютизм» и Французскую революцию*².

Подобно тому, как изложению реформационного периода мы предположили общее вступление с указанием на историческую литературу, так и теперь, переходя к XVIII столетию, мы сделаем краткий очерк изучения исторической наукой как всего XVIII в. в целом, так и трех вышеуказанных явлений, оставив пока в стороне сочинения менее общего характера, чтобы сделать на них указания в соответственных местах.

Само собою разумеется, истории XVIII в. отводится почетное место в больших всемирных историях Шлоссера, Беккера и Вебера, равно как в коллективной *Allgemeine Weltgeschichte*, в которой новая история обработана Филиппсоном, посвятившим XVIII в. большой том, далее в сочинениях по философии истории и по истории культуры³, но до сих пор нет отдельного цельного труда по этой эпохе, который мог бы заменить знаменитую «Историю XVIII столетия и девятнадцатого до падения французской империи» Шлоссера, существующую и в русском переводе (в восьми томах), но уже устарелую, т. к. этот труд был закончен еще в первой половине истекающего столетия. После Шлоссера уже никто не брался за та-

¹ См.: *Кареев Н.И.* История Западной Европы в Новое время. Развитие культурных и социальных отношений. Реформация и политическая жизнь в XVI и XVII вв. М.: Академический проект, 2015. Гл. XX (о принципах протестантизма). — *Прим. ред.*

² Здесь и далее курсив в тексте принадлежит Н.И. Карееву. Все примечания редактора настоящего тома обозначены соответствующим образом. — *Прим. ред.*

³ Во «Всеобщей истории» Георга Вебера, существующей в русском переводе, XVIII в. занимает около трети 12-го тома (1700–1740) и весь 13-й.

кую задачу¹. Зато весьма обширна разработка истории отдельных стран, эпох и культурно-социальных явлений в XVIII в., в особенности же по истории самого главного явления — Французской революции с ее причинами и умственным движением, ее подготовившим. К сожалению, нельзя того же сказать об эпохе «просвещенного абсолютизма», по которой нет ни одного цельного сочинения.

Просвещение XVIII в., подобно Возрождению в начале Нового времени, было явлением, имевшим главное значение в духовной жизни известной части европейского общества и потому выражалось преимущественно в литературных произведениях эпохи, употребляя термин в самом широком смысле. Поэтому факты, относящиеся к истории Просвещения, находят место обыкновенно в историях литературы и культуры, в историях философии, моральных доктрин, политических учений, социальных наук, экономических воззрений². Наиболее удачной попыткой дать общий обзор умственного движения XVIII в. (с исхода предыдущего столетия) нужно признать «Историю всеобщей литературы XVIII века» Геттнера, переведенную на русский язык, но, как и история Шлоссера, успевшую уже устареть в некоторых отделах. С точки зрения общей истории, наибольшую важность представляет собой второй том этого труда, посвященный французской литературе³. Далее могут быть названы здесь такие сочинения, как «Философия XVIII в. и христианство» (La philosophie du XVIII siècle et le christianisme) Лорана, «История английского деизма» (Geschichte des englischen Deismus) Лехлера, «История моральных и политических идей во Франции в XVIII в.» (Histoire des idées morales et politiques en France au XVIII siècle) Барни, «Церковь и философия XVIII в.» (L'église et la philosophie du XVIII s.) Ланфре, «Восемнадцатый век» (Le dix-huitième siècle) Фаре, «Революционный дух до революции» (L'esprit révolutionnaire avant la révolution) Рокена, «Общественный дух в XVIII в.» (L'esprit public au XVIII siècle) Обертена, «Германия в XVIII в.» (Deutschland im XVIII J.) Бидермана⁴, «История литературы в XVIII столетии» (History of the literature of the eighteenth century) Госса, «История рационализма в Европе» Лекки, «История общественного движения в XVIII столетии» (Historia ruchu społecznego w XVIII stuleciu) Лимановского,

¹ Europäische Geschichte im XVIII Jahrhundert Карла Нордена доведена в трех томах едва до 1711 г. и на этом остановилась за смертью автора. Vorlesungen aus der Geschichte des XVIII Jahrhunderts Франке есть не что иное, как собрание читанных автором публичных лекций, не представляющее ничего цельного.

² На русском языке по истории литературы см. изд. Корша и Кирпичникова, по истории философии Льюиса, Ланге («История материализма»), Ибервега и др., по истории политических учений книгу Чичерина, по истории экономических учений см. ниже в гл. XVI.

³ Кроме того, см.: Hallam. Introduction to the literature of Europe in the XVI, XVII and XVIII centuries.

⁴ Собственно вторая часть труда, озаглавленная Deutschlands geistige, sittliche und gesellschaftliche Zustände im XVIII Jahrhundert. Отделы о «просвещениях» в разных странах есть еще в книге Онкена «Das Zeitalter Friedrichs des Grossen» (в издаваемой им коллекции).

«История английской мысли в XVIII веке» (History of english thought in the XVIII-th century) Стефена, далее целый ряд монографий об отдельных писателях, которые будут указаны в своем месте, наконец, отделы таких сочинений по истории Французской революции, каковы Луи Блана, Тэна, Сореля, посвященные обзорам философских и социальных идей предшествующей эпохи. Все эти сочинения с разных сторон и в разной мере освещают это замечательное время в умственной истории западноевропейского общества. По своему светскому характеру и общему критицизму Просвещение XVIII в. было как бы вторым Ренессансом, от которого оно отделяется эпохой Реформации с преобладанием религиозных интересов и теологического мышления, но вместе с этим оно восприняло из английского реформационного движения те религиозные и политические идеи, которые породили целую литературу деизма и рассуждений об источнике и пределах государственной власти. То, что называется «философией XVIII века», собственно говоря, как и гуманизм, есть явление общекультурное, а не специально-философское, вследствие чего, например, историки философии отводят обыкновенно очень мало места, если только вообще отводят, таким писателям, как Вольтер, Монтескье, Руссо, Дидро, Мабли, тогда как историк культурно-социального развит по их непосредственному отношению к современной им общественной жизни, по их прямому влиянию на умственное движение эпохи, наоборот, выдвигает их на первый план предпочтительно перед философами-специалистами. Просвещение XVIII в. касалось вопросов личной морали и социальной жизни, тех самых, которые занимали — с весьма близких к их воззрениям точек зрения — гуманистов, но с тем различием, что просветители были гораздо более, нежели гуманисты, заняты общественными вопросами, более обнаруживали социальный идеализм и стремление к политическому переустройству, и что присущий и им индивидуализм получал у них более практический характер. Отсюда — развитие в XVIII в. политического мышления, подвергавшего во имя известных принципов критике современное государство и общество, отсюда же — и более широкая постановка всех относящихся сюда вопросов, благодаря чему возникает целая новая область социального знания — политическая экономия. Гуманизму не удалось овладеть общественным движением: последнее пошло под религиозным знаменем церковной Реформации, с которой у Просвещения есть одна общая черта, это — тот элемент глубокой и искренней веры, в данном случае веры в человеческий разум, в лучшее будущее, которой прониклись наиболее видные представители движения. Сила гуманизма была в области мысли¹, сила протестантизма — в области чувства и воли, и Просвещение XVIII в. как бы сочетало в себе характерные признаки обоих культур-

¹ Т. I, гл. XXXIII (см.: *Кареев Н. И.* История Западной Европы в Новое время. Развитие культурных и социальных отношений. Переход от Средних веков к Новому времени. М.: Академический проект, 2015. — *Прим. ред.*).

ных явлений. Поэтому оно могло овладеть историческим движением, поставив государству новые задачи и обществу новые цели или придав новый характер старым задачам и целям. Как в XVI в. королевская Реформация отличалась от народной¹, так и в XVIII в. существовала большая разница в применении в жизни новых идей государями и подданными, но тем не менее нужно признать, что у «просвещенного абсолютизма» и революции было много общего, вследствие чего оба явления можно подвести под одно общее понятие преобразовательного движения XVIII в. под знаменем общественных идей этого столетия.

К сожалению, нельзя, как было уже сказано, назвать исторический труд, который был бы посвящен специально рассмотрению «просвещенного абсолютизма» как явления, имеющего свою, если позволено так выразиться, довольно определенную физиономию и характеризующего целую эпоху в истории Европы. Дело вообще в том, что в разные времена абсолютизм принимает разный характер в зависимости от общих исторических течений: в эпоху католической реакции он был вероисповедным абсолютизмом испанских и австрийских Габсбургов; борьба с аристократией при Ришелье сообщила тогдашнему французскому абсолютизму характер по преимуществу антифеодальный, но при Людовике XIV и его преемниках он мог бы, пожалуй, называться придворным, как прусский — военно-хозяйственным. Так и во второй половине XVIII в. абсолютизм получает совершенно особенный характер, благодаря воздействию на него просветительных идей века, и столько же отличается, например, от вероисповедного абсолютизма Филиппа II Испанского или императора Фердинанда II, сколько и от реакционного абсолютизма, время которого настало главным образом после Венского конгресса, скорее сходяствуя с антифеодальным абсолютизмом Ришелье и революционным — Наполеона I, хотя и сохраняя некоторые общие черты, характеризующие внутреннюю политику и всех Габсбургов, и всех Бурбонов, и Бонапарта. Есть действительно известные признаки, позволяющие нам рассматривать внутреннюю политику абсолютных монархий в «век Фридриха II», этого «короля-философа», как совокупность однородных явлений, проникнутых некоторыми общими принципами, общими у них и с Просвещением XVIII в., и с Французской революцией, и этими-то явлениями характеризуется в разных странах одна и та же историческая эпоха. Ее поэтому весьма удобно было бы сделать предметом особого исследования, поставив вопросы о том, что в указанной политике было наследием и продолжением старого и что нового привнесло в нее культурное движение века, в каком отношении старое стояло к новому, абсолютизм — к Просвещению, какими принципами

¹ Т. II, гл. XVII—XVIII (см.: *Кареев Н.И.* История Западной Европы в Новое время. Развитие культурных и социальных отношений. Реформация и политическая жизнь в XVI и XVII вв. М.: Академический проект, 2015. — *Прим. ред.*).

и интересами руководились преобразователи, как понимали они свои задачи, при каких условиях действовали, каких результатов достигали. Между тем не только не существует работ, специально посвященных «просвещенному абсолютизму» как явлению, о котором можно говорить с таким же правом, с каким мы говорим о католицизме, феодализме, гуманизме, Реформации, революции и т. п., но и самое понятие о нем нельзя считать прочно установившимся в исторической науке, хотя оно и довольно употребительно: во многих исторических трудах, где было бы у места обозначать этим словом совокупность известных явлений, мы, наоборот, этого термина не находим, а в других сочинениях употребление его отличается некоторой произвольностью и неопределенностью.

Ввиду отсутствия исторических трудов, специально посвященных предмету, с ним приходится знакомиться по сочинениям, имеющим к нему то или другое, более близкое или более отдаленное отношение. Во-первых, такими книгами являются всеобщие истории, когда в них отводятся особые отделы для «преобразовательных попыток государей и министров»¹, тогда как в других подобных трудах (например, у Шлоссера) внутренняя политика представителей «просвещенного абсолютизма» даже не рассматривается в одном месте, а разбросана по разным главам, так что, например, о внутренней деятельности Фридриха II говорится в пяти местах, а Иосифа II — в шести. Из новейших сочинений следует здесь отметить «Век Фридриха II» (*Das Zeitalter Friedrichs des Grossen*) Онкена (в его коллекции), книгу, хотя и посвященную преимущественно дипломатической и военной истории, но заключающую в себе главы, которые касаются нашего предмета (*Despotismus und Aufklärung, Der reformirende Despotismus*). Но особенно близок к надлежащей постановке предмета первый том недавно переведенной и по-русски книги Сореля «Европа и Французская революция» (*L'Europe et la revolution française*), о которой сказано ниже. Затем могут быть указаны соответственные отделы в историях отдельных стран, где производились реформы государственной властью, отдельных царствований и т. п.

Неизмеримо богаче литература по истории Французской революции. К сожалению, до сих пор нет еще полной историографии этого предмета, потому что все существующие в таком роде работы очень кратки, хотя и они могут быть рекомендованы для желающего несколько ориентироваться в предмете². Историю Французской революции начали писать еще не-

¹ Так в «Курсе» Г. Вебера (перевод Е. и В. Коршей, IV, 28—65). В большой «Всеобщей истории» Вебера есть глава «Общественная жизнь под влиянием идей Просвещения». Но весьма часто для этого нет особого отдела (*Зеворт*. История Нового времени, I, 481, 530).

² *Janet P. Philosophie de la revolution française*. Статья К.К. Арсеньева, приложенная к русскому переводу «Истории Французской революции» Минье. Краткий обзор литературы, сделанный в IV томе (с. 122—143) «Лекций по всеобщей истории» Петрова (с дополнениями

которые ее современники, но настоящее историческое к ней отношение сделалось возможным лишь на некотором отдалении. Главнейшие труды по эпохе принадлежат, конечно, французам, но каждый из них для того, чтобы быть вполне понятным и надлежащим образом оцененным, должен быть рассматриваем в связи с характером времени, когда его труд появился, и в зависимости от политических воззрений автора. Оставляя характеристику главных воззрений на революцию до другого места, мы назовем здесь главные труды с указанием на время их появления и на их направление. В эпоху реставрации Бурбонов, именно в двадцатых годах вышли в свет две истории Французской революции, одна больших размеров — Тьера, другая — меньших Минье (обе переведены по-русски), написанные с точки зрения тогдашней либеральной оппозиции в защиту революции. Эта оппозиция достигла своих целей, благодаря Июльской революции (1830), но июльская монархия вызвала против себя демократическую и социалистическую оппозиции, нашедшие выражение в больших трудах по истории революции — Мишле и Луи-Блана¹, из которых один был именно написан с точки зрения демократической, другой — с социалистической, и оба стали появляться отдельными томами незадолго до Февральской революции (1848). После государственного переворота, совершенного Наполеоном III, появились труды Кине (*La révolution*) и Токвиля «Старый порядок и революция» (*L'ancien régime et la révolution*), переведенные и по-русски. Последнее сочинение начинается собою совершенно новый период в изучении Французской революции. Токвиль связал историю этого события с предыдущей историей Франции, доказывая, что первая была не разрывом со второй, а естественным ее продолжением, и с этого времени особенно стал изучаться «старый порядок». Кине и Токвиль дополняют друг друга, т. к. один выдвигает на первый план роль идеи равенства в истории революции, а другой — роль идеи свободы, но оба сравнительно с предыдущими историками более беспристрастны. Впрочем, их книги не суть истории в тесном смысле, ибо Токвиль написал только введение к неоконченному труду, а Кине — философский обзор. Последними крупными явлениями в историографии Французской революции были «Происхождение современной Франции» (*Les origines de la France contemporaine*) Тэна и «Европа и Французская революция» (*L'Europe et la révolution française*) Сореля; труд Тэна, первый том которого, посвященный «старому порядку», переведен по-русски, несмотря на выдающийся талант автора, страдает крупным недостатком — односторонним и пристрастным отношением к изображаемой эпохе: в нем мало обращено внимания на социологическую сторону истории и выдвигается на первый план то, что можно

проф. В.П. Бузескула). Ср. мою статью «Новейшие труды по истории Французской революции» (Истор. обозрение, т. I). О Тэне есть статьи проф. В.И. Герье (Вестн. Евр., 1878, 89 и 90).

¹ Первый том переведен. Это обширное историко-философское введение.

назвать патологическими явлениями эпохи. Сорель, напротив, отличается вполне научным беспристрастием. Этот автор поставил себе целью сделать для всей Европы то, что Токвиль сделал для Франции, т. е. установить связь потрясения, испытанного всей Европой в конце прошлого и в начале нынешнего столетия, с предыдущей историей Европы, и показать, что и тут был не разрыв, а продолжение. Попытку рассмотреть всю европейскую историю в революционную эпоху сделал еще раньше (в пятидесятых годах) немецкий историк Зибель в своей переведенной и на русский язык «Истории революционного времени» (*Geschichte der Revolutionszeit*), но Сорель исполнил свою задачу гораздо лучше, дав предмету более широкую постановку и отнесшись к событиям и без того национального пристрастия, которым проникнут труд Зибеля¹. Книга Токвиля, первый том труда Тэна и первый же том сочинения Сореля могут быть рассматриваемы как три наиболее подходящие книги для изучения «старого порядка» во Франции (а книга Сореля и для остальной Европы, причем она дает понятие и о «просвещенном абсолютизме»). Для первоначального знакомства с эпохой могут служить или отмеченное сочинение Минье, или немецкая, переведенная и по-русски, книга Гейсера «История Французской революции» (*Geschichte der französischen Revolution*), представляющая из себя университетский курс². Этим, разумеется, не исчерпывается все главное, что написано по истории Французской революции, т. к. и помимо трудов, не охватывающих всей эпохи, биографий и т. п. (на что делаются указания в соответственных местах), есть и цельные труды, не вошедшие в только что сделанный обзор³.

Французская революция не была явлением местным, и в ее универсальности заключается все ее значение: например, сочинения Зибеля и Сореля прямо и берут ее как событие общеевропейское. В этом отношении для времени после 1789 г. во всей Западной Европе она сделалась тем же, чем была для других стран немецкая Реформация XVI в. Если мы соединим с революционными движениями и с реформами, шедшими снизу, «просвещенный абсолютизм» и преобразования, шедшие сверху, то будем

¹ Ср. мое предисловие к русскому переводу книги Сореля.

² Таким образом на русский язык переведены книги Минье, Тьера, Луи-Блана (I том), Токвиля, Тэна (I том), Сореля (будет переведено все), Зибеля и Гейсера. Кроме того, был переведен первый том «Истории Французской революции» Карлейля. Существующая на русском языке «История Французской революции» Бертолотти — плохая компиляция.

³ Ср. библиографический указатель в моей книге «Крестьяне и крестьянский вопрос во Франции в последней четверти XVIII в.» (*Кареев Н.И.* Крестьяне и крестьянский вопрос во Франции в последней четверти XVIII века. М.: Тип. М.Н. Лаврова и Ко, и А.И. Мамонтова, 1879. — *Прим. ред.*). См.: *Chassin*. Le génie de la révolution; *Champion*. Esprit de la révolution française; *Laterrière*. Histoire des principes, des institutions et des lois pendant la révolution française; *Laurent*. Études sur l'hist. de l'humanité (т. XIII—XV); *Oncken*. Das Zeitalter der Revolution, des Kaiserreiches und der Betreuungskriege; *Rambaud*. Histoire de la révolution; *Idem*. Hist. de la civilisation contemporaine; *Richter*. Staats- und Gesellschaftsrecht der französischen Revolution и др.

в состоянии воспользоваться теми общими вопросами, которые ставили для реформационного периода. *Состояние отдельных стран* в эту эпоху было далеко не одинаково, а потому, как в эпоху Реформации, ход последней в разных странах был различный в зависимости от местных условий, так и преобразовательное движение XVIII столетия проявлялось различным образом у отдельных народов¹. За вопросом о состоянии страны, в которой совершались политические и общественные преобразования, следует вопрос о том, *кому принадлежала их инициатива и кто ими воспользовался*. С этой точки зрения особенно важное значение принадлежало в тех случаях, когда движение шло снизу, третьему сословию, история которого поэтому имеет ближайшее отношение к истории революции. Мы знаем, далее, что реформационное движение на Западе совершалось *в разные моменты* (в Германии в двадцатых и тридцатых годах, во Франции в пятидесятых и шестидесятых годах XVI в.), но и Французская революция была только первым моментом в истории движения, охватившего всю Западную Европу, особенно при Наполеоне I и после Наполеона, когда началась такая же реакция против этого движения, какая возникла и против Реформации; и как с середины XVI в. началась борьба католицизма с протестантизмом, определившая даже характер международной политики, так падение Наполеона открыло эпоху, в которой главным историческим содержанием было столкновение реакции с либерализмом. Наконец, в истории Реформации большую роль играет *характер учения, принятого той или другой страной, и учений, параллельно с ними развивавшихся*, чем определяется и историческое значение тех или других личностей. И здесь было то же, самое, и направления «просвещенного абсолютизма» (Вольтер), конституционного монархизма (Монтескье), республиканизма (Руссо), либерализма (Монтескье), радикализма (Руссо) и т. п. сменяли одно другое и одно с другим перекрещивались. Вопросы об инициативе реформ и об их результатах, равно как о моменте движения относятся уже к самой истории этих последних, но и она может быть понятна только по рассмотрении «*старых порядков*», которыми определялось состояние отдельных стран, и по ознакомлении с *новыми идеями*, под знаменем которых пошло движение. Как реформационный период европейской истории не может быть хорошо понят без обзора политического, социального, религиозного и культурного состояния, вызвавшего реформационное движение со всеми его осложнениями², так и понять историю политических и социальных преобразований более близкого к нам времени нельзя без ознакомления с культурно-социальным состоянием Европы перед началом новой критической эпохи.

¹ Одно из достоинств книги Сореля состоит в том, что в ней разработана эта сторона дела.

² Первая книга нашего труда имеет характер введения в новую историю вообще и в частности в реформационный период.

В обоих случаях — и в XVI, и в XVIII в. — политический вопрос играл важную роль, но в обоих же случаях он осложнялся элементами нравственным и экономическим, причем первый касался религии и церкви, второй — гражданских прав и социального строя. Религиозный, политический и социальный элементы обнаруживаются нами в реформационном движении, но таким образом, что религиозный доминирует над социальным, тогда как к эпохе нового движения социальный стал доминировать над религиозным. Гуманизм выставил идею земного благополучия, но его крайне индивидуалистический характер обуславливал то, что благополучие на земле мыслилось, как личное, добываемое индивидуумом для себя и своими личными средствами, тогда как в Новейшее время выставлен был идеал общественного благополучия, осуществляемого реформами, на которые указывает моральный принцип справедливости. Но как бы ни распределялись моральные и экономические причины, стремления и следствия эпохи государственных и общественных преобразований, не следует забывать, что и тут, как и в реформационную эпоху, они действовали, проявлялись и осуществлялись таким образом, что весьма легко впасть в ту или другую односторонность, выдвигая на первый план лишь одну категорию фактов. Односторонним будет и то идеалистическое представление революции, как какого-то потока из недр народной жизни, одушевившейся высокими идеями равенства и свободы, какое мы находим особенно у Мишле, но не менее односторонняя и та материалистическая концепция, какую мы встречаем у Тэна, будто весь исторический смысл движения заключался в «переходе собственности». С последней точки зрения пытались объяснить и Реформацию, действительно дающую к тому повод сопровождавшей ее секуляризацией, но из того, что в дело замешаны были материальные интересы, еще не следует, чтобы тут не оказывали действия и идеальные принципы.

Изложению реформационного периода мы предпослали анализ движения, давшего это имя периоду, чтобы установить такую общую точку зрения на предмет, при которой наименее можно было бы подвергнуться опасности впасть в односторонность. То же самое мы должны сделать теперь и для нового периода, историю которого нам предстоит изучать.

История Нового времени характеризуется на западе Европы развитием двух начал — государственного и личного — и в обоих случаях насчет начал церковного и сословного, господствовавших в средневековой культурно-социальной системе католицизма и феодализма, но сами индивидуализм и государственность весьма часто приходили в столкновение между собою, т. к. их стремления очень нередко оказывались противоположными. Поэтому в главных культурно-социальных процессах Нового времени мы наблюдаем, во-первых, борьбу государства со средневековыми католико-феодальными началами, борьбу с ними же со стороны личности и историей взаимоотношений между личностью и государством.

В Средние века государственный принцип отрицался и церковью, когда она стремилась господствовать над государством, ставя себя выше верховной власти в отдельных странах, отрицался также и землевладельческим сословием, которое смотрело на верховную власть, как на право, связанное с землевладением. Государство росло и крепло в борьбе с католицизмом и феодализмом. Реформация освободила половину государств Западной Европы от церковной опеки, но в католических странах в эпоху реакции между обеими сторонами был заключен союз, установлен известный *modus vivendi*, который не всегда был выгоден для государства. Поэтому с падением реакционного направления в политике, с возникновением направления просветительного старая борьба должна была возобновиться, что и произошло во второй половине XVIII в., когда католические правительства задумали церковными реформами своими установить новые отношения в этой области, причем как те реформы, которые производились абсолютными монархами, так и те, которые были предприняты впоследствии деятелями революции, имеют много общего между собою, главным образом в стремлении поставить церковь под контроль государства и даже в зависимое по отношению к нему положение. С другой стороны, государство Нового времени, победив политический феодализм, не тронуло феодализма социального, оставив существовать сословные привилегии и господство дворянства над сельским населением, но и в привилегиях этих, и в этом господстве для государства были невыгодные стороны, и вот в середине XVIII в. государственная власть впервые начинает накладывать руку на привилегии и вмешиваться в отношения, созданные социальным феодализмом, откуда целый ряд мер, направленных к ограничению дворянских прав и к улучшению быта крестьян: «просвещенный абсолютизм» начинает подкапываться под социальный феодализм, революция ему наносит смертельный удар. Нивелируя общество, оба направления строят государство на развалинах местной обособленности, нивелируя и провинции в самой страшной централизации: и в этом отношении, как и в других, только что указанных (в церковном и сословном), революция лишь довершала то, что было начато вообще абсолютизмом и в особенности производилось «абсолютизмом просвещенным» под влиянием одних и тех же идей. Мало того, среди деятелей революции можно указать на партию, которая, подобно представителям абсолютизма, начиная еще с Ришелье, ставила выше всего государственный принцип, хотя она и воображала, что действует во имя свободы: это были якобинцы.

Параллельно с государственностью развивается и личное начало. Впервые с особой силой проявляется оно в Новое время в гуманизме и протестантизме, в которых ранее всего и были заявлены индивидуалистические принципы и зародились требования личной свободы, преимущественно в религиозной сфере. Права над личностью, принадлежавшие в

Средние века церкви и оставшиеся за ней в католических странах, перенесли на себя в странах протестантских государство, которое стало, как и государство католическое, действовавшее в союзе с церковью, требовать от подданных исповедания той или другой веры. В эпоху «просвещенного абсолютизма» государство отказывается от такого права во имя идеи веротерпимости, но та же идея руководить и деятелями первого периода революции, пока борьба с католическим духовенством и старые привычки государства, предписывавшего веру своим подданным, не увлекли вождей движения на путь религиозных преследований. Индивидуализм Нового времени, кроме того, выдвигал идею личного права, которое в эпоху «просвещенного абсолютизма» и революции рассматривалось как право естественное, приращенное личности, но такому принципу противоречили сословные привилегии, стеснения личной свободы, вытекавшие из феодальных отношений, зависимость крестьян от сеньоров, крепостничество. Интересы государства сходились здесь с требованиями индивидуализма, и «просвещенный абсолютизм» начал ту освободительную работу, которую в больших размерах совершала потом Французская революция.

Но находясь в борьбе с католико-феодальными началами, принципы государственности и индивидуализма и сами могли находиться в противоречии между собою. Это противоречие с особенною силою проявилось, когда реформационное движение создало, с одной стороны, государственные церкви, требовавшие подчинения себе со стороны подданных, а с другой — личные верования, опиравшиеся на принцип свободы совести. Правда, государство могло терпеть иноверие по политическим соображениям и, так сказать, из милости, но этим еще не утверждалось право индивидуальной совести на свободу, которое считалось бы неотъемлемым правом индивидуума, не подлежащим нарушению со стороны государства. Эта свобода совести была лишь одною из тех свобод (*libertés*), которые вообще стали требоваться во имя индивидуального начала, и этим особенно характеризуется первый период революции, тогда как во втором личной свободе, наоборот, наносился удар во имя государственной необходимости (правильно ли, или неправильно понятой, другой вопрос). Но и «просвещенный абсолютизм» в известных границах, особенно в области теоретического мышления и даже в области обнародования своих мыслей, был более благоприятен личной свободе, чем предыдущие режимы, хотя в практических сферах жизни отличался стремлением к опеке над индивидуальной деятельностью, особенно в области промышленности, где равным образом XVIII в. был заявлен принцип свободы — в том *laisser passer, laisser faire*¹, который был протестом против ограничений, налагавшихся

¹ «Пусть все идет, как идет» (*фр.*) — один из базовых принципов экономической теории физиократов (сторонников свободной торговли, естественного порядка в хозяйственной жизни общества). В таком виде эта идея была выражена в одном из выступлений известного

на личную самостоятельность во имя неверно понятого общественного интереса¹. Во всяком случае определение отношений между личностью и государством, как теоретическое (в литературе), так и практическое (в законодательстве и действиях правительства), играло видную роль в истории этой эпохи.

В связи со всем этим стоят другие важные явления эпохи, одно — политического, другое — социального характера.

При феодальном устройстве, когда верховная власть разделялась между крупными землевладельцами, государство, так сказать, растворялось в обществе, и рост нового государства заключался именно в том, что оно не только получало независимую от землевладения основу и нивелировало общество, но и в том, что лишало его самостоятельности, подчиняя своему исключительному ведению все, что раньше делалось общественными силами. В эпоху «просвещенного абсолютизма» государство в этом отношении достигает кульминационного пункта, но и общество начинает стремиться к самостоятельному участию в государственной жизни. В реформационную эпоху на Западе шла, как известно, борьба между королевской властью и сословно-представительными учреждениями, а в кальвинистской и индепендентской литературе проводилась идея народовластия. Англия в XVII в. отстояла свою политическую свободу, и в следующем веке ее конституция сделалась для Франции образцом, по которому и последняя стала перестраивать свой государственный быт, с чего и начинается конституционное движение Новейшего времени, в котором известную роль играла и идея народовластия. Сама абсолютная монархия подготовила своей нивелировкой сословий демократический характер этого движения, но если сословность, выросшая на почве «социального феодализма», пала, то индустриальное развитие Нового времени в связи с деятельностью государства, оказывавшего покровительство крупной промышленности и торговле (меркантилизм), создало общественный класс (буржуазию), который в экономическом отношении возвышался над массой, делаясь и культурным слоем общества, занимая, однако, приниженное положение в государстве вследствие существования обидных и тягостных для этого класса аристократических привилегий. Если некоторые из них были невыгодны для государства (изъятие из налогов) и противоречили идее о естественном равенстве людей, то особенно они неприятны были третьему сословию, которое чувствовало свое значение и стремилось занять в государстве более

французского экономиста Винсена де Гурнэ (1712 — 1759), имевшего в виду, что для развития ремесел и торговли правительству не следует слишком часто вмешиваться в сферу предпринимательства. — *Прим. ред.*

¹ Понятное дело, современное учение о вмешательстве государства в экономическую жизнь во имя ограждения интересов большинства имеет мало общего с тем опеканием промышленной деятельности, которое характеризует «старый порядок».

соответственное этому значению место: это сословие и сделалось тем социальным классом, в котором были особенно сильны идеи свободы и равенства. «Старый порядок» был, собственно говоря, соединением политического абсолютизма и социальных привилегий, а ставшие в оппозицию к нему общественные элементы начали проникаться демократическими идеями народовластия и гражданского равенства. Под это знамя встали и низшие классы общества, т. к. в политическом отношении их интересы сходились, хотя эти классы и особенно сельское население тяготились не столько существовавшим государственным строем, сколько остатками социального феодализма. По отношению к аристократии буржуазия и народ имели общие интересы, но уже в эпоху революции обнаружилось и здесь расхождение интересов, сделавшееся особенно сильным уже в XIX в. Подобно тому, как в реформационный период совершались народные движения с социальным характером, так и теперь повторилось то же самое, но вместо идей религиозных играли здесь роль знамени идеи политические, пока уже в XIX в. не стало вырабатываться и теоретическое направление, соответствующее уже чисто социальному движению.

Основные явления эпохи могли комбинироваться между собою различным образом, могли выдвигаться на первый план или отступать на задний, одни — более в одно время, другие — в другое, но между ними была тесная связь в той идее нового государства и общества, которая разрабатывалась «философией» XVIII в. Весьма естественно, что самая сложность этих отношений должна была породить односторонние суждения об эпохе ввиду того, что последняя действительно может рассматриваться с разных сторон; мы это и видим в посвященной эпохе исторической литературе, в которой отдельными сочинениями выдвигается на первый план отношение движения или к религии и церкви (например, у Лорана), или к индивидуальной и политической свободе, или к гражданскому равенству, или к борьбе общественных классов (например, у Луи Блана). Каждая из таких точек зрения имеет *raison d'être*¹, но было бы в высшей степени односторонне смотреть на целую эпоху с таким сложным и разнообразным содержанием лишь с одной какой-либо точки зрения, когда само содержание это требует именно принятия в расчет разных жизненных отношений, затронутых движением эпохи².

¹ Разумный смысл, право на существование (*фр.*). — *Прим. ред.*

² Литература по отдельным вопросам будет указана в соответственных местах, равно как и история отдельных стран. Внутренняя история Польши в XVIII в., которой нами посвящено отдельное сочинение («Польские реформы XVIII века»), и история ее падения, об историографии которого нами написана книга «Падение Польши в исторической литературе», не входят в настоящий том, а потому отмечаем эти две работы, где можно найти (равно как и в польской истории Бобржинского) указания на относящиеся к предмету сочинения.

Старые государственные
и общественные порядки

II. Сущность «старых порядков»¹

Общее понятие об «ancien régime». — Сущность дореволюционных порядков. — Историческое происхождение социальных привилегий и главное их содержание. — Оппозиция против привилегии в XVIII в. — Роль буржуазии в этой оппозиции. — Аристократический характер старых учреждений. — Стремление к общественным реформам и к политической свободе при «старом порядке». — Отсутствие свободы в политическом быту XVIII в. — Противоречие между господствующими идеями и господствующими порядками. — Внутреннее разложение «старых порядков». — Значение французской истории XVIII в.

В современной исторической литературе прочно установился и получил весьма определенное значение термин «ancien régime» (обыкновенно переводимый по-русски словами: «старый порядок»), под которым разумеется вся совокупность политических и социальных отношений дореволюционной Франции. Это понятие «старого порядка» или лучше — «старых порядков» мы имеем право распространить на аналогичные явления, представляемые нам внутренней жизнью и других народов в XVIII в., ибо существенные их черты мы наблюдаем не в одной Франции. Несмотря на разнообразие местных условий, придававших истории каждой отдельной страны своеобразней характер, все государства Западной Европы шли в своем историческом развитии и по некоторым общим путям, оказывая, кроме того, влияние одни на другие, вследствие чего в их внутреннем быту и мы находим много аналогичного. «Старые порядки», существовавшие в дореволюционной Франции, были более или менее общи ей с другими странами европейского материка потому, что они были результатом длинного исторического процесса, основные элементы которого были одни и те же повсеместно и только комбинировались различным образом в разных странах. Сущность указанного процесса заключалась в том, что в со-

¹ Кроме сочинений Токвиля, Тэна и Сореля, указанных выше, хороший компендиум истории внутренних отношений во Франции за последние полтора столетия перед революцией представляет собой второй том книги А.Д. Градовского. Внутренняя история других стран с точки зрения противоположности между современным обществом и «старыми порядками» разработана не так обстоятельно, как французская. Для Германии особенно важны труды Hanser'a (Deutschland nach dem dreissigjährigen Kriege), Perthes'a (Das deutsche Staatsleben vor der Revolution), Biedermann'a (Deutschlands geistige, sittliche und gesellige Zustände im XVIII Jahrhundert) и др., по-русски статьи проф. А.С. Травецкого «Германия накануне революций в «Вестн. Евр.» за 1875 г. Из общих очерков разложения старой Польши отмечу Введение в «Последние годы Речи Посполитой» Н.И. Костомарова, книжку von der Briiggen'a «Polens Auflösung», а также и свой «Исторический очерк польского сейма». По мере надобности более подробные указания даются ниже.

словном обществе, возникшем на феодальной почве, образовалось государство, господствующей формой которого сделалась абсолютная монархия: как мы еще увидим, «старые порядки» главным образом и могут быть поняты как соединение социального феодализма Средних веков с абсолютной монархией Нового времени. Хотя, употребляя термин «ancien régime», имеют в виду обыкновенно эпоху, непосредственно предшествующую Великой революции, в сущности им следует обозначать вообще тот политический и общественный строй, который, с одной стороны, сменил собою более старые формы политического и социального быта, а с другой — сам начал разрушаться в революционную эпоху, чтобы уступить место современному режиму (régime moderne), основывающемуся уже на иных началах, чем те принципы, на каких покоился дореволюционный быт. Самое определение «старого порядка» должно вытекать из сравнения его с тем, что ему предшествовало, и с тем, что за ним последовало. С последнего начать гораздо удобнее, потому что самое понятие, обозначаемое словами «ancien régime», образовалось путем сопоставления дореволюционных порядков с теми, которые стали господствовать в XIX в. под влиянием Французской революции, в свою очередь стремившейся провести в жизнь известные политические и социальные принципы, несогласные с принципами «старого порядка».

В самом деле, если мы прежде всего поставим вопрос о том, какие основные идеи руководили историческим движением, ведущим свое начало из 1789 г., то увидим, что это были идеи свободы и равенства, составляющие и существенное содержание той литературной проповеди новых начал общественной жизни, которая представляет собой одну из существенных сторон философского Просвещения прошлого века: эти два принципа противопоставлялись ей существовавшим тогда фактическим отношениям; эти два принципа сделались лозунгом оппозиционного движения, подготовившего взрыв 1789 г., легли в основу преобразовательной деятельности, поставившей своей целью создание нового общества и государства, и наконец стали осуществляться в политических и социальных формах Новейшего времени, в той политической свободе и том гражданском равенстве, развитием которых характеризуется история Западной Европы в XIX в. Сравнивая эти формы с теми, которые господствовали в прошлом столетии, мы и видим главное отличие новых порядков от старых в том, что последние были отрицанием тех самых принципов, которые легли в основу современных государственных и общественных порядков европейского Запада. С этой точки зрения «старые порядки» сводятся к отсутствию политической свободы и гражданского равенства, и, действительно, они были — и по тому, чем являлись на деле, и по происхождению своему — не чем иным, как *соединением политического абсолютизма с социальными привилегиями*. В самом деле, хотя абсолютная монархия и не была исключи-

тельной государственной формой, существовавшей на Западе перед революцией, тем не менее главные страны континента и многочисленные мелкие княжества были по своей форме абсолютными монархиями, так что преобладание принадлежало несомненным образом королевскому абсолютизму над всеми другими родами правительств, на какие можно указать в тогдашней Европе. С другой стороны, везде общество имело сословный строй, т. е. делилось на разные классы, подчинявшиеся — в своих отношениях как к государству, так и между собою — разным законам, поставленные одни над другими в иерархическом порядке и разделявшиеся на привилегированные и непривилегированные, часто даже лишенные всяких прав, причем в наиболее выгодном положении находилось по отношению к государству, занимало первенствующее положение в обществе, пользовалось самыми важными привилегиями и даже прямо господствовало над самой значительной частью населения, т. е. над крестьянами — дворянство, к которому в католических странах нужно причислить и высший клир. Государство «старого порядка» всей своей силой охраняло и поддерживало этот общественный строй, и между абсолютным королем, с одной стороны, и светской и духовной аристократией, с другой, существовал своего рода тесный союз, наилучшим выражением которого был столь развитой в XVIII в. придворный быт, соединявший на одной общей почве короля с его привилегированными подданными. Такое понимание сущности «старого порядка» как соединения абсолютной монархии с аристократическими привилегиями находит подтверждение и в рассмотрении сущности исторического процесса, приведшего Западную Европу к указанному положению. Разрушение политического феодализма и утверждение абсолютной монархии на развалинах монархии сословно-представительной с существовавшими в ней политическими правами отдельных «чинов» государства сопровождалось сохранением феодализма социального и тех привилегий, которыми сословия пользовались в гражданском быту, т. е. *в то время, как государство принимало форму абсолютной монархии, общество продолжало сохранять свой феодальный характер*, и в результате должны были получиться те политические и социальные отношения, которые составляют сущность «старого порядка». Королевская власть на Западе в своей борьбе с феодализмом односторонне понимала предстоявшую ей историческую задачу: разрушая феодализм политический, она не только не считала в своих интересах налагать руку на феодализм социальный, но даже видела в сохранении его, равно как и вообще в привилегированном положении дворянства, — средство заставить это сословие забыть утрату политических прав, вознаградить его за эту утрату, сделать из него главную свою опору: отсюда долговременное невмешательство королевской власти во взаимные отношения дворянства и крестьянства, в которых главным образом и сохранялся в своей неприкосно-

венности социальный феодализм; отсюда же и дворянские привилегии не платить государственных налогов, исключительно занимать известные военные и гражданские должности и т. п.; отсюда же стремление привлечь дворянство ко двору, где оно было бы всегда на виду, приучалось бы смотреть на короля как на единственный источник всяких благ и, проживая свои доходы, восполняло бы недостаток в средствах постоянными и временными выдачами из королевской шкатулки. Каждый политический порядок обыкновенно тесно соединен с социальным преобладанием какого-либо общественного класса, хотя бы последний и не пользовался непосредственно властью. Таким классом в XVIII в. было именно дворянство, хотя в эту эпоху оно не имело ни суверенной власти, как это было во времена политического феодализма, ни того политического значения, какое принадлежало ему в сословно-представительной монархии: за ним, кроме привилегий, ведших свое начало главным образом из феодальных отношений, было еще влиятельное положение в государстве, как сословия, постоянно окружавшего государей при тогдашнем развитии придворной жизни, занимавшего высшие должности в государстве (и в католических странах и в церкви), сильного своими местными отношениями по принадлежавшим ему землям и т. д. Абсолютная монархия нашла уже готовой, вполне сложившейся эту специальную силу и вступила с ней в союз, поскольку последняя не мешала собственному ее развитию, так что дореволюционный абсолютизм был далек от того демократического цезаризма, с каким мы имеем дело, например, в новейшей истории Франции.

Характеризуя старые государственные и общественные порядки как соединение политического абсолютизма с социальными привилегиями, мы должны видеть наступление эпохи их господства в том историческом моменте, когда в феодальном обществе утвердилась абсолютная монархия. Из двух составных элементов «старого порядка» один был гораздо старше другого, и именно *социальные привилегии были много древнее политического абсолютизма*, ибо они ведут свое начало с очень давних времен. В самом деле, различая в средневековом феодализме стороны политическую и социальную, мы находим, что первая из них не только раньше пала, но и возникла-то позже, т. к. основные черты второй существовали еще во времена Римской империи¹: сколько ни переменялось на Западе после падения этой империи политических режимов (варварские королевства, империя Каролингов, феодализм, сословно-представительная монархия, королевский абсолютизм), все эти государственные перемены, принимая от них ту или другую окраску, *переживал социальный строй, основанный на гражданском неравенстве, т. е. на неодинаковости юридического положения*

¹ См. т. I, гл. IV (имеется в виду: *Кареев Н.И.* История Западной Европы в Новое время. Развитие культурных и социальных отношений. Переход от Средних веков к Новому времени. М.: Академический проект, 2015. — *Прим. ред.*).

отдельных слоев общества. И в Средние века, и в Новое время европейское общество делилось по своим правам на отдельные сословия, причем на верху социальной лестницы стояли привилегированные и власть имущие представители крупного землевладения, а внизу — бесправное или неполноправное, в той или другой форме подвластное им крестьянство, середину же занимали лишенные привилегий, но вместе с тем и ни от кого не зависимые люди, составлявшие преимущественно городское население. В XVIII в. сохранялись в полной силе существенные черты этого социального строя: его элементами были — привилегированное дворянство, мещанство (*bourgeoisie Bürgerthum*) с сильно по сравнению с ним урезанными правами и крестьянство, находившееся в зависимости от дворян и даже бывшее во многих случаях еще в крепостном состоянии. Но именно в XVIII в. этому строю приходит конец. Социальная история европейского Запада с исхода Средних веков состояла, между прочим, в медленном и постепенном, но все более и более упрочивавшемся процессе высвобождения народной массы из-под власти феодального дворянства, особенно в росте того среднего сословия, которое образовалось в городах и экономически окрепло на занятиях промышленностью и торговлей: это сословие с самого начала явилось главным антагонистом землевладельческой аристократии и шло впереди остальной народной массы в борьбе с социальным феодализмом¹. В эпоху крушения «старого порядка» среднее сословие, за которым упрочилось название буржуазии, и составило главную социальную силу, игравшую роль в событиях: в нем же наибольшим успехом пользовались учения XVIII в., говорившие о гражданском равенстве.

Каждый политический порядок не только различным образом опирается на отдельные общественные интересы, но и различным образом им служит. Государство старого порядка имело такое устройство, как будто бы главным его назначением было служить интересам привилегированных сословий, в то самое время, когда не только развились и распространились более высокие представления о государстве, но и сложился общественный класс, пользовавшийся материальным благосостоянием, достигший значительной умственной культурности, сознавший свою социальную силу: для него старый государственный строй, поддерживавший и охранявший аристократические привилегии, ставивший дворянство в исключительно выгодное положение, как бы особенно служивший интересам этого сословия, мог быть только предметом критики и нерасположения. При тесной связи, существующей между социальными отношениями и другими внешними формами народного быта, всякие перемены в последних, будут ли они касаться, например, церкви или государства, всегда получают — и по своим причинам, и по следствиям своим — известное социальное значе-

¹ См. т. I, гл. V.

ние. Изучая эпоху религиозной Реформации, мы видим, что с разнообразными причинами, заставлявшими целые нации и государства, равно как и отдельные лица, быть недовольными средневековой церковью, действовало заодно и то нерасположение, с каким относились разные классы светского общества к духовенству как к сословию, пользовавшемуся особыми преимуществами, привилегиями и правами, которые в тех или других отношениях были неприятны, обидны, тяжелы для других общественных классов. Благодаря этому стремление к реформе церкви соединялось с желанием дать и духовенству иное положение в государстве и обществе, отняв у него земельные владения, судебные права и другие привилегии; особенно же деятельным антагонистом клира была светская аристократия, более всего и выигравшая материально от секуляризации церковной собственности¹. Средневековая церковь наиболее благоприятствовала социальной мощи одного общественного класса — класса своих служителей, и потому в эпоху движения, поставившего своей задачей реформировать эту церковь, главным объектом социальной борьбы, сопровождавшей религиозное движение и шедшей тогда под его знаменем, было духовенство. В Новое время церковь должна была уступить свое первенство государству, но это государство получило такие формы, что главные выгоды от его существования выпадали на долю феодального дворянства, совершенно так же, как прежде старые церковные учреждения служили преимущественно интересам духовенства. После реформационной эпохи, когда началось на Западе новое историческое движение с определенным общественным содержанием, вопрос о преобразовании государства сделался таким же жгучим вопросом, каким был в прежние времена вопрос о церковной реформе, и подобно тому, как раньше главным объектом социальной борьбы было духовенство, так теперь в подобной же роли явилась феодальная аристократия. Аналогия идет и далее. Хотя средневековый клир и вызывал против себя оппозицию со стороны разных классов общества, но настоящее социальное соперничество у него могло быть только с дворянством, что и отразилось потом на судьбе церковного землевладения в протестантских странах. Совершенно так же и дворянство, привилегиями которого крестьяне должны были тяготиться гораздо более, чем буржуазия, в этой последней именно и встретило главного своего соперника. Другими словами, в социальной истории реформационной эпохи преимущественное внимание обращает на себя тот антагонизм, в какой светский землевладельческий класс стал к землевладельческому классу духовному, тогда как социальной подкладкой политических движений, начавшихся в 1789 г., был антагонизм социального класса, в основе которого лежало движимое имущество (капитал), по отношению к сословию, главная экономическая

¹ Обо всем этом см. в обеих предыдущих книгах.

сила которого заключалась в недвижимой собственности¹. Так как социальный феодализм тяготел и над народом, и т. к. буржуазия и народ в политической смысле составляли одно целое (*tiers état* во Франции), то весьма естественно, что оппозиция буржуазии против «старого порядка» получила демократический характер.

Само собой разумеется, что положение дворянства в отдельных странах было далеко неодинаково, но при всем разнообразии отношений была одна общая черта, делавшая из дворянства главный правящий класс во всей континентальной Европе XVIII в., как ни разнообразились ее политические формы. Страной, где дворянство было действительно всем, где крестьянин находился в самой безусловной от него зависимости, где мещанин стал в социальном смысле почти ничем, была польско-литовская шляхетская республика, в которой одному этому сословию принадлежали полные права гражданства и ему же одному (с духовенством) — вся поземельная собственность. Речь Посполитая являлась одним из тех государств, в которых не было абсолютной королевской власти, а политическая свобода, — плохо притом организованная, — проявлялась здесь в строго аристократической форме, ибо одна только шляхта пользовалась политическими правами. Аристократический характер имела и политическая свобода в Швеции, дворянство которой одно время безусловно господствовало над страной. Старые республики, как федеративные (Голландия, Швейцария), так и унитарные (Венеция, Генуя, вольные города), равным образом были весьма далеки от демократического устройства. Там, где еще сохранялись сословные чины (большей частью провинциальные), на них преобладание принадлежало также привилегированным. С другой стороны, широкая власть помещика над крепостным населением его земли, с особой силой развивавшаяся в имениях польской шляхты и во владениях немецкого имперского рыцарства, существовала и там, где дворянин был подданным абсолютного короля или имперского князя (в Германии). Где существовало крепостное право (а оно существовало в большей части континентальной Европы), там дворянство видело в своей власти над сельским населением главную свою привилегию, которой особенно дорожило; когда, например, перед частью польской шляхты явилась дилемма — или лишиться политической свободы, сохранив власть над своими холопами, но перешедши в подданство соседних держав, или отстаивать политическую независимость хотя бы с риском лишиться крепостных, очень многие паны предпочитали сделаться подданными абсо-

¹ На социальную сторону Французской революции как борьбы аристократии и буржуазии указывали уже давно, но особенно резко подчеркнул эту сторону Луи Блан, перенесши в ту эпоху и борьбу пролетариата с буржуазией своего времени. В виде образчика объяснения всех главных событий эпохи с такой точки зрения можно указать на небольшую книжку К. Kautsky «Die Klassengegensätze von 1789».

лютных монархов при обеспечении за собой прав над крестьянами. Где, наконец, уже не было настоящего крепостного права, там все еще сохранялись за сеньорами разные феодальные права, в силу которых самая поземельная собственность делилась на привилегированную и непривилегированную. В этом аристократическом характере старых учреждений новые общественные классы и видели главное зло существующих порядков. Многие историки отмечали уже тот факт, что прежде чем обнаружить стремление к политической свободе, новые общественные классы желали только одних реформ гражданского характера. В том культурном движении, которое охватило образованные классы в XVIII в., отрицательное отношение к абсолютизму далеко не было ранним, по времени возникновения своего, явлением. И в обществе, и среди передовых его людей многие желали только преобразований в социальном быту, не касаясь политического вопроса, думая даже, что лишь одна абсолютная монархическая власть в состоянии будет осуществить нужные реформы, и только разочарование в этом объясняет до известной степени позднейший поход против абсолютизма, самые же реформы эти мыслились как уничтожение дворянских привилегий, уравнивание гражданских прав, отмена феодальных порядков, освобождение крепостных и т. п. Сам «просвещенный абсолютизм», по-видимому, делал своей задачей осуществление подобной программы. Стремление к политической свободе явилось позже, но в ее понимании обнаружилось разногласие между представителями старого социального строя и новыми общественными классами: в то время, как первые, бывшие принципиальными противниками всех преобразований в гражданском быту, которые противоречили их интересам и традициям, — и самую политическую свободу понимали в старых, сословных, аристократических формах, другие, наоборот, и в данном отношении становились на сторону принципа демократического равенства.

Таковы были в общих чертах социальные отношения «старого порядка». Если они вызывали против себя оппозицию среднего сословия и поддерживали постоянное недовольство в народных массах, то и другая сторона этого порядка с течением времени стала обнаруживать свою несостоятельность. Политический быт Западной Европы XVIII в. был основан на *устранении из публичной жизни свободных общественных сил и на подавлении свободы индивидуальной*. Если в феодализме государство, так сказать, растворялось в обществе, то, наоборот, дореволюционным государством общество совершенно поглощалось. Период равновесия обоих, когда общественные силы в государственном деле проявлялись в форме сословного представительства, миновал с утверждением абсолютизма. Даже тогда, когда государство XVIII в. в эпоху «просвещенного абсолютизма» выступило с реформаторской деятельностью в новом духе, оно относилось с крайним недоверием к общественным силам, полагаясь ис-

ключительно на одну бюрократию. Мы выясним в своем месте причину этого явления, но здесь отмечаем его как одно из наиболее характерных для старого политического порядка. Понятное дело, что государственная власть не могла совершенно изолировать себя от общества, и последнее оказывало свое влияние на ее деятельность, но это было влияние случайное, неорганизованное, преимущественно шедшее со стороны того общественного слоя, который ближе всего стоял к власти, так что иногда все общество в данном случае представлялось одним двором. Между тем обстоятельства стали складываться так, что в участии общественных сил в государственных делах стали видеть главное условие того, чтобы дела эти шли надлежащим образом и вершились к общему благу, тем более, что в известных кругах общества не умирали совсем воспоминания о тех временах, когда в той или другой форме общественные силы призывались к политической деятельности. Но особенно давал себя знать недостаток свободы другого рода — свободы индивидуальной. Государство Нового времени, как уже указывалось раньше, сделалось к XVIII в. всемогущим, подчинив своей власти и своему контролю все проявления общественной и личной жизни, но и рост индивидуального сознания является одним из крупных фактов новой истории, благодаря чему произвол власти, характеризующей «старые порядки», должен был рано или поздно породить общественный протест, выразительницей которого и сделалась просветительная литература XVIII в.

Если главными идеями популярной публицистики прошлого столетия были свобода и равенство, тогда как господствовавшие тогда порядки были, наоборот, основаны на отрицании этих принципов, то весьма естественно, что между теми и другими, т. е. между идеями века, с одной стороны, и его внешними отношениями, с другой, должно было произойти враждебное столкновение. Хотя принципы свободы и равенства играли видную роль и в более ранних общественных движениях, между прочим и в реформационном, но *никогда прежде с такой ясностью не было сознаваемо и с такой силой не было выставляемо, как в XVIII в., противоречие между существовавшей политической и социальной действительностью, с одной стороны, и принципами свободы и равенства, с другой.* В более раннем историческом движении Нового времени, в движении реформационном, раздвоение между тем, что считалось должным, и тем, что собой представляла окружающая действительность, касалось главным образом церковной сферы, так что главным злом, разъедающим жизнь общества, представлялась так называемая порча церкви. Конечно, и тогда не было недостатка в критике современных эпохе политических и социальных порядков, но доминировала критика отношений, возникавших на почве религиозной жизни, как, заметим кстати, в XIX в. стала преобладать критика экономического строя, стоявшая на очень отдаленном плане и в эпоху стремлений к церковной реформе, и в эпоху

требования преобразований общественных и государственных. Подобно тому, как XVI в. пришел к окончательному сознанию глубокого противоречия между существовавшей тогда церковью и основными началами истинной веры, так и XVIII в. с особенными ясностью и силою обнаружил несоответствие между тогдашней политической и социальной действительностью и теми общественными идеями, какие были выработаны предыдущим культурным развитием. Как все те силы, которые находились в оппозиции к средневековому католицизму, стали в XVI в. под знамя идей Реформации, так точно и идеи XVIII в. сделались лозунгом движения, поставившего своей целью разрушение «старых порядков» в государстве и обществе и увлекшего за собой все общественные элементы, которые были недовольны этими порядками и стремились их изменить к лучшему для себя. Каждый объективно существующий строй учреждений, будет ли то средневековая церковь, или «старые порядки» государственной и общественной жизни, покоится, с одной стороны, на известных фактических отношениях, с другой — на совокупности известных идей. Замена одних идей другими есть одно из необходимых условий, чтобы в этом строе произошло изменение, другим же условием являются и перемены, происшедшие в самих фактических отношениях. Совершенно так же, как в истории религиозной Реформации XVI в., рядом с разнообразной оппозицией, какую вызывала против себя средневековая церковь, большую роль играло и внутреннее разложение этой церкви, столь характерно называвшееся ее «порчею», так и в том историческом движении, которое унесло с собой старые государственные и общественные порядки, мы видим не только действие оппозиционных сил, ставших под знамя новых идей, но и результат внутреннего разложения этих порядков, а отсюда их бессилие бороться с новыми идеями и со складывающимися помимо их фактическими отношениями. Дело в том, что *в XVIII в. «старые порядки» находились уже в периоде своего внутреннего разложения.* Еще раз позволю себе тут обратиться к аналогии с реформационной эпохой.

Средневековый католицизм в XIV и XV вв. вступил в период одного из наиболее острых кризисов, какие когда-либо ему приходилось переживать: с одной стороны, против него подымалось все то, что стояло вне церкви, понимаемой в смысле ее иерархии, с другой стороны, сама церковь находилась в состоянии разложения, в состоянии деморализации и дезорганизации. Светское общество, государство, личность вырастали из тех рамок, которые созданы были другими временами, другими обстоятельствами, и потому все более и более делались анахронизмом, но и самые рамки эти, т. е. церковные учреждения католицизма, стали негодными, т. к. представители католической системы жили в противоречии с собственными своими принципами и вместо того, чтобы служить обществу, стремились только эксплуатировать его в своекорыстных видах. В XVIII в. европейское общество начало вырастать из тех рамок, которые

налагались на него соединением политического абсолютизма с социальными привилегиями, бывшим одним из продуктов более ранних исторических отношений, но, кроме того, и самые порядки эти находились в разложении: только последнее обстоятельство и объясняет нам крушение их во Франции в 1783 г., крушение их в других западноевропейских странах при столкновении их с революционной Францией. Каждый объективный строй переживает эпохи зарождения, полного развития и упадка, и в этом заключается смена одних порядков другими. Французская монархия, в которой так рельефно сочетались королевский абсолютизм с аристократическими привилегиями, достигла своего апогея в XVII в., когда все другие старые силы французской нации обнаружили свою несостоятельность, а новые еще не народились, но в XVIII столетии, при Людовиках XV и XVI эта монархия находится уже в разложении, напоминающем нам ту «порчу церкви в главе и членах», которая вызывала религиозный протест реформационной эпохи: место пап, забывших свои обязанности, заступали короли, место духовенства и монашества, злоупотреблявших своей властью и сделавшихся в тягость народу, — дворянство и чиновничество. Другие западные монархии позднее достигали своего апогея, как это было, например, с Пруссией, достигшей кульминационного пункта своего существования в эпоху «старых порядков» лишь в XVIII в., но и это государство обнаружило внутреннее свое бессилие при столкновении с Францией и окрепло в XVII в. лишь благодаря общественным и государственным преобразованиям в духе Новейшего времени.

Исторические явления, имевшие в свое время общеевропейское значение, далеко не одинаковы, т. е. не везде с одной силой и в одно и то же время обнаруживаются в жизни отдельных государств. Знакомясь с теми политическими и социальными порядками, которые были более или менее общи всем главным континентальным странам, мы лучше всего наблюдаем их на примере дореволюционной Франции, тем более что научное изучение Французской революции привело к необходимости обстоятельного знакомства с тем, чем был во Франции *l'ancien régime*¹, и что благодаря этому существует обширная литература об относящихся к нему предметах. Но и помимо того французские отношения XVIII в. весьма характерны. Франция была страной очень ранней и весьма широкой феодализации, а ее феодальное рыцарство и придворная аристократия сделалась образцом, по которому складывались воззрения и привычки дворянства в других странах. Своеобразное сочетание во Франции старых феодальных учреждений с новыми, монархическими, просуществовавшее до самой революции, заслуживает также особого внимания. Сама абсолютная монархия развилась во Франции с наибольшей силой, так что в

¹ Старый режим (фр.). — Прим. ред.

правление Людовика XIV Франция сделалась образцом, которому стали подражать и другие монархические правительства, включая в их число и немецких имперских князей. С другой стороны, нигде так рано и так сильно не обнаружилось разложение «старого порядка», как опять-таки во Франции в XVIII в.; нигде в другом месте на материке не сложились так, как в ней, и не проявили себя вовне с такой силой элементы нового общества, весьма рано ставшие здесь в резкую оппозицию со «старыми порядками»; наконец, нигде так не чувствовался и не выражался с такой ясностью разлад между тогдашней действительностью и новыми общественными идеями, как во французской же литературе прошлого века, оказавшей притом практическое влияние не только на историческое движение в самой Франции, но и на культурно-социальную жизнь других стран. Вот почему, делая выше общую характеристику старых государственных и общественных порядков и указывая на исторический процесс их образования, мы должны иметь в виду преимущественно отношения французские.

III. Период королевского абсолютизма¹

Период абсолютной монархии и отдельные его эпохи. — Судьба сословно-представительных учреждений в XVIII в. — Абсолютизм в Скандинавских государствах. — Образование Прусской монархии и утверждение в ней абсолютизма. — Габсбурги и венгерская конституция. — «Просвещенный абсолютизм» и народное представительство. — Принцип безусловного верховенства королевской власти. — Бюрократические порядки и милитаризм. — «Полицейское государство». — Административный произвол и личная свобода.

Деля западноевропейскую историю XVI, XVII и XVIII вв., т. е. от начала религиозной Реформации до начала Французской революции — на два больших периода до и после Вестфальского мира, присваивая первому из них название реформационного, историки весьма часто обозначают второй как эпоху абсолютной монархии, хотя название это и не охватывает так полно главнейших проявлений исторической жизни во второй половине XVII и в XVIII в., как это можно сказать об имени, присвоенном XVI в. и первой половине XVII столетия. Если, однако, абсолютная монархия не характеризует всех главных сторон исторической жизни в эпоху, обозначаемую ее именем, тем не менее в таком названии целых полутора веков заключается указание на важный исторический факт. В Новое время все политические силы Средних веков склонились перед государством, преобладающей формой которого сделалась абсолютная монархия, наибольшего же развития своего она достигла именно в период времени между Вестфальским миром и Французской революцией: «век Людовика XIV» в первой половине этого периода (1661—1715 гг.) и «век Фридриха II» во второй (1740—1786 гг.), отделенные один от другого лишь двадцатью пятью

¹ См., между прочим: *Laurent*. La politique royale, X том его *Études sur l'histoire de l'humanité*, посвященный главным образом, впрочем, внешней политике. Литература по истории Франции, Австрии и Испании в эпоху установления в них абсолютизма указана в соответственных местах II тома. В настоящей главе речь идет главным образом о Дании, Швеции, Пруссии и Венгрии. Особенно обширна и важна литература по истории Пруссии. *Stenzel*. Geschichte des preussischen Staats (в сборнике Геерена и Укерта); *Ranke*. Zwölf Bücher preussischer Geschichte; *Droysen*. Geschichte der preussischen Politik; *Ebert*. Geschichte des preussischen Staats; *Cosel*. Geschichte des preussischen Staates und Volkes; *Philippon*. Geschichte des preussischen Staatswesens; *Pierson*. Preussische Geschichte; *Tuttle*. History of Prussia to the accession of Frederic the Great; *Lavisse*. Études sur l'histoire de Prusse; *Orlich*. Geschichte des preussischen Staats im XVII Jahrhundert; *Förster*. Friedrich Wilhelm, der grosze Kurfürst, und seine Zeit; *Zwiedinek-Südenhorst*. Deutsche Geschichte im Zeitraum der Gründung des preussischen Königthums. Указания на труды по истории Пруссии в XVIII в. сделаны ниже. По истории Швеции см. сочинение Carlsson'a (продолжавшего шведскую историю Гейера, ср. II, 11), доведенное до начала XVIII в. *A. Fryxell*. *Gesch.* Karls XII (перевод со шведского). О Густаве III см. сочинение Arndt'a, Posselt'a, Geffroy Léouzon Le Duc'a, de Nervo и др. История Дании Allen'a (есть французский перевод). Сочинения по истории Австрии указаны будут в своем месте.

годами, для которых нет подходящего названия в этом же роде, были временами полного развития и господства в политической жизни Европы принципов абсолютизма, временами личного правления неограниченных монархов и всесильных министров, временами наибольшего упадка, в каком когда бы то ни было находились с исхода Средних веков западные представительные учреждения. Разумеется, все хронологические деления имеют чисто условное значение: так и в данном случае история абсолютизма на Западе не укладывается в рамки 1648—1789 гг., т. к. и начинается она раньше, и кончается позже, но никогда абсолютной монархии на континенте не принадлежало такого неоспоримого господства и никогда она не обнаруживала такой жизненности, как в указанную эпоху, хотя последняя же была и началом разложения созданного абсолютизмом политического строя, особенно по отношению к Франции.

Родиной абсолютизма были итальянские княжества в исходе Средних веков. Из больших европейских государств ранее всего он утвердился в Испании Карла V и Филиппа II, так что в XVI в. испанская монархия была главной представительницей этого начала в политической жизни Европы. В следующем столетии Испания была уже в современном упадке, истощенная внутренним деспотизмом и внешними войнами, но это же столетие было эпохой торжества абсолютизма во Франции и преобладания самой Франции в международной политике. С «веком Людовика XIV» миновало, однако, это величие: в XVIII столетии старая монархия во Франции находится уже в разложении, хотя страна и была далека от такого упадка, в каком находилась Испания, ранее Франции игравшая первенствующую роль в европейском политическом мире. Если в XVIII в. отношения этого мира и осложнились вступлением в него России, тем не менее, ограничиваясь историей одних западных стран, мы можем сказать, что главной представительницей абсолютизма тогда сделалась Пруссия, именно в «век Фридриха». Так в истории западного абсолютизма следуют одна за другой, как главные ее представительницы, Италия с ее княжескими тираниями, Испания Карла V и Филиппа II, Франция Генриха IV, Ришелье и Людовика XIV, Пруссия Фридриха Вильгельма I и особенно Фридриха Великого: где раньше, где позже это государственное начало достигало полного господства и становилось предметом подражания в других странах, принимая тот или другой характер в зависимости не только от местных условий, но и от общих исторических течений: испанский абсолютизм, например, испытал на себе влияние католической реакции, прусский — влияние Просвещения XVIII в. Благодаря тому, что одни страны отставали от других на общем историческом пути, в одно и то же время, именно в XVIII в., историей которого мы теперь заняты, мы можем наблюдать общее им явление — абсолютную монархию — в разных фазисах, какие она переживала: во Франции это было явление уже отживающее,

разлагающееся, в Пруссии — новое, развивающееся, хотя и носящее уже зародыши своего будущего падения в XIX в. Время от смерти Людовика XIV до революции, и составляющее главным образом восемнадцатый век, можно разделить на две части: в первую, меньшую половину этого периода (1715—1740 гг.) продолжают господствовать традиции французского абсолютизма, как они сложились при Людовике XIV, во вторую, большую — общий тон задается Пруссией, со вступлением на престол которой Фридриха II начинается пора «просвещенного абсолютизма»: это и составляет особый интерес прусской истории в XVIII в., не говоря уже о той роли, какую Пруссия играла в международной политике в царствование этого великого дипломата и полководца. «Век Фридриха II» был таким образом веком «просвещенного абсолютизма», историей которого мы займемся подробнее в особом отделе настоящего тома, посвятив настоящую главу только общему обзору абсолютизма во всех странах, где он утвердился, и без различия его местных и временных оттенков.

Форма монархии, господствовавшая на Западе в XVIII в., отличалась одинаково и от теперешней конституционной монархии, и от более ранней монархии сословной¹ — устранением общественных сил от непосредственного участия в государственной жизни. Несмотря на глубокое различие, существующее между новыми парламентами и средневековыми государственными чинами, и те, и другие имеют то общее между собой, что в такой или иной форме ими давалось право нации участвовать в законодательстве, вотиловать налоги, контролировать администрации, даже влиять некоторым образом и на внешнюю политику. Если временем наибольшего процветания старых сословно-представительных учреждений были XIV и XV вв., то *XVIII столетие было эпохой наибольшего падения учреждений, в которых нации посредством представителей своих ограничивали королевскую власть*. Французские генеральные штаты собраны были в последний раз в 1614 г., и после этого во Франции в течение целых 175 лет ни разу не созывалось народное представительство. Испанские кортесы, сломленные деспотизмом Карла V и Филиппа II, и государственные сеймы во владениях австрийских Габсбургов также пришли в полный упадок, т. к. и в Испании, и в Австрии очень рано утвердился совершенный абсолютизм. Та же судьба постигла и собрания чинов в отдельных княжествах Германии после Тридцатилетней войны. Известно, что по Вестфальскому миру князья сделались почти совершенно независимыми от империи государями в своих землях, а привыкши во время Тридцатилетней войны назначать налоги и собирать войско, не спрашивая на то согласия земских чинов, они и по окончании войны или совсем не созывали ландтагов, или не обращали никакого внимания на их решения и протесты: это была эпоха, когда абсолютизму Людовика XIV подражали не только государи более

¹ См. т. I, гл. VI (см. указ. издание. Гл. VI. — *Прим. ред.*).

крупных стран, но и очень незначительные владельцы, к числу которых принадлежало и большинство немецких князей, жалобы на которых в рейхскammerгерихт были прямо запрещены их подданным тем же Вестфальским миром. Что касается до императора, то по избирательной капитуляции он даже обязывался помогать князьям против их подданных. Бывали случаи, что ландтаги и вовсе переставали собираться или собирались только для виду, редко где (как, например, в Брауншвейге, Мекленбурге и Вюртемберге) сохранив еще некоторое значение. Примером того, как обращались князья с земскими чинами, может служить такого рода случай в истории Саксонии при Августе Сильном: когда однажды «чины» вздумали протестовать против поборов этого курфюрста, их заперли в зале их совещаний и держали там, пока они не смирились. Дворянство в отдельных княжествах превратилось в придворную знать (Hofadel) и стало жить княжескими подачками, сохраняя под деспотическим правлением своих государей все старые социальные привилегии. Духовенство в протестантских землях было в полной зависимости от светской власти и льстило своим князьям, доходя до того, что, например, один пастор объявил своему государю (ландграфу гессенскому), что если бы Господь Бог не был Господом Богом, то никто на это не имел бы большего права, чем его светлость. Наконец, княжеские города (в отличие от городов имперских) никогда не пользовались свободой и влиянием. Понятно, что собрания, на которых были представлены такие общественные элементы, и не могли играть самостоятельной политической роли. Мы еще увидим, какое значение имела борьба государя с земскими чинами в истории возвышения Бранденбурга-Пруссии.

Абсолютизму удалось утвердиться и в двух скандинавских государствах, где большую силу имела аристократия. Дания и Швеция, подобно Польше, представляли собой страны с ослабленной королевской властью, с широкими правами дворянства. Одной Польши не коснулись совершавшиеся повсюду перемены в смысле усиления монархического начала, но Дания и Швеция испытали на себе то, что было общим явлением эпохи. Особенно можно сказать это о первой из названных стран. Датская аристократия до середины XVII в. увеличивала свои права с каждой переменной царствования, т. к. королевская власть все более и более ограничивалась условиями избрания, которые должен был подписывать новый король. Положение датского монарха стало походить на должность простого председателя государственного совета, а вся власть была в руках аристократии, и последняя пользовалась ею для того, чтобы расширить свои привилегии и свои права над другими общественными классами, раздражая тем самым против себя и духовенство, и горожан, и крестьян, все более и более попадавших в крепостную зависимость от дворянства. Подобно тому, как и в иных странах, сословный антагонизм, питавшийся преимущественно высокомерием, властолюбием и своекорыстием дво-

рянства, был одним из условий, благоприятных для королевской власти, которая, опираясь на недовольные общественные элементы, достигала абсолютизма¹, так и в Дании оппозиция, в какую стали к дворянству другие сословия, сделалась почвой, на которой утвердился королевский абсолютизм. Случилось это, как известно, в 1660 г. (за несколько месяцев до начала самостоятельного правления Людовика XIV во Франции), при Фридрихе III (1648—1670 гг.). Аристократическое хозяйничанье довело Данию до крайнего расстройтва. Казна была пуста, коронные доходы незначительны, государство обременено долгами. На сейме, собравшемся в Копенгагене осенью 1660 г., правительство поставило вопрос о том, как выйти из финансовых затруднений: дворянство указало на другие сословия как на плательщиков новых налогов, но духовенство и горожане, наоборот, напали на дворянство, на его изъятие из обязанности платить налоги, на доходы, извлекаемые им из аренды доменов за дешевую плату, требуя вместе с этим ограничения вообще дворянских привилегий. Результатом возникшей отсюда распри был государственный переворот, лозунгом которого сделались наследственность короны и отмена капитуляции, подписанной королем при избрании. Инициатива этой перемены исходила от духовенства и горожан; дворянство нехотя должно было подчиниться наследственности королевской власти и уничтожению той конституции, какую представляла собою капитуляция. Переворот повлек за собою преобразование государственного совета и правительственных коллегий, членами которых поделаны были сторонники нового порядка вещей и противники прежнего олигархического правления. Особым «королевским законом», давшим окончательную санкцию совершившемуся перевороту, Фридрих III обязывал и преемников своих бюлсти на будущие времена свято и ненарушимо абсолютную королевскую власть: закон этот, составленный (1665) при участии знаменитого юриста Рейнкинга, был опубликован при короновании нового короля Христиана V, а копенгагенский профессор Вандаль написал особый трактат о правах абсолютной королевской власти. Впрочем, представители нового порядка стремились примирить с ним аристократию сохранением за ней многих старых привилегий и даже образованием новых, так что в социальном отношении датский абсолютизм удерживал прежнее привилегированное положение дворянства. Несколько позже, чем Дания, но в той же второй половине XVII в., превратилась в абсолютную монархию и Швеция, где равным образом притязания и стремления дворянства вооружали против него другие сословия, а аристократическое правление оказалось несостоятельным, доведши страну до серьезного внутреннего расстройства. Между прочим, знать расхитила здесь коронные имущества, и одною из задач своего цар-

¹ Это явление с особенной очевидностью наблюдается во Франции.

ствования Карл XI (1660—1697 гг.) поставил отображение у дворянства земель, ранее принадлежавших казне. В данном случае король опирался на сочувствие и помощь других сословий — духовенства, горожан и крестьян, а отчасти и низшего дворянства, которое оттеснялось на задний план знатью. В Швеции, далее, существовал государственный совет, члены которого принадлежали к высшему дворянству, и который являлся учреждением, руководившим государственным сеймом, ограничивая в то же время королевскую власть; Карл XI сделал из него простое совещательное учреждение под именем королевского совета, а сейм 1682 г. торжественно заявил, что королю в Швеции всецело принадлежит законодательная власть без участия государственных чинов. В самом конце царствования Карла XI успехи королевской власти в Швеции завершились постановлением сейма 1693 г., которым утверждались такие положения: шведский король — верховный глава и правитель страны, которого никто не может ограничивать или стеснять в его бесспорном праве собственно своей властью издавать законы; король вовсе не обязан созывать сейм, ибо он имеет право управлять государством по личному своему усмотрению, и потому он ни перед кем не ответствен за то, как правит страной. Известно, что абсолютизм в Швеции удержался, впрочем, ненадолго. По смерти Карла XII, убитого в 1718 г. во время великой Северной войны, когда Швеция играла такую видную роль в международной политике, в Стокгольме произошел аристократический переворот, сопровождавший вступление на престол сестры покойного короля Ульрики Элеоноры, и Швеция превратилась в государство, которое только по имени было монархией: вся власть сосредоточилась в руках знатнейших дворянских фамилий, захвативших все места в государственном совете; последний и сделался настоящим правительством страны и благодаря этому господствовал на сеймах, где собирались по-прежнему представители четырех сословий. Но олигархическая конституция, введенная после Карла XII, просуществовала лишь около пятидесяти лет: государственный переворот, совершенный в 1772 г. Густавом III (1771—1792 гг.), вернул Швецию к монархическим порядкам. Государственный совет превратился в зависимое от короля совещательное учреждение; государственные чины должны были собираться только по приглашению короля и заниматься лишь теми делами, которые им были предлагаемы; король ограничил себя лишь относительно права начинать наступательную войну без согласия сейма, позволения которого, однако, не требовалось для установления налогов. За этим переворотом, в самый год начала Французской революции, последовал второй переворот — уже прямо в смысле установления в Швеции абсолютизма: когда во время неудачной войны с Россией на сейме, заседавшем весной 1789 г., король встретил оппозицию, он распорядился арестовать главных ее предводителей и заставил чины принять «акт

объединения и охранения», которым отменялся государственный совет и предоставлялось королю право начинать войну без согласия сейма. В обоих случаях, т. е. и в 1772, и в 1789 г. Густав III опирался на нерасположение народа к дворянской олигархии. Вообще история введения абсолютизма в Дании и Швеции показывает, что главной его противницей была аристократия, и что, утверждая свою власть, монархи опирались на народное неудовольствие против дворянства.

К числу крупных абсолютных монархий XVIII в. мы должны причислить и Пруссию, получившую титул королевства в эпоху войны за испанское наследство. Прусская монархия была и создана, и возвеличена абсолютизмом своих государей, а потому в этом общем обзоре утверждения абсолютизма на Западе нельзя не остановиться еще на примере Пруссии, которой пришлось играть столь важную роль в истории XVIII и XIX вв. Напомним прежде всего в общих чертах, как составились территориальные владения Гогенцоллернов, из которых образовалась прусская монархия¹. Ядром этого государства было маркграфство Бранденбургское², перешедшее в начале XV в. в руки Гогенцоллернов, родоначальником которых (в XIII в.) был бургграф нюрнбергский Конрад³. В эпоху Реформации один из членов фамилии Гогенцоллернов, Альбрехт Бранденбургский, ввел лютеранство во владениях тевтонского духовно-рыцарского ордена, гроссмейстером которого состоял, превратив эти владения в светское герцогство Пруссии в ленной зависимости от Польши. В 1618 г. Бранденбург и Пруссия соединились под властью одного государя (курфюрста Иоанна Сигизмунда), да кроме того, Гогенцоллерны приобрели и некоторые другие, более мелкие владения в Германии. Истинным основателем прусского государства был «великий курфюрст», как его прозвали впоследствии, Фридрих-Вильгельм, вступивший на престол в 1640 г. и правивший почти полвека (до 1688). При нем окончилась Тридцатилетняя война и был заключен Вестфальский мир, по которому Бранденбург приобрел значительные территориальные приращения. Ему удалось освободить герцогство Пруссии от ленной зависимости, в какой оно находилось по отношению к Польше (по оливскому трактату 1660 г.⁴ Наконец, решительной победой при Фербеллине (1675) над шведами, бывшими в союзе с Людовиком XIV⁵, он под-

¹ Об этом специально см.: *Fix*. Die Territorialgeschichte des preussischen Staates.

² *Brosien*. Geschichte der Mark Brandenburg im Mittelalter.

³ *Schmidt L.* Die älteste Geschichte der Hohenzollern.

⁴ Указания на литературу по истории прусско-польских отношений см. в «Истории Польши» М. Бобржинского (имеется в виду книга: *Бобржинский М.* Очерки истории Польши: В 2 т. СПб.: Издание Л.Ф. Пантелеева, 1888—1891. — *Прим. ред.*).

⁵ *Peter H.* Der Krieg des grossen Kurfürsten gegen Frankreich; *Gansauge*. Der Krieg in der Mark Brandenburg i. J., 1675; *Witzleben und Hasselt*. Fehrbellin (no случаю двухсотлетней годовщины в 1875 г.).

нял военное значение своего государства и положил начало роли Пруссии в международной политике. Сын его Фридрих III приобрел уже королевский титул, данный ему по Пруссии императором Леопольдом I (как король прусский, он стал называться Фридрихом I), после чего Пруссия сделалась одною из значительных политических сил в Европе. Главным неудобством, существовавшим в этой монархии, была чересполосность ее владений: сплошную территорию с Бранденбургом составляли восточная часть Померании, архиепископство магдебургское и епископство гальберштадтское, приобретенные им по Вестфальскому миру, но герцогство прусское, присоединенный по тому же миру Минден и часть юлихклевского наследства, доставшаяся Гогенцоллернам окончательно лишь в 1666 г. (Клеве, Марк, Равенсберг), были отделены от Бранденбурга чужими владениями и не имели с ним ничего общего ни по интересам, ни по традициям. В этих разрозненных частях гогенцоллернской монархии, бывших раньше самостоятельными княжествами, существовали земские чины, отстаивавшие местную самобытность, а потому сплочение отдельных земель в единое государство могло произойти только в борьбе с ними и путем подавления их стремлений. Царствование «великого курфюрста», положившего начало военно-хозяйственной системе прусского правления, было временем именно такой борьбы возникавшего абсолютизма с сословно-представительными учреждениями отдельных гогенцоллернских земель и с областным сепаратизмом, весьма естественном при таком составе государства. Фридрих-Вильгельм жил в эпоху, когда вообще абсолютизм делал большие успехи и уже утвердился в таких монархиях, как Испания, Австрия, Франция, и когда происходило в Германии — после Тридцатилетней войны — значительное усиление власти имперских князей, к числу которых он и сам принадлежал в качестве курфюрста. Это одно определяло его политику по отношению к земским сеймам, но то обстоятельство, что последние отстаивали лишь местные интересы, еще более приводило его в столкновение с областными чинами. Охранять неприкосновенность и нераздельность гогенцоллернских владений могло только большое войско, на содержание которого нужно было много денег, что заставляло курфюрста вводить новые обременительные налоги. Бранденбургский сейм воспротивился было их увеличению, но Фридрих-Вильгельм сломил его оппозицию, подобно тому, как это делали и другие имперские князья, и после 1653 г. в маркграфстве более не собирались *Landstände*. Герцогская власть в Пруссии также была стеснена сеймом, состоявшим из дворянства и городских депутатов, и ленная зависимость герцога от польского короля была одной из гарантий неприкосновенности прав прусского сейма, т. к. последний мог жаловаться сюзерену своего герцога на притеснения и просить его, чтобы он заставлял герцога, как своего вассала, соблюдать

законы. Поэтому нет ничего удивительного в том, что прусский сейм 1661 г. протестовал против отторжения герцогства от Польши, на которое притом не спросили его согласия. Отсюда между Фридрихом-Вильгельмом I и земскими чинами возникло острое столкновение. Курфюрст, сделавшись независимым от польского короля государем в стране, не хотел подтвердить старинные права сейма и требовал себе присяги, но сейм на это не соглашался и настаивал на том, чтобы Фридрих-Вильгельм дал обещание без согласия земских чинов ни начинать войны, ни заключать союзов, ни вводить в страну иностранных войск, ни устанавливать новых налогов, и чтобы собрания чинов происходили каждые два года и даже в том случае, если бы курфюрст сам не стал их созывать. Ко всему этому чинами прибавлялось, что раз он будет нарушать права сейма, присяга, данная ему его подданными, не будет иметь никакой силы. В герцогстве вообще жаловались на деспотизм курфюрста, который казался хуже турецкого; говорили, что лучше идти в подданство к самому черту, чем оставаться под таким игом; посылали даже в Варшаву просьбу о помощи. Фридрих-Вильгельм вынужден был пойти на уступки, и в 1663 г. состоялось примирение, но обещания, данные курфюрстом в духе требований сейма, им постоянно нарушались, что поселяло неудовольствие в Пруссии и снова порождало мысль о возвращении в вассальную зависимость от Польши. В более мелких владениях, входивших в состав прусской монархии, «великий курфюрст» церемонился столь же мало с давнишними их правами и привилегиями¹. Между прочим, еще в начале своего правления (в пятидесятых годах) он встретил сильную оппозицию в чинах герцогства Клеве, которые обращались с жалобой на него к имперскому сейму, но борьба окончилась не в пользу земских чинов: хотя («рецессом» 1661 г.) за ними и было оставлено право вотиrowания налогов, на которые они впоследствии всегда соглашались, курфюрст получил оспаривавшееся у него раньше право вербовать солдат и вводить извне войско. В Марке, Померании, Магдебурге и Гальберштадте у чинов было отнято заведование финансами. Вообще в XVIII в. Пруссия вступает настоящей абсолютной монархией. Мы еще вернемся к гогенцоллернскому абсолютизму в прошлом столетии.

Из всех владений австрийских Габсбургов одна только Венгрия сохраняла еще после Тридцатилетней войны старые свободные учреждения, тогда как в других землях господствовал совершенный абсолютизм, да Бельгия еще, доставшаяся австрийским Габсбургам после войны за испанское наследство, еще пользовалась своими старинными вольностями. Нам в другом месте придется говорить о нарушении этих вольностей при Иосифе II, вызвавшем этим целую революцию, а здесь мы оста-

¹ *Lancizolle. Königthum und Landstände in Preussen.*

новимся лишь на отношениях между Габсбургами и Венгрией, в которых, с одной стороны, обнаруживалось стремление к абсолютизму, а с другой — желание отстоять прежнюю конституцию. Габсбургская монархия была в сущности конгломератом земель, находившихся между собой в личной унии и весьма несхожих между собой в разных отношениях: у государя этих земель не было даже общего титула, ибо императором римским он назывался, как избранный глава Священной Римской империи, а не как наследственный обладатель земель, составлявших «владения Австрийского или Габсбургского дома». В числе этих владений было королевство Венгрия, по которому общий государь габсбургских земель назывался королем венгерским, совершенно так же, как он был королем богемским по Чехии и т. п.

Венгрия имела свою средневековую конституцию, в основе которой лежала «золотая булла» (1222) короля Андрея II, устанавливавшая ежегодное собрание государственного сейма и дававшая магнатам право на вооруженное сопротивление в случаях нарушения буллы. Габсбургам Венгрия досталась при Фердинанде I, но своим деспотизмом и фанатизмом государи этой династии так раздражали своих венгерских подданных, что последние за защитой обращались к туркам, с которыми и шла у Габсбургов долговременная борьба за обладание Венгрией. Королевская власть в этом государстве считалась избирательной, но именно только считалась, в действительности же не была таковой, хотя венгры особенно дорожили своим правом избирать короля. Фердинанд III, выбранный на престол венгерский еще при жизни своего отца, предложил было сейму 1655 г. сделать венгерскую корону наследственной, но это предложение было отвергнуто, хотя потому и сейм выбрал в преемники Фердинанду III его сына эрцгерцога Леопольда, который в 1657 г. сделался римским императором. Царствование этого государя было временем подавления венгерских вольностей, в особенности же притеснений над протестантами, совершавшихся под защитой австрийских военных постоев. Заговоры и попытки восстания со стороны некоторых магнатов вызвали со стороны императора репрессию, распространившуюся на все население Венгрии, преимущественно же на его протестантскую часть, и репрессия эта получила совершенно такой же характер, какой за полвека перед тем имело подавление религиозной свободы и политических прав в Чехии. Наконец, национальное недовольство разразилось целым восстанием под предводительством Эммерика Текеля (Tököly) и в союзе с турками, которые в 1683 г. сделали нападение на Вену, отбитое только польским королем Яном Собеским¹. Восстание окончилось неудачей; виновные в нем подверглись суровым преследованиям и казням, особенно же сильно свирепст-

¹ Литературу см. в «Истории Польши» М. Бобржинского.

вовала реакция против протестантов. Победителю легко было вынудить у собранного в 1687 г. в Пресбурге сейма отказ от права избрания королей и от права вооруженного сопротивления, овященного «золотой буллой». Война с Турцией тоже была удачна, и по Карловицкому миру (1699) Габсбурги приобрели ту часть Венгрии, которая до того времени составляла вассальное турецкое княжество (Трансильвания). Впрочем, формального абсолютизма австрийским государям не удалось установить в Венгрии, как не был он введен и в австрийских Нидерландах, т. е. в Бельгии. Только Иосиф II сделал попытку и там, и здесь уничтожить старинные вольности, но в обеих странах встретил сильную оппозицию, перешедшую в целые восстания.

Таким образом, период времени между окончанием Тридцатилетней войны и началом Французской революции *характеризуется не только торжеством абсолютизма, там, где он развился ранее, но и утверждением его или попытками утверждения в странах, в которых прежде его не было*, не исключая из их числа и Англии при двух последних Стюартах. «Просвещенный абсолютизм» второй половины XVIII в. также был принципиально враждебен народному представительству. Земские чины претили самой сущности этой властной системы чисто личного правления. Отстаивавшийся ими местный партикуляризм находился в противоречии с тем стремлением к политической и административной централизации, которое повсюду сопровождало установление абсолютизма. Наконец, привилегированные сословия, более всего имевшие силы в подобных собраниях, были в большинстве случаев против преобразований, замышлявшихся представителями государственной власти. Густава III, совершившего государственный переворот в Швеции, причисляют к представителям «просвещенного абсолютизма». Несомненным выразителем его стремлений был Иосиф II, нарушивший конституции австрийских Нидерландов и Венгрии. Даже областное и местное самоуправление не пользовалось сочувствием деятелей этой эпохи, повсюду стремившихся заменить общественные силы бюрократией. В 1740 г. Фридрих II сказал представителям герцогства Пруссии, что государь, заботящийся о благе своих подданных, лучше всех гарантий, а в следующем году объявил чинам Силезии, отнятой им у Австрии, что право налогов отходит от них к его коллегии. Принцип абсолютного верховенства королевской власти сделался главным принципом государственной жизни. Во Франции еще накануне самой революции (в парламентском заседании 19 ноября 1787 г.) Людовик XVI заявлял, что он не допустит нарушения или изменения принципов монархии, принципы же эти, изложенные хранителем печати Ламуаньоном, сводились к тому, что «одному королю принадлежит верховная власть в государстве». Отец Фридриха II говорил, что он «господин и король и может делать все, что ему угодно», и ту же мысль, только в менее грубой фор-

ме, развивал и сам Фридрих II¹. Даже немецкие имперские князья, которые еще со второй половины XVII в. подражали Людовику XIV, смотрели на себя как на неограниченных монархов: недаром рассказывают об одном из них, что когда перед ним произнесли слово «отечество», он сказал на это: «Отечество?.. Я — отечество».

Усиление королевской власти повсюду сопровождалось введением административной централизации и бюрократических порядков, получивших особое развитие во Франции и в Пруссии². Чиновничество повсюду вытесняло общественные силы из дел управления, ставя интересы государства выше интересов отдельных сословий, — преимущественно дворянства, — которые были представлены в старых органах самоуправления. Прусская бюрократия в XVIII в. была образцовым учреждением этого рода по той исполнительности, по той образцовой дисциплине, которой она отличалась: все исходило из центра, от самого монарха или от правящего министра, и чиновникам оставалось только исполнять доходившие до них предписания. Другой силой, на которую опирались правительства, были армии, численность которых впервые теперь достигает своего апогея при «старых порядках». После периода феодальных дружин и муниципальных ополчений, после периода кондотьерства, оканчивающегося эпохой Валленштейна, наступает время больших постоянных армий, получающих впервые правильную организацию. Многочисленные войны, между прочим, за разные наследства, т. е. войны династического характера, делали необходимым содержание больших военных сил. Пруссия всеми успехами своей политики в период своего возвышения была обязана утвердившемуся в ней милитаризму, который поглощал громадные средства, тяжело достававшиеся еще не особенно большой и бедной монархии. Даже немецкие княжества средней величины стремились иметь свои собственные военные силы; некоторые из имперских князей, как известно, продавали солдат своих Англии во время восстания североамериканских колоний³. В Пруссии, которая в XVIII в. сделалась на Западе образцом военного государства, дух милитаризма проник и в гражданские отношения, в которых господствовали принципы субординации, дисциплины, исполнения без рассуждения.

Как отражались эти порядки на частной жизни, лучше всего показывает термин «*полицейское государство*» (*Polizeistaat*), который употребляется в немецкой исторической и юридической литературе для обозначения именно государства рассматриваемого периода. Что такое название возникло на

¹ Об этом см. ниже в своем месте.

² Для Франции см. ранее указывавшиеся сочинения: *Chéruel*. *Dareste de la Chavanne*, *Maury*, *Frégier*, *Ricard*, *Arbois de Joubainville* и др. Для Пруссии: *Isaacsohn*. *Geschichte des preussischen Beamtentums*; *Bornhak*. *Geschichte des preussischen Verwaltungsrechtes* и др. соч., касающиеся главным образом царствований Фридриха-Вильгельма I и Фридриха II.

³ *Kapp*. *Ger Soldatenhandel deutscher Fürsten nach America*.

немецком языке, очень понятно: государство, все на себя берущее, всем заведующее, произвольно всем распоряжающееся, мелочно вмешивающееся в частную жизнь, — вот та форма политического быта, которая была господствующей в немецких княжествах прошлого века¹. Образцом такого *Polizeistaat* стала именно Пруссия, особенно при Фридрихе-Вильгельме I, когда система правительственного вмешательства в частную жизнь проводилась особенно грубо: это было, как мы еще увидим, правление величайшего произвола, приучившее пруссаков к самой строгой дисциплине. Сам Фридрих II говорил, что ему «надоело царствовать над рабами». Но то, что немцы называют «полицейским государством», было лишь частным проявлением той системы правительственной опеки, которая установилась на континенте в рассматриваемую эпоху. Принцип везде был один и тот же, и только внешние формы, в которых он проявлялся, разнообразились соответственно с традициями и учреждениями отдельных стран. *Что особенно характеризует полицейское государство, так это — неуважение к личным правам*: последние были лишены каких бы то ни было гарантий, и в этом отношении особенно характерны французские административные нравы прошлого века, *lettres de cachet*², произвольные аресты, конфискации, преследования иноверия, перлюстрация частной переписки, цензурные запрещения, сожжения книг рукою палача, гонения, воздвигавшиеся на писателей, и т. п. факты, на которые справедливо указывают как на главную сторону старых политических порядков, наиболее соприкасавшуюся с частной, индивидуальной жизнью³. Только в эпоху «просвещенного абсолютизма» духовная свобода личности и в теории, и отчасти на практике получила признание со стороны государства.

¹ О Максимилиане Баварском как его родоначальнике см. книгу вторую («Реформация и политическая жизнь в XVI и XVII вв.»). — *Прим. ред.*.

² Письма с печатью (*фр.*). Обычно так называют приказ о досудебном аресте того или иного лица в виде письма с королевской печатью. Интересны такие письма были тем, что в них оставлялось свободное место для того, чтобы вписать имя и фамилию любого человека. Отсюда возникала возможность злоупотребления такими документами. — *Прим. ред.*

³ См. ниже, гл. VI.

IV. Остатки феодальных учреждений¹

Сохранение феодальных начал и учреждений в государственном быту. — Парижский парламент. — Борьба королевской власти с парламентами в XVIII в. — Феодальное смешение государственных и частно-правовых отношений. — Централизация и провинциальные привилегии. — Феодальные начала в политическом строе Германии. — Конгрессивность имперского сейма. — Падение центральных учреждений в Германии. — Мелкодержавие и аристократический строй. — Феодальное понимание свободы. — Республики и федерации.

Королевскому абсолютизму на западе Европы пришлось утверждаться в феодальном обществе. Мы видели, что в Новое время государство, принявшее форму абсолютной монархии, сочеталось с социальным строем, который основывался целиком на началах средневекового феодализма, и что в этом сочетании неограниченной монархии с сословными, преимущественно с аристократическими привилегиями и заключалась главная особенность порядков, разрушенных Французской революцией. С другой стороны, и в политической сфере государственные начала и формы Нового времени не вытеснили окончательно феодальных принципов и учреждений. Пример Франции в этом отношении особенно характерен, ибо до самой революции старая французская монархия носила на себе следы своего феодального происхождения, и с этой стороны французская история весьма поучительна, т. к. на ней с особенной наглядностью наблюдается, как новая власть, возникшая среди устарелых учреждений, уживается с этими последними. Французская династия происходила от феодальных сеньоров, и принадлежавшие к ней короли до самого конца «старых порядков» продолжали считать себя главным образом членами дворянского сословия, хотя в принципе королевская власть представляла собой всю нацию, все государство и возвышалась над отдельными общественными классами: как предок этой династии был лишь «первый между равными», так и его потомки, царствовавшие уже в конце существования старой монархии, считали себя «первыми дворянами своего королевства», хотя и думали, что последнее целиком воплощается в королевской особе. В смысле

¹ Кроме соч., указанных в предыдущих главах, см.: *Voltaire*. Histoire du parlement de Paris; *Simonnet*. Les parlements sous l'ancienne monarchie; *Flammermont*. Chancelier Mopeou et le parlement. Соч. по истории местных парламентов Floquet и Lair'a (Нормандия), Des Marches (Бургундия), Pillot (Фландрия), Em. Michel (Метц), Brives-Cazes (Бордо), Bascle de Lagrèze (Беарн), E. Lapierre, Dubédât (Тулуза). Истории французского права Laferrière, Paul Viollet, A. Gautier, Glasson'a, H. Beaulieu (Droit coutumier), Warnkönig und Stein (Franz. Staats- und Rechtsgeschichte) и др. Кроме того, во Франции весьма хорошо разрабатывается провинциальная история: литература эта слишком обширна, чтобы на нее здесь указывать, а потому отметим только работы о провинциальных штатах (De Carné — о Бретани, Filon — об Артуа и др.).

сохранения в государственной жизни Франции учреждений феодального происхождения в эпоху полного господства абсолютизма весьма также интересна судьба парижского парламента. Известно, что это было образовавшееся еще в XIII в. высшее судебное учреждение с наследственностью должностей, возникшей из их продажности, и с довольно значительными привилегиями политического свойства: парламент вносил в свои реестры (*droit d'enregistrement*) королевские ордонансы и имел право делать по их поводу ремонстранции (*droit de remontrance*). Нередко он отказывался даже от занесения указов короля в свои списки, и тогда королю оставалось только лично, в торжественном заседании (*lit de justice*) приказывать исполнить его волю. Хотя с развитием королевской власти права парламента и сильно сокращались, но он пользовался каждым удобным случаем для расширения своей власти. В XVII в. парижский парламент с другими верховными палатами сделал даже попытку ограничить королевскую власть в пользу чиновничьей олигархии. Вообще с тех пор, как прекратились созывы генеральных штатов, парламент смотрел на себя как на народное представительство, — каковым он на самом деле не был, — как на учреждение, ограничивающее королевский произвол, как на охранителя законности в государстве.

В XVIII в., т. е. при Людовиках XV и XVI, *королевская власть приходила весьма часто в столкновения с парламентами*, и это даже составляет весьма любопытную страницу в истории Франции при «старом порядке», указывая на то, как абсолютная монархия почти до самого своего конца должна была терпеть около себя учреждение, которое хотя и не было настолько сильно, чтобы ее ограничивать, но тем не менее создавало для нее немало затруднений. Между прочим парламенты (их было несколько, т. к. существовали они и в некоторых провинциях, составлявших независимые от парижского парламента судебные округа) являлись защитниками консервативных интересов в ту эпоху, когда французское правительство вздумало выступить на путь преобразований. Царствование Людовика XIV было временем унижения парламента, и между прочим в 1673 г. парламенту было запрещено делать ремонстранции, но со смертью этого короля названное учреждение снова начинает играть политическую роль. Первым его шагом было кассировать духовное завещание Людовика XIV и сделать регентом — за малолетством Людовика XV — герцога Филиппа Орлеанского, который и возвратил ему *le droit de remontrance*. Еще в регентство герцога парламент прибегал к этому своему праву, но это вызывало неудовольствие правительства, и однажды парламенту было объявлено (1718), что вмешиваться в дела государственные он не имеет права, когда же президент и двое членов сделали попытку сопротивления приказам регента, последний велел их арестовать. Затем произошло, например, столкновение в начале тридцатых годов.

На этот раз дело приняло такой оборот. Парламент, стоявший на стороне янсенистов, протестовал против осуждавшей их папской буллы (*Unigenitus*) и провозгласил в особом постановлении старые вольности галликанской церкви. Королевский совет кассировал это постановление, а Людовик XV отказался принять ремонстранцию и даже велел ее разорвать в присутствии членов парламента, двое из которых были притом сосланы. Тогда парламент прекратил судебную деятельность, и многие члены оставили свои занятия. Правительство отвечало на это новыми изгнаниями, но в конце концов уступило и возвратило изгнанных (1732). Через несколько лет по поводу опять-таки упомянутой буллы парламент был в полном составе изгнан и заменен особою «королевской палатой», но его скоро возвратили, ибо парламент нашел поддержку и в других центральных учреждениях, где заседала наследственная магистратура, и в провинциальных парламентах, и в низших судах, и даже в парижском населении, со стороны которого правительство боялось баррикад (1753). В начале семидесятых годов, т. е. уже в конце царствования Людовика XV, правительство решилось на крайнюю меру — на совершенное уничтожение парламента, о чем речь будет идти еще впереди, но одним из первых распоряжений Людовика XVI было восстановить парламенты, со стороны которых ему, однако, также пришлось встретить оппозицию и с которыми у правительства произошла даже новая борьба в самые последние годы существования «старого порядка». Парламент возник во Франции в первые века старой монархии: вместе они явились на свет и вместе пали. Основую этого учреждения была феодальная курия пэров Филиппа-Августа. Хотя главными его членами и сделались легисты, но продажность должностей, основывавшаяся на феодальном начале смешения государственных и частно-правовых отношений, создавала из парламентской магистратуры особое аристократическое сословие (*noblesse de robe*), привилегированную корпорацию, смотревшую, как на частную свою собственность, на исполнение своих функций, — положение, совершенно несовместимое с бюрократическими порядками, вводившимися абсолютною монархией. Прекращением своей деятельности эта корпорация ставила правительство в затруднение, ибо, только нарушая права законной собственности, королевская власть могла назначить на место сопротивляющихся членов парламента других судей. Вместе с парламентами, учрежденными в других частях государства, парижский парламент был главным хранителем старины — сословных и корпоративных прав, провинциальных и муниципальных привилегий, и в этом отношении все они проявили большую солидарность, когда, например, стали смотреть на себя как на классы, т. е. отделения одного великого целого, во главе которого стояла парижская магистратура.

Королевская власть разрушала во Франции лишь те остатки средневековой старины, которые мешали ее усилению и безраздельному господству

ву, даже охраняя то, что, наоборот, представлялось ей покоящимся на том же принципе, в котором она видела собственное свое основание. При феодальном смещении понятия собственности и власти французская династия смотрела на свои права, как на частную собственность королевской фамилии, совершенно такую же, какую составляли феодальные права дворянства или наследственные должности членов парламента. Такое же двойственное отношение с ее стороны мы наблюдаем и по отношению к провинциальному быту. Франция складывалась постепенно из отдельных феодальных княжеств, ставших провинциями единого государства¹, но *если все эти провинции одинаково были подчинены правительству, управлявшему ими посредством своих интендантов, то в других отношениях они представляли большое разнообразие, как наследие феодальной обособленности*. Интенданта, управлявшего французской провинцией (généralité), сравнивали в XVIII в. с деревенским сатрапом или турецким пашой, ибо ему давалась самая широкая власть, самые широкие полномочия, право вмешиваться во все стороны провинциальной жизни, возможность величайшего произвола. В этом отношении все провинции были приведены к одному знаменателю, но там, где областная жизнь не имела прямого отношения к правительству, оставались в полной почти неприкосновенности старые перегородки, остаток феодального раздробления. В самом деле провинциальный быт Франции представлял собой крайнее разнообразие. В одних провинциях были провинциальные штаты (états provinciaux), и они назывались pays d'états, но число их было незначительно², т. к. в большей части Франции областное сословное представительство было уничтожено, да и значение таких штатов было ничтожно, т. к. положение интенданта оставалось то же самое, был ли он в pays d'états, или в pays d'élection, как назывались провинции, лишенные местного представительства. Состав провинциальных штатов был средневековый, сословный с преобладанием аристократии. Вместе с этим одни провинции в судебном отношении составляли округ парижского парламента, другие имели собственные парламенты, заведенные большей частью во второй половине XV в. и первой половине XVI в. как бы в утешение за потерю этими провинциями былой независимости. Как штаты, там, где они сохранились, главным образом благодаря совершенной своей покорности, так и другие местные учреждения, существовавшие в разных провинциях, имели весьма неодинаковое устройство, например, в Бретани, в Лотарингии то, какое имели при прежних герцогах, в Артуа, во Фландрии, в Руссильоне — из времен испанского владычества. В юридическом отношении Франция делилась

¹ См.: *Mignet*. Formation territoriale de la France (в его Mém. Hist.).

² Languedoc, Provence, Bourgogne, Bretagne, Artois, Hainaut et Cambrésis, Flandre, затем четыре маленькие провинции, составляющие ныне один только департамент (Ain), и, наконец, мелкие провинции на севере от Пиренеев.

на две большие области: в одной господствовало писаное право, римское (на юге), в другой — обычное (на севере), но под этим делением скрывалось великое разнообразие «кутюм», или местных законов, число которых доходит чуть не до трехсот. По самым важным вопросам гражданского права кутюмы отдельных провинций и более мелких делений не сходились между собой: одни кутюмы не допускали существования крепостного права в тех местностях, где действовали (*coutumes franches*), другие, наоборот, признавали серваж, как законное состояние (*coutumes serves*); по одним кутюмам каждый земельный участок предполагался находящимся в зависимости от какого-либо сеньора, который имел известные над ним права, раз участок лежал в пределах территории, на которую простиралась юрисдикция сеньора, т. е. признавалось феодальное правило: «*nulle terre sans seigneur*»¹, тогда как другие кутюмы этого правила не признавали и требовали, чтобы сеньор особым документом доказывал свое право на получение оброков и пошлин с того или другого земельного участка (*nul seigneur sans titre*). Система налогов, их величина равным образом была различная в разных провинциях. Например, при существовании соляной монополии (*la gabelle*), отдававшейся на откуп, и количество соли, которое обязан был купить каждый житель, и цена соли изменялись самым причудливым, самым непостижимым образом. Королевская централизация не уничтожала некоторых хороших сторон в этом развитии местной жизни, но многое представляло из себя феодальный анахронизм, напоминало те времена, когда «гора была одним государством, долина — другим», несмотря на политическое и национальное единство Франции и ее населения. Как устройство и права парламента, так и эта провинциальная обособленность были феодальными «переживаниями» при полном развитии королевского абсолютизма и административной централизации. Благодаря этому, *процесс строения нового государства на новых началах во Франции не был завершен монархией Бурбонов*: то, что сделано было Ришелье и Генрихом IV, так на этом и остановилось — и как раз в ту эпоху, когда одной из задач «просвещенного абсолютизма» было подвести к одному знаменателю местные особенности. Во Франции эта работа была произведена революцией, завершившей процесс объединения в одно политическое целое крупных и мелких провинций, составлявших когда-то феодальные графства и сеньории.

Феодальная примесь была не чужда и другим абсолютным монархиям, но *ни одна большая страна до такой степени не была проникнута феодальными началами в своем политическом быту, как Германия*, или Священная Римская империя немецкой нации: в ее отдельных княжествах утвердился настоящий абсолютизм, но в целом это была чисто феодальная федера-

¹ «Нет земли без сеньора» (фр.). — Прим. ред.

ция, т. к. князья связаны были с императором (по крайней мере, в теории) узами вассальных отношений. Французская революция, нанеся окончательный удар феодализму на своей родине, в победоносном своем шествии по Европе была тем толчком, от которого рассыпалось здание средневековой империи, бывшее настоящим анахронизмом в XVIII в. В Германии, рассматриваемой как одно целое, в конце Средних веков восторжествовали начала феодальные над государственными, хотя последние и получили перевес над первыми в отдельных ее княжествах, по крайней мере, наиболее крупных, и главные события новой немецкой истории — Реформация в XVI в. и Тридцатилетняя война в XVII столетии только содействовали дальнейшему разложению Германии. Вестфальский мир узаконил последнее окончательно, и с середины XVII в. до разрушения средневековой империи французами внутренние политические отношения Германии не испытывали существенных изменений.

Из борьбы между центральной и территориальными властями, перешедшей в острый период в эпоху реформ Максимилиана I, победителями вышли представители последней, т. е. князья. Вестфальский мир признал за ними полный суверенитет (*Landeshoheit*) с правом заключать союзы между собою и с иностранными державами, лишь бы союзы эти не были направлены против императора и империи. Германия сохранила имя империи, но в действительности это была федерация великого множества крупных, средних и мелких владений — королевств, курфюршеств, герцогств, княжеств, графств, ландграфств, маркграфств, «окняженных» (*gefürstete*) графств, архиепископств, епископств, пробств, аббатств, владений духовных орденов, владений имперского рыцарства и вольных городов, которые и составляли непосредственные (*reichsunmittelbare*) чины империи в отличие от чинов отдельных земель, бывших в посредственном отношении к империи: всех княжеств было более трехсот, имперских городов в XVIII в. — 51, непосредственных рыцарских владений (главным образом на западе Германии, где вообще развилось мелкодержавие) — около полутора тысяч. В этом политическом раздроблении мы должны видеть первый признак политического феодализма, вторым признаком которого является, как известно, смешение власти государя с властью помещика вследствие перехода суверенитета к крупным землевладельцам. И этот признак мы встречаем в Германии XVIII в.: если более крупные владения были государствами в полном смысле этого слова, то более мелкие представляли из себя настоящие феодальные сеньории, и чем мельче были княжества и графства, тем более походили они на большие поместья, пока в имениях имперских рыцарей мы не видим сохранения самых дробных сеньорий, над которыми существовала лишь призрачная власть императора. Наконец, что касается до третьего элемента политического феодализма, т. е. до ленной связи между отдельными владениями (и их

иерархии), то и она обнаруживается в политическом устройстве империи: все непосредственные чины последней находились по отношению к императору в чисто вассальной зависимости, делавшей из его власти простой призрак (*simulacrum inane*) или, как выразился Иосиф II, *un fantôme d'une puissance honorifique*¹. Император был избранный курфюрстами; его права определялись и все более и более ограничивались избирательными капитуляциями; наиболее могущественные князья уклонялись от личного принесения присяги, посылая вместо себя заместителей, которые и участвовали в церемонии. Мало того: в Германии сохранилась еще одна черта средневекового феодализма. Если Реформация нанесла удар церковному землевладению вообще, а развитие королевской власти поставило епископов и аббатов, сохранивших свои земли в католических странах, в положение подданных, хотя бы и привилегированных, то для католической Германии до самой революции как бы не бывало Реформации и не существовало новых государственных отношений. В Средние века епископы и аббаты были не только землевладельцами, но и феодальными сеньорами с суверенной властью, и такой политический феодализм в церкви сохранился только в Германии. В самом деле, среди ее княжеств одни были светские, другие — духовные, а между последними находились три архиепископства с курфюршескими правами — архиепископства майнцское, кельнское и трирское. Все это несомненным образом свидетельствует о том, что в Германии XVIII в. еще в полной силе были принципы политического феодализма.

При старых феодальных порядках совместное действие территориальных властей возможно было лишь при взаимном их соглашении. Поэтому они собирались на съезды (сеймы), имевшие характер международных конгрессов: таково было, например, и происхождение французских генеральных штатов, но в то время как последние все более и более превращались в собрание сословных представителей единого государства, немецкий имперский сейм (*Reichstag*) из съезда духовных и светских вельмож империи, по мере все большего и большего ее раздробления, все более и более делался конгрессом самостоятельных государей. Вестфальский мир окончательно превратил имперский сейм в такой конгресс, для решений которого (*Reichsconclusum*) требовалось единогласие трех его палат, или курий — курфюршеской, княжеской и городской. Участвовали в рейхстаге все непосредственные члены империи, кроме имперского рыцарства, обладая (после Вестфальского мира) 230 голосами (8 курфюрстов, 69 духовных князей, 96 светских, 51 имперский город, 2 голоса неокняженных прелатов, четыре голоса от всех графов и «господ»). На сейме были вечные раздоры, усложнявшиеся вероисповедными отличиями (*corpus catholicorum* и *corpus evan-*

¹ Призрак почтенного могущества (фр.). — Прим. ред.

gelicorum) и частными союзами¹. В 1663 г. имперский сейм превратился в постоянное учреждение (*der immerwährende Reichstag*), просуществовавшее до 1806 г., но в нем заседали уже не сами князья, а их послы; местом его заседаний сделался Регенсбург, и члены регенсбургского магистрата весьма часто брали на себя представительство других имперских городов. Бессилие этого учреждения, медленность его делопроизводства, формализм, заменявший собою живое дело, пустые препирательства из-за этикета — все это в XVIII в. делало имперский сейм посмешищем: Фридрих II сравнивал его с собранием собачонок, лающих на луну.

В ту эпоху, когда централизация всюду делала большие успехи, в *Германии центральные учреждения падали*. Императорская власть превратилась в простое почетное звание. Князья освободились и от военной службы империи, и не платили никакой дани императору: у последнего, как такового (а не как у австрийского государя), не было войска, а доходы его упали до полутора десятка тысяч гульденов, складываясь из взносов имперского рыцарства (*charitatis subsidium*), подати городов, еврейской пошлины и т. п. Общеимперская администрация, во главе которой стоял архиепископ-курфюрст майнцский, существовала более на словах. Чем был имперский сейм, обладавший законодательной властью, мы только что видели, но и общеимперская судебная власть, представлявшаяся верховным имперским судом, была не в лучшем положении. Рейхскаммергерихт, заседавший в Вецларе, мог разбирать споры вассалов и жалобы подданных, но распадение империи совсем его обессилило: во-первых, еще раньше стал с ним конкурировать имперский надворный суд (*Reichshofrath*), учрежденный в Вене для габсбургских земель, но охотно принимавший и не подведомственные ему дела; во-вторых, наиболее значительные князья пользовались привилегиями, освобождавшими их от этого суда (*privilegium de non evocando* и *privilegium de non appellando*); в-третьих, возможен был еще «рекурс» недовольных судебным решением к сейму.

Насчет этого падения центральных учреждений развились, на западе Германии в особенности, все черты политического феодализма. Мелкодержавие было главным образом сильно в юго-западном ее углу, а более всего по Рейну, Неккару, Майну и по Дунаю: здесь было наибольшее количество мелких княжеств и графств, духовных владений, имперских городов, здесь же существовала масса имперского рыцарства (*reichsunmittelbare Ritterschaft*), т. е. феодального дворянства, избежавшая участи тех членов своего сословия, которые сделались подданными князей (*Landesadel*), и имевшая свою особую федеративную организацию с рыцарскими съездами (*Rittertag*'и, *Kreisconvent*'ы и т. п.). Мелкие князья и имперские рыцари

¹ *Joachim*. Die Entwicklung des Kleinbundes vom Jahre 1658; *Joachim und Pribram*. Beitrag zur Gesch. Des Kleinbundes von 1658.

были полновластными господами в своих владениях, подобно более крупным государям, и особенно в отношении к имперским рыцарям, лишь теоретически признававших над собою власть императора, было незащищено крестьянство, жившее в их имениях. Члены рыцарского сословия, подобно польской шляхте, проводили время в попойках, в охоте, в раздорах между собою или служили при дворах князей, во владениях которых были вкраплены, так сказать, их поместья, и здесь разорялись на придворную роскошь, делаясь должниками князей: последние часто за неуплаченные ссуды отбирали у рыцарей их земли, превращая самих владельцев в безземельных господчиков и пристраивая их у себя на службе. Рыцарство было, кроме того, тем сословием, из которого выходили и владетельные прелаты. Духовные князья правили своими землями при помощи соборных капитулов и избирались из среды каноников, или соборных господ, как они назывались (*Domherren*), попадать же в число последних могли только лица из известных фамилий (*stiftsfähige Familien*), иногда с обозначением необходимого числа благородных предков (16 в Майнце и Трире), чтобы получить такое право. В сущности, за исключением крупных князей, все мелкие державцы были суверенной аристократией, стремившейся подражать настоящим государям, а в их владениях самым нераздельным образом соединялись черты патриархально-помещичьего быта и хозяйского вмешательства в жизнь крепостного крестьянства с чертами полицейского государства и придворными нравами. В самой власти Гогенцоллернов в Бранденбурге весьма сильны были черты помещичьего управления. Император, сколько от него зависело, охранял мелкие княжества и имперское рыцарство от более крупных князей, не желая усиления последних.

В таком устройстве Германии видели основу «немецкой свободы» (*deutsche Libertät*), но подобное понимание свободы было чисто феодального характера. Это была свобода местной жизни от правительственного центра, хотя бы сама эта жизнь, как то и было в Германии при развитии княжеского абсолютизма, устраивалась на иных началах, т. к. это была свобода лишь территориальных властей, а не всего населения, свобода вассалов по отношению к сюзерену, а не свобода подданных по отношению к князьям. Священной Римской империи приписывалось даже республиканское устройство, т. к. верховная власть принадлежала в ней не одному монарху, а совокупности отдельных «чинов», и с этой стороны Германия действительно была такой же федеративной республикой, какую представляла собой «пресветлейшая» (*najjaśniejsza*) Речь Посполитая польская, бывшая федерацией республиканских воеводств с широкой свободой шляхты и совершенным бесправием народа. В феодальном обществе свобода была вообще привилегией одной аристократии, и этот же характер имела *die deutsche Libertät* XVIII в. И настоящие республики

XVIII в., как муниципальные, так и федеративные, не были демократиями: и в них свобода была аристократической привилегией. Впервые демократическая республика была осуществлена только в Северной Америке, где на новых же началах образовалась и политическая федерация¹.

Вообще западноевропейские республики, существовавшие еще в XVIII в., носили на себе следы своего происхождения в феодальном строе. В этом отношении особенно любопытны Нидерланды со своими старинными штатами, в которых представлены были сословно-корпоративные интересы: устройство их было одинаково и в той части, которая образовала из себя республику, и в той, которая осталась за Испанией, а в XVIII в. перешла к Австрии. Республика соединенных штатов состояла из семи провинций: Гельдерна, Голландии, Зеландии, Утрехта, Фрисландии, Гренингена и Оберисселя, в которых было чисто олигархическое правление с преобладанием буржуазии над дворянством. Штаты отдельных провинций выбирали депутатов, которые собирались в Гааге в качестве представителей республики перед иностранными державами и решали вопросы о войне и мире (*leurs hautes puissances les états généraux*). Но такие же штаты существовали и в отдельных провинциях, находившихся в австрийских Нидерландах (Бельгии), где, например, Брабант пользовался особенно большими привилегиями. И здесь, и там крайний партикуляризм провинций, бывших когда-то самостоятельными княжествами, страшное разнообразие местных прав и устройства, сословные и корпоративные привилегии и т. п. были наследием политического феодализма, хотя одна часть Нидерландов входила в состав абсолютной монархии, а другая составляла самостоятельную республику. Таким образом, и старое республиканское устройство не уничтожало еще окончательно следов феодализма.

¹ По истории федерации см. сочинение Freeman'a «History of federal government».

V. Английский парламент в XVIII в.¹

Законодательная власть в континентальных государствах XVIII в. — Законодательная власть в Англии. — Общий взгляд на парламент в XVIII в. — Декларация прав 1689 г. и акт о престолонаследии 1701 г. — Английские политические партии и их положение при Вильгельме III и Анне. — Возникновение конституционного министерства и положение первых двух Георгов. — Господство вигов и семилетний парламент. — Министерство Роберта Вальполя. — Что такое кабинет? — Взаимные отношения законодательной и исполнительной властей в старых конституциях. — Система подкупов в Англии. — Отношение парламента к политической прессе. — Учение Блэкстона о правах парламента.

Государственная жизнь для правильного своего течения нуждается в постоянной законодательной деятельности, для которой в каждом государстве должны существовать особые учреждения, будут ли они зависеть исключительно от главы государства или представлять собой общественные силы. Одним из крупных недостатков государственной жизни XVIII в. было крайнее несовершенство учреждений, ведавших эту ее сторону, и притом одинаково, как в абсолютных монархиях, так и в государствах, имевших иные политические формы. В эпоху сословной монархии законодательная власть делилась между королем и государственными чинами, но последние, как мы видели, или прекратили свое существование, или пришли в упадок, и королевская власть сделалась единственным источником законов на основании принципа римского права: *quod principi placuit legis habet vigorem*². Переход законодательной власти к королям возлагал на них задачу создать зависимые от них учреждения, через которые они могли бы осуществлять это свое право, но именно указываемая задача была выполнена самым неудачным образом. С другой стороны, на материке существовали государства, в которых законодательная власть принадлежала сей-

¹ В настоящей главе история Англии в XVIII в. ограничивается лишь развитием прав парламента, прошлое которого рассматривается в гл. VII, VIII, IX книги «Переход от Средних веков к Новому времени» и тех отделах книги о Реформации, где речь идет об истории Англии в XVIII в. вообще, кроме общих историй Англии или XVIII в. (между прочим, у Онкена в *Das Zeitalter Friedrichs des Groszen*, о котором выше на с. 7), см.: *Вязинский Г.* Англия в XVIII столетии; *Lecky.* History of England in the XVIII century (нем. перев. Löwe); *Mahon.* History of England, 1713—1783; *MacCarthy.* A history of the four Georges; *Cornewal Lewis.* Histoire gouvernementale de l'Angleterre depuis 1770 jusqu'à 1830 (перевод с англ.); *Erschine May.* Constitutional history of England, 1760—1860 (есть франц. и нем. переводы); *Alpheus Todd.* Parliamentary government in England (нем. перев. Ассманна; сочинение это посвящено кабинету, об образовании которого см. еще в новой книге Dupriez «Les ministres dans les principaux pays d'Europe et d'Amérique»).

² Что угодно повелителю, то имеет силу закона (*лат.*). — *Прим. ред.*

мам или штатам, но и в этом случае отправление ими законодательной функции представляло большие несовершенства. В самом деле, старая монархия не особенно заботилась о том, чтобы выработать правильный порядок законодательства. «Просвещенный абсолютизм» показал, что в данном случае все зависело от энергии и личного усмотрения монарха или первого министра, как это мы и увидим в другом месте. Во Франции ордо-нансы, эдикты, декларации и другие акты, исходившие от верховной власти, переходили через руки канцлера, бывшего обыкновенно и хранителем королевской печати (*garde des sceaux*), но это была чуть не единственная форма в деле законодательства, т. к. король решал все важные дела самым различным образом, советуясь то с одними лицами, то с другими, причем королевский или государственный совет (*conseil du roy, conseil d'état*) менялся в своем составе, смотря по роду рассматриваемых дел, и даже получал различные названия (для политических дел *conseil d'en haut, conseil étroit, conseil secret, conseil de cabinet*), а нередко заменялся частным совещанием двух-трех министров; особого же учреждения, которое выдавало бы только одно законодательство, не существовало¹. Нередко, впрочем, образовывались особые комиссии для выработки новых законов, но все это не было регулировано каким-либо постоянным порядком. Ненормальность в устройстве этой части увеличивалась вследствие притязания парламента на участие в законодательстве своим *veto*: право *d'enregistrement* и *de remontrance* было тормозом, нередко задерживавшим правильное течение дел, не говоря уже о том, что этими отношениями создавалось какое-то странное двоевластие — абсолютного короля и наследственной магистратуры. В Священной Римской империи, бывшей республикой князей и автономных городов, законодательная власть принадлежала имперскому сейму, разделенному на три коллегии, и для издания какого-либо закона требовалось единогласие последних, весьма редко осуществлявшееся. Но в особенном расстройстве была законодательная деятельность польского сейма: известно учреждение *liberum veto*², в силу которого сопротивление одного земского посла могло уничтожить не только любое постановление сейма, но и все уже на данном сейме состоявшиеся решения; известно срывание сеймов, которое было обычным делом с середины XVII в. до середины XVIII в.; менее известно то, что земские послы были связаны инструкциями сеймиков, их выбиравших и требовавших еще, чтобы дело, решенное на сейме, подвергалось еще рассмотрению сеймиков, которые были вольны и не принимать сеймовых постановлений³.

¹ *Aucoc*. Le conseil d'état avant et depuis. 1789.

² Свободное вето (*лат.*). — *Прим. ред.*

³ *Pawicki* A. Rządy sejmikowe w Polsce. См. также наш «Исторический очерк польского сейма». Единогласие требовалось по некоторым делам и нидерландскими генеральными штатами.

Правильный законодательный порядок выработался только в Англии. Уже к концу Средних веков в этой стране развилась законодательная инициатива парламента посредством так называемых биллей, и утвердился известный порядок при издании законов. В XVII в. английскому парламенту пришлось дважды вступать в борьбу с королевской властью за свои права. Революция 1689 г. утвердила эти права и повела к их расширению в XVIII в., после чего *конституционные учреждения Англии сделались предметом для подражания при организации законодательной власти и в континентальных государствах*. Дело в том, что в политическом строе Англии осуществились совершенно новые начала сравнительно с другими странами, в которых сохранились средневековые чины, и когда на материке Европы началось движение в пользу участия народа в законодательстве, многие формы этого участия, выработанные английским парламентом, оказались применимыми и в других государствах. Английская история совсем не развила замкнутых сословий с особыми правами и привилегиями, в силу чего парламент не был сословным представительством, подобным континентальным государственным сеймам, а с другой стороны, парламенту было чуждо начало конгрессивности, требовавшее единогласия депутатов, как это мы видим в Польше или Нидерландах, ибо здесь утвердилось право большинства не только на то, чтобы решать законодательные вопросы, но и на то, чтобы выделять из своей среды правительство страны в лице министров или вернее — министерства. Опережая другие государства, Англия, однако, сохраняла и многие черты старого быта. Новейшее общественное движение получило демократический характер: хотя английский парламент и не был представительством сословным, но он далеко не был и учреждением демократическим, ибо, благодаря существованию имущественного ценза, дававшего политические права лишь одному классу, нижняя палата была открыта только для представителей этого общественного класса, не говоря уже о сохранении Англией феодального принципа в законах, регулирующих поземельную собственность. Другие стороны избирательной системы, бывшие, как увидим, источником больших зол в государственной жизни Англии, вели свое происхождение прямо из Средних веков и стали требовать самым настоятельным образом реформы, вопрос о которой и был поставлен во второй половине XVIII в., чтобы впервые быть разрешенным (да и то не вполне) только в 1832 г. Наконец, самое правление, опиравшееся на большинство в парламенте, искажалось на практике тем, что министры создавали необходимое для них большинство посредством подкупов, а это имело результатом большую продажность членов парламента. Все это составляло и в Англии свои «старые порядки», за которые крепко держался правящий класс. Но если Англия нуждалась в реформе парламента, то последняя отнюдь не касалась об-

ших принципов, на которых основывался ее государственный строй: напротив того, основы этого строя получали дальнейшее развитие; и английская конституционная монархия послужила образцом для политических преобразований, начавшихся в Западной Европе с 1789 г.

Вторая английская революция, низвергшая Иакова II и посадившая на престол Вильгельма III, была началом новой эпохи в истории английского парламента. Декларация прав (declaration of rights) 1689 г. вместе с Актом о престолонаследии (act of settlement), вскоре (1701) за ней последовавшим, являются последними великими законодательными памятниками, ограничившими королевскую власть в Англии: magna charta libertatum¹ 1215 г. открывает собой, а act of settlement 1701 г. заключает ряд хартий, на которых зиждется английская конституция. Декларация прав, в форме Билля о правах (bill of rights), сделавшаяся государственным законом Англии, содержала в себе перечисление законов, нарушавшихся Стюартами, и подтверждение известных принципов английского государственного права, как стоящих вне всякого спора. Именно этот Билль провозглашал незаконность суспенсивной и диспенсивной власти, на которую заявлялось притязание со стороны Стюартов, т. е. объявлялось, что король не имеет права ни останавливать действие законов без согласия парламента, ни кого бы то ни было по своему усмотрению освобождать от их исполнения; далее признавалась незаконность учреждения всяких исключительных, или чрезвычайных судов, взимания денег в казну без согласия парламента или в течение более продолжительного срока и иными способами, нежели те, какие определялись парламентом; утверждалось право подданных подавать петиции, а какие бы то ни было по поводу их преследования и аресты запрещались; запрещалось набирать и содержать в королевстве постоянное войско в мирное время без разрешения парламента; парламентские выборы должны были быть свободны; вместе с этим обеспечивалась свобода речи, прений и образа действий в парламенте от всякого постороннего вмешательства, обеспечивалось и правильное и свободное действие суда присяжных; для уничтожения злоупотреблений и для улучшения законов парламенты должны были созываться как можно чаще. В Декларации прав была еще статья, которой объявлялось неспособным к царствованию в Англии всякое лицо римско-католического вероисповедания. Акт о престолонаследии переносил право престолонаследия в Англии по смерти Вильгельма III на его свояченицу Анну (вторую дочь Иакова II), а после ее бездетной кончины — на курфюрстину ганноверскую Софию (внучку Иакова I по его дочери Елизавете и дочь Фридриха V Пфальцского) с ее протестантским потомством, но в этот акт были включены весьма важ-

¹ Великая хартия вольностей (лат.). — Прим. ред.

ные статьи, бывшие как бы дополнениями к Биллю о правах ввиду возможности перехода английской короны к иноземным государям, т. е. к ганноверским курфюрстам. Две из этих статей (запрещение королю выезжать из Англии, Шотландии и Ирландии без разрешения парламента и недозволение быть членом парламента всякому, кто имеет от короля оплачиваемую жалованием должность или получает от короны содержание) были вскоре отменены, а одна из них заменена (1706) постановлением, в силу коего каждый член парламента, получающий какую-либо коронную должность, должен был слагать с себя депутатские полномочия и подвергаться новым выборам. Другие статьи сделались основными законами: король должен принадлежать к англиканской церкви; Англия не обязана была защищать посторонние владения своего короля; все дела, решающиеся в тайном совете (*privy council*), по-прежнему должны в нем решаться, но так, чтобы каждое состоявшееся в нем постановление непременно подписывалось тем членом тайного совета, который дал на него свой совет и согласие; отдельной статьей запрещалось поручать какие бы то ни было должности неангличанам; судьи, хорошо исполняющие свою должность, признаны были несменяемыми (а размер их жалованья должен был быть прочно и твердо установлен), и только по представлению обеих палат парламента могло происходить их смещение; наконец, королевское помилование не должно, было иметь силы в случае обвинения нижней палатой парламента¹. Впервые в этом парламентском акте поставлены были вне всякого спора три важных принципа английской конституции: ответственность министров за все правительственные действия, независимость судей от короны и исключительная юрисдикция парламента по отношению к министрам и судьям. Оба акта — и *bill of rights*, и *act of settlement* — создавали для парламента положение, какого он добивался раньше, т. е. и в конце Средних веков, и в первую революцию², хотя сами эти акты и не осуществляли еще всего, к чему стремился долгий парламент во время окончательного разрыва с Карлом I. Раз королевская власть поставлена была в строго ограниченные рамки, парламент же привыкал делать все, в чем ему препятствовать корона более не была в состоянии, то и без новых законодательных актов, подобных только что рассмотренным, парламент мог фактически получить и закрепить за собою в силу своего рода обычного права, путем прецедентов — наиболее важные из тех привилегий, которых он напрасно

¹ По истории воцарения в Англии ганноверской династии см.: *Schaumann. Geschichte der Erwerbung der krone Grossbritaniens von seiten der Hauses Hannover; Meinardus. Die Succession des Hauses Hannover in England.*

² Напомним 19 требований 1642 г. (см.: *Кареев Н. И. История Западной Европы в Новое время. Развитие культурных и социальных отношений. Реформация и политическая жизнь в XVI и XVII вв. Гл. XXXV. М.: Академический проект, 2015. — Прим. ред.*).

добивался в сороковых годах XVII в. В числе требований, предъявленных тогда Карлу I, были между прочим, такие: никто не может заседать в совете, кто неприятен парламенту; лишь те действия короля могут иметь силу, которые прошли через его совет и подписаны советниками; назначения на важные государственные должности должны делаться с согласия парламента; новые пэры быть могут создаваемы лишь с согласия обеих палат и т. д. Существенное из этих требований, как мы увидим, исполнилось при первых двух королях из ганноверского дома — при Георге I (1714—1727) и Георге II (1727—1760 гг.), благодаря ловкости министра Роберта Вальполя, занимавшего свой пост в течение двадцати с лишком лет (1721—1742 гг.) в конце царствования Георга I и в первую половину царствования Георга II¹: в это время и кладется начало тому порядку вещей, результатом которого было образование конституционного министерства, или кабинета, сделавшегося главной опорой парламентаризма.

Главными деятелями в установлении парламентского режима в XVIII в. были виги. Эта партия, образовавшаяся, как и противоположная партия ториев, в царствование Карла II, стояла на той точке зрения, что между королевскою властью и нацией существует договор и что в случае нарушения договора со стороны короны нация имеет право сопротивления. Революция 1689 г. совершилась во имя именно этого самого принципа и потому должна была доставить перевес партии, на нем основывавшей свою политику. Возведение на престол Вильгельма Оранского и передача короны ганноверскому дому, Декларация прав и Акт о престолонаследии были как раз делом вигов, тогда как крайние тории, державшиеся учения о неотчуждаемости наследственных прав династии, прямо даже сделались врагами нового правительства и стали составлять против него заговоры и делать попытки восстания. Якобиты, сторонники короля, лишившегося английской короны, а по его смерти ставшие на сторону его сына (Иакова III), в течение полувека не теряли надежды на реставрацию Стюартов: ряд их попыток тянется с начала царствования Вильгельма III до середины XVIII в., когда внук Иакова III, принц Карл Эдуард с большой отвагой предпринял отвоевание английской короны у царствовавшего тогда в Англии Георга II (1745—1746). Связь торизма с якобизмом заставляла английских королей первой половины XVIII в., особенно же ганноверскую династию, видеть в вигах главную опору существующего порядка. Хотя у Вильгельма III были столкновения с вигами, и хотя он охотно сближался с более умеренными ториями, тем не менее главной опорой его царствования были виги, имевшие большинство в парламенте. Энергичная борьба, которую этот король вел против Людовика XIV, много содейство-

¹ Старое (1816 г.) соч. *William Coxe*. *Memoirs of the life and administration of sir Robert Walpole, earl of Oxford*. Новое о нем соч. G. Morley.

вала утверждению парламентского влияния в духе вигистских стремлений. Англичане были недовольны Вильгельмом III, находя, что он слишком стремится к личному правлению и что интересы Голландии, где он был наследственным штатгальтером, он ставит выше интересов Англии, и думая, что последние вовсе не требовали войны с Людовиком XIV, но, с другой стороны, яacobитские происки и покушения заставляли англичан видеть в Вильгельме III охранителя их политических вольностей и национальной независимости. Со своей стороны, нуждаясь постоянно в новых средствах для предпринятой им борьбы против Людовика XVI, и сам король не ограничивался одними убеждениями палаты общин в необходимости войны с Францией, но делал ему и уступки. Члены парламента стали выбираться лишь на три года (закон 1694 г.); парламенты стали собираться ежегодно; контроль палаты общин над государственным бюджетом стал более реальным. Вильгельм III противился, однако, тому, чтобы быть заодно исключительно с вигами, и стремился соблюдать равновесие между обеими партиями, ища поддержки преимущественно между более умеренными представителями торизма и вигизма и делая своими советниками как тех, так и других. Но уже тогда парламентское большинство постоянно нападало на неугодных ему министров, и уже наметился тот выход из мелочной политической борьбы, который заключался в *установлении солидарности между парламентским большинством и министерством посредством назначения министров из господствующей партии, чем достигалась и однородность (homogeneity) министерства*. Королева Анна, наследовавшая Вильгельму III (1702—1714), вынуждена была опираться на вигов, несмотря на свои торийские сочувствия и на то, что вообще держалась принципа, по которому королевская власть не должна быть слугой одной какой-либо партии, а обязана поддерживать равновесие между всеми партиями, чтобы над ними господствовать. Сила вещей заставляла, однако, королеву идти во внешней политике заодно с вигами, требовавшими продолжения борьбы с Людовиком XIV (война за испанское наследство), и только заведывание внутренними государственными делами она не отдавала исключительно в их руки. Известно, что на сторону вигов склоняла Анну и ее приятельница, имевшая на нее большое влияние, леди Мальборо, знаменитый муж которой играл такую выдающуюся роль в войне за испанское наследство, и лишь в конце своего царствования королева отделалась от этого влияния и открыто перешла на сторону ториев, которые, впрочем, независимо от этого получили и большинство в парламенте под влиянием недовольства затянувшейся войной. На место павшего Мальборо, осужденного притом парламентом за утайку вверенных ему денег, стал Болингброк¹, образовавший торийское министерство (1710) и заключив-

¹ Brosch M. Lord Bolingbroke und Whigs und Tories seiner Zeit.

ший выгодный для Англии Утрехтский мир (1713); это был первый пример замены одного однородного министерства другим таким же, хотя и не в исключительной зависимости от перемены в парламентском большинстве. *Устанавливавшаяся однородность министерств сообщала большую силу правительству как представителю исполнительной власти, но вместе с этим вела к подчинению министров парламентскому большинству.* Установление новых отношений между советниками короны и парламентом — главный факт в истории развития английских политических учреждений в XVIII в. Мало-помалу министры, бравшиеся из парламентского большинства, сделались и его вождями, а оппозиционное меньшинство, прибегавшее раньше к заговорам и восстаниям, обратилось к легальным способам борьбы, дававшимся парламентской жизнью, и превратило в столь же законную «оппозицию его величества»¹, сколь законно было и существование «министерства его величества». Анна, при которой еще произошло слияние (1707) Англии и Шотландии в одну Великобританию с участием шотландцев в лондонском парламенте, умерла в 1714 г. и на английский престол вступила ганноверская династия.

Первые два Георга были в Англии иностранцами, привязанными к своему родовому Ганноверу, плохо понимавшими внутренние отношения своего нового королевства, чувствовавшими себя в нем одинокими, боявшимися якобитских происков, заговоров и восстаний; притом еще это были люди, лишенные способностей и энергии. Возведение их на английский престол было делом вигов, и весьма естественно, что первые два короля из ганноверской династии должны были видеть главную опору своего престола в этой партии, которая, кроме того, пользовалась сочувствием большинства нации, сумела прочно организовать в сплоченную политическую силу и выставила нескольких замечательных государственных деятелей. Лишь при восшествии на престол Георга I должны были получить силу главные статьи Акта о престолонаследии, ибо они и были составлены главным образом ввиду возможности перехода короны к иностранному государю, хотя когда они писались, никто еще не мог предвидеть, когда это случится, при каких обстоятельствах, при каких отношениях между партиями. Незадолго до смерти Анны пало, как было упомянуто, министерство Мальборо, принявшее вигистский характер: одним из видных его деятелей был молодой еще в то время человек (род. 1776) Роберт Вальполь, сделавшийся членом парламента и примкнувший к вигам еще в 1701 г. Преследованием, какому он подвергся со стороны ториев, и борьбой с ними он обратил на себя всеобщее внимание, а в парламенте 1714 г. был одним из самых главных бойцов оппозиции. Минута для партии была ре-

¹ См. доказательства у Дайси (Государственное право Англии. Рус. пер., под ред. П.Г. Виноградова).

шительная: королева Анна мечтала о передаче короны своему брату Иакову III; ожидался билль об отмене Акта о престолонаследии 1701 г.; якобиты готовы были к тому, чтобы прямо вести войну за права своего претендента. Смерть королевы расстроила все приготовления, делавшиеся к новой реставрации Стюартов, и первым делом нового короля было образование министерства из членов партии, поддерживавшей его права на престол, что было уже настоящим началом организованного правления партии в английской государственной жизни. Не зная английского языка, Георг I не мог лично заниматься делами со своими министрами, не мог сам произнести и тронную речь при открытии парламента. Со своей стороны, министерство (Townshend-Stanhope) обратилось к избирателям с прокламацией, приглашая прислать в парламента людей, остававшихся верными протестантскому престолонаследию, когда оно подвергалось опасности; выборы 1715 г. дали действительно перевес вигам, отняв значительную часть мест у ториюв, которым принадлежало большинство в предыдущем парламенте. С самого же начала победители задумали упрочить свое господствующее положение, продолжив свои полномочия в парламенте с трех лет, установленных законом 1694 г., на семь лет (1716), и они имели на это полное право: Англия не знает различия между конституционными и обыкновенными законами, и то, что законно постановлено было одним парламентом, столь же законно другим парламентом может быть отменено¹. Вместе с этим виги отменили ту статью Акта о престолонаследии, по которой король без разрешения парламента не мог отлучаться из страны: Георга I постоянно тянуло в родной Ганновер, тем более что с сыном он жил не в ладах и боялся усиления его значения в Ганновере во время своего отсутствия, и обе английские партии единогласно согласились на то, чтобы король ездил в Ганновер, когда ему будет угодно.

В 1721 г. наконец сделался первым министром Роберт Вальполь, а парламентские выборы следующего года дали опять вигам громадное большинство. Еще в тронной речи 1721 г. Вальполь начертал программу своей будущей деятельности: это было расширение английской торговли, облегчение вывоза английских мануфактурных продуктов и ввоза сырья, необходимого для выделки фабрикатов, уничтожение вывозных и ввозных пошлин и увеличение флота, т. е. торговые и промышленные интересы выдвигались на первый план перед всеми церковными и политическими вопросами, волновавшими английскую нацию до того времени. В этой тронной речи от имени короля провозглашалось, что торговля и богатство его народа суть золотые плоды принадлежащих ему вольностей и лучшее украшение короны. Мы еще увидим, что популярность такой правитель-

¹ См. доказательства у Дайси (Государственное право Англии. Рус. пер., под ред. П. Г. Виноградова).

ственной программы возможна была в Англии, лишь благодаря тому, что старую землевладельческую аристократию вытеснила к этому времени аристократия денежная, которая и стала делаться правящим классом в Англии в эту эпоху. Мы увидим также, что этот класс, парламентским вождем которого и был Роберт Вальполь, превратился в настоящую олигархию, сделав из денег прямое орудие власти посредством системы подкупов, которую напрасно ставили в упрек исключительно одному Вальполю. Для нас здесь, однако, особенно важно то, что этот министр, каковы бы ни были его личные качества и политические средства, положил прочное основание парламентаризму, прибегая даже к подкупу членов парламента для того, чтобы иметь на своей стороне большинство, без которого уже мудрено было теперь оставаться у власти. Положение Вальполя сделалось было весьма затруднительным с воцарением Георга II: еще наследником престола он ненавидел министра своего отца; английские отношения он знал лучше, нежели покойный король, так что при нем много труднее было первому министру оставаться хозяином в правлении государством; наконец, он говорил по-английски и мог лично вести дела с министрами. Вальполь тем не менее удержался: через него можно было иметь деньги, и только он мог пообещать, что парламент увеличит королевское содержание (цивильный лист) и назначит вдовью пенсию королеве, имевшей влияние на супруга. Поддерживаемый парламентским большинством и склонивший на свою сторону нового короля, «великий коммонер» оставался господином положения, стоя во главе однородного министерства до самого своего падения в 1742 г. Внешняя политика Вальполя, которой он старался угодить двору¹, вызвала против него в конце концов оппозицию в парламенте, распущенном весной 1741 г., а новый парламент, собравшийся зимой того же года, уже в прениях по поводу ответного адреса на тронную речь сделал нападение на министерскую политику, после чего голосование оставило Вальполя в меньшинстве. Первый министр покинул тогда свой пост; и с тех пор сделалось общим правилом для министров, не имеющих большинства, отказываться от своих должностей (если только они не предпочитали обратиться к стране, распустив парламент и назначив новые выборы).

Министерство Роберта Вальполя, таким образом, было *первым парламентским кабинетом в новом смысле, т. е. в смысле исполнительного комитета парламентского большинства, управляющего государством и пользующегося правами, которые обыкновенно называются правами короны*. Этого учреждения еще не знает государственное право Англии, вышедшее из революции 1689 г. Хотя уже давно установился в Англии принцип, по ко-

¹ Это было в начале войны за австрийское наследство, в которой Англия выступила защитницей прагматической санкции в связи с ганноверскими интересами.

тому король не может быть несправедливым (*the king cannot wrong*), и все незаконные действия короля вменяются в вину его дурным советникам¹, тем не менее настоящая ответственность министров установилась в Англии лишь в XVIII в. Мы знаем, что для законности актов, исходящих от королевской власти, закон 1701 г. требовал подписи под ними министров, не заключая в себе, впрочем, прямого указания на их ответственность. В 1711 г. палата лордов положительным образом утвердила принцип, что глава государства не отвечает лично за правительственные акты, но что ответственность за них падает на министров, а потому, говорилось далее, прерогатива короны не подлежит критике или совету парламента. Это было весьма важное заявление: делаясь неответственной за свои действия, корона в Англии лишалась всякой власти над министрами и парламентом, ибо она могла пользоваться теперь своей прерогативой лишь в зависимости от содействия ей со стороны ответственных министров и как бы под условием согласия со стороны парламента, перед которым министры были ответственные. Благодаря этому, *вся исполнительная власть перешла в руки министерства, последнее же сделалось только правительственным комитетом большинства нижней палаты парламента*. Это хорошо понимал уже Георг II. Когда во время одного политического столкновения в 1745 г. тогдашний лорд-канцлер в разговоре с королем сказал, что назначенные им министры суть только орудия его власти, Георг II с горькой усмешкой возразил на это: «в здешней стране королем — министры». Это было первое признание нового политического положения со стороны английского монарха, но вызвано оно было если и первым, то далеко не последним случаем, когда королевская власть должна была мириться с прямо навязываемой ей системой правления. Таким образом, к середине XVIII в. окончательно консолидировались права парламента, благодаря именно образованию конституционного кабинета. Положение королевской власти в Англии невольно напрашивается на сравнение с ее положением в Польше. И там эта власть дошла до последней степени ограничения, но если в Англии прерогатива короны перешла к кабинету, представляющему собой парламентское большинство, которому в свою очередь фактически стали принадлежать все права суверенитета, то в Польше ограничение королевской власти, наоборот, не сопровождалось перенесением ее прав на какое-либо учреждение, зависящее от сейма. Сам сейм не получил притом полной верховной власти, не сумев подчинить себе сеймики отдельных воеводств, а вместе с тем и не поставил в зависимость от себя министров, которые могли совершенно произвольно распоряжаться — каждый в своей области, ибо не создал солидарного и ответственного министерства, которое опиралось бы на сеймовое большинство. Англия весьма удачно

¹ Вспомним процесс Страффорда в эпоху первой революции.

разрешила для себя вопрос о взаимных отношениях законодательной и исполнительной власти в государстве, и в этом заключался главнейший результат ее парламентской жизни в XVIII в. Между тем указанный вопрос, ставившийся и в политической литературе XVIII в., был одним из наиболее трудных для практического решения в тогдашних государствах, еще сохранявших представительные учреждения с законодательной властью. В Польше, выступившей на путь внутренних реформ в царствование Станислава Августа (1764—1795), установление правильных отношений между законодательной властью сейма и исполнительной властью короны с зависящими от нее министрами было одной из важных задач внутреннего политического переустройства¹. В Голландии все не знали, в какие взаимные отношения поставить генеральные штаты и штатгальтерство. Неудовлетворительным было отношение обеих властей и в шведской конституции, действовавшей в 1720—1772 гг., т. к. сейм, которому принадлежала законодательная власть, собирался лишь раз в три года, и аристократический государственный совет, в сущности, распоряжался бесконтрольно делами государства. Эти старые конституции одна за другой пали во второй половине XVIII в., но английская, наоборот, продолжала развиваться далее на началах, установившихся в первой половине века, хотя в начале нового царствования (Георга III) и заявлена была программа уничтожить узурпацию королевских прав кабинетом, как это видно из одной официозной брошюры 1761 г.

Рядом с успехами парламентаризма в истории Англии этой эпохи нужно отметить и дурные стороны ее политического быта. Выше было указано на подкупы, возведенные в систему при составлении необходимого для министерства большинства. Это явление стоит в тесной связи с переходом политического влияния к торгово-промышленному классу, видевшему в парламентском правлении средство проводить в жизнь свои интересы, и с дурной выборной системой, унаследованной от Средних веков. Крупные капиталисты подкупали избирателей деньгами, чтобы попадать в члены парламента, а там продавали свои голоса министерству, между прочим, за разные концессии, монополии и уступки их интересам. С другой стороны, само избирательное право принадлежало лишь ограниченному числу лиц, особенно в городах, и голоса на выборах сравнительно легко было покупать, не говоря уже о том, что весьма часто высылались в парламент лица, просто удобные влиятельному в данной местности ленлорду. Так называемые «гнилые местечки», незначительные поселения, сохранившие от Средних веков право посылать депутатов в нижнюю палату, в то время как этого права были лишены многие более важные города, — указываются даже в кратких учебниках как главное зло избирательной системы, господствовавшей в Англии до

¹ См. мою книгу «Польские реформы XVIII века» (вышла в свет в 1890 г. — *Прим. ред.*).

1832 г., когда произошла первая парламентская реформа¹. Единственными сдержками при господстве подкупа членов парламента могли быть общественное мнение и его орган — пресса, но с последней парламент был в более или менее постоянной борьбе; у него было даже для этой борьбы весьма сильное средство, ибо считалось нарушением привилегии (*breach of privilege*) парламента со стороны всякого опубликование чего-либо запрещенного большинством членов парламента. В 1714 г. Вальполю пришлось выступить защитником одного члена парламента (Steele), автора брошюры «Англичане и кризис», которого тории предали суду как человека, ставшего поперек их дороги, и Вальполь, ссылаясь на свободу прессы, ставил вопрос, как может одна часть законодательной власти (палата общин) наказывать в качестве преступления то, что вовсе не называется преступлением в законах, изданных всей законодательной властью. Тем не менее подсудимый был признан виновным и исключен из парламента. Такое право палат было страшным орудием в руках господствующей партии для того, чтобы принуждать к молчанию оппозиционные элементы. Такой же своей привилегией парламента считал заседать при закрытых дверях, без посторонних слушателей и каких бы то ни было публичных отчетов о прениях и голосованиях. В этом смысле делались специальные постановления, грозившие строгой карой авторам, издателям, книгопродавцам и типографщикам, причастным опубликованию письменных и печатных отчетов о заседаниях обеих палат, и оппозиция на дело смотрела совершенно так же, как и правящая партия. Одним словом, парламента ставил свои действия выше какой бы то ни было критики, что не оставалось мертвой буквой. В начале царствования Георга III (1760—1820), как известно, склонившегося к торийским принципам, произвело большой шум дело члена парламента Джона Вилькса (Wilkes), подвергнувшегося преследованию за статью в оппозиционном журнале (*North Briton*) именно за критику правительственных действий: при этом были нарушены все законы страны, а министерство, начавшее преследование автора, типографщика и издателя, нашло поддержку в парламенте. Вилькс должен был удалиться в Париж, и этим палата общин прямо воспользовалась, чтобы исключить его из числа своих членов и даже объявить его вне закона (*outlawed*), т. е. он не предстал перед парламентом для своей защиты. Этим дело тогда еще не кончилось, о чем речь будет идти у нас в другом месте².

Процесс Вилькса имел принципиальное значение. Нижняя палата в интересах партии и в союзе с двором, правительством и верхней палатой, как это было на самом деле, нарушила свободу печати и одобрила произвольные действия министерства, признанные незаконными со стороны суда, как противные *habeas corpus act*'у. На парламента смотрели всегда, как

¹ К этой стороне английской политической жизни в XVIII в. мы возвратимся подробнее в следующей книге.

² См. следующую главу (в конце).

на охрану против королевского деспотизма, и теперь являлся вопрос о том, кто же будет охранять нацию от деспотизма самого парламента. Дело Вилькса разыгралось в 1764—1765 гг., а в 1765 г. вышли в свет «Комментарии к законам Англии» (Commentaries on the laws of England) Вильяма Блэкстона, как раз учившего о том, что парламенту принадлежит неограниченная верховная власть или, как он прямо выражается, абсолютная деспотическая власть (absolute despotic power), которая должна же кому-либо принадлежать во всяком государственном устройстве. Ссылаясь на исторические примеры и правовые прецеденты, он доказывал, что парламент имеет право распорядиться престолонаследием, изменить установленную религию, совершить преобразования в государственном устройстве и в своей собственной организации: по его словам, всемогущество (omnipotence) парламента распространяется решительно на все, кроме невозможного по природе вещей (naturally impossible), и нет силы на земле, которая могла бы разделять (no authority upon earth can undo) то, что раз им сделано. Вместе с этим Блэкстон называет власть парламента безусловной и безответственной (absolute and without control), возражая Локку, который признавал, что верховная власть всегда остается у народа и что тем самым законодательное собрание подлежит его контролю. Для Блэкстона парламент есть в то же время безапелляционный верховный суд. Только высшая исполнительная власть (supreme executive power), по его представлению, принадлежит королю, который пользуется неответственностью, будучи неспособным делать несправедливое (the king is... incapable doing wrong), а кабинет, как он образовался к эпохе Блэкстона, совсем не упоминается в его «Комментариях»¹. *Фактически, действительно, английский парламент достиг такой «абсолютной деспотической власти»,* но в Англии было еще сознание индивидуальной свободы, не мирящейся ни с каким деспотизмом, кому бы ни принадлежала возможность делать все, что только терпит природа вещей. Англия и стала той страной, где в наибольшем объеме и наиболее прочным образом осуществилась индивидуальная свобода², сделавшаяся предметом общественного стремления и на материке Европы. Нельзя, однако, оставить без внимания тот факт, что в XVIII в. английский парламент сам еще нарушал принципы свободы, особенно во второй половине столетия, когда возвратилась к власти торийская партия и стала подготавливаться реакция, усилившаяся благодаря Французской революции. Одно из нарушений свободы подданных английских колоний

¹ Вообще значение кабинета как постоянного комитета палат, заведующего всей политикой государства, выяснено только в XIX в. и главным образом Bagehot'ом (The English constitution; есть франц. и нем. пер.).

² Вопрос о том, как в Англии, благодаря господству права, всемогущество парламента соединяется с широким развитием личной свободы, разработан в указывавшейся ранее книге Дайси.

повело к отторжению Североамериканских Штатов (1776), а демократический характер Французской революции поселил в правящем классе Англии опасения за собственную власть. Если в политическом отношении Англия и не знала континентального абсолютизма, пользуясь своим парламентским строем, то в социальном «старые порядки» материка находили здесь соответствие в том положении, какое занимал правящий класс, обе партии которого были одинаково враждебны демократии. Отношения Великобритании к Ирландии также представляют собой темную сторону английской истории.

VI. Личная и общественная свобода в XVIII в.¹

Условия, в какие были поставлены личные права при старых взглядах и порядках. — Обстоятельства, служившие поводом к ограничению личных прав. — Отсутствие гарантий личной свободы. — Положение во Франции протестантов. — Положение во Франции печати. — Иноверие и общественное мнение в других государствах. — Контраст между Англией и материком. — Свобода совести и свобода печати в Англии. — Дело Вилькса и «Письма Юниуса».

При сословном строе общества, когда личные права определяются принадлежностью к известному сословию и потому имеют характер привилегий, сама личная свобода была также одной из таких привилегий, и степень ее была различная в разных общественных слоях. В этом отношении одним из наиболее поразительных примеров неравенства личных прав представляет собой общественный строй старой Польши, где при крайней неразвитости среднего сословия было только два класса — шляхта и крестьянство: в то именно время, как последнее находилось в самом жалком рабстве у своих господ, все лица шляхетского звания пользовались, наоборот, самой широкой свободой, какую только можно себе представить, можно прямо сказать, полной свободой личного произвола, приводившей к политической анархии. Но в Польше, благодаря разложению государства, лишь в самой резкой форме проявилось то, что было вообще принадлежностью старых общественных порядков: сословный строй, сословные привилегии создавали разную меру свободы, какой пользовались лица различных общественных классов, существование же крепостничества или его остатков было равносильно отрицанию наиболее элементарных прав у большинства или значительной части населения. Обращаясь опять к той же Польше, мы видим, что политическая свобода ее господствующего сословия дополнялась еще в XVI в. весьма широкой свободой религиозной, которой, однако, пришел конец с наступлением католической реакции, благодаря чему мера личных прав стала определяться в Речи Посполитой и принадлежностью к тому или другому вероисповеданию. И это опять-таки не было явлением исключи-

¹ См.: Переход от Средних веков к Новому времени. Гл. XXI (Положение личности в обществе). Факты, о которых идет речь в этой главе, рассматриваются обыкновенно в юридической литературе в широком смысле этого слова, т.е. в литературе по государственному, международному, церковному, полицейскому, гражданскому праву и, между прочим, в общих руководствах по этим наукам; ниже в соответственных местах делаются лишь самые важные указания на специальные сочинения.

тельным: Реформация, создавшая на Западе религиозный раскол, положила начало государственным церквям, требовавшим подчинения себе от всех классов населения, лишая противящихся принадлежавших им прав или умаляя последние, так что *личные права определялись, кроме принадлежности к известному сословию, и принадлежностью к известному вероисповеданию*. В последнем отношении политическая форма ничего не значила: одними и теми же принципами руководились и абсолютный король Людовик XIV, уничтожая Нантский эдикт, и свободный английский парламент, признававший полную правоспособность лишь за лицами англиканского вероисповедания, и анархическая польская шляхта, изгонявшая антитринитариев, притеснявшая вообще диссидентов. Во всех этих и многих подобных случаях государство держалось принципа: *cujus regio, ejus religio*¹, но применение этого принципа было лишь одним из частных проявлений *той неограниченной власти, какую государство самых разнообразных устройств приобретало вообще над личностью*. Мы видели, что оно игнорировало личную свободу граждан, особенно в эпоху развития так называемого полицейского государства, да и в самом обществе было мало развито сознание личной свободы. Так как последняя основывалась на сословных привилегиях, т. е. не была тем, что философия XVIII в. называла «естественным правом», то понятно, что и обеспечиваться лучше всего она могла лишь там, где сословия сохраняли политические права. *Падение политического значения сословий сопровождалось вообще умалением личной свободы их членов по отношению к государственной власти*. Польская шляхта даже крепко держалась за свою анархию (безнарядье, *niezład*), видя в ней основу всех своих прав (*Polska niezładem stoi*) и полагая, что сильное правительство несовместимо с ее «золотой вольностью», под которой разумелось и право свободно располагать имуществом и жизнью холопов. Личная свобода, без которой индивидуальная жизнь не имеет полноты, и власть, без которой не может существовать жизнь государственная, равно необходимы в существовании общества, но при «старых порядках» одна приносилась в жертву другой. Польша представляет собой пример страны, где принцип власти прямо даже отрицался во имя индивидуальной свободы, не говоря уже о том, что последняя понималась в смысле произвола и исключительного права одного сословия, державшего в крепостной зависимости народную массу. В других государствах, наоборот, развитие принципа власти вело за собой отрицание прав личной свободы, за каковой часто не признавалось даже никаких гарантий.

Пользование личными правами *определялось еще принадлежностью к известной расе или национальности*. В колониях европейских государств развилось рабовладительство, и негры считались расой, обреченной самим Богом на рабство, как во времена Аристотеля грекам казалось, будто

¹ Чья власть, того и религия (лат.). — Прим. ред.

сама природа предназначала их самих к свободе, а варваров к рабству. Известно также совершенно бесправное положение евреев начиная еще со Средних веков. Далее, по старому международному праву иностранцы не пользовались теми правами, какие за ними признаются современными законодательствами. Во Франции существовало старинное право d'aubaine. Обеном (aubain или forain) считался в эпоху феодального раздробления всякий чужой человек, приходивший в известную местность, и если он тут умирал, то его имущество переходило к сеньору как имущество раба. В XVIII в. droit d'aubaine¹ было уже давным-давно правом королевским, в силу которого король делался наследником ненатурализованных иностранцев, умиравших во Франции. Правда, еще с XVI в. начались изъятия из этого сурового правила в форме привилегий, дававшихся известным категориям лиц (например, купцам, приезжавшим на французские ярмарки), и стали облегчать натурализации иностранцев, а в XVIII в. с большей частью государств были заключены трактаты, уничтожавшие на началах взаимности droit d'aubaine, но принцип сохранял свою силу: т. к., например, с Россией подобного трактата не было, то дети русского не наследовали своему отцу, оставлявшему движимое или недвижимое имущество во Франции.

Все это показывает, что *за личность как таковой старое государство не признавало права на свободу*, и весьма естественно потому, что там, где государственный принцип получил наибольшее развитие, *законодательство не создавало и гарантий личной свободы*. Средневековые сословные привилегии обставляли известными условиями задержание и наказание всякого, на кого только простирались эти привилегии, и тем создавались для личности известные судебные гарантии, находившиеся в полном упадке в XVIII в. В этом отношении наиболее характерные факты дает нам опять-таки старая Франция, где полицейский произвол конкурировал с правильным правосудием, и знаменитые lettres de cachet, дававшие администрации без какой бы то ни было судебной процедуры право сажать кого угодно в Бастилию и другие государственные тюрьмы, сделались вместе с Бастилией символом личной необеспеченности, тем более что и частные лица или по знакомству, или за деньги добывали себе такие бланки об аресте. Далее, во Франции с правильными судами конкурировали еще чрезвычайные комиссии, которым совершенно произвольно отдавались на рассмотрение те или другие дела. Но и правильная уголовная юстиция была организована без соблюдения условий, которыми бы обеспечивались права подсудимого. Это была вообще эпоха полного развития инквизиционного процесса: обвиняемого сажали в одиночное заключение; ему не сообщали того, что против него возбуждалось; его лишали со-

¹ Право обена (фр.). — Прим. ред.

ветов адвоката; его подвергали пытке, если он не хотел признать себя виновным; суд над ним не был гласным; приговор часто постановлялся без достаточной мотивировки; казни отличались особенной жестокостью. В XVIII в. под влиянием вообще гуманных идей и особенно под влиянием принципов, выставленных великим криминалистом века, итальянцем Беккарией (1738—1794 гг.), автором трактата о преступлениях и наказаниях (*Dei delitti e delle pene*), началось смягчение уголовных законов в разных государствах, но Франция до самой революции держалась старых начал уголовного судопроизводства. И здесь противоположность Франции (да и вообще всему континенту) представляет собой Англия, где *habeas corpus act*, подсудность одним присяжным¹, независимость судей от произвола администрации, отсутствие пытки в уголовном судопроизводстве, заключали в себе гарантии личной неприкосновенности. Охрана последней общим господством права и была той почвой, на которой при всемогуществе парламента выработались такие права английских граждан, как свобода совести, свобода мысли, свобода слова, свобода печати, свобода общественных собраний, т. е. все то, что было совершенно чуждо идеям, порядкам и нравам континентального полицейского государства. В то время как «просвещенный абсолютизм» в некоторых странах (и лишь в известных отношениях и ограниченной мере) начинал признавать некоторые из этих прав, заключающих в себе и элементы общественной свободы, дореволюционная Франция оставалась верной традициям системы, установившейся при Людовике XIV.

Со времени отмены названным королем Нантского эдикта существование протестантов во Франции официально не признавалось. Меры, которые предшествовали отмене Нантского эдикта, ее сопровождали и за ней следовали, — дополнялись в XVIII в. новыми эдиктами, строго приводившимися в исполнение: «дурно обращенных» (*les mauvais convertis*), т. е. тайных протестантов, наказывали плетью, тюрьмой, каторгой на галерах. Правительство в этом отношении поддерживалось духовенством, которое усматривало опасность для алтаря и трона в простом существовании иноверцев, и например, еще Людовик XVI, коронуясь в Реймсе, давал торжественную присягу церкви в том, что всеми зависящими от него средствами будет искоренять еретиков в своих владениях. Право на эмиграцию за протестантами во Франции не признавалось с самых времен Людовика XIV. Королевская декларация 1778 г. запрещала «вновь обращенным» отчуждать недвижимые свои имущества и распродавать всю свою движимость без разрешения короля или интенданта. Крещение и брак, не совершенные католическим священником, не признавались за законные, т. е. жены

¹ По истории суда присяжных в Англии см. соч. Brunner'a и Biener'a. О Беккарии соч. Amato-Amati и др.

и дети протестантов, не желавших подчиняться закону, не пользовались правами своего семейного положения, и протестантский брак даже приравнивался иногда к безнравственному и соблазнительному сожительству, каравшемуся уголовным законом. Хотя Вестфальский мир обеспечивал за доставшимся Франции Эльзасом свободу вероисповедания, последняя тем не менее и там стеснялась: запрещалось селиться в Эльзасе некаатоликам (1662); запрещалось самим эльзасцам-протестантам жить в католических округах страны (1762); кальвинистам, не имевшим своего духовенства в данной местности, не позволялось обращаться к лютеранским пасторам и предписывалось в таких случаях венчаться, крестить детей и т. д. у католических священников. Сами католики подчинены были строгому режиму гражданских законов при малейшем отступлении от церковных правил. На трактирщиков, дававших скоромные кушанья в постные дни, налагался штраф (в триста ливров), на работников, трудившихся по воскресеньям и праздникам, — штраф (в 25 ливров) и т. п.

Печать во Франции подчинена была строжайшей цензуре, правами которой пользовались весьма различные учреждения, между прочим, Сорбонна и парламент, т. е. ученое и судейское сословия. В XVIII в. подтверждались не раз более ранние правительственные распоряжения, направленные против авторов, типографщиков, издателей, продавцов мятежных пасквилей. История французской литературы в XVIII в. наполнена отдельными случаями преследования писателей и сожжения книг вроде «Философских писем» и др. сочинений Вольтера, «Письма о слепых» и иных произведений Дидро, трактата Гельвеция «De l'esprit», «Эмиля» Руссо, «Философской истории обеих Индий» Рэйналя и т. п. Разумеется, такие порядки были сильным препятствием для развития периодической прессы с политическим характером¹, сделавшей большие успехи только в Англии. Между тем во Франции создавалось уже общественное мнение и развилась весьма влиятельная литература, многие произведения которой увидели свет в печати, впрочем, опять-таки лишь благодаря заграничным (голландским, английским, швейцарским) типографиям. Страдали от этого и научные занятия, между прочим, в области истории, поскольку ею могли освещаться политические вопросы эпохи.

Это отсутствие индивидуальной свободы, которое прежде всего проявляется в свободе совести и свободе прессы, заключающейся в беспрепятственном выражении общественного мнения путем печатного слова, как было уже сказано раньше, не были явлениями, характеризующими лишь

¹ См. старое (1819 г.) соч. Hoffmann'a — *Geschichte der Büchercensur* — старое же (1832 г.) соч. *Peignot*. *Essai sur la liberté d'écrire depuis le XV siècle*; *Hatin*. *Histoire de la presse en France*; *Sachse*. *Anfänge der Büchercensur in Deutschland*. Для истории английской прессы: *Grant*. *Newspaper press*; *Duboc*. *Geschichte der englischen Presse* (краткое изложение работы Гранта); *Fox-Bourne*. *English Newspapers*.

одну Францию. Страны католической реакции и политического абсолютизма были в обоих отношениях враждебны иноверию и свободному общественному мнению, но они и находились в сильном культурном упадке. Например, это можно сказать об Австрии XVIII в. Протестантизм здесь преследовался, и когда правительство, нуждаясь в людях и не находя их среди собственных подданных, выписывало их из заграницы, т. е. из других частей Германии, то от протестантов требовался хотя бы наружный переход в католическую церковь. С другой стороны, это правительство с величайшим подозрением относилось к немецким книгам, печатавшимся в других частях Германии и запрещало ввоз их в Австрию. Что касается до внутренней цензуры, то она, как здесь, так и в других католических государствах, находилась в руках духовенства, и *index librorum prohibitorum*¹, составлявшейся в Риме, руководил отношением местных властей к книгам. Инквизиция дополняла меры, направленные к подавлению духовной свободы и свободного общественного мнения, которое и не могло развиться под таким режимом.

Когда в двадцатых годах XVIII в. образованные французы (Вольтер, Монтескье) стали ездить в Англию, их сильно поразил контраст английских порядков с теми, которые существовали на их родине. Впечатления, вынесенные из трехлетнего своего пребывания в Англии, Вольтер изложил в знаменитых «Философских письмах», или «Письмах об англичанах», как они чаще называются (1734), сожженных во Франции рукой палача: автора привлекала свобода религиозного верования и печатного выражения мыслей в Англии. Через несколько лет (1748) в «Духе законов» Монтескье прославлял английскую конституцию за ту индивидуальную свободу, которую она обеспечивает за каждым гражданином². И Фридрих Великий в своей «Histoire de mon temps» (1746) воздаст хвалу религиозной свободе Англии. Действительно, *Англия, несмотря на все исключительные права, установленные государственной церковью, и на всемогущество парламента, сделалась страной, где в XVIII в. полнее всего осуществлялись и свобода совести, и свобода печати.*

Переворот 1689 г. имел, как известно, антикатолический характер, что и выразилось, между прочим, в заявлениях великих государственных актов 1689 и 1701 гг. об исключении католиков из права на английский престол. Второй английской революцией не отменялись ни «акт об единообразии» (*act of uniformity*), которым запрещалось иное публичное богослужение, кроме англиканского³, ни «акт о присяге» (*test-act*), лишавший права на занятие должностей лиц неангликанского вероисповедания. В то время в Англии было, однако, много людей, стоявших за веротерпи-

¹ Индекс запрещенных книг (лат.). — Прим. ред.

² Об этом см. ниже, гл. XIII.

³ Он был издан в царствование Елизаветы.

мость, и как Вильгельм III, так и парламентское большинство дали обещание, что не будет преследований за веру. В Шотландии власть Вильгельма III и Марии была признана под условием восстановления в стране национальной пресвитерианской церкви, причем и шотландцы со своей стороны дали уверение в том, что пресвитериане вовсе не имеют в виду преследовать приверженцев епископальной церкви. Сам Вильгельм III отличался веротерпимостью, которой еще все-таки не было в достаточной мере ни в английском, ни в шотландском обществе и духовенстве, так что этому королю приходилось защищать представителей иноверия в обеих странах от фанатиков государственных церквей. Одним из характеристических признаков вигизма в начале XVIII в. сделалось отсутствие в партии, носившей это имя, какого бы то ни было религиозного фанатизма, ибо борьба вигов с ирландским католицизмом вызывалась чисто политическими причинами: это было весьма благоприятно для английских диссидентов, и только в последние годы царствования Анны, когда у власти стояла партия тори-ев, диссидентов подвергали стеснениям, но последние прекратились с возвращением вигов к власти, старые законы против иноверия более не применялись, а два из них, изданные в конце царствования Анны (в 1711 и 1713 гг.) и совсем были отменены. Ни лорд Стенгоп, ни Вальполь не смогли или не решились, впрочем, настоять на отмене *test-act*'а и *corporationact* времен Карла II, но просто-напросто эти законы часто не соблюдались, благодаря тому, что парламент ежегодным *bill of indemnity* освобождал от наказания должностных лиц, которые в законный срок по занятии своих мест на государственной службе, (бывший прежде трехмесячным, потом ставший полугодовичным) не причащались по англиканскому обряду в доказательство принадлежности своей к установленной церкви, хотя закон и продолжал соблюдаться вплоть до 1828 г. по отношению ко всем выборным должностям. Вальполь даже покровительствовал диссидентам, среди которых было много занимавшихся промышленностью и торговлей, но он не хотел очень вооружать против себя представителей и сторонников «высокой церкви», что непременно случилось бы, если бы он стал настаивать на уравнивании прав последователей всех вероисповеданий. Вольтер посетил Англию как раз в ту эпоху, когда во главе парламентского правления стоял Вальполь, и английская правительственная политика по отношению к диссидентам должна была обратить на себя его особенное внимание по ее противоположности с тем, что делалось с протестантами во Франции. Такая правительственная политика совпала с развитием в Англии религиозного вольномыслия, о котором у нас говорится в другом месте. Англия, писал Вольтер, есть страна сект, ибо «в доме Отца Моего обителей много», и каждый англичанин идет на небо по той дороге, какая ему нравится. Так как этих сект три десятка, то и живут они в мире, чего не было бы, если бы существовал один только нетерпимый англиканизм или если

бы рядом с ним был лишь один еще более нетерпимый пресвитерианизм. Тот же Вольтер удивлялся еще и тому, с какой свободой в Англии трактовали основные вопросы христианской религии. Не было, однако, издано в Англии специального закона, которым обеспечивалась бы свобода совести, как таковая, и особенно не было закона, которым устанавливалось бы свободное выражение мнений и мыслей как естественное право личности. Мало того, до сих пор в Англии существуют законы, карающие то, что называется распространением богохульственных пасквилей (*the misdemeanor of publishing a blasphemous libel*), причем под понятие это подводится неуважение, например, к общему Служебнику (*common prayerbook*)¹, и тем не менее, раз только суд присяжных может карать людей, преступающих уголовные законы, то при состоянии общественного мнения, склонного к допущению наибольшей свободы, фактически в Англии существует самая широкая свобода в деле выражения мнений и мыслей, касающихся религии.

Свобода печати, которой напрасно добивался Мильтон во время первой английской революции, равным образом стала устанавливаться в Англии в XVIII в., хотя здесь политической прессе пришлось выдержать борьбу с парламентом, видевшим нарушение своей привилегии в публикации и обсуждении известий о его деятельности. Обыкновенно уничтожение цензуры в Англии относят к самому концу XVII в. Дело в том, что в эпоху Реставрации (1662) цензуре, существовавшей в Англии и ранее, было придано строго законное основание парламентским статутом 13 и 14 г. царствования Карла II, поддерживавшимся и последующими парламентскими актами, но в 1695 г. палата общин отказалась продолжить действие акта, которым давалось разрешение печатать книги от королевского имени (*licencing act*). Раньше право печатания книг давалось правительством, как особая привилегия, которою пользовалась только гильдия книгопродавцев (*company of stationers*), но палата общин 1695 г. нашла нужным отменить такой порядок, исходя, однако, из соображений, не имеющих ничего общего с принципом свободы печати, как одного из видов свободного обмана мнений и мыслей, составляющего право личности: палата просто-напросто нашла, что прежний порядок создает массу неудобств, т. к. дает обществу книгопродавцев возможность вымогать деньги у издателей, дает право правительственным агентам делать домашние обыски в силу общих приказов, стесняет иностранную торговлю посредством мелочных таможенных правил (ибо, например, таможенные чиновники часто задерживали ящики с товарами, опасаясь, что в них имеются книги,

¹ Заметим вообще, что по истории так называемых преступлений против религии на русском языке есть соч. проф. Белогриц-Котляревского (*Белогриц-Котляревский Л.С. Преступления против религии в важнейших государствах Запада. Историко-догматическое исследование. Ярославль: Тип. Г. В. Фальк, 1886. — Прим. ред.*).

открывать же такие ящики они имели право лишь в присутствии цензоров и т. п.). Эти соображения оказались более действительными, чем принципиальная защита Мильтоном свободы печати за полстолетия перед тем, но главная причина была в том, что «акт о разрешении» противоречил общему духу английских законов. «Сотни англичан, — говорит Дайси, — которые ненавидели терпимость и мало заботились о свободе слова, постоянно ревниво и недружелюбно смотрели на произвол и твердо держались решения подчиняться только закону страны»: уничтожение права контролировать печать было лишь уничтожением привилегии, противоречившей общей тенденции права. Правда, привилегия самого парламента, о которой было упомянуто выше, была сильной помехой для того, чтобы принцип свободы прессы применялся к обсуждению текущих политических вопросов, но сила общественного мнения взяла верх, и политическая пресса мало-помалу достигла большого могущества и значения в общественной жизни Англии. Впервые это обнаружилось с достаточной ясностью в новом деле, с которым опять было связано имя Вилькса, осужденного парламентом 1764 г. за статью политического содержания. В 1768 г. Вилькс возвратился в Англию, поставил свою кандидатуру в члены парламента и получил значительное большинство голосов, а затем суд королевской скамьи, перед которым он явился, постановил, что объявление его вне закона (outlawry) было незаконно и потому должно быть отменено, и таким образом восстановил Вилькса в его правах. Тем не менее за свой проступок в печати (перепечатку своей статьи) он был приговорен к тюремному заключению и большому денежному штрафу. Вилькс подчинился приговору, но он был избран в члены парламента и пользовался большою популярностью: толпа на себе везла экипаж, в котором он ехал из суда в тюрьму, а когда открылись заседания парламента, явилась к месту его заключения, чтобы с триумфом проводить его оттуда в Вестминстер. Его, однако, не выпустили из тюрьмы, так что произошла даже свалка, когда же по требованию правительства нижняя палата исключила Вилькса из членов парламента и назначила новые выборы в той местности, которая его выслала, то его опять там выбрали и на этот раз единогласно. Палата отвергла это избрание, но Вилькса выбрали и в третий раз и лишь на четвертых выборах правительственный кандидат получил около 300 голосов против почти 1150, которые были поданы за Вилькса: палата тем не менее признала выбранным меньшинством голосов (1769). Когда Вилькс отбыл тюремное заключение, Лондон отпраздновал это иллюминацией, а затем Вилькс последовательно занимал должности альдермена, шерифа и лорда-мэра столицы, сделался под конец членом парламента и всегда оставался влиятельным лицом в лондонском Сити. Против поведения парламента в этом деле поднялись протестации в форме адресов к королю, требовавших, между прочим, распушения парламента. Но особенное впечатление произвели

начавшие появляться открытые письма, подписанные псевдонимом Junius, адресованные к разным лицам (между прочим, к Блэкстону, к самому королю и т. д.): на отличном английском языке, с превосходным знанием людей и обстоятельств и с большой силой жаловался в них неизвестный автор на правительственную систему, установившуюся вообще с 1760 г. (т. е. с воцарения Георга III), в частности на нарушение парламентом прав избирателей¹. Это было целое обличение всей неправды, какая гнездилась в правительстве, защита правого дела, попорченного им и парламентом, сатира на парламентские порядки. «Письма Юниуса» имели громадный успех в публике не только благодаря всеобщему интересу, какой возбуждало к себе дело Вилькса, но и благодаря тому, что в них затрагивались общие вопросы внутренней политики, помимо уже литературных достоинств этого памфлета. Во всем деле, вызвавшем «Письма Юниуса», равно как и в их успехе выразилась сила общественного мнения, и в самом парламенте раздался в 1770 г. голос лорда Чатама, осуждавший нарушение парламентом прав избирателей. С этого времени возвышается и политическая пресса в Англии, которая, наконец, и приобретает право давать публике постоянные и обстоятельные отчеты о заседаниях парламента с обозначением, кто что говорил, хотя и после «Писем Юниуса» это произошло далеко не сразу². Рассмотрев политические отношения «старого порядка» и, между прочим, то положение, какое они отводили личности в обществе, мы перейдем теперь к общему обзору отношений социальных, которыми равным образом определялись личные права и обязанности.

¹ Письма эти писались до 1772 г., когда были изданы и отдельной книгой (The letters of Junius), впоследствии перепечатававшейся много раз (нем. пер. Ruge). См. о них: *Brockhaus Fr. Die Briefe des Junius*. Автором писем был sir Philipp Francis, как это сделалось известным только в XIX в.

² В двух последних главах мы остановились из английской истории лишь на фактах, имеющих отношение к истории политической и индивидуальной свободы, идеям которой пришлось играть такую видную роль в истории Французской революции. Другие факты из того же XVIII в. будут изложены далее, где будет сделана и характеристика царствования Георга III.

VII. Аристократия и буржуазия в XVIII в.¹

Старый социальный строй и антагонизм между дворянством и горожанами. — Сословный строй Франции. — Духовенство. — Дворянство. — Что такое буржуазия? — Положение городов. — Город и деревня. — Третье сословие, буржуазия и народ. — Буржуазия в роли правящего класса в Голландии и Англии. — Общий взгляд на социальную историю Англии. — Торговое и колониальное могущество Англии. — Торговые интересы и политика вигов.

В сословном обществе, ведущем свое начало из феодальной эпохи, первенствующее положение принадлежало представителям крупного землевладения. Отношение церкви к государству в Средние века и весь средневековый строй жизни выдвигали на первое место в обществе клир, но силе этого сословия был нанесен страшный удар Реформацией. Церковное землевладение осталось только в странах, которые сохранились за католицизмом, но в сущности в правах своих, вытекавших из землевладения, духовенство ничем не отличалось от дворянства и вместе с ним составляло один привилегированный класс, резко выделявшийся из остальной массы населения. Но и эта масса не была однородной. Во-первых, она делилась на городское и сельское население, причем первое являлось привилегированным сравнительно со вторым, ибо в то время, как в городах давно возобладали принципы личной и имущественной свободы, в деревнях, наоборот, господствовали еще феодальные порядки, ставившие и личность, и имущество крестьянина в большую или меньшую зависимость от сеньора. Горожане главным образом и выделили из своей среды тот общественный класс, который называли прежде средним сословием, а теперь называют буржуазией в отличие от народа, как городского, так и сельского, живет ли эта буржуазия сама в городе или деревне. Этот класс в

¹ Для настоящей главы см. в книге «Переход от Средних веков к Новому времени», особенно главы V («Муниципальный быт») и XIX («Денежное хозяйство»). По истории городского сословия во Франции существует весьма большая литература. Кроме указанных в книге «Переход от Средних веков к Новому времени» сочинений А. Thierry, Demolins, Luchaire, А. Смирнова и многочисленных историй отдельных городов, см.: *Perrens. La démocratie en France au moyen âge; Giraud-Teulon. La royauté et la bourgeoisie; Bardoux. La bourgeoisie française; Babeau A. La ville sous l'ancien régime.* Положение дворянства в соч.: *Louandre C. La noblesse sous l'ancienne monarchie.* Кроме того, для социального строя Франции в XVIII в. важны общие сочинения об *ancien régime*, указанные выше, на с. 21, и многие другие, которые отмечаются у нас ниже, в начале отдела о Французской революции. Факты из английской истории, заключенные в этой главе, также имеют свою литературу, о которой см. ниже в подстрочных примечаниях. Из русских соч. отметим для экономической истории Англии книгу проф. И. Ж. Янжула «Английская свободная торговля» и добавления проф. И. В. Лучицкого к «Истории Нового времени» Зеворта, между которыми см. параграф об английской торговле и торговой политике в XVII и XVIII вв.

новой истории стал делаться значительной социальной силой, основанием которой были развитие оптовой торговли, крупной промышленности, денежного хозяйства, капитала¹. Между горожанами и феодальной аристократией борьба завязалась еще во второй половине Средних веков, но лишь к XVIII в. — и прежде всего в Голландии и Англии — городское сословие настолько окрепло, что представители его прямо стали соперничать с землевладельческим классом и даже брать над ним перевес. Подобно тому, как в социальной истории реформационной эпохи видную роль играет антагонизм между духовенством и дворянством, так и с *политической историей XVIII–XIX вв. тесно связан социальный антагонизм между аристократией и буржуазией*, только в XIX в. ступавшийся перед другим классовым антагонизмом — представителей капитала и труда. *Социальное значение, какого достигла в XVIII в. буржуазия, находилось в противоречии с ее политическим положением*, и это было причиной того, что городское сословие стремится с этой эпохи к гражданскому равенству, к политическим правам и даже прямо к власти, в то самое время, как старые государственные порядки, наоборот, держали ее в принижении перед духовной и светской аристократией. Из всех континентальных стран ранее всего во Франции выступила буржуазия на путь политической оппозиции во имя гражданского равенства и политической свободы и с решительной борьбой против аристократических привилегий. Французская буржуазия имеет длинную историю, хорошо разработанную, благодаря тому, что историки XIX в. отождествили — и не без основания — историю этого сословия с историей политической свободы во Франции: в конце XVIII в. буржуазия выступила в роли передового класса нации и достигла разрушения феодального строя общества, хотя ей и не удалось сразу установить свободную форму государства.

Сословный строй Франции перед революцией может служить образцом того, как вообще на материке Европы были устроены социальные отношения. Официально население Франции делилось на три сословия (*ordres*): духовенство, дворянство и третье сословие (*tiers état*). В сущности, это деление не вполне совпадало с фактическими отношениями. В духовном сословии между высшим и низшим клиром была громадная разница, и, собственно говоря, по своему положению высшее духовенство, члены которого были притом большей частью из дворян и само дворянство сливались в один аристократический класс привилегированных (*privilegiés*), тогда как низшее духовенство тяготело к третьему сословию. Между этим привилегированным классом и остальной массой населения существовала глубокая пропасть: лица третьего сословия были для «благородных»

¹ См.: *Кареев Н.И.* История Западной Европы в Новое время. Развитие культурных и социальных отношений. Переход от Средних веков к Новому времени. Гл. XIX. М.: Академический проект, 2015. — *Прим. ред.*

(nobles) ротюрьерами¹, даже *canaille*; это был податный класс (*taillables*), и в нем было немало людей, подвластных (*justiciables*) духовенству и дворянству (каковы были именно крестьяне, подчиненные сеньориальному суду), их вассалов и даже «подданных» (*sujets*), под которыми подразумевались преимущественно крепостные. С другой стороны, само третье сословие делилось на буржуазию и народ, причем в состав буржуазии (городской и сельской) входили не только представители промышленности, торговли и денежного капитала или крупные землевладельцы и сельские хозяева (арендаторы) из третьего сословия, но и люди либеральных профессий, составлявшие непривилегированную интеллигенцию страны, каковы ученые, писатели, адвокаты, врачи, судьи, чиновники и т. п. В народе между городским населением, свободным от всякой феодальной власти, и сельским людом, подчинявшимся еще многим остаткам феодализма, также существовала разница общественных положений, тем более, что крестьяне разделялись еще на лично свободных и крепостных.

Особыми привилегиями пользовалось духовенство. Правда, Болонский конкордат 1516 г. отдавал его вполне в зависимость от короны, но за то оно одно сохранило во Франции право политических собраний, на которых вотировало свой «добровольный дар» (*don gratuit*), заменявший все налоги, и составляло жалобы (*doléances*), приносившиеся к подножию трона. Духовенство считалось, далее, первым сословием государства и, составляя одну только корпорацию (*corps*), охватывавшую все государство², пользовалось многими почетными преимуществами, не упоминая уже о его судебной власти, хотя и ограниченной. Далее, духовенство владело большими имениями и получало сеньориальные оброки, как и дворянство: его земли составляли одну пятую, если не целую четверть³ всей поземельной собственности и приносили дохода около 125 миллионов ливров, да немного меньше (100 миллионов) давали феодальные права. Кроме того, духовенство взимало в виде десятины (*dime*) со всех земель немного менее 125 миллионов, так что доходы его с имений, феодальных прав и десятины простирались до 350 миллионов ливров. Наконец, духовенство обладало и денежными капиталами, т. к. имело свою особую казну (*casse du clergé*), обогащавшуюся разного рода операциями и ссужавшую самого короля, который перед революцией был должен ей около 100 миллионов ливров. Эти громадные доходы, которые следует утроить или учетверить для того, чтобы получить настоящую сумму по теперешней стоимости денег, доставались главным образом высшему клиру и монастырям, некоторые из которых сделались своего рода дворянскими (женскими) общежи-

¹ Roturier, ruptuarius = qui rumpit terram, т.е. пахотник.

² Кроме провинций, присоединенных после 1516 г.

³ Тэн полагает, что по одной пятой принадлежало королю, клиру, дворянству, буржуазии и народу.

тиями или просто доходными статьями для светских аббатов из дворян же; да и епископства давались перед революцией преимущественно придворной знати, за исключением трех-четырех каких-нибудь «лакейских епархий» (*évêchés de laquais*) с малыми доходами, уступавшихся ротюрьерам. Приходское, особенно сельское духовенство находилось, наоборот, в печальном экономическом состоянии.

К духовенству непосредственно примыкало дворянство, в котором тоже существовало два класса: высшее придворное и служебное (*noblesse de robe*) дворянство было весьма богато, низшее, деревенское, большей частью находилось в разорении. Политической роли в XVIII в. французская знать уже не имела, да и местное ее влияние было незначительно: крупные землевладельцы не жили в своих поместьях, приезжали в родовые замки скорее в качестве дачников, но, кроме этого «абсентеизма», причиной ослабления местного значения дворян было и общее падение местного самоуправления, насчет которого все более и более развивалась административная опека. Французская монархия вообще всячески ослабляла политическое значение дворянства, оставляя за ним почет и привилегии, но, не доверяя ему даже правительственных должностей с влиянием и властью (например, должности интенданта, отдававшейся или ротюрьерам, или незнатным и небогатым дворянам) и сильно содействуя тому, чтобы в своих владениях сеньоры превратились просто в знатных жителей без влияния на население: интендант обыкновенно смотрел на сеньора какой-либо деревни, как на ее первого обывателя (*premier habitant*). Дворянство служило при дворе, в церкви, в армии, в чиновниках, но занятие некоторых чиновничьих мест считалось несовместимым с дворянским званием, как и занятие промышленностью или торговлей, лишавшее дворянства (*degradation*). Многие особенно почетные или доходные (например, в церкви) должности давались только представителям старого дворянства, к которому не примешивалась плебейская кровь в течение известного числа поколений. Вместе с духовенством (и горожанами) дворянство участвовало в провинциальных штатах, где таковые сохранились; вместе с ним оно было освобождено от большей части налогов; вместе с ним оно владело чуть не половиной поземельной собственности и сохраняло феодальные права, многие из которых приносили большие доходы. Везде в гражданских отношениях дворянство было на первом плане и пользовалось привилегиями, многие из которых были унижительны и обидны для людей плебейского происхождения, но принадлежавших к зажиточному и образованному классу. Людовик XIV запретил, например, людям «неблагородного рождения» вызывать дворян на дуэль, и известно, как поступил с плебеем Вольтером один аристократ, которого тот вызвал на дуэль. Для дворянина даже сокращался срок университетского учения. Аристократия была сама преисполнена гордости, и в ней утвердилось даже воззрение од-

ного из ее историков (Boulainvilliers), по которому ее предки были завоеватели-франки, а третье сословие представляло собой потомство завоеванных жителей римской провинции Галлии.

В общей массе населения Франции, доходившего до 25 миллионов, привилегированных было около 250 тысяч (130 тысяч духовных и 140 тысяч дворян). Между привилегированными и народом в более тесном смысле слова находилось среднее сословие, буржуазия, складывавшаяся из людей разных профессий и сама пользовавшаяся некоторыми привилегиями. *Одним из важных процессов в истории Франции является рост этого класса, но в процессе этом нужно отличать две разные стороны:* возникновение социального класса капиталистов и развитие образования среди светского общества, появление так называемой теперь интеллигенции. В XVIII в. во Франции буржуазия и интеллигенция сливались, так сказать, в одно целое, хотя, конечно, с одной стороны, образованные люди встречались и среди привилегированных, а с другой, и среди буржуазии образование было распространено далеко неравномерно. В этом отношении отдельные страны Западной Европы находились в неодинаковом положении. Во-первых, хотя везде было городское сословие, не везде оно было одинаково зажиточно и пользовалось одинаковым положением в обществе и государстве. В Польше, например, процент городского населения был самый незначительный, и население это состояло большей частью из евреев; промышленность и торговля были развиты мало; юридическое положение «мещан» (от *miasto* — город) было незавидное. В Германии более развитое бюргерство мы находим только в имперских городах, но последние в XVIII в. находились в упадке, а их население отличалось узким партикуляризмом. В Англии, наоборот, буржуазия в XVIII в. была уже весьма большой силой. Во-вторых, и в культурном отношении мещанство разных стран стояло не на одном уровне, как и самые страны, в которых оно жило. Ранее всего образованное гражданство, первообраз современного культурного класса, или интеллигенции, возникло в Италии, именно в эпоху Возрождения, хотя тут же и в ту же эпоху было положено начало и той придворно-дворянской культуре, которая достигла наибольшего блеска во Франции при Людовике XIV и была одним из выдающихся явлений в общественной жизни других стран Европы в XVIII в. Во Франции в прошлом столетии, благодаря тогдашним условиям экономического быта и экономической политики государства, покровительствовавшего крупной промышленности и торговле, равно как благодаря финансовой его системе (откупам), буржуазия обогатилась и выдвинулась как передовой общественный класс, чему особенно содействовало развитие в ней образованности, сохранявшей еще в XVII в. придворно-дворянский характер. Буржуазия стремится в это время занять и соответственное положение в обществе рядом с аристократией: она роднится с дворянами посредством браков,

бывших для дворян мезальянсами, хотя и очень выгодными, приобретает должности, дававшие дворянство, покупает земли разорившихся дворян, берет в аренду феодальные права и т. д.

Хотя буржуазия появилась в эту эпоху и в сельском быту, тем не менее настоящим местом ее действия был город. Судьбы городского сословия и городов Франции не совпадали между собой еще в Средние века. В самом деле, в то время, когда города перестают быть суверенными коммунами и вообще лишаются самоуправления, сословие горожан (*bourgeoisie du royaume*) не одного какого-либо города, а всей Франции, наоборот, возвышается¹. То же было и в XVIII в. Городские общины во Франции были настоящими олигархиями, т. к. в каждой было несколько богатых семейств, часто находившихся между собой в родстве, опиравшихся на зависимых от них людей и смотревших на муниципальные должности как на свое достояние. Это было, впрочем, общим правилом средневекового муниципального быта, и там, где города в XVIII в. сохраняли еще республиканскую свободу, их устройство было олигархическое, между прочим, например, и в Германии, имперские города которой были маленькими олигархическими республиками с весьма деспотической властью городского начальства над остальным населением. Во Франции города лишились своего самоуправления, подпав под административную опеку, вызванную злоупотреблениями муниципальных властей и господствующего класса, но государственный контроль, который в некоторых отношениях являлся положительной необходимостью, превратился мало-помалу в средство извлекать деньги из тех отношений, какие установились между центральным правительством и городом. Выборные городские должности в 1692 г. были заменены должностями, которые, подобно парламентским местам, продавались за деньги; при таком порядке бывали случаи, что города сами покупали эти должности и потом уже от себя их замещали выборными лицами, но это не спасало такие города от новой отмены выборов или от новых выкупов у правительства отнятых должностей. Таким образом, города утратили во Франции последние следы своей самостоятельности. В тех местностях, где сохранились провинциальные штаты, т. е. в так называемых *pays d'états*, города одни продолжали представлять собою третье сословие, тогда как в генеральных штатах уже с конца XV в. представляемы были и деревни. Насколько эти штаты имели местное значение, настолько города пользовались своим представительством для того, чтобы вообще облегчить для себя лежавшие на провинции податные тяжести, сваливая их на деревни. Но и без того *город находился в привилегирован-*

¹ См.: *Кареев Н.И.* История Западной Европы в Новое время. Развитие культурных и социальных отношений. Переход от Средних веков к Новому времени. Гл. XXXIII. М.: Академический проект, 2015. — *Прим. ред.* Это было отмечено для Средних веков еще Гизо.

ном положении сравнительно с деревней, кроме указанного отсутствия в городах остатков феодального режима¹. В самом деле, незначительному фермеру приходилось платить, например, талии 300 ливров, капитации (своего рода подоходный налог) 150, добавочных сборов столько же, хотя бы его ферма вся не стоила более 10 тысяч ливров, тогда как самый богатый городской купец, ведший торговлю на миллион и, получавший в год, по крайней мере, 10 % на свой капитал, платил капитации только 300 ливров да еще, пожалуй, промыслового сбора (*tattle d'industrie*) ливров 100. Многие города пользовались особыми льготами и привилегиями, уменьшавшими налоги, которые должны были падать на их жителей. Так как в иных случаях имущественный налог взимался с лица по месту его жительства, а не по месту нахождения его имущества, богатые деревенские собственники из третьего сословия, продолжая жить вне города, устраивали фиктивно свое местопребывание в городе, дабы платить меньше выпадавшего на их долю налога. Весьма естественно поэтому, что интересы горожан и поселян резко расходились, и что перед самой революцией, когда уже решено было собрать генеральные штаты, существовала мысль о необходимости рядом с тремя сословиями, на них представленными, учредить четвертое — *orde des paysans* или прямо «четвертое сословие» (*le quatrième état*), как «сословие бедных». В это время уже создавалось то представление о противоположности между буржуазией и народом, которое стало вытеснять все другие социальные различия в XIX в. Хотя весьма часто третье сословие (*tiers état*), обозначавшее всю нацию, за исключением привилегированных, смешивают с буржуазией и самое выражение «*tiers* (третье) *état*» переводят словами «среднее сословие», что совсем неверно, в сущности под *tiers état* именно разумелось среднее сословие. Еще в XVI в. Сейсел в «*La grande monarchie de France*» различает *le tiers état* и *le menu peuple*. Loiseau в своем «*Traité des ordres et dignités*» (1636) говорит, что «подлые особы» (*les viles personnes*) из простого народа (*du menu peuple*) не имеют права именоваться горожанами (*bourgeois*), к числу которых он относит перечисленные нами выше разряды людей. Мирабо («друг людей») отождествляет с буржуазией людей, живущих собственным имуществом (*gens qu'on appelle vivans de leur bien*), а для народной массы это были люди, живущие по-барски (*vivant noblement*). В крестьянских наказах (*cahiers*) 1789 г. мы находим равным образом такие обозначения общественных состояний во Франции: «благородные, церковники, буржуа и обыватели» (*habitants*) или «церковник, благородный, привилегированный (=буржуа) и народ». Буржуазия, действительно, занимала привиле-

¹ См. в моей книге «Крестьяне и крестьянский вопрос во Франции в последней четверти XVIII века» главу II (Буржуазия и крестьянство).

гированное положение по отношению к простонародью. Поэтому совершенно неверно утверждение некоторых историков (особенно Мишле), будто во время революции не было ни малейшего различия (*aucune distinction possible*) между народом и буржуазией: во многом их интересы совпадали, но во многом и расходились. К крупной буржуазии примыкала мелкая, которая в деревнях была представлена поднявшимися из крестьянства собственниками и фермерами, в городах — цеховыми мастерами: последние также были своего рода привилегированным сословием.

Старые политические и социальные порядки, бывшие соединением государственного абсолютизма с сословными привилегиями, представляли собой сильное препятствие к тому, чтобы буржуазия могла сделаться — при развитии, конечно, денежного хозяйства в стране — первенствующей общественной силой или, по крайней мере, стать в уровень с аристократией. Только там, где сословный строй не получил развития или где муниципальный быт поглотил в себе быт феодальный, и где вместе с этим развивалась политическая свобода, *денежная аристократия превращалась в правящий класс*. В исходе Средних веков мы видим это в Италии. С перенесением главных путей всемирной торговли, с упадком Испании и Португалии, равно как — в эпоху Тридцатилетней войны — немецких имперских городов, первыми торговыми странами сделались Голландия и Англия. В обоих этих государствах усилилось значение торгового класса, и благодаря тому, что первая была федеративной республикой, а вторая парламентарной монархией, *буржуазия в Голландии и в Англии сделалась правящим классом, разделив это значение с классом землевладельческим, благодаря падению в обеих же странах средневековых сословных перегородок*. Особенного внимания в этом отношении заслуживает Англия.

Известно, что в Англии не выработалось такого сословного строя, какой существовал на материке Европы; что весьма рано континентальных сословий заняли здесь социальные классы, т. е. юридические различия ступевались перед экономическими; что право посылать представителей в парламент определялось с конца Средних веков имущественным цензом; что по средневековым экономическим условиям этим цензом обладали главным образом землевладельческие классы, тогда как города и денежная буржуазия развиты были мало; что, тем не менее, в Англии ранее, нежели во многих странах материка, общество стало резко делиться на имущих и неимущих, благодаря обезземелению крестьянской массы; что в Новое время рядом с земледельческими классами среди имущих выросла богатая денежная знать; что уже в первую английскую революцию она уже отчасти проявляла себя как силу, независимую от поземельной аристократии, и что в XVIII в., при первых королях ганноверской династии, торговые интересы выдвинулись на первый план в государст-

венной жизни Англии¹. Особенно эпоха реставрации Стюартов была временем быстрого роста городского населения, временем развития промышленности, торговли, денежного капитала, коммерческих компаний, увеличения торгового флота, таможенных пошлин, почтовой корреспонденции, расширения иностранного вывоза и ввоза и торговых сношений с разными европейскими и внеевропейскими странами, с Голландией, Францией, Испанией, Португалией, Италией, Германией, прибалтийскими государствами, с Северной Америкой, Ост-Индией, Левантом и Восточной Африкой. Население Англии в начале XVIII в. было около семи миллионов, а между тем Лондон уже заключал в себе 600 тысяч жителей, когда Париж в конце века при двадцатипятимиллионном населении Франции имел немногим больше, а о таких городах, как Бристоль, Норвич, Манчестер и др., можно сказать, что они в самое короткое время прямо удвоили свое население, тогда как Ливерпуль, имевший в начале века 5 тысяч жителей, в конце насчитывал их 56 тысяч. Такому росту городов способствовало вообще и обезземеление сельского населения. Военный флот Англии, состоявший в начале XVII в. из сорока кораблей, в конце его имел уже их 200, а в начале XVIII столетия более 250, тогда как коммерческий флот заключал почти 3300 судов. В 1700 г. в лондонский порт входило 839 английских судов в 80 000 тонн и 496 иностранных в 76 995 тонн; в 1750 г. первых — 1498 (в 198 тысяч тонн), в 1796 г. — 2145 (в 431 890 тонн) при 1116 судах иностранных (в 149 205 тонн). Об избытке капиталов свидетельствует понижение процента с 8 % на 6 %. Известно и колониальное могущество Англии в эту эпоху². Уже в конце царствования Елизаветы (1600) составила для торговли с внеевропейскими странами большая компания лондонских купцов, успех которой побудил впоследствии образовать и другую подобную (плимутскую) компанию, но в начале XVIII в. (1708) обе они слились в одну Соединенную Ост-Индскую компанию. Последняя, благодаря данному ей при Иакове II (1686) праву вести войны с нехристианскими государствами в Индии, превратилась в политическое учреждение. Мало-помалу Англия все более и более утверждалась в Индии, где еще раньше ее завели свои колонии португальцы, голландцы и французы. С ними Англии пришлось вступить в соперничество, особенно с Францией, которая по парижскому миру (1763), окончившему Семилетнюю войну, должна была представить Англии преобладание в Индии.

¹ По истории промышленности в Англии соч. Gibbins'a, Toynbee и Held'a, по истории торговли Levi (Hist. of british Commerce). Цельное представление дает новая книга Cunningham'a The growth of english industry and commerce (том II с царствования Елизаветы).

² Старое (1820 г.) соч. James Mill'я The history of british India. Neumann. Geschichte des englischen Reichers in Asien; Barchou de Penhoen. Histoire de la conquête de l'Inde par l'Angleterre. Для истории французских колоний: Pauliat. Louis XIV et la Compagnie des Indes; Malleson. Histoire des Français dans l'Inde; Saint Priest. La perte de l'Inde sous Louis XV. О соперничестве Франции и Англии в Америке: Parkman. France and England in North-America.

Колонизация Северной Америки также началась в царствование Елизаветы и шла весьма успешно в XVII в., когда, с одной стороны, религиозные и политические смуты и преследования, с другой, обезземеление сельской массы заставляли массу англичан покидать родину. Кроме Семилетней войны, и война за испанское наследство, в которой затронуты были коммерческие интересы Англии¹, содействовала своим исходом английскому колониальному могуществу, равно как и Семилетняя война утвердила Англию не только в Ост-Индии, но и в Северной Америке. Только Война за независимость Соединенных Штатов (1775–1783) остановила колониальные успехи Англии, что было, впрочем, наверстано англичанами в эпоху Французской революции и Наполеоновских войн. Таким образом, в XVIII в. Великобритания все более и более расширяла свое колониальное могущество. *Раз, однако, уже и в самом начале столетия она была сильной морской, колониальной и торговой державой, это не могло не отозваться на ее социальном строе и внутренних политических отношениях.* При Вильгельме III, когда правительство нуждалось в больших денежных суммах для войны с Людовиком XIV, крупные капиталисты явились в роли кредиторов государства. Дело в том, что военные расходы не покрывались налогами и что потому понадобились займы. Разумеется, займодавцы хотели иметь гарантии в том, что проценты будут им уплачиваться правильно, и что правильно же будет погашаться и капитальная сумма, и вот в качестве посредника между капиталистами и правительством явился банк, организованный по образцу генуэзского и утвержденный парламентом в 1694 г., хотя землевладельческий класс был против банка, опасаясь, что он будет только содействовать переходу политического влияния к денежной знати, как это в действительности и произошло. Английский банк весьма скоро принял на себя ведение счетов по взиманию налогов, хранение и выдачу казенных денег, посредничество при заключении государственных займов, а также и вообще сделался центральным учреждением в денежном хозяйстве Англии, упрочив кредит, как государственный, так и коммерческий, что, конечно, не могло не содействовать еще большему развитию не только торговли, но и значения торговых людей². Коммерческий кредит и ассоциация капиталов посредством компаний были две главные силы, которые создавали тогда огромные богатства, и все, что имело средства, стремилось попытать счастья при их помощи в заморских предприятиях. Последние становились иногда рискованными, являлись спекуляциями, рассчитанными на легкое вероие публики, вследствие чего нередко могли происходить крушения целых компаний. Например, около того же време-

¹ Гуревич Я. Происхождение войны за испанское наследство и коммерческие интересы Англии. В этом сочинении указана и литература.

² Об английском банке: Rogers (The first 9 years of the b. of England), И. Кауфман (Кредит, банки и денежное обращение) и др.

ни, как во Франции лопнула знаменитая «система» Лоу, и в Англии был страшный кризис, вследствие спекулятивной горячки, с одной торговой компанией, дела которой в конце концов расстроились¹.

В Англии не было сословных привилегий, которые отчуждали бы землевладельческое дворянство от денежной знати, хотя, разумеется, между ними и должен был существовать социальный антагонизм. Английские лорды, однако, теперь вступали в брак с богатыми купчихами из лондонского Сити, отдавали своих младших сыновей в науку к коммерсантам, да и вообще власть денег получила по отношению к ним притягательную силу. Если торизм вербовал своих приверженцев среди землевладельческой аристократии, то *новая денежная знать и та часть знати старой, которая так или иначе с ней сближалась, стояли на стороне вигов*. Капиталисты внесли в политику свои денежные расчеты, обращая главное внимание на то, какое правительство вернее и аккуратнее будет выплачивать проценты по государственному долгу или содействовать интересам промышленности, торговли, коммерческого флота, колониального развития: это особенно хорошо понял Вальполь, когда в тронной речи 1721 г. изложил программу своего будущего правления в духе интересов торгового класса. Политика вигов заинтересовывала в своих успехах и неудачах всех, у кого были деньги, у кого было какое бы то ни было имущество, стоящее денег, ибо уже тогда политические события, как и теперь, оказывали влияние на ценность всякого рода «фондов», и вот как бы в одном общем деле соединялись интересы вигизма, ганноверского дома, английского банка и денежной аристократии в то время, когда якобы еще не покидали надежды произвести реставрацию Стюартов. Тории все еще продолжали держаться того принципа, что величие Англии зиждется на землевладении и сельском хозяйстве, а не на деньгах и торговле, и даже думали охранить преобладание землевладельческой аристократии особым законом² в конце царствования королевы Анны. Но старые основы английского землевладения были расстроены, и само сельское хозяйство благодаря развитию фермерства получило денежный характер, что объединяло интересы капиталистов вообще, куда бы ни прилагали они свои капиталы, т. е. к торговле и промышленности или же к земледелию и скотоводству. Особенную же помощь английской буржуазии оказывала дурная организация выборного права, создавшая возможность покупки мест в парламенте за деньги. Вальполь опирался на эту вигистскую буржуазию, проводя выгодные для нее законы в парламенте, но ему важно было отвлечь и землевладельческий класс от торизма, чем, например, объясняется понижение в его правление поземельного налога с 4 шиллингов (закон 1692 г.) на 1 шил-

¹ Вирт М. История торговых кризисов в Европе и Америке. О системе Лоу ниже.

² Landed property qualification act 1711 г.

линг (1731 и 1732 гг.) с фунта стерлингов и т. п. До и помимо единичных мер, самой силой вещей в Англии *совершилось слияние аристократии и буржуазии в один правящий класс, который был в конце XVIII в. сильно встревожен демократическими принципами американской, а еще более Французской революции*. До такого положения в государстве, какое занимала английская буржуазия, было далеко буржуазии французской, но и она в XVIII в. уже начинала сильно вытеснять аристократию в области экономических отношений, между прочим, скупая дворянские земли. «Система» Лоу, разорившая многих аристократов и обогатившая, наоборот, рантьефов, сильно содействовала перемещению имуществ в новые руки.

В конце XVIII в. изобретение разных машин и вызванное их применением небывалое развитие крупной промышленности еще более содействовали усилению буржуазии, но пока существовало старое гражданское неравенство, пока были в силе аристократические привилегии, а вместе с тем, пока буржуазия была лишена возможности при посредстве национального представительства оказывать влияние на внутреннюю и внешнюю политику, до тех пор она не имела на континенте возможности развиться в такую социальную силу, какую представляли собою денежные люди в Англии. Переходим теперь к сельской массе.

VIII. Крестьянские отношения в XVIII в.¹

Неудовлетворительное состояние крестьянства в XVIII в. и его причины. — Социальный феодализм, денежное хозяйство и фискальные требования в их отношениях к сельскому быту. — Остатки крепостничества во Франции. — Феодальные кутюмы. — Сеньориальные права. — Мелкая собственность и мелкое хозяйство. — Половничество и фермерство. — Общинные земли и общинные сервитуты. — Отношение государства к крестьянам. — Тяжесть налогов. — Нищета французских крестьян. — Сравнение французского хозяйства с английским. — Английские аграрные отношения. — Помещичье хозяйство в Германии. — Немецкие крестьяне в Новое время. — Юридическая теория крепостничества.

XVIII в. имеет двойное значение в истории западноевропейского крестьянства: с одной стороны, лишь с этого столетия начинается публицистическая разработка крестьянского вопроса и делаются первые шаги на пути освобождения крепостных по почину старой государственной власти, пока Французская революция не подает пример совершенной ликвидации социального феодализма, но, с другой стороны, XVIII в. был временем наиболее бедственного состояния крестьянской массы. О постановке крестьянского вопроса в литературе у нас будет речь еще идти впереди, равно как о реформах, производившихся в крестьянском быту государственной властью до революции, здесь же мы остановимся лишь на характерных чертах этого быта.

¹ См. мою книгу «Крестьяне и крестьянский вопрос во Франции в последней четверти XVIII века» (с указаниями на предыдущую специальную литературу) и две последние главы «Очерка истории французских крестьян с древнейших времен до 1789 г.» *Babeau. Le village sous l'ancien régime; Idem. La vie rurale dans l'ancienne France; Calonne A. de. La vie agricole sous l'ancien régime dans le nord de la France. Chassin. L'église et les derniers serfs.* Для Германии: *Knapp. Die Bauer-Befreiung und der Ursprung der Landarbeiter in der älteren Theilen Preussens; Pouep.* Наука о народном хозяйстве в отношении к земледелию (*Roscher. Nationaloekonomik des Ackerbaues*). Для Англии, кроме трудов Роджерса (см. I), *Prothero. Pioneers and Progress of english farmers; Маркс К. Капитал (Marx K. Das Kapital, включает историю обезземеления сельского населения в Англии).* По истории крестьян в Польше: *Мякотин В. Крестьянский вопрос в Польше в эпоху разделов (с кратким разбором существующей литературы); Korzon T. Wewnkrzne dzieje Polski za St.-Augusta.* Много данных о фактическом положении крестьян есть и в сочинениях по истории отмены крепостничества и по истории крестьянского вопроса; *Sugenheim. Geschichte der Aufhebung der Leibeigenschaft in Europa; Stein L. Die Entwehrung in Deutschland, Frankreich und England.* Несколько лет тому назад (1878 г.) проф. И. В. Лучицкий начал печатать в киевских «Унив. Известиях» большую «Историю крестьянской реформы в Западной Европе с 1789 г.», которая не была окончена и возобновилась только в последние годы в ряде статей, помещавшихся в «Северном Вестнике». Ср. также прибавления проф. Лучицкого к русскому переводу «Новой Истории» Зеворта.

Рассматривая сельские юридические и экономические отношения старого режима, мы *наблюдаем в них, с одной стороны, остатки старинного социального феодализма, с другой — более новые порядки, которые были результатом применения к деревенскому быту денежного хозяйства*. Эти две системы находились в весьма различных отношениях между собой, то решительно преобладая одна над другой, то взаимно одна другую дополняя. Например, в старой Польше денежное хозяйство было развито весьма мало, преобладало хозяйство натуральное в том виде, как оно повсеместно существовало при феодальном режиме (хотя Польша и не знала политического феодализма): землевладение было дворянское (притом исключительно дворянское), хозяйство — крестьянское, т. е. мелкое, и земледелец в качестве крепостного был прикреплен к земле. Англия, наоборот, давным-давно уже вышла из такого быта, ибо в ней сельское население было свободно, но вместе с этим мелкое крестьянское хозяйство все более и более исчезало, уступая место крупным фермам, обрабатывавшимся наемными рабочими, т. е. обезземеленными поселянами, которые переходили теперь на положение батраков. В других странах мы наблюдаем, далее, соединение — в разных пропорциях и с местными особенностями — обеих систем или такие формы, которые могут рассматриваться как переходные от одной системы к другой. В этом отношении весьма характерны многие особенности французского крестьянского быта: с одной стороны, здесь мы имеем дело с массой остатков и следов социального феодализма, с другой — с множеством фактов, указывающих на зарождение денежного хозяйства в сельском быту, хотя вместе с этим во Франции и крепостная обработка земли, как в Польше, Австрии, Пруссии, других частях Германии и т. д., и фермерство, как в Англии, представляют из себя исключения, первая — как остаток старинного быта, из которого Франция уже вышла, второе — как лишь первые признаки наступления других условий существования. Но если крепостничество во Франции было исключением, то, наоборот, многие другие стороны социального феодализма составляли в ней все еще общее правило, и равным же образом если фермерство опять-таки было в ту эпоху во Франции явлением исключительным, то иные отношения, возникавшие на почве денежного хозяйства, были хорошо знакомы и французскому крестьянству. Вот почему история последнего в XVIII в. представляет особый интерес, т. к. именно здесь мы имеем дело *со своеобразным соединением социального феодализма Средних веков и денежного хозяйства Нового времени*. Но есть и другие поводы выдвинуть эту историю на первый план. Кроме старых феодальных повинностей, лежавших на крестьянстве, и новых условий хозяйства, отражавшихся на его экономическом быту, *весьма рано на него легла и вся тяжесть государственных налогов*, которая во Франции была весьма значительна. Результатом этого было страшное разорение народа, так что при сравнении XVIII столетия с

XIV в. в истории французского крестьянина приходится говорить не об улучшении его быта в Новое время, а об ухудшении. Но и в других государствах, где сословные привилегии оставались неприкосновенными, сильное возрастание государственных расходов совершалось за счет экономического благосостояния народной массы, не говоря уже о том, что и тут над крестьянином тяготели феодальные права или начиналось его обезземеление. Как это ни странно, именно в Новое время усилилось крепостничество в Германии (после подавления крестьянского восстания 1524—1525 гг. и после Тридцатилетней войны, в Польше (с исхода XV в.), в Венгрии (с 1514 г.), в Дании (в эпоху аристократического режима): не забудем, что и в России эпохой развития крепостных отношений были XVII и XVIII вв. Крестьянская масса была главной плательщицей государственных налогов, что одно требовало от нее известных операций с деньгами. Наконец, не забудем, что в католических странах на ней же лежала и тяжесть церковной десятины, которая, как мы это видели по отношению к Франции, была приблизительно так же велика, как и доходы клира с прямо принадлежавших ему земель. Все это, вместе взятое, т. е. и крепостничество, и феодальные поборы, и обезземеление, и невыгодные стороны новых хозяйственных отношений, и церковная десятина, и тяжесть налогов — объясняют нам упадок, в каком в XVIII в. находилось материальное благосостояние народных масс. Правительства прошлого века, наконец, обратили внимание на крестьянский быт и приступили к реформам с целью его улучшения, но именно во Франции почти ничего не делалось в пользу крестьян вплоть до революции. Сама революция в значительной мере была вызвана печальным состоянием народной массы, которая и заявила себя в самом же начале переворота повторением жакерии XIV в. или даже Великой крестьянской войны 1524—1525 гг.

Общим юридическим правилом в быту французских крестьян перед революцией была свобода лица. Большая часть провинциальных кутюм не признавала крепостничества, т. е. это были *coutumes franchises*¹, и лишь в меньшей части провинции действовали так называемые *coutumes serves*² или *mainmortables*³, из чего, однако, не следует, что все крестьянское население таких провинций находилось в крепостном состоянии. Известно только, что упорнее всего держались остатки серважа в имениях духовенства, и вообще предполагают, что из сельского населения Франции, доходившего до

¹ Свободные кутюмы (фр.). — *Прим. ред.*

² Крепостнические кутюмы (фр.). — *Прим. ред.*

³ В исторической литературе «менмортабли» (слово происходит от словосочетания «*main morte*» — мертвая рука) — наиболее несвободная часть феодально-зависимых французских крестьян (ограничение владельческих прав, свободы брака, права выступать в суде; уплата произвольной тальи и т.п.), разновидность сервов. При отсутствии наследников мужского пола земельное держание менмортаблей и часть иного имущества после их смерти переходили к сеньору (по праву мертвой руки). — *Прим. ред.*

18 миллионов, в этом состоянии было около полутора миллиона, т. е. немного более 8 %. Притом положение сервов было неодинаково: одни (*hommes de corps, gens de poursuite, mainmortables*) находились в *servitude personnelle*¹, т. е. были прикреплены к земле и состояли в личной зависимости от господ своих (таково было положение сервов монастыря св. Клавдия в Юре, за которых заступался Вольтер, о чем ниже), другие же состояли в *servitude réelle*², т. е. подчинялись всем условиям крепостничества, пока продолжали жить на известных наследственных участках земли: покидая свои земли, они становились лично свободными. По-видимому, «реальных» сервов было более, нежели личных, способ же освобождения их из крепостной зависимости стоит в связи с тем общим фактом, что еще со Средних веков *раскрепощение крестьян сопровождалось их обезземелением*, — явление, особенно характерное для английской истории. Над сервами обеих категорий сеньоры продолжали пользоваться теми же правами, что и в Средние века.

Кутюмы, определявшие личные и имущественные права сельского населения, весьма разнообразные в отдельных провинциях, были составлены в XV—XVI вв. и лишь очень немногие позже, но все они одинаково закрепляли старые юридические нормы феодализма: в сущности гражданское право Франции в XVIII в. было то же, что и в исходе Средних веков. Земли делились на благородные (*nobles*), изъятые от налога, называвшегося талией (*taille*), и на подлые (*roturières*), подчиненные талии. Благородной собственностью были по преимуществу феодалы (*fiefs*), которых во Франции насчитывалось около 70 тысяч, из которых 3 тысячи было титулованных (герцогства, графства, маркизаты, баронии, *châtellenies*) и в силу этого обладавших высшей и средней юстицией, ограниченной, правда, королевскими судами, тогда как владельцы простых феодалов имели право лишь на низшую юстицию (*basse justice*). Последняя разрешала гражданские споры «подданных» (*sujets*), т. е. крестьян в пределах 60 су и могла налагать штрафы в 10 су; средняя юстиция ведала дела большей важности и могла налагать штрафы в 60 су, а высшая составляла апелляционную инстанцию и была компетентна приговаривать своих *justiciables* к тюрьме, телесным наказаниям и — с утверждения королевского суда — к смертной казни, в знак чего сеньор, бывший *haut justicier*, имел право ставить виселицу перед воротами своего замка. Сеньориальная юстиция отправлялась особыми судьями, находившимися в зависимости от своих сеньоров. Все ротюрные земли, т. е. участки, не бывшие феодами, зависели от того или другого феодала в силу правила: *nulle terre sans seigneur*³. Это правило существовало в большей части кутюм, и лишь немногими признавалось другое правило:

¹ Личная зависимость (*фр.*). — *Прим. ред.*

² Зависимость с возможностью освобождения (*фр.*). — *Прим. ред.*

³ Нет земли без сеньора (*фр.*). — *Прим. ред.*

nul seigneur sans titre¹. Т.е. по первому принципу каждый участок земли, лежавший в пределах известной сеньории, считался частью феода, уступленной его владельцем держателю (tenancier), которому принадлежал *dominium utile*² в отличие от сеньориального *dominium directum*³, тогда как второе правило требовало от сеньора документа, который доказывал бы его право на *dominium directum* над каждым участком в отдельности, в противном же случае участок считался алодом (alleu), т. е. был полной, свободной собственностью. Последняя представляла собой редкие исключения: *общим правилом аграрного быта Франции была несвобода земли, над которой тяготели разные феодальные права*. Все земли во Франции, кроме редких дворянских и крестьянских алодов, были или феоды, или цензивы (censives), как назывались ротюрные участки. Наследственный собственник цензивы мог ее заложить, продать, подарить и т. п., но над ней всегда оставались известные права сеньора, ни в каком случае не подлежащие выкупу. Само название свое цензивы получила от ценза, или чинша (cens), т. е. оброка, платившегося сеньору, да и сам держатель был по тому самому цензитарием (оброчником). С правом на получение ценза были соединены и многие другие права du seigneur censier⁴. Он имел право возратить цензиву себе, если цензитарий ее дегерпировал, т. е. отказывался ею владеть; когда цензива переменяла владельца по праву наследования, новый владелец формальным актом признавал свою цензуальную зависимость; покупатель цензивы должен был представить сеньору купчую крепость и заплатить ему особую пошлину (lods et ventes⁵), но сеньор сохранял право цензуального выкупа (retrait censuel), в силу которого мог по своему произволу уничтожить акт продажи, внося покупщику заплаченные им за цензиву деньги и оставив землю за собой или уступив ее третьему лицу; в некоторых случаях сеньорам принадлежало право наложения штрафов и даже конфискации, когда не уплачивались вовремя оброки и пошлины. По образцу этих отношений создавались и другие, когда сами цензитарии от себя уступали за вечную ренту части своих земель другим, но тут уже не могло быть места для развития таких прав, какими пользовался настоящий сеньор; такая отдача цензитарием земли в вечную аренду только усложняла аграрные отношения и обременяла землю новыми повинностями. Денежный ценз был обыкновенно невелик, но за то весьма тяжел был соединявшийся с ним шампар (champart), в силу которого сеньор по-

¹ Нет сеньора без документа (фр.). — Прим. ред.

² Право зависимой собственности (т.е. право фактической эксплуатации под надзором сеньора) (лат.). — Прим. ред.

³ Право обладания (пожалования, отобрания, обложения земли) (лат.). — Прим. ред.

⁴ Сеньор, получавший оброк, ценз (фр.). — Прим. ред.

⁵ Этим выражением обозначается налог, взимаемый сеньором при переходе имущества от одного его ленника к другому. — Прим. ред.

лучал с цензивных участков известную долю (около четверти) жатвы, отбывавшей, кроме того, и десятину (*dime*) в пользу церкви. В обеспечение исправного платежа сеньориальных повинностей цензивная собственность подвергалась разным ограничениям, но последние вытекали и из других прав сеньора. В силу исключительного права охоты (*droit de chasse*), принадлежавшего дворянству, собственник цензивы не мог истреблять дичи, портившей его посевы, не мог косить траву или жать хлеб, пока куropатка не выведет своих цыплят, не мог убивать ни голубей, которых держали сотнями в своих замках сеньоры в силу *droit de colombier*¹, ни кроликов, содержавшихся в заповедных гареннах, хотя и птицы эти, и эти зверьки наносили большой вред сельскому хозяйству. Тем же правилом «*nulle terre sans seigneur*»² пользовались владельцы феодалов, чтобы отбирать у крестьян земли, бывшие в общественном пользовании целых деревень, каковы пустоши, пастбища, леса и т. п. Сполиация общин началась еще в XVI в., и хотя в XVII в. правительство вооружилось против этого зла, случаи отобрания у крестьян общинных угодий продолжались и в XVIII в. до самой революции, как это видно из многочисленных крестьянских наказов (*cahiers du doléances*) 1789 г., напоминающих в этом отношении жалобы немецких крестьян в эпоху их восстания в начале XVI в.³ Цензуальные и общинные отношения в XVIII в. служили предметом разорительных процессов вследствие несправедливых притязаний сеньоров, запутанности феодального права, продажности и зависимости сеньориальных судов, и потому, что вообще вся аграрная система находилась в полном расстройстве. Особенно *тяжело отзывалось и на народном благосостоянии, и на сельском хозяйстве обременение земли феодальными поборами, с которым были связаны и разные стеснительные ограничения права непривileгированной собственности в пользу сеньоров*. Но последние, как светские, так и духовные, продолжали пользоваться над сельским населением, — лично, как мы видели, в громадном большинстве случаев свободным, — и некоторыми другими правами феодального происхождения, но не имевшими аграрного характера, что *ставило и свободное крестьянство под известного рода опеку привилегированного землевладельческого сословия*. Во-первых, мы видели, что за сеньорами оставалась деревенская юстиция. Правда, им принадлежало только право назначения судей, судебных приставов и т. п., но они пользовались этим правом, имея в виду лишь свои выгоды, т. е. назначая на эти должности преданных или зависимых людей, иногда своих же управляющих или откупщиков феодальных прав. Сеньорам принадлежала, далее, полиция в их владениях, принадлежало право делать распоряжения относительно времени уборки хлеба, винограда и т. п. Особую катего-

¹ Право держать голубятни (фр.). — Прим. ред.

² «Нет земли без сеньора» (фр.). — Прим. ред.

³ О наказах 1789 г. будет сказано в своем месте.

рию составляли сеньориальные монополии, известные под названием баналитетов (banalités): бывали банальные мельницы, печи, точила, в которых крестьяне обязаны были молотить свои зерна, печь свой хлеб, выжимать сок из своего винограда, хотя бы мельница была далеко, за печение хлеба брали дорого, а точило не всегда было свободно, хотя бы все это удобнее, дешевле и скорее можно было сделать на посторонней мельнице или у себя дома. Обыкновенно баналитеты отдавались на откуп, и арендная плата, поступающая к сеньорам, составляла для них все-таки известного рода доход, сильно обременяя массу сельского населения лишними расходами. Наиболее распространенным был, впрочем, только баналитет печи. В пользу сеньоров поступали еще разные дорожные, мостовые, рыночные пошлины или откупные деньги, заменявшие разные натуральные повинности вроде починки замка или дворовой стражи, равно как, например, платившиеся за отмену баналитета. В отдельных провинциях или кантонах, в отдельных сеньориях существовали особенные еще поборы с крестьян, разные виды натуральных повинностей (вроде пяти дней барщины в году) или отдельные *droits ridicules*¹, как называли в XVIII в. некоторые обязанности крестьян вроде пугания по ночам лягушек в прудах, окружавших сеньориальное жилье, чтобы своим кваканьем эти животные не беспокоили сна его обитателей и т. п. Новые сеньориальные права устанавливались еще в XVIII в., что влекло за собой весьма часто разорительные для крестьян процессы. Сравнивая то, что нам известно о юридической стороне личных и имущественных отношений в сельском быту накануне революции с тем, что эти же отношения представляли из себя в XV–XVI вв., мы видим, что особенно больших изменений в этой области народной жизни во Франции не произошло за три столетия, отделяющих исход Средних веков от революции.

Итак, лично крестьяне во Франции в большинстве случаев были свободны, но их земли находились в феодальной зависимости, а сами они были обложены в пользу сеньоров массой разных поборов. Освобождение из крепостного состояния, начавшееся во Франции еще в конце Средних веков, сопровождалось обезземелением освобожденных сервов, но если лишь некоторая, притом меньшая часть крестьян владела мелкой собственностью (разумеется, цензивной), то большинство крестьян все-таки состояло из мелких хозяев, снимавших землю в аренду у крупных землевладельцев как дворянского звания, так и ротюрьеров. В XVIII в. сельская масса во Франции разделялась на самостоятельных хозяев (*laboureurs*), сидевших на своих цензивах или на арендованных участках, и на батраков (*manoeuvres, manouvriers*), представлявших из себя наемных сельских рабочих, живших в услужении у сельских хозяев или промышлявших поден-

¹ Нелепые обязанности (фр.). — Прим. ред.

ной работой. Не революция, как думали прежде, создала во Франции мелкую крестьянскую собственность, ибо последняя существовала и раньше, а революция лишь освободила ее от феодальных повинностей, но на этот вид землевладения приходилась во Франции едва одна четверть всей почвы, быть может, даже одна пятая, во всяком случае, менее одной трети. Не все мелкие хозяева из крестьян, — а таковыми были опять-таки далеко не все крестьяне, часть которых превратилась в наемных рабочих, иногда не имевших даже никакой оседлости, — не все мелкие хозяева были собственниками обрабатывавшихся ими земель, ибо многие из них кормились, снимая землю у сеньоров и богатых ротюрьеров в аренду. Во Франции до революции вообще было сильно развито мелкое хозяйство, хотя и не везде, так что все государство в этом отношении делили на «*payes de petite culture*», где существовало, между прочим, мелкое фермерство, и на «*payes de grande culture*», где особенно было в ходу батрачество. Мелкое фермерство, однако, редко представляло собой денежную аренду: в громадном большинстве случаев это было половничество (*metayage*), при котором половник (*métayé*) получал ферму (*métairie*) за обязанность уплачивать ее владельцу половину продукта. Можно сказать, что *это было наиболее типическое отношение французского крестьянина к почве в XVIII в.*: во-первых, области мелкого хозяйства преобладали над областями хозяйства крупного, да и там, где велось последнее, дело без половников не обходилось, а во-вторых, большая часть французских крестьян, не жившая исключительно заработной платой, снимала земли исполу, даже в том случае, если у половника был и собственный клочок земли, т. к. последний весьма часто оказывался слишком малым для того, чтобы кормить своего владельца с его семейством. Половничество было свободным контрактом между свободным крестьянином, у которого не было своей земли, и землевладельцем, лишившимся крепостного труда: оно было новой формой соединения крупного землевладения с мелким хозяйством (характерный признак феодального устройства), но новой только в юридическом смысле, а не в экономическом отношении, т. к. при этой форме крестьянин был уже человек свободный, а не крепостной, как раньше. Можно сказать, что большая часть средневековых сервов, получивших личную свободу, превратилась в половников, утратив, однако, ту крепкую связь с землей, какая существовала между сервом, прикрепленным к известному участку, и этим участком, закрепленным, в свою очередь, за сервом, т. е. потеря сеньором права на личность крестьянина сопровождалась потерей со стороны крестьянина права на наследственное пользование землей. Правда, крестьянин не сгонялся с земли и продолжал платить обычную натуральную ренту, но это происходило лишь потому, что никто не давал за «метерию» (половническую ферму) больше того и притом в виде денежной платы. Появление капиталиста, который предлагал денежную плату

и, конечно, уже не мог удовлетворяться маленькой «метерией», а желал соединить несколько «метерий» в одну большую ферму, должно было начаться разложение половничества. Фермерство впервые делается во Франции заметным в XVI в., но настоящее его усиление происходит с двадцатых годов XVIII столетия. Если половничество было в экономическом отношении остатком социального феодализма и характеризуется как одна из форм натурального хозяйства, то фермерство, гораздо ранее уже сильно развившееся в Англии, было результатом применения к земледелию денежного хозяйства. Сначала французские фермеры брали в аренду большие имения лишь для того, чтобы потом раздавать их небольшими участками половникам, т. е. являлись простыми посредниками, но мало-помалу они начали сами заниматься сельским хозяйством, превращая постепенно половников в наемных рабочих. С другой стороны, сеньоры предпочитали получать определенный денежный доход, а не неверную половину продукта, и иметь дело с одним зажиточным фермером, а не с десятком или двумя нищих половников. *Замена нескольких мелких ферм одной крупной и натуральной ренты денежной является одним из процессов, вызывающих в XVIII в. жалобы крестьян.* Таким образом, в XVIII в. мы встречаем у сельского населения и рабские участки земли, обладание которыми превращало людей в крепостных, и мелкую собственность, находившуюся в феодальной зависимости и обложенную натуральными оброками, иногда впрочем слишком мелкую (дом с огородом), чтобы быть основой самостоятельного хозяйства, и мелкую аренду с натуральной рентой, все разные формы средневекового пользования землей, — а рядом с ними и крупную ферму на короткий срок и с уплатой денежной ренты, что, однако, во Франции было исключением, а в Англии сделалось к концу века общим правилом.

Сельская масса во Франции таким образом далеко не была однородна. В одних отношениях расходились между собой интересы самостоятельных хозяев и сельскохозяйственных наемных рабочих, в других сближались интересы мелких собственников с интересами фермеров и интересы половников с интересами батраков. Последнее касалось, например, общинных земель и сервитутов вроде права выпаса (*droit de vaine pâture*), т. е. права высылать свой скот пастись по землям целой деревни, когда хлеб с них снимался. Фермеры и собственники тяготились подобными сервитутами и стремились завладеть общинной землей, исключив из права пользоваться ею всех жителей, не имевших собственного хозяйства, а безземельные и малоземельные крестьяне, напротив, отстаивали свои права, ибо с лишением последних они уже совсем не могли бы содержать скота, иметь молоко и т. п. Между тем в XVIII в. во многих местах делились общинные земли, уничтожались общие выгоны для скота, загораживались поля и исключались таким образом их *vaine pâture*, что весьма дурно отзывалось на беднейших

жителях деревень, лишавшихся возможности иметь свое молоко, свое мясо и т. п., а это, в свою очередь, вызывало внутренние распри среди одноподдервенцев, возмущения, процессы.

Французское крестьянство переживало в XVIII в. трудную эпоху перехода от старых экономических отношений к новым, а между тем на нем лежала еще непомерная тяжесть дурно организованной податной системы. Абсолютная монархия Бурбонов совершенно забыла «курицу в горшке крестьянина», о которой заботился Генрих IV, и *смотрел на крестьян глазами Ришелье, думавшего, что народу не должно быть слишком хорошо*, дабы он не выходил из границ покорности. С одной стороны, эта монархия была тесно связана с аристократией, за которой она признала все ее феодальные права над сельским людом, с другой, государство Нового времени держалось экономической политики меркантилизма, т. е. покровительства торговле и обрабатывающей промышленности, а с ними и общественному классу, который имел в своих руках и ту, и другую, часто в ущерб сельскому хозяйству и земледельческим классам. Податные привилегии духовенства и дворянства известны, но кое-какими привилегиями пользовались и горожане, особенно крупные коммерсанты и фабриканты — уже прямо ради вящего поощрения их деятельности, считавшейся наиболее выгодной для обогащения государственной казны. Налоги во Франции в XVIII в. возрастали со страшной быстротой без соответственного увеличения национального богатства, во всяком случае, без соответственного подъема платежных сил крестьянского населения, главнейшего плательщика налогов, как прямых, так и косвенных, падавших на самые необходимые предметы потребления¹. Крестьянин платил государству — налоги, духовенству — десятину, землевладельческой аристократии — феодальные оброки, повинности, пошлины, собственникам земли, какого бы звания они ни были, — ренту. В наилучшем положении был крестьянин-собственник, но т. к. земля его была ротюрная, то она главным образом платила налог, от которого была свободна «земля благородная» (*la terre noble*), и т. к. эта ротюрная земля была цензивной, то она же несла на себе шампар, не говоря уже о том, что на ней, как и на всех землях вообще, лежала еще церковная десятина. Положение половника было, разумеется, не лучше, ибо раз не сам сеньор вел хозяйство на своей земле, участок, отданный им в аренду, платил поземельный налог; если же половник снимал ротюрную землю, то он же выплачивал и феодальные сборы. Чуть не весь чистый доход с очень мелких хозяйств уходил на уплату налогов, феодальных повинностей и десятины, а с больших хозяйств — половина. Многие мелкие собственники прямо дегерпировали свои земли, т. е.

¹ Подробности в книге «Крестьяне и крестьянский вопрос во Франции».

возвращали их сеньорам или отдавали сборщикам податей. Само собой разумеется, сельское хозяйство при таких порядках находилось в упадке; земля дурно обрабатывалась или пустовала; голодные годы повторялись весьма часто, и хлеба или не хватало, или он был очень дорог; крестьяне, оторванные от земледелия вследствие невозможных условий, в какие оно было поставлено, устремлялись за заработками в города, где их часто, однако, не находили, — нищенствовали, бродяжничали, нередко разбойничали или производили беспорядки, поводом к которым был обыкновенно недостаток хлеба, т. е. грабили булочные, хлебные амбары, транспорты муки (*troubles à cause des grains*), как это происходило повсеместно и постоянно¹. Была какая-то страшная несообразность во всем сельскохозяйственном быту Франции: жаловались постоянно на недостаток хлеба, а между тем множество земель пустовало, между прочим, таких, которые прежде обрабатывались; жаловались, далее, на недостаток рабочих рук, которые можно было бы приложить к пустующим землям, а между тем в городах и деревнях не знали, как отделаться от разных праздношатающихся, не находивших себе работы и потому нищенствовавших; жаловались на это самое нищенство, а между тем положение тех, которые работали на земле, было не лучше, ибо весьма часто половники питались хлебом и засевали поля зерном, взятыми в долг у землевладельца, весьма часто всякий вообще земледелец должен был покупать хлеб на рынке у барышника (*assareur*) или агента какой-либо хлеботорговой фирмы, если только было, на что купить, и если только был еще продажный хлеб. *Нищета была уделом громадного большинства сельского населения Франции*: об этом свидетельствуют официальные данные прошлого века, литературные произведения всякого рода, свидетельствуют свои и чужие, а между последними наш Фонвизин, посетивший Францию в семидесятых годах и писавший оттуда письма гр. Панину, особенно же английский агроном Артур Юнг, изъездивший всю Францию в эпоху революции (1787—1790 гг.) и оставивший весьма ценное описание своего путешествия; всего им самим виденного и слышанного². Свидетельствуют об этом и собственные жалобы крестьян в 1789 г.

Когда во второй половине XVIII в. бедственное положение народа и сельского хозяйства обратило на себя внимание общества, причину зла многие увидели не только в феодальных правах, лежавших тяжелым бременем на земле, но и в той системе хозяйства, которая практиковалась во Франции, и даже, пожалуй, второй причине приписывали большее значение, чем первой: для экономической школы физиократов было даже не-

¹ Самым любопытным эпизодом такого рода была «мучная война» при Тюрго, о чем ниже. По вопросу о хлебной торговле см. новое сочинение Г.Е. Афанасьева «Условия хлебной торговли во Франции в XVIII в.».

² Arthur Young, соч. которого есть и во французском переводе.

сомненным, что Франция должна перейти от мелкого, половнического хозяйства к крупному, фермерскому, какое существовало в Англии. Успехи, сделанные английским земледелием, находившимся в иных условиях, бросались в глаза не одним физиократам, и мысль о том, что мелкая культура должна уступить крупной, что большинство крестьян должно превратиться в земледельческих рабочих, служащих по найму у сельскохозяйственных предпринимателей, была ходячей во Франции. Упомянутый Артур Юнг постоянно сравнивает посещенную им Францию с Англией, своим отечеством, чтобы каждый раз отмечать агрономическую отсталость французов. Сельское хозяйство во Франции, действительно, находилось в самом печальном состоянии, указания же на английские порядки, как на нечто противоположное французским, свидетельствует о том, что *в Англии XVIII в. можно назвать уже завершившимся процесс перехода сельского хозяйства из крестьянских рук в руки фермеров с превращением сельского населения в безземельных земледельческих рабочих*, — процесс, первые признаки которого намечаются уже в исходе Средних веков. В сущности, Франция шла в сельском своем быту по той же экономической дороге, что и Англия, но с тем различием, что аналогичные процессы, представляемые социальной историей обеих стран, совершались в Англии и раньше, и полнее, ибо Франция до сих пор еще сохранила и мелкую собственность, и мелкую культуру, давным-давно исчезнувшие в Англии, а в XVIII в. в сравнении с последней, страной денежного хозяйства (капитализма) и в сельском быту, Франция оставалась страной социального феодализма, хотя последний был уже в полнейшей дезорганизации¹. Существование сеньориальных прав даже было одной из причин, задерживавших во Франции тот процесс, который совершался и в ее экономическом быту.

Ко второй половине XVIII в. в Англии, действительно, завершился процесс обезземеления народной массы. Еще в начале предыдущего века около третьей части населения состояло из копигольдеров. В конце того же столетия около седьмой части населения (160—180 тысяч человек с их семьями, что составит около миллиона) находилось в положении фригольдеров, не считая многочисленных еще (около 750 тысяч душ) мелких сьемщиков помещичьих земель. Но уже в семидесятых годах XVIII в. Артур Юнг говорит о классе мелких землевладельцев как о совершенно исчезнувшем в Англии. Во-первых, огораживание общинных угодий продолжалось в этом столетии производиться с особой энергией, и например, в промежуток времени между 1719 и 1760 гг. было огорожено около 350 тысяч акров, хотя, собственно говоря, еще быстрее пошел этот процесс особенно в конце XVIII и начале XIX в. Поводом для этого была главным

¹ Об этом см.: *Maine. Des causes de la décadence de la propriété féodale en France et en Angleterre.*

образом невозможность сельскохозяйственных улучшений на землях, подлежащих общинному пользованию: например, все лучшие агрономы эпохи были против остатков старого поземельного устройства. Лишая крестьян прежних выгод, это огораживание ставило их еще и в полную иногда невозможность продолжать хозяйство на привычных основаниях, тем более вдобавок, что развитие в это же время и фабричного производства убило дополнительные доходы сельского населения, заключавшиеся в заработках, какие доставлялись ему прежними кустарными промыслами, в сельском же хозяйстве мелким земледельцам было трудно конкурировать с крупными предпринимателями. И вот незначительные участки земли усиленно сбываются, находя целый класс покупателей, жадно набрасывающихся на приобретения недвижимой собственности в графствах: это были богатые мануфактуристы и коммерсанты, стремившиеся стать в ряды джентри с ее местным влиянием, вытекавшим из землевладения, с ее политическим господством, опиравшимся на местное влияние. Агенты таких скупщиков прямо иногда заводили разорительные для мелких владельцев процессы, нарочно запутывали их в неоплатные долги или просто повышали предлагаемую цену за намеченный для покупки участок в том расчете, что в новых руках он будет приносить больший доход. Новые владельцы уже заботились о том, чтобы не выпускать из своих рук попавшие к ним участки, и одним из средств для этого была заповедность имений и система пожизненных владений: раз устанавливалась заповедность, тем самым ограничивались права на землю всех наследников, находившихся в живых при этом установлении, т. е. им предоставлялось лишь пожизненное пользование, но отнималось у них право продажи земли. Впервые заповедные имения установлены были в царствование Эдуарда I, но суды постоянно боролись с этой системой, и тем не менее в течение нескольких столетий она успела настолько упрочиться, что рядом с причинами, которые вели к уничтожению мелкого землевладения, нужно поставить и это условие, создававшее неотчуждаемость крупных имений. Наконец, к концу XVIII в. в этих имениях существовали большей частью уже одни крупные фермы, бывшие в руках предпринимателей, которые обладали агрономическими знаниями, усовершенствованными орудиями и отличным скотом, ведя хозяйство на рациональных основаниях (плодопеременный севооборот), но уже исключительно при помощи наемных рабочих. Во второй половине XVIII в. возникла новая наука — политическая экономия, и первые ее представители относились весьма сочувственно к английским поземельным и сельскохозяйственным отношениям, имея в виду агрономический прогресс: французские физиократы, как мы увидим, сделали поклонниками фермерской обработки земли, которую рекомендовали и своему отечеству, вместо распространения в нем мелкого крестьянского хозяйства, как не дававшего хороших результатов. Английский

агроном Артур Юнг, посетивший Францию в восьмидесятых годах XVIII в., в своем описании путешествия по этой стране равным образом постоянно отмечает отсталость мелкого французского крестьянского хозяйства в сравнении с фермерским, установившимся на его родине: по его словам, первое находилось еще как бы в X в. Этот же социальный строй, в основе которого лежали отделение землевладения (лендлордов) от непосредственного пользования землей (фермерами), а последнего — от действительного земледельческого труда (наемных рабочих) и был, так сказать, нормальным строем, изучая который А. Смит положил начало новой школе политической экономии.

Собственно говоря, Англия в ведении своего сельского хозяйства, заменяя прежние способы держания земли системой временной аренды с образованием крупных ферм и установлением денежной ренты вместо натурального оброка, лишь опережала другие страны, где вообще еще в XVI в. начались аналогичные перемены, конечно, с разными местными отличиями. Между прочим, например, в Германии, где в исходе Средних веков преобладало мелкое хозяйство, с XVI в. начинают развиваться помещичьи фольварки (Vorwercke), и уже в этом же столетии были местности, где земли, на которых велось крестьянское хозяйство, вдвое сократились сравнительно с теми, которые находились в непосредственном заведовании помещика (прежде, например, $\frac{2}{3}$ крестьянских, $\frac{1}{3}$ помещичьих, потом поровну тех и других, наконец, $\frac{1}{3}$ крестьянских и $\frac{2}{3}$ помещичьих). Вместе с этим улучшались технические способы ведения хозяйства, и благодаря им земля давала гораздо лучшие доходы, чем прежде, так что с крупными именьями в этом отношении не могла конкурировать мелкая крестьянская культура земли. Обезземеление крестьян в Германии, начавшееся в конце Средних веков и сильно содействовавшее взрыву войны 1524—1525 гг., продолжалось и в следующие века, причем юристы, применявшие к германским аграрным отношениям понятия римского права, не переставали смотреть на помещиков (Grundherren) как на истинных собственников и крестьянской земли (Bauerngüter), а на те участки, которыми владели крестьяне, или как на римский эмфитевзис, или же как на временную аренду (Zeitpacht), не переставали прилагать и к личным отношениям между господином и крестьянином понятия, связанные с римским институтом рабства, т. е. устанавливали в теории неограниченную власть помещиков над крестьянами, *donec probatur contrarium*¹, т. е. пока не будет представлено несомненных доказательств в личной свободе того или другого лица, ибо во всех сомнительных случаях (*in dubio*) вопрос решался обыкновенно не в пользу крестьянина. Это вело за собой превращение

¹ Русскоязычным аналогом этого выражения является фраза «не пойман — не вор». — Прим. ред.

всех зависимых (Hörige) в крепостных (Leibeigene), и многочисленные Bauernordnungen XVI и XVII вв. устанавливали в Германии два права помещика — право собственности над крестьянской землей и неограниченную власть его над личностью крестьянина. Ландтаги, в которых главную роль играло дворянство, весьма сильно содействовали такого рода законодательным постановлениям, подобно тому, как и во Франции в создании кутюмного права, которым регулировались поземельные отношения, доля участия падает на провинциальные штаты. Своими новыми правами дворянство пользовалось особенно сильно по отношению к общинным землям, как это было более или менее повсеместно, во Франции, в Англии в других государствах.

Крестьянские восстания в Германии в конце XV и начале XVI в. были наиболее подходящим для дворян поводом, чтобы закрепить сельское население, особенно ввиду того, что в это время землевладельческое сословие стало покидать свой прежний военный быт и из рыцарей превращаться в сельских хозяев, как это было, впрочем, не в одной Германии, но, например, и в Польше. Иногда закрепощение совершалось, так сказать, сразу, подобно тому, как это было в Венгрии, где в 1514 г. сейм одним постановлением ввел крепостничество, но чаще всего оно было результатом медленного ухудшения в положении крестьян, которые раньше уплачивали лишь определенный чинш (Zins, census) и отбывали определенные же натуральные повинности, оставаясь лично свободными. Утверждалась постепенно и власть помещика над землей. Например, в Бранденбурге установился так называемый Legen der Bauern или Auskaufen der Bauern, сущность которого заключалась в том, что крестьяне должны были сносить свои дворы и очищать занимаемые участки, как только помещик пожелает на них устроить новый хутор, хотя при этом крестьянин и получал некоторое вознаграждение. Кроме того, помещик мог изгонять непокорного крестьянина из его двора и даже из деревни. Вотчинная юстиция и полиция, бывшая в руках помещичьего класса, облегчала это дело, и благодаря сносу (Legen) крестьянских дворов образовалось в Бранденбурге большое количество крупных и богатых помещичьих хозяйств. Этот процесс продолжается и в XVIII в., вызывая против себя законодательные меры прусских королей, но уже в XVI в. он успел сделать многое. Известно, например, что деревня Рангдорф в XIV в. состояла из одних крестьян, владевших 25 гуфами; в 1536 г. сносятся два крестьянских двора, владевшие пятью гуфами, в 1586 г. еще один двор с тремя гуфами, и вместо трех дворов образуется один хутор. Или еще: в деревне Бритц помещику принадлежало 18 гуф, но путем Legen'a к ним были присоединены в 1583 г. три гуфы, в 1584 г. еще три, в 1589 г. опять три, в 1615 г. две, так что составилось поместье в 29 гуф. Расширяя площадь земель, находившихся в личном заведовании владельцев или отдававшихся в аренду, немецкое дворянство стремилось обеспечить

за собой и даровой труд, стесняя свободу передвижения крестьян, свободу их распоряжаться собственным трудом, прикрепляя их к земле, устанавливая барщину. Постановления ландтагов на этот счет были весьма разнообразны, но общая тенденция их была одна — сделать поместное дворянство распорядителем крестьянского труда. К концу XVII в., к началу XVIII столетия этот процесс завершается, *и никогда германский крестьянин не находился в таком угнетении, как именно в прошлом веке*: в Германии его обезземеление не сопровождалось даже, как то было в Англии и Франции, установлением личной свободы. Совсем наоборот: *обезземеление и закрепощение шли рука об руку*, т. е. социальный феодализм получал здесь иной характер, чем во Франции, где его экономическая основа (соединение мелкого хозяйства с крупным землевладением) отрешилась от юридической формы (крепостная зависимость крестьянина), тогда как в Германии последняя развилась и сделалась господствующей, но уже в интересах более крупного хозяйства, вытеснявшего собой крестьянскую культуру. Во многих местностях Германии крепостных крестьян стали обменивать и продавать, гонять каждый день на барщину, подвергать телесным наказаниям за дурную работу и т. п., т. е. начали обращаться с ними, как с настоящими рабами. Для оправдания этих отношений в XVII и XVIII вв. создавались юридические теории. Если во Франции аристократическая историография (Boulainvilliers) выводила права и привилегии дворянства из завоевания его предками (франками) всей страны, то немецкие юристы XVII в. выводили отношения между помещиками и крестьянами из договора (как и самое государство выводилось из договора), создающего права и обязанности контрагентов и становящегося под охрану принудительной власти государства. Знаменитый Пуффендорф, отказывавшийся понимать устройство Священной Римской империи, не встречал затруднений при объяснении крепостничества. Крестьяне закрепощались-де, нуждаясь в защите сильных и богатых людей и в пропитании, которое последние как захватившие всю поземельную собственность¹ только и могли им дать, так что крепостное состояние, по Пуффендорфу, есть не что иное, как обязательство платить постоянными услугами за постоянное и верное пропитание (*do alimenta perpetua, ut praestes operas perpetuas*), но т. к. землевладелец прокармливает не только родителей, но и детей, то право господина распространяется и на потомство людей, ставших в крепостные отношения. Предполагалось еще, что соглашение происходило и с военнопленными, раз с них снимали оковы, и они обязывались в качестве рабов работать на господина. Таким образом *старая юридическая наука заключала в себе теории, крайне неблагоприятные*

¹ Право собственности вообще выводилось из первоначального захвата (*jus primae occupationis, primi occupantis*).

ятные для крестьян, разрабатывали ли ее февдисты (знатоки феодального права, бывшие во Франции защитниками сеньориальных прав), или легисты, изучавшие римское право, или же, наконец, философы, теоретики естественного права. Нормы феодального права, толкование римских законов не в пользу крестьян, теоретические соображения оставалось только подкрепить историей, ее фактами и выводами, за чем дело также не стало. Историческое построение Буленвилье не стояло особняком во Франции, где сеньориальные права выводились из условной передачи земли завоевателями-франками (дворянством) покоренным галло-римлянам (третьему сословию), но и в Германии имело свои аналогии, когда в XVIII в. юристы, например, утверждали, что современные им крестьянские отношения существовали испокон века, что земля всегда принадлежала благородному сословию, что все крестьяне состояли их крепостными (*Leibeigene*). Так как в XVIII в. были сделаны первые попытки реформы крестьянских отношений, то признано весьма важным знать, были ли эти отношения основаны на каком-либо праве, или, наоборот, представляли собою результат отдельных правонарушений, ибо от этого мог зависеть сам ход реформы. К сожалению, в Германии получила авторитет и наибольшее распространение историческая теория профессора Гиссенского университета Иоанна Георга Эстора и его многочисленных сторонников, хотя теория эта и не оставалась без возражений. Небольшой трактат названного юриста «*De praesumptione contra rusticos in causis operarum harumque redemptione*» (1734) был одним из первых в этой литературе, свод которой сделан был в 1775—1784 гг. в восьмитомной «*Economia forensis*» Бенкендорфа, где давалась целая картина исторического прошлого немецкого крестьянства в смысле исконности дворянских прав на землю и крепостного состояния крестьян. Историческая наука, которой принадлежит такая роль в современной жизни, тогда еще не существовала, и возражать с исторической точки зрения Эстору и его школе было невозможно; поэтому вся полемика велась на почве идеи естественного права, как мы это видим уже в брошюре юриста Гаушильда «*Opusculum historico-juridicum de praesumptione pro libertate naturali in causis rusticorum*» (1738). Французские февдисты становились на ту же точку зрения договорного происхождения сеньориальных прав. В 1720 г. Поке де Ливоньер в «Трактате о феодах» доказывал это по отношению главным образом к баналитетам, другие распространили ту же теорию и на иные сеньориальные права. Это учение сделалось во Франции даже официальным, ибо его взяли под свою защиту парламенты.

Нам придется еще вернуться к западноевропейскому крестьянству XVIII в. и по поводу теоретической постановки крестьянского вопроса в литературе, и по поводу реформ как «просвещенного абсолютизма», так и Французской революции.

IX. Разложение цеховой организации¹

Крестьянский и рабочий вопросы. — Мелкое хозяйство на земле и цеховое устройство. — Меркантилизм и крупная промышленность. — Упадок немецкой промышленности в XVII и XVIII вв. — Злоупотребления в немецких цехах. — Неодинаковость интересов внутри цеха и ее последствия. — Разложение французских цехов в Новое время. — Цехи и государственная власть во Франции. — Французский цех в XVII в. — Характер правительственной регламентации. — Английская промышленность в Средние века и в Новое время. — Цехи и фабрики в Англии XVIII в. — Заключительные замечания.

В XVIII в. был поставлен и в жизни, и в ее выражении — литературе крестьянский вопрос, к решению которого и приступили некоторые европейские правительства, хотя дело это шло весьма туго, пока Французская революция и распространение ее идей и учреждений, в эпоху войн республики и империи Наполеона I, по всей почти Западной Европе не дали нового толчка этому делу. Это был главный социальный вопрос прошлого века. В XIX в. его место занял так называемый рабочий вопрос, порожденный развитием капиталистического производства, появлением рабочего пролетариата, бедствиями пауперизма, особенно после того переворота в обрабатывающей промышленности, который произошел в конце века, благодаря изобретению великого множества машин и — рядом с этим — благодаря отмене старых форм организации рабочего класса, которые сами отжили свое время и нуждались в коренной реформе. Имея здесь в виду не то новое, которое зарождалось², но то старое, которое разлагалось, требовало реформы или должно было пасть в общем крушении «старых порядков», мы ограничимся лишь немногими фактами из затрагиваемой здесь стороны экономического быта, получившей особенно важное историческое значение в XIX в.

Между земледельческим и ремесленным бытом в Средние века существовала аналогия: и в сельском хозяйстве, и в обрабатывающей промышленности преобладал мелкий производитель, каковым являлся или крестьянин, обрабатывавший за оброк свой наследственный надел, или цеховой мастер, хозяин маленького ремесленного заведения: как у одного, так и у

¹ Для этой главы см. в книге «Переход от Средних веков к Новому времени» главы XVIII (о цехах) и XIX (о денежном хозяйстве), где есть общие указания и на литературу. См. также дополнения проф. И. В. Лучицкого к рус. пер. «Новой истории» Зеворта, между которыми есть главы о состоянии промышленности в Западной Европе в XVI, XVII и XVIII вв. *Levasseur. Histoire des classes ouvrières en France; Babeau. Les artisans et les bourgeois d'autrefois; Clément. Histoire du système protecteur en France depuis Colbert.*

² Об этом речь будет идти в следующей книге; ср. выше, примечание в конце VII главы.

другого было в обладании все необходимое для труда — своя земля, свое помещение для занятия ремеслом, свой скот и свои семена, свой материал, шедший в работу, свои земледельческие орудия, свои станки и инструменты. Развитие денежного хозяйства в обоих случаях шло рука об руку, во-первых, с развитием крупного фермерского хозяйства (в Англии) и крупных мануфактур, во-вторых, с распадом земледельческого и промышленного классов на предпринимателей, снимающих или покупающих землю, строящих фабрики и заводы, обладающих скотом, земледельческими орудиями, машинами и т. п., и на рабочих, живущих исключительно трудами рук своих. Подобно тому, как денежное хозяйство не сразу вытеснило мелкую земледельческую культуру, так не сразу оно вытеснило и мелкие цеховые промыслы, и подобно тому, как крестьянское хозяйство тесно было связано с отношениями средневекового социального феодализма, так и мастерства всякого рода, которые еще не перешли к фабричному устройству, сохраняли корпоративные формы, столь вообще развитые в средневековой жизни, когда при бессилии государства человеку из народа нужно было или найти себе какого-либо сеньора, или соединиться с другими людьми в корпорацию — в гильдию, цех, коммуну. Каждая средневековая корпорация стремилась обыкновенно строго отделить себя от всего, что не принадлежало к ее составу, но и в замкнутом целом развивались привилегии, вносившие в него внутреннее разложение, особенно если этому способствовали еще и извне. В XVIII в. цех не был уже единственной формой организации обрабатывающей промышленности, да и внутри его совершалось разложение, происходило расстройство, многое являлось устарелым, ждавшим только наступления той минуты, когда должна была прийти окончательная гибель.

В экономической политике Западная Европа перешла из XVII в. в XVIII в. при господстве той системы, которая получила название меркантилизма¹. Только в середине XVIII столетия новая экономическая теория, известная под названием физиократии, наносит ему сильный удар, за которым последовал вскоре (1776) другой — появление «Богатства народов» Адама Смита². Теория и практика Кольбера нашла подражателей не в одной Франции и доводилась в других странах, например, в Германии, в эпоху развития полицейского государства, до таких крайностей, каких умела избегать на родине. Эта экономическая политика *была в высшей степени благоприятна для развития крупной промышленности, которой она всячески покровительствовала*, так что меркантилизм, т. е. система, выдвигавшая на первый план торговые интересы, была синонимом протекционизма.

Не одна Франция благодаря Кольберу развила у себя крупные мануфактуры; они появились и в других странах, особенно в Англии, которая в

¹ См. также ниже указания на историю политической экономии.

² Об этом ниже.

XVIII в. сделалась главной страной промышленности и торговли. Крупная промышленность, которой в конце XVIII в. суждено было вступить в новую фазу развития, благодаря главным образом изобретению машин, *уже в значительной мере вытеснила к тому времени мелкое цеховое производство*. Как и все экономические процессы, так и разложение средневековой цеховой системы происходило медленно и постепенно, в разных странах в разное время, в одних отношениях ранее, чем в других, под влиянием массы причин, столь, по-видимому, несхожих между собой, как несхожи причины, убивавшие всякую вообще промышленность (например, Тридцатилетняя война для Германии), и наоборот, причины, способствовавшие процветанию промышленной деятельности, но в то же время выводившие ее на новую дорогу крупного производства. В Германии цеховая жизнь достигает высшей точки своего развития в век гуманизма и Реформации, когда немецкий народ переживал лучшую пору своей новой истории, хотя уже и тогда складывались неблагоприятные условия для всего последующего культурного и социального развития страны. *В XV и XVI вв. немецкий цех, так сказать, отливается в свою окончательную форму*, в то самое время, как цеховая организация охватывает все большее и большее количество промыслов, так что, наконец, даже врачи, учителя, нотариусы, цирюльники, музыканты, гробокопатели также организуются на цеховых началах. И муниципальные власти имперских городов, и княжеские правительства, все более и более начинавшие вообще вмешиваться в разнообразные сферы общественной жизни, оставляли основы цеховой организации в неприкосновенности, хотя и начинали регламентировать отдельные ее стороны. Конечно, не все промыслы одинаково процветали, что зависело от массы крайне разнообразных причин, и уже во второй половине XVI в. некоторые отдельные отрасли немецкой промышленности стали приходить в упадок, но главным образом Тридцатилетняя война нанесла удар материальному благосостоянию немецкой нации: вместе с земледелием, страшно пострадавшим в эту эпоху, и торговлей, которая совершенно пала и из имперских городов Германии переселилась в Голландию и Англию, — пришла в упадок и промышленность. С Вестфальского мира княжеская власть делается почти исключительным, чуть не единственным самостоятельным фактором в общественной жизни. Старые имперские города, в которых процветали когда-то промышленность и торговля, уступили место княжеским резиденциям, до того времени не игравшим никакой роли, особенно столицам более значительных государей, носивших даже по своим внегерманским владениям королевский титул: таковы были Дрезден, Берлин, Ганновер, ибо курфюрст саксонский был королем польским, бранденбургский — прусским, ганноверский — английским. Прежняя общественная самостоятельность, выражавшаяся в форме разных союзов и породившая цеховую организацию промышленности, должна была склониться перед развитием

княжеского чиновничества, создавшего своей деятельностью полицейское государство прошлого века. Правительственная регламентация промышленности исходила из идей, диаметрально противоположных старым традициям цехов, заботившихся о том, чтобы выгодами от ремесла пользовалось наибольшее количество людей, им занимающихся: это ведь и поддерживало цеховую форму промышленности — небольшие мастерские, хозяева которых работали сами с небольшим числом подмастерьев и учеников. Первыми в Германии пионерами новой формы промыслов, т. е. фабрик, составляющих собственность предпринимателей, которые ведут свое дело трудом наемных рабочих и постоянно ищут правительственной поддержки, были с конца XVII в. французские эмигранты, именно гугеноты после отмены Нантского эдикта, большей частью коммерсанты и фабриканты, которые нашли приют в Бранденбурге, Гессене, Мекленбурге и Голштинии. Общая картина, представляемая германской промышленностью в XVIII в., самая печальная; ремесленное сословие было немногочисленно, бедно, лишено технических знаний, часто едва влачило свое жалкое существование, несмотря на все заботы отдельных правительств, направленные к поднятию местной промышленности, пока не явилась мысль о том, что сами цехи — вредное учреждение, тормозящее индустриальное развитие, хотя при этом никто не знал, что же поставить на место упраздненных цехов. Последние действительно требовали реформы, ибо в их жизнь проникли разного рода злоупотребления, против которых боролись с переменным успехом и старые цеховые уставы. Жалобы на злоупотребления усиливаются с конца XVI в., делаются благовидным предлогом для систематического ограничения прежнего цехового самоуправления в пользу княжеской администрации, которая, однако, не столько заботилась об устранении цеховых зол, сколько об общих интересах государства, так или иначе понимаемых, — и служат основой для враждебного отношения к цехам в XVIII в., а вместе с тем и предметом разных законодательных мер. Злоупотребления, о которых идет речь, возникали на почве конкуренции между отдельными цехами, особенно если они занимались близкими между собой ремеслами, на антагонизме между мастерами и их «товарищами» (*Gesellen*), т. е. подмастерьями и т. п. В эпоху процветания цехов злоупотребления были, так сказать, болезненными наростами на здоровом теле, устранявшимися с большей или меньшей легкостью, но в эпоху упадка старой организации ремесленного сословия они превратились во внутренний хронический недуг, не поддававшийся никакому лечению, тем более что и лечение было не особенно умело.

Цех был учреждением очень сложным, в образовании и развитии которого участвовали факторы самого несходного значения, начиная с нравственно-религиозных воззрений и кончая техническими условиями производства, да включая еще в число этих факторов моменты экономические, юридические и политические. Поэтому и в цехах заинтересованы были,

кроме его членов, разные социальные элементы — производители сырья и потребители продуктов, купцы, представители городского самоуправления, сама государственная власть и т. п., и каждая такая общественная сила стремилась приспособить цеховую организацию к своим интересам, разумеется, средствами ей, этой общественной силе, доступными. Неодинаковы были интересы и отдельных членов цеха, но одна из *raisons d'être*¹ той регламентации, которой подчинял цех личную деятельность своих членов, того стеснения их свободы, какое лежало в основе его уставов, заключалась в том, чтобы не дать одним членам ремесленного сословия возвыситься над другими, предоставить всем по возможности одинаковый заработок, открыть доступ младшим членам сословия (ученикам и подмастерьям) к званию мастера и, следовательно, к хозяйственной самостоятельности, примирить таким образом интересы отдельных групп ремесленников одной и той же специальности. Пока цехи были верны этим принципам, они были явлением жизненным, *внутреннее же разложение цехов в том и заключалось, что они изменяли своему назначению, не только налагая на свободу личности ненужные стеснения, но и создавая внутреннее неравенство в ремесленном сословии* путем предоставления привилегий меньшинству в ущерб правам и интересам большинства. Это был длинный процесс, и в нем играли роль весьма сложные причины, но существо дела состояло в том, что параллельно с затруднениями, которые создавались уже с конца XVI и начала XVII в. для всех, желавших вступать в цехи, увеличивалась и требовательность по отношению к прохождению цеховых степеней, без которого нельзя было сделаться мастером. Мало-помалу право на самостоятельный ремесленный труд стало рассматриваться как выгодная привилегия, и лица, ею обладавшие, т. е. мастера, стали всеми способами ограничивать число привилегированных ремесленников и стремиться к тому, чтобы передавать свое право по наследству вдовам и сыновьям или дочерям своим, затрудняя доступ к званию мастера посредством строгого отношения к пробной работе (*Meisterstück*), если ищущее звания лицо не делало большого взноса или не устраивало дорогостоящих угощений для своих судей, и вообще обставляя всю внутреннюю жизнь цеха разного рода формальностями. Между мастерами и подмастерьями и ранее существовал своего рода антагонизм, происходили конфликты, но отношения эти до известной степени регулировались тем, что подмастерья заключали между собой союзы, с общим же падением промышленности, с утратой общественными силами их прежней самостоятельности вследствие роста бюрократического управления союзы эти потеряли свое значение.

Еще в большем разложении, чем в Германии, был цеховой строй во Франции, где уже в XVI столетии между мастерами и подмастерьями шла борьба, со-

¹ Рациональное основание, причина (фр.). — Прим. ред.

проводившаяся стачками последних и даже насильственными с их стороны действиями. Нередко мастера сами не занимались ремеслом, живя просто доходами со своих заведений, передававшихся от отца к сыну и часто отдававшихся внаймы подмастерьям, которые никак не могли сами попасть в мастера. И здесь очень рано стали создаваться затруднения для желающих добиться звания мастера, и бывали случаи, что мастера не учили, как следует, своих учеников, дабы они не могли представить надлежащей пробной работы (*chef — d'oeuvre*). С другой стороны, за деньги и мастером легко можно было сделаться раньше всех законных сроков, без хорошего знания своего ремесла, без собственной пробной работы, которую за кандидата в мастера делал какой-либо мастер, тогда как от бедного человека требовали трудного, дорогостоящего образцового произведения. Среди самих мастеров уже в XVI в. возникли еще отличия, т. к. они делились на молодых, новых и старых (*jeunes, modernes et anciens*) с разными правами в корпоративной жизни, и потому цех все более и более получал олигархическое устройство. В цеховые должности выбирались только самые привилегированные мастера, платившие за свое избрание подарками и пирушками, ибо на должностях этих можно было наживаться взяточничеством и разного рода обычными доходами, вроде пошлины, платившейся всяким вновь принятым мастером или при переходе мастеров из низших категорий в высшие. Все эти злоупотребления очень рано стали служить поводом для королевского вмешательства в цеховую жизнь, но и оно получало очень часто только фискальный характер, когда короли, например, продавали за деньги и отдельные цеховые должности, и само звание мастера. Благодаря тому, что мастером можно было сделаться по королевскому патенту или *lettre de maîtrise*¹ (еще с Людовика XI), в цехи вступали люди, совершенно им чуждые, незнакомые со своим ремеслом, и такие люди облагались при вступлении особой пошлиной в пользу должностных лиц цеха. Дух независимости, которым отличались многие французские ремесленные корпорации, заставлял королевскую власть равным образом следить за тем, что происходило в их среде, всячески устраняя из их жизни все, что было хотя бы намеком на политическое значение, на самоуправление, но оставляя неприкосновенными все основы цехового быта как организации промышленного труда, даже покровительствуя олигархическому характеру, какой она принимала: только вопиющие злоупотребления находили отпор в законодательстве. Та регламентация производства, которая в Средние века принадлежала самим цехам, делавшим ее все более и более мелочной и придиричливой, перешла в XVI в. в руки государства, но оно, продолжая в этом отношении прежнюю деятельность самих ремесленных корпораций, преследовало преимущественно цели или фискальные, или политические: король один может делать мастеров, ко-

¹ Патент на право заниматься ремеслом (*фр.*). — *Прим. ред.*

роль один имеет право создавать монополию, вот те принципы, которыми руководствовалось французское правительство, переделывая цеховые уставы или вмешиваясь в отдельные проявления цеховой жизни, тогда как, наоборот, само ремесленное сословие крепко держалось за свои традиции. Между прочим, цехи отстаивали свои монопольные права против новых способов производства, вводившихся во Франции в XVII в., особенно в эпоху Кольбера, который сильно регламентировал цеховую промышленность и *разными привилегиями, субсидиями и поощрениями создавал небывалые до того времени во Франции отрасли индустрии и крупные предприятия фабричного характера*. В XVIII в. регламентация промышленности усилилась донельзя, и все мелочи производства подлежали ведению специальных правительственных инспекторов, несмотря на то, что старые основы ремесленного быта со всеми злоупотреблениями, сделавшимися в нем хроническими, оставались в полной силе.

Французская ремесленная корпорация представляется нам в XVIII в. в следующем виде. Ее полноправными членами по-прежнему являются мастера (maîtres), но сделаться мастером можно или по королевской грамоте, купив ее за деньги и даже освободившись тем самым от необходимости представления ремесленного chef — d'oeuvrе, или по наследству от старого мастера, будучи его сыном, женившись на его вдове, получив звание и заведение в приданое за его дочерью, с обязательством, однако, представления пробной работы и под условием взносов и угощения. Ремесленная аристократия была своего рода замкнутой кастой и, чтобы не пускать чужих в свою среду, нередко покупала королевские патенты на звание мастера, дабы их не могли приобрести посторонние кандидаты. Подмастерью, по-прежнему называвшемуся товарищем (compagnon), уже трудно было теперь выбиться из своего положения: ему оставалось вечно быть простым рабочим, раз не было такой вдовы или дочери мастера, на которой он мог бы жениться. Положение «компаньона» все более и более приближалось к тому, какое занял наемный рабочий на большой фабрике, возникшей в XVIII в.: между ним и хозяином (patron) большая разница; хозяин по своему произволу может прогнать рабочего, оставив его без крова и куска хлеба; против хозяина у рабочих одно средство — стачка, грозящая ему невозможностью исполнить взятые на себя обязательства. Подмастерья действительно прибегали к этому средству. Положение учеников в цехе было еще более безответное. Срок учения был длинный: ученик мог сделаться хорошим работником и тем не менее пользоваться от своего мастера лишь одним содержанием, не получая никакого жалованья, т. е. не переходя в звание подмастерья. Управлялся цех особым советом, носившим название jurande¹ по имени своих членов, которые назывались juré's, т. е. присяжными; их было обыкновенно в каждой

¹ Старшина (фр.). — Прим. ред.

корпорации четверо или шестеро, и выбирались они из мастеров, причем право избирать присяжных иногда принадлежало только старым мастерам, иногда самому присяжному совету, который таким образом пополнялся сам собой, если только присяжных не назначали муниципальные власти или королевские чиновники, иногда даже сеньориальные агенты. В компетенцию жюранды входило делать оценку пробной работы, наблюдать за исполнением уставов и регламентов с правом наложения штрафов на отступающих от предписанных правил, иногда раскладывать прямые налоги между членами цеха, смотреть за тем, чтобы в городе лицо, постороннее цеху, не занималось ремеслом, чтобы в окрестных деревнях равным образом не смели им заниматься. Ремесленные регламенты касались даже мелочей производства, определяя, например, ширину ткани, длину каждого отдельного ее куска, число ниток в ее основе, предписывая, каким инструментом выделывать ту или другую вещь, запрещая отступать от установленных образцов, фасонов и т. п. Но и от этих регламентов можно было избавиться посредством приобретения новой привилегии — титуловаться поставщиком короля или принца крови и какого-либо важного сеньора. Регламенты разграничивали области промышленности между отдельными цехами, но предвидеть все было трудно, и отсюда возникали постоянные процессы между отдельными корпорациями, обходившиеся одному Парижу в целый миллион ливров ежегодно. Один такой процесс тянулся чуть не через все XVIII столетие, т. к. судьи никак не могли решить вопрос об основательности претензий спорящих сторон и постановить решение, которое удовлетворило бы и ту и другую, сторонами же этими были портные и тряпичники, занимавшиеся починкой старого платья. *Старые формы цеховой жизни совсем не соответствовали потребностям новой жизни:* они уже не служили тем интересам, которые их создали, а между тем дробные подразделения ремесел и рутина, поддерживаемая регламентацией, мешали техническому совершенствованию, требовавшему часто соединения в одних руках двух разных по закону производств или введения новых приемов работы, новых образцов, развития личной инициативы, делания опытов; что же касается до резкой замкнутости цеха, имевшей смысл только под условием допущения к самостоятельному ремеслу людей, действительно способных вести его, знающих свое дело, опытных в нем, добросовестных, то ничего уже этого не было во французском цехе XVIII в. Старые уставы ограничивали число учеников или подмастерьев одного и того же мастера ради того, чтобы установить между мастерами равенство, но ограниченное число учеников и подмастерьев было и одним из условий для того, чтобы всякий впоследствии мог рассчитывать сделаться мастером: теперь эти ограничения получали иной смысл, ибо цехи смотрели на себя как на привилегированные корпорации, доступ в которые нужно затруднять всяческими путями. Одним словом, французские цехи имели характер учреждений, отживших свое время, не

соответствовавших условиям века остатков средневековой старины. Кроме фискальных поборов, от которых терпели ремесленные корпорации Франции, они погибали материально и от внутреннего своего расстройств, на что указывает и страшная их задолженность.

Правительственная регламентация промышленности, в силу которой создавались должности особых фабричных инспекторов (1670) для наблюдения за шириной и длиной тканей, наложения на них клейм и т. п., или особых контролеров над цеховыми присяжными (*inspecteurs et contrôleurs dans les communautés des arts et métiers*) и т. п., коснулась в XVIII в. и взаимных отношений между предпринимателями и рабочими. Когда первыми были исключительно мастера, а вторыми их «компаньоны» и когда последние могли рассчитывать на то, чтобы со временем самим сделаться хозяевами ремесленных заведений, взаимные отношения тех и других не обострялись до такой степени, как теперь, тем более, что они усложнились развитием новой формы — крупных мануфактур. Заботы правительства о правильном ходе фабричных предприятий заставляли его, начиная со времен Кольбера, *придумывать меры к тому, чтобы, так сказать, прикрепить рабочего к заведению, в котором он работал*, наложением штрафов за самовольный уход и поставить рабочего лицом к лицу с предпринимателем посредством запрещения каких-либо рабочих союзов вроде старых союзов подмастерьев: в таком именно смысле был издан в 1749 г. общий рабочий регламент, определявший при соблюдении каких условий ремесленник мог покинуть своего патрона. Рабочий, получивший вперед деньги от хозяина, этим регламентом отдавался ему во власть и мог быть вытребован в случае ухода через полицию даже тогда, когда с ним дурно обращались у того хозяина, которого он покидал. Стремление все регламентировать не касалось, однако, положения самих рабочих, уже вышедших из патриархальных условий старого цехового быта. Впрочем, вопросу об отношениях между фабрикантами и рабочими пришлось выдвинуться вперед лишь в XIX в. после того, как введение машин в конце прошлого века произвело целый промышленный переворот, сильно отразившийся и на социальных отношениях.

Известно, что родиной, местом первого проявления этого переворота была Англия. В Средние века в этой стране городская жизнь, обрабатывающая промышленность, цеховая организация ремесел (так называемые гильдии), самостоятельность ремесленных союзов были развиты весьма мало, и ранее, чем где бы то ни было, *государственная власть начала здесь заниматься по собственному почину организацией и регламентацией зарождавшейся промышленности* в то время, как во Франции и Германии, где в соответствующие эпохи Средних веков и государство было слабее, и городская жизнь получила широкую автономию, цехи были результатом самодеятельности самих ремесленников. Взяв на себя заведование таким сложным делом, как

промышленность, английская государственная власть заботилась главным образом о том, чтобы воспрепятствовать образованию крупной промышленности, от которой могли бы пострадать интересы рабочих классов, почему, например, закон не допускал соединения в одних руках нескольких производств, ограничивал число учеников и помощников у одного и того же ремесленника, запрещал даже вводить некоторые технические усовершенствования вроде сукновален, в которых работала вода, как в мельнице, а не руки рабочих, т. е. делал все то, обратное чему происходило в той же Англии позднее, когда в ней создались большие и сложные производства с массой рабочих рук, отнятых от сельского хозяйства обезземелением крестьянства, с разнообразными машинами, заменяющими человеческий труд, но и со всеми ужасами рабочего пауперизма. В Новое время в стране развились многие отрасли промышленности, но все они долго находились в руках отдельных ремесленников, хотя мало-помалу в экономическую жизнь начинало проникать и крупное производство, которому было впоследствии суждено сделаться господствующим. В Англии процесс этот совершился с особенной быстротой, т. е. если в промышленном отношении она прежде отставала от Германии и Франции, то впоследствии она опередила и ту и другую и именно на поприще крупного производства. На первых порах зарождения в Англии промышленного капитала *крупные предприятия были редкими исключениями, но зато весьма часты были случаи, когда за промышленность брались обладатели небольших капиталов*, вызывая тем неудовольствие со стороны прежних ремесленников, работавших не на коммерческих началах, как работают теперь русские деревенские кустари, т. е. ради собственного пропитания, тогда как небольшие капиталисты имели в виду уже обогащение. В XVI в. Англия была еще страной земледельческой, в XVIII столетии она сделалась, наоборот, страной торговой и промышленной: этому, между прочим, содействовали переселения в нее континентальных ремесленников и промышленников из протестантов, гонимых на родине, обезземеление крестьян, заставлявшее их искать городских заработков и др. подобные причины, позднее изобретение машин. *Страшное обогащение торговлей одного класса общества и увеличение числа лиц, ищущих заработка вне земледельческих занятий, должны были способствовать с особой силой созданию фабричной деятельности*, с которой не могла конкурировать прежняя кустарная форма производства, когда, например, бумажные ткани выделялись таким образом: мастерской служил коттедж ткача, который был главой работавшей вместе с ним семьи, т. к. пряжу для него приготавливали тут же его жена и дочери, да и они же сами и чесали хлопчатую бумагу особыми ручными чесальными щетками. Первые признаки будущего капитализма, которые существовали в XVI в. в виде более богатых мастеров, к концу XVIII в. уже достигли сильной степени развития. Это отразилось и на истории английских цехов в Новое время.

Уже в начале XVII в. *английский цех получил характер общества капиталистов*. В нем различались наиболее богатые члены (livery), обыкновенные мастера (householders) и все остальные рабочие (freemen, yeomanry или bachelors); управление делами цеха было в руках особого совета (court of assistants), состоявшего лишь из членов первого класса; права младших членов были ограничены, и сами они должны были подчиняться строгим уставам под страхом разных наказаний. Доступ рабочих к званию мастера был затруднен уже тем, что самостоятельно заняться ремеслом по тогдашним условиям можно было, лишь обладая известным капиталом, а младшие члены цехов составляли свои собственные союзы, т. к. мастера и их притесняли. Но и сами цехи должны были приходить в упадок вследствие того, что у *мастеров явились опасные для них конкуренты в лице разбогатевших купцов*, которые стали прилагать свои капиталы к промышленности. Другими словами, если в недрах самих цехов коренным образом разошлись интересы старших и младших членов и первые составили из себя класс мелких капиталистов, вполне подчинивших себе класс простых рабочих, то извне старую цеховую организацию подтачивали крупные капиталисты, ведшие свое промышленное дело вне цеховой организации и прямо в ущерб старой форме мелкого производства. И то и другое было неблагоприятно для большинства рабочего класса, среди которого стали поэтому возникать стачки, происходить возмущения, а в конце XVIII в. образовываться особые союзы, или клубы, подаваться петиции в парламент с жалобами на фабрикантов, находивших, однако, в нем поддержку.

Одним словом, старая цеховая организация в XVIII в. не соответствовала более ни лучшим из своих прежних принципов, ни условиям и потребностям времени: *она монополизировала занятия ремеслами в руках привилегированной цеховой аристократии; она не выдерживала конкуренции с системой крупного фабричного производства; она была тормозом для технических усовершенствований; наконец, она стесняла личную инициативу и вообще индивидуальную свободу в индустриальных занятиях*. Между тем это была единственная, признававшаяся законом форма рабочей ассоциации, выгодами которой, однако, громадное большинство рабочего класса не пользовалось по той причине, что цехи сделались корпорациями, в которых господствовали принципы олигархии, попытки же подмастерьев, а впоследствии и фабричных рабочих устраивать стачки или образовывать более прочные союзы встречали противодействие со стороны государства.

Х. Связь «старых порядков» с внешней политикой¹

Связь между внешней политикой и внутренней историей в Новое время. — Эпохи Реформации и революции. — Внешняя политика в XVIII в. — Влияние внутреннего строя государства на внешнюю политику. — Абсолютная монархия и династические интересы. — Внешняя политика и коммерческие интересы. — Колониальная политика и колониальные войны. — Начало народности. — Международный взгляд на политические формы и революции. — Замечание о книге Сорея. — Разложение «старого порядка».

История внешней политики и международных отношений не входит в задачу нашего обзора развития внутренних — культурных, социальных и политических — отношений в исторической жизни западноевропейских народов², но весьма часто внешняя политика, война и мир между государствами, их взаимные интересы и союзы или, наоборот, раздоры находятся в теснейшей связи с политикой внутренней, с господствующими историческими течениями в жизни отдельных народов. Так было, например, в эпоху Реформации и католической реакции, когда одним из главных внутренних вопросов был вопрос вероисповедный и когда внешняя политика государств в значительной мере определялась тем, какое решение в том или другом из них получал указанный внутренний вопрос. Другими словами, это было время, когда борьба между католицизмом и протестантизмом велась не только в отдельных странах, вызывая в них даже междоусобия, но и в международной политике, выражаясь в образовании католических и протестантских союзов, которые вели между собой продолжительные войны, закончившиеся в первой половине XVII в. общеевропейским столкновением между католиками и протестантами. Тот или другой исход подобной войны не только усиливал или ослаблял известные государства, не только обуславливал разные территориальные изменения, не только создавал новые международные комбинации, но и отражался на судьбах культурных направлений, находившихся между собой в борьбе. Такой же характер получили международные отношения Новейшего времени, т. е. с

¹ *Laurent*. La politique royale; *Сорея*. Европа и Французская революция, т. I. Политические нравы и традиции; *Himly*. Histoire de la formation des états de l'Europe centrale. Указанная в I т. историческая география Фримана (переведенная в настоящее время по-русски под ред. проф. И. В. Луцицкого). Кроме того, обширная литература по истории международного права, дипломатии и войн. Ср. еще некоторые замечания главы XL книги «Реформация и политическая жизнь в XVI и XVII вв.».

² См.: Переход от Средних веков к Новому времени. Гл. III (М.: Академический проект, 2015). — *Прим. ред.*

войн Французской революции, начавшихся в 1792 г.: во враждебном столкновении тогдашней Франции с Европой была принципиальная сторона, ибо здесь происходила борьба между «старым порядком», для защиты которого образовывались целые коалиции, и революцией, пропагандой которой занялась Франция. Хотя утверждение в этой стране военной диктатуры Наполеона и было своего рода контрреволюцией, но только для Франции, ибо для старой Европы и победоносная империя продолжала быть революцией, с которой Европа, правда, вынуждена была уже вступать в сделки. Падение империи Наполеона привело ее к реакции, происходившей не только внутри отдельных государств, но и в международной политике: стоит только вспомнить легитимистический характер Венского конгресса, реакционный дух Священного союза, случаи вмешательства во внутренние дела южнороманских народов по общеевропейскому уполномочию для подавления революционных движений, происшедших у этих народов. Внутреннему разделению политических партий в отдельных государствах соответствовало и разделение самих государств на два лагеря, особенно обострившееся после Июльской революции 1830 г.

Нам уже не раз приходилось указывать на то, что во внутренней истории западноевропейского общества в Новое время самыми крупными событиями были Реформация и революция¹, а потому весьма естественно, что *и международные отношения реформационной и революционной эпох, вследствие отмеченной связи между внешней политикой и внутренней историей, получают особый интерес и по отношению к этой последней*, чего нельзя сказать о международных отношениях в те эпохи, когда дипломатия и война решали вопросы, вытекавшие из разнообразных интересов отдельных государств, но лишенные того принципиального значения, какое имели вопросы религии и политики в эпоху Реформации и католической реакции или в эпоху революции и равным образом реакции, наступившей после падения империи Наполеона I, а сказать это именно и можно обо всей почти внешней политике европейских государств с конца Тридцатилетней войны до начала революционных войн, за исключением разве той связи, в какой находилась вторая английская революция с историей европейских коалиций против Людовика XIV: войны и союзы второй половины XVII и всего XVIII в. возвышали одни государства (например, Пруссию), ослабляли другие (например, Францию), даже делались опасными для их существования (например, для Австрии в войну за австрийское наследство, для Пруссии в Семилетнюю войну), а одно из них (Польшу) довели до исчезновения с политической карты Европы; разоряли, далее, одни страны, способствовали своими результатами обогащению других (например, Англии), отражали на себе смены лиц, стоявших у власти, или

¹ См., например, начало настоящей книги.

победы и поражения правительственных партий и т. п., но у этих союзов и войн *не было такой принципиальной подкладки, какую имели международные отношения и раньше, когда происходила борьба между католицизмом и протестантизмом, и позже, когда началась борьба старого порядка и революции*, перешедшая после падения наполеоновой империи в борьбу реакции с либерализмом. Конечно, в XVIII в. действовали во внешней политике те же силы, что и в реформационную эпоху, проявлялись те же политические интересы, влияли те же национальные традиции, что и до наступления этой эпохи, и впоследствии, но ко всему этому и раньше, и позже присоединялось еще нечто такое, что международной борьбе придавало характер борьбы за известного рода принципы, за религиозную или политическую свободу, за ту или другую форму церковной или государственной жизни, за такие или иные культурные и общественные идеи. В международных отношениях двух выше отмеченных эпох рядом с традициями национальной политики и с соображениями государственного интереса, рядом с принципами собственно международного права (вроде начал политического равновесия, естественных границ и т. п.) важную роль играют начала, по которым устраивается внутренняя жизнь народов, и если уж говорить вообще о беспринципности в области внешней политики, то с наибольшим правом это можно говорить о полутора веках, отделяющих окончание Тридцатилетней войны от начала революционных войн (1648—1792 гг.). Вот почему период этот в истории международных отношений не представляет такого интереса с точки зрения развития внутренних отношений, как период, ему предшествовавший, и период, за ним последовавший, хотя дипломатии и войне — при полном почти отсутствии внутренних движений в эту эпоху — принадлежит важное значение в истории века, который открывается войнами за испанское наследство (1701—1714 гг.) и Великой Северной (1700—1721 гг.), имевшими такой же европейский характер, как и войны за австрийское наследство (1740—1748 гг.) и Семилетняя (1756—1763 гг.), — века, когда дипломатии удалось произвести раздел между соседями целого большого государства, века, наконец, когда на политической сцене появились новые могущественные державы, Россия Петра Великого и Екатерины II, Пруссия Фридриха II¹.

¹ История дипломатии и войн, бывшая одно время, так сказать, основой общей истории, разработана весьма тщательно. За указаниями на литературу отсылаем в I вып. четвертого тома «Лекций по всемирной истории» Петрова (см.: *Петров М.Н.* Лекции по всемирной истории: В 5 т. Харьков: Издание книжного магазина Д.Н. Полуехтова, 1888—1894. — *Прим. ред.*), отметив здесь лишь наиболее важное. Внешняя политика в период от 1715 по 1789 г. налагается, кроме общих историй XVIII в., в истории отдельных стран и царствований в эту эпоху, о чем см. ниже. Кроме того, специально по внешней политике Франции, кроме устаревшего (1811 г.) соч. Flassey'a (Hist. générale de la diplomatie française) и вступительных глав к отдельным томам нового «Recueil des instructions aux ambassadeurs de France» (1648—1789), труды Broglie (Le secret du roi et Frédéric II et Louis XV), Boutaric'a (Correspondance secreete de

Связь между внутренней историей и внешней политикой государств не ограничивается, однако, указанными отношениями, т. е. теми случаями, когда и во внутренних движениях, происходящих в отдельных странах, и в международных союзах или распрях проявляются общие направления, обнаруживается действие одних и тех же идей, происходит борьба между такими противоположными принципами, каковы принципы протестантизма и католицизма в XVI в. или принципы либерализма и реакции в XIX в. У каждого государства есть своя национальная традиция, свой политический интерес: это то, что составляет само бытие государства среди других, большей частью враждебных ему держав. Обыкновенно эти традиции, эти интересы суть традиции и интересы власть имеющих лиц и правящих классов. Смотри по тому, кому принадлежит политическая власть в государстве и кто оказывает на нее влияние, *внешняя его политика изменяется, т. к. она служит до известной степени выражением стремлений власти или правящего класса*. В эпоху господства политического феодализма войны были предприятиями баронов, стремившихся к завоеваниям, и оканчивались тем, что покоренные страны становились их добычей, делились между ними на ленные владения. Так было с завоеванием Англии Вильгельмом Нормандским, который привел с собой массу баронов, чуть не со всей Франции, хотя главным образом все-таки из своего герцогства, и поделил между ними земли, введши в Англию феодальную систему. Около того же времени такие же сеньоры, которые были в войске Вильгельма Завоевателя, начали покорение Неаполя и Сицилии, а позднее утвердились в Португалии. Такой же характер имели Крестовые походы, когда западные христиане завоевывали страны на Востоке и основывали в них феодальные государства, каковыми были Иерусалимское королевство и Латинская империя. Одним словом, в эту эпоху война служила стремлениям и интересам феодального дворянства. Возвышение королевской власти, превращение сословной монархии в абсолютную сопровождалось усилением войн, имевших династический характер, войн из-за так называемой всемирной монархии, войн ради славы престола: походы Карла VIII, Людовика XII и Франциска I в Италию в конце XV и начале XVI в., стремления Габсбургов в XVI и первой половине XVII в., войны Людовика XIV во второй половине XVII и начале XVIII столетий, все эти войны прошлого века, которые так и называются войнами за разные наследства и т. п., знаменуют собой целый период в

Louis XV), Pajot (Guerres de Louis X), Vandal'я (Louis XV et Elizabeth de Russie) и др. Особенно много сочинений по истории внешней политики Фридриха II, о чем свидетельствуют длинные списки книг и статей об отдельных его войнах у Baumgarten'a (Verzeichniss der Literatur über Friedrich den Grossen). Литература по польским разделам указана в моей книге «Падение Польши». Что касается до американской войны за независимость, то она имеет лишь косвенное отношение к внутренней истории Западной Европы, о чем будет сказано в своем месте.

истории международных отношений, когда династические права монархов, их честолюбивые стремления, желание увеличить свои владения за счет соседей и покрыть себя славой победы, играли чуть не первенствующую роль в делах войны и мира. Конечно, этим одним нельзя объяснять всего в столь сложном деле, как причины войн и союзов, но указанный фактор заметно выдвигается вперед в рассматриваемую эпоху, особенно после того, как с окончанием Тридцатилетней войны вероисповедные отношения потеряли свою силу в международной политике. Что так это было, в том нет ничего удивительного, раз мы примем в расчет, что *династические интересы в области внешней политики вполне гармонизировали с тем характером, какой получила королевская власть во внутренней жизни западноевропейских государств*. Подобно тому, как в итальянских княжествах конца Средних веков возникла впервые на Западе монархическая власть нового типа, предшественница королевского абсолютизма в других странах, так и начало политического равновесия, заставлявшее европейских монархов составлять коалиции против всякого чрезмерного усиления кого-либо из них, впервые стало систематически применяться в Италии, откуда родом была и вся дипломатия Нового времени. Государство, воплощавшееся, по словам Людовика XIV, в особе короля, до такой степени отождествлялось с последней, что личные интересы монарха или его притязания и права как члена известной династии являлись как бы интересами, стремлениями и правами самого государства. Вот почему английский парламент, призывая на престол ганноверских курфюрстов, стремился обеспечить Англию от опасности быть втянутой в какую-либо войну из-за Ганновера, хотя то, что в предупреждение этого было сделано, оказалось недостаточным. Династические права, вызывавшие войны за всевозможные наследства (испанское, польское, австрийское, баварское), служили в иных случаях и основой для сплочения разнородных земель в одно государственное целое. Такова была испанская монархия Карла I, таковы были владения австрийского дома (les de la maison d'Autriche), не имевшие даже общего имени, ибо, называя их Австрией в XVI, XVII и XVIII вв., мы допускаем анахронизм; такова была и монархия прусская, составившаяся, кроме Бранденбурга и завоеванных земель, из наследств прусского и клевского. Общий монарх, владеющий разными странами по своим династическим правам, был единственной связью между разнородными и часто чуждыми странами, не соединявшимися в одно целое посредством учреждений или общих интересов. Указывая на то, что династический характер внешней политики прошлого века вполне соответствовал одной стороне «старого режима», мы не можем сделать того же по отношению к другой его стороне: если в политическом отношении династическая политика и королевский абсолютизм между собою тесно связаны, то *нельзя сказать, чтобы существовала такая же связь между социальным феодализмом, в котором ко-*

ренились аристократические привилегии, составлявшие другую сторону «старого порядка», с иностранной политикой государства, поскольку она служила иным, не династическим интересам. Дело в том, что, кроме династических стремлений, во внешней политике европейских государств проявлялись и интересы коммерческие, из-за которых равным образом возникали войны, но в таком случае они служили интересам не дворянства, а буржуазии, которая даже прямо направляла внешнюю политику таких государств, как Англия и Голландия, прямо в своих видах. Раз внешняя политика в делах мира и войны особенно заботилась о торговых интересах, то в случаях удачи главный выигрыш доставался торговым людям, капиталистам, буржуазии. Дворянство считало военную службу своей профессией, но войны Нового времени служили не дворянским интересам, как то было в феодальную эпоху, а интересам народившегося коммерческого сословия, благодаря чему в процессе социальных изменений, переживавшихся Западной Европой в Новое время, именно в процессе перехода социального влияния от аристократии к буржуазии немалую роль играла мирная и военная деятельность государства по отношению к другим государствам. Реформация с секуляризацией церковной и монастырской собственности была последним крупным событием, от которого дворянство получило выгоду, присвоив себе часть секуляризованных имений, во внешней же политике государственная власть, руководимая воззрениями меркантилизма, работала в интересах общественного класса, основывавшего свое благополучие не на наследственных привилегиях и землевладении, а на предприимчивости и денежном капитале.

Не касаясь более отдаленных времен, ограничиваясь одним XVIII в., мы видим, что в династических войнах этого времени при защите европейского равновесия имелись в виду и торговые интересы. В вопросе об испанском наследстве значительную роль играли соображения о том, что сделалось бы с торговлей Голландии и Англии, если бы испанская монархия с ее колониями досталась Франции. Большая война между Австрией и Пруссией (за австрийское наследство и вскоре за ней последовавшая Семилетняя), в которую были втянуты наиболее крупные державы Европы, велась не в одной Европе, т. к. ее сопровождали враждебные действия воюющих сторон в заморских колониях. Войны, династические в Европе, становились колониальными в других частях света. Известно, какие выгоды приобрела Англия, благодаря этим войнам, отняв в разных частях света колонии у их прежних владельцев, но это были лишь частные случаи того общего соперничества из-за колоний, которое началось гораздо ранее. Колонии¹, которые стали основываться в других частях света

¹ Леруа-Больё. О колонизации у новых народов (*Leroy-Beaulieu. De la colonisation chez les peuples modernes*).

после Великих географических открытий конца XV и начала XVI в., были не только предметом враждебных столкновений между государствами, но и вообще предметом правительственных забот, считались самым лучшим средством для подъема государственного могущества и увеличения национального богатства, которые, по меркантилистической доктрине, создавались торговлей, мореплаванием, промышленностью. Колонии основывались большей частью самими правительствами, регулировавшими все их внутренние отношения и стремившимися выжать из них все, что только можно было, к выгоде метрополии, но делалось это на частные средства капиталистов и торговых компаний, приобретающих от государственной власти разные привилегии и монополии, но вместе с тем и обогащавших казну разными своими взносами и платежами. Погоня за наживой одинаково овладевала правительствами и нациями, и внешней политике это сообщало нередко чисто коммерческий характер. Таким образом, если во внутренней политике рассматриваемый нами период характеризуется союзом между государственной властью и дворянством, то в политике внешней государство самым решительным образом отстаивало интересы капиталистов. Это обнаруживалось не в одних войнах, но и при заключении международных договоров, среди которых особое место стали занимать торговые трактаты. Все искусство в данном случае заключалось в том, чтобы выговорить побольше выгод в собственную пользу, т. е. побольше разных преимуществ купцам известного государства при ввозе в него и вывозе из него товаров. Таких трактатов в XVIII в. было заключено очень много, и все они имели целью *поставить под охрану международного права интересы национальной промышленности и торговли*, т. е., в сущности, на первом плане капиталистов страны, которые поощрялись и мерами, зависевшими от ее собственного правительства, т. е. монополиями, привилегиями, субсидиями, регламентацией рабочих в пользу предпринимателей. Особенно Англия выдвигалась как страна, в которой национальный интерес открыто отождествлялся с интересами торгового и промышленного класса, когда на материке он все еще не мог выйти из-под опеки интереса династического. Таким образом, говоря вообще, в эпоху, когда сгладились вероисповедные противоположности периода религиозных войн XVI и XVII вв., и еще не возникли политические противоположности времени, начинающиеся с Французской революции, место принципов в международной политике занимали интересы государственные и национальные, но притом так, что под первыми разумелись преимущественно династические притязания, а под вторыми торговые выгоды. И здесь, значит, *политический абсолютизм соединялся с интересами известного сословия*, хотя в данном случае сословием этим было не дворянство, а буржуазия. Начало народности (национальности) в области международной политики и государственного права не было

еще заявлено, потому что народ рассматривался лишь как материальная основа государства, но не как моральная личность. Сама государственная территория с ее народонаселением рассматривалась, как частная собственность династии, приносящая известный доход: она подлежала отчуждению, промену на другую территорию, передаче по духовному завещанию и разделу. Войны за наследства были соединены с дележами: испанскую монархию делили ранее, чем открылось само наследство; Австрию тоже грозили разделить, едва только открылось наследство, на которое явилось несколько претендентов; Пруссия в случае неудачи для нее Семилетней войны подвергалась бы также разделу; в три приема разделили Польшу. Начало национальности отступало на задний план перед династическим правом во внешней политике совершенно так же, как во внутренней — народ был ничто перед властью, которая, наоборот, была все. Только Французская революция вызвала к жизни те национальные стремления и народные силы, которые в XIX в. произвели объединение Италии, объединение Германии, освобождение славян. Вследствие того, что Италия, бывшая в культурном отношении единой нацией, политически представляла из себя лишь географическое понятие, или вследствие того, что и немецкий народ лишь по имени представлял из себя империю, будучи в сущности конгломератом королевств, курфюршеств, княжеств, вольных городов и т. п., и отдельные части одних и тех же национальностей находились между собою в международных отношениях. Особенно были важны последние в Германии, где уже в XVIII в. возникло соперничество между Австрией и Пруссией из-за гегемонии, но эти отношения представляют особый интерес в истории объединения Германии, совершившегося уже в XIX в.¹

Противопологая период между Вестфальским миром и началом революционных войн эпохе религиозных войн и той, которая наступила с момента вооруженной борьбы европейской коалиции против Французской революции, мы должны коснуться еще одного вопроса, имеющего прямое отношение к этому противоположению. Когда на Западе происходила религиозная Реформация и последовавшая за ней реакция, протестантские государи стремились дать перевес своему исповеданию и в чужих землях, тогда как католические, наоборот, делали попытки возвратить римской церкви отпавшие от нее страны, хотя бы и не бывшие под их властью, и в том же смысле действовали вообще протестанты и католики, сражавшиеся за то, чтобы предоставить торжество своему исповеданию и вне собственного отечества. Другими словами, весьма нередко внешняя политика государства направлялась стремлением к торжеству того или другого религи-

¹ Поэтому мы их и не рассматриваем в настоящей книге, кроме того, что об этом кратко говорится в главе о Фридрихе II.

озного принципа и в других странах. То же мы видим и в эпоху революционных войн и реакции, когда происходила пропаганда революции вне Франции и международная ее репрессия. Ни того, ни другого не было в рассматриваемый период, ибо по отношению к религии международная политика отличалась терпимостью, освященную вестфальскими трактатами, т. е. отказалась от прежних руководящих начал, а по отношению к политике, наоборот, не приобрела еще той нетерпимости, которая была результатом Французской революции, т. е. не думала еще о том, чтобы навязывать отдельным государствам те или иные формы. Только Французская революция положила начало различению между этими формами, получившему такой же характер непримиримости, каким отличались в эпоху Реформации католицизм и протестантизм: они считались у своих противников — один «суеверием» и «идолопоклонством», другой «ересью» и «дьявольским наваждением». «Все формы правления, — говорит Сорель¹, — существовали в Европе и все они считались равно законными... Идея приписать какому бы то ни было государственному устройству абсолютное превосходство над другими, возможность идеальной конституции, которая была бы применима ко всякой стране, и в особенности идея сделать из нее предмет пропаганды не приходила на ум государственным деятелям. Слова «республика» и «демократия» не связывались с идеей переворота. Полагали, что республика и демократия пригодны только для небольших государств: они вели за собою мирные права и сдержанную политику... Республики, бывшие перед глазами, находились более или менее в состоянии упадка; многие, по-видимому, подвергались опасности, но ни одна не казалась опасной...» Действительно, общей мыслью было то, что республики не склонны к завоевательной политике, что превращение монархии в республику выгодно для других государств, т. к. ведет ее к ослаблению, и при этом указывали на примеры Польши и Швеции в эпоху господства в ней олигархии. «Революций, — говорит тот же историк в другом месте², — было немало в Европе, но никто даже не воображал, чтобы можно было выделить идею революции из частных событий, среди которых происходили все эти прежние революции». Вот почему европейские правительства смотрели на внутренние перевороты в соседних государствах, как на частные политические кризисы, имеющие такие-то и такие-то причины, но не связанные каким-либо общим принципом, как связаны были, например, одной основной идеей церковные реформы XVI в., в силу

¹ Рус. пер., т. I, с. 11–12 (Сорель А. Европа и Французская революция / Пер. с фр. с предисл. проф. Н.И. Кареева. Т. 1–8. СПб.: Л.Ф. Пантелеев, 1892–1908. — *Прим. ред.*).

² Там же, с. 43. Сорель делает, однако, тот вывод, что правительства конца XVIII в. поступали по отношению к революции «совершенно так же», как правительства XVI в. с Реформацией (с. 46), с чем согласиться нельзя, но Сорель в данном случае имеет в виду главным образом трактаты 1648 г., т. е. время, когда как раз принципы были оттеснены интересами.

которых целые страны отторгались от католической церкви. Дело в том, что религиозная Реформация XVI в. складывалась из однородных явлений, одновременно происходивших во всех странах Европы, хотя не везде с одинаковой интенсивностью и не одинаковым успехом, и у всех этих явлений был один и тот же общий принцип, в силу чего Реформация получила характер события универсального и принципиального. Другое дело — прежние политические перевороты: они происходили то здесь, то там, иногда даже одновременно (около середины XVII в. революция в Англии, фронда во Франции, отложение Португалии от Испании, восстание Мазаньелло в Неаполе, казацкая война в Польше, бунты в Московском государстве), но у них не было общего принципа, который объединял бы причины народного недовольства, проявлявшиеся в этих движениях, тогда как раньше, в эпоху Реформации, был именно такой принцип, под знамя которого становились все общественные элементы, имевшие причины и поводы находиться в оппозиции к церкви. Конечно, и в XVI в. бывали случаи, когда в международной политике светские интересы ставились выше вероисповедных принципов, и, например, преследуя протестантов у себя, государи помогали реформационному движению за границей, но это были факты исключительные, не такие, которые дают общий колорит эпохе; в рассматриваемую же нами эпоху *правительства не только считали выгодным для себя, если у соседей возникали бунты и междоусобия, но даже сами поддерживали и вызвали такие внутренние замешательства*, ослаблявшие иностранные государства, в чем весьма цинично признавались сами, видя в таком поведении политическую мудрость. Так держала себя Франция по отношению к первой английской революции, Испания — по отношению к фронде во Франции, т. е. абсолютные монархии сочувствовали возмущениям подданных в соседних государствах против собственных своих королей. Известно, что поддержка в Польше ее уродливого государственного устройства, бывшего причиной вечной анархии, сделалась в XVIII в. политическим правилом, и соседние монархии являлись защитницами республиканского строя и шляхетских политических вольностей в этой стране, так что Екатерина II даже заявляла, что она не допустит в Польше «самодержавия», под которым она разумела даже незначительное усиление королевского правительства. То же самое происходило и по отношению к Швеции в эпоху ее олигархического правления: в шестидесятых годах русская императрица и прусский король, действовавшие вполне солидарно по отношению к Польше, обязались трактатами не допускать восстановления самодержавия в Швеции, и после переворота 1772 г. Густав III должен был оправдываться перед петербургским и версальским дворами. Франция, одобрявшая стокгольмский монархический переворот, держала себя иначе по отношению к Англии, когда в ее американских владениях произошла республиканская революция, но поддерживая тамошних де-

мократов, она, наоборот, оказывала помощь женевской олигархии, когда против последней восстала местная демократия. Или вот еще пример. Мы увидим после, как Иосиф II нарушением вольностей, которыми пользовались его бельгийские подданные, вызвал против себя в австрийских Нидерландах возмущение, а одновременно с этим и в другой части Нидерландов, т. е. в Голландии республиканцы находились в столкновении с штатгальтером, стремившимся к диктатуре (1787). Как же отнеслись к этому иностранные правительства? Абсолютная французская монархия была на стороне оппозиции в обеих странах, конституционная Англия — на стороне честолюбивого принца, стремившегося к подавлению вольностей Голландии, Пруссия — на стороне бельгийских революционеров, которым посылала деньги, и на стороне голландского штатгальтера, которому оказывала даже военную помощь. Совершенно так же, т. е. вполне беспринципно, отнеслись иностранные дворы сначала и к Французской революции, видя в ней местный кризис, на который нужно так или иначе смотреть не с точки зрения каких-либо общих принципов, а с точки зрения интересов данного государства, т. е. выгодно ли ему или невыгодно, чтобы во Франции происходили внутренние смуты, которые ее ослабляли бы, как известного рода силу в международной политике. Не сразу поняли, что этот переворот имел принципиальный характер и мог получить универсальное значение. Революция внесла изменение в международные отношения: принципы, на которых основывались внутренние отношения государств, стали играть роль и во внешней политике. Французской революции были противопоставлены монархические коалиции конца прошлого века, с ее следствиями после падения империи Наполеона I боролся Священный союз, хотя французские победы, особенно при Наполеоне I, заставили многих забыть принципы и идти на сделки с Францией и участвовать в делении Европы с революционным узурпатором, каким был с легитимистической точки зрения император французов.

В первом томе замечательной книги Сореля «*L'Europe et la révolution française*», рассматривающем «политические нравы и традиции» старого режима, с большим искусством обобщены факты международной политики, свидетельствующие об этой общей ее беспринципности. «Государственная польза, как основание и конечная цель, — говорит он, — интрига, вместо средства, сила, вместо закона, вот все, что остается от общественного права». Это было разложение старой Европы в ее целом, но то же разложение было и внутри отдельных государств. Сорель очень хорошо связывает одно и другое, стараясь объяснить, с одной стороны, и то, как это разложение вызывало революцию, и то, как, благодаря ему, эта революция не могла быть подавлена вооружившимися против нее коалициями, которые продолжали поступать по старому обычаю, и то, как сама революция унаследовала многие злоупотребления «старого порядка».

«Старый порядок» действительно разлагался и во внутренней жизни государств, и в международной политике. Накануне 1789 г. европейский политический мир представлял собой то же, что и католическая церковь накануне 1517 г.: и в целом католическом мире, и в отдельных странах церковная жизнь перед Реформацией находилась в расстройстве, которое напоминают нам внешние и внутренние политические отношения перед революцией; в обоих случаях дело кончилось переворотами, изменившими и общий вид Европы, и внутреннее состояние разных государств. Общие причины в обоих случаях были одни и те же, т. е. внутреннее разложение каждой из этих систем, заключавшееся, между прочим, в противоречии, наблюдалось между действительностью и идеей, в одном случае идеей церкви, в другом — идеей государства, и рядом с этим внутренним разложением несоответствие самих принципов, на которых основывались обе системы, с выросшими наперекор им новыми отношениями. Внутреннее разложение вызывало в обоих случаях мысль о реформе, причем, конечно, не мог быть обойден вопрос о принципах этой реформы: новые фактические отношения, разумеется, требовали и новых принципов. И тут, как и в случае реформационного движения, было важно, откуда выйдет и какими силами будет осуществлена реформа, какие фактические отношения в каждой отдельной стране будут обуславливать ее ход и определять ее результаты и во имя каких принципов реформа станет совершаться. Мы и перейдем теперь к рассмотрению новых идей, которые были отрицанием старых порядков в государстве и обществе и которыми руководились при созидании новых отношений.

Новые культурные
и общественные идеи

XI. Происхождение и общий характер Просвещения XVIII в.¹

Несоответствие «старых порядков», санкционированных правом и охранявшихся публичной силой, с новым культурно-социальным состоянием. — Генезис Просвещения XVIII в. из гуманизма и отличие первого от последнего. — Самостоятельная философская мысль и развитие естествознания. — Общественный характер литературы XVIII в. — Различие между французским и немецким Просвещением. — Оптимизм просветительной литературы. — Идея прогресса и просвещения. — Подготовка Просвещения в протестантизме. — Отношение исторической науки к просветительной литературе. — Рационалистический характер этой литературы, ее сильные и слабые стороны. Разобщенность теории и практики. — Причины успеха французских писателей XVIII в. — Главные направления французской просветительной литературы.

Отдельные стороны исторической жизни не могут находиться долгое время в разладе между собою, в разладе, который сам по себе возможен, естественен и даже необходим, т. к. разные стороны общественного быта развиваются неравномерно, опережая одни другие или одни от других отставая и становясь потому одни с другими в противоречие. Наибольшей

¹ Общая литература указана выше. По истории новой философии, кроме общих курсов, см.: *Ибервег Гейнце*. История новой философии (перевод одной части соч. Fr. Ueberweg'a Grundriss der Geschichte der Philosophie с подробными указаниями на литературу). *Windelband*. Geschichte der neueren Philosophie in ihrem Zusammenhang mit der allgemeinen Kultur und der besonderen Wissenschaften; *Куно Фишер*. История новой философии (*Kuno Fischer*. Geschichte der neueren Philosophie). Русские соч. о Декарте проф. Н.А. Любимова, о Лейбнице проф. В.И. Герье. По истории наук есть сочинения общие и для каждой науки в отдельности. Из первых см.: *Уевель*. История индуктивных наук (*Whewell*. History of the inductive sciences). *Cournot*. Considérations sur les marche des idées et des événements dans les temps modernes. См. также у Бокля в его «Истории цивилизации в Англии» соответствующие отделы, в которых он, впрочем, преувеличивает ту роль, какую играло естествознание в переменах, происходивших в общественном сознании. Общие истории культуры также обращают большое внимание на историю специальных наук. Указания на истории политических учений см. в первой и второй книгах. Здесь прибавим еще только что вышедшую книгу (лекции) проф. С.А. Бершадского «Очерки истории философии права», в I выпуске которых изложение доводится до Монтескье (включительно). Нужно указать и на то, что общие характеристики умственного движения в XVIII в. (с весьма различных часто точек зрения) делают и историки Французской революции, каковы Токвиль, Тэн, Сорель, Луи Блан, в первом томе большого труда которого (пер. по-русски) есть целые отделы, посвященные таким писателям, как Вольтер, Монтескье, Руссо, Мабли, Дидро и т. д. (см. также некоторые главы в труде Онкена «Das Zeitalter Friedrichs des Grossen»).

косностью отличаются те отношения, которые санкционируются правом и охраняются публичной силой, т. к. право по самому существу своему стремится наложить печать неизменности на данные отношения, а публичная сила, призванная охранять то, что освящено правом, тем самым осуществляет это стремление. «Старые порядки», с которыми мы познакомились, именно санкционировались правом и охранялись публичной силой. В свое время, когда эти порядки возникали, они вполне соответствовали общему настроению умов и состоянию общества: общепризнанным правом не могло сделаться то, что шло бы вразрез с общим настроением умов, как не могло получить охрану со стороны публичной силы, что не соответствовало бы состоянию общества. В силу косности, присущей порядкам, получающим юридическую санкцию и политическую охрану, они обыкновенно отстают от культурного и социального развития, и иногда дело доходит до того, что юридико-политические нормы оказываются в полном разладе с современным им культурным и социальным состоянием, т. е. то, что при прежнем умонастроении считалось правом, при новом состоянии умов перестает рассматриваться как таковое, и то, что при прежнем состоянии общества было основой публичной силы, уже не может играть этой роли при изменившихся социальных отношениях. Другими словами, объективное право перестает совпадать с субъективным, и внешние формы общества не соответствуют более взаимоотношению, фактически существующему между его элементами. Конечно, объективное право, раз возникшее в обществе, продолжает существовать как бы собственными своими силами, но действительно сильно оно лишь тогда, когда совпадает с правом субъективным, когда, по крайней мере, последнее не становится к нему в резкое противоречие. Но и этого мало для того, чтобы формы общества, охраняемые объективным правом, признавались сами правом, а не бесправием: нужно еще, чтобы эти формы соответствовали действительным отношениям, а не были чем-то насильственно навязываемым обществу, ибо в первом случае они бывают прочны уже вследствие одного того, что имеют под собой реальную почву фактических отношений между отдельными членами общества, допускающих или даже прямо создающих именно данные формы, тогда как в случае несоответствия порядков, поддерживаемых публичной силой, с фактическими отношениями, развивающимися независимо от этих порядков, все, что должно было бы иметь значение законного применения силы, получает в сознании общества как раз значение насилия. Между политико-юридическим строем Западной Европы, вырабатывавшимся в старые времена при известных культурно-социальных состояниях, и тем настроением умов и взаимоотношением общественных классов, какое существовало в XVIII в., не было более соответствия: объективное право, охраняемое публичной силой, казалось бесправием; публичная сила, охраняющая объективное

право, представлялась насилием. Новое умонастроение нашло орган свой в литературе XVIII в., принявшей резко оппозиционный характер, а ее успех в обществе указывал на то, что в нем выросли и развились элементы, которые недовольны были местом, отведенным им в социальной жизни старыми формами. В самом деле, последние были происхождения феодального и насильно поддерживались в то время, как жизнь их опередила, выдвинув вперед новые социальные силы, с которыми прежняя политика, пожалуй, могла и не считаться, но которые теперь начинали чувствовать свое значение. С другой стороны, принципы, освещавшие политические и социальные порядки, утверждались еще в те времена, которые Просвещение XVIII в. обозначало, как «готические», как «варварские», как времена умственного мрака и невежества. Таким образом, со старыми политическими и социальными порядками находились в разладе и культурное, и социальное состояние общества, т. е. то, что составляет истинную основу истории. В частности, к XVIII в. весьма значительной общественной силой сделалась буржуазия и сделалась ею в двойном отношении, т. е. и благодаря своей экономической мощи, и благодаря умственному развитию, благодаря чему становились для нее особенно ненавистными привилегии дворянства. Стала также большой силой и светская философия, благодаря тому, что сняла старые, схоластические оковы с разума и, уже в силу одного этого, подвергнув своей критике старые государственные и общественные порядки, нашла хороший прием и поддержку в общественном мнении, осуждавшем эти порядки. То, что она основывалась на деятельности отвлеченного разума и обращалась не к одному какому-либо народу, а ко всему человечеству, придавало ей характер универсальности, ибо она рассматривала вопросы личной и общественной жизни с самых отвлеченных точек зрения и в своих решениях этих вопросов давала разъяснения на те недоумения, которые в разных нациях порождались несоответствиями между «старыми порядками» и новыми требованиями жизни.

То, что называется «философией» или Просвещением (Aufklärung) XVIII в., — века, в свою очередь именуемого философским или веком Просвещения (siècle des lumières), — было естественным результатом умственного развития, совершавшегося в европейском обществе, благодаря усилиям индивидуальной мысли. *По своему светскому характеру умственное движение XVIII в. было как бы продолжением движения гуманистического*, на время прервавшегося вследствие того, что западноевропейским обществом в XVI в. овладело другое движение, имевшее характер религиозный. Церковная Реформация XVI столетия оживила религиозное чувство, оживила интерес к теологическим занятиям и направила развитие общественной мысли по иному руслу, нежели то, которое прокладывалось для нее гуманистическим направлением, но мало-помалу реформационная горячка улеглась, жизнь выдвинула на первый план не те вопросы,

которые более всего волновали церковных преобразователей и общественные слои, принимающие наиболее активное участие в исторической жизни, и общие причины, уже раз вызвавшие к жизни светский гуманизм, создали и светское Просвещение XVIII в. Хотя в прошлом столетии об истории Возрождения имели весьма смутное понятие, и честь выяснения сущности этого исторического явления принадлежит лишь исторической науке второй половины XVIII в., тем не менее тогдашние просветители чувствовали, что между ними и гуманистами существует внутреннее родство. *Умственное направление XVIII в. было в сущности тем же гуманизмом*, который сделался самым выдающимся явлением умственной жизни в XIV в., *но со значительными видоизменениями и осложнениями*. Хотя для гуманистов античная литература была только опорой в их стремлениях к выработке нового мирозерцания, тем не менее они сильно зависели от воззрений классического мира: гуманистическая философия была лишь возобновлением стоицизма и эпикуреизма, платонизма и аристотелизма, в XVIII же веке европейский ум стоит тверже на собственных ногах, и одним из признаков этого было то, что в Европе еще в XVII в. зародилась своя собственная философия, родоначальниками которой были Бэкон (1561–1629 гг.), автор знаменитого «*Novum organum*» (1620) и Декарт (1596–1650 гг.), изложивший целое мирозерцание в своих «*Principia philosophiae*» (1644). В выработке нового мирозерцания приняло, далее, большое участие естествознание, находившееся почти в пренебрежении у гуманистов. Целый ряд открытий, начавшихся с конца XV в., имел своим результатом образование нового взгляда на Вселенную: путешествия Колумба и первое кругосветное плавание (Магеллана около 1520) окончательно утвердили мысль о шарообразности Земли; великий труд Коперника «О вращении небесных тел» (*De revolutionibus orbium coelestium*) доказал, что Земля вовсе не есть центр Вселенной, как думали раньше, и тем разрушил геоцентрическую систему, господствовавшую с Птолемея, а в XVII в. труды его продолжали Кеплер (ум. 1630.) и Галилей (ум. 1642), открывшие законы движения небесных тел; в год смерти Галилея родился Ньютон, завершивший выработку новой астрономической системы своим законом тяготения и своими «Математическими основами естественной философии», вышедшими в свет в самом конце XVII в. Это столетие *было вообще эпохой блестящего развития естествознания*, интерес к которому начал усиливаться еще в XVI в., хотя оно могло стать на свои ноги лишь тогда, когда перестали знакомиться с природой лишь по одним книгам, а обратились к ее исследованию путем наблюдения и опыта. В XVI в. Парацельс (1498–1541 гг.), отец химии, начал с того, что бросил книги и обратился к непосредственному изучению природы, путешествуя по новым странам, собирая факты, наблюдая и делая опыты, хоть и продолжая разделять средневековые научные суеверия. Основатель анатомии Везаль

(1514—1564 гг.), автор «Фабрики человеческого тела» (1543) занялся трупосечением, которое тогда еще считалось грехом, так что он мог предаваться своим исследованиям лишь тайком, воруя необходимый для них материал. Бэкон возвел в систему опыт и наблюдение, вооружившись против авторитетов классической древности в области естествознания и поняв историю человеческого ума как историю изобретений. Благодаря новым задачам, какие ставила себе наука, и новым методам, к которым она стала прибегать, и благодаря развитию математики, занимавшей философов века (Декарта и Лейбница), получили развитие самые различные отрасли естествознания, и Просвещение XVIII в., занявшееся, как и гуманизм, выработкой нового мирозерцания, могло опираться не на одних классиков, но и на новые науки о природе. Таким образом, *с одной стороны, самостоятельное философское развитие, а с другой — успехи естествознания создавали для просветителей XVIII в. такие опоры, которых лишены были гуманисты*, и в этом отношении XVII в. был для XVIII в. эпохой подготовки. Стоит только назвать наиболее выдающиеся имена из истории философии и науки и заставить себя припомнить, чем обязана новая образованность всем этим мыслителям и исследователям, — как известно, часто подвергавшимся гонениям и лишениям, — чтобы понять, на чьих плечах стояли просветители XVIII в.: Бэкон, Декарт, Кеплер, Галилей, Гарвей (открывший кровообращение в 1619 г.), Спиноза (1632—1677 гг.), Ньютон, Гоббс, Локк, Лейбниц (1646—1716 гг.) были самыми крупными деятелями чисто философского и научного движения в XVII в.

Другой особенностью просветительной литературы в ее отличие от литературы гуманистической *был ее общественный характер*. Эпоха Ренессанса была в Италии временем полного падения свободной политической жизни и равнодушия к общественным вопросам, и основной ее характер был индивидуалистический, т. е. на первый план ставился индивидуум и его развитие, тогда как просветительная литература занялась вопросом об обществе и государстве, выдвинув целый ряд политических писателей и теоретиков общественных преобразований. За немногими исключениями политические и социальные движения шли в предыдущее века под знаменем идей религиозных, но в XVIII в. вопросы, к которым весьма часто гуманисты оставались равнодушными, а в эпоху Реформации протестанты и католики подходили с вероисповедными точками зрения, — сделались, освободившись от теологических и схоластических влияний, одними из наиболее главных и существенных, какими только занималась литература, значительно опередив и чисто ученую разработку политики, и права в XVI и XVII вв. такими людьми, как в XVI в. Макиавелли, Бюде или Будей, Кюжас или Куяций, Боден, в XVII столетии родоначальник государственного и международного права Гуго Гроций, живший между 1573 и 1645 гг., автор книги «О праве войны и мира», Пуффендорф, автор «Естественного пра-

ва» и др. XVIII в. положил еще начало новой общественной науке — политической экономии. Впрочем, такой *общественный характер принадлежит преимущественно французской литературе, тогда как немецкое Просвещение было более индивидуалистично*, являясь в этом отношении как бы повторением итальянского гуманизма, ограничивавшего круг своих интересов вопросами знания, морали, эстетики и педагогики, так что на общее историческое движение французская литература оказала гораздо больше влияния, чем немецкая, которая сама испытывала на себе действие французских идей. В самом деле, в то время, как французская «философия» прошлого века была протестом против разного рода общественных несправедливостей и проповедью политической перестройки, немецкая литература даже в самый разгар «периода бури и натиска» (Sturm und Drangperiode) отличалась характером чистого индивидуализма. «Эпоха, в которую мы жили, — говорит Гете, — может быть названа эпохой требований, потому что тогда и от себя, и от других требовали того, чего никто еще не сделал. Именно у лучших мыслящих и чувствующих умов явился луч сознания, что непосредственный оригинальный взгляд на природу и основанная на этом взгляде деятельность есть лучшее, чего человек может желать... Дух свободы и природы каждому сладко шептал в уши, что без больших внешних вспомогательных средств у него довольно материала и содержания в самом себе, и все дело лишь в том, чтобы достойно развить его». Эти слова великого поэта, известного своим политическим индифферентизмом, весьма характерны для тогдашнего немецкого настроения. «Немецкая действительность XVIII в., — писали мы в другом месте¹, — была неприглядна, раздвоение между действительностью и идеалом чувствовалось и здесь, как и во Франции, но если француз стремился поднять действительность до идеала, то немец, менее политически развитой, более индивидуалистичный, предпочел просто-напросто отвернуться от пошлой действительности, ища материала и содержания в самом себе. Раздвоение идеи и действительности свелось здесь на антитезу желания единицы, как поэзии, и общественных правил, как прозы, а не на антитезу индивидуальной свободы против традиционной социальной необходимости...» То направление, которое господствовало в Германии, необходимо вело к идеальным требованиям от личной только жизни. С таким характером немецкая литература переходит и в XIX в.

Выгодно отличалась просветительная литература от гуманистической, — беря последнюю в Италии, где она получила начало и наибольшее развитие, — *бóльшей также моральной силой и бóльшим убеждением*. Итальянские гуманисты не вступали в общественную борьбу, предпочитая при-

¹ Основные вопросы философии истории. Т. I. С. 203 (по 2-му изд.). См. там же и с. 200–208, где об этом вообще говорится подробнее (Кареев Н.И. Основные вопросы философии истории. 3-е изд., сокр. СПб.: Тип. М.М. Стасюлевича, 1897. — Прим. ред.).

способлене к данным обстоятельствам, весьма часто были лишены твердого убеждения, не думали о коренных преобразованиях общественного быта и в конце приходили к весьма пессимистическим выводам о природе человека, что проявилось особенно заметно в политическом учении Макиавелли. Другое дело — просветители, выступившие в роли смелых борцов за личную и общественную свободу, за человеческое достоинство и гражданское равенство, критиками несовершенств окружавшей их политической и социальной действительности, авторами разнообразных планов государственной и общественной реформы, пророками, говорившими о наступлении лучших времен, впервые формулировавшими оптимистическую мысль о прогрессе, как о настоящей цели исторической жизни человечества¹. В них был силен оптимизм, не тот, который прославляет действительное, а тот, который основывается на чаянии лучшего будущего, осуществляемый усилиями человека. Античный мир завещал человечеству идею прогресса умственного, предполагая, что в нравственном отношении человек, наоборот, скорее падает, а в социальном совершает вечное круговращение, переходя из одних состояний в другие лишь для того, чтобы от нового опять возвращаться к старому. Только христианство внесло в мир идею прогресса нравственного на почве новых моральных идеалов, предъявленных им человечеству, классическое Возрождение вернуло мысль к точке зрения античного мира, и успехи человеческого ума в XVI, XVII и XVIII вв. особенно утверждали в той мысли, что история осуществляет интеллектуальный прогресс, увеличивает сумму человеческих знаний, заставляет природу выдавать ее тайны и усиливает власть человека над природой: проповедниками такого воззрения в XVII в. были Бэкон и Декарт, а Паскаль предлагал смотреть на человечество как на одного человека, который постоянно учится. На моральную и социальную сторону истории продолжали, однако, смотреть глазами древних, и даже Руссо и Вольтер в этом отношении были как бы представителями: первый — той идеи, что умственное совершенствование сопровождается нравственным упадком, а второй — того, что в этом мире все остается по-прежнему, кроме успехов ума; особенным же защитником теории круговорота общественных форм выступил итальянский мыслитель Вико² в своей «Новой науке» (*La scienza nuova*, 1726). Честь распространения идеи прогресса на нравственную сферу — и уже на основах чисто философских — принадлежит Тюрго, который в 1750 г. выступил с двумя речами историко-философского содержания: во второй половине XVIII в. идея прогресса сделалась уже весьма популярной. Великий немецкий философ Кант (1724–1804)

¹ За подробностями отсылаю к статье своей «История и философское значение идеи прогресса» (Сев. Вест., 1891, XI–XII).

² О нем существует большая литература, указанная в наших «Основных вопросах философии истории».

в своей небольшой статье 1784 г., под заглавием «Идея о всеобщей истории с космополитической точки зрения» (*Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlichen Absicht*) прямо говорит о необходимости понимания истории как процесса, ведущего человечество к совершенному гражданскому обществу, чем впервые постановил на очередь вопрос о прогрессе социальном: таким образом, идея прогресса социального обязана своим происхождением XVIII в. Кроме Тюрго и Канта, наиболее видными проповедниками веры в прогресс были Лессинг (1729–1781, в сочинении *Die Erziehung des Menschengeschlechts*, 1780), Гердер (1744–1803, *Ideen über Philosophie der Gschichte*, 1784)¹, Кондорсе (*Esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain*, 1793), и все они в Просвещении своего века видели ручательство того, что человечество достигнет высшего умственного, нравственного и общественного совершенства — полагая вместе с тем, что это-то Просвещение и составляет главную движущую силу истории. Эта идея прогресса вселяла своего рода религиозную веру в победу добра над злом и призывала людей к работе для доставления этой победы добру, для того же, чтобы человек действительно был просвещенным, Кант в своей статье о том, «Что такое Просвещение» (*Beantwortung der Frage: was ist Anflklärung?*) требовал от него самостоятельного мышления, а не перенимания того, что сказано другими. Этот философский оптимизм, эта вера в высокое предназначение человека на земле, это уважение к просвещению необходимо соединялись с великодушными чувствами, с требованием гуманности в человеческих отношениях, которая должна истребить всякую неправду, всякое рабство, всякую вражду — расовую, национальную, вероисповедную, сословную. Такие идеи одушевляли лучших поэтов, среди которых особенно Шиллер (1759–1805) должен быть назван поэтом гуманности, как Гете (1749–1832) — поэтом нового философского духа.

На таком характере философии XVIII в. сказались и влияния, шедшие из реформационной эпохи. *Будучи по светскому характеру своему продолжением гуманизма, по моральной своей силе и по непосредственному своему влиянию на жизнь оно было скорее наследием протестантизма.* В одном отношении связь культурных идей XVIII в. с реформационным движением несомненна: французская философская (деистическая) и политическая литература XVIII в. опирается на английскую XVII столетия, а последняя выросла на почве Реформации; почти религиозная вера в силу разума и в достижимость идеалов, а также сознание своего долга² содействовать общему благу, напоминают нам крепкую веру и непоколебимый ригоризм реформационной эпохи, ибо даже те мыслители, которые объявляли, что

¹ О Гердере см. соч. Наум'а, переведенное и по-русски.

² Учение о долге особенно было развито Кантом, понявшим долг как «категорический императив».

в основе всех поступков человека лежит эгоизм, в действительности одушевлялись в своей деятельности принципами, имевшими для них значение религиозных заповедей; унаследовав от гуманистов свободу мысли и стремление к выработке мирозерцания на чисто светских основах, просветители XVIII в. сделали защитниками той свободы совести, которой, как и политической свободой, мало интересовались гуманисты, вполне даже ее игнорируя, и которая впервые была выставлена протестантским движением. Поэтому у философии XVIII в. есть точки соприкосновения не только с гуманизмом, но и с протестантизмом, что и было причиной всеобъемлющего значения, какое получило в культурной и социальной жизни Западной Европы умственное движение XVIII в.

К философии XVIII в. образовалось в исторической литературе два отношения: преклоняясь перед успехами человеческого ума, XVIII в. гордился своими завоеваниями в области мысли, но под влиянием Французской революции, ужасы которой стали целиком сваливаться на «ложную философию» эпохи, произошла реакция, и Просвещение XVIII в. подверглось огульному осуждению. Но историческая наука среди противоположных мнений, которые стали высказываться о XVIII в., должна была стать на точку зрения анализа явлений, делающего невозможными ни восторженную хвалу, ни огульную хулу, должна была обратиться к критике отдельных фактов, обнаружить их неоднородность, показать, как к истине примешивалось заблуждение и как в самих заблуждениях было зерно истины, т. е. должна была, одним словом, отнестись к просветительной литературе, как и ко всякому другому историческому явлению. В данном случае мы имеем дело с совокупностью принципов, которым суждено было играть роль исторических факторов рядом с другими факторами идейного и неидейного характера, в связи с характерами, страстями, привычками и интересами самих действующих лиц, не ставя принципам в исключительную заслугу или в исключительную вину того, что делалось другими факторами, и помня, что историческое объяснение есть прежде всего объяснение генетическое, т. е. такое, которое имеет главным своим предметом происхождение известных явлений и их участие в порождении других явлений.

XVIII в. был героическим веком рационализма, и в этом именно заключаются и сила, и слабость философии прошлого столетия. Когда мы говорим о рационализме, мы прежде всего противопоставляем его направлению, основывавшемуся на вере во внешние авторитеты: рационализм ничего, по-видимому, не принимает на веру, для всего требует разумных доказательств, все подвергает анализу и критике с точки зрения начал разума, но и в этом отрицании всего традиционного, как не выдерживающего проверки разума, заключается глубокая и сильная вера, именно вера в самый разум, в его могущество, в возможность все объяснить и все создать силой

разума, в прогресс, обусловливаемый просвещением, основанным на деятельности разума. Говоря о рационализме, мы можем еще противопоставлять его всякому направлению, полагающемуся не столько на отвлеченную деятельность разума, сколько на данную действительность, на опыт и наблюдение: рационализму свойственно объяснять вещи и строить знание, исходя из известных идей и идя чисто логическим путем, т. е. действуя, так сказать, идеологически и диалектически. Ничего не принимая на веру, что не оправдывалось разумом, отвергая, как предрассудки, — предания, которыми жило общество, а с ними и все исторически сложившееся, раз последнее не выводилось из начал разума, эта философия была глубоко антиисторична, противоположив всему созданному историей, как чему-то искусственному, простые идеи разума, как согласные с законами природы, как начала естественные. Идея естественного (в условном смысле) доминировала в этой философии: деисты противоплавали естественную религию религии, основанной на откровении и предании; юристы и политики говорили о естественном праве, которое противопоставляли положительному законодательству¹ о естественной свободе и равенстве, противоплававших существующим социальным формам, и об основанном на общем согласии порядке, который признавался естественнее того, какой сложился историческим путем; экономисты равным образом стремились открыть естественный порядок хозяйственной жизни, затемненной и искаженной вмешательством в эту сферу человеческих установлений, и само название экономической школы «физиократов» указывает на то, что своим принципом она ставила господство природы, ибо физиократия и значит господство природы, господство естественного закона; наконец, Руссо прямо ставил вопрос о том, как возратить человека и общество к естественности, а из своего «естественного состояния» сделал даже какой-то золотой век или рай, утраченный человечеством. Во всем этом были и слабые, и сильные стороны. Действие этой философии по силе своей может быть сравниваемо только с действием религии, ибо основывалась эта философия на глубокой вере в разум, ибо она брала человека в самом себе без осложнений, создаваемых в его жизни исторической обстановкой, и рассматривала права и обязанности людей как таковых, а не как французов или англичан, немцев или итальянцев и т. п., кладя в основу своих учений отвлеченное понимание природы человека, ибо, наконец, благодаря этому она получала наиболее универсальный характер и способность к весьма широкому распространению. При всем том она подняла массу вопросов, указала новые пути для их решения, освободила мысль от массы схоластических традиций и множества всякого рода предрассудков, порождала благородные чувства, порывы и стремления и

¹ См.: *Jouffroy Th. Le droit naturel.*

одушевляла на деятельность в пользу общего блага. Слабую сторону этой философии составляла ее идеология: признавая естественным лишь то, что основывалось на чистых идеях разума, отождествляя законы природы с теми или другими положениями, выведенными диалектически из известных идей, она не считалась в достаточной мере с действительностью, мало обращала внимания на то, что было естественно на самом деле в силу настоящих законов природы, открываемых опытом и наблюдением, лишена была поэтому исторического чутья, а подчас и чувства действительности, преувеличивала значение индивидуальных сил, не соразмеряла их с условиями, обстоятельствами, препятствиями, создаваемыми местом и временем, иногда даже делала свои построения, не принимая в расчет того, какие результаты могло бы дать их применение к действительной жизни. Если благодаря своим сильным сторонам, философия XVIII в. ставила обществу высокие цели, поселяла в нем благородные стремления, одушевляла его на борьбу во имя идей, то вследствие присущих всему направлению недостатков делались ошибки при выборе средств, игнорировались реальные условия, с которыми нужно было считаться, не различались вещи, непосредственно достижимые, от тех, которые могут быть только конечным идеалом культурно-социального прогресса. И эта сила идей как факторов, определявших собою поведение исторических деятелей, и это бессилие отвлеченного разума перед громадной задачей сразу преобразовать действительность по данным идеям, одинаково проявились во время Французской революции. Одной из причин такого явления было, кроме главным образом свойств самой рационалистической философии, еще и то обстоятельство, что вследствие тогдашних условий политической жизни, лишавших общество малейшей самостоятельности, для него открыта была одна только теоретическая деятельность ума и закрыта, наоборот, всякая практическая деятельность в сфере тех вопросов и отношений, которые наиболее интересовали тогдашний культурный слой: теория, касавшаяся вопросов практической жизни, но не смешая и думать о том, чтобы применять их на практике или из самостоятельной практики почерпать для себя новые указания, естественно и необходимо должна была отдалиться от жизни, замкнуться в отвлеченностях, совершенно оградиться от области реальных фактов, составлявшей монополию одних власть имущих. Поэтому иногда занятие наиболее важными в практическом отношении вопросами делалось совершенно абстрактным, нравясь только, как занятие ума, но не вызывая мысли о практическом применении идей, к которым теоретически приходил тот или другой мыслитель. Мало того, бывало и так, что ради литературного успеха писатель высказывал мысли, в сущности не бывшие настоящим выражением того, что он думал на самом деле об известных предметах. Морелле, один из этих писателей, говорит, например, что «тогда все казалось невинным в этой философии,

оставшейся замкнутой в своих границах и искавшей в наиболее смелых своих заявлениях (*dans ses plus grandes hardiesses*) лишь мирного упражнения для ума». Другой писатель, Мармонтель, сам признается, что в пятидесятых годах он не знал, чего хотел достигнуть своей философией. «Всю жизнь свою, — писал Рэйналь национальному собранию в начале революции, — всю жизнь свою я размышлял о тех идеях, которые вы теперь прилагаете к возрождению королевства, — я размышлял о них в те времена, когда они, отвергнутые всеми общественными учреждениями, всеми предрассудками, имели только привлекательность утешающего желания. Тогда не было у меня никакого побуждения ни прилагать их, ни предугадывать их следствия». В 1780 г. Бриссо, впоследствии один из деятелей революции, издал «Философские разыскания о праве собственности и кражи», где теоретически разрушал собственность, но потом он называл это свое сочинение «болтовней ученика, который упражняется над парадоксом» и указывал на то, что не следует применять к гражданскому состоянию взгляды, высказанные им о состоянии естественном. Многие тирады в сочинениях Неккера, которые Луи Блан, например, принимает за чистую монету, как выражение социалистических воззрений этого финансиста, были рассчитаны просто на литературный успех. Лишь мало-помалу теория стала стремиться перейти в практику, но и тогда опять-таки представлялось, что для реализации новых идей не существует никаких препятствий, кроме сопротивления со стороны двора, духовенства и знати. Благодаря тому, что между отвлеченной мыслью и действительной жизнью не было тесной связи, философия XVIII в. пользовалась успехом и в таких кругах общества, которые впоследствии сделались самыми ярыми ее врагами. «Мы, — говорит де Сегюр в своих воспоминаниях, — мы, аристократическая молодежь Франции, без сожаления о прошедшем, без опасения за будущее весело шли по цветущему лугу, под которым скрывалась пропасть. Есть удовольствие сходить вниз, когда думаешь, что снова можно подняться, и без предусмотрительности мы вкушали выгоды патрициата и прелести плебейской философии. Таким образом, хотя это были наши привилегии, жалкий остаток нашего могущества, которые подкапывались под нашими ногами, нам нравилась эта маленькая война. Мы не испытывали ее ударов, перед нами развешивалось только ее зрелище. Это были битвы лишь на словах и на бумаге, и нам не казалось, чтобы они могли поколебать то высокое положение, которое мы занимали и которое нам казалось несокрушимым, т. к. мы обладали им столько столетий. Мы смеялись над тревогой старого двора и духовенства, восставших против этого духа нововведений. Мы аплодировали республиканским сценам на наших театрах, философским речам наших академий, смелым сочинениям наших литераторов». Таким образом, *и рационалистический характер самой философии, ставившей свои вопросы совершенно отвлеченно, и разобщен-*

ность теории с практикой, зависавшая от политических условий времени, были причиной того, что когда наступила пора применения новых идей к действительной жизни, надежды, возлагавшиеся на всеобщую приложимость этих идей, не оправдались, хотя идеи эти и сослужили свою службу.

Произведения философов XVIII в. пользовались громадным успехом. Двор Людовика XIV, бывший как бы громадным салоном для всей Франции, который задавал тон в литературе, разбился в XVIII в. на массу настоящих салонов, в которых протекала жизнь светского интеллигентного общества. Старые идеи были убиты в этом обществе самим Людовиком XIV, поставившим королевский деспотизм на место всех традиций, какие прежде пользовались уважением в обществе, но собственная его система вызвала критику и даже среди аристократии: последняя в общем была довольна оппозиционным характером новой литературы, хотя причины ее собственного оппозиционного настроения были иные, нежели те, которыми определялся характер литературы. Для интеллигентных и зажиточных кругов третьего сословия идеи свободы и равенства, развивавшиеся в этой литературе, не были пустыми словами и были приняты ими с наибольшей искренностью. Способствовали успеху произведений, выходивших из под пера просветителей, и чисто литературные достоинства, их отличавшие. Как бы мы ни смотрели на французскую изящную словесность «века Людовика XIV», никто не решится отнять у нее ее формальные преимущества: ясность и прозрачность мысли, точность и силу выражения, гармоничность частей, а то, что с Людовика XIV французский язык сделался языком дипломатии, придворного быта и высшего общества во всей Европе, и что литература других стран долгое время находилась в зависимости от французской, обеспечивало французским книгам широкий сбыт вне самой Франции. Философы XVIII в. были светскими людьми и умели писать для светского общества, излагать свои мысли в популярной форме и изящным языком, привлекать к себе читателей живостью непринужденной беседы, игрой остроумия, задором сатиры, насмешки, сарказма и иронии. Они овладели всем образованием эпохи и сделались господами в области мысли. Их влиянию подчинились даже коронованные особы по примеру Фридриха II, который, еще бывши наследным принцем, вступил в переписку с Вольтером, занимавшим в XVIII в. такое же положение, какое в XIV принадлежало Петрарке, а в XVI — Эразму. Отдельные факты, свидетельствующие о том почете, каким пользовались французские писатели XVIII в. у монархов и у государственных людей, будут еще приведены после.

Само собой разумеется, что нельзя представлять себе Просвещение XVIII в. как нечто однородное. Мы видели, например, что в Германии оно отличалось иным характером, чем во Франции; с другой стороны, в самой Франции *нужно различать разные эпохи и разные направления этого умственного движения.* Приблизительно до 1750 г. главным предметом нападе-

ния была католическая церковь, и указывалась необходимость гражданских реформ, но еще не предъявлялось требования политической свободы. Во второй половине XVIII в. стали подвергаться критике государственные учреждения и социальные отношения и начала выдвигаться на первый план идея политической свободы. Еще большую разнородность представит нам собой это движение, если мы ближе подойдем к отдельным его направлениям. В области философии господствовал сначала занесенный из Англии деизм, принимавший у Вольтера характер рассудочности и скептицизма, у Руссо — характер сентиментальности и идеализма, но рядом с деизмом во второй половине XVIII в. развивается материализм, один из видных представителей которого, Дидро, сам начал, однако, с деизма. В морали деисты охотно становились на точку зрения врожденных нравственных идей, тогда как материалисты проповедовали теорию эгоистичности всех человеческих действий, и если для идеалистической философии (развившейся особенно в Германии) человек был венцом творения, носящим в своем разуме искру Божества, то для материалистического взгляда исчезала почти всякая разница между человеком и животным. Далее, рядом с весьма часто встречающейся привычкой противопоставлять свой просвещенный век «готическому» варварству прежних времен мы имеем в этой литературе и пример возведенного в систему противопоставления здорового естественного состояния — испорченной цивилизации, т. е. тому самому Просвещению, которым так гордился философский век. В вопросах политических и общественных то же разнообразие: Вольтер — сторонник «просвещенного абсолютизма» и аристократизма интеллигенции, Монтескье стоит на точке зрения конституционной монархии и дворянских привилегий, Руссо — республиканец и демократ. Сама идея свободы понимается то в смысле свободы индивидуальной, то в смысле полного народовластия, и в то время, например, как Монтескье ищет гарантий для личной свободы, Руссо не хочет знать никаких ограничений власти державного народа над отдельным членом общества. Это разнообразие направлений воплотилось в нескольких типических личностях, которые, кроме того, оказали и наибольшее влияние на культурную и политическую жизнь своих современников и ближайшего потомства.

XII. Жизнь и идеи Вольтера¹

Общее значение Вольтера. — Жизнь Вольтера до путешествия в Англию. — Английское влияние на Вольтера. — Время сожительства Вольтера с маркизой дю Шатле. — Вольтер в Пруссии. — Ферней и борьба с католицизмом. — Отношение Вольтера к местному духовенству. — Поездка в Париж и смерть Вольтера. — Оценка современниками значения Вольтера. — Защита им веротерпимости и личной свободы. — Политические и общественные воззрения Вольтера. — Деизм и его оттенки. — Религиозные взгляды Вольтера. — Отношение Вольтера к философским вопросам. — Литературная деятельность Вольтера и его влияние на других писателей.

Вольтер был несомненно главным представителем философии XVIII в., первым вождем в том умственном движении, которое характеризует эпоху: так смотрели на него современники, так оценивали его значение сторонники этого движения и его враги, так, наконец, смотрит на его личность и современная историческая наука. «Мы думаем, — говорит один из новейших его биографов², — что вольтерианизм во Франции имеет в некоторой степени такое же значение, как католицизм, эпоха Возрождения и кальвинизм», т. к. «он является одной из основ, на которых зиждется умственное освобождение нового поколения». Конечно, в истории философии, как особой отрасли знания, где блещут имена Платона и Аристотеля, Бэкона и Декарта, Спинозы и Канта и т. д., имя Вольтера едва только упоминается; он не делал никаких открытий в области естествознания, где его имя никак не может стоять рядом с именами Коперника, Галилея, Ньютона и т. п.; в истории политических учений равным образом он не может идти в сравнение с современниками своими — Монтескье, Руссо, Мабли, физиократами — и вот потому Вольтер представляется нам не особенно крупной величиной, раз мы становимся на какую-либо специальную точку зрения, даже, пожалуй, на точку зрения истории изящной литературы, в которой он был в качестве представителя классицизма (или

¹ О Вольтере существует значительная литература: *Кондорсе*. Жизнь Вольтера (Condorcet. Vie de Voltaire); *Морлей Дж.* (J. Morley). Вольтер (пер. с англ.); *Strauss*. Voltaire (Vorträge); *Desnoiresterres*. Voltaire et la société au XVIII siècle (4 тома); *Idem*. Voltaire et J.J. Rousseau. Mähenholz. Voltaire, sein Leben und seine Werke; *Bungener*. Voltaire et son temps; *Bavoux Everiste*. Voltaire à Ferney. Для сочинений Вольтера и о Вольтере см.: *Bengesco Gr.* Voltaire, bibliographie des ses oeuvres et Quérard. Bibliographie Voltairienne. В русских журналах были помещены за несколько последних лет статьи о Вольтере Н.Б. Михайловского (От. Зап. 1870), Шашкова (Дело. 1879), В.Ф. Корша (Вестн. Евр.), Э.А. Радлова (Вопросы фил. и псих. 1880), из которых статьи Михайловского и Корша были перепечатаны в собраниях их сочинений.

² Морлей, на первой же странице своей книги.

ложноклассицизма, как предпочитают у нас выражаться по примеру немцев) равным образом далеко не тем, чем в свое время были Буало, Корнель и Расин. Но, становясь на самую общую точку зрения истории культуры, мы можем сказать, что никто из его современников, играющих первые роли в истории философии, науки и литературы, *не выражал в своей деятельности так полно и так всесторонне дух XVIII в., как именно Вольтер*. Его долгая жизнь (1694—1778), особенно благодаря тому, что он рано сделался писателем и до конца дней своих не покидал литературной деятельности, охватывает почти весь период от конца царствования Людовика XIV до кануна революции; масса им написанного, едва укладывающаяся в целые десятки томов¹, свидетельствует о необычайной энергии его ума, а громадный успех его сочинений — о том влиянии, какое он в течение десятков лет оказывал на общество; крайнее разнообразие его литературной деятельности указывает на его широкий энциклопедизм и на то, что он влиял на общество многосторонне и самыми разнообразными средствами, т. к. он выступал в литературе в качестве поэта и романиста, философа и популяризатора естественно-исторических знаний, моралиста и публициста, литературного критика и историка, оставив после себя великое множество од, поэм, трагедий, повестей, рассказов, трактатов, журнальных статей, памфлетов, полемических произведений, исторических работ и т. п., и все это было отмечено не только печатью самобытной переработки идейного материала, какой Вольтер находил в книгах, но и неистощимого личного творчества, не только печатью широкого ума, но и необыкновенного литературного таланта. Это была еще притом натура боевая, не сносившая никакой тирании, и удары, которые сыпались из-под пера Вольтера на врагов представлявшего им направления были особенно метки, сильные и потому страшны. В личном характере, в нравственных качествах «короля философов» были значительные недостатки, весьма часто представляющиеся как полный контраст его замечательному уму, но если он в своей деятельности ставил главной целью эмансипацию человеческого разума, то от торжества истины он никогда не отделял торжества справедливости в отношениях между людьми. В последнем смысле Вольтер был воплощением гуманистического индивидуализма как защитник человеческого разума, инстинктов человеческой природы, личного достоинства человека, его права на свободу от тирании, главным образом, однако, все-таки как защитник разума, ибо вопрос о социальных преобразованиях не был его настоящей специальностью. Впрочем, и в этой сфере дело не обошлось без влияния Вольтера, т. к. он был главным деятелем в выработке того орудия, без которого не могла бы действовать критика социального строя, т. е.

¹ Например, издание Бодуэна, выходявшее в свет в 1824—1834 гг., заключает в себе около ста томов, а другие издания состоят из 70, 75 и т. п. томов.

все без того же самого разума. *Вольтерианизм был не чем иным, как рационализмом, нашедшим блестящее воплощение в гении отдельного человека.*

Фамилия «Вольтер» была литературным псевдонимом¹. Настоящее имя Вольтера было Аруэ (Arouet, François Marie). Его отец происходил из третьего сословия и занимал должность нотариуса, так что по рождению своему он был плебеем. Окончив курс в Иезуитском колледже, он весьма рано проявил свои дарования и получил доступ в большой свет: смелость мысли, какую он обнаружил в школе, вызвала даже предсказание одного из его учителей, что он сделается корифеем деизма во Франции, а крестный его отец, аббат Шатонев, ввел его в веселые и беззаботные светские кружки Парижа, в которых он познакомился и со старухой Нинон де л'Анкло, когда-то знаменитой куртизанкой, отличавшейся большим умом и поразившейся ранним развитием Вольтера; она даже отказала ему по духовному завещанию небольшую денежную сумму на покупку книг. Отец был крайне недоволен средой раззолоченной молодежи, в которую попал его сын, а тут еще в скором времени с молодым человеком случилась большая неприятность. После смерти Людовика XIV, совпавшей с тяжкими временами, стало ходить по рукам много эпиграмм и другого рода произведений, среди которых особое внимание обратили на себя «Les j'ai vu», где описывалось в мрачных красках рабство французского народа и говорилось автором, что ему еще нет двадцати лет, а он уже видел все эти бедствия (j'ai vu ces maux et je n'ai pas vingt ans). Молодого Вольтера, уже тогда прославившегося стихами, заподозрили в авторстве и засадили в Бастилию, хотя в данном случае он ни в чем не был виноват, и таким образом, едва вступив в жизнь, он на собственном опыте познакомился с административным произволом, лишавшим во Франции личную свободу всяких гарантий. В Бастилии Вольтер продолжал свои литературные занятия, задумав свою эпическую поэму «Генриаду», в которой прославлял Генриха IV как представителя веротерпимости. Около того же времени он написал трагедию «Эдип», которая в 1718 г. была поставлена на сцену и имела успех. Время чистого искусства в истории французской драмы миновало, и уже здесь Вольтер дал волю своему оппозиционному направлению, высказав ту мысль, что «наши жрецы совсем не то, что о них думает народ», и что «лишь наше легкоеверие составляет всю их мудрость». В Бастилии Вольтеру пришлось провести тогда почти год, но через несколько времени ему было суждено вторично познакомиться с этой тюрьмой и на этот раз пострадать не от одного административного произвола, но и от аристократического высокомерия одного вельможи, с которым у него вышло столкновение. В доме герцога Сюлли он встретился однажды с шевалье де Роганом, который позволил себе дерзкую по отношению к нему выходку, вызвавшую

¹ Анаграмма из Arouet l. j. (= le jeune), причем и принято за v, a j — за i (Arovetli= Voltaire).

полный достоинства ответ Вольтера. Аристократ не снес этого и велел через несколько дней слугам палками приколотить молодого поэта, который, со своей стороны, думал теперь о дуэли, казавшейся, однако, де Рогану унижительной, т. к. его противник был плебей, и вот дело кончилось тем, что влиятельные де Роганы добились приказа посадить Вольтера опять в Бастилию, откуда он был выпущен лишь с приказанием немедленно оставить Париж. Две главные стороны «старых порядков» таким образом дали себя почувствовать писателю, которому суждено было сделаться героем века, защитником свободы и равенства: немудрено, что чувство личной безопасности заставляло его впоследствии постоянно менять место жительства, искать связей у сильных мира сего, отказываться иногда от авторства тех или других произведений, за которые можно было бы снова попасть в Бастилию.

В 1726 г. Вольтер поехал в Англию. Эта поездка имела решительное влияние на его деятельность, да *и вообще Англия, где установились порядки, столь несходные с французскими и где к началу XVIII в. сделаны были громадные успехи в философии, науке и политической литературе*, была тогда страной, оказывавшей большое влияние на французов, совершавших даже своего рода паломничества в это царство личной, умственной, религиозной и политической свободы. Время, когда Вольтер посетил Англию, было замечательное: ее умственная жизнь находилась под свежим впечатлением тех толчков, которые исходили от Локка (ум. 1704) и Ньютона (ум. 1727); Шэфтсбери и Болингброк стояли еще во главе свободных мыслителей. Под влияниями, шедшими от новой общественной обстановки, от новой умственной среды, Вольтер из поэта, только лично склонного к вольномыслию, превратился в философа, поставившего общественную цель своей литературной деятельности — «разрушить все те предрассудки, рабом которых было его отечество», как выразился Кондорсе в своей небольшой биографии Вольтера. Деистическая философия и политическая литература, развивавшая идею свободы, были двумя наследиями, завещанными Англией XVII в. Англии XVIII столетия, и Вольтер проникся основными их принципами, оставшись верным им до конца жизни: уже в глубокой старости он благословил маленького внука американского патриота Франклина, возложив руку на голову мальчика со словами: «Бог и свобода» (God and liberty). Все в Англии было ново для живого француза, и тем более еще были новы для Франции те идеи, которые Вольтер стал в ней популяризировать, когда его отечество, например, в философии и науке продолжало придерживаться устарелых воззрений Декарта, как будто на свете еще не было ни Локка, ни Ньютона. Поразил Вольтера и тот почет, какой правительством и обществом оказывался в Англии мыслителям и ученым, поразила и та свобода, которой пользовались авторы, типографщики и книгопродавцы. В Англии, так сказать, Вольтер окончательно уверовал в

разум, в присущую ему силу открывать тайны природы, в его победу над суевериями и предрассудками, в необходимость для него свободы, в его могущественное влияние на общественную жизнь, наконец в то, что мыслители, ученые, писатели призваны быть вождями общества. Разные контрасты, какие представляла Англия двадцатых годов XVIII в. с тогдашней Францией, также бросались в глаза наблюдательному путешественнику. Все свои впечатления Вольтер обобщил и изложил в знаменитых «Lettres sur les Anglais», вышедших в свет лишь через несколько лет (1734) после его возвращения на родину: хотя он и урезывал себя в этой книге и должен был выжидать времени для его опубликования, тем не менее она по необходимости получила характер критики на французские порядки, тем более, что Вольтер не отказывал себе в удовольствии делать кое-где сопоставления чужого со своим. Известно, что парижский парламент приговорил книгу к публичному сожжению рукой палача. Главным, что поразило Вольтера в Англии, была все-таки духовная свобода. Монтескье, посетивший Англию вскоре после того, как Вольтер ее покинул, сделался горячим сторонником уже ее политических форм, как обеспечивающих личную и политическую свободу. Еще позднее, для физиократов Англия сделалась страной самых образцовых хозяйственных порядков (чего на деле не было, но что было справедливо сравнительно с Францией). Вольтер и был первый из французов, открывших путь английскому влиянию во Францию, и то, что этого многостороннего человека не интересовали ни политические формы, ни экономический строй, указывает, с одной стороны, еще на слабость политического интереса в начале просветительного движения (который таковым и остался в Германии), а с другой стороны, на чисто отвлеченный, индивидуалистический и рационалистический источник этого движения.

Возвратившись из Англии, Вольтер приступил к тому, что стал считать главной задачей всей его жизни, опираясь на обширные знания, приобретенные им еще до поездки за границу и вывезенные из посещенной им страны, и пользуясь орудием злой, колкой, убийственной насмешки, резкими характеристиками людей и вещей, всеми другими способами, чтобы заставить себя читать и говорить о себе и во Франции, и вне Франции, в то же время ссорясь и вступая в мелочную подчас полемику со своими противниками и завистниками. Меняя сначала по своему обыкновению место жительства, он в 1735 г. надолго поселился в замке Сире, с владелицей которого, маркизой дю Шатле, близко сошелся за два года перед этим, и продолжал там жить до самой ее смерти в 1749 г. Эта недюжинная женщина, изучавшая Ньютона, много помогала Вольтеру в его литературных занятиях, которые поглощали почти все время неутомимого писателя, все шире и шире в эту пору жизни развивавшего свою деятельность поэта, мыслителя и историка, если только его работы не прерывались только лю-

бимыми им путешествиями, тем более, что иногда Вольтеру просто нужно было уезжать ввиду опасений за свою свободу. Между прочим маркиза, как и сам Вольтер, конкурировали в академии наук по одному научному вопросу (об условиях горения), предложенному на премию, и вообще в эту пору Вольтер много занимался естествознанием, делая даже сам разного рода опыты¹, — черта, которую мы встречаем и у других писателей XVIII в., не бывших, однако, специалистами естествознания (например, у Монтескье). В годы сожителства с маркизой дю Шатле Вольтер написал особенно много, находясь в это время уже на вершине своей славы. Благодаря покровительству г-жи Помпадур, любовницы Людовика XV, который сам терпеть не мог Вольтера, он получил даже придворную должность (*gentilhomme ordinaire de la chambre du roi*) и был сделан историографом Франции, и около того же времени (1746) его выбрали в члены Французской академии, хотя для всего этого ему нужно было написать пьесу для придворного театра, посвятить папе Бенедикту XIV своего Магомета и публично заявить свою преданность той самой церкви, на которую он постоянно нападал.

В 1750 г., по смерти маркизы Вольтер отправился в Пруссию, к Фридриху II, который, еще бывши наследным принцем, вступил с ним в переписку и затем звал его к себе. Вольтер поселился во дворце, получив должность камергера, орден *pour le mérite* и 20 тысяч ливров ежегодной пенсии, но известно, что эти два самых замечательных человека своего времени, Вольтер и Фридрих II, не ужились друг с другом. Существует целая анекдотическая история пребывания Вольтера при прусском дворе, сущность которой сводится к тому, что по своим характерам и Вольтер, и Фридрих II не могли ужиться друг с другом, чему помогали еще добрые люди, передававшие одному о другом оскорбительные вещи. То Вольтер узнавал, что король сравнил его с лимоном, который бросают, когда выжмут из него сок, то, наоборот, Фридриху II говорили, как философ жалуется на то, что король поручает ему стирать свое грязное белье, называя таким образом стихи, которые Фридрих II любил писать и отдавал Вольтеру для поправок. Были и другие причины взаимного недовольствия. Между прочим, Вольтер весьма зло осмеял под именем «доктора Акакия» — президента королевской академии в Берлине, французского ученого Мопертюи, который выводился им на сцену с более, нежели странными научными планами, вроде того, что хорошо было бы провертеть дыру до центра земли, или производить анатомирование мозга у живых людей, дабы узнать, как действует душа, или еще построить особый город, где все говорили бы по латыни, и где таким образом мож-

¹ *Dubois-Reimond*. Voltaire als Naturforscher; *Saigey E.* Les sciences au XVIII siècle. Physique de Voltaire. Вольтер важен и как популяризатор философии Ньютона во Франции своим сочинением *Éléments de la phil. De Newton* (1738).

но было бы учиться латинскому языку. Фридрих II сам смеялся злой сатире, когда она была еще в рукописи, но не желал, чтобы она была напечатана. Вольтер, однако, издал ее в Голландии. Прусский король вступился тогда за честь президента своей академии, и произведение, осмеивавшее Мопертюи, по королевскому приказанию, было публично сожжено: о крайнем раздражении Фридриха II свидетельствуют и те слова, в которых он высказывает свой взгляд на Вольтера, как на мартышку, которую нужно было бы отодрать за ее проделки, или как на низкую душонку и т. п. Вольтер также был оскорблен: он отослал королю камергерский ключ, орден, патент на пенсию при записочке, в которой сравнивал эти вещи с сувенирами, которые покинутый любовник возвращает своей возлюбленной. Хотя между ними и произошло наружное примирение, но Вольтер в конце концов (весной 1753 г.) оставил Пруссию. В скором времени ему пришлось, однако, подвергнуться новому оскорблению: уезжая из Пруссии, он захватил с собой том стихотворений Фридриха II, среди которых были и непристойные, и неудобные в политическом отношении, т. к. прусский король давал в них волю своему злому языку насчет некоторых коронованных особ. Во Франкфурте-на-Майне к философу явился прусский резидент, потребовавший у Вольтера возвращения стихов, а т. к. чемодан, в котором они были спрятаны, находился не при Вольтере и пришлось ждать, пока все его вещи не будут привезены, то и владельцу злополучного чемодана пришлось подвергнуться своего рода аресту более, чем на месяц, хотя Франкфурт был имперским городом, и, следовательно, прусские чиновники не имели права в нем распоряжаться да еще с французским подданным. Несмотря на этот инцидент, переписка между Фридрихом II и Вольтером продолжалась и впоследствии: даже изданное им сочинение о частной жизни прусского короля, бывшее крайне неблагоприятным для Фридриха II, не отняло у автора этой книги пенсии, назначенной ему обиженным королем.

Посетив некоторые немецкие дворы, Вольтер в 1755 г. появился в Женеве, не желая и даже опасаясь возвратиться во Францию. «Я боюсь монархов и епископов», — так объяснял он выбор места жительства в республиканском и протестантском городе. Вскоре, однако, он купил себе — уже на французской территории, неподалеку от Женевы — знаменитый Ферней, поместье, в котором он прожил последние двадцать лет своей жизни: поместье представляло своего рода удобство, ибо из Женевы в Ферней и из Фернея в Женеву было близко, и в случае преследований можно было быть в некоторой безопасности¹. Вольтеру было уже 64 года, когда он поселился в Фернее; он был болезненным и слабым стариком и тем не менее

¹ Вольтер был весьма богатый человек, нажив свое состояние отчасти разными денежными спекуляциями.

он продолжал работать с прежней неутомимостью, иногда по восемнадцать часов в сутки, занимаясь даже по ночам, едва поспевая оканчивать начатые работы при помощи секретарей. К этому периоду его жизни главным образом и относится его борьба против католицизма, девизом которой сделались слова, столь часто встречающиеся в его письмах: *égasez l'infâme*¹. То было время, когда во Франции, несмотря на изгнание иезуитов, общее направление внутренней политики отличалось большой нетерпимостью: преследовали не только новую философию в лице ее представителей (например, Руссо) и в том их предприятии, которое носит имя Энциклопедии, но и протестантов. В Лангедоке, например, повесили одного протестантского пастора за то, что он исполнял обязанности своего сана, и три молодых протестанта были обезглавлены за то, что пришли с оружием по звуку набатного колокола, оповещавшего об аресте еретического пастыря. В Тулузе жил один протестант Жан Калас, младший сын которого перешел в католицизм. Когда старший его сын, ведущий беспутную жизнь, покончил с собой самоубийством, обвинили отца в том, будто он умертвил сына, не желая видеть и его перехода в католицизм, и несмотря не только на отсутствие каких бы то ни было улик, несчастный старик был колесован по приговору местного парламента, а его жена и дети были подвергнуты пытке и только с большим трудом спаслись в Женеву к Вольтеру, в то самое время, как самоубийцу фанатики объявили мучеником и даже говорили о чудесах, совершающихся на его могиле (1762). Это дало Вольтеру повод написать трактат о веротерпимости, заинтересовать в деле Париж, Францию, Европу, добиться пересмотра процесса, результатом чего была реабилитация казненного и выдача его семье большой пенсии. Три года занимало Вольтера это дело: ни разу, говорит он, за это время улыбка не показывалась на его лице, ибо он счел бы ее за несправедливость. В один год с делом Каласа епископ кастрский насильно отнял у протестанта Сирвена дочь и поместил ее в женском монастыре для воспитания в католической вере. Девушка сошла с ума, бежала из монастыря и утопилась в колодце. Сирвена обвинили в смерти дочери, но он спасся от участи Каласа только бегством, потеряв среди лишений трудного пути свою жену и нашедши приют лишь у Вольтера. Между тем тулузский парламент приговорил беглеца к смертной казни и конфискации имущества. Вольтер и тут выступил защитником правого дела, заинтересовал в судьбе Сирвена европейских монархов (между прочим Екатерину II, с которой он находился в переписке) и добился пересмотра процесса. Несколько лет спустя (1766) в Аббевилле двое восемнадцатилетних юношей, де ла Барр и д'Эталонд, были обвинены в том, будто изломали распятие, по доносу, не имевшему никакой фактической подкладки, кроме сплетни, выросшей на

¹ Раздавите гадину (фр.). — Прим. ред.

почве фанатизма и личной злобы. Д'Эталонд спасся бегством и по рекомендации Вольтера получил место у Фридриха II, а де ла Барр был приговорен амьенским судом к отсечению руки и языка и к сожжению на костре, но парижский парламент заменил такую казнь отсечением головы. Эти и другие подобные факты объясняют нам ту страстную ненависть, которую проявлял Вольтер по отношению к католицизму. Здесь же, в Фернее, узнал Вольтер о бедственном положении крепостных крестьян, принадлежащих монахам монастыря св. Клавдия в Юрских горах, и написал по поводу их рабства несколько небольших статей. Слух об этом дошел до забитых сервов, и они готовы были заменить в церковной нише статую святого статуей заступившегося за них Вольтера.

В Фернее Вольтер выстроил новый замок, привлек в свое поместье небольшое население, — преимущественно из часовщиков, которым доставлял заказы, — устроил театр и сделался «трактирщиком целой Европы», т. к. Ферней стал навещаться множеством посетителей разных национальностей. Фернейской жизнью интересовались даже иностранные дворы, а император Иосиф II во время путешествия во Францию даже посетил это поместье, но ограничился прогулкой по парку и уехал, не повидавшись с хозяином в угоду своей благочестивой матери. Из Фернея Вольтер переписывался с Фридрихом II, с Екатериной II и другими государями. Христиан VII Датский считал нужным оправдываться перед ним в том, что ему не под силу сразу сокрушить все препятствующее гражданской свободе его народа. Густав III Шведский относился к Вольтеру с большим почтением и гордился, как наградой, его интересом к делам Севера. Обращались к Вольтеру и старые, и начинающие писатели и разные высокопоставленные особы вроде маршалов и епископов, и многие частные лица, прося у него советов, указаний, ставя вопросы, например, о существовании Бога и о бессмертии души, как это, например, сделал какой-то бургомистр из Мидльбурга, или о правильности некоторых оборотов речи, с каковым вопросом обратились к нему однажды два поспорившие между собой кавалериста. Вольтер имел обыкновение отвечать на все письма, и его корреспонденция по своему объему достойна занять место рядом с его сочинениями; она достойна, впрочем, внимания и по содержанию своему, и по литературной форме. Боясь преследований и, например, по этой причине не решаясь съездить в Италию, Вольтер нередко и теперь издавал наиболее смелые свои сочинения анонимно или приписывал их умершим авторам, иногда от них отрекался и готов был на многое, чем только мог надеяться примирить с собой властных и опасных людей. Как фернейский помещик, он выстроил, например, на своей земле церковь с горделивой надписью: «Богу воздвиг Вольтер» (*Deo erexit Voltaire*) и держал у себя 13 лет капуцинского монаха Адама, о котором говорил, что он хоть и не первый человек, но тем не менее человек хороший. Но по поводу освяще-

ния церкви, во время которого Вольтер как патрон храма произнес нечто вроде проповеди против воровства, у него вышло столкновение с духовенством. Епископ той епархии, где был Ферней, увидел во всем поведении Вольтера в этом деле кощунство и стал настаивать, чтобы фернейский владелец был изгнан из Франции. Вольтер счел тогда нужным примириться с церковью и поэтому говел в своей церкви на Пасху 1768 г., что вызвало со стороны епископа крайне суровое письмо, на которое Вольтер отвечал вопросом, почему исполнение такой христианской обязанности встречено было со стороны епископа только бранью по его адресу. Но не один епископ, знавший религиозные воззрения Вольтера, был в негодовании по этому поводу: и друзья Вольтера отнеслись с порицанием к его поступку, а философ оправдывался тем, что, не желая гореть на костре, он в этом поступке видел средство заставить замолчать всякого рода шпионов. Между тем епископ запретил фернейскому священнику впредь исповедовать и причащать своего помещика. Со стороны Вольтера это вызвало стремление досадить неприятелю, и разными правдами и неправдами он добился-таки того, что настоятель фернейской церкви преступил повеление епископа, хотя Вольтеру для этого нужно было прибегнуть к помощи нотариуса. Мало того, он выхлопотал для себя сан почетного попечителя ордена капуцинов, который ему доставили влиятельные люди, и его очень забавляло писать письма епископу и подписываться так: «† Voltaire, capucin indigne».

Вольтер дожил до начала царствования Людовика XVI и приветствовал наступление эры реформ с назначением философа и экономиста Тюрго в министры (1774), хотя ему же пришлось видеть и падение Тюрго (1776), повергнувшее «фернейского отшельника» в отчаяние. Тогда же еще он стал хлопотать, чтобы ему было позволено побывать в Париже, но только весной 1778 г. ему разрешено было приехать в столицу Франции. Торжественная встреча, сделанная ему на улицах и овация во Французской академии, а затем в театре, где поставили одну из его пьес, сильно потрясли старика, которому шел уже девятый десяток лет, и здесь в Париже 30 мая 1778 г. он скончался всего за несколько лет до начала той революции, которая была подготовлена новыми культурными идеями и общим духом вольтерианизма. В эпоху великого переворота прах Вольтера был перенесен в церковь Св. Женеьевы, обращенную в Пантеон, как усыпальницу великих людей Франции, и на гробнице его сделана была надпись, характеризующая отношение к Вольтеру современников его деятельности. «Поэт, историк, философ, он возвеличил человеческий разум и научил его быть свободным. Он защищал Каласа, Сирвена, де ла Барра и Монбальи. Он опровергал атеистов и фанатиков. Он проповедовал терпимость. Он восстанавливал права человека против рабства феодализма». Кондорсе, сам один из философов XVIII в., а впоследствии видный деятель революции,

так определял значение Вольтера в своей биографии последнего¹: «русская императрица, короли прусский, датский и шведский старались заслужить похвалу Вольтера; во всех странах вельможи, министры, стремившиеся к славе, искали расположения фернейского философа и поверяли ему свои надежды на успехи разума, свои планы относительно распространения просвещения и уничтожения фанатизма. Он основал во всей Европе союз, душой которого был сам. Девиз этого голоса гласил: разум и терпимость!»

Действительно, *словами «разум и терпимость» определяется главное содержание проповеди Вольтера*. Он, например, сам объясняет, почему он примкнул к английскому деизму. «Секту английских деистов, — пишет он, — упрекают в том, что она слушается голоса разума и свергает иго веры, но во всяком случае это единственная секта, которая никогда не нарушала спокойствия и мира человеческого общества бесплодными спорами. Эти люди согласны со всеми иными в почитании единого Бога; они отличаются только тем, что у них нет никаких твердых положений учета и никаких храмов, и что они, веря в Божие правосудие, одушевлены величайшей терпимостью». Защита веротерпимости составляет видную сторону в деятельности Вольтера: религиозный фанатизм духовенства был главной причиной его нападков на христианство, которое в его уме отождествлялось преимущественно с нетерпимым католицизмом. Его вмешательство в дела Каласа, Сирвена, де ла Барра, занимавшие его по нескольку лет, показывает, как дорога была ему идея религиозной свободы, которая вызвала и некоторые из лучших его произведений. Он не мог не обобщить таких случаев, как названные дела, а из того, что он писал по поводу каждого из них, не могла не возникнуть принципиальная защита терпимости в его замечательном «*Essai sur la tolérance*» (1763). Требования Вольтера в этом отношении были весьма умеренны: он довольствовался только тем, чтобы протестантам во Франции предоставили то положение, каким католики пользовались в Лондоне, т. е. чтобы им была дана охрана их естественных прав, чтобы признавалась их личная свобода, законность протестантских браков и детей, происходящих от таких браков, право наследовать имущество своих отцов, но пусть уж у них, как у лондонских католиков, не будет ни публичного богослужения, ни права занимать общественные и государственные должности, не говоря уже о каких-либо *places de sûreté*². Преследования, которым протестанты уже целое столетие подвергались во Франции, делали необходимой эту борьбу, и если Вольтеру своим «Опытом о терпимости» не удалось достигнуть того, чтобы были отменены строгие законы о протестантах, он все-таки предупредил, по крайней мере, общее гонение на протестантов, которое замышлялось тог-

¹ «Жизнь Вольтера» Кондорсе есть в русском переводе г. Чуйко.

² Места безопасного пребывания (*фр.*). — *Прим. ред.*

да во Франции. Именно в 1763 г. во время переговоров о мире между Англией и Францией герцог Бедфорд от имени архиепископа кентерберийского просил герцога Шуазеля, чтобы были освобождены 37 протестантов, томившихся на галерах, и 20 протестанток, которые засажены были в один монастырь, на что Шуазель согласился, но другой министр (Saint Florentin), к которому он обратился по этому поводу, не только объявил, что считает неудобным это сделать, но прямо заявил Шуазелю, что нужно возобновить строжайшие меры, дабы окончательно истребить протестантов; это намерение стало уже приводиться в исполнение, но вскоре же само правительство от него отказалось, боясь возбудить этим против себя общественное мнение. Среди таких-то обстоятельств и появился «*Essai sur la tolérance*» Вольтера. Интересно сравнить мотивы борьбы против католицизма у всех более ранних его противников — у легистов и моралистов, у гуманистов и реформаторов — с теми мотивами, которые действовали на просветителей XVIII в.: никогда так ясно и определенно не ставилась в вину католицизму его нетерпимость и столь твердо и прочно не отстаивались права разума. Другое явление, которое равным образом вооружало против себя Вольтера, было точно также средневекового происхождения: *это было крепостничество, в котором Вольтер видел нарушение самых элементарных естественных прав*, как бы оскорбление человеческого достоинства, и таким образом в Вольтере Просвещение XVIII в. протестовало против всех переживаний средневековой католико-феодальной старины, представлявших из себя посягательства на индивидуальную свободу. Выше было упомянуто, что Вольтер вступился за крепостных крестьян монастыря Св. Клавдия, познакомив министров и образованную публику с печальным положением этих крестьян, томившихся в неволе у монахов. Непосредственного практического значения все то, что по этому поводу написал Вольтер, не имело, и крепостничество просуществовало во Франции до самого 1789 г.

Будучи главным образом борцом за духовную свободу и за человеческое достоинство, Вольтер довольно далек был от того, чтобы желать свободы политической и стремиться к какому-либо перевороту. Прославляя Англию, описывая жизнь англичан, он менее всего обратил внимания на их политические права и конституционные учреждения, хотя бы и не раз высказывал (более платоническое, впрочем) уважение к английскому парламенту и английским порядкам, при которых «у короля руки свободны, чтобы делать добро, и связаны, чтобы делать зло». В героический период своей жизни, в эпоху борьбы за веротерпимость и за свободу от рабства он писал д'Аржансону, что не такой переворот нужен, как во времена Лютера и Кальвина, а другой — именно переворот в умах людей, призванных к тому, чтобы управлять народами. *Политическое мирозерцание Вольтера — «просвещенный абсолютизм»*, неограниченная власть монарха, умеря-

емая терпимостью и просвещением: его взорам рисовался союз королей и философов, и он говорил, что у тех и у других главные враги священники, которые несколько раз восставали против государей, тогда как философы с ними жили всегда в мире; перед ним было всемогущее государство, слушающее голоса разума, и он уже видел залог будущих побед терпимости и просвещения в том уважении, с каким относились к нему самому, бойцу за эти идеи, прусский король, русская императрица, другие государи и князья. *Вольтер ждал общественных преобразований сверху, а не снизу*, мало доверяя массе: когда чернь пускается рассуждать, все потеряно, говорил он, и в данном случае в его взглядах *выражался своего рода аристократизм интеллигентности и обеспеченности*, в силу которого он и вообще делал строгое различие между просвещенными людьми и чернью. Разум, писал он, например, д'Аламберу, восторжествует у порядочных людей (*les honnêtes gens*), а сволочь (*la canaille*) вовсе не для него создана. Обратите внимание на католицизм, писал он Дидро: его нужно уничтожить у порядочных людей, оставив его у сволочи. Порицая «ворчливых бедняков, кричащих против роскоши», он находил нужным, чтобы в государстве существовали люди, у которых были бы лишь руки да охота работать при свободе продавать свой труд, т. к. эта свобода должна заменить им собственность. «Я понимаю, — говорит он еще, — под народом чернь (*populace*), у которой есть руки, чтобы жить. Я опасаясь, что этот народ никогда не будет иметь времени и способности научиться; мне кажется даже необходимым, чтобы существовали невежды». Тем не менее Вольтер хотел, чтобы этот народ был свободен от «ненавистного и унижительного рабства», под понятие которого он подводил и столь же несправедливое различие между благородными и ротюрьерами: он говорил, например, что лишь тогда уверует в божественное право рыцарей, когда увидит, что крестьяне рождаются на свет с седлами на спинах, а рыцари со шпорами на ногах. Не доверяя невежественной массе, Вольтер и ждал всего хорошего только от государственной власти, слушающей голоса разума, проникнутой идеями Просвещения. Свобода, в честь которой он написал известную оду и которую он прославлял как необходимое условие благосостояния, определялась им как зависимость от одних, равных для всех законов, но его не интересовал вопрос о внешних гарантиях свободы: он верил в силу Просвещения, думая, что оно одно в состоянии избавить человечество от рабства, произвола власти, насилия и несправедливостей, и в духовной свободе, т. е. в свободе мысли, совести, слова, печати видел лучшее средство к тому, чтобы восторжествовал разум. Кто хочет познакомиться с тем, чего желал Вольтер от властей в смысле упорядочения общественных отношений, должен обратиться к статье о законах в его «Философском словаре» (*Dictionnaire philosophique*): в требованиях, какие Вольтер предъявляет тут к законам, мы узнаем, в сущности, программу «просвещенного абсолютизма». Это

равенство граждан перед законом, обязанность всех платить налоги, пропорционально распределяемые, единство законов, меры и веса, ограничение законодательной власти церкви, подчинение духовенства государству, уничтожение духовных судов и десятины и т. п., т. е. другими словами, *все, что в общественных отношениях оставалось еще от средневековых католицизма и феодализма, нашло противника в лице Вольтера*, который, восставая против этих остатков во имя разума, просвещения, терпимости и человеческого достоинства, и указывал абсолютной монархии, выросшей на развалинах католико-феодального строя, задачу — *построить новое государство и новое общество на началах разума*. Во Франции это было общим желанием до середины XVIII в., когда вообще хотели только реформ, но еще не стремились к политической свободе; во второй же половине столетия, когда вне Франции стала проводиться программа «просвещенного абсолютизма», в самой Франции уже большие успехи сделала в умах идея политической свободы. Когда в 1774 г. Людовик XVI назначил министром Тюрго, Вольтер радостно приветствовал это событие, как восход блестящей зари лучших дней, как наступление новой эпохи, как время, когда «царственная философия (l'auguste philosophic), которую так долго преследовали, начинает диктовать свои торжествующие законы», хотя радость Вольтера была непродолжительна. Предчувствовал ли Вольтер революцию, которая разразилась через одиннадцать лет после его смерти? Указывают на одно место в его сочинениях, как на выражение именно такого предчувствия. «Французы, — писал он однажды, — всегда поздно достигают цели, но все-таки достигают. Свет все более и более распространяется, и при первом удобном случае произойдет страшная кутерьма. Счастлив тот, кто молод: он увидит еще прекрасные вещи».

Таковы были политические и общественные воззрения Вольтера, в которых дальше его ушли два других крупных представителя литературы XVIII в. — Монтескье и Руссо. В области философии, сделавшейся во Франции второй половины прошлого столетия как бы синонимом материализма, *Вольтер равным образом представлял собой до конца дней своих деизм*, вынесенный им из Англии. Вольтер полемизировал одинаково и против откровенной религии, противопоставляя ей «религию естественную», и против атеистов, которым он возражал, доказывая бытие Верховного Существа. Христианский деизм первых английских последователей этого направления был, как известно, своего рода — по их же собственному представлению — завершением религиозной Реформации, и только у позднейших писателей того же направления он делается антихристианским: на этой-то ступени и усвоил его Вольтер, который из арсенала английских деистов заимствовал все свои аргументы против откровения, Библии и чудес. Но этот деизм — христианский или антихристианский, сентиментальный, как у Руссо, или рассудочный, как у Вольтера — *был не*

чем иным, как рационалистической религией, и с этой точки зрения верования фернейского философа являются лишь частным случаем, хотя и весьма характерным — того рационализма в религии, зачатки которого мы находим у гуманистов и у протестантских сектантов, но который достигает полного развития лишь в XVIII в. и притом не у одних английских или французских деистов, но и у многих немецких философов XVIII в.; у последних только сильнее были элементы веры и привязанность к христианству, хотя ему и давались рационалистические объяснения (например, у Канта). Рационалистическая религия немецких философов была предметом настоящего и глубокого убеждения, не особенно нуждавшегося в доказательствах бытия Бога и бессмертия души, и за этими доводами Кант отрицал даже всякую силу, вовсе не думая тем колебать религиозной веры. Английский деизм в последней стадии своего развития представлял собой систему более скептическую: Бог вложил в человека разум, от признания которым только и зависит истинность того или другого мнения, и Бог же сотворил природу, а она уже сама создала мир, — так что воззрением этим значительно ослаблялась идея Бога, как это и случилось в дальнейшем развитии такой концепции у французских материалистов. Вольтер стоял, так сказать, посередине. Его вера не была продуктом религиозного чувства, а вытекала из требований его мысли и была постулатом морали: ему нужен был Творец Мира и Верховный Судья человеческих дел. «Философия, — писал он, — говорит нам, что есть Бог, но она не в состоянии сказать, что такое Он есть, почему Он действует, существует ли Он во времени и пространстве, действовал ли Он только один раз или Он действует постоянно. Нужно было бы стать самим Богом, чтобы знать все это». Вера в откровение, вера, основанная на религиозном чувстве, не требует доказательств бытия Божия, но в философской религии Вольтера утверждение этого бытия доводами разума играет, наоборот, первостепенную роль. Он ссылаясь охотно на всеобщее согласие (*consensus omnium gentium*), которое, как доказательство, было опровергаемо Локком, и пользовался другими доводами, ранее его существовавшими, а впоследствии разбиравшимися Кантом. Первое — то, что мысль наша, восходя по ряду причин, останавливается перед конечной, самобытной причиной, которая и есть Бог, причина разумная и сознательная, раз существуем мы, разумные и сознательные существа: *Vous existez, done il y a un Dieu*¹. Второе — то, что целесообразность в природе предполагает Высший Разум, как часы предполагают сделавшего их часовщика: материя вечна, но создал из нее гармонический мир только Великий Зодчий. Но самым главным доказательством Вольтера было моральное: идея Бога есть основание нравственности, залог справедливости и возмездия. Вольтер не разделял воззрения Бэйля

¹ «Мы существуем, значит, существует и Бог» (фр.). — Прим. ред.

на возможность существования государства атеистов. «Настоящая, — говорит он, — главная причина, почему вера в Бога необходима, заключается, по моему мнению, не в метафизических основаниях, но в том, что для общего блага необходим Бог, вознаграждающий и карающий. Кто признает, что вера в Бога удерживает хоть нескольких людей от преступления, тот признает, что эта вера должна быть принята всем человечеством». Эту свою мысль со ссылкой на доказательства иной категории Вольтер выразил в известном двустишии: «если бы Бога не было, Его нужно было бы выдумать, но вся природа свидетельствует о том, что Он существует» (*si Dieu n'existait pas, il faudrait l'inventer, mais toute la nature crie, qu'il existe*). Откровенная религия объясняет существование зла в мире, религия философская нуждалась в своих объяснениях того, каким образом Всеблагое Существо допускает бытие зла, т. е. нуждалась в теодицее, или оправдании Божества. Таких теодицей писалось много, а наиболее известной была принадлежавшая английскому поэту Попу (1688–1744) и немецкому философу Лессингу, пока Кант особым сочинением о тщете всяких попыток теодицеей не положил конца этого рода попыткам: по воззрению Попа, Бог создал много миров, представляющих собою разные ступени совершенства, и земля есть лишь одна из этих ступеней, а по Лейбницу, Бог мог создать только один мир, где добро превышает зло, в силу чего наш мир есть наилучший из возможных. Эта проблема сильно занимала Вольтера, и он ей посвятил «Discours sur l'homme», где, став на оптимистическую точку зрения, возражает Паскалю, утверждавшему, что в мире более зла, чем добра, — посвятил также свои романы «Задиг» и «Мемнон», в которых становится на точку зрения Попа. Страшное лиссабонское землетрясение 1755 г. поколебало оптимизм Вольтера: оно не могло быть карой за грехи, ибо в таком случае Бог скорее покарал бы Париж. Вольтер по случаю этого бедствия написал оду и объявил, что мы должны надеяться на то, что все будет впоследствии хорошо, но что было бы самообманом распространять это и на настоящее («Un jour tout sera bien — voilà notre espérance; tout est bien aujourd'hui — voilà l'illusion»). Роман Вольтера «Кандид» уже представляет собой осмеяние оптимизма: честный герой рассказа терпит незаслуженные несчастья, но остается без определенного мнения по спорному вопросу рядом с пессимистом Мартином и доктринером оптимизма Панглоссом. Между прочим, по поводу казни еретиков в Португалии спрашивается, что же делается в других мирах, если такие вещи совершаются «в сем наилучшем из миров». Вольтер часто возвращался к мысли о зле в мире и высказывал предположение, что Бог или не хотел, или не мог устроить совершенного мира, как не мог сделать так, чтобы сумма углов треугольника была больше двух прямых или чтобы организм мог существовать без себялюбия. Вообще Вольтер постоянно колебался в своих ответах на философские вопросы, решение которых его занимало (напри-

мер, по вопросам о свободе воли, о врожденных идеях), так что в некоторых отношениях *он часто являлся представителем скептицизма и даже прямо неверия*. Он и теоретически защищал скептицизм, называя истинными философами лишь тех, которые не знают, что существует, но прекрасно знают, чего не существует, и по частным вопросам, часто, впрочем, в зависимости от настроения духа, высказывая скептические мысли об отношении Бога к миру, о благодати Божией, о провиденциальном мироправлении и т. п., так что самый деизм его отличался большими непоследовательностями. Особенному сомнению подверглся Вольтером вопрос о бессмертии души, вера в которое была вторым кардинальным пунктом «естественной религии». Рассуждения о природе души казались Вольтеру вопросом одного слепца другому о том, что такое свет, и он осмелел метафизические споры на эту тему в «Микромегасе», где один ученый говорит, что душа есть аристотелева энтелехия, хотя смысл этого слова ему неизвестен, но что он всегда прибегает к греческому языку, когда чего-либо не понимает. Материалистический взгляд на душу вместе с тем, однако, не удовлетворял Вольтера, и он говорил, что «не всегда у лучших желудков бывают лучшие головы».

Мы видели, что литературная деятельность Вольтера была весьма разнообразная, и что он пользовался всеми литературными родами и формами в стихах и прозе, одами, и трагедиями, романами и повестями, философскими трактатами и памфлетами, часто не совсем пристойными произведениями (вроде *Pucelle d'Orléans*), чтобы пропагандировать свои идеи в обществе, но особенно удачны были в этом отношении его романы и повести, в которых он являлся одновременно и моралистом, и сатириком, и публицистом. Нельзя не указать и на исторические труды Вольтера, сохраняющие свои литературные достоинства и по настоящее время (История Карла XII, Петра Великого, парижского парламента, Анналы империи, Век Людовика XIV, Людовика XV), но наиболее важное значение имеет его «Опыт о духе и нравах народов» (*Essai sur les mœurs et l'esprit des nations*, 1757), которым он положил начало философской истории культуры: для Вольтера придворная, дипломатическая и военная история уже не была главным содержанием истории, и в этом отношении его влияние сказалось не только на французах, бравшихся после него за историю, но и на великих английских историках XVIII в., каковы Гиббон (*History of the decline and fall of the roman empire*, 1776—1788), Робертсон (*History of Charles V*, 1769), Юм (*History of England*, 1752—1763), Фергюссон (*Essai on the history of civil society*, 1767), хотя, конечно, на них во многом (особенно на Юме) сказался только общий дух французского Просвещения, а кроме того, на Робертсоне и Фергюссоне видны следы влияния и Монтескье, который равным образом содействовал тому, чтобы историография вышла на новую дорогу, сделавшись историей общества и соединившись с фило-

софией и политикой. Сам Вольтер, впрочем, в своем «Опыте о духе и нравах народов» находился отчасти под влиянием «Духа законов» Монтескье.

Главный недостаток историко-философского мирозерцания Вольтера заключается в том, что он научную критику заменял простым здравым смыслом и не умел относиться объективно ко многим явлениям прошлого, стараясь, например, всячески унижить христианство и просто как историческое явление.

Вольтер оказывал вообще весьма сильное влияние на других писателей XVIII в., которые были моложе его годами. Руссо, например, сам говорит, что первой книгой, заставившей его серьезно поработать и возбудившей в нем стремление к умственному труду, были «Lettres sur les anglais», и что переписка Вольтера с наследным принцем прусским (впоследствии Фридрихом II) внушила ему желание выработать себе такой же стиль, как у Вольтера. Дидро, бывший тоже моложе фернейского философа, так относился к нему. «Если, — говорит он, — именно я назову его величайшим человеком, какого только произвела природа, найдутся люди, которые согласятся со мною; но если я скажу, что природа еще никогда не производила и, вероятно, никогда снова не произведет столь необыкновенного человека, то только одни его враги станут противоречить мне». Весьма естественно, что Вольтер представлялся своему веку патриархом философов.

XIII. Монтескье и его политическая теория¹

Жизнь Монтескье. — «Персидские письма». — Ранние политические воззрения Монтескье. — Его деизм. — Значение «Рассуждения о причинах величия и падения римлян». — Двойное значение «Духа законов». — Философская и ученая сторона «Духа законов». — Учение Монтескье о формах правления вообще, о монархии в частности и о наследственном дворянстве. — Учение Монтескье о свободе. — Разделение и равновесие властей. — Изображение английской конституции в «Духе законов». — Изложение конституционной теории Монтескье. — Его взгляд на современные ему монархии.

Монтескье принадлежал к тому же поколению, что и Вольтер. Разница в их годах была самая незначительная: Монтескье, родившийся в год второй английской революции (1689), был только пятью годами старше Вольтера, который, однако, пережил его на двадцать три года, т. к. Монтескье умер в том самом году, когда Вольтер переселился на жительство в Женеву и ее окрестности. Оба почти одновременно даже и выступили на литературное поприще, Вольтер — только немного ранее автора «Духа законов», который выпустил в свет первое свое замечательное сочинение («Персидские письма») в 1721 г., через три года после того, как был поставлен на сцену Вольтеров «Эдип». Влияние Монтескье на свое время не было так сильно и многосторонне, как влияние его младшего современника, зато он был *наиболее глубоким и вдумчивым полемическим мыслителем своего века, влияние которого сказалось главным образом на политических событиях, наступивших через полвека после его смерти.* Биография Монтескье несложна и не представляет такого интереса, как биография Вольтера или Руссо, и ее можно рассказать в двух-трех словах. Карл-Людвик Монтескье де ла Бред происходил из старой дворянской фамилии. По наследству от своего дяди он получил место в бордосском парламенте, где был сначала советником (1714); а потом президентом (1716), но он впоследствии оставил эту должность, продав ее за деньги (1726). В 1728 г. он сделался членом Французской академии и отправился путешествовать по Европе, посетил Германию, Австрию, Венгрию, Италию, Швейцарию и Англию, оказав-

¹ Vian. Histoire de Montesquieu; Sorel A. Montesquieu. В историях политических учений и философии права Монтескье отводится обыкновенно много места, а «Дух законов» вызвал многочисленные комментарии. Одним из самых последних трудов (1892), посвященных учению Монтескье, является книга J. Schvarcza под заглавием «Montesquieu und die Verantwortlichkeit der Rätbe des Monarchen in England, Aragonien, Ungarn, Siebenbürgen und Schweden».

шую на него особенно сильное влияние. Возвратившись на родину, он жил главным образом, как кабинетный ученый, работая над важнейшим своим трудом, «Духом законов», появлению которого в свет (в 1748) предшествовало другое важное его сочинение о «причинах величия и падения римлян» (1737). В 1755 г. Монтескье умер, достигши шестидесятилетнего возраста. В последние годы жизни он почти ничего не писал, наслаждаясь европейской славой, какую доставило ему его главное сочинение, сделавшееся настольной книгой государственных людей эпохи, хотя они и не понимали всего значения высказанных в ней идей.

Первым замечательным произведением Монтескье были «Lettres persanes»¹, представляющие из себя сборник писем, которые якобы были написаны персидскими путешественниками по Европе. Это — сатира на современное общество, своего рода «Похвала глупости» XVIII столетия: «Одно меня удивляло, — говорит Монтескье в своем предисловии к письмам, — как могли эти персиане так хорошо изучить нравы и обычаи французской нации... и как могли они подметить такие вещи, которые наверно ускользнули от внимания немцев, путешествовавших по Франции», — а в изображении как нравов и обычаев французов, так и других сторон их жизни и заключается главным образом содержание этого сатирического произведения. Персиане путешествуют в последние годы царствования Людовика XIV и в первые годы регентства, что дает Монтескье повод высказаться о системе покойного короля. «Французский король — самый могущественный государь во всей Европе... К тому же, этот король искусный чародей: он властвует даже над умами своих подданных и заставляет их думать все, что ему угодно... Он уверил их даже в том, что одним своим прикосновением может излечить их от всевозможных болезней, до такой степени сильна его власть над всеми умами... Не раз слышали, как он говорил, что турецкое государство и царство нашего августейшего султана было бы ему больше по вкусу, чем все другие государства в свете; так он высоко ставит восточную политику» и т. д.² «Королевская милость, — пишет еще один персианин, — считается у французов самым главным божеством. Министр не что иное, как великий жрец, приносящий ему многочисленные жертвы. Его приближенные не носят белых одежд: то они ему приносят жертвы, то приносят в жертву их самих и они поклоняются своему идолу наравне с прочим народом... В Европе государственное право лучше известно, чем в Азии, а между тем можно сказать, что страсти государей, долготерпение народов и лесть сочинителей извратили его основ-

¹ Есть в русском переводе 1892 г. Выдержки сделаны по этому переводу. (Это сочинение известно русскому читателю под названием «Персидские письма». Произведение переводилось неоднократно до 1917 г. Последнее издание, по которому цитирует Кареев, вышло в Санкт-Петербурге в 1892 г. — *Прим. ред.*)

² Письма XXIV и XXXVII.

ные принципы. Теперь это право не что иное, как наука, которая учит государей тому, насколько они могут нарушать правосудие без ущерба своим интересам... Неограниченная власть наших высоких султанов, которая не руководится никакими посторонними соображениями, порождает не более чудовищ, чем это недостойное искусство, которое стремится извратить справедливость, хотя она должна быть непреклонной»¹. «Говорят, что характер западного короля только тогда может определиться, когда он пройдет через два великих испытания: любовницу и духовника», — слова, которые оказались отчасти пророческими по отношению к Людовику XV. Изображая французскую монархию как восточную деспотию, Монтескье в одном месте высказывает республиканские воззрения, от которых позже он отказался. В письмах XI—XIV излагается история троглодитов, убивших своего короля, перебивших всех сановников и наконец истребивших друг друга: остались только два добродетельных человека, от которых произошло новое, добродетельное же племя, жившее долго в невинности и благочестии; когда троглодиты размножились, они выбрали в короли одного добродетельного старца, на которого такой их поступок произвел тягостное впечатление, и он даже заплакал, собираясь умереть с горя, что ему пришлось видеть как троглодиты, которые были свободны, когда он родился, попадают в неволю (*de les voir assujettis*). Таким образом, Монтескье, который впоследствии доказывал, что лишь в одних монархиях возможна свобода, в эпоху «Персидских писем» отождествлял установление королевской власти с введением политического рабства. Он даже сомневался в возможности существования монархии, которую, как мы увидим, понимал в смысле старой монархии сословной. «Большая часть европейских государств, — сказано в письме сто втором, — суть государства монархические, или, по крайней мере, так называются; не знаю, существовали ли они и в самом деле, но во всяком случае трудно себе представить, чтобы они надолго сохранили монархическое устройство во всей его чистоте. Это острое состояние всегда переходит в деспотизм или республику. Власть никогда не может быть поровну разделена между народом и государем; она непременно усиливается на стороне одного и уменьшается на стороне другого; но обыкновенно преимущество на стороне государя, т. к. он стоит во главе войска». Обращаясь к современной ему действительности, Монтескье и находит, что европейские короли «обладают такой властью, какой сами захотят».

Таковы были ранние политические воззрения Монтескье, насколько они выразились в «Персидских письмах». Отметим еще, что в этом произведении он является в религиозном отношении деистом, немало рассеяв отдельных замечаний о религии вообще, о христианстве, папстве, духо-

¹ Письма LXXXVIII и XCIV.

венстве, религиозных преследованиях, богословском комментаторстве и т. п. в деистическом или скептическом духе.

Вторым крупным произведением Монтескье было «Рассуждение о причинах величия и падения римлян», написанное на историческую тему, но с точки зрения политика. В истории политического мышления, бывшего в XVIII в. рационалистическим, Монтескье, также заплативший свою дань рационализму, был, однако, человеком, впервые задумавшим поставить политическую науку на историческую почву. Исходя из той идеи, что у людей во все времена были одни и те же страсти, он хотел найти основные причины исторических перемен, как бы последние ни разнились между собою, и думал достигнуть этого, именно изучая действие страстей в истории. Своей концепцией общих причин (*causes générales*), проявляющихся в жизни народов, Монтескье значительно способствовал развитию научного духа в историографии. В этом отношении он разделяет с Вольтером честь стоять во главе новейшей исторической науки. То, что было сделано «Рассуждением», было дополнено главным трудом Монтескье — «Духом законов», на который *можно смотреть с двух точек зрения: как на ученое исследование, занимающее весьма важное место в развитии исторической науки, государствоведения, юриспруденции, и как на политический трактат, оказавший большое влияние на саму политическую жизнь*. По общему характеру нашего изложения, второе значение «Духа законов» должно быть выдвинуто вперед, но и с чисто научной стороны этот важнейший труд Монтескье заслуживает внимания¹.

Над «*Esprit des lois*» Монтескье работал целых двадцать лет, начав эту свою книгу в 1729 г. и выпустив ее в свет в 1748 г. Монтескье собрал громадный исторический и этнографический материал, на основании которого строил свои заключения или которым иллюстрировал и доказывал свои положения. Он стремился открыть законы или «необходимые отношения, вытекающие из природы вещей», для человеческого общества и в этом отношении был одним из предшественников новейшей социологии, хотя слово «закон» употреблялось у него в далеко не научном смысле, т. к. в одном и том же понятии смешивал законы разума, законы природы и законы в юридическом смысле. Общая точка зрения Монтескье — рационалистическая: «Есть первичный разум, и законы суть отношения, существующая между ним и разными существами, и взаимные отношения этих существ; ...нужно признать отношения справедливости, предшествующие положительному закону, который их устанавливает» — вот заявления чисто рационалистического характера. «Закон вообще, — говорит еще Монтескье, — есть человеческий разум, поскольку он управлял всеми народами земли, а

¹ «*Esprit des lois*» был переведен по-русски в начале нынешнего столетия под заглавием «Разум законов». (Современному читателю это произведение больше известно под названием «Дух законов». — *Прим. ред.*)

политические и гражданские законы каждой нации должны быть лишь частными случаями приложения этого человеческого разума». В сущности, однако, Монтескье делает из политических и гражданских законов как бы продукты разных условий, в зависимости от которых складывается историческая жизнь народа: по его представлению, законы возникают не по человеческому произволу, а суть результат действия многих факторов, каковы природа страны, ее климат (влияние климата — любимая тема Монтескье), образ жизни ее населения, нравов, обычаев, правительственной формы, религии (которую Монтескье рассматривает, как всякое другое учреждение) и т. п. Совокупность всех этих отношений он и назвал «Духом законов». В частности, он является здесь историком и юристом: некоторые части книги, не говоря уже об отдельных местах исторического характера, суть прямо небольшие исторические исследования (например, в конце рассуждения о «варварских правах» и феодальном праве), кроме того, Монтескье касается практических вопросов права государственного и международного, гражданского и уголовного, полицейского и финансового, так что «Дух законов», действительно, должен был сделаться настольной книгой для государственных людей XVIII в. (как в XVI в. «Государь» Макиавелли): не даром, например, Екатерина II, составляя свой знаменитый «Наказ», обобрала, как она сама выражается, президента Монтескье, повторив в своем произведении множество мест из его «Духа законов». Но мы будем рассматривать Монтескье не как философа, историка и юриста, а как публициста, политические воззрения которого интересны с двух точек зрения: с одной стороны, мы познакомимся с тем, как смотрел Монтескье на современную ему Францию, и каков был его государственный идеал, с другой, узнаем те идеи, под влиянием которых происходило конституционное движение, начавшееся в эпоху Французской революции. Для этой цели нам нужны будут книги вторая, третья, пятая, восьмая, одиннадцатая и двенадцатая «Духа законов»¹.

В своем политическом учении Монтескье *является сторонником монархии в том виде, в каком она существовала в эпоху сословно-представительных учреждений или в современной ему Англии*. Деля все государства на республиканские, монархические и деспотические, он разумеет под монархией такое правление, где «правит один, но на основании определенных и установленных законов» (II, 1), которые и называются у него *les lois*

¹ II. Des lois qui dérivent directement de la nature du gouvernement. III. Des principes des trois gouvernements. V. Les lois que le législateur donne doivent être relatives au principe du gouvernement. VIII. De la corruption des principes des trois gouvernements. XI. Des lois qui forment la liberté politique dans son rapport avec la constitution. XII. Des lois qui forment la liberté politique dans son rapport avec le citoyen. Всех «книг» в «Духе законов» тридцать одна, но скорее это главы, а главы — параграфы, состоящие иногда из нескольких строк. Внешняя форма сочинения вообще своеобразная. В ссылках нашего текста римская цифра обозначает книгу, арабская — главу.

fondamentales¹, причем, по его мнению, для того, чтобы образовать монархическое правление, нужны еще «посредствующие, подчиненные и зависимые власти». Такую власть Монтескье видит прежде всего в сословии, к которому принадлежал сам: «самым естественным» он признает, чтобы это место занималось в государстве дворянством (*noblesse*), считая, что «где нет монарха, там нет дворянства, и где нет дворянства, там нет монарха, а есть только деспот». «Уничтожьте в монархии, — говорит он, — прерогативы (т. е. привилегии) сеньоров, духовенства, дворянства и городов, и у вас скоро будет или демократия (*un état populaire*), или деспотия». Кроме дворянства, он считал нужным в монархии существование «хранилища законов» (*un dépôt de lois*) в виде политических корпораций, которые объявляют законы, когда они изданы (*lorsqu'elles sont faites*), и напоминают о них, если они забываются. «Невежество, свойственное дворянству, — говорит он, — его нерадение, его презрение к гражданской службе, требуют, чтобы существовала корпорация, которая постоянно извлекала бы законы из-под пыли, под которой в противном случае они были бы погребены» (II, 5). Не называя учреждения, Монтескье здесь понимает, конечно, парламенты, в одном из которых он сам занимал должности советника и президента. Далее от сущности или природы (*nature*) того или другого образа правления он отличает его принцип, противопоставляя данному устройству (*structure particulière*) те силы, которые приводят его в движение, и разумея под последними известные человеческие страсти (III, 1). По его мнению, не нужно большой честности (*probité*) для поддержки монархии или деспотии: в первой сила законов, в другой «всегда поднятая рука государя» все приводят в порядок, но «в демократии, — говорит Монтескье, — нужна еще лишняя пружина», каковой он считает доблесть, *la vertu* (III, 3), заменяемую им в аристократии умеренностью в пользовании властью (III, 4). В монархии место указанных принципов заступает чувство чести (*l'honneur*), которое Монтескье определяет как известный «предрассудок» (*préjugé*) каждого лица или каждого состояния (III, 6), что связывается у него прямо с учением о дворянстве как необходимой принадлежности монархии: дело в том, что «монархическое правление, по его определению, предполагает известные преимущества, ранги и даже наследственное дворянство (*noblesse d'origine*) », а «сущность чувства чести и заключается в том, чтобы требовать предпочтений и отличий: и вот по самому существу вещи оно и находится (*est placé*) в этом государственном устройстве. Честолюбие (*ambition*), — продолжает Монтескье, — губительно в республике, но оно приносит хорошие результаты в монархии: оно дает жизнь этому правлению, и выгода здесь заключается в том, что честолюбие тут неопасно, т. к. может постоянно быть подавляемо» (III, 7). Наконец, принципом

¹ Фундаментальные законы (*фр.*). — Прим. ред.

деспотии Монтескье считает страх (III, 9). В особой «книге» (V) он доказывает, далее, что законы должны сообразоваться с принципом данного государственного устройства. Именно с той точки зрения, делавшей принципом монархии чувство чести, он требовал, чтобы законы поддерживали (*travaillent à soutenir*) дворянство, так сказать, порождаемое честью и ее рождающее. «Нужно, — прибавляет он, — чтобы законы сделали наследственным это звание, не для того, чтобы оно отделяло могущество государя от слабости народа, но чтобы служить между обоими связью». В данном случае Монтескье является защитником дворянских привилегий, основанных на социальном феодализме. «Дворянские земли (*les terres nobles*), — говорит он, — должны пользоваться привилегиями, как и лица благородного происхождения. Нельзя отделить достоинство монарха от достоинства его королевства, и равным образом нельзя разлучить достоинство дворянина (*d'un noble*) от достоинства его феода» (*de son fief*). С этой точки зрения Монтескье допускает лишь в монархиях учреждение майората (V, 9). Или, например, Монтескье не допускал, чтобы в республиках можно было отказываться от предлагаемой должности, видя в предложении должности знака доверия к доблести гражданина, долженствующего жить, действовать и думать только ради отечества, но он думал, что в монархиях отказываться от предлагаемых должностей можно, как от «свидетельств чести», ибо таково уж странное свойство (*la bizarrerie*) чувства чести, что оно принимает лишь то, что хочет, и тем способом, каким хочет. Тут же им выражается и та мысль, что продажность должностей (существовавшая, как известно, во Франции) «хороша лишь в государствах монархических, ибо она заставляет исполнять в качестве фамильного ремесла то, что не стали бы делать вследствие доблести, предначертывает каждому его обязанность и позволяет распоряжениям государства быть более прочными» (V, 19). Таким образом, Монтескье защищал и наследственность мест в парламенте; уже Вольтер обратил внимание на то, что сам автор «Духа законов» получил по наследству такую должность от своего дяди. В этой же «книге» Монтескье дает такое изображение деспотизма: «когда дикари Луизианы хотят сорвать с дерева плод, они срубают дерево и срывают плод, — таково и деспотическое правление (V, 13). «В деспотическом правлении, — говорит еще Монтескье, — власть целиком переходит в руки того, кому ее вручают. Визирь сам является деспотом, и каждый отдельной чиновник (*officier*) есть визирь. В монархическом правлении власть применяется не так непосредственно: вручая ее, монарх ее и умеряет. Он так распределяет свой авторитет, что никогда не отдает кому-либо одну его часть, не удерживая за собой другой, большей» (V, 16). Каждое правление приходит в упадок, когда искажается (*se corrompt*) его принцип, но «принцип деспотизма постоянно портится, ибо он испорчен в самом своем существе» (VIII, 10). Что касается до других форм правления, то прежде всего «прин-

цип демократии искажается не только когда утрачивается дух равенства, но и когда происходит крайнее развитие самого равенства и каждый хочет быть равным тем, кого он выбирает для начальствования над собой» (VIII, 2). Точно так же и «аристократия искажается, когда власть благородных делается произвольной: в таком случае не может быть уже доблести ни в управляющих, ни в управляемых» (VIII, 5). «Как демократии гибнут, когда народ лишает сенат, сановников и судей их должностей, так и монархии портятся, когда отнимают постепенно прерогативы сословий (corps) и привилегии городов... Монархия гибнет, когда государь, относя все исключительно к самому себе, притягивает все государство к столице, столицу к своему двору, а двор к собственной своей особе» (VIII, 6). В данном месте Монтескье разумел Людовика XIV, на что указывает одно аналогичное замечание в «Персидских письмах».

Монархист и аристократ, Монтескье был вместе с тем *проповедником индивидуальной и политической свободы*. Этому предмету он посвятил XI и XII «книги» «Духа законов», рассмотрев в одной «законы, образующие политическую свободу в ее отношении к государственному устройству (constitution)», а в другой — отношение свободы к гражданину. В последнем смысле свобода, по его определению, заключается в личной безопасности (sûreté) или в уверенности (opinion) касательно этой безопасности (XII, 1): все содержание XII «книги» относится к ограждению личных прав, и с этой же точки зрения Монтескье рассматривает свободу и в ее отношении к государственному устройству. Указав на то, что слову «свобода» даются самые разнообразные значения, он предостерегает от смешения власти народа (le pouvoir du peuple) со свободой народа (la liberté du peuple). «Свободу, — говорит он, — обыкновенно помещают в республиках, и думают, что ее не существует в монархиях (XI, 2). Действительно, — продолжает он, — в демократиях народ, по-видимому, делает все, что хочет, но политическая свобода вовсе не в том заключается, чтобы делать все, что захочешь. В государстве, т. е. в обществе, имеющем законы, свобода может состоять лишь в том, чтобы иметь возможность делать то, чего должно хотеть, и не быть принуждаемым к деланию того, чего не должны хотеть... Свобода есть право делать все, что дозволяют законы, и если бы гражданин мог делать то, что ими запрещается, не могло бы больше быть свободы, ибо и другие точно так же имели бы подобную власть» (XI, 3). Дав такое определение свободы, Монтескье высказывает мысль, что возможной бывает она лишь в монархиях. «Демократия и аристократия, — говорит он, — не суть государства свободные по самой своей природе. Политическая свобода встречается лишь при умеренных правлениях. Но она и не всегда бывает в умеренных государствах: она существует в них лишь тогда, когда не происходит злоупотребления властью». Рассуждая таким образом, Монтескье имел в виду античные и современные ему республи-

ки, в которых *не было разделения и равновесия властей, считавшегося им за главную гарантию свободы*. «Дабы не могло быть злоупотребления властью, — продолжает он, — нужно, чтобы вследствие самого расположения вещей одна власть сдерживала другую (*le pouvoir arrête le pouvoir*). Государственное устройство может быть таково, что никто не будет принуждаем делать вещи, которых закон не обязывает его делать, — и никому не будут препятствовать делать то, что закон ему разрешает». Учение о равновесии отделенных одна от другой властей — центральный пункт политической теории Монтескье: эту-то мысль он и развивает в знаменитой шестой главе XI «книги», носящей титул — «об английской конституции». Хотя уже давно указывали на то, что большую часть изложенных здесь принципов автор «Духа законов» заимствовал из «Трактата о правительстве» Локка, хотя, кроме того, для учения Монтескье находили и иные источники — во всяком случае в Англии, где действительно оно имеет свое начало¹, тем не менее полное свое развитие оно получило лишь в «Духе законов» Монтескье и не только было принято от него во многие книги по государственному праву, как самое основное правило политики, не только послужило самым англичанам руководящей идеей при разработке теории их конституции, но даже *легло в основу политического законодательства в эпоху Французской революции*, когда было даже заявлено, что государство без разделения властей не имеет конституции (в том новом значении, какое получило тогда последнее слово². Мы и перейдем теперь к изложению указанной кн. XI, гл. 6 «Духа законов».

Было время, когда сами англичане думали, что изображение английской конституции, сделанное Монтескье на нескольких страницах указанной главы, вполне совпадает с действительностью, но в настоящую минуту историки сильно критикуют «Дух законов» с этой стороны, имея на то действительно весьма веские доводы. Указав в главе 5, что есть в мире нация, ставящая прямой целью своей конституции политическую свободу, Монтескье обещает рассмотреть принципы, на которых она основывается, но он не дает при этом подробного описания этой конституции, не рассказывает ее истории, не приводит ее главных законоположений, не иллюстрирует своих тезисов историческими примерами, ходячими формулами английского государственного права, заявлениями государственных людей и писателей Англии о ее конституции или отдельных частях и сторонах последней. Монтескье не только проглядел многие важные особенности английского государственного устройства, но и представил

¹ Проф. М.М. Ковалевский в своих статьях приводит аналогичные мнения защитников английского парламента в первой половине XVII в. Кроме того, есть одно сочинение (*Jannsen H. Montesquieu's Theorie von der Dreitheilung der Gewalten im Staate auf ihre Quelle zurückgeführt*), в котором доказывается, что Монтескье обязан своей теорией Свифту.

² Обо всем этом ниже.

его как целое, не в том свете, как следует, потому что списывал свое изображение не с самого предмета, а с политической теории Локка, которая, конечно, не одно и то же, что действительная английская конституция. Не приступая еще к пересказу воззрений Монтескье, мы отметим, что он проглядел коронных судей, действующих рядом с присяжными, проглядел парламентарное министерство, т. е. кабинет, как комитет большинства «законодательного учреждения», пользующийся исполнительной властью, проглядел английское местное самоуправление, играющее такую роль в истории английской политической свободы, а многое из того, что он проглядел или чего не знал, как раз противоречит его общему представлению о строгом разделении властей в Англии. Вопреки заверениям Монтескье в этой стране скорее произошло сосредоточение верховной власти в парламенте: последнему принадлежала законодательная власть, в известных случаях он пользовался властью судебной, а исполнительная власть, которую Монтескье отдает королю, была на деле в руках министров, зависевших от парламентского большинства¹. Но если изображение английской конституции, сделанное в «Духе законов», не соответствовало действительности, то в нем дана была целая система принципов, оказавших сильное влияние на политическую мысль и политическое законодательство. В ней Монтескье выдвигает на самый первый план ту идею, что правильное государственное устройство должно гарантировать личную неприкосновенность. Эта же система принципов кажется Монтескье приложимой всюду, и именно то обстоятельство, что автор «Духа законов» изображал не настоящую английскую конституцию со всеми ее корнями в прошлом нации, со всеми ее основаниями в социальном строе страны, нравах и привычках англичан, а совершенно абстрактную схему, как бы продиктованную самим разумом, — и было причиной того, что его изображение конституции могло сделаться предметом пропаганды. Если отступление французской монархии от ее «традиционной конституции» должно было рассматриваться, как ее порча, ведущая к деспотизму, то и с точки зрения теории, изложенной к кн. XI, гл. 6 «Духа законов», абсолютная королевская власть во Франции должна была казаться узурпацией.

Таков характер главы, которую мы теперь изложим, по возможности, словами подлинника.

«В каждом государстве, — говорит Монтескье, — есть троякого рода власть: власть законодательная, власть исполнительная в делах, относящихся к области международного права, и власть исполнительная в делах, касающихся гражданского права». Эту последнюю власть он предлагает назвать судебной, а предшествующую ей просто исполнительной властью

¹ О том, что разделение властей есть признак лишь федеральной системы правления, см. у Дайси.

в государстве. «Политическая свобода в гражданине, — продолжает Монтескье, — есть то спокойствие духа, которое происходит от уверенности каждого в своей безопасности, а для того, чтобы обладать этой свободой, надо, чтобы правительство было таково, чтобы ни одному гражданину не пришлось бояться другого. Если в руках одного и того же лица или учреждения власть законодательная соединена с исполнительной, — свободы не существует, т. к. можно бояться, чтобы один и тот же монарх или один и тот же сенат не создавали тиранических законов для того, чтобы самим же их приводить в исполнение тираническим образом. Нет свободы и в том случае, если власть судебная не отделена от законодательной и исполнительной. Если бы она была соединена с законодательной властью, — власть над жизнью и свободой граждан была бы произвольной: ибо судья был бы законодателем. Если бы она была соединена с исполнительной властью, судья мог бы иметь силу притеснителя. Все было бы потеряно, если бы один и тот же человек, или одна и та же корпорация начальников, или знати, или народа распоряжалась всеми тремя видами власти: властью создавать закон, властью приводить в исполнение общественные решения и властью судить преступления и разрешать тяжбы частных лиц». Вот теоретические основания всей системы Монтескье. Судебную власть он прямо не советует «вручать постоянному сенату: она должна находиться в руках людей, взятых из среды народа в определенное время года, способом, предписанным законом, для образования суда, который действовал бы лишь столько времени, сколько требует необходимость. Таким образом, — говорит Монтескье, — судебная власть, которая кажется такой страшной в глазах людей, не будучи более исключительным достоянием ни известного сословия, ни известной профессии, становится, так сказать, незаметной и несуществующей (*invisible et nulle*): судей постоянно перед глазами нет, и начинают бояться учреждения, а не лиц, его составляющих. Нужно даже, чтобы, в случае особенно важных обвинений, обвиняемый сам выбирал своих судей, или, по крайней мере, чтобы он мог отвести настолько значительное число из них, чтобы оставшиеся могли считаться судьями по его выбору». Вот здесь мы и видим изображение английского суда присяжных с полным отсутствием коронных судей. Что касается до двух других видов власти, то Монтескье их отдает в руки «постоянных правительственных лиц или учреждений, т. к. эти виды власти не затрагивают интересов частного лица, представляя из себя не что иное, как первый — только общую волю государства, а второй — исполнение этой воли». Первая отдается им народному представительству, вторая — монарху. «Так как, — рассуждает Монтескье, — в свободном государстве всякий, имеющий свободную душу, должен был бы быть управляем сам собою, то следовало бы, чтобы весь народ в полном своем составе обладал законодательной властью; но т. к. это невозможно в больших государствах, а в маленьких сопряжено со множеством неудобств,

то нужно, чтобы народ при посредстве своих представителей делал то, чего сам делать не в состоянии. Люди знают нужды собственного города гораздо лучше, чем нужды других городов, и о способности своих соседей судят гораздо вернее, чем о способностях других своих соотечественников. Поэтому не следует, чтобы члены законодательного учреждения были взяты безразлично из всей нации: надо, чтобы в каждом главном месте жители выбирали себе представителя... Все граждане, — говорит Монтескье несколько далее, — в различных округах должны пользоваться правом голоса при выборе представителя; за исключением тех, которые находятся в таком принижении (*dans un tel état de bassesse*), что не могут считаться имеющими собственную волю». Но в Англии, кроме палаты общин, которую в данном случае имеет в виду Монтескье, есть еще верхняя палата, которая должна была соответствовать и аристократическим его симпатиям, и вот как он мотивирует ее существование. «В каждом государстве есть люди, отличающиеся своим происхождением, богатством или почестями; если бы они были смешаны с народом, и если бы у них наравне со всеми другими был только один голос, общая свобода сделалась бы их рабством, и у них не было бы никакого интереса ее защищать, т. к. большая часть решений была бы против них. Поэтому участие их в законодательстве должно быть пропорционально прочим преимуществам, которыми они пользуются в государстве, а это произойдет, если они образуют особое учреждение, которое имело бы право останавливать предприятия народа, подобно тому, как народ имеет право останавливать их предприятия... Корпорация знати должна быть наследственной. Она наследственна, во-первых, по самому своему существу, и во-вторых, необходимо, чтобы она имела очень большой интерес в сохранении своих прерогатив, ненавистных самих по себе, а в свободном государстве тем более подверженных постоянной опасности». Наконец, исполнительная власть отдается у Монтескье монарху, «т. к. эта часть правления, требуя почти всегда быстрого действия, заведется лучше одним человеком, чем многими, тогда как то, что зависит от законодательной власти, часто лучше ведется многими, чем одним. Если бы не было монарха и исполнительная власть была бы вручена известному числу лиц, взятых из законодательного учреждения, свободы бы больше не существовало, т. к. обе власти были бы соединены вследствие того, что одни и те же лица принимали бы иногда и всегда могли бы принимать участие в обеих». Вот в этом рассуждении Монтескье и видно, что он совсем не обратил внимания на кабинет, существование которого в Англии, ни малейшим образом не противоречащее политической свободе, опровергает рассуждение Монтескье.

Указав на необходимость периодических созывов законодательного учреждения и на необходимость периодических обновлений его состава, Монтескье говорит далее о взаимных отношениях обеих властей. «Законо-

дательное учреждение, — говорит он, — отнюдь не должно собираться само собой, ибо всякое учреждение только тогда считается имеющим волю, когда оно находится в сборе, и если бы оно не собиралось единодушно, нельзя бы было сказать, которая из его двух частей составляет настоящее законодательное собрание: та ли, которая бы находилась в сборе, или другая. Если бы оно имело право само себя отсрочивать, то могло бы случиться, что оно никогда бы себя не отсрочивало, а это было бы опасным в том случае, если бы оно сделало покушение против исполнительной власти... Поэтому необходимо, чтобы исполнительная власть определяла время заседания и продолжительность собраний, сообразно с обстоятельствами, которые ей известны. Если исполнительная власть не имеет права останавливать предприятия законодательного учреждения, последнее будет деспотическим; ибо т. к. оно будет в состоянии дать себе всю ту власть, какая ей может вздуматься, то она уничтожит все остальные власти. Но не следует, чтобы законодательная власть со своей стороны имела право останавливать исполнительную: т. к. исполнительная власть по самой сущности своей есть власть ограниченная, то ее ограничивать бесполезно, не говоря уже о том, что исполнительная власть действует только по отношению к вещам преходящим. Но если в свободном государстве законодательная власть не должна иметь право останавливать власть исполнительную, она имеет право и должна иметь возможность следить за тем, каким образом законы, которые она создала, были приведены в исполнение... Каков бы, однако, ни был этот контроль, законодательное учреждение ни в каком случае не должно иметь права судить личность, а следовательно, и поведение того, который исполняет. Его особа должна быть священна, ибо она необходима государству для того, чтобы законодательное учреждение не сделалось в нем тираническим: с того момента, когда она была бы предана обвинению и суду, свободы больше не существовало бы. В подобного рода случаях государство было бы не монархией, но несвободной республикой. Но т. к. тот, кто исполняет, не может ничего дурно исполнять без дурных советников, которые ненавидят законы, как министры, хотя эти законы и защищают их, как людей, последние (т. е. эти советники) могут разыскиваться и наказываться...» «Исполнительная власть, — говорит Монтескье несколько далее, — должна принимать участие в законодательстве через свое право останавливать; без этого она скоро будет лишена своих прерогатив. Но если законодательная власть принимает участие в исполнении, исполнительная власть равным образом погибнет. Если бы монарх принимал участие в законодательстве через право постановлять, свободы более не существовало бы. Но т. к. тем не менее необходимо, чтобы он для своей защиты имел участие в законодательстве, надо, чтобы он принимал в нем участие через право останавливать...» «Вот основное устройство того правления, о котором мы говорим, — читаем мы в заклю-

чительной части главы, — законодательное учреждение составлено из двух частей, которые, в силу права останавливать друг друга, будут друг друга удерживать. Обе будут связаны исполнительной властью, которая, со своей стороны, будет связана законодательной. Эти три власти должны бы были находиться в состоянии покоя или бездействия, но т. к. неизбежным ходом вещей они будут принуждены идти вперед, они будут принуждены идти в согласии. Так как исполнительная власть, — прибавляет еще Монтескье, — составляет часть законодательной власти только в силу своего права останавливать, она не может входить в обсуждение дел. Даже не необходимо, чтобы она предлагала, т. к., имея всегда возможность не одобрить решения, она может отклонить решения тех предложений, проведения которых она не хотела бы», — и опять тут Монтескье высказывает принципы, совершенно идущие в разрез с действительной английской конституцией. Но вот в чем он верно схватил сущность дела. «Если, — говорит он, — исполнительная власть делает постановления о взимании налогов иначе, как в силу согласия народа, свободы больше не будет, ибо исполнительная власть сделается законодательной в самом важном пункте законодательства. Если законодательная власть делает постановление о наложении податей не из года в год, а навсегда, то она рискует лишиться свободы, потому что исполнительная власть не будет более зависеть от нее; а когда пользуются подобного рода правом навсегда, то довольно безразлично, пользуются ли им в силу собственной власти, или в силу чужой. То же самое будет и в том случае, когда законодательная власть постановляет не из года в год, а раз навсегда касательно сухопутных и морских сил, которые она должна верить исполнительной власти».

Такова в представлении Монтескье система, которую англичане, как он думал, нашли в лесах тацитовской Германии. «Не мне исследовать, — говорит он, — пользуются ли англичане в действительности этой свободой или нет, ибо мне достаточно сказать только, что она установлена их законами, и более я ничего не ищу». Вопросу о современных ему монархиях Монтескье посвящает едва несколько строк, составляющих следующую главу. «Они, — говорит он, — имеют своей целью не свободу, а славу граждан, страны и государя. Три власти в них не распределяются по способу изображенной конституции. В каждом государстве существует свое особое распределение, вследствие чего они более или менее приближаются к политической свободе, и если бы они не приближались, монархия выродилась бы в деспотию». По Монтескье, Франция именно шла по пути к последней форме, и он думал водворить в ней свободу, вдохнув жизнь в старые феодальные учреждения, в дворянство и в парламент, имея в то же время перед глазами образец английской конституции, обеспечивавшей ту индивидуальную свободу, которой удивлялись в Англии и он, и Вольтер, и многие другие французы. Аристократический характер

теории Монтескье сделал то, что на нее ссылались не только прогрессивные элементы французского общества, но и консервативные, когда им пришлось защищать старые привилегии. Тем не менее на Монтескье можно смотреть как на *родоначальника политического либерализма Новейшего времени*.

XIV. Руссо, его характер и идеи¹

Вольтер, Монтескье и Руссо. — Причины большого влияния Руссо. — Его деятельность и окружавшая его среда. — Революционное и реакционное значение Руссо. — Связь его жизни с его произведениями. — Биография Руссо до первой диссертации. — Дижонская академия и ее конкурсные темы. — Руссо в период своей литературной деятельности. — Ссора его с философами. — Последние годы жизни Руссо. — Его диссертация о науках и искусствах и о причинах неравенства. — Значение «Эмиля». — «Исповедание веры савойского викария». — Рационалистическая основа «Общественного договора». — Учение Руссо о договорном происхождении государства и о верховной власти народа. — Отсутствие гарантий личной свободы. — Гражданская религия. — Взгляд Руссо на представительство и на разделение властей. — Правительство и формы правления. — Республиканская монархия Руссо.

Жан-Жак Руссо (1712–1778) занимал совершенно особое место среди писателей XVIII в. и равным образом оказывал на современников и на ближайшее потомство совсем особенное влияние. И с Вольтером, и с Монтескье у него было мало общего, с первым — в характере и философском мировоззрении, со вторым — в методе политического мышления и в политических воззрениях. Вольтер — человек рассудка, оружием которого была злая и колкая насмешка, Руссо — человек душевных эмоций, смотрящий на мир Божий совсем иными глазами, чем фернейский философ: в характере Руссо было что-то вечно ноющее, ипохондрическое, вполне противоположное тому, что составляет суть характера Вольтера; он и в жизни был несчастлив, притом часто по собственной вине, и то же самое сказалось на его литературной деятельности. В сравнении с реалистом Вольтером, бодро смотрящим на окружающую действительность, Руссо является мечтателем, на котором болезненно отзывается разлад этой действительности с идеалом и у которого несовершенства жизни вызывают не смех или негодование, а угнетенное состояние духа, выражавшееся в страстной, но вместе с тем и риторической декламации. И Вольтер, и Руссо были деисты, но их деизм имел различный характер: «естественная религия» одного была чисто рассудоч-

¹ Литература о Руссо очень обширна: Moreau. Jean-Jacques Rousseau et le siècle philosophe; Saint-Marc Girardin. Jean Jacques Rousseau, sa vie et ses ouvrages; J. Grand Cartaret. Rousseau jugé par les Français d'aujourd'hui. В соч. Денуартеппа о Вольтере т. II: Voltaire et Jean-Jacques Rousseau; Brockerhoff. Rousseau's Leben und Werke; Морлей (Morley). Руссо (пер. с англ.); Грей Грэхэм (Grey Graham). Ж.Ж. Руссо, его жизнь, произведения и окружающая среда; Проф. Алексеев. Этюды о Ж.Ж. Руссо; Проф. В.И. Герье. Понятие о народе у Руссо (Рус. Мысль, 1882).

ной, у другого она удовлетворяла известной потребности сердца и получала оттенок сентиментальности. Своей задачей Вольтер поставил освобождение человеческого ума от всего, что стесняло свободную его деятельность, и он высоко ценил просвещение своего века, которое, наоборот, встретило в лице Руссо страстного обличителя, т. к. для него все успехи ума были ничто в сравнении с огорчающим его падением «добродетели» в том условном смысле, в каком он употреблял это слово, впадая при этом в несколько слащавый тон. В сравнении с Руссо, Вольтер лишь вскользь затрагивал социальные и политические вопросы, а они-то и были одним из любимых предметов Руссо: в последнем отношении он стоит ближе к Монтескье, с которым другими сторонами он так резко вообще расходился. У Вольтера была некоторая доля презрения к непросвещенной черни, тогда как Руссо, сам вышедший из народа, его, наоборот, идеализировал, противопоставляя ему культурные классы общества, как тронутые порчей цивилизации: защита трудящегося люда была даже одной из наиболее сильных по своему действию на умы тем Руссо. С Вольтером он сходил в том, что оба они интересовались вопросами индивидуального бытия, сравнительно мало занимавшими Монтескье, писателя политического по преимуществу, и Руссо даже обратил особое внимание на вопросы воспитания и образования, создающие человеческую личность, и здесь он положительно превосходил Вольтера: известно, какое громадное влияние имели в свое время педагогические воззрения Руссо. Еще более, как было уже замечено, интересовался он вопросами общественными, и в данном отношении он пошел гораздо далее и Монтескье. Вольтер, так сказать, принимал существовавшую в его время форму государства и общества, из внешних учреждений нападая главным образом лишь на одну церковь; Монтескье стал в оппозицию к абсолютизму, который должен был для него отождествляться с деспотизмом, но он не скрывал своих аристократических стремлений и прямо отстаивал сословный строй общества; наоборот, Руссо нападает на этот самый строй как на несправедливый, и не только проповедует политическое равенство и высказывает такие идеи, которые позволили социальным реформаторам XIX в. видеть в нем одного из своих предшественников прошлого столетия¹. Аристократизм Монтескье сказался на его сочувствии к старой феодальной монархии и к дворянским привилегиям: Руссо — страстный противник всякого неравенства, и его идеалом является не английская конституция, которой восхищался Монтескье, а античная демократия, не считавшаяся автором «Духа законов» за свободное устройство государства. И свободу оба эти политических писателя понимали различным образом, один — более в новом смысле индивидуальной свободы, для ограждения которой от правительственного произвола он придумывает свою систему одна от другой отделен-

¹ См., например, взгляд Луи Блана в I т. «Истории Французской революции».

ных и одна другую сдерживающих властей, предупреждая, что «не нужно смешивать свободу народа с властью народа», другой же — именно исходя из такого смешения понятий, т. е. беря свободу в античном смысле и создавая в своем представлении государство, вполне поглощающее личность, подобно государству Гоббса. Политическая теория Руссо была целиком построена на отвлеченных идеях разума: ни на чьем мышлении так характерно не отразился рационализм XVIII в., как на мышлении именно Руссо, и наоборот, если кто из политических писателей прошлого столетия менее других был рационалистом, более других пытался строить политическую теорию на данных исторического опыта, так это был как раз автор «Духа законов». И по направлению своего ума, и по характеру своего образования Руссо, наоборот, меньше всего был способен к историческому пониманию действительности, составляющему сильную сторону Монтескье. Последний был одним из ученихших людей своего времени, систематически собиравшим материал для своего капитального труда, а Руссо был в сущности самоучка, хватавший знания на лету и приступавший к работе не с готовым запасом фактического материала, а с предвзятой идеей, которую оставалось только логически развить. Как ни несходны были, однако, между собой оба писателя, они действовали в одном направлении, проповедуя, что законодательная власть во Франции должна быть взята из рук короля, и что за ним должно было бы быть оставлено лишь значение власти исполнительной. В политическом вопросе Монтескье и Руссо расходились между собой, как представители либерализма и радикализма, но оба они являлись противниками абсолютизма.

Руссо оказывал могущественное влияние на современников: страстный тон его речи, столь несхожий с холодным сарказмом Вольтера или спокойной иронией Монтескье, его настроение, невольно подчинявшее себе чувство читателя, тогда как Вольтер и Монтескье действовали больше на один ум, его умение затрагивать самые больные стороны индивидуальной и социальной жизни в то время, как Вольтер и Монтескье или касались менее захватывающих общих интересов вопросов, или рассматривали их с более отвлеченных точек зрения, наконец, самый демократизм Руссо в обществе, в котором плебейские элементы начинали играть уже более видную роль, вот что, собственно говоря, создавало Руссо то влиятельное положение, какое он занял среди писателей XVIII в. Одним словом, Вольтер был философ, Монтескье — политик, а Руссо прежде всего моралист, а вопросы морали ведь всегда больше привлекают к себе людей, чем вопросы знания и вопросы политики. Предметом размышлений Руссо был прежде всего сам человек, как у родоначальников гуманизма: с ними Руссо разделяет нерасположение к отвлеченной метафизике и к теоретическому естествознанию, хотя он и сильно любил природу, доведя свое субъективное отношение к ней до чувствительности, но он зато не разделял с гума-

нистами социального индифферентизма. Моралист Руссо не ограничивает этической сферы одной индивидуальной жизнью, с этической точки зрения он рассматривает и само гражданское общество, подходя к нему не с вопросом, что такое оно есть, а чем оно должно быть. *Сила Руссо и заключалась в его моральном и социальном идеализме*, действовавшем не на одни умы, склонные к философии или политике, но и на ту большую публику, которая ищет прежде всего ответов не на вопросы отвлеченного знания и не на вопросы высшей политики, а на вопросы о том, в чем заключается назначение человека и как люди должны жить между собой. Настроение Руссо передавалось в тоне его сочинений, то страстном, то задушевном, то элегическом, всегда убежденном, да и внешняя форма, которой Руссо также хорошо владел, способствовала распространению его сочинений, быть может, между прочим даже та самая риторика, какую мы встречаем во всем, что было им написано. Рассматривая причины морального влияния одной личности на целое общество, мы должны отвлекать свое внимание от логических противоречий, обнаруживаемых более пристальным изучением воззрений данной личности, и не должны касаться проявлений ее характера в жизни: привычка к анализу читаемого, а тем более к анализу, лежащему в основе научного изучения, вообще весьма мало развита в больших кругах читателей, воспринимающих лишь то, что поражает их воображение или что наиболее соответствует их собственному настроению, а кроме того автор в книге и человек в жизни — далеко не одно и то же. В настоящее время критиковать Руссо очень легко, т. к. многие его воззрения суть совершеннейшие парадоксы, между отдельными его взглядами встречаются противоречия, в его сочинениях довольно много риторики, даже в чувствах его немало напускного, в личном же характере Руссо есть черты крайне несимпатичные, в лучшем случае объясняемые его болезненностью, но его нужно рассматривать в его исторической обстановке, а не лицом к лицу с отвлеченной критикой, которой, обобщая слабые стороны его ума, образования, таланта и характера, пожалуй, и нетрудно было бы показать, что Руссо был только софист-самоучка и ритор-неудачник. Историки и биографы нередко в оценке исторического значения того или другого деятеля исходят из рассмотрения его духовных свойств, тогда как в подобных случаях объяснение влияния, оказанного им на современников, нужно искать прежде всего в идеях, носителем которых он был: не всегда самые умные, самые нравственные и самые сильные волей люди занимают влиятельное положение в обществе, и очень даже часто человек только потому выдвигается вперед и оказывает влияние на общество, что с особой убежденностью, страстностью и силой высказывает идеи, которые должны быть встречаемы с наибольшим сочувствием в данном обществе. С Руссо так именно и случилось: в известных социальных слоях, в которых уже сильна была политическая и социальная оппозиция против абсолю-

тизма и привилегий, *идеи свободы и равенства, проповедником которых сделался Руссо, должны были найти особенно сочувственный прием*, тем более, что свобода являлась у Руссо без сословных привилегий, сопровождающих ее у Монтескье, и равенство представлялось не только, как равенство перед законом, но и как равенство во власти: как теория Монтескье льстила аристократическим стремлениям, так теория Руссо подходила к настроению буржуазии.

Как проповедник новых политических и общественных идей, Руссо был таким же теоретическим предвестником революции, как и другие писатели XVIII в., был даже первым между ними по своему сильному и многостороннему влиянию на деятелей революции и на общество той эпохи, но он же был предвестником и той реакции, которая наступила после революции против всего XVIII в. «Будучи, — говорит Морлей, — первым открыто революционным мыслителем в политике, он вместе с тем был самым горячим реакционером в религии. Его влияние отразилось не только на Робеспьере, но и на Шатобриане, не только на якобинцах, но и на католицизме Реставрации. Таким образом, он более чем кто-либо другой дал направление первым эпизодам революции и дал свои силы первому эпизоду Реставрации». Это замечание одного из лучших авторов, писавших о Руссо, можно обобщить. Одной из характерных черт философии XVIII в., как было сказано, является ее культурный оптимизм, на почве которого выросла идея прогресса: золотой век еще впереди, и человечество, руководимое Просвещением, шествует к этому золотому веку. Напротив, для Руссо последний был далеко позади, в первобытном «естественном состоянии», Просвещение же прямо являлось злом. Основной мыслью всего философствования Руссо было именно возвращение к естественному состоянию, когда человек был якобы невинен и наивен, и во имя этого возвращения он объявлял войну разуму, ставя на его место чувство, которое вообще играет такую роль в его философии. Руссо действительно заменял здоровое и положительное философское мышление, представителями которого было большинство писателей этого века, чувствительностью, так сильно действовавшей на современных ему читателей: в таком его способе решать жизненные вопросы заключалась одна из приманок его философии для громадного большинства читателей, но в то же время он шел вразрез с умственными стремлениями, бывшими в ходу в XVIII в. и ставившими на первый план здравый смысл, а не чувство. Таким образом, политический революционер был культурным реакционером. В последнем отношении он ближе подходил к массе общества, жившей более эмоциями, чем рассудком, и эта масса лучше его понимала, чем кого-либо другого из писателей XVIII в., все-таки ушедших от нее далеко вперед. Руссо ставил перед глазами своих современников новые политические цели, но не только не научал их новым умственным методам, а прямо, на-

оборот, поддерживал в них привычку жить не столько рассудком, сколько чувством. Своей проповедью он, несомненно, возбуждал благородные чувства, интерес и сострадание обеспеченных классов к оскорбленным и униженным, и указывал обществу на новые задачи в этой области, но почти исключительное развитие чувства было реакцией против той умственной дисциплины, которую создавала философия XVIII в., тем более, что вдобавок метод рассуждений Руссо был как раз наиболее рельефным проявлением того, что составляло самую слабую сторону в мышлении прошлого столетия, рассматриваемом с точки зрения наших современных требований от научности: в век развивавшейся критики Руссо был наиболее догматиком, дававшим абсолютные решения самых жгучих вопросов жизни на основании чисто логических построений и заставлявшим верить в непреложную истинность этих решений. В этом и заключалась его сила над умами современников, но в этом же заключалась и слабая его сторона, раз он ставил страсть на место ясного сознания.

Понимать произведения такого писателя, как Монтескье, можно, почти совсем не касаясь его биографии: работа мыслителя, имеющего строго научный характер, или наиболее подходящая к такому характеру, по самой своей сущности не может иметь такого близкого отношения к чисто личной жизни писателя, как творчество поэта или вообще автора, более или менее ярко проявляющего в своих произведениях собственную субъективность, а Руссо именно принадлежал к людям последней категории. Действительно, его сочинения находят лучший свой комментарий в его личном характере и жизненной судьбе, как известно, им самим изображенных в знаменитой «Исповеди». Конечно, на тех немногих страницах, которые мы можем посвятить Руссо, невозможно рассмотреть его биографию с такой точки зрения, но краткий очерк его жизни будет все-таки нелишним.

Отец Руссо был простой женеvский часовщик, страстно увлекавшийся чтением романов и передавший эту привычку своему сыну, когда последний был еще совсем ребенком. Кроме романов, отец и сын зачитывались Плу-тархом, которого первый еще патетически комментировал речами о любви к отечеству и гражданской доблести. Таким образом, уже в ребенке развивались фантазия, несколько приподнятое настроение и книжное отношение к действительности. Отец бросил маленького Жан-Жака на произвол судьбы, когда мальчику едва исполнилось десять лет, и ему, избалованному в семье теткой, которая заступала для него место матери, умершей при его рождении, скоро пришлось испытать несправедливое и суровое обращение со стороны чужих людей; оно-то впервые и породило в душе Руссо то чувство протеста против всякой неправды, которое впоследствии исторгло из его души не одну красноречивую тираду в его сочинениях. Тогда же началась скитальческая жизнь Руссо, сопровождавшаяся постоянными переменами профессий. Довольно долго он был вместе с другими мальчиками учеником

у гравера, грубо обращавшегося с подростком, что ожесточило его против людей вообще и, как он сам признается, даже развратило, сделав его лгуном, обманщиком, воришкой и порядочным трусом. Шестнадцати лет он, однако, бежал от своего хозяина, боясь наказания за одну провинность и мечтая осуществить свои вычитанные из романов фантазии на полной свободе. Началась настоящая жизнь бездомного бродяги: в это время Руссо обратили в католицизм, но не пристроили ни к какому делу, на местах же слуги, на которые попадал мальчик, он не уживался. Более всего привлекало его самого безделье на лоне природы, и сильнее всего действовали на его впечатлительную душу простота жизни и участливое к нему отношение крестьян, когда ему приходилось скитаться по деревням. Только одно время, в начале тридцатых годов, он прожил около трех лет спокойно у приютившей его г-жи Варенс, посвятив это время изучению латинского языка и философии; тогда только что вышли в свет «Lettres sur les Anglais» Вольтера, производившие на юношу весьма сильное впечатление. После этого Руссо по-прежнему менял профессии, учительствовал, занимался музыкой, ездил в Венецию в качестве секретаря к французскому посланнику и т. п., пока не поселился в Париже и не завел знакомства в литературных кругах, в которых он, однако, страшно разочаровался. К этому же времени относится его сближение с Терезой Левассер, которая была простой служанкой в гостинице, где он поселился; приживавшихся от этого союза детей отдавали в воспитательный дом. Сам выбор в подруги жизни — неразвитой женщины из простонародья, с которой Руссо, однако, прожил потом весь свой век, — некоторые биографы объясняют его презрением к научному образованию и к светскому обращению, и нужно заметить, что в свои отношения к Терезе он не вносил той подозрительности, желчности и раздражительности, которые портили его отношения к другим людям.

Такова была жизнь Руссо, когда он написал первую свою знаменитую диссертацию. Она, как известно, была вызвана Дижонской академией, предложившей от себя одну тему для сочинения на премию. Во Франции середины XVIII в. умственные интересы были довольно сильны и в провинциальных городах, что доказывается возникновением в эту пору научно-литературных обществ, принимавших название академии. Дижонская была одной из старейших, и в ней был развит некоторый интерес к философским предметам. В 1742 г. она, например, возбудила вопрос, могут ли естественные законы привести общество к совершенству без помощи законов политических. В 1749 г. ее темой, на которую и писал Руссо, был вопрос: способствовало ли восстановление наук и искусств очищению нравов? Через несколько лет та же академия снова объявила конкурсную тему о происхождении неравенства между людьми, и Руссо, ободренный успехом первой диссертации, которая была увенчана премией, писал и на эту тему. Оба эти вопроса как нельзя более отвечали настроению Руссо и его тайным думам:

он сам рассказывает в «Исповеди» с обычным преувеличением своих душевных волнений, как поразил его вопрос о влиянии наук и искусств на нравственность, когда он случайно прочитал в газете объявление о дижонской теме, — рассказывает именно, что на него внезапно нашло что-то вроде вдохновения, совершенно его опьянившее, что от волнения он залился слезами, сам того не замечая, и что если бы он мог записать хотя бы лишь четвертую часть тех мыслей, которые в беспорядке пронесли в его голове, то он с очевидностью для всех доказал бы все противоречия в наших учреждениях, портящих человека, который по природе своей, однако, хорош. Выходом в свет первого рассуждения Руссо на тему Дижонской академии открывается период его литературной деятельности, бывший весьма непродолжительным, если считать только самые крупные и влиятельные его произведения, как то можно видеть из следующих дат: первая диссертация вышла в свет в 1750 г., вторая — в 1754 г.; в 1761 г. появилась «Новая Элоиза», а в 1762 г. — «Эмиль» и «Общественный договор». Между всеми этими сочинениями есть внутренняя связь, и все они были порождены настроением, аналогичным тому душевному состоянию, какое Руссо испытал, когда его так сильно поразил вопрос, поставленный Дижонской академией. В указанные годы Руссо был одной из знаменитостей и имел место, которое его обеспечивало, но он не мог сжиться с окружавшим его светским обществом и даже как бы нарочно, чтобы ему досадить, разыгрывал роль чудака и циника. Его сильно тяготила такая жизнь, он мечтал о том, чтобы поселиться в Женеве, возвратив себе права гражданина этой республики посредством отказа от римской церкви и торжественного принятия протестантизма: среди женевских богословов было немало таких, которые склонялись к христианскому деизму, и с ними Руссо очень сблизился, противопоставляя их симпатичную для него религиозность парижскому вольномыслию, которого он, напротив, не выносил. Руссо уехал даже из Парижа, но поселился, однако, не в Женеве, а недалеко от Монморанси, в сельском уединении, Эрмитаже, устроенном ему одной из его почитательниц и покровительниц: здесь он нашел одиночество и природу, которую он любил с какой-то болезненной впечатлительностью, совершенно, так сказать, «опростился», продолжая тем не менее свои занятия; рассорившись спустя некоторое время с владелицей Эрмитажа, он нанял себе квартиру в том же Монморанси. Он все более и более расходился с философами, хотя и поддерживал с ними сношения, пока, наконец, не рассорился с ними открыто незадолго до выхода в свет «Новой Элоизы», «Эмиля» и «Общественного договора». В открытом письме к д'Аламберу он даже предостерегал своих сограждан-женевцев от грозившей им опасности со стороны французского Просвещения.

Издание «Эмиля» стоило Руссо гонения, воздвигнутого на него парижским парламентом. Когда явился приказ сжечь книгу, а автора арестовать, оставалось только бежать в Швейцарию. Здесь, однако, равным образом он

не мог найти спокойствия. Женевский городской совет тоже велел сжечь «Эмиля», прибавив к нему и «Общественный договор», и отдал приказ арестовать автора при первом его появлении на территории республики. Бернский сенат изгнал его из кантона, и Руссо нашел убежище лишь в Невшательском княжестве, принадлежавшем Фридриху II Прусскому, где и поселился в одной деревушке. Но и отсюда он должен был выехать вследствие нелепых слухов, ходивших о нем среди крестьян, и, не имея возможности вернуться в Женеву, от гражданства которой он торжественно отказался, он уехал в Англию на зов философа Давида Юма (1766). Весьма скоро и с Юмом он поссорился и, вообразив, будто его заманили в Англию, чтобы погубить, бежал во Францию и лишь после долгих скитаний мог снова поселиться в Париже, где прожил еще около восьми лет, бедствуя в материальном отношении и уже почти совсем не занимаясь литературой. Незадолго до смерти по приглашению одного из друзей он переехал в его поместье, где и скончался скоропостижно вскоре после смерти Вольтера: ходили слухи о том, что внезапная смерть Руссо была самоубийством (1778). Еще в Англии он начал писать, свою «Исповедь», которую кончил незадолго до смерти.

Из сочинений Руссо мы должны были бы остановиться главным образом на его «Contrat social», оказавшем сильное влияние на политическое миросозерцание французов, но и его отношение к цивилизации, равно как педагогические и религиозные идеи, также заслуживают внимания; только по общему характеру нашего обзора мы не будем рассматривать ни значения Руссо как романиста («Новая Элоиза»), ни тех произведений, которые имеют уже более частный характер¹.

В 1749 г. Дижонская академия предложила вопрос исторический, а Руссо сделал из него вопрос философский: служат ли вообще науки и искусства очищению нравов? Ответ, данный им в рассуждении на эту тему, был отрицательный: в этом-то и заключалась его оригинальность. Появление в печати рассуждения Руссо произвело сильную сенсацию в обществе и вызвало немало возражений, из которых одно принадлежало польскому королю Станиславу Лещинскому; Руссо на некоторые возражения отвечал, по возможности смягчая и умеряя резкости своей брошюры. О содержании этого произведения лучшее понятие могут дать некоторые отдельные места. Руссо приступил к своему предмету как моралист, обличающий испорченность своих современников: откуда же происходит порча? «Где, — говорит Руссо, — нет никакого следствия, нет надобности и искать причину, но здесь следствие очевидно: это — настоящее развращение и наши души портились по мере того, как наши науки совершенствовались. Быть может, скажут, что это лишь несчастье нашего времени. Нет, господа:

¹ Первая диссертация Руссо на тему Дижонской академии в русском переводе помещена в приложении к книге Грэхэма вместе с ответом Руссо на возражения польского короля Станислава Лещинского. Перевод нельзя назвать совершенно удовлетворительным.

бедствия, причиняемые нашим пустым любопытством, столь же стары, как сам мир... Всегда можно было видеть, как добродетель убегала по мере того, как светоч наук и искусств восходил над нашим горизонтом, и это явление наблюдалось во все времена и во всех местах». Образованным нациям Руссо противопоставляет «небольшое число народов, которые, будучи предохранены от этой заразы пустых знаний, своими доблестями создали собственное счастье и послужили примером для других народов». Таковы были персы, скифы, германцы времен Тацита и сами римляне «во времена своей бедности и невежества». Руссо приводит далее разные примеры в доказательство того положения, что «роскошь, распушенность и рабство были всегда наказанием за наши надменные усилия выйти из счастливого неведения (*l'heureuse ignorance*), в которое нас поставила вечная мудрость... Народы, — восклицает Руссо, — узнайте раз навсегда, что природа хотела вас предохранить от науки, как мать вырывает опасное оружие из рук своего ребенка, что каждая скрываемая ею от вас тайна есть какое-либо зло, от которого она вас оберегает, и что тот труд, с каким дается вам наука, должен считаться одним из самых значительных ее благодеяний». Руссо ссылается на старинное сказание, перешедшее из Египта в Грецию, по которому изобретателем наук было божество, враждебно оносившееся к спокойствию людей. «Науки и искусства обязаны происхождением нашим порокам»: астрономия — суеверию, красноречие — честолюбию, ненависти, лести и лжи, геометрия — жадности, физика — пустому любопытству и т. д., и «такое низкое происхождение (*le défaut, de leur iorigine*) наук особенно ярко отражается на их предметах. Что стали бы мы делать с искусствами: без роскоши, их питающей? Без людской несправедливости к чему служило бы правоведение? Что стало бы с историей, если бы не было тиранов, войн, заговорщиков? Если науки пусты по предметам, которые себе ставят, то еще более они опасны по своим следствиям. Рожденные праздностью, они, в свою очередь, ее питают, и непоправимая потеря времени есть первый ущерб, какой они наносят обществу... Ответьте мне, знаменитые философы, вы, благодаря которым мы знаем, каким образом тела взаимно притягиваются в пустом пространстве, каковы в обращениях планет отношения пройденных пространств к временам... ответьте мне, говоря я, вы, от кого мы получили столько возвышенных знаний: если бы вы не научили нас ни одной из этих вещей, разве нас от этого стало бы меньше, разве бы мы хуже управлялись, были менее грозны, не так процветали бы или сделались бы порочнее?» Если уже работы наиболее просвещенных ученых бесполезны, то произведения «неизвестных писак и праздных литераторов» прямо вредны: без них «нравы были бы здоровее и общество пользовалось бы большим спокойствием. Но эти пустые и легкомысленные говоруны приходят со всех сторон, вооруженные своими пагубными парадоксами, подкапывая основы веры и уничтожая добродетели».

тель. Они встречают презрительными улыбками старые слова *отечество* и *вера* и пользуются своими талантами и своей философией в целях истребления и унижения всего, что только есть самого священного между людьми». Уже здесь мы встречаемся у Руссо с идеализацией естественного состояния. «Нельзя, — по его словам, — размышляя о нравах, не вызывать в своем уме образ простоты; первобытных времен. Глаза постоянно обращаются к прекрасному берегу, украшенному рукой одной природы, и сожалешь, что от него удаляешься». В другом месте Руссо ставит вопрос, «откуда же происходят бедствия человечества, как не от пагубного неравенства, введенного между людьми отличием талантов и унижением добродетелей. Вот самое очевидное действие нашего учения и самое опасное из его следствий. О человеке более не спрашивают, честен ли он, но есть ли у него таланты, и не спрашивают о книге, полезна ли она, но хорошо ли она написана. Награды расточаются остроумию, а добродетель остается без почта... У нас есть физики, геометры, химики, астрономы, поэты, музыканты, живописцы, но у нас нет более граждан, а если и есть еще граждане, рассеянные по нашим покинутым деревням, то они там погибают в бедности, презираемые всеми». Руссо думает, что если только потомки наши «не будут безумнее нас, они возденут руки к небу и с горечью в сердце своем скажут: “Всемогущий Боже, державший в деснице своей все души наши! Освободи нас от просвещения и гибельных искусств наших отцов и возврати нам невежество (l’ignorance), невинность и бедность, единственные блага, способные создать наше счастье и имеющие цену перед лицом Твоим!”» Рассуждение Руссо оканчивается таким воззванием к добродетели: «О добродетель, возвышенная наука простых душ! Нужно ли столько труда и подготовки, чтобы тебя познать? Разве твои правила не начертаны во всех сердцах? Разве недостаточно для усвоения твоих законов уйти в самого себя и прислушиваться к голосу совести, когда умолкают страсти? Вот истинная философия, сумеем же довольствоваться ею!» и т. д.

Нельзя было более принципиально вооружиться против научного образования. Если Руссо как моралист и высказал немало горьких истин просвещенному обществу своего времени, если впоследствии он и смягчал свою мысль, доказывая даже, что истребление наук лишь привело бы к еще худшему варварству, если в своем ответе польскому королю, а еще больше во втором своем рассуждении он и винит в общественном зле уже не сами науки и искусства, а неравенство, установившееся в гражданском состоянии, то все-таки в рассмотренном произведении выразилось вполне его отношение к научному образованию, *его протест не против одной пустоты и испорченности светского общества, но и против господства ума во всей духовной жизни эпохи*, его нерасположение к направлению, какое было принято умственным движением века, его симпатия к инстинктивной жизни населения заброшенных деревень и идеализированного перво-

бытного состояния. Все это мы найдем и во втором его рассуждении — о причинах неравенства между людьми¹.

Когда Дижонская академия предложила свою вторую тему, Руссо тем более должен был за нее ухватиться, что уже в первом рассуждении одним из наиболее опасных следствий образования он поставил неравенство, возникающее из того, что талант предпочитается добродетели, а в ответе польскому королю уже объявил неравенство источником всех общественных зол: от него произошло богатство, от богатства — роскошь и праздность, а от последних — науки и искусства. Исходным пунктом второго трактата Руссо служит положение о равенстве всех людей по естественному праву, ибо, если по природным свойствам или возрасту и существуют неравенства в естественном состоянии, то они не влекут еще здесь за собою тех последствий, каковыми являются богатство, почести и власть. В этом сочинении Руссо сделал попытку изобразить первобытное состояние людей и возникновение гражданского общества: все его симпатии на стороне первого, а второе рисуется, наоборот, как какое-то падение, как утрата человеком его первоначального блаженства, соединенного с жизнью лишь одной животной стороной людской природы и одними естественными ощущениями и инстинктами: в естественном состоянии все добродетели, в гражданском — одни пороки. По мнению Руссо, от животных человек отличается не столько разумом, сколько свободной волей, да способностью к совершенствованию, которую Руссо, однако, считает источником всех бедствий рода человеческого: без этой роковой способности человек вечно пользовался бы «спокойными и невинными днями» первобытного состояния. Само сознательное существование (*état de réflexion*) казалось Руссо противоестественным, и человек, который рассуждает, — извращенным животным (*un animal dépravé*). Автор в трактате о неравенстве в таких чертах и такими красками изобразил жизнь первобытных людей, еще мало отличавшихся от животных, и жизнь современных нам дикарей, что заставил Вольтера шутливо пожелать чуть не стать на четвереньки и убежать в лес. «Первый, — говорит Руссо, объясняя возникновение общества, — первый кто, огородив кусок земли, выдумал назвать его своим и нашел таких простаков, которые ему поверили, был истинным основателем гражданского общества. Сколько преступлений, сколько войн, сколько убийств, сколько бедствий и ужасов отвратил бы от человеческого рода тот, кто, вырвав шесты и засыпав канаву, закричал бы себе подобным: берегитесь слушать этого обманщика: вы погибли, раз вы забудете, что плоды принадлежат всем, а земля никому... Пока, — читаем мы несколько далее, — люди довольствовались грубыми хижинами, пока они пользовались, как одеждой, звериными шкурами, сшиваемыми при

¹ *Greifenhagen J.J. Rousseau's Schrift über die Ungleichheit etc.*

помощи рыбьих костей, украшали себя перьями и раковинами, расписывали свое тело разными красками... словом, пока они предавались работам, которые могли делаться одним человеком, и довольствовались искусствами, не требовавшими соединения многих рук, они жили свободными, здоровыми, добрыми и счастливыми, насколько были к этому способны от природы, и продолжали пользоваться прелестью независимых взаимных отношений; но лишь только один человек почувствовал нужду в другом, лишь только стали примечать, что хорошо одному располагать пищей для двоих, равенство исчезло, водворилась собственность, обширные леса превратились в веселые поля, которые нужно было теперь орошать потом людей и на которых вскоре увидали всходы рабства и нищеты, возраставшие вместе с посевами хлеба». В числе следствий такого переворота, создавшего неравенство богачей и бедняков, Руссо указывает на всеобщую войну и необеспеченность, когда, наконец, «богатый, вынужденный необходимостью, создал самый обдуманый, какой только когда-либо приходил в человеческую голову, план — употребить в свою пользу силы как раз тех людей, которые на него нападали, превратить в своих защитников прежних противников, внушить им иные правила и дать им другие учреждения, которые были бы настолько же для него благоприятны, насколько, наоборот, было против него естественное право». И вот Руссо вкладывает богачу в уста такого рода слова: «Соединимся, чтобы защищать слабых от притеснений, обуздывать честолюбцев и обеспечить за каждым то, что ему принадлежит; установим правила правосудия и мира, с которыми все должны были бы сообразоваться... соединим свои силы в одной высшей власти, чтобы она нами управляла на основании мудрых законов, охраняла и защищала всех членов союза, отражала общих врагов и поддерживала между нами общее согласие». Но, думает Руссо, выгодную сторону соединения увидели все, а то, что можно было обратить во зло, предусмотрели лишь те самые люди, которые могли извлекать выгоды как раз из опасной стороны союза. «Таково было или должно было быть происхождение общества и законов, приготовивших новые пути для слабого и давших богатому новые силы, безвозвратно разрушивших естественную свободу, установивших навсегда закон собственности и неравенства, сделавших неоспоримое право из ловкого захвата и подчинивших на веки ради выгоды нескольких честолюбцев весь род человеческий труду, рабству и нищете». Мрачными красками описывает далее Руссо последствия установления гражданского общества и в одном месте так резюмирует свою общую мысль: «Следя за развитием неравенства во всех этих переворотах, мы увидим, что установление закона и права собственности было первым шагом, учреждение начальства (*magistrature*) — вторым, а третьим и последним — превращение законной власти во власть произвольную, так что в первую эпоху было узаконено существование богатых и бедных, во вторую — раз-

личие между сильным и слабым, а в третью — положения господина и раба, т. е. высшая ступень неравенства и предел, до которого доходят все другие неравенства». Общий вывод Руссо тот, «что законам природы противоречит состояние, при котором возможно, чтобы ребенок повелевал старцу, глупец управлял мудрым, и чтобы небольшая часть людей утопала в изобилии, когда голодная масса нуждается в самом необходимом».

Это сочинение, к которому, как к произведению публицистическому, конечно, менее всего можно прилагать мерку научного исследования или философского рассуждения, произвело весьма сильное впечатление на современников. Хотя Дижонская академия на сей раз отказала Руссо в премии, но это не помешало автору издать свой труд, и слава его поднялась еще выше прежнего. Если в первой диссертации Руссо явился, так сказать, культурным реакционером, то во второй, не сходя с занятой раньше позиции, он выступил уже в роли политического революционера и даже предшественника социалистов, хотя сам он не распространял свой принцип политического равенства на экономическую сферу. Своим рассуждением о неравенстве Руссо, кроме того, создал своего рода противовес тому положительному методу исследования в политических науках, который был введен «Духом законов» Монтескье: в научном отношении это был шаг назад, ибо вместо собирания фактов как первого условия научной работы Руссо, так сказать, рекомендовал чистую идеологию, и, например, под его влиянием, аббат Мабли (1709—1785), о котором еще речь будет у нас впереди, сначала изучавший политику по методу Монтескье, стал, как сам он выражается, «для уяснения себе обязанностей законодателя заглядывать в тайники своего сердца и изучать свои чувства».

Мы не будем долго останавливаться на философском романе Руссо «Эмиль, или О воспитании». Руссо имел не только политическое, но и культурное влияние на современников, между прочим еще своей «Новой Элоизой», которой внушал влечение к простому образу жизни, любовь к природе и деревне, гуманные чувства к народу, но вместе с тем как бы приглашал отказаться от деятельного пользования умственными способностями, дабы предаваться мечтательному созерцанию. Но кто хочет именно познакомиться с моральной проповедью Руссо, тот должен обратиться главнейшим образом к «Эмилю». Руссо вообще стоял на той точке зрения, что все прекрасно, когда только что вышло из рук Творца, и все искажается в руках человека, т. е. что человек по природе своей хорош, но что жизнь его всегда портит: задача воспитания в том и состоит, чтобы ослабить эту порчу, отнюдь не в том, чтобы искоренять естественные наклонности человека. «Эмилем», в теоретической своей стороне опирающимся на Локка, нанесен был удар старой педагогике и открыты в этой области новые перспективы. Книга Руссо, бывшая, по словам Гете, «das

Naturevangelium der Erziehung», оказала влияние не только на матерей, которые в то время, по выражению Мишле, были все беременны Эмилем, но и на теоретиков педагогики, из которых особенное внимание обращает на себя знаменитый Песталоцци. Одним из интересных эпизодов книги является знаменитое «Исповедание веры савойского викария», важное для характеристики религиозных воззрений Руссо. Его религия — деизм, но не рассудочный деизм Вольтера, а деизм, вытекающий из потребностей сердца, и связь идеи Бога с моралью у Руссо иная, чем у Вольтера, считавшего веру в Бога необходимой санкцией нравственности с чисто общественной точки зрения, т. к., по его мнению, трудно и даже невозможно было бы управлять государством, состоящим из атеистов: у Руссо на первом плане сама совесть, этот «инстинкт души». Вольтер выступал врагом христианства с рационалистической точки зрения, для Руссо святость Евангелия была «аргументом, говорившим его сердцу», ибо в христианской морали он находил «привлекательность и чистоту», находил «трогательную прелесть в поучениях» этой книги, «возвышенность в ее принципах и глубокую мудрость в ее беседах», т. е. критерием истины и здесь для Руссо было чувство. Подобными заявлениями он не удовлетворил, однако, верующих, а со стороны неверующих встретил вражду, т. к. для первых он слишком резко примыкал к деизму, нападая на вероисповедную исключительность и католицизма, и протестантизма, а по отношению ко вторым появление «Исповедания веры савойского викария» в самый разгар материалистических стремлений было своего рода вызовом на борьбу. Нужно, однако, заметить, что эта религия сердца, эта индивидуальная вера не имеет ничего общего с той гражданской религией, которую Руссо устанавливает в «Общественном договоре»: вообще у него как у человека чувства мы встречаем массу противоречий, и если он, например, рекомендует в «Эмиле» домашнее воспитание, как наилучшим образом ведущее к цели создать естественного человека, то там, где он рассматривает не индивидуум, а общество, он, наоборот, стоит за воспитание гражданское. Между прочим, и его «Contrat social» заключает в себе крупное противоречие: исходя из той идеи, что человек рождается и должен оставаться свободным, Руссо создает тем не менее политическую теорию, в которой личность совершенно приносится в жертву обществу и поглощается государством, как у Гоббса.

«Общественный договор» — весьма важный для уразумения духа XVIII в. политический трактат: *он может служить образцом того чисто рационалистического и абстрактного отношения к обществу*, которое характеризует философию эпохи. С другой стороны, он имел громадное влияние на политическое воспитание французского общества, через что идеи этого трактата сделались руководящими принципами революции, особенно во втором фазисе ее развития.

В самом деле, основа «Общественного договора» чисто рационалистическая¹. «Человек, — по Руссо, — уродился свободными и везде он в цепях», а общественный порядок «не дается природой, следовательно он основан на соглашениях (*conventions*), потому весь вопрос в том, чтобы узнать, в чем заключаются эти соглашения» (I, 1). Свободнорожденный человек, из отвлеченного понятия о котором таким образом исходит Руссо, является у него вместе с тем существом преимущественно разумным, т. е. им не принимаются в расчет ни те отношения зависимости человека от других людей, среди которых человек является на свет, ни то обстоятельство, что далеко не все люди поступают разумно, и что вообще не один разум руководит человеческими поступками: как раз самые ревностные последователи Руссо действовали впоследствии, руководимые прежде всего страстью. Взяв за исходный пункт своего рассуждения отвлеченную личность, а не реального человека, Руссо думал, однако, что он берет людей таковыми, каковы они суть на самом деле, и даже ставил это на вид читателю в начале своего трактата. И вот у него люди, эти вполне разумные существа, совершенно сознательно и вполне добровольно вступают в союз на основании взаимного договора, а затем и государство является именно таким союзом, имеющим своей целью общее благо, которое, по Руссо, не только для всех одинаково, но и всеми одинаково понимается. Учение о договорном происхождении государства существовало ранее Руссо: за целое до него столетие Гоббс уже отрицал общежительную природу человека, признававшуюся древними, а из новых, например, Гроцием (*appetitus societatis*), но зато Руссо совершенно по своему понял содержание этого договора, не говоря уже о том, что у него речь идет не о таком договоре между правительством и народом, о котором учили кальвинистические и индипендентские писатели XVI и XVII вв., ибо Руссо даже совершенно отрицал подобный договор. В силу договора у него создается верховная власть народа (*souveraineté du peuple*), и хотя опять-таки в учении о народовластии Руссо имел многочисленных предшественников в Средние века и Новое время, однако и тут он особенным образом понял идею, превратив прежнее чисто идеальное представление прямо в какую-то реальную величину, ибо вся совокупность народа является у него как бы единственной инстанцией, определяющей всю будущую деятельность государства. Содержание самого общественного договора у Руссо выражено в следующих словах: «найти такую форму соединения (*association*), которая защищала бы и охраняла всей своей общей силой личность и имущество каждого своего члена (*associé*) и посредством которой каждый, соединяясь со всеми, повиновался бы, однако, лишь самому себе, оставаясь столь же свободным как и раньше». Другими словами, по Руссо, человек должен был

¹ Ссылки в тексте относятся к книгам (римские цифры) и главам (арабские цифры) трактата.

бы сохранять в государстве всю свободу естественного состояния, но в той же самой главе (I, 6), откуда приведены эти слова, основным условием договора считается «совершенное отчуждение личностью всех своих прав в пользу общества» (*l'aliénation totale de chaque associé avec tous ses droits à toute la communauté*) и притом отчуждение без каких бы то ни было ограничений (*sans réserve*), ибо, говорит Руссо, «если бы у частных лиц оставались какие-либо права, то ввиду отсутствия высшего трибунала, который мог бы разрешать споры между ним и обществом (*le public*), каждый, будучи некоторым образом собственным судьей, вообразил бы себя скоро и судьей всех». Руссо думает, впрочем что, «когда каждый отдает себя в распоряжение всех, он в сущности не отдается никому» (I, 6). «Раз, — рассуждает он еще, — носитель верховной власти (*le souverain*, т. е. народ) состоит из образующих его частных лиц, у него нет и быть не может интересов, противоположных их интересам, и следовательно нет надобности, чтобы верховная власть была обставлена гарантиями со стороны подданных, ибо невозможно, чтобы тело захотело вредить всем своим членам» (I, 7), как будто бы, можно было бы возразить Руссо, большинство не могло бы нарушать прав меньшинства или единичных лиц. Во всяком случае *индивидуальная свобода в государстве Руссо ничем не обеспечивается*. Далее, прежние учения о народовластии оставляли за правительством самостоятельное значение, но у Руссо суверенитет народа понимается не в смысле первичной основы власти, а в смысле самого непосредственного ею пользования, причем державный народ как совокупность всей массы граждан проявляет непосредственно законодательную власть. У Гоббса народ передает абсолютную власть над собой правительству, у Руссо, наоборот, эта власть сохраняется всецело народом: эта верховная власть народа неотчуждаема, неделима, непогрешима, неограничима. Вот как сам Руссо говорит обо всем этом. «Верховная власть, будучи лишь проявлением (*exercice*) общей воли, никогда не может быть отчуждаема, и государь (*le souverain*, т. е. носитель верховной власти, а у Руссо это — весь народ), как существо собирательное (*être collectif*), может быть представляем только самим собою: власть (*le pouvoir*) может еще передаваться, но не воля (II, 1)... По той же причине, по которой верховная власть неотчуждаема, она и неделима, ибо воля есть общая или ее нет, т. е. она есть воля всего народа или его части». Руссо делает здесь примечание такого рода: «Для того, чтобы воля была общей, нет надобности, чтобы она всегда была единодушна, но необходимо, чтобы все голоса были сосчитаны»; вообще определение общей воли у Руссо весьма неясно, и если он отличает ее (*la volonté générale*) от воли всех (*la volonté de tous*), то он все-таки не показывает, каким образом может возникнуть общая воля там, где существуют разные классы, партии и частные интересы, образующие неодинаковые воли. «Общая воля, — думает он далее, — всегда права и постоянно стремится к общественной пользе... Народ всегда желает собственного блага, но не всег-

да его видит: никогда нельзя подкупить народ, но его можно обмануть, и лишь тогда кажется, будто он желает того, что дурно» (II, 3). «Как природа, наконец, дает каждому человеку абсолютную власть над всеми его членами, общественный договор (le pacte social) дает политическому телу над всеми его членами такую же абсолютную власть, и она-то, направляемая общей волей, носит название верховной власти» (II, 4). Одним словом, государственный абсолютизм, отдаваемый Гоббсом правительству, у Руссо переносится на весь народ: *свободу народа он смешивает с властью народа, а равенство понимает не в смысле равенства гражданских прав, а в смысле равенства во власти*, так что целью его у Руссо делается не пользование индивидуальной свободой и способностями, а непосредственное участие во власти, т. е. лишь бы все были равны во власти, а там пускай последняя будет беспредельна, как бы Руссо при этом ни оговаривал, будто общая воля, руководимая разумом, и потребовать не может, чтобы на личность были наложены бесполезные цепи. Между прочим, в конце трактата есть глава (IV, 8) о гражданской религии: находя, что христианство, отрывая сердца людей от всего земного, отрывает их и от государства, Руссо находит нужным, чтобы верховная власть установила чисто гражданское исповедание веры с правом изгнания из государства всякого, кто не станет верить в ее заповеди, как человека, непригодного к общественной жизни, а «если кто-либо, публично признав догмат этой религии, будет вести себя так, как будто он в них не верит, то должен быть наказан смертью, как человек, совершивший величайшее преступление, солгав перед законами». В число догматов этой религии (вера в Бога, в бессмертие души, в загробное воздаяние, в святость общественного договора и законов) Руссо включает запрещение нетерпимости, в силу чего тот, кто верит, что вне церкви нет спасения, должен быть прямо изгоняем из государства. Враг нетерпимости, Руссо не замечает, как он сам вводит нетерпимость в свою государственную религию. Таким образом, *его политическая теория, проповедуя самое широкое народовластие, соединяет последнее в сущности с отрицанием индивидуальной свободы*.

Эта теория существенным образом отличается от учения Монтескье. Автор «Духа законов» признает за народом право участия в законодательстве, но в форме представительства и под условием разделения властей, тогда как Руссо был сторонником непосредственного народовластия и неограниченности государственной власти античных республик. Монтескье отказывался признавать чистые демократии древнего мира свободными республиками, но *на политическом мышлении Руссо, как и на других политических писателях эпохи, сильно сказывалось влияние именно классических образцов*, и та самая Англия, которая автором «Духа законов» ставилась в пример свободного государственного устройства, у Руссо и у других политиков того же направления (например, у Мабли) являлась, наоборот, примером, которого следует остерегаться. «Верховная власть, — говорит Рус-

со, — не может быть представляема», а потому «депутаты народа не могут быть его представителями, ибо они суть только его приказчики (commissaires), не имеющие права делать окончательных постановлений. Всякий закон, не утвержденный непосредственно народом, не имеет силы; это и не закон вовсе. Английский народ воображает себя свободным и глубоко заблуждается: он свободен лишь во время выборов в парламент, но едва только выборы кончаются, он делается рабом, он ничто. В короткие минуты своей свободы он пользуется ею так, что вполне заслуженно ее теряет» (III, 15). С точки зрения непосредственного народовластия Руссо даже оправдывает в античном мире существование рабства (III, 15). Кроме того, признавая неделимость верховной власти, он вооружается против известного нам учения Монтескье. Наши политики, говорит он, «делают из суверена существо фантастическое, как бы составленное из разных кусков, как если бы они стали составлять человека из многих тел, из которых у одного были бы лишь глаза, у другого руки, у третьего ноги и больше ничего. Рассказывают, что японские фокусники разрубают ребенка на глазах зрителей, бросают в воздух его члены один за другим и получают в свои руки ребенка живым и невредимым. Таковы приблизительно и фокус-покусы наших политиков; расчленив общественное тело чудесным способом, достойным показывания на ярмарках, они опять соединяют его куски неизвестно каким образом» (II, 2).

Все дело в том, далее, что у Монтескье исполнительная власть пользуется самостоятельностью по отношению к власти законодательной, а у Руссо исполнительная власть, или правительство, является лишь вполне зависимым приказчиком суверенного народа. Если, с другой стороны, у Гоббса народ отказывается в пользу правительства целиком от своей верховной власти, то у Руссо последняя, как было сказано, остается за народом. Автор «Общественного договора» считает поэтом деспотией всякую государственную форму, при которой верховная власть не принадлежит народу, и называет республикой всякое государство, где сувереном является народ, хотя бы правительство было монархическое, разумеется, если монарх есть лишь простой исполнитель воли державного народа. И классификация форм правления у Руссо (III, 3) отличается от общеупотребительной тем, что в ее основу положено не то, кому принадлежит верховная власть, а то, из кого состоит правительство: с этой точки зрения демократическим правлением было бы такое, при котором все граждане, имея законодательную власть, пользовались бы еще правом приводить в исполнение законы, но сам же Руссо находит, что «если бы существовал народ богов, то он управлялся бы демократически», но что «такое совершенное правление не подходит к людям» (III, 4). Другими словами, правительством не может быть весь народ. Различая в государстве законодательную и исполнительную власти, как волю и силу, Руссо вообще называет «пра-

вительством, или высшей администрацией законное пользование исполнительной властью, а правителем (prince) или магистратом лицо или учреждение, на которое возложена эта администрация» (III, 1). Он не признает вместе с тем договора между народом и правительством, ибо есть только один первоначальный договор, и всякий другой мог бы быть лишь его нарушением (III, 17). Делая весь народ единственным носителем неограниченной верховной власти по отношению к отдельной личности, Руссо наконец лишает и правительство не только всякой самостоятельности по отношению к суверенному народу, но и всякой устойчивости. Дабы правительство не могло захватить верховную власть и сделаться деспотическим, Руссо советует именно, чтобы народ время от времени сам собою собирался и чтобы на его собраниях непеременившим образом ставились и пускались на голоса два вопроса: желает ли державный народ сохранить данную правительственную форму и желает ли он оставить исполнительную власть в руках лиц, которым она вверена? Мало того: народ всегда может нарушить и сам договор, на котором основано государство. Таким образом, одними сторонами своей теории узаконяя деспотизм государства над личностью, другими сторонами Руссо вводит в государственную жизнь начало анархии, — до такой степени в нем уживались противоречия, — и его теория, поэтому, была не столько теорией государства, сколько теорией революции. Нужно заметить еще, что Руссо не отрицал монархию или королевскую власть как государственную форму, в некоторых случаях даже предпочитая ее коллективному правительству, но его монарх — не государь (souverain), а республиканский сановник, хотя и называющийся королем. Подобная королевская власть с верховенством суверенного народа существовала в Польше, где роль такого народа играла шляхта, владевшая крепостным крестьянством. По просьбе поляков, Руссо написал об их государственном устройстве особое сочинение («*Considérations sur le gouvernement de Pologne*»), в котором он вообще выразил сочувствие польской республиканской монархии. Во Франции эта идея равным образом сделалась популярной, и если конституция 1791 г. заимствовала у Монтескье представительную систему и принцип разделения властей, то в основу конституции все-таки были положены именно идеи Руссо о народовластии и о монархии в смысле учреждения, существующего лишь для исполнения воли суверенного народа.

О некоторых воззрениях Руссо нам придется упомянуть и дальше.

XV. Дидро и энциклопедисты¹

Эпоха наибольшего развития французской оппозиционной литературы. — Условия, среди которых она развивалась. — Правительство и писатели. — Духовенство и новая литература. — Гуманисты и просветители. — Дидро и его значение. — История «Энциклопедии». — Ее общий характер. — Энциклопедисты и их воззрения. — Идеи Дидро. — Гельвеций, Гольбах и Рейналь, их идеи и значение их книг.

В тех рамках, которых приходится держаться нашему изложению истории Просвещения XVIII в., нет возможности останавливаться с такими же подробностями на других выдающихся писателях XVIII в., как это было сделано относительно Вольтера, Монтескье и Руссо. Последние два писателя имели решительное влияние на выработку политических воззрений французского общества в последние десятилетия перед революцией 1789 г., а Руссо, сверх того, сильно содействовал и образованию особого настроения ума и чувства в этом обществе, особенно рельефно проявившегося уже в эпоху самой революции, тогда как Вольтер своей деятельностью наиболее способствовал перевороту в общем мирозерцании эпохи. Другие писатели того времени равным образом или, как Вольтер, были представителями преимущественно умственной оппозиции, направленной главным образом против католической церкви, или деятелями политического и социального протеста против несправедливостей старых государственных и общественных порядков. В истории Просвещения XVIII в. нужно вообще различать эти два периода — период борьбы за духовную свободу, бывший подготовительным по отношению к другому периоду, и этот другой период — теоретического разрушения старых политических и социальных принципов и порядков и проповеди новых идей, на основании которых должно было впоследствии совершиться преобразование государства и общества. *Гранью между эпохой, когда философия XVIII в. имела характер преимущественно только умственного протеста, и той, когда новые начала стали прилагаться к вопросам политики и социальных отношений, можно считать 1750 г.* В самом деле, «Дух законов», положивший начало развитию французской политической литературы XVIII в., вышел в свет лишь в 1748 г.; только в 1749 г. было написано первое рассуждение Руссо, в котором он сделал нападение на современную цивилизацию, а его

¹ Кроме ранее указывавшихся сочинений (между прочим, переведенной по-русски «Истории материализма» Ланге), см. особенно: *Морлей Дж.* Дидро и энциклопедисты (*Morley J. Diderot and the encyclopedists*); *Rosenkranz K.* Diderots Leben und Werke; *Duprat.* Les encyclopédistes; *Scherer.* Diderot.

«Общественный договор» относится лишь к 1762 г.; «Энциклопедия», в которой объединились духовная оппозиция и оппозиция политическая, задумана была в конце сороковых годов, но первый ее том вышел в свет в 1751 г.; к 1755 г. относится «Кодекс природы» аббата Морелле; не ранее 1758 г., когда, между прочим, появилась и книга Гельвеция «De l'esprit», началось развитие экономической литературы, направлявшей свои удары на те принципы, которые лежали в основе старых хозяйственных порядков. Шестидесятые и начало семидесятых годов были вообще временем, когда философия XVIII в. сказала свое последнее слово; в 1762 г. кроме «Contrat social», появился и «Эмиль» Руссо; в 1765 г. была окончена «Энциклопедия»; через пять лет после этого вышла в свет «Система природы» Гольбаха (1770), за которой через два года последовала весьма влиятельная в свое время «Философская и политическая история европейских колоний и европейской торговли в обеих Индиях» Рэйналя (1772), и одновременно с этим была закончена вполне «Энциклопедия» изданием 11 томов гравюр. С конца семидесятых годов деятели этой литературы начинают уже сходить со сцены: в 1778 г. умирает не только Вольтер, достигший восьмидесяти четырех лет от роду, но и Руссо, бывший моложе его почти на двадцать лет, а наиболее видные из энциклопедистов, как стали называться последователи новой философии по своему громадному литературному предпринятию, были большей частью сверстниками Руссо, родившегося в 1712 г.: Дидро, глава энциклопедистов, родился в 1713 г., его главный сотрудник д'Аламбер в 1717 г., Гельвеций — в 1715 г., Кондильяк — в 1715 г. и т.д. В восьмидесятых годах, перед революцией, сходят со сцены: Тюрго (ум. 1781), д'Аламбер (1783), Дидро (1784), Мабли (1785), Гольбах (1789) и др. К 1789 г. старое поколение теоретиков сменилось новым поколением практических деятелей, из которых лишь очень немногие могут быть причислены к крупным писателям в духе философии XVIII в.: из них можно здесь назвать Кондорсэ (род. 1743), еще очень молодым человеком принимавшего участие в «Энциклопедии», а в зрелом возрасте игравшего роль в революции, и Мирабо (род. 1749), который, еще до своего выступления в роли трибуна, прославил свое имя, между прочим, как автор «Опыта о деспотизме».

Хронология выхода в свет главнейших произведений французской просветительной литературы показывает, что *наиболее боевым периодом в ее истории были пятидесятые и шестидесятые годы, к которым нужно прибавить еще самый конец сороковых и начало семидесятых*. Эта четверть века, на которую приходится и фернейский, «героический» период жизни Вольтера, и все время литературной деятельности Руссо, была именно второй половиной царствования Людовика XV: в 1774 г. он умер, а со вступлением на престол Людовика XVI начались новые времена, когда умственное движение предыдущих десятилетий стало переходить и, наконец, перешло в

движение политическое. Чтобы понять боевой характер французской литературы в третьей четверти XVIII в., нужно лишь припомнить условия, в какие она была поставлена в эти годы. В то время, как французские писатели были в большом почете у правительств других стран, в то время, как Фридрих II, а с шестидесятых годов и Екатерина II были с ними в дружбе, переписывались с ними и оказывали им покровительство, на родине они подвергались всякого рода стеснениям, гонениям и преследованиям, что заставляло не одного Вольтера издавать свои сочинения за границей или тайно, без обозначения имени автора, или под чужим именем, иногда с неверными указаниями на год и место напечатания книги, а при случае и отрекаться от авторства, чтобы не нажить себе неприятностей; чуть ли не один только Руссо в этом отношении не подражал примеру своих товарищей. Самим писателям грозила Бастилия или другие подобные тюрьмы, их книгам — конфискация, сожжение, а издателям и книгопродавцам — разного рода штрафы и наказания. Правительство накладывало руку и на само право литературной собственности, когда книга не была ему неприятна, но автор ее уже не был в живых, и в 1777 г. королевский совет декретировал, что литературная собственность есть привилегия, воспользоваться которой можно только с разрешения короля, т. е. правительство готово было и к литературе применить систему, практиковавшуюся им в промышленности, когда оно хотело делать мастеров в цехах и из торговли патентами извлекать доходы. Типографии и книжная торговля были подчинены не только строжайшему надзору, но и цеховому устройству и разным стеснениям вроде, например, права содержать в Париже заведения, имеющие отношения к книжному делу только в одном Латинском квартале, что породило продажу книг в разнос, а затем и сильную контрабанду, т. к. разносчики или сами стали тайно перепечатывать книги уже и без авторского даже разрешения, или начали покупать их у заграничных контрафакторов. Впрочем, все это, пожалуй, только способствовало распространению запрещенных изданий по очень дешевым ценам, хотя авторы и терпели от этого материальные убытки. В XVIII в. французское правительство было весьма часто во враждебных столкновениях с духовенством и парламентами; последние в свою очередь, представляя собой янсенистскую оппозицию, жили в ссоре с иезуитами и духовенством, но зато по отношению к новой литературе правительство, духовенство, парламенты, иезуиты и янсенисты действовали весьма единодушно, и особенно именно клир выступал враждебно по отношению к новым направлениям в литературе. В то время, как в других странах принимался принцип веротерпимости, и Фридрих II с Екатериной II прославлялись за то, что вступились за попранные права польских диссидентов и наказали первым разделом фанатическую республику, французская монархия была представительницей католической реакции в духе тех мер, которыми сопровождалась отмена

Нантского эдикта. Вспомним дела Рошета, Каласа и Сирвена для того, чтобы иметь примеры той нетерпимости, какую проявляла католическая церковь во Франции: мы видели, что для Вольтера католицизм и казался главной крепостью фанатизма и предрассудков, которую прежде всего следовало разрушить. Но нетерпимый, фанатически преследовавший все живое и новое, католицизм находился во Франции вдобавок в союзе с деспотическим правительством, несмотря на ссоры, происходившие между духовенством и светской властью, и потому очень понятное, если в церкви писатели XVIII в. видели как бы основу и воплощение всех зол, с которыми они считали себя призванными бороться. Французский клир той эпохи не мог внушать к себе ни уважения, ни расположения: своей нравственной испорченностью, роскошным образом жизни, легкомыслием и порочно-стью аристократические прелаты и светские аббаты, которых подозревали даже в неверии, напоминают нам развращенное итальянское духовенство перед Реформацией, но в то же самое время оно отличалось еще властолюбием, нетерпимостью и жестокостью, переносящими нас в эпоху католической реакции. Государство, поддерживавшее все притязания этого сословия, лишь бы только они не затрагивали непосредственных интересов власти, уже по одному тому должно было сделаться предметом нападков со стороны писателей, подобно Вольтеру, дороживших особенно духовной свободой. Но мысль не могла остановиться на той точке, далее которой почти не шел протест Вольтера, как мы это видим на примерах Монтескье и Руссо, и умозрительное направление оппозиционной литературы должно было перейти в направление прямо общественного характера.

Мы уже знаем, что в своей оппозиции католицизму Просвещение XVIII в. в лице Вольтера стало на иную точку зрения, нежели все те, на какие становились все предыдущие культурные движения. Оппозиция католицизму в более ранние времена была или светская, или религиозная, чему в культурной сфере соответствовали гуманизм и протестантизм. Просвещение XVIII в. являлось продолжением гуманизма, но продолжением, не осложненным новыми приобретениями человеческого ума и новыми влияниями исторической жизни. Гуманизм стал в разрез со средневековым католическим мирозерцанием преимущественно в области индивидуальной морали, но его мало интересовали физический мир и общественные отношения, снисходительная же терпимость церкви к неправованным воззрениям гуманистов не давала повода к тому, чтобы последние восставали против нее на той почве, которую историческая реакция создала для борьбы против церкви со стороны свободных мыслителей XVIII в. Просветители прошлого столетия были так же, как и гуманисты XIV–XV вв., противниками аскетизма, защитниками инстинктов человеческой природы, проповедниками необходимости следовать естественным влечениям, не только принципиально отстаивали независимость че-

ловческого разума, свободу мысли, проявившуюся уже и в деятельности гуманистов, но выступили еще на сцену в качестве людей, которые *не ограничивались в области миросозерцания одной моралью, в области же практической жизни — одними вопросами индивидуального бытия, но захватывали в круг своих умозрений и внешнюю природу, и общественные отношения*. В первом отношении они опирались на успехи естествознания, во втором отражали на себе ту неудовлетворенность старыми государственными и общественными порядками, которая искала только проявления в общественной мысли и должна, была найти его, раз на помощь к чувству недовольства пришла критическая мысль. В то самое время, как в уме замечательного натуралиста эпохи, Бюффона (1707—1788), возникла мысль в одной книге («Естественная история») охватить жизнь всей природы на основании новых научных выводов и гипотез, порвавших всякую связь с прежними традициями в этой области (около 1750), и в то время, как Руссо набрасывал на бумагу первые мысли, сделавшиеся исходным пунктом его социального протеста, один из писателей эпохи соединял в себе научно-философские интересы Бюффона с морально-социальными интересами Руссо, и то, что особенно прославило имя этого человека, было его *предприятием, в котором все выдающиеся писатели эпохи должны были соединить свои усилия, чтобы провести в общество новые воззрения на мир, на человека, на общество*. Этим человеком был Дидро, а предприятие называлось «Энциклопедией», которая сделалась главным памятником XVIII в. как литературный протест против не только старого миросозерцания, но и против старого порядка.

Некоторые писатели (например, О. Конт¹) оспаривают у Вольтера право считаться главным представителем французской философии XVIII в., считая величайшим гением этого столетия именно Дидро. Другие, устраняя Монтескье, сфера *влияния* которого на общественную жизнь была ограничена лишь областью вопросов государственного права и законодательства, также ставят имя Дидро рядом с именами Вольтера и Руссо: хотя он и уступал им по силе литературного таланта, но превосходил их в том, что у него одного из этого трио была в уме идея о научном методе, которой лишены были и Вольтер со своим блестящим и пронизательным рационализмом и Руссо, вдохновлявшийся страстью и чувством (Морлей). Нравственными качествами своими Дидро положительно стоял выше обоих корифеев философии XVIII в.; в этом отношении его даже сравнивают с Сократом. Почти всю жизнь Дидро приходилось, подобно Руссо, бедствовать и перебиваться, не бросая ремесла независимого литератора, и с замечательным стоицизмом выдерживать разные неприятности и гонения (за-

¹ Cours de philosophie positive, два последних тома (V и VI) которой представляют собой целую историю умственного развития.

ключение в Венсенском замке, преследования «Энциклопедии»), не впадая в озлобление; его добрые душевные качества снискивали ему друзей, его бескорыстие, доброта, отсутствие всякого фанатизма и независимость мнений — уважение. Способности Дидро были блестящие, литературная деятельность живая, многосторонняя: между прочим, он писал романы, а своими драматическими произведениями думал даже произвести переворот в этой отрасли литературы. Известно, что Дидро пользовался покровительством Екатерины II: узнав о его бедственном материальном положении, она купила у него его библиотеку за 16 тысяч ливров и сделала его пожизненным ее хранителем, уплатив ему вперед и жалованье за несколько лет, что было большим подспорьем при его денежных затруднениях: вынужденный в молодости писать за гроши по заказам книгопродавцев, он и во время ведения «Энциклопедии», издававшейся компанией книгопродавцев, получал за свой громадный труд, вложенный в это дело, очень малое вознаграждение. В 1773—1774 гг. Дидро сам приезжал в Петербург¹, где часто виделся и беседовал с императрицей, написав между прочим для нее записку о народном образовании в России. «Если бы, — рассказывала потом Екатерина, — я послушалась Дидро, мне пришлось бы все перевернуть в моей империи вверх дном, пришлось бы совершенно преобразовать и законодательство, и администрацию, и финансы, дабы очистить место для невозможных теорий». Умер Дидро в Париже в 1783 г., достигнув семидесятилетнего возраста. Перед смертью его часто навещал приходской священник, думавший его обратить, но Дидро неохотно поддерживал богословские разговоры, не уклоняясь от них, впрочем, когда священник особенно настаивал. Однажды оба они пришли к убеждению, что стоят на одной и той же почве в вопросах, касающихся нравственности и добрых дел, чем собеседник воспользовался для того, чтобы предложить Дидро сделать письменное изложение своих прекрасных правил с легким отречением от своих прежних сочинений, т. к. это на всех произвело бы очень хорошее впечатление. «Я полагаю, — отвечал Дидро, — что впечатление было бы хорошее, господин священник, но согласитесь с тем, что я поступил бы, как бесстыдный лжец». Правдивость была одним из выдающихся качеств Дидро, и вся его жизнь шла словно нарочно в разрез с его материалистической теорией нравственности; это, впрочем, можно распространить и на те случаи, когда другие энциклопедисты, провозглашая, что эгоизм есть единственный источник человеческого поведения, весьма непоследовательно делали отсюда выводы в смысле необходимости иметь в виду прежде всего общее благо.

Дидро стоял во главе предприятия, объединившего силы почти всего литературного мира Франции в годы наиболее напряженной культурной

¹ Об этом см.: Бильбасов В.А. Дидро в Петербурге.

борьбы. Мысль о том, что все человеческие знания составляют из себя одно целое, не была новой; в Средние века даже делались попытки объединения в одном целом всех существовавших тогда человеческих познаний, попытки, повторявшиеся и в Новое время, но та идея, которая одушевляла Дидро, всецело принадлежала основателю индуктивной философии Бэкону, а первообразом французской «Энциклопедии» XVIII в. была английская «*Encyclopaedia or universal dictionary of the arts and sciences*» Чемберса, вышедшая в свет в 1727 г. Сначала возникла мысль перевести эту книгу на французский язык, но книгопродавец Ле Бретон, выхлопотавший у правительства разрешение на издание перевода энциклопедии Чемберса, не сумел справиться с этим делом и обратился к Дидро, который, ухватившись за предложение взять на себя литературную часть предприятия, расширил первоначальную идею, поняв, как удобно будет воспользоваться формой энциклопедии для того, чтобы собрать в одно целое все идеи и знания своего времени. На новое предприятие было выхлопотано новое разрешение, и для ведения издания к Ле Бретону примкнули еще три книгопродавца, а Дидро привлек к сотрудничеству с собой знаменитого математика д'Аламбера. Этот ученый принадлежал равным образом к философским кружкам Парижа и был человеком, думавшим во многом сходно с Дидро и, как и он, дорожившим особенно положением независимого литератора: его, например, Екатерина II приглашала в воспитатели к своему сыну, обещая ему сто тысяч ливров жалованья, но он отказался от этого места, как отказался и от президентства в Берлинской академии, предложенного ему Фридрихом II. Дидро и д'Аламбер, стоявшие в первые годы рядом во главе предприятия, придали ему характер общего дела, совместной работы всех литературных направлений, отшатнувшихся от старой рутины на каком бы то ни было поприще мысли и знания. В «Энциклопедии» принимали участие, — большее или меньшее, — Вольтер, Монтескье, Руссо, Бюффон, основатель физиократии Кенэ и самый выдающийся ее представитель Тюрго, Гольбах и т. д. Самым старым сотрудником «Энциклопедии» был Лангле де Френуа, родившийся еще в 1674 г., самым молодым, выступившим в дополнительных томах 1776 г. — Кондорсэ, бывший почти на семьдесят лет его моложе, последним же из сотрудников умер Морелле, доживший до 1819 г.¹ Проспект, в котором объявлялось об издании, был написан самим Дидро, вступительная статья — д'Аламбером. Первый том «Энциклопедии» появился в 1751 г., за ним следовал в 1752 г. второй том, но тут-то и начались разные препятствия и затруднения. Духовенство с самого начала отнеслось враждебно к предприятию философов, и особенно недовольны были ученые иезуиты, которых даже не при-

¹ Сопоставление Морлея, который по этому случаю замечает: «С рождения Лангле до смерти Морелле — сколь многому научилась Западная Европа!»

гласили составлять статьи богословского характера. Они напали прежде всего на одного аббата (де Прада), писавшего для «Энциклопедии» статьи по теологии, и лишенного потом по их проискам ученой степени, которой он добивался в Сорбонне: его диссертация была объявлена вредной, и по ее поводу парижский архиепископ написал пастырское послание, в котором осуждались тезисы аббата и делались намеки на нечестивую «Энциклопедию», вследствие чего аббату пришлось даже спастись бегством к Фридриху II. (Другие два аббата, участвовавшие в «Энциклопедии», тоже подверглись гонениям: Ивон должен был эмигрировать, Морелле был посажен в Бастилию.) Принадлежавший к противоположной церковной партии янсенистов епископ Оксерский уже прямо сделал нападение на «Энциклопедию», на Бюффона и на Монтескье, что вызвало со стороны Дидро сильную отповедь, в которой он указывал на то, что поведение духовенства за последние десятилетия создало гораздо более неверующих, чем все философские сочинения, вместе взятые. Вскоре затем, по настоянию духовенства, королевским советом было декретировано уничтожение первых двух томов «Энциклопедии» как содержащих в себе учения, противные религии и королевской власти, и была даже мысль о том, чтобы дальнейшее ведение дела передать иезуитам. Третьему тому, вышедшему в свет в 1753 г., д'Аламбер предпослал красноречивую апологию своего дела и защиту своего товарища, но его и его сотрудников продолжали преследовать разными клеветами и инсинуациями, указывая на то, будто Дидро, д'Аламбер, Вольтер, Руссо и Бюффон составили шайку с целью ниспровержения всех общественных установлений. Когда в седьмом томе, вышедшем в свет в 1757 г., появилась статья д'Аламбера, ездившего около этого времени к Вольтеру в Женеву, о женевском духовенстве, которое он похвалил за его социннианские верования (чем крайне разобидел женевских пасторов) и за их нравственную жизнь и терпимость, французское духовенство не без основания приняло статью на свой счет, а тут еще в 1758 г. появилась книга Гельвеция «О духе», и буря разыгралась не на шутку. В 1758—1759 гг. с Дидро разошелся Руссо, начавший отзываться о «гольбаховцах» (Holbachiens) как о врагах человеческого рода и распространителях самых ядовитых идей; его покинул и д'Аламбер, которого утомила травля «Энциклопедии» и который советовал Дидро также бросить дело; против «Энциклопедии» и книги Гельвеция, считавшейся извлечением из этого издания, возбуждено было судебное преследование в парламенте, и независимо от этого государственный совет декретировал (1759) отмену выданной издателям привилегии, воспрещение продажи вышедших семи томов и печатания новых. Правда, «Энциклопедия» продолжала печататься, ибо правительство Людовика XV особенной твердостью не отличалось, а его отношения к духовенству были весьма изменчивы: то ссорились, то мирились, то опять ссорились. Дидро оставался непоколебимым в своей

уверенности, что доведет дело до конца в самом Париже, хотя Вольтер убеждал его или бросить работу, или перенести ее в какое-либо иностранное государство, переселиться в Лозанну или Лейден, уехать в Берлин или Петербург, где ему предлагалось убежище царственными покровителями новой философии. Дидро решился выпустить сразу все остальные тома и семь лет работал неустанно над ведением такого сложного дела, имея еще неприятности с издателем, т. к. последний тайно от Дидро выкидывал из подписанных им к печати корректур все сомнительные места, напуганный декретом 1759 г. В 1765 г. были изданы последние тома, не считая одиннадцати томов гравюр, которые были готовы только к 1772 г. На заглавном листе новых томов стояла пометка *Невшатель*, и сами экземпляры раздавались тайно. Духовенство думало обнародовать декрет, запрещающий издание, но парламент, бывший в ссоре с духовенством, на это не согласился, правительство же потребовало от владельцев «Энциклопедии» представления их экземпляров в полицию, где из них только вырезали некоторые места. Известный рассказ о том, будто «Энциклопедия» была спасена тем, что Людовик XV узнал из нее о приготовлении пороха, а г-жа Помпадур — о разных сортах румян, заимствован из одной статьи Вольтера, передавшего в ней то, что ему рассказывал один придворный лакей. «Энциклопедия» тотчас по выходе стала перепечатываться за границей, в Женеве, в Лозанне, в Ливорно и Лукке.

В «Энциклопедии» Дидро нужно отличать две стороны: это была не только исполинская осадная машина, не только арсенал, из которого можно было брать оружие для разрушительной работы, как очень часто характеризуют «Энциклопедию», это была еще — и главным притом образом — целая сокровищница положительных знаний, практических сведений и научного духа на той ступени его развития, на какой он стоял полтора десятилетия тому назад: «выдавать "Энциклопедию"», по словам Морлея, за Евангелие отрицания значило бы упускать из виду четыре пятых ее содержания». Несомненно, однако, что метафизика и психология энциклопедистов, совершенно материалистические и сенсуалистические, подрывали все те идеи, на которых созидалось старое религиозное, физическое, моральное и социальное мирозерцание, а идеи терпимости, гуманности и общего блага, бывшие весьма дорогими главному редактору, направляли мысль на те общественные недуги, от которых страдала Франция, и, следовательно, заставляли относиться с отрицанием к политическому и социальному строю, их вызывавшему. Такие слова, как земледелие, барщина (*corvée*), габель (соляной налог), поденщик, цехи (*maltrises*), привилегия, талия (*taille*, главный налог, падавший на население) и т. п., давали повод сотрудникам говорить о бедственном положении французского народа, о нуждах трудящейся массы, как большинства нации, о необходимости более равномерного распределения прибылей от труда. *Выработанного поли-*

тического учения «Энциклопедия» в себе, однако, не заключала, да и трудно было требовать от нее чего-либо подобного при крайнем разнообразии направлений, в ней представленных; только общий дух издания был оппозиционный, и как по отношению к тирании всякого рода, так и по отношению к фанатизму, язык «Энциклопедии» был враждебен и резок. В философском смысле «Энциклопедия» представляла собой не столько догматический атеизм, сколько рационалистический скептицизм, тем более что авторы статей теологического характера всегда имели в виду цензуру, и сам д'Аламбер говорил, что лишь время научит различать то, что они хотели сказать, от того, что говорили. Более определенных взглядов на эти вопросы, упрочивших за энциклопедистами известную характеристику, нужно искать скорее в их отдельных сочинениях, но и в статьях «Энциклопедии» проявлялся *тот же оппозиционный дух и по отношению к церкви*, поскольку ее учения и установления противоречили, по мнению авторов, общему благу. Идея общего блага определяет и отношение энциклопедистов, особенно самого Дидро, *к положительной науке, которая рассматривается, как великое орудие для материального и морального улучшения общества*, причем главными условиями правильного знания д'Аламбер в своей вступительной статье ставил пренебрежение к авторитетам и воздержание от преждевременного построения каких бы то ни было систем, другими словами, самостоятельное исследование и подробное и всестороннее обсуждение подлежащих решению вопросов. Сам Дидро был одним из наиболее деятельных вкладчиков статей в «Энциклопедию»: они занимают целых четыре тома в полном собрании его сочинений и касаются вопросов крупных и мелких, предметов возвышенных и обыденных, часто вещей самых несходных между собою. Между прочим, Дидро сам брал уроки разных ремесел, для того чтобы иметь возможность писать о них в «Энциклопедии», так что и с этой стороны он главным образом выносил на своих плечах все предприятие¹.

Под именем энциклопедистов разумеют преимущественно группу людей, которые в философском отношении стояли особенно близко к Дидро и были представителями скептицизма и материализма (или сенсуализма). Скептическая точка зрения особенно характеризует д'Аламбера, для которого изречение Монтеня (Montaigne): «*que sais-je?*» казалось единственно верным в философии. «Относительно существования Высшего Разума, — писал он, например, Фридриху II, — я думаю, что отвергающие его заходят гораздо далее, нежели в состоянии доказать свою мысль, и что скептицизм

¹ Полный заголовок «Энциклопедии», которая с дополнительными томами дошла до 37 томов, был таков: *Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, recueilli des meilleurs auteurs et particulièrement des dictionnaires anglais de Chambers, d'Harris, de Dyche, etc. par une société de gens de lettres. Mis en ordre et publié par M. Diderot et quant à la partie mathématique par M. d'Alembert.*

есть единственная разумная точка зрения». Представителем сенсуализма является главным образом Кондильяк (род. 1715), учивший, что единственным источником человеческих знаний является чувственное восприятие (*sensation*), изложив это учение в «Опыте о происхождении человеческих знаний» (1746) и в «Трактате о чувственном восприятии» (1754), напечатанных в Амстердаме и Лондоне во избежание неприятностей. Чисто материалистическое учение излагал Ламетри (род. 1709), военный врач, который в своих сочинениях, появившихся еще в сороковых годах («Естественная история души», «Человек-машина», «Человек-растение»), доказывал, что мысль есть свойство организованной материи, и что цель жизни заключается в удовлетворении чувственности. В сущности Ламетри не принадлежал к группе энциклопедистов: вынужденный бежать из Франции, он одно время жил в Лейдене и умер при дворе Фридриха II в год выхода в свет первого тома «Энциклопедии» (1751). Двое из писателей родственного направления, Гельвеций и Гольбах, особенно прославились своими книгами: «О духе» и «Система природы», о которых речь будет идти ниже, равно как о книге Рэйналя по истории обеих Индий, в которой также выразилось оппозиционное настроение энциклопедистов. Общее у этих писателей — скептицизм по отношению к метафизике и сенсуалистическая психология или прямой материализм. Скептицизм был в духе времени, и им сильно была проникнута философия деиста Вольтера, а сенсуализм был дальнейшим развитием теории познания Локка, материализм же вырастал на почве особого толкования, которому подверглась философия Ньютона: открытием закона тяготения тот великий мыслитель положил начало воззрению на мир как на движение, но движение косной материи предполагает нематериальное существо, которое сообщило ей первый толчок, и на такой точке зрения стоял Вольтер, тогда как младшие его современники пошли далее и стали рассматривать само движение как неотъемлемое свойство материи, отрицание же ими врожденных идей приводило их к догматическому атеизму, поскольку предшествовавшие мыслители неразрывно связывали между собой врожденную идею о Боге и бытие Божие. Не все названные писатели соединяли со своими отвлеченно-философскими или моральными воззрениями и взгляды политического или общественного характера: в последнем отношении, кроме Дидро, из их среды следует выдвинуть только Гельвеция, Гольбаха и Рэйналя.

Дидро вступил на литературное поприще незадолго до начала «Энциклопедии» в качестве переводчика («Принципы философии» Шэфтсбери, 1745) и автора «Философских мыслей» (1746) в скептическом духе, но с деистическими идеями. Эта книга была переведена на немецкий и итальянский языки, но в Париже сожжена по приказанию парламента. Продолжением (1747) последнего труда Дидро было небольшое сочинение, в котором он доказывал, как значится в заголовке (*De la suffisance de la*

religion naturelle), достаточность одной естественной религии. За «Письмо о слепых для зрячих» (*Lettre sur les aveugles a l'usage de ceux qui voient*, 1749) Дидро попал в Бастлию, хотя, кажется, главным образом по той причине, что задел в этом сочинении любовницу одного министра. Названный трактат Дидро имел целью показать, что человеческое знание относительно, что мысль не может быть критерием бытия и что ясность какого-либо тезиса не есть доказательство его истинности, причем исследуется, в какой мере отсутствие одного из пяти чувств изменяет обыкновенные понятия людей, обладающих всеми пятью чувствами, и имеет ли, например, слепец такие же основания верить в бытие Божие, как и зрячий, т. е. идея относительности человеческого мышления распространяется на само понятие Божества. Но полнее всего изложил Дидро свои философские воззрения в «*Pensées sur Interprétation de la nature*» (1754): на эти «Мысли» мы можем смотреть, как на раннее проявление тех идей, которые были обобщены в XIX в. Огюстом Контом, идеей о том, что философия должна отказаться от многих проблем и строить свое знание исключительно на научных данных. Ранние философские воззрения Дидро были смесью скептицизма с деизмом, но впоследствии он решительнее высказывал материалистические взгляды («Разговор между д'Аламбером и Дидро», «Сон д'Аламбера» и др., 1769), хотя и продолжал весьма идеалистически понимать человеческую природу, приписывая ей самоотверженные побуждения и страсти, направленные на благо ближнего, нравственность и добродетель, любовь к благодетелям и ненависть к злу, эти вечные источники высоких подвигов доблести, ведущих к единственному бессмертию — к посмертной славе. Дидро никогда не оставляло известного рода религиозное настроение. «Люди, — писал он, между прочим, в “*Pensées philosophiques*”, — изгнали Божество из своей среды; они заключили его в святилище; стены храма скрывают Его от взоров; вне Оно не существует. Безумцы! разрушьте препоны, суживающие ваши идеи; дайте простор Божеству (*élargissez Dieu*); вы должны видеть Его повсюду, где Оно есть, или уж говорите, что Оно не существует». Но он был противником католицизма, говоря, что он гораздо хуже лютеранизма, как последний хуже кальвинизма, этот — социнианизма, а тот — деизма. Политические взгляды Дидро, излагавшиеся им в разных статьях для «Энциклопедии» (*autorité, pouvoir, représentants, souverain*), не заключают в себе ничего оригинального и выработанного: в них, в сущности, повторяются идеи Монтескье и других писателей. Заслуживает быть отмеченным лишь его мнение о представительстве. В этом вопросе он придерживается мнения Монтескье и думает, что т. к. собственность создает граждан, то выборное право должно быть предоставлено лишь одним собственникам, хотя сам же говорит, что каждый разряд граждан должен иметь представителями людей, на деле знакомых с его нуждами, наибо-

лее же нуждающимися являются самые бедные. Дидро, впрочем, и не ставит вопроса о том, как примирить необходимость участия народной массы в делах управления с той характеристикой этой массы, какую он сам делает, говоря, что толпе не следует доверяться ни в области знания, ума и вкуса, ни в области чувств. Кроме того, уже по смерти Дидро издана была его «Политика государей» (1784) с крайне оппозиционным содержанием.

Влиянию Дидро и даже его непосредственному участию приписывали появление трех книг, в которых наиболее рельефно выразились воззрения энциклопедической школы. Это были: «De l'Esprit» Гельвеция, «Système de la nature» Гольбаха и «L'histoire philosophique et politique des établissements et du commerce dans les deux Indes» аббата Рэйналя, вышедшие в 1758, 1770 и 1772 гг.

Гельвеций был богатый откупщик, бросивший свою профессию тридцати пяти лет от роду и посвятивший себя занятиям философией. Кроме наделавшей в 1758 г. шуму книги, он написал еще другую под заглавием «О человеке», но она была издана (в 1774 г.) лишь после его смерти, последовавшей в 1771 г. Его сочинение «О духе» имело громадный успех, выдержало в короткий срок пятьдесят изданий, было переведено на разные европейские языки, произвело сенсацию среди самих философов, вызвало резкое порицание Руссо, несочувствие со стороны Тюрго, не вполне одобрительный отзыв Дидро, вооружило против себя правительство, духовенство, иезуитов, янсенистов, парламент, было сожжено рукою палача на одном костре с поэмой Вольтера о естественной религии, а цензор, давший разрешение на пропуск книги, был отставлен, сам же Гельвеций не мог более показываться при дворе и провел потом несколько лет в Англии и в гостях у Фридриха II. Распространению книги в читающей публике сильно содействовала ее легкая и приятная форма, смахивающая на остроумный фельетон, и, например, английский философ Юм рекомендовал ее прочесть Адаму Смиту, отцу политической экономии, прямо ради приятного изложения Гельвеция. Содержанием книги объясняется произведенная ею сенсация, тем более, что автор был известен за человека благородного, честного, гуманного и доброго, и Руссо даже говорил, что ум Гельвеция свидетельствует против его принципов, а его добродетельное сердце отвергает его учение. Дело в том, что это была попытка построить мораль не на основах теологии и не на принципах философской религии с ее врожденными идеями, а на опыте, свидетельствующем о том, что человек стремится к вещам приятным и избегает вещей неприятных, откуда, по учению Гельвеция, основой справедливости является интерес, мотивом последнего — удовольствие, что же касается до людских характеров, то они целиком суть продукты внешних влияний — воспитания, законов и т. п. С научной точки зрения книга была односторонняя, не говоря о мас-

се парадоксов и резкостей, которыми она была наполнена: Гельвеций признал существование только одних эгоистических влечений, совсем не обратив внимания на противоположные им влечения (симпатию, альтруизм), а совершенно верно указывая на силу воспитания и обстановки в образовании индивидуальных характеров, совсем не хотел принимать в расчет те врожденные человеку свойства, которые тесно связаны с его органическими особенностями. Впрочем, поверхностная психология Гельвеция, как и вообще вся отвлеченная философия его книги, лишенная глубины и основательности, сама по себе не так его занимала, *как применение новых начал к политике*. Та идея, на которой основывался Гельвеций, впоследствии была развита Бентамом, родоначальником утилитаризма, сделавшим ее исходным пунктом также своей юриспруденции и законодательных реформ: это — *принцип общей пользы, которому суждено было лечь в основу демократической философии, значительно отличающейся от вытекавшей из принципов Руссо*. Вот как выражается сам Гельвеций: для установления взаимной связи законов между собой «необходимо возвести их все к одному принципу — к принципу общей пользы, т. е. пользы самого большого числа людей». По словам автора книги «De l'esprit», в этом принципе заключены «вся нравственность и все законодательство», но, разумеется, что с этой точки зрения он не мог иначе отнестись к тогдашнему французскому законодательству, как отрицательно. С другой стороны, теория о том, что индивидуум есть всецело продукт общества, должна была указывать на необходимость улучшения общественных отношений: только хорошие законы создают добродетельных людей, и все искусство законодателя заключается в том, чтобы заставить людей из чувства себялюбия быть справедливыми один к другому, хотя Гельвеций и не видит трудности, представляемой необходимостью, чтобы законодатель (хотя бы правящие классы) подавил в себе чувство себялюбия. В книге Гельвеция, вследствие крайней неумелости его мышления, сочетались весьма плодотворные истины с прискорбными заблуждениями, вызывавшими в свое время протест: во всяком случае в ней был указан принцип будущих демократических реформ, хотя последние исходили не из того источника общей пользы, на который указывал Гельвеций.

Еще большую сенсацию произвела вышедшая в свет через 12 лет книга «Système de la nature», написанная Гольбахом, хотя публика в большинстве случаев не знала, кто был автор книги. Пфальцский барон Гольбах, совершенно офранцузившийся в Париже, собирал у себя в назначенные дни философов, т. е. у него был один из тех литературных салонов, которые тогда так процветали в Париже и, между прочим, прославили имена таких дам, как г-жи Тансен, Жоффрен, дю Деффан и девица де л'Эспинас. Это был один из наиболее образованных людей своего времени, славился своей библиотекой, картинной галереей, естественно-историческим кабинете-

том, своим гостеприимством, радушным и простым обращением, искренностью и добротой, любил веселую компанию, кормил на славу парижских философов и иностранных знаменитостей, попадавших в Париж, и был в особенно тесной дружбе с Дидро. И вот этот человек издает книгу, которую читают нарасхват, ужасаясь, однако, ее содержанию, и против которой вооружаются даже Вольтер и Фридрих II и оба берутся за перо для ее опровержения. Дело в том, что Вольтер вообще воздерживался от нападок на правительство, а Фридрих II шел рука об руку с философией XVIII в., пока она не делала нападений на принцип власти, все же *значение книги Гольбаха заключалось в том, что он страстно напал на правителей*, заговорив о них языком, каким до него еще не говорили, и провозгласив необходимость общественного освобождения, ставившегося им вдобавок в зависимость от замены деизма натурализмом. С большой догматической самоуверенностью Гольбах изложил в книге целое материалистическое мирозерцание с прямыми нападками на все спиритуалистические учения. Подобно Гельвецию, он основывает нравственность на личном благополучии, но это делается только на словах, в действительности же и он полагает основу морали в благополучии большинства. По его словам, например, хороший человек — тот, кто понимает, что его собственный интерес заключается в таком образе действий, который должен нравиться другим ради их собственных интересов, и что лишь путем добродетели достигается доверие других, без которого жить нельзя, а быть добродетельным значит находить наслаждение в пользе и радостях, доставляемых нами другим. Теоретическая сторона таких рассуждений могла быть несостоятельна, но практические выводы, делавшиеся отсюда, совпадали с требованиями социальной справедливости, которые в свою очередь вели к требованиям политического характера. Гольбах без фантастических аллегорий какой-нибудь «утопии» и без расплывчатых отвлеченностей Руссо указывал на все бедствия современной ему общественной жизни, ставя их в вину преимущественно неспособным, нравственно испорченным, равнодушным к своим обязанностям, жадным, властолюбивым и несправедливым правителям, образцом которых, действительно, был Людовик XV, а резкость языка, каким говорил Гольбах, испугавшая самого короля-философа, была началом той революционной фразеологии, в которую через двадцать лет по выходе в свет книги Гольбаха стала облекаться политическая философия Руссо. Основные идеи своего труда автор «Системы природы» изложил в 1772 г. в небольшой книжке «Здравый смысл, или Натуральные понятия в противоположность сверхъестественным», за которыми последовали другие подобного рода маленькие трактаты.

Большого шума наделала в 1772 г. и книга аббата Рэйналя «Философская история обеих Индий». Аббат Рэйналь, родившийся в 1711 г. в большой бедности, каким-то непонятным образом разбогател и, между про-

чим, стал тратить свои деньги на то, чтобы путем премий за ученые сочинения содействовать прогрессу знаний и улучшению общества. Подобно другим философам, он ездил к Фридриху II, но был принят им не очень благосклонно за несколько своих строк об этом монархе в «Истории обеих Индий». Рэйналю пришлось увидеть революцию, т. к. он умер только в 1796 г. в самой крайней бедности. В 1791 г. он обратился с письмом в Национальное собрание, в котором были такие слова: «Я долго имел смелость напоминать королям об их обязанностях, а теперь позвольте мне указать народу на его заблуждения, представителям же его — на угрожающие всем нам опасности», и в его критике тогдашних обстоятельств было много справедливого. «История обеих Индий» по духу своему принадлежит к энциклопедической школе: недаром ее, подобно «Системе природы», приписывали Дидро. Как и другие сочинения энциклопедистов, труд Рэйналя, несмотря на свои большие размеры, читался публикой с охотой, благодаря и чисто внешней своей занимательности, а также благодаря смелости мысли и резкости тона, заставившим даже одного из его почитателей сделать из книги выборку наиболее пикантных мест и издать ее под заглавием «L'esprit de Raynal»: такие хрестоматии тогда были в большом ходу. В короткое время книга выдержала двадцать изданий. Ею восхищались Франклин, Гиббон, Робертсон, Фридрих II — пока не дошел до тех страниц, где автор обращается к нему с нотациями. Теперь это сочинение, рассказывающее историю открытия и европейской колонизации в заморских странах, не выдержало бы весьма снисходительной критики, но не с ученой стороны его главным образом ценили современники. Французов оно должно было особенно занять, вышедши в свет вскоре после того, как Семилетняя война изгнала их из Канады и из Ост-Индии, а еще более общему настроению эпохи соответствовала тенденция книги. Ко всем старым нападкам на религию Рэйналь прибавил новые, изобразив жестокость христиан-европейцев по отношению к истреблявшимся ими и обращавшимся в рабство дикарям, быт которых, наоборот, расцветивался всеми красками благополучия и добродетели в духе идиллии естественного состояния Руссо: большая публика впервые узнала из этой книги, как поступали европейцы в Америке, и впервые же эта книга ввела низшие расы в семью человечества, связанную общими узами прав и долга, а иллюстрации, сделанные в начале каждого тома и представляющие, например, дикое избиение индейцев, подневольную работу негров и т. п., должны были усиливать впечатление. Эта книга попала в руки негра Туссена Лувертюра и произвела свое действие¹. Рассказы Рэйналя пересыпаны наконец сентенциями и рассуждениями, в которых с точки зрения человеколюбия делаются нападки на католицизм, пуританизм, государственные учрежде-

¹ Негр Туссен Лувертюр был предводителем восстания рабов.

ния и законы, производящие или допускающие несправедливости и притеснения. *Философия энциклопедистов влияла на общество, главным образом, как философия морального и политического протеста, искавшего опоры в новом натуралистическом мировоззрении*, но и вне связи с последним литература второй половины XVIII в. имела резко оппозиционный в политическом отношении характер.

XVI. Политические учения и общественные идеи XVIII в.¹

Характер политической философии XVIII в. и критическое к ней отношение. — Причины, породившие интерес к общественным вопросам, и условия, определившие общий характер их решения. — Отношение этой литературы к французской монархии. — Демократическая монархия маркиза д'Аржансона. — Мабли и его политические идеи. — Взгляды писателей XVIII в. на историю Франции. — Классические идеалы. — Начало политической экономии. — Физиократы и физиократия. — Учение физиократов сравнительно с принципами Адама Смита. — Коммунистические идеи и социальные утопии в XVIII в.

Отличие французской просветительной литературы XVIII в. от итальянской гуманистической XIV—XV вв. заключается в альтруистическом и социальном характере, какой она принимает, тогда как гуманизм был слишком эгоистичен и индифферентен по отношению к вопросам общественной жизни. Эта философия XVIII в. отличается и от философии XVII в. тем, что не только не ограничивается отвлеченными вопросами о

¹ По истории политических учений см. сочинения, указывавшиеся раньше. История политической экономии Бланки. История политической экономии (*Blanqui. Histoire de l'économie politique*); *Kautz. Theorie und Geschichte der Nationsloekonomik*; *Dühring. Kritische Geschichte der Nationaloekonomik und des Socialismus*; *Инерэм. История политической экономии*; *Einsenhart. Geschichte der Nationaloekonomik*. Только что вышли еще в свет лекции по «Истории политической экономии» проф. А. И. Чупрова, представляющие в кратком очерке (231 с.) не только историю экономических идей, но и историю экономических форм быта, начиная со Средних веков (особенно в Англии). Физиократам посвящены с. 120—125. Сочинения по истории политической экономии специально после А. Смита здесь не указываются. Кроме того, существует значительная литература по истории политической экономии во Франции в XVIII в. *Гейссман. О сущности физиократического учения и о значении его в истории политической экономии*; *Daire. Introduction sur les doctrines des physiocrates* (в *Collection des principaux économistes*); *Horn. L'économie politique avant les physiocrates*; *Kellner. Zur Geschichte des Physiocratismus*; *Laverge. Les économistes français du XVIII siècle*; *Vroil. Étude sur Clicquot-Blervache, économiste du XVIII siècle*. См. также особый параграф в моей книге «Крестьяне и крестьянский вопрос во Франции». Сюда же нужно отнести некоторые сочинения о Тюрго, на которые ссылка сделана ниже при истории его министерства. По истории социальных учений, кроме общих трудов по истории политической экономии, см.: *Sudre. Histoire du communisme*; *Thonissen. Le socialisme depuis l'antiquité jusqu'à la constitution de 1852*; *Villegardelle. Histoire des idées sociales avant la révolution française*; *Le Faure. Le socialisme pendant la révolution française*; *Graham. Socialism new and old*; *Щеглов Д. История социальных систем*. Указания на сочинения об отдельных авторах в своих местах. В решении политических вопросов в XVIII в. начали обращаться к истории. О развитии исторической науки во Франции: *Monod G. Du progrès des études historiques en France depuis le XVI siècle* (в *Revue historique*, т. I), а об исторических взглядах XVIII в.: *Thierry A. Considérations sur l'histoire de France*.

Боге, душе, знати, морали, природе, но решительно подчиняет свои решения этих вопросов соображениям о благе человека, о благе общества, а из вопросов политических, социальных, юридических и экономических делает предмет исследования, не столько ради объяснения того, как возникают, чем бывают и каким целям служат учреждения и законы, сколько ради того, чтобы узнать, чем они должны быть не в одной лишь теории и как можно внести истину и справедливость в людские отношения, в нравы и законы, в общественные формы и государственные установления. И проповедуются выводы этой новой общественной философии не в специально ученых трактатах, а в самых разнообразных литературных формах, ибо просветители заботятся не об одном том, чтобы удовлетворить свою любознательность или просто открыть истину, что тоже доставляет личное удовольствие, но и о том, чтобы распространить образование в обществе, сделать других просвещеннее, нравственнее, более «добродетельными», как любили выражаться в XVIII в., более счастливыми и чтобы изменить к лучшему законодательство и правительство. В XIX в. общественные и исторические знания, науки политические, юридические и экономические сделали громадные успехи сравнительно с XVIII столетием, но именно мыслителями прошлого века были подготовлены все эти успехи, а некоторые книги, вышедшие из-под пера философов XVIII в., даже оказали особенно сильное влияние на развитие научного знания в области философии общества, истории, политики, юриспруденции и народного хозяйства. С точки зрения современного состояния этих наук, конечно, легко критиковать политическую литературу XVIII в., открывать в ней серьезные недостатки, но нужно принимать в расчет, в каком состоянии были тогдашние знания, тогдашние методы, от какой массы ненаучных традиций и предрассудков приходилось очищать писателям прошлого века науку о человеке и обществе. Если с современных точек зрения многие теоретические основания тогдашней социологии действительно не выдерживают критики, то столь же легко обнаруживаются теперь недостатки этой социологии в ее практических выводах после того, как исторический опыт показал людям XIX в., что применение тех или других идей к действительности не дало тех результатов, которые от них ожидалось, или что в некоторых отношениях результаты были совсем противоположного свойства, нежели предполагалось, но и в этом отношении ошибки людей, еще не имевших исторического опыта, были простительны. Конечно, всесторонняя историческая критика в применении к политическим и общественным идеям прошлого века не может не производить, даже должна производить их оценку с точки зрения их научной основательности и того опыта, который заключается в истории их применения, но остановиться на одном этом значило бы впасть в односторонность и — позабыв тогдашнее состояние теории общества и что лишь позднейший опыт мог обнаружить многие

ошибки, тогда сделанные, — упустить из виду стремления, породившие эти учения, условия, повлиявшие на их характер, положительные приобретения, сделанные благодаря им, развитием научной мысли и то обстоятельство, что многое и очень многое хорошее, вошедшее в жизнь за последние столетия, было результатом применения как раз некоторых из этих идей. Конечно, в настоящей книге не может быть места для такой всесторонней оценки, особенно со специальной точки зрения истории науки, и общую оценку приходится заменить отдельными замечаниями по одиночным поводам, тем не менее это небольшое рассуждение было необходимо ввиду того, что в новых исторических трудах политическая философия XVIII в. критикуется чуть не исключительно или с точки зрения современных теорий, или же с точки зрения исторического опыта, одинаково обнаруживающих теоретические и практические недостатки этой философии, как будто мы имеем дело с современными нам теориями, требующими именно такой критики по отношению к идеям и задачам нашего времени, а не с воззрениями, которым более ста лет, и для которых уже наступила история. Историческая оценка идей должна быть основана именно на изучении отношения этих идей к их времени, к причинам их возникновения и усилиям, среди которых им пришлось развиваться.

Все до сих пор нами изложенное из истории новых идей XVIII в., указывает на то, что *умственное настроение, создавшее просветительную литературу, заключалось не только в теоретическом интересе ко всему человеческому, отличавшем и итальянских гуманистов, но и в сердечном участии к человечеству, заставлявшем желать уничтожения всех общественных порядков, которые мешают людскому благополучию*, чего как раз у гуманистов почти не было. С такой-то именно точки зрения они сделали нападение на искаженную религию, на испорченное государство, на несправедливые законы. В настоящее время легко объяснять отрицательное отношение просветителей к действительности из одного рационалистического принципа тогдашней философии, но в этом мы должны видеть лишь одну сторону дела, ибо настоящий источник нерасположения философов к исторически сложившемуся порядку вещей заключался в чувстве негодования на то, что этот порядок был отрицанием элементарнейших прав личности и заставлял страдать народные массы. Одним словом, интерес, возбуждавшийся в мыслителях прошлого века явлениями общественной жизни, не был отвлеченный интерес знания, понимания и исследования и не был непосредственный интерес, заставляющий приобретать те или другие сведения о государстве, праве, народном хозяйстве, необходимые в практической жизни: этот интерес был глубоко проникнут этическим началом, и *подобно тому, как все попытки построить новое миросозерцание на отвлеченных идеях разума или на данных естествознания взамен начал теологических имели целью дать новую основу для морали, так сама мораль рассматривалась только как*

основа для теории общества и общественного идеала. Философия XVIII в. знаменует собой в истории этических учений¹ наступление новой эпохи — эпохи, когда *идея индивидуальной нравственности расширяется в идею нравственности социальной*, и этого нельзя не принимать в расчет, делая оценку этой философии. С другой стороны, разложение старого политического и социального строя вызывало естественное стремление к переменам. Франция перед 1789 г. удивительно напоминает нам Германию накануне двадцатых годов XVI в., когда государственный строй и общественные отношения прежнего времени были расшатаны и всеми чувствовалась необходимость выйти из тягостного положения, вследствие чего тогда возникла целая публицистика, содержанием которой были жалобы на настоящее, проекты реформ и надежды на будущее. И в Германии перед Реформацией, и во Франции перед революцией католическое миросозерцание не удовлетворяло образованного общества, а церковь возбуждала к себе ненависть и вследствие чисто моральных мотивов в обоих же случаях, в то самое время как и государство, и взаимные отношения общественных элементов вызывали к себе одну только неприязнь. И сочинители памфлетов реформационной эпохи в Германии, и авторы политической литературы во Франции были лишь выразителями того, что более или менее накопело на душе у каждого, кто только имел поводы жаловаться на «порчу церкви» или на старый порядок. Но политические писатели XVIII в. не были простыми разрушителями, ибо они хотели заменить дурные порядки хорошими, и уже другой вопрос, насколько была тогдашняя общественная наука на высоте своей задачи — руководить людьми в отыскании новых путей в политической и общественной жизни и насколько общество, воспитанное «старыми порядками», способно было перевоспитаться в новом духе для того, чтобы с успехом перестроить формы своей жизни.

Кроме Монтескье и Руссо, оказавших своими «Духом законов» и «Общественным договором» большое влияние на политическую жизнь, кроме энциклопедистов, сильно содействовавших теоретическому разрушению «старого порядка», Франция в XVIII в. выставила еще целый ряд писателей, делавших предметом своих размышлений и исследований государство и общество и также оказавших немалое влияние на историю политической мысли и жизни. Этих писателей можно разделить на три категории: 1) публицисты или политические писатели в тесном смысле, 2) экономисты вообще и в частности физиократы и 3) социальные реформаторы с коммунистическим оттенком.

Во французской политической литературе XVIII в. ввиду того, что она развивалась в эпоху «просвещенного абсолютизма», находившего сочувств-

¹ По истории этики см., между прочим: *Iodl. Geschichte der Ethik in der neueren Philosophie*; *Смирнов А.* Английские моралисты XVII века.

вие у многих философов, начиная с Вольтера и кончая Тюрго, но преимущественно ввиду событий, наступивших в 1789 г., особый интерес представляет вопрос о королевской власти. Мы уже знаем, что Монтескье, сторонник средневековой сословной монархии и английской конституции, видел в монархе главным образом власть исполнительную, хотя и с известной долей участия в законодательстве, отдававшимся этим писателем народному представительству совместно с аристократической корпорацией вроде английской верхней палаты. Руссо, стоявший на той точке зрения, что верховная власть принадлежит непосредственно народу, признавал необходимость — для известных случаев — монархического правительства, но т. к. правительство вообще у него только исполнитель народной воли, то весьма естественно, что и монарх Руссо является обладающим лишь одной исполнительной властью, делегированной ему народом. Такова была и точка зрения еще одного политического писателя XVIII в., хотя и менее известного, чем Руссо, но оказавшего, как и он, большое влияние на политические воззрения революционной эпохи, именно аббат Мабли, о котором речь будет идти впереди. Со всех этих точек зрения, которые отдельные писатели стремились подтвердить и исторически, *многие права, которыми пользовалась во Франции королевская власть, казались узурпированными у сословий или у нации*, смотря по тому, имелся ли при этом в виду старый сословный строй или новое понятие нации. С другой стороны, и те писатели, которые оставались сторонниками абсолютной монархии, совершенно иначе понимали ее значение и призвание, нежели понимали это сами представители власти: во-первых, одни, как Вольтер, приглашали ее к союзу с философией, что до известной степени и осуществилось вне Франции, а во-вторых, ее стремились разлучить с привилегиями сословий и превратить в монархию демократическую. Мы еще увидим, как в этом духе думал и даже начинал действовать Тюрго, философ, сделавшийся министром; но идея демократической монархии имела и теоретическо-го защитника в литературе.

Один из министров Людовика XV, отставленный от своей должности в 1748 г., маркиз д'Аржансон¹, отличавшийся большой проницательностью, выступил именно теоретиком демократической монархии. О его проницательности свидетельствует, например, то, что еще в 1733 г., т. е. за целое полустолетие, он предсказывал, что североамериканские колонии отложатся от Англии и сделаются независимой республикой, подобно тому как это случилось с Голландией по отношению к Испании, а в начале пятидесятых годов он очень ясно предвидел возможность во Франции общей революции. Будучи последователем известного аббата де Сент-Пьера, мечтавшего о вечном мире и о внутренних преобразованиях в государстве,

¹ Zévort E. Marquis d'Argenson et le ministère des affaires étrangères.

желавшего «такой философии, которая не заключала бы в себе ничего не нужного (vain) и отвлеченного, а улучшала бы разные отношения (conditions) жизни»¹, д'Аржансон еще в тридцатых годах XVIII в. составил для бывшего тогда первым министром кардинала Флери план государственных реформ, в котором встречаются многие идеи, осуществленные потом только учредительным собранием 1789—1791 гг. Предвидя возможность дворянской оппозиции, т. к. план вел к слиянию аристократии с народом путем уничтожения ее привилегий, д'Аржансон замечает, что дворянство можно принудить к молчанию, раз облагодетельствованный народ будет на стороне правительства, да, наконец, король мог бы и прямо опереться на генеральные штаты. Главная идея маркиза была та, что новый порядок должен осуществить во Франции гражданское равенство (*égalité entre citoyens*): он рекомендовал уничтожение привилегий, освобождение крепостных, отмену феодальных прав, дабы все земли сделались свободными (*franc aleu roturier*) и т. д., ибо равенство есть *un pouvoir inné*, как выражается д'Аржансон, и из него выходит свобода не только для отдельных лиц, но и для всех общин, на которые он хотел разделить всю Францию, — свобода, которая есть мать всяких благ, раз она сочетается со справедливостью. Д'Аржансон — сторонник наименьшего государственного вмешательства в жизнь, полагая, что «*pour gouverner mieux il faudrait gotiverner moins*». «Вся власть в руках одного лица (*toute autorité à un seul homme*), — такова основная мысль д' Аржансона, — все действие в руках многих, демократия в монархии (*la démocratie dans la monarchie*); все власти выборные, временные, отнюдь не пожизненные, еще того менее наследственные², вот как, — прибавляет он, — я представляю себе хорошее правление». Сочинение д'Аржансона долго ходило по рукам в рукописи, пока не было издано в 1764 г. в Амстердаме, под заглавием «*Considérations sur le gouvernement ancien et présent de la France*». Та административная децентрализация Франции, которая введена была учредительным собранием через четверть века после выхода этой книги в свет, имеет удивительное сходство с «демократией в монархии» д'Аржансона.

К числу видных политических писателей нужно отнести еще аббата Мабли, слишком позабытого историками XIX в., несмотря на то, что он предсказывал революцию и влиял на политические идеи, которые стали осуществляться в 1789 г., как это сознавали сами современники переворота³. О нем говорили еще, как об историке Франции, но особенно как об

¹ Он умер в 1743 г.

² Вспомним французскую продажность должностей.

³ Заслуга указания на значение Мабли как политического мыслителя принадлежит проф. В. И. Герье, который в 1886 г. издал по-французски книгу «*L'abbé de Mably, moraliste et politique; étude sur la doctrine morale du jacobinisme puritain et sur le développement de l'esprit républicain au XVIII siècle par M. W. Guerrier*». Тому же предмету автор посвятил статьи, помещенные в «Вест-

одном из социальных утопистов, но прежде всего он был именно моралист и политический писатель, ибо само его социальное учение было логическим выводом из его моральной доктрины, а в своих «*Considérations sur l'histoire de France*» он, в сущности, только доказывал свой политический тезис. Особенно, говорит В.И. Герье, политическое учение Мабли должно было бы интересовать историков. Между Монтескье и Руссо, между двумя великими теоретиками конституционной монархии и абсолютной демократии Мабли занимает особое место. Как и Руссо, он — сторонник принципа равенства, но он отвергает политическую теорию общественного договора, основывающуюся на непосредственном законодательстве народа; как Монтескье, он хочет основать свою политическую систему на народном представительстве и разделении властей; но совершенно так же, как и Руссо, он относится с презрением к английской конституции; одним словом, в своей теории Мабли более всего приближается к системе, осуществленной в 1789 г. И среди своих современников Мабли стоял одиноко, находясь в ссоре с главными представителями умственного движения эпохи, которых не щадила его критика, с Вольтером, с энциклопедистами, с Руссо. Мабли начал с исторического труда «*Parallèle des Romains et des Français par rapport, au gouvernement*» (1740), откуда впоследствии вышли его «*Observations sur les Romains*» и «*Considérations sur l'histoire de France*» (1751 и 1765 гг.); к ним примыкают и его «*Observations sur les Grecs*» (1748), а кроме того, он написал «*Droit public de l'Europe fondé sur le traité*» (1748). Главными моральными и политическими трактатами его являются: «*Entretiens de Phocion*» (1763) и «*De la législation ou principes des lois*» (1776), не считая написанной по просьбе поляков книги «*Du gouvernement et des lois de la Pologne*» и других сочинений. В конце жизни он издал свои «*Principes de morale*» (1784), и уже по его смерти (1785) вышли в свет его «*Les droits et les devoirs du citoyen*», в самый год начала революции. Наконец, он полемизировал еще с физиократами в своем сочинении «*Doutes proposées aux philosophes économistes sur l'ordre naturel et essentiel des sociétés politiques*» (1768). Одним словом, это был писатель весьма плодовитый. Не излагая здесь политической теории Мабли в ее целом, мы отметим лишь его отношение к Монтескье и Руссо. Мабли был сторонником разделения властей и защищал этот принцип от нападков на него физиократа Мерсье де Ла Ривьера, но, в сущности, он проповедовал не конституционную монархию и

ник Европы» за 1887 г. В доказательство того, что Мабли был совсем забыт как политический писатель, можно привести то, что он остался неизвестен одному из лучших историков Польши во второй половине XVIII в. («*Kalinka. Sejm czteroletni*»), несмотря на то, что писал политические советы полякам. См. те же мои книги, которые названы по поводу политических советов полякам, написанных Руссо. Кстати, нужно заметить, что Мабли отнесся к польским порядкам с большей критикой, чем Руссо, и давал польским патриотам более благоразумные советы. О нем см. еще в т. III Истор. полит. уч. Б.Н. Чичерина.

республику. Уже Монтескье косвенно содействовал развитию республиканизма, дав республике высший «принцип» (доблесть) сравнительно с монархией (чувство чести) и назвав королевскую власть просто исполнительной, что заключало в себе некоторое ее принижение перед законодательной властью народных представителей, хотя сам же он желал, чтобы король своим veto имел долю и в законодательстве, и вот с легкой руки Монтескье все более и более стала утверждаться мысль о том, что королевская власть есть un pouvoir exécutif¹. У него, кроме того, высказывалось и некоторое недоверие к этой власти, раз он рекомендовал смотреть на королевских советников, как на людей, совершенно чуждых законодательному учреждению, хотя он опять-таки защищал прерогативы короны, как средство к тому, чтобы государство не превратилось в «несвободную республику». Мабли, отстаивая принцип равновесия властей и ссылаясь на английскую конституцию в доказательство его возможности, в сущности, однако, понимал это отношение в смысле простого подчинения исполнения законодательству, ибо между обоими, по его мнению, должно быть полное согласие, без чего непременно явилась бы анархия. С другой стороны, он рекомендовал ослабить исполнительную власть разделением ее между разными независимыми одна от других администрациями. Мабли был, в сущности, противником английской конституции («Critique de gouvernement d'Angleterre») и противопоставлял ей шведскую как раз за то, что в ней были принижены монархическая власть и королевское достоинство: по его мнению, это было образцовое произведение нового законодательства, ибо шведский сейм, гораздо более мудрый, чем английский парламент, присвоил себе всю законодательную власть; а исполнительную власть отдал королю совместно с сенатом, приложение печати которого заменяло подпись короля в отсутствие последнего или если он заставлял долго ожидать подписи, пока не было введено, чтобы в случае королевского отказа такая подпись была заменяема приложением штампа. Тем не менее Мабли был сторонник монархии, в которой видел гарантию против тирании какого-либо сословия или какой-либо партии. Полякам он даже советовал ввести у себя наследственную королевскую власть вместо избирательной и объявить особу монарха священной и неприкосновенной; тем не менее он и им доказывал, что королю и сенату не нужно давать ни малейшего участия в законодательной власти. «Всякий законодатель должен, — говорит он, — исходить из того принципа, что исполнительная власть была, есть и вечно будет врагом власти законодательной». Таким образом, Мабли весьма категорически высказывается против королевского veto, которому Монтескье, наоборот, приписывал большое значение.

¹ Исполнительная власть (фр.). — Прим. ред.

Что касается до законодательной власти, то она, по Мабли, должна принадлежать народу; он, например, полемизировал против физиократа Мерсье де ла Ривьера, который доказывал, что естественная склонность людей к несправедливости и тирании мешает им быть законодателями. Мабли, однако, желал, чтобы при народном верховенстве гражданин мог не повиноваться несправедливым законам и имел право поэтому подвергать законы своей критике. Здесь он резко отличается от Руссо, но еще важнее другая разница: автор «Общественного договора» был противником представительной системы, которая для Мабли, наоборот, является единственным средством основать политическую свободу, ибо, говорит он, когда сам народ создает свои законы, ему ничего не стоит относиться к ним с презрением, а потому законодательная власть должна быть вверена лицам, выбранным для того, чтобы представлять народ. В чистой демократии, пишет он, «на площади создаются постановления столь же несправедливые и нелепые, как и в диване». При таком государственном устройстве каждый гражданин может предлагать свои фантазии (*rêveries*), чтобы превращать их в законы, а свойства толпы таковы, что все дела решаются в ней в безрассудном порыве (*par vertige*). Здесь, говорит он еще, «гражданин, всегда склонный к смещению своеволия и свободы, боится наложить на себя слишком тяжелое ярмо посредством собственных же законов и видит в сановниках лишь слуг (*ministres*) своих страстей. Народ знает, что ему в действительности принадлежит верховная власть (*qu'il est véritablement souverain*), и у него будут потакатели и льстецы и, следовательно, все предрассудки и пороки деспота... Демократия сообщает душе импульсы, создающие героизм, но при отсутствии правил и просвещения эти импульсы действуют вместе с предрассудками и страстями. Не ищите у этого народа-государя (*ce peuple-prince*) характера, ибо у него найдете только легкомыслие и непостоянство... Все установления, все законы, которыми он будет стараться сохранить свою свободу, будут в сущности лишь новыми ошибками, которыми он будет поправлять старые ошибки, а потому он всегда рискует быть обманутым ловким тираном или подпасть под власть сената с введением аристократии в перспективе». Особенно эту идею он развивает в одном своем посмертном труде, оставшемся малоизвестным (*Du cours et de la marche des passions de la société*): против чистой демократии Мабли приводит, кроме соображений психологического характера, и исторические свидетельства, заимствованные из изучения классического мира. Нельзя не согласиться с новейшим исследователем политической доктрины Мабли¹, что *его политический идеал был чем-то средним между конституционной монархией Монтескье и законодательствующей демократией Руссо*; ибо он одинаково не доверял и честолюбивым

¹ Проф. В.И. Герье.

стремлениям представителей исполнительной власти, и страстям невежественной толпы: между прочим, он советовал, чтобы представительное собрание законодателей было обставлено разными формальностями, которые не позволяли бы возникновению в нем опасных увлечений, а в частности, желал введения положительных инструкций (*mandats impératifs*) представителям со стороны избирателей. Впрочем и у Мабли, как и у Руссо, было немало противоречий: коммунистический утопист, каким он был в своих социальных воззрениях¹, в качестве политика он находил возможным верить политические права лишь земельным собственникам, ссылаясь на упадок Афин, когда они стали «республикой, управляемой рабочими» (*la république gouvernée par les ouvriers*). Или, например, разрешая гражданам в известных случаях оказывать сопротивление законам и властям, он в то же время находил, что законодатель, дабы сделать людей добродетельными и общество счастливым, имеет право прибегать к «священному насилию» (*la sainte violence*), исторгаящему их против их воли (*par la force*) из-под власти их пороков. Если конституция 1791 г. ближе всего соответствует политическому идеалу Мабли, то в его заявлениях о праве граждан сопротивляться несправедливым законам и о праве государства употреблять «священное насилие» нельзя не видеть своего рода принципов, сакционировавших все то, что было наиболее анархического и деспотического в событиях Французской революции. Мабли был прежде всего моралист, и его желание установить в обществе нравственность, так сказать, законодательным порядком необходимо вело к деспотизму власть имеющих (в чьих бы руках она ни была) над единичной личностью, свободу которой он, однако, хотел охранить от произвола.

Мабли и исторически хотел оправдать свою теорию указанием на то, будто такая, о какой он говорит, республиканская монархия есть исконное достояние французского народа. Примыкая к «Франко-Галлии» Готмана, он излагал политическую историю своей родины, как будто германцы времен Тацита, франки, пришедшие с Хлодвигом, были «*souverainement libres*», а в смене Меровингов Каролингами он видел прямо восстановление исконной верховной власти французского народа: даже Карл Великий рисуется у него в виде республиканского монарха в духе его собственной теории, ибо известные общегосударственные съезды при этом монархе казались ему национальными собраниями с суверенной властью, а сам Карл — королем, никогда не препятствовавшим тому, чтобы постановления этих собраний делались законами. Генеральные штаты он считает лишь слабым подобием национальных собраний Карла Великого. В «*Etude de l'histoire*»², — написанном для одного принца, который Ахенским ми-

¹ См. ниже, в конце главы.

² Написан около 1767 г., но напечатан был позднее (в первые годы Людовика XVI).

ром был призван на трон Пармы, и для старшей дочери Людовика XV, — Мабли прямо рекомендует правителям отдать верховную власть в руки генеральных штатов или собраний народных представителей.

Нужно вообще заметить, что во Франции многие *уже начинали прибегать к истории для оправдания своих политических взглядов*, хотя сама история была еще весьма плохо разработана. В 1734 г. вышла в свет книга аббата Дюбо под заглавием «Критическая история водворения французской монархии в Галлии» (*Histoire critique de l'établissement de la monarchie française dans les Gaules*), написанная против теории Буленвилье, доказывавшего, что привилегии дворянства и приниженное состояние третьего сословия во Франции суть законные результаты завоевания галлов франками¹. В своей книге Дюбо доказывает, что правление французских королей было непосредственным продолжением власти римских императоров, которые формальным трактатом передали им власть. Маркиз д'Аржансон, со своей стороны, смотрит на феодальные права как на узурпацию, доказывая вместе с тем вред аристократии. Если бы, рассуждал он, королевская власть не раздавила феодализма, Франция сделалась бы другой Польшей, но вместе с тем он жалел, что короли, протянув руку демократии, не довели своего дела до конца и, укрепив собственную власть, соединились с дворянством. Они ничего не выиграли от введения неограниченной власти, ибо все выгоды от нее достались аристократии же. Пусть правительство создаст новый порядок вещей, предоставив ведение всех внутренних дел общинам с выборными властями, по возможности само меньше вмешиваясь, ибо «демократия всегда была настолько же сильным другом монархии, насколько аристократия являлась ее врагом». Таким образом, прибавив к этому еще воззрения Montesquieu, порицавшего весь новейший период французской истории, мы можем сказать, что *наиболее популярные исторические взгляды на прошлое и современное состояние Франции были направлены против того характера, какой получила королевская власть, и против остатков социального феодализма*. Если Montesquieu является еще сторонником аристократии, то другие писатели выражают главным образом демократические идеи.

Говоря о политических воззрениях писателей XVIII в., нельзя не указать на *влияние на них республиканских идеалов античного мира*: никогда, если можно так выразиться, классицизм в политике не был так силен, как в рассматриваемую эпоху и позднее, во время Французской революции. Увлечение древностью, которым корят итальянских гуманистов, никогда не было так сильно, как в XVIII в., по крайней мере, в области политических стремлений. Руссо, властвовавший над умами, был поклонником Спарты, Афин и республиканского Рима, прославлял их учреждения, преклонялся перед их законодателями. Другие писатели, например Мабли,

¹ Сочинение Буленвилье называется *Hist. de l'ancien gouvernement de France* (1727).

равным образом приучали общество проникаться воззрениями и даже настроением античных республиканцев, насколько это настроение представлялось читателям в сочинениях древних авторов с известной примесью морализирующих рассуждений или риторических украшений, относившихся к таким понятиям, как «отечество», «доблесть», «гражданин» и т. п. Жизнеописания Плутарха делались таким же источником нравственного и политического назидания, каким была, например, Библия для английских пуритан времен первой революции. Читались еще Тацит и Светоний, и по ним учились ненавидеть деспотизм. Этот республиканский классицизм действовал и на подрастающее поколение, особенно, на будущих деятелей революции. «Еще ребятами, — писал один из них в конце века, — мы вращались в обществе Ликурга, Солона, обоих Брутов и удивлялись им, а достигнув зрелого возраста, мы о том лишь и думали, чтобы им подражать».

В XVIII в. область общественных наук расширилась благодаря возникновению новой науки — политической экономии. Настоящим ее основателем считают обыкновенно Адама Смита, автора «Богатства народов» (*Wealth of nations.*), вышедшего в свет в 1776 г., но уже за десять лет перед тем (1766) Тюрго в небольшом сочинении под заглавием «Размышления об образовании и распределении богатств» (*Reflexions sur la formation et la distribution des richesses*) сделал первую попытку систематического изложения естественных законов, управляющих народным хозяйством, *мысль же о самих этих законах принадлежит вообще школе физиократов*, родоначальником которых был придворный врач Людовика XV Кенэ (Quesnay). Вот почему французы весьма естественно видят начало политической экономии в школе физиократов, предшественниками же их учений называют Вобана и Буагильбера, писавших в конце царствования Людовика XIV. Дальнейшее развитие политической экономии принадлежит вообще главным образом XIX в., в котором экономическим отношениям и вопросам предстояло занять такое важное место в истории государства, общества и теоретической мысли, XVIII же век был веком физиократии. К этой школе принадлежали все наиболее выдающиеся экономические писатели перед Французской революцией. Основатель физиократии, Кенэ, родившийся в одном году с Вольтером (1694) и умерший в одном году с Людовиком XV (1774), участвовал в «Энциклопедии», где ему принадлежат две статьи, а в 1758 г. издал в самом ограниченном количестве экземпляров «*Tableau économiqne*», где изложил основы своей теории, затем следовали «Общие правила экономического правления в земледельческом государстве». К школе, как только что было упомянуто, принадлежал Тюрго, один из замечательнейших людей XVIII в., экономист, философ и государственный человек, жизнь которого впервые описал Кондорсэ (1786). Дюпон де Немур, издатель сочинений Кенэ, напечатал в 1778 г. «Физиократию, или

Естественное устройство наиболее выгодного для человечества рода правления» (*Physiocratie ou constitution naturelle du gouvernement le plus avantageux au genre humain*). Далее следует назвать Мерсье де ла Ривьера, автора «Естественного и существенного порядка политических обществ» (*L'ordre naturel et essentiel des sociétés politiques*). Одним из рьяных приверженцев физиократии сделался также Мирабо, отец знаменитого деятеля революции, еще ранее Кенэ, высказывавший многие физиократические мысли и примкнувший к его школе, автор периодического «Друга людей» (*Ami des hommes*), сделавшегося его собственным прозвищем¹. Физиократические воззрения стали обращать на себя внимание правительств. Баденский маркграф Карл Фридрих даже сам сделался физиократом, составив на французском языке «Сокращение принципов политической экономии» (1772) и поручив немецкому физиократу Шлетвейву сделать опыт применения экономических принципов школы к трем селениям². Со вступлением Тюрго в министерство, в котором этому философу-экономисту принадлежала руководящая роль физиократии на короткое время (менее двух лет в 1774—1776 гг.), был предоставлен случай применить свои принципы на практике. На экономическое законодательство Французской революции эта теория оказала также значительное влияние. С другой стороны, ее тезисы вызвали сильную полемику, вращавшуюся особенно около вопроса о хлебной торговле, ставшего животрепещущим во Франции XVIII в.³, но нередко высказывалось несогласие и с основными принципами физиократии.

«Физиократия» значит господство природы. Это название возникло в связи с общим стремлением к отысканию естественных начал в религии, морали, праве и политике: физиократия была «естественным устройством правления», «естественным порядком обществ» (как значилось в приведенных заглавиях физиократических книг), «естественным течением хозяйственной жизни», которое противопоставлялось тогдашней экономической политике. *Это была реакция против меркантилизма, с которым новая экономическая доктрина расходилась по всем пунктам.* Меркантилизм выше всего ставил торговлю и промышленность, тогда как физиократы, как бы повторяя мысль Сюлли, *выдвигали на первый план земледелие*, ибо считали землю и заключенные в ней силы природы единственным источником богатств (*la terre est l'unique source des richesses*): по их теории, лишь один труд на земле приносит «чистый доход» (*le produit net*), этот плод естественных

¹ Об этой замечательной личности см.: *Loménie*. Les Mirabeau. В новейших биографиях Мирабо-сына (Штерна, Русса, Мезьера) уделяется место и Мирабо-отцу, о котором (по Ломеви) есть и русская статья в «Этюдах» В. Корша.

² См. в отделе о «просвещенном абсолютизме».

³ См. книгу Г.Е. Афанасьева «Условия хлебной торговли во Франции XVIII в.». Там указана и литература предмета.

сил, которого не дают ни обрабатывающая промышленность, ни торговля, а потому лишь одни землевладельцы, улучшающие почву, и земледельцы, ее обрабатывающие, составляют настоящий «производительный» класс общества, тогда как все остальные, получающие плату за свои услуги из «чистого дохода», создаваемого сельским хозяйством, суть классы «непроизводительные». Еще при жизни главных физиократов Адам Смит положил начало более правильному воззрению на эти предметы, доказав, что факторами производства вместе с землей (т. е. естественными силами природы) являются капитал (т. е. сбережения, без которых невозможно никакое производство) и труд, создав далее более широкое понятие народного хозяйства, охватывающее и земледелие со скотоводством, и промышленность, и торговлю, и, наконец, заявив более верный принцип для причисления тех или других людей к производительным классам. В одном отношении, однако, Адам Смит стоял на точке зрения физиократов, именно *восставая против правительственного вмешательства в хозяйственную жизнь*. Меркантилизм был системой правительственной регламентации промышленности и торговли: ни производство, ни отмен продуктов не были предоставлены свободной инициативе, тогда как и физиократы, и Адам Смит стояли за экономическую свободу. Это было как бы применение к промышленности того принципа, который был высказан д'Аржансоном: хорошо управлять значит управлять как можно меньше. Один из французских экономистов, не принадлежавших к физиократии, Гурнэ, выразил стремление к экономической свободе в знаменитом изречении «laissez passer, laissez faire», т. е. дайте свободу производству, дайте свободу торговле. Физиократы, как и Адам Смит, требовали, чтобы хозяйственная жизнь была предоставлена своему естественному течению, чтобы частная инициатива ничем не стеснялась, полагая, что личный интерес — лучший указатель для каждого, что и как ему делать, и веря в то, что свобода конкуренции служит общественному интересу: только позднейший опыт показал, что в таких расчетах сделаны были ошибки, хотя в отрицательной части своего учения, нападавшего на тогдашние порядки, экономисты XVIII в. были правы. Роль правительства в экономической жизни физиократы понимали не в том смысле, чтобы оно должно было законодательствовать, а в том, чтобы признавать и провозглашать «естественные законы». В этом отношении весьма любопытен разговор Екатерины II с Мерсье де ла Ривьером, которого она приглашала в Петербург для совета с ним о законодательстве. «Каких правил, — спросила императрица, — следует держаться, чтобы дать наиболее подходящие законы для народа? — Давать или создавать законы — такая задача, государыня, которой Бог никому не предоставлял, — отвечал Мерсье де ла Ривьер, чем вызвал новый вопрос Екатерины: к чему же он сводит науку правления? Свою основную мысль физиократ выразил тогда в следующих словах: наука

правления сводится «к признанию и проявлению законов, начертанных Богом в организации людей, желать же идти дальше было бы большим несчастьем и чересчур смелым предприятием».

Естественный порядок казался физиократам и единственно разумным, т. к. он был наиболее выгодным для людей. Принципы школы находились в противоречии не только с теорией и практикой меркантилизма, но и с массой других сторон старого порядка: физиократы были противниками привилегий, феодальных прав, стеснявших сельское хозяйство, цеховых монополий, старой финансовой системы (рекомендуя заменить все налоги одним поземельным, который падал бы на «чистый доход» нации) и пр. и пр., так что *физиократы являлись принципиальными противниками того экономического порядка, который господствовал тогда во Франции*. Между прочим, их учение играет важную роль в постановке крестьянского вопроса, о чем будет еще говориться ниже. Что касается до политических воззрений физиократов, то у них мы встречаемся с сочувствием к «просвещенному абсолютизму» и, например, многие свои идеи Мабли высказал в полемике с Мерсье де ла Ривьером, стоявшим за *despotisme légal*, как он выражался.

В XVIII в. явилось и несколько писателей, в которых можно видеть предшественников коммунизма и социализма XIX в., но их идеи не получали практического применения, кроме попытки, известной под именем заговора Бабефа. Некоторые причисляют к этой категории писателей Руссо, но это неверно, и уже не раз замечали, что Руссо вернее обозначил бы суть своего учения, если бы назвал свой «Договор» не общественным (*Contrat social*), а государственным (*Contrat politique*). Хотя в его сочинениях и есть места, толкуемые в коммунистическом смысле, но не нужно забывать, какую роль у Руссо играет фраза, и что в «*Contrat social*» он признает частную собственность, хотя и отличаясь от физиократов по вопросу о ее происхождении: последние именно стояли на точке зрения Локка, относившего ее к естественному праву, Руссо — на точке зрения Гоббса, видевшего в ней создание государства, хотя при общей несогласованности идей Руссо у него же в статье «Политическая экономия», помещенной в «Энциклопедии», мы находим определение собственности как истинного основания общества и самого священного права гражданина. Но в XVIII в. были и настоящие писатели в духе коммунизма. О сочинении одного из них, Бриссо (*Recherches philosophiques sur le droit de propriété et de vol*) и о настоящем отношении его автора к выраженным в нем идеям пришлось упомянуть выше: нужно только прибавить, что, нападая на право индивидуальной собственности, он имел в виду главным образом жестокие уголовные законы, карающие бедняка, который крадет, чтобы не умереть с голода, а вовсе не какое-либо социальное переустройство. С другой стороны, в истории нередки примеры, социальных утопий, большей частью

бывших простыми «упражнениями ума» или особого рода «государственными романами»¹, вовсе не рассчитанными на непосредственное применение к жизни. Если и делались раньше попытки действительного применения идей, родственных коммунизму и социализму, то только в религиозном сектантстве, что же касается до литературных произведений вроде «Утопии» Томаса Мора, или подобного же произведения Кампанеллы, то часто они имели значение лишь морального обличения современных порядков или идеалистических мечтаний о золотом веке на земле. Только в XIX в. сенсимонисты и фурьеристы выступили на путь практического осуществления своих утопий, от которых, как таковых, вообще отказались позднейшие представители социализма, направив и теорию, и практику общественного переустройства на иные пути. Представителем утопии в XVIII в. был аббат Морелли, который в своей «Базилиаде» (*lies flottantes ou la Basiliade*, 1753) и в своем «Кодексе природы» (*Code de la nature*) проповедует коммунистическое устройство общества, напоминающее то, которое мы находим в знаменитой «Утопии» XVI в. Самым, однако, видным *представителем того направления критической мысли во Франции, которое касалось вопросов общественного устройства, был уже известный нам аббат Мабли*. Этот моралист, политик и историк был вообще одним из главных представителей общественной идеи равенства, которое он восхвалял преимущественно, как состояние выгодное для человеческой нравственности, видя в неравенстве, наоборот, первое звено в цепи всех человеческих пороков и ссылаясь при том же и на естественное право. Так как в основе неравенства состояний лежит неравенство имущественное, и т. к. личный интерес, принимавшийся Мабли за основу морали, заставляет человека стремиться к приумножению своего материального достатка, остается, по его мнению, лишь одно средство — основать общественную нравственность на личном интересе и в то же время сделать людей счастливыми, уничтожив именно сам повод к любостыжанию: этим средством Мабли считает не что иное, как общность имуществ. И он ссылаясь в доказательство своего положения и на естественное состояние, и на исторические примеры, конечно, в известном толковании, т. к. в XVIII в. с историей обращались довольно произвольно, а так называемое общинное землевладение, историей и теорией которого усердно занялась лишь наука XIX в., тогда еще не было известно так, как теперь.

¹ Выражение Роберта Моля.

XVII. Отношение публицистики XVIII в. к народу¹

Общий характер отношения литературы XVIII в. к народу. — Гуманность ее принципов и плохое знание действительных отношений. — Крестьянский вопрос и его постановка в XVIII в. — Поход против феодальных прав. — Отношение литературы XVIII в. к рабству и крепостничеству. — Вопрос о земельном обеспечении крестьян. — Физиократия и ее отношение к крестьянам. — Агрономическая литература. — Оппоненты физиократов. — Важность крестьянского вопроса в XVIII в.

В литературе XVIII в. особого внимания заслуживает ее отношение к народу: впервые литература, которая всегда отражает на себе преимущественно жизнь интеллигентных и обеспеченных слоев общества, *обратила особое внимание на народную массу только в XVIII столетии*, чем положено было начало тому интересу, с каким особенно в XIX в. стали относиться к народу, к его материальным нуждам и духовным потребностям, к его экономическому быту, к его мировоззрению. Ни средневековый католицизм, ни гуманизм, ни протестантизм не обнаруживали такого участливого отношения к народной массе, как Просвещение XVIII в., а в иных случаях даже прямо проникались взглядами, не вполне благоприятными для народа. Средневековый католицизм, мирившийся на практике с крепостничеством, выгодами которого пользовалось само духовенство, со своей аскетической точки зрения не придавал особого значения материальному благосостоянию народа. В гуманизме было слишком много умственного аристократизма и слишком мало альтруистического настроения, чтобы он мог обратить серьезное внимание на народные нужды. Религиозное движение XVI в. ближе стояло к народу и само в некоторых государствах охватило народные массы, но за исключением всюду подавлявшегося сектантства, получившего демократический характер, протестантизм был далек от того, чтобы взять под свое покровительство низшие классы общества, тем более, что сам он нередко принимал аристократический характер, как мы это видим в Польше и Франции, где кальвинизм принимался почти исключительно дворянством, и даже в таких странах, как Шотландия, в которых Реформация увлекала и народную массу. В частности, стоит вспомнить отношение Лютера к крестьянскому восстанию или то, как

¹ Данное вопроса мы уже касались в книге «Крестьяне и крестьянский вопрос во Франции в последней четверти XVIII века». По крестьянскому вопросу в разных странах см. работу проф. И.В. Луцицкого. Вообще по данному предмету многое заключается в указывавшейся раньше литературе.

смотрели на народ политические писатели из кальвинистов и даже индепендентов. Правда, и в XVIII в. мы можем указать на Вольтера с его презрительным отношением к непросвещенной черни, но тот же Вольтер горячо восставал против крепостничества. Правда, Монтескье был сторонником социального феодализма, но у того же Монтескье мы встречаемся с осуждением невольничества. Но главное то, что *в литературе XVIII в. много альтруистического чувства*, той филантропии или гуманности, которая, что особенно важно, позволяла ей *с нравственной точки зрения обсуждать общественные формы*. Это настроение играет именно особенно важную роль ввиду того, что при другом настроении те же самые отвлеченные принципы не приводили к тем же заключениям, какие делались из них только благодаря известной подкладке, данной в развитом нравственном чувстве. Средневековый католицизм считал себя продолжением того высокого религиозного учения, по которому все люди — братья, все — дети единого Отца, но принцип этот оставался в нем мертвой буквой. И та же идея естественного права, во имя которого просветителями XVIII в. отрицалось несправедливое неравенство, не мешала ведь Пуффендорфу считать вполне совместным с ней существование крепостничества. Все дело как раз в той филантропии, в том человеколюбии, которым все более и более проникалась литература XVIII в. и которое диктовало ей ее гуманные принципы. Но, конечно, от заявления благородных чувств до разработки вопроса о том, в чем же заключается зло и какими средствами можно его уvrачевать на практике, еще очень далеко: эта литература, в сущности, *очень плохо знала народ, его действительное положение, его нужды, общие условия, при каких было бы возможным его благосостояние*, т. е. она обличала вопиющие, бросающиеся в глаза несправедливости, но мало изучала быт народа, его историю. Вина в этом лежала отчасти в самой литературе, но это была вина, вытекавшая не из умственной лени писателей XVIII в., а из молодости самой литературы, впервые представившей себе общественное зло во всем его объеме. Другая доля вины падает и на тогдашние политические условия: многих вопросов литература не смела касаться, и если ей удавалось, например, высказывать даже весьма смелые отвлеченные теории, то нигде она не была так стеснена, как в обсуждении реальных отношений настоящего. Революция 1789 г. застала французское общество в таком состоянии, что великому множеству вращавшихся в нем идей совершенно не соответствовало такое же количество фактических знаний. Например, до кануна революции совсем не разрабатывался вопрос о том, что представляли из себя феодальные права и каким путем их можно было бы отменить: брошюра Бонсерфа «О неудобстве феодальных прав» (*Les inconvénients des droits fèodaux*, 1776) была чуть не единственным произведением, где был поставлен вопрос такого рода, но и она была сожжена рукой палача по предписанию парижского парламента. Вообще

не только писатели XVIII в., но и само правительство с зависевшими от него органами администрации весьма плохо знали фактически старые порядки, с которыми самим же им приходилось иметь дело. Токвиль в своей замечательной книге «L'ancien régime et la révolution» говорит, что революция унесла с собой знание тех порядков, которые существовали перед ней во Франции, но недавно один историк весьма убедительно доказал, что и в XVIII в. эти порядки знали не лучше, нежели и в XIX столетии, пока не приступили, благодаря Токвилю, к их научному исследованию¹. Весьма естественно, что при недостаточном знакомстве с действительностью и не могло создаваться в литературе таких сложных вопросов, обобщающих в себе массу вопросов более частного свойства, каким в XIX в. сделался, например, вопрос рабочий. Если, положим, во Франции существовали все элементы для возникновения вопроса крестьянского, то все они были страшно разрознены, ибо общая связь между частными вопросами, входящими в состав этого широкого социального вопроса, не была ясна, как я старался доказать это в своей книге, посвященной рассматриваемому предмету.

В самом деле, при общем органическом расстройстве Франции невозможно было закрывать глаза на постоянный дефицит в ее финансовом хозяйстве, на вечные недоимки, на ослабление платежных сил страны, на упадок земледелия и промышленности, на недостаток рабочих рук, на развитие нищенства, на частое повторение голодных годов, на умножение преступлений, на беспрестанные бунты; просвещенный век не мог не обратить внимания на те внутренние противоречия, которыми страдала общественная жизнь: не доставало хлеба, а земли пустовали за недостатком рук, которые могли бы их обрабатывать; не было рабочих рук, а города и деревни были переполнены разными праздношатающимися, не находившими себе работы и потому нищенствовавшими, и, наконец, те, силы которых были приложены к производству хлеба, часто кормились как раз не своим, а взятым в долг или купленным на рынке хлебом. Эти патологические явления, эти противоречия действительно обратили на себя внимание общества и правительства, которые сами так или иначе терпели от общего расстройства. Искоренение нищенства делается поэтому вопросом, рассматривавшимся во множестве произведений тогдашней публицистики, предметом желания всех сословий и особенного внимания со стороны правительственных органов. Улучшение сельского хозяйства становится по той же причине другой задачей времени, о которой толкует пресса, общество, которая делается предметом особой заботливости правительства. Потом идут проекты реформ финансовых, рассуждения о хлебной торговле, о привлечении рабочих рук к земледелию и пр. и пр. Но

¹ Chérest. La chute de l'ancien régime.

все это совершалось как-то разрозненно: на искоренение нищенства смотрели с точки зрения полиции нравов; в вопросах сельского хозяйства господствовали вопросы одной техники; экономисты не обращали внимания на отношения юридические; юристы игнорировали хозяйственную сторону правовых отношений, — словом, не было ничего объединяющего: *крестьянский вопрос ставился и решался по частям*. Понятно, что при такой постановке вопроса сами крестьяне являлись чем-то второстепенным при решении специальных вопросов: для финансистов это были лишь плательщики налогов, для агрономов только рабочая сила и т. д. Как причина возникновения крестьянского вопроса, так и свойства вообще социологического метода, господствовавшего в XVIII в., и в частности особенности физиократической политической экономии как реакции против меркантилизма были такого рода, что ни политики, ни экономисты не могли поставить крестьянского вопроса во всей его полноте: одни были слишком отвлечены, слишком мало думали о практическом применении своих учений, чтобы не только суметь поставить крестьянский вопрос, но хотя бы оказать своими теориями какое-либо влияние на его постановку; другие слишком увлеклись своей полемикой с меркантилизмом и взяли из окружающей действительности для изображения своего идеального общественного строя слишком много таких черт, которые характеризовали тогдашние аграрные отношения, весьма на деле ненормальные: физиократы разделяли точку зрения агрономов, у которых на первом плане стояло хозяйство, а не хозяин. Борцы XVIII в. инстинктивно стояли за народ всюду, где они могли понять его страдания, но все привычки жизни и мысли отталкивали их от верного и всестороннего понимания причин народных бедствий. Притом у них было столько вопросов, волновавших их собственный круг, культурный слой общества, что только порывами, случайно они становились на защиту страдающего народа, которому были чужды всеми частностями своей культуры. Тем не менее можно указать на целый ряд писателей и во Франции, и вне Франции, которые по частям разбирали вопрос об улучшении быта крестьян, причем у них *главным образом подвергались осуждению феодальные права, тяготевшие над земледельцами*, хотя юристы продолжали еще отстаивать их право на существование, и хотя экономические писатели главную причину зла видели нередко только в фискальном гнете¹. Поход против феодальных прав — явление, вообще характеризующее эпоху. В Италии против них вооружаются неаполитанцы: Броджия, автор «Трактата о налогах» (*Trattato dei tributi*, 1748) и Дженовези, бывший первым профессором (с 1755 г.) политической экономии в Европе (*Lezioni di economia civile*), затем знаменитый Беккариа, не

¹ См. в указанной работе проф. Лучицкого гл. I «Крестьянский вопрос в экономической литературе XVIII в.».

менее известный Филанджиери¹ (в *Leggi economiche* и издававшейся с 1780 по 1785 г. *Scienza della legislazione*), во Франции — упомянутые выше Дюбо, д'Аржансон, физиократы, Бонсерф, предлагавший в названной раньше брошюре выкуп феодальных прав, отчасти в Германии (где юристы дольше всего отстаивали феодальные права и даже такие юристы, как Томазий) — Едер (Oeder, автор брошюры «*Bedenken über die Frage, wie dem Bauernstande Freiheit und Eigenthum in den Ländern, wo ihm beydes fehlet, verschaffet werden könne*», 1769), Юсти («*Abhandlungen von der Vollkommenheit der Landwirthschaft und der höchsten Cultur der Länder*», 1761), даже в Испании. Заметим, однако, что весьма нередко критика феодальных порядков не была ни достаточно всеобъемлюща, ни достаточно смела, рекомендуя, например, во многих случаях лишь некоторые переделки в отношениях между помещиком и крестьянином, а не радикальную их реформу. Во всяком случае тем не менее прежней исключительной защите юристами феодальных прав был нанесен удар уже одним тем, что поставлен был о них вопрос и даже намечались практические способы их отмены. В конце концов возобладало то мнение, что феодальные права, вытекавшие по историко-юридической теории XVIII в. из уступок крестьянам земель сеньорами, подлежали выкупу, а те, которые были результатом лишения крестьян личной свободы, должны были быть отменены безвозмездно, хотя такое решение вопроса казалось еще слишком радикальным.

Вообще о личной свободе крестьян XVIII в. выражался решительнее, объявив поход против рабства и, между прочим, против невольничества в колониях. Идея естественного равенства всех людей возникла еще в античном мире, но *впервые XVIII в. потребовал широкой реализации этой идеи*. В древности учили о равенстве всех людей стоики, но для них более важное значение имела внутренняя свобода от порабощения страстями, чем свобода внешняя, и, советуя рабам подняться духом выше своего состояния, которое в глазах мудреца должно быть безразличной случайностью, неспособной угнетать его дух, они вместе с тем говорили, что их учение не клонится к уничтожению рабства. Учение стоиков, как известно, повлияло на римских юристов, заявлявших, что, по естественному праву, все люди рождаются свободными, но они и не думали о реализации этой свободы, признавая вместе с правом положительным, т. е. с гражданским правом самого Рима (*jus civile*) и с правом общенародными (*jus gentium*), фактическое существование рабства. Христианское равенство было также понято лишь в смысле равенства всех перед Богом в грехе и искуплении, не мешающего тому, чтобы одни были господами, а другие рабами, хотя верный инстинкт подсказывал и в Средние века, и в Новое время, что внешнее рабство несовместимо с христианской свободой. Таким образом,

¹ См. следующую главу.

и моральная философия прежних времен, признававшая человеческое достоинство и в рабе, и юриспруденция, основывавшаяся на идее естественного права, и сама религия, провозгласившая братское равенство всего рода человеческого перед общим Небесным Отцом, останавливались перед юридическим освобождением рабов, стоя на точке зрения свободы моральной, и такого освобождения впервые потребовала философия XVIII в. В самом деле, и в Новое время ни гуманисты, ни протестанты (кроме сектантов) не восставали решительным образом против рабства, а моралисты обходили как бы молчанием этот пункт; очень боялись прикоснуться к нему и польские социиниане. Юристы, изучавшие римское право, прямо даже содействовали закреплению народа в Германии, а польская шляхта, строя свой политический быт на quasi-римских началах, прямо переносила на крестьян Речи Посполитой римские идеи о рабстве. Ученая юриспруденция XVII в., несмотря на то, что в XVI в. против рабства высказывался Боден, защищала этот институт, как мы то видели на примере Пуффендорфа. В Германии подобные идеи были сильны и в XVIII в., когда, например, начальник берлинской полиции Филиппи, пользовавшийся расположением короля-философа, рекомендовал отдать крестьян в совершенно рабскую зависимость от землевладельцев. В самой Франции в 1765 г. некто Ренодон издал «Исторический и практический трактат о сеньориальных правах», где защищал и серваж, а экономист Летрон преспокойно заявлял, что «смотрит на негров, как на животных, употребляемых при обработке земли», и что «весьма многие смотрят на них не иначе», а потому «интерес колоний, употребляющих этих животных, заключается в том, чтобы покупать их как можно дешевле», откуда вывод — допустить свободную конкуренцию при ввозе невольников во французские колонии. Наконец, и того не нужно еще забывать, что наибольшее количество крепостных во Франции в XVIII в. сохранилось на церковных землях, и это Вольтер также мог поставить в пассив католицизму.

Одним из первых заговорил против рабства в прошлом веке Монтескье, за которым последовали другие (и между ними Рэйналь). С убийственной иронией писал он в «Духе законов» (кн. XV, гл. 5), что если бы ему предстояло защищать право на обращение негров в рабов, то он сказал бы следующее: «Так как народы Европы истребили американские племена, то должны были поработить африканские — для расчистки земли. Сахар был бы очень дорог, если бы не заставляли рабов возделывать растение, которое его производит. Те, о которых идет речь, черны с ног до головы, и у них такой приплюснутый нос, что их почти нельзя жалеть... Нельзя себе вообразить, чтобы премудрый Господь вложил душу и особенно хорошую душу в черное тело... Невозможно предположить, чтобы они были людьми, потому что если бы мы их вообразили людьми, о нас стали бы думать, что мы не христиане. Мелкие умы слишком преувеличивают несправедли-

вость, делаемую африканцам, ибо если бы она была такой, как говорят, то не пришло ли бы в голову европейским государям, которые заключают между собой столько бесполезных договоров, заключить общий договор в пользу сострадания и милосердия?» Но касаясь вопроса, как освободить рабов, Монтескье находил, что сразу освобождать опасно: надо сперва подготовить людей к принятию свободы.

В XVIII в. существовал вообще взгляд, по которому не следовало сразу общим узаконением освобождать рабов. Во Франции это касалось главным образом колониальных негров, но для других стран и собственных крепостных крестьян. С другой стороны, тогда еще подвергалось сомнению право государства безвозмездно отнимать у господ их власть над рабами и крепостными, и, например, Вольтер в своей защите сервов монастыря св. Клавдия иронически замечает, что, вероятно, придется подождать несколько столетий, пока государство не уплатит своих долгов, чтобы можно было выкупить свободу крепостных. Сам же Вольтер, однако, отвечал в 1765 г. так Петербургскому вольному экономическому обществу на вопрос, поставленный последним относительно крепостничества: «Справедливость требует, чтобы государь освобождал только церковных сервов и своих собственных: крепостных, принадлежащих церкви, потому что она не должна их иметь, своих же потому, что от этого он выигрывает, создавая себе деятельных подданных и обогащает себя, делая добро. Что касается сеньоров, которым давнее пользование предоставило крепостных в вотчину, то кажется нельзя, не сделав несправедливости, принудить их изменить сущность их наследственного имения. Они должны иметь право освобождать их по собственному своему усмотрению. Это уже их дело — последовать ли примеру государя. Они должны быть приглашены к этому, но не обязаны». Этой идеи держался и Людовик XVI, когда по совету Неккера освобождал сервов в своих доменах. «Справедливо тронутые такими обстоятельствами, — гласил его эдикт (1779), — мы хотели бы отменить без различия следы этого тягостного феодализма; но т. к. состояние наших финансов не позволяет нам выкупить это право из рук сеньоров, и т. к. мы будем во все времена питать уважение к законам собственности, в которых мы видим самое твердое основание порядка и справедливости, то мы можем, не нарушая этого принципа, осуществить только часть блага, которое имеем в виду, уничтожая рабское право во всех наших доменах».

Известно, что и Руссо не стоял вполне на высоте идей XVIII в., когда говорил о рабстве. Хотя в начале «*Contrat social*» он и восклицает с горечью о том, что «человек рождается свободным, а между тем он везде в цепях», хотя он и посвятил много места опровержению разных теорий, оправдывавших рабство, тем не менее, когда ему пришлось говорить о том, что античная политическая свобода, которой он так поклонялся, была основана на рабстве, он написал при этом (кн. III, гл. 15) следующие строки: «Как!

свобода не может иначе поддерживаться, как опираясь на рабство? Может быть, крайности сходятся. Все, что неестественно, имеет свои неудобства и гражданское равенство — более, чем все остальное. Есть такие несчастные положения, в которых нельзя иначе сохранить свою свободу, как опираясь на рабство. Таково было положение Спарты. Что же касается до вас, новые народы, вы не имеете рабов, но вы сами — рабы, вы платите за их свободу своей. Вы находите превосходным это преимущество, а я нахожу в нем больше подлости, чем человечности». Или еще когда к Руссо обратились поляки, прося его советов для Польши, он написал, как мы видели, особое об этом сочинение. «Свобода, — заявляет он и здесь, — свобода — пища добросочная, но трудная для пищеварения; нужны крепкие желудки, чтобы ее вынести. Я смеюсь над теми погрязшими в унижении народами, которые, наущенные демагогами, умеют говорить о свободе, не имея о ней никакого понятия, и с сердцем, исполненным всеми пороками рабов, воображают, что для того, чтобы стать свободными, достаточно быть бунтовщиками. Гордая и святая свобода! Если бы эти бедные люди могли тебя узнать, если бы они ведали, какой ценой тебя можно приобрести и сохранить, если бы они чувствовали, до какой степени твои законы строже самого тяжелого ига тиранов, их слабые души — рабыни страстей — боялись бы тебя в тысячу раз больше, нежели рабства». Поэтому он советует не освобождать тела польских крепостных, пока не освободятся их души. Можно освобождать только тех, кто заслужит свободы хорошим поведением. Руссо как будто забыл свой основной тезис, и свобода является у него тут уже не правом каждого, правом, которого никто не может отнять, а наградой за примерное поведение.

Приведенные места указывают, до какой степени еще колебалась мысль самих философов XVIII в., раз перед ними становился практический вопрос о том, как уничтожить рабство и прекратить крепостные отношения. Они требовали реализации естественной свободы, но обставляли эту реализацию разными условиями; они учили о всемогуществе государства и о прирожденном праве человека на личную свободу, а между тем сомневались в праве государства возратить свободу рабам без вознаграждения тех, которые несправедливо отнимают у людей их свободу, или рассматривали, как своего рода награду за хорошее поведение то, что было в сущности — по их же учению — неотъемлемым правом личности. С таким трудом часто рождаются истины, которые потом кажутся столь простыми!

При общем благожелательном к народу отношении просветительной литературы XVIII в. она, таким образом, не *всегда достаточно внимательно входила в вопросы, касающиеся отдельных сторон народного быта*. То же самое можно сказать и о ее отношении к вопросу об обеспечении крестьян землей. Главную причину народной нищеты в XVIII в. с легкой руки Воба-

на видели в тяжести и неравномерном распределении налогов, а не в том, что крестьяне пользовались землей на крайне невыгодных для себя условиях, если не иметь в виду феодальных прав, подвергавшихся также осуждению на том основании, что и они, в сущности, были обременительными повинностями. Теоретики крестьянского вопроса, большей частью экономисты, желали свободы личности, труда и имущественных договоров, отмены феодальных повинностей, лежавших на земле, реформы в системе налогов с более правильным их распределением и с уничтожением всех податных изъятий, и хотя все это было важно и было необходимо, этим дело крестьянской реформы не исчерпывалось. Юридическое освобождение крестьян, уже совершившееся к XVIII в. в значительной части Европы, не только не сопровождалось их экономическим обеспечением, но даже вело прямо к противоположному результату, бывшему следствием того, что личная эмансипация соединялась с обезземелением. Среди писателей, касавшихся крестьянского быта, некоторые были на стороне развития крестьянской собственности (д'Аржансон, Мирабо-отец, Гельвеций, Гольбах, особенно Филанджиери, аббат Васко из Пьемонта, автор трактата «*La felicità pubblica considerata nei coltivatori di terre proprie*», написанного в ответ на вопрос Петербургского вольноэкономического общества в 1667 г. о том, что полезнее для общественного блага — существование крестьян — собственников или крестьян безземельных, далее немец Венцель, написавший «*Gedanken über willkürliche Zertheilung der Bauerngüter*», 1795 и др.), но господствующим мнением — особенно у физиократов — сделалось то, что наилучшая форма поземельных отношений и сельского хозяйства — английская, т.е. крупное фермерство, соединенное с обработкой земли наемными рабочими, хотя девизом родоначальника физиократии Кенэ, эпиграфом его книги и было изречение: «*rauvres paysans — rauvre goyaume, rauvre goyaume, rauvre roi*», т.е. если бедны крестьяне, бедно королевство, если бедно королевство, беден и король.

Мы знаем, что физиократия была реакцией против меркантилизма. В своем увлечении господством природы в народном хозяйстве физиократы называли только один класс земледельцев (*laboureurs*) производительным, окрестив всех городских жителей названием бесплодного класса: в основу своего учения они положили деление общества не на основании положения отдельных классов, как получающих ренту собственников, извлекающих процент из своих оборотов капиталистов и живущих платой за свой труд рабочих, а на основании существования в обществе различных занятий; физиократы были представителями сельского хозяйства в его противоположении к обрабатывающей промышленности и потому представителями всего сельского населения в противоположении горожанам. По этой причине крестьянский вопрос как таковой не мог быть выделен ими из вопроса агрономического: ведь земледелием, или вернее сельским

хозяйством занимались лица очень различного положения в обществе. Это было капитальным промахом физиократов, что видно из того, какой экономический строй считали они и другие экономисты XVIII в. за нормальный и желательный. Физиократия была именно проповедью крупного хозяйства: уже Кенэ считал нормальным такой порядок вещей, при котором земли, обрабатываемые под посевы, соединяются в большие фермы, находящиеся в руках богатых землевладельцев (*de riches cultivateurs*); только богатые фермеры составляют, по его мнению, силу и могущество нации, только они могут дать занятие рабочим рукам и удержать в деревне жителей; причем Кенэ объясняет, что под словами «богатый фермер» не следует понимать работника, который сам пашет, а именно хозяина, имеющего наемных рабочих; все мелкие хозяева должны были поэтому превратиться в батраков, работающих на крупных фермеров, которые и суть «истинные земледельцы». По словам другого экономиста (аббата Бодо), «в обществе, истинно благоустроенном на основах экономических принципов», должны существовать простые земледельческие рабочие, которые жили бы только своим трудом. Подобного взгляда держались и неэкономисты, например, Вольтер. Отождествляя нередко землю и землевладельца, интересы земледелия и интересы сельских хозяев, экономисты часто, говоря об интересах производительного класса, имеют в виду именно только фермеров. Отсюда недалеко было до особенной заботливости о последних, и действительно, уже Кенэ советует правительству наградить фермеров всякими привилегиями, т. к. в противном случае благодаря своему богатству они могут приняться за другие занятия, а правительство должно поощрять их в занятии земледелием. Заботясь об увеличении национального дохода, который для физиократов заключался в сумме доходов отдельных сельских хозяев, они признавали необходимость благосостояния рабочих едва лишь не потому только, что для пользы нации продукты должны потребляться как можно в большем количестве. Однако содействовать увеличению рабочей платы они не были намерены: Кенэ советует для жатвы брать пришлых савойских рабочих, которые берут меньше своих, ибо от этого уменьшаются расходы производства и увеличиваются доходы собственников и короля, а с ними возрастают могущество нации и фонд рабочей платы. Этот фонд (*le revenu disponible*, по физиократической терминологии) доставит рабочим возможность существовать лучшим образом, думали экономисты, видевшие вокруг себя часто просто недостаток в хлебе для прокормления народа; только они не сумели отделить общего накопления капиталов от обогащения, в частности, землевладельцев и крупных фермеров: наблюдая вокруг себя одну бедность, желая поднять национальное богатство, они обращали внимание исключительно на массу предметов, находящихся в стране, без всякого отношения к их распределению. Необходимость капиталов на их языке

переводилась в необходимость капиталистов. Крестьянин-хозяин рисовался им либо в виде мелкого собственника, едва существующего доходами со своей земли, либо в виде половника, вечно находящегося в долгу у своего землевладельца, а тут еще рядом с ними жил безземельный батрак, которому ни тот, ни другой не могли доставить работы: по мнению физиократов, крупное фермерство, обогащая государство, лучше всего и могло занять свободные руки безземельного крестьянства. Что касается до нищеты последнего, то причину ее физиократы видели исключительно в финансовом гнете.

Физиократы сходились в этом отношении с весьма многими агрономическими писателями, которые указывали на то, что мелкое хозяйство крестьян-собственников и половников, невежественных и бедных, не в состоянии служить основой для тех улучшений в способах обработки земли, которые требуются необходимостью поднять ее производительность, вследствие чего агрономами одобрялось также уничтожение общинных сервитутов и угодий, которые мешали введению интенсивного хозяйства, но при этом не обращалось внимания на то, что от лишения права выпаса (*vaine pâture*) или раздела общинных угодий страдали интересы беднейших жителей деревень.

Физиократы вообще верили в то, что «господство природы», «естественный порядок», свобода экономических отношений при наиболее выгодном способе пользования землей в смысле улучшения системы хозяйства и увеличения чистого дохода создадут всеобщее благосостояние, как верили Адам Смит и его школа, что для достижения общего блага нужна только свобода частного интереса и свободная конкуренция. Экономическая жизнь Англии в конце XVIII и начале XIX в. далеко не оправдала подобных ожиданий, но уже и в прошлом столетии были люди, скептически относившиеся к надеждам физиократов. На эту школу напали, например, венецианский монах Джаммариа Ортес и французский публицист Ленгэ (*Théorie des lois civiles*), которые доказывали весьма убедительно неосновательность физиократических теорий по отношению к надеждам, возлагавшимся на их применение, но они не находили ничего лучшего, как феодализм и рабство: на стороне первого стоял Ортес, полагавший, что лучших порядков, чем существующие, и придумать нельзя, тогда как Ленгэ цинически рекомендовал предпочесть рабство свободным отношениям предпринимателя и наймита, т. к. у рабовладельца есть прямой расчет беречь своего раба, и невольник по одному этому никогда не умрет с голоду. В число оппонентов физиократов нужно поставить и аббата Мабли, который в своих «Сомнениях об естественном и существенном порядке обществ» (*Doutes sur l'ordre naturel et essentiel des sociétés*, 1768) пришел к иному способу избежать последствий, связанных с экономическим идеалом физиократов, именно к отрицанию частной собственности. В спорах физиокра-

тов с их противниками крестьянский вопрос переходил уже в вопрос социальный в том смысле, как он был поставлен в XIX в., на сей раз на почве вопроса рабочего, возникшего в связи с переворотом, который к концу XVIII в. произошел в области обрабатывающей промышленности.

Какие бы недостатки ни обнаруживались в постановке и теоретических решениях крестьянского вопроса в XVIII в., не нужно забывать, что он возник главным образом именно в литературе этого столетия, благодаря не только ее общественному характеру и этическим началам, которыми она была проникнута, но благодаря и тому, что крестьянский быт, все более и более приходящий в расстройство, которое отражалось на упадке сельского хозяйства и платежной способности массы, на трудности увеличения налогов и т. п., обращал на себя также внимание правительств и государственных людей. Крестьянскому вопросу принадлежит поэтому видное место не только в истории публицистики XVIII в., но и в истории законодательства, правительственных мероприятий и т. п. Уже старое государство было вынуждено обратить внимание на положение сельской массы: «просвещенный абсолютизм» начинается, революция кончается в XVIII в. разрушение социального феодализма, а империя Наполеона пропагандирует новые гражданские порядки, созданные революцией, на всем Западе, и только реакция, наступившая в 1815 г., останавливает на время это историческое движение. Крестьянскому вопросу суждено было перейти и в XIX в., который практически решал его и в зависимости от обстоятельств (1830 и 1848 гг. сильно ему содействовали), и в зависимости от теоретических ответов, которые давались публицистикой и наукой.

XVIII. Просвещение XVIII в. вне Франции¹

Общеввропейский характер Просвещения. — Господство французской цивилизации в XVIII в. — Национализм и космополитизм. — Взаимные отношения английской и французской цивилизации. — Умственная жизнь Германии в XVIII в. — Новые направления в теологии, философии, морали, педагогике и общественных науках в Германии. — Влияние французской литературы на немецкую. — Новые идеи в других странах. — Общее значение распространения французских идей.

В истории культурных и политических идей, характеризующих Просвещение XVIII в., первое значение принадлежит французской литературе: можно даже сказать, что XVIII в. в умственной истории Европы был по преимуществу французским веком, т. к. нигде с такой силой и с таким разнообразием не проявились в прошлом столетии новые исторические стремления, как именно во Франции, и никогда вообще умственная жизнь остальной Европы не находилась под столь сильным французским влиянием, как в XVIII в. Тогдашняя французская литература была поистине литературой всей Европы, и *Просвещение, органом которого она была, имело само общеевропейский характер*. Рассматривая культурную и социальную историю Западной Европы как историю одного исторического мира, мы наблюдаем тот общий факт, что исторические явления и движения, имеющие общеевропейский характер, проявляются с наибольшей силой лишь в некоторых странах: получая поэтому в известной степени характер местный, они тем не менее не утрачивают и общеевропейского характера. Так, родиной гуманизма и страной, где с наибольшей силой развилось это направление, была Италия. В истории Реформации — в первый ее пери-

¹ По истории влияния Франции на Европу вообще см. старые сочинения: *Rühs. Historische Entwicklung des Einflusses Frankreichs und der Franzosen auf Deutschland und die Deutschen* (1815 г.); *Sugenheim. Frankreichs Einfluss auf und Reziehung zu Deutschland seit der Reformation bis zur ersten französischen Staatsumwälzung* (1845 г.); *Honegger Cf. Kritische Geschichte der französischen Kultureinflüsse in den letzten Jahrhunderten*. См. также отдельные главы в соч. Сореля, которое вообще важно в указанном отношении (в первой книге под заглавием «Влияние французского духа»), Рамбо (во второй книге глава *Eclat de la civilisation française au XVIII siècle*) и т. п. О французской литературе вне Франции есть книга Sayous (*Hist. de la littérature à l'étranger depuis le commencement du XVII siècle. Le dix-huitième siècle à l'étranger*). По истории культуры и литературы XVIII в. в Англии и Германии см. указанные соч. Геттнера, Стефена, Бидермана и др., а также: *Scherer W. Geschichte der deutschen Literatur*; *Zeller. Geschichte der deutschen Philosophie seit Leibniz*; *Schmidt J. Geschichte des geistigen Lebens in Deutschland*; *R. von Mohl. Gesch. und Literatur der Staatswissenschaften*; *Roscher. Die Geschichte der Nationalökonomik in Deutschland*; *Sierke. Schwärmer und Schwindler zu Ende des XVIII Jahrhunderts*; *Wegele. Geschichte der deutschen Historiographie*.

од — главная роль принадлежит Германии. Так и Просвещение XVIII в. есть преимущественно достояние Франции. Никогда, однако, раньше местное культурное движение не принимало сразу и на столь продолжительное время, а также столь исключительным образом общеевропейский характер, как то, которое совершалось во Франции в XVIII столетии. Это объясняется и свойством французских идей тогдашнего времени, и превосходством французской цивилизации над всеми другими национальными цивилизациями эпохи. *Французские идеи прошлого столетия отличаются именно своей отвлеченностью и универсальностью*, и в этом заключается одна из причин их успеха, другая же была в том, что и нищие европейские страны страдали от тех же зол, что и Франция, и вот благодаря этому *французский протест мог найти сочувствие в образованном обществе и иных национальностей*. Не всегда народы умеют своим домашним делам придать такой характер, чтобы заинтересовать в этих делах весь мир; то же самое позволительно сказать и об идеях: примером может служить Англия в XVII в., пережившая две революции, развившая у себя религиозно-философскую и социально-политическую литературу и тем не менее не оказавшая такого непосредственного влияния на Европу, какое имела Франция в своем умственном движении XVIII в., в котором многим она была обязана той же Англии, и в своей великой революции. Дело в том, что английские мыслители и политические деятели и говорили, обращаясь к англичанам, и действовали, имея в виду англичан же, тогда как французы XVIII в. брали человека в самом себе без всяких осложнений, вытекающих из отношений национальных и политических, и имели в виду как бы весь человеческий род. Отвлеченно-универсальным характером отличались и идеи итальянского гуманизма, но французская философия своим социальным содержанием превосходила и его, т. к. проповедовала не только освобождение индивидуума от всего традиционного, как это делали итальянские гуманисты, не только нравственное перевоспитание личности, бывшее главной темой немецких просветителей прошлого века, но и общественное переустройство, что придавало особое значение французской проповеди. Под живыми импульсами, шедшими со стороны родной действительности, французы благодаря методу своей рационалистической философии обобщали и уясняли перед сознанием других народов те общественные отношения, которые были более или менее общими во всей Западной Европе, вследствие чего совершенно отвлеченные положения, навеянные притом французской действительностью, находили отклик в душе и немца, и итальянца, и всякого другого европейца.

Конечно, *этому распространению французских идей способствовало и превосходство французской образованности*, заставлявшее подчиняться ее влиянию другие страны. В Италии, которая когда-то стояла во главе европейского образования, католическая реакция убила всякую умственную

жизнь, и если в XVIII в. началось некоторое оживление итальянской мысли, то главным образом под влиянием французского же Просвещения. В Германии равным образом образованность, с таким блеском начавшая развиваться в конце XV и начале XVI в., погубили и то направление, какое приняла Реформация, и католическая реакция, за ней последовавшая, и неудача общественного движения, давшего только усилиться княжескому деспотизму, и наконец, особенно Тридцатилетняя война. Другие страны всегда более или менее отставали от Италии, Германии и Франции на континенте Европы, и одна лишь Франция развила у себя великую литературу в то время, когда итальянская и немецкая находились в упадке: французский классицизм века Людовика XIV сделался предметом подражания во всей Европе. Например, немецкая литература начала становиться на свои ноги лишь во второй половине XVIII в., когда французская достигла уже своего апогея. Изящная литература XVII столетия проложила путь философской литературе XVIII в., а распространение французского языка в придворных сферах и в образованном обществе всей Европы создало для французских писателей громадную международную публику, которой у нее не могли оспаривать писатели других национальностей — ни англичане, ни итальянцы, ни немцы. Французская наука также сделала в прошлом столетии громадные успехи и достигла первенства в Европе, так что французский язык, бывший дотоле языком дипломатии, придворной жизни и изящной литературы, сделался как бы и языком науки. На нем пишут многие вне Франции, как некогда писали по латыни, имея в виду международную публику читателей. Немецкий философ Лейбниц философствует по-французски; на том же языке сочиняет свои произведения Фридрих II Прусский; немецкий политический писатель Билефельд на французском же языке составляет на поучение германским князьям свои «*Institutions politiques*». Великий английский историк Гиббон написал первое свое сочинение по-французски. От этого, конечно, страдают национальные литературы: предпочитают почти повсюду французские книги или переведенные с французского, и, например, Фридрих II так-таки до конца своей жизни и не нашел нужным познакомиться с немецкой литературой, влачившей еще жалкое существование в его молодые годы. В 1783 г. Берлинская академия наук даже предложила написать на премию сочинение, в котором должно было быть выяснено, «что, собственно, сделало французский язык всемирным», и премия была выдана французу Риваролу, который развил ту мысль, что «точный, общественный и разумный, язык этот перестал быть французским, сделавшись языком всего человечества». Мы отчасти уже видели и еще увидим, в каком почете при некоторых европейских дворах были ученые-французы и французские писатели, но, кроме того, масса французов распространяется по Европе в качестве людей разных профессий и между прочим наставников юношества. «Настало время

сказать: французский мир», говорит упомянутый Ривароль. «Я с удовольствием вижу, — писал Вольтер в 1767 г., — что в Европе образуется громадная республика просвещенных умов»: вся эта республика читала и даже думала по-французски.

Общим идеям свойственно объединять народы, создавать между ними известную солидарность на почве духовной жизни, побеждать национальную исключительность. Известно, что после Александра Македонского наступила так называемая эпоха эллинизма, когда распространение греческой образованности сгладило национальные различия в известных кругах общества и слово «эллин» как бы стало обозначать не столько грека по происхождению, сколько вообще образованного человека. Католицизм создал для средневековой Европы такое же духовное единство народов. Гуманизм равным образом сблизил между собой ученых всех стран Европы, образовав из них единую «*republicam litterarum*» со своими особыми духовными интересами, и то же самое следует сказать о кальвинизме, получившем характер международного протестантизма (при более национальном характере лютеранизма). В XVIII в. господство в Европе французской философии с ее отвлеченными идеями, доступными пониманию всех народов, с ее филантропической и космополитической проповедью было таким же международным цементом для образованных людей во всех странах Европы. В сравнении с XIX столетием, в котором общественное настроение сделалось более националистическим, *прошлый век был веком космополитическим*, в чем были и свои сильные, и свои слабые стороны. Последние заключались в том, что на почве поверхностного «мирового гражданства» в образованном обществе развивалось пренебрежение к собственной народности, что правительствами и дипломатами совершенно игнорировалось начало национальности в политической жизни и т. п., но, с другой стороны, не было в тогдашнем обществе и духа той национальной исключительности, которая в XIX в. нередко заставляла забывать не только благородные чаяния прошлого века о наступлении времен братского единения всех народов, но и принадлежность европейских наций к единому христианскому миру, к религии, которая две тысячи лет тому назад провозгласила закон общечеловеческой солидарности. Станем даже преувеличивать слабые стороны космополитического настроения, господствовавшего в XVIII в., и, наоборот, умалять значение того, что в нем было благородного и благотворного, факт все-таки останется фактом: XVIII в. был веком гуманного космополитизма, в котором были и свои хорошие, и свои дурные стороны. Династические столкновения, даже войны, в которых бывали затронуты политические и материальные интересы, не вооружали друг против друга народов, не делали из них смертельных врагов. Никогда не была так популярна, как в XVIII в., идея вечного мира. Если XVII в. со-

здал международное право в лице Гуго Гроция (*Jus pacis et belli*, 1625) и Пuffендорфа (*De jure naturae et gentium*, 1672), учивших придерживаться известных принципов по отношению к другим нациям даже во время войны, то прошлое столетие уже мечтало о прекращении войн, о так называемом вечном мире (*la paix perpetuelle*). Известно, какую славу стяжал себе аббат де С. Пьер своим сочинением на эту тему¹. Довольно распространенным было тогда убеждение, что главными виновниками войн бывают обыкновенно честолюбивые правители, стремящиеся к завоеваниям и славе, но что интересы народов не расходятся до такой степени, чтобы нужно было браться за оружие и истреблять друг друга. В то самое время, как меркантилистическая политика была основана на стремлении как можно более вредить торговым интересам других стран, физиократы, наоборот, учили, что вовсе не следует основывать собственное благополучие за счет разорения других стран. Особенно космополитическим характером отличалась в XVIII в. общественная мысль в Германии. Религиозная Реформация XVI в., разделившая немцев на католиков и протестантов, политическое раздробление страны на множество государств, в которых вырабатывался свой местный патриотизм, общее падение культуры и литературы, утратившей было даже общегерманский характер, все это содействовало ослаблению в немецком народе сознания о национальном единстве. Уже во время войн Людовика XIV немцы с восточных окраин империи относились к военным событиям, происходившим на западных ее границах, как к чему-то, словно их самих и не касающемуся. В XVIII в. при общем идеалистическом настроении идея единого человечества, всемирного гражданства и т. п. была уже одной из наиболее популярных в Германии. Все крупные деятели немецкой литературы стояли на космополитической точке зрения. Выше уже пришлось упомянуть о Канте как авторе брошюры о всемирной истории с космополитической точки зрения (*Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht*), где между прочим проводится та мысль, что цель исторического процесса — *ein allgemeiner weltbürgerlicher Zustand*², но это лишь одно из незначительных проявлений его космополитического настроения³. Шиллер предлагал своим соотечественникам не стремиться к тому, чтобы образовать нацию, а удовлетворяться просто званием людей. Фихте — тот самый Фихте, который в начале XIX в. своими «Речами к немецкой нации» сильно содействовал пробуждению в немцах национального духа и благодаря этой книжке сделался родоначальником но-

¹ Saint-Pierre (1658—1743), гуманный писатель первой половины XVIII в., автор сочинения «*Projet de paix perpetuelle*» (1713).

² Всемирно-гражданское состояние (нем.). — *Прим. ред.*

³ Кант также писал о вечном мире («*Zum ewigen Frieden*»), где он рассматривает установление всемирного союза государств как неперемнное требование права.

вейшего национализма, опирающегося иногда на историко-философских соображениях о превосходстве известного народного духа над другими нациями, — до порабощения немцев Наполеоном держался противоположного воззрения и делал заявления в резко космополитическом духе. В сочинении своем «Grundzüge des gegenwärtigen Zeitalters» он поставил, например, вопрос о том, где находится отечество истинно просвещенного европейца его времени, и отвечал в том смысле, что прежде всего это — Европа, а потом самое цивилизованное государство Европы: для земнородных отечество — в земле, реках, горах, но родственный солнцу дух непреодолимо влечется и обращается туда, где свет и вселенная. «И в этом, — прибавляет Фихте, — всемирно-гражданском чувстве (Weltbürgersinne) мы можем быть совершенно спокойными за себя и за своих потомков до конца дней, относительно деяний и судеб отдельных государств». К числу немецких проповедников космополитизма (Weltbürgerthum) нужно отнести и Гердера. Во Франции настроение было подобного же рода, и не существовало, например, ненависти ни к Фридриху II даже после Росбаха, при котором он разбил французов, ни к английскому министру Питту, даже после потери Францией части ее прежних колоний. Прусский король пользовался даже особой популярностью во Франции, а сын Питта, приехав в Париж, был очень хорошо принят публикой.

Одна Англия держала себя особняком и не разделяла космополитических увлечений. Да и английская литература в XVIII в. была свободнее от увлечения французскими идеями, и тем не менее, несмотря на свою самостоятельность в некоторых отраслях (роман, комедия, ораторское искусство, историография, периодическая пресса и т. п.), она, с одной стороны, не оказывала особенно большого влияния на иностранные литературы, а с другой — сама не избежала французских влияний. Путешествия, предпринятые в Англию Вольтером и Монтескье, как известно, были весьма важны для умственного развития самой Франции, где английскую литературу до того времени совершенно игнорировали благодаря постоянному соперничеству между обеими нациями, но мало-помалу сами англичане стали интересоваться развитием французской мысли, и некоторые английские писатели, как отчасти уже пришлось видеть, прямо заимствовали у французских авторов их идеи. Самое поразительное в данном случае явление — это то, что свою собственную конституцию они понимают по Монтескье, книга которого сделалась настольной и у английских государственных людей. У него явились даже ученики среди англичан, пользовавшихся до него своей конституцией, не подвергая ее анализу. Блэкстон основывается на идеях Монтескье, когда излагает государственное устройство Англии, а все последующие комментаторы конституции основываются на Блэкстоне. Даже та часть английской нации,

которая восстала в североамериканских колониях против метрополии, была знакома с его политическими идеями, и их влияние на конституцию североамериканских штатов не может подлежать сомнению, как и то, что в предназначенной для европейского общественного мнения декларации о своей независимости американцы повторяли идеи, составлявшие главное содержание «Общественного договора» Руссо. На некоторых английских писателях XVIII в., особенно на Юме, Гиббоне и Робертсоне, сильно сказывается французское влияние, и например, Гиббон, поддерживавший дружеские отношения с Вольтером, сам писавший по-французски, в своей знаменитой «History of decline and fall of roman empire»¹ вполне усвоил взгляд Вольтера на христианство, на которое возложил всю вину за гибель античной цивилизации, противопоставлявшуюся им мрачному варварству Средних веков. (Вообще нужно заметить, что Просвещение XVIII в. было крайне враждебно ко всему средневековому и реабилитация этой эпохи в жизни Европы начата была лишь историками начала XIX в.) Несмотря, однако, на взаимодействие английской и французской литературы, между обеими нациями была большая разница: многое из того, что во Франции было только идеей, в Англии было фактом, но когда французское движение приняло и в области фактов демократический и антирелигиозный характер, это отшатнуло от него англичан. Дело в том, что правящий класс в Англии, в котором воедино сливались аристократия и буржуазия, не имел оснований увлекаться французскими демократическими идеями, а вольномыслие и неверие были только в немногих кружках, масса же джентри и буржуазии оставалась глубоко верующей; если что и шло здесь в разрез с учениями официальной церкви, так только многочисленные секты, а всякий, кто стремился к какой-либо перемене, ссылался не на естественные права человека, а на Священное Писание, как это было во времена независимости. Само образование демократической партии в Англии факт довольно позднего происхождения.

Духовная жизнь в Германии XVIII в. также имела свои особенности, которые ее отличали от французского движения умов в ту же эпоху. Мы уже видели, что немецкое Просвещение отличалось более индивидуалистическим направлением сравнительно с социальным содержанием французской философии. Но не в одном этом заключалась разница: новые идеи, которые проповедовала немецкая литература, не имели такого разрушительного характера, как французские, тем более, что самое смелое умозрение в ней так и оставалось умозрением, не требуя, чтобы его, хотя бы и на бумаге только, прилагали к практической жизни, несмотря на всю страстность языка, с какой часто говорили и немецкие писатели в период

¹ «История упадка и разрушения Римской империи» есть в русском переводе (выходила на русском языке с 1883 по 1887 г. — *Прим. ред.*).

«Бури и натиска» (Sturm und Drangperiode). Общее настроение немецкого общества было такое, что в нем замечается более стремления мирить веру со знанием, чем отрицать первую во имя второго, более стремления реформировать существующее на основании новых начал, нежели совсем его ниспровергать, и вообще в этом настроении было много места для таких чувств, которые во французской литературе были представлены разве одним лишь Руссо, почему он, помимо своего политического радикализма, так и пришелся по сердцу немцам XVIII в. Правда, лютеранское духовенство, раболепствовавшее перед деспотическими князьями, подрывало в образованных кругах общества уважение к установленной религии, но это не уничтожало самой религиозности, и даже те писатели, которые становились на точку зрения деизма или развивали родственные ему религиозные воззрения, все-таки вносили в естественную религию более потребности в вере, чем той рассудочности, которую мы находим, например, у Вольтера и которая граничила со скептицизмом, — если только не вела прямо к неверию. И в политическом отношении передовые умы Германии ближе всего подходят к тому, что на практике было «просвещенным абсолютизмом»: они ждут реформ сверху, от государей, и если находят последних недостаточно «просвещенными», то не делают отсюда общих выводов о монархической власти, а относят свое недовольство к образу действия отдельных личностей, возлагая надежды на то, что их преемники будут править в большем согласии с просвещением века. Притом немецкая литература стала и позже приходить к новым идеям, чем литературы английская и французская. Первый немецкий писатель, действовавший совершенно в новом духе, был Лессинг (1729—1781), только родившийся около того времени, когда Вольтер и Монтескье уже были известными писателями и посетили Англию. Виланд был моложе его лишь на четыре года. Гердер (1744—1803) и Гете (1749—1832) родились в сороковых годах прошлого столетия¹, когда Монтескье окончил свой «Дух законов», Дидро приступал к «Энциклопедии», Руссо выступил со своей первой диссертацией. Шиллер (1759—1805) также явился на свет уже после того, как Монтескье умер, когда «Энциклопедия» уже успела вполне проявить свой характер, всего лишь за три года до выхода «Эмиля» и «Общественного договора» Руссо. Кант (1724—1804), бывший на пять лет старше Лессинга, только в шестидесятих годах вступил на ту дорогу, которая привела его к «Критике чистого разума», вышедшей в свет только за восемь лет до начала Французской революции. Мы видели, что к началу семидесятых годов прошлого века французская просветительная литература уже заканчивала свое развитие, сказав последние свои слова, но для Германии это была лишь пора расцве-

¹ Куно-Фишер. Лессинг (пер. с нем.); Schmidt E. Lessing; Льюис. Жизнь Гете (пер. с англ., есть и немецкий); Шахов А. Гете и его время; Куно-Фишер. Публичные лекции о Шиллере; Minor. Schiller; Тайм. Гердер (пер. с нем.).

та ее литературы, в которой притом первенствующая роль принадлежала не публицистике, а поэзии: главные поэтические произведения Гете начинают появляться с семидесятых годов («Вертер», относящийся еще к юношеской поре его творчества, вышел в свет в 1774 г.); к этим же годам относятся драмы Лессинга («Натан Мудрый», 1779); в конце того же десятилетия начинается ранняя поэтическая деятельность Шиллера («Разбойники» были написаны в 1777 г.). Известно, что это и была эпоха, окрещенная названием *Sturm und Drangperiode*.

Отвлеченно-индивидуалистический характер немецкой литературы XVIII в., ее неоригинальность в большей части века, позднейший ее расцвет да и то главным образом в области поэзии (Гете и Шиллер) и философского умозрения (Кант), в то время, когда готовились важные политические перевороты, все это объясняет нам, почему немецкое Просвещение не играло такой роли в истории эпохи, какая выпала на долю французской философии. Притом умственная жизнь Германии долгое время оставалась неизвестной за пределами немецкого племени, и, например, французы, только пережив свою революцию и успев произвести переворот во всей Западной Европе, узнали из книги г-жи Сталь «О Германии» (*De l'Allemagne*) о том могучем духовном развитии, которое к тому времени произошло в Германии. Сами немцы нередко не подозревали, какие сокровища заключает в себе их литература, и, например, Фридрих II так и сошел в могилу с тем общим представлением о родной словесности, какое, естественно, у него должно было сложиться в его молодые годы. Правда, этот поздний расцвет немецкой литературы подготовлялся всем движением XVIII в., который и в Германии с самого же начала обещал нарождение новых умственных явлений.

Прежде всего это было заметно в области теологии, стремившейся в Германии с самого начала Реформации и падения светского гуманизма господствовать во всех областях умственной жизни, как это было в Средние века. XVIII в. был для немцев как раз эпохой постепенного освобождения от теологической опеки; хотя продолжают еще богословские споры, хотя в чисто теологическую полемику вмешиваются писатели, главное значение которых было в области философии (например, Вольф) или литературы (например, Лессинг) и т. п., тем не менее, с одной стороны, различные сферы умственной деятельности начали порывать связи со схоластическими традициями, в духе которых теология приучала обсуждать вопросы философии, морали, политики и права, а с другой, сами богословские занятия стали проникаться новым духом отчасти под иноземными, именно деистическими влияниями¹, отчасти в силу дальнейшего раз-

¹ Произведения английской деистической литературы охотно переводились на немецкий язык.

вития тех начал, которые возникли на немецкой же почве. В Германии сухой формализм лютеранского богословия сначала вызвал реакцию в виде так называемого пиетизма, основателем которого был пастор Шпеннер (1635—1705), стремившийся возвратить религию к сердечности, исчезнувшей из нее, благодаря сектантской нетерпимости богословов, а вышедший из его школы Готфрид Арнольд (1666—1714) в своей «Беспристрастной истории церкви и ересей» доказывал — к великому соблазну правоверных лютеран, что во все времена господствующая церковь менее воодушевлялась настоящими христианскими чувствами, чем преследуемые и угнетавшиеся секты. Пиетизм был только первым проявлением сердечного недовольства состоянием тогдашней теологии, но она вызывала и умственный протест, который выразился ранее всего у отца немецкой философии Лейбница (1646—1716), правда, весьма тщательно избегавшего противоречий с откровением, но учившего, что отличительными признаками истинной религии являются просвещение и добродетель. Систематизировавший его философию Вольф (1679—1754) впервые создал в Германии целую школу, целое направление (вольфианизм), поставившее своей задачей доказать и утвердить неопровержимо так называемую естественную теологию, предоставив уже самим богословам приводить ее в соглашение с откровением. Под такими умственными влияниями в Германии в середине XVIII в. возникло особое умеренное направление теологии, бывшее чем-то средним между правоверием и рационализмом, между историческим христианством и деизмом. Это была как бы новая религиозная Реформация, продолжавшая дело Лютера, но уже скорее на началах Эразма. В Священном Писании различали существенное от несущественного (например, относя сюда слог и грамматику, которые не считались боговдохновенными), и к изучению Библии прилагались приемы филологической, литературной, археологической и исторической критики. Догмату о первородном грехе давали толкования, смягчающие его суровость. Понятия покаяния, обращения, веры оправдания и т. п. заменялись понятиями невинности, добродетели, разума, просвещения, нравственного исправления, совершенствования и т. п. Идея гуманности все более и более проникала в вырабатывавшееся таким образом религиозное мирозерцание, в атмосфере которого складывались религиозные воззрения и таких людей, как Лессинг, Гердер и Кант, ставившие чистоту помыслов, нравственную силу, любовь к ближнему выше церковной догматики. Эта новая теология была, однако, в борьбе с английским вольнодумством и французским материализмом. На ее почве развивались в тогдашней немецкой философии и метафизика, и этика, и на совершенно новую дорогу эта философия была выведена только к концу рассматриваемого периода Кантом. Особенно сильно сказалось стремление к нравственно совершенной личности, сделавшейся предметом немецкого умозрения и творчества, в сфере педаго-

гии, с точки зрения которой Лессинг и Гердер понимали саму историю человечества как историю его воспитания — к достижению человечности. XVIII в. выставил в Германии несколько крупных деятелей на поприще педагогической реформы, каковы были Базедов (1723—1790), думавший о перевоспитании всего мира на основах идей, заимствованных им у известного чешского педагога Яна Коменского (1592—1671) и у Руссо, главным образом именно в духе естественности, филантропии и космополитизма, и Песталоцци (1745—1827), указывавший на великое значение демократизации образования через его развитие в народных массах, как на средство общего улучшения жизни. Это была единственная область, в которой немецкая мысль прошлого века с особым рвением прилагала новые идеи к вопросу о средствах улучшить жизнь человечества, что вполне соответствовало и более индивидуалистическому направлению всего немецкого Просвещения. Но если своей разработкой общественных вопросов, бывшей вообще весьма слабой в немецкой литературе XVIII в., Германия не оказала влияния на политическую жизнь эпохи, то и в этой области все-таки развивались новые идеи. Правда, здесь долго еще приходилось бороться с теологической схоластикой и официально признанными политическими догматами, продолжавшими находить защитников в лице видных ученых¹, и даже крупные представители независимого направления не всегда стояли на высоте своего положения, тем не менее старые начала все-таки теряли под собой почву. Уже во второй половине XVII в. Пуффендорф освободил немецкую юриспруденцию от теологии, объявив, что основами законодательства должны служить разум и человеческая природа, а не откровение, и что государство должно предоставлять всякому вероисповеданию свободу культа. Пуффендорф утверждал также, что королевская власть не происходит непосредственно от Бога, а друг Вольфа Томазий (1655—1728) впервые решившийся читать лекции на немецком, а не на латинском языке и нанесший удар весьма частым до того времени процессам по обвинению в колдовстве, даже написал сочинение («Искренние мысли»), навлекшее на него неприятности за то, что в нем он напал на одного датского проповедника за защиту им божественного происхождения власти. В середине XVIII в. Фридрих Карл Мозер (1723—1798), занимавший разные государственные должности, в целом ряде сочинений публицистического характера («Господин и слуга», «Политические мысли», «О правлении властителей и о министрах») вооружался против деспотизма князей, произвола бюрократа, придворной испорченности, общественного раболепства, дурных сторон административной системы и судопроизводства, стоя, однако, на той точке зрения, что просвещенные

¹ Например, систематик имперского права Иоганн, Стефан Пюттер (1725—1807) и особенно страшный консерватор Юстус Мёзер (1720—1794), желавший, однако, улучшения крестьянского быта.

правители могут осуществить благо подданных без участия общественных сил. На той же точке зрения стоял неустрашимый публицист и историк Август Людвиг Шлецер (1735–1809), издатель периодических публикаций, обличавший несправедливые действия и злоупотребления властью немецких князей, особенно порядки в духовных владениях, а также и дурное внутреннее управление в имперских городах: в виде Шлецера перед самой революцией зарождалась в Германии политическая печать.

Таковы были новые направления в духовной жизни Германии. Французская литература не могла не оказать на нее своего влияния, хотя некоторые стороны этой литературы (главным образом, например, материализм и сенсуализм, идея народовластия и т. п.) не прививались к немцам, а в области поэзии, начиная с Лессинга, было прямо выражено стремление освободиться от подражательности французам. Во многих, однако, отношениях французские писатели оказывали влияние на немецких, например, в области политической экономии, т. к. физиократия нашла сторонников и в Германии. Особенно сильное влияние оказывал на духовную жизнь Германии Руссо со своим призывом к природе, к естественности, со своей чувствительностью и свободолобием. Юношеские годы Гёте (эпоха «Вертера») и Шиллера (эпоха «Разбойников») прошли под влиянием этого настроения, которое можно назвать предтечей позднейшего романтизма, и преимущественно на поэзии Шиллера продолжалось это влияние и впоследствии. Гердер, в бытность свою в Париже сошедшийся со многими тамошними писателями (особенно с Дидро), заимствовал прямо у Руссо идеализацию народной массы, сентиментальный взгляд на простоту естественного состояния. «Эмиль» Руссо вдохновлял немецких педагогов: для Базедова¹ он был целым откровением; его идеями был проникнут и Песталоцци. Сам Кант в своих политических воззрениях примыкает к женеvскому гражданину, вместе с которым он признает первобытный договор как акт, образующий из народа государство, как идею, являющуюся критерием правомерности политического порядка, хотя, с другой стороны, Кант уже в духе теории Монтескье разделяет все образы правления на республиканский и демократический, смотря по тому, отделена ли в государстве исполнительная власть от законодательной или нет, и полагая что более всего к деспотизму клонится демократая, тогда как легче всего совершить отделение исполнительной власти от законодательной в монархии². Даже на отдаленную Северную Америку в эпоху ее борьбы за независимость (1776–1783) оказали свое влияние политические воззрения Руссо, ибо из его сочинений заимствовали американские колонисты идеи

¹ Имеется в виду Иоганн Герхард Базедов — немецкий педагог и просветитель. — *Прим. ред.*

² Государственное учение Канта не оказало влияние на политическую жизнь, и потому, не излагая его подробно, мы лишь отмечаем здесь тот факт, что и тут сказалось влияние Руссо.

и выражения великих актов, которыми основывались новые штаты. Это относится одинаково и к декларации 1776 г., и к конституциям отдельных штатов. «Государство, — говорится во введениях к конституциям Пенсильвании и Массачусетса, — есть общественный договор, через который весь народ соглашается с каждым отдельным гражданином, а каждый гражданин — с целым народом, что все будут управляемы известными законами для общей пользы». Французам даже могло показаться, что само возникновение великой заатлантической республики было лишь простым применением к жизни их политической философии.

Новые идеи из Франции проникали повсюду. Миланец Беккариа (1738—1794) в своем трактате «О преступлениях и наказаниях» восставал против варварского уголовного судопроизводства, против пыток, против смертной казни. Неаполитанец Филанджиери (1752—1788), писавший под влиянием Монтескье, в своей «Науке о законодательстве» (*Scienza della Iegislazione*, 1780) указывал на необходимость просвещенного правительства, которое обеспечивало бы материальное благосостояние и духовную свободу за гражданами, нападал на церковную иерархию и феодализм, требовал свободы печати, преобразования уголовного суда и наказания и т. п. Идеи Монтескье и Беккариа легли в основу знаменитого «Наказа» Екатерины II. Польская политическая литература второй половины XVIII в., в которой был поставлен и крестьянский вопрос, была проникнута французскими политическими идеями, и особенно было много написано в духе Руссо¹.

Господство французской цивилизации подчиняло все континентальные нации тем культурным и политическим влияниям, которые шли из Франции. То, что разъединяло европейские народы и делало их непохожими один на другой, вскрылось и получило силу лишь впоследствии, но именно общность моральных и социальных идей при однородности старых порядков должна была создавать некоторую общую почву, стоя на которой образованное общество в разных странах более или менее одинаково смотрело на многие вещи. Вот почему когда во Франции началось применение новых идей к жизни, к нему отнеслись сочувственно передовые люди всех стран, хотя впоследствии их настроение и изменилось: особенно немецкие поэты и филантропы прославляли начавшуюся революцию, видя в ней зарю новых дней для всего человечества. Сами французы понимали дело не иначе. Стоя во главе Просвещения как общепризнанные его вожди, они привыкли смотреть на себя как на нацию, проливающую свет на всю Европу, и потому неудивительно, если во время революции они были убеждены, что все приобретаемое Францией, отстаивающей свободу, равенство и права человека, тем самым приобретается и для всего

¹ Указания на литературу см. в моей книге «Польские реформы в XVIII веке».

человечества. Отсюда и тот универсальный характер, какой получила революция, в которой европейские правительства на первых порах видели, наоборот, только местную неурядицу, даже выгодную для многих государств по причинявшемуся ею ослаблению французской монархии¹. Но новые идеи повлияли не на одно общество (притом далеко не в равной степени в разных странах), но и на правительства, и прежде чем Французская революция стала перестраивать старые государственные и общественные порядки на новых началах, абсолютными монархами или их всемогущими министрами уже производились разные преобразования в духе философии XVIII в.

¹ Мы не останавливаемся здесь на масонстве, иллюминатах и т.п., которым приписывается некоторыми историками подготовка к принятию революционных идей, ибо во всем этом много преувеличений, хотя и несомненно, например, что масоны, организация которых была распространена по всей Европе, мало-помалу от религиозно-нравственных интересов и обратились к интересам социально-политическим.

«Просвещенный абсолютизм»

XIX. Общий характер «просвещенного абсолютизма»¹

Эпохи в истории западноевропейского абсолютизма. — Общий взгляд на «просвещенный абсолютизм» в отличие от предыдущей королевской политики. — Права и обязанности государственной власти. — Традиции абсолютизма и Просвещение. — Хронологические пределы эпохи «просвещенного абсолютизма». — Монархи и философы. — Вольтер и физиократы. — Государство и общественная самодеятельность в эпоху «просвещенного абсолютизма». — Отношение его к историческому и естественному праву. — Противоречия «просвещенного абсолютизма».

Мы уже проводили аналогию между реформационным движением XVI в. и эпохой государственных и общественных преобразований, которые начались в западноевропейских государствах около середины XVIII в.: между прочим, уже было обращено внимание на то, что и в XVI, и в XVIII в. преобразовательные стремления или обнаруживались среди представителей государственной власти и тогда осуществлялись путем реформ, шедших сверху, или же возникали в более или менее широких кругах общества, в народных массах и в таком случае принимали революционный характер. Мало того, за исключением реформационного движения в Германии, которое с самого начала сделалось революционным, мы замечаем еще и другое сходство, состоящее в том, что церковные преобразования, шедшие сверху, предшествовали в XVI в. тем преобразованиям, которые шли снизу, и что в таком же отношении находились между собой преобразовательные стремления XVIII в., т. е. сначала они обнаружились у представителей государственной власти, позднее проявились в различных слоях общества. Мы можем даже хронологически отметить, когда кончается одно явление и начинается другое: гранью между двумя эпохами должен служить 1789 г., когда во Франции вспыхнула великая революция, так сильно потрясшая весь европейский Запад и, между прочим, совершенно изменившая политическое направление монархических правительств, до того момента действовавших в духе идей XVIII в. Дело в

¹ О литературе по истории «просвещенного абсолютизма» см. общие замечания, сделанные во вступительной главе настоящего издания. Здесь укажем для истории Германии в эту эпоху на новые сочинения: *Wenck. Deutschland vor hundert Jahren (Politische Meinungen und Stimmungen bei Anbruch der Revolutionszeit; Levy-Brühl. L'Allemagne depuis Leibnitz.* Из старых отметим: *Bauer B. Gesch. der Politik, Cultur und Aufklärung des XVIII Jahrhundert.* История Германии от Вестфальского мира до Фридриха II излагается в новом труде Эрдмансдерфера (в коллекции Онкена).

том, что в последние пять десятилетий, протекших до начала французского переворота, в большей части западноевропейских государств совершались преобразовательные попытки по инициативе абсолютных монархов или их всесильных министров и в направлении, на котором сказывалось влияние Просвещения XVIII в., и вот это-то дает нам *право говорить о целой эпохе западноевропейской истории, которую по всей справедливости можно назвать эпохой «просвещенного абсолютизма»*. Нам и раньше приходилось указывать на то, что в истории западноевропейского абсолютизма можно различать разные эпохи, между прочим, в зависимости от тех культурных начал, которые господствовали в то или другое время в исторической жизни¹. Абсолютизм, утвердившийся ранее всего в итальянских княжествах конца Средних веков, по существу своему был совершенно светским: теоретическое его обоснование было заимствовано у античного мира, сначала в форме учения римских юристов о том, что благоугодное государю имеет силу закона (*quod principi placuit legis habet vigorem*), т. к. на государя народ переносит все свое право и всю свою державную власть (*omne suum jus et omne imperium*), позднее — в форме античной тирании, главным теоретиком которой сделался Макиавелли, так что на образовавшемся этим путем понятии об абсолютной власти отразился светский и классический Ренессанс, политическая традиция которого, представленная в XVI в. Боденом, завершилась в XVII столетии государственной теорией Гоббса, положившего в основу абсолютизма светскую же идею естественного права, столь характеристичную и для рационализма XVIII в. Религиозная Реформация и последовавшая за ней католическая реакция дали политической мысли иное направление, и абсолютизм получил вероисповедную окраску, выразившуюся, быть может, лучше всего в формуле «*cujus regio, ejus religio*»²; целый и притом весьма длинный период европейской истории характеризуется этой формой абсолютизма и если, например, французская монархия при Генрихе IV и кардинале Ришелье, по-видимому, вступала на иную дорогу, то Людовик XIV снова вернул ее на путь абсолютизма конфессионального. Эпоха «просвещенного абсолютизма» тем и отличается, что *государственная власть в это время начинает отрешаться от традиций, которыми она главным образом и жила с Реформации и реакции*. Во-первых, учение о божественном происхождении королевской власти, развитое с XVII в. в сочинениях Боссюэта и Фильмера, уступает снова место тем светским

¹ Ср. интересную статью R. Koser'a «Die Epochen der absoluten Monarchie in der neueren Geschichte» в Hist. Zeitschrift Зибеля за 1889 г. Наше представление, впрочем, отличается от того, которое дает об этом предмете Козер, не совпадая в то же время и с представлением дела у Рошера (в Gesch. der National Oekonomie in Deutschland u. in System der Volkswirtschaft), подвергшимся критике со стороны названного автора.

² «Чья власть, того и религия» (лат.). — Прим. ред.

политическим идеям, которые формулировались юристами, Макиавелли, Боденом, и мы имеем полное право смотреть на Гоббса именно как на родоначальника политической идеи «просвещенного абсолютизма», поскольку теория последнего основывалась не на теологических соображениях, а на понятиях рационалистической философии естественного права. Во-вторых, обнаруживая склонность, к веротерпимости, за которую ратовала та же философия XVIII в., абсолютизм второй половины этого столетия возвращался к политике Генриха IV и кардинала Ришелье. Таким образом, в «просвещенном абсолютизме» выразилась та идея светского государства, которая в разных формах и раньше выступала одинаково и против средневекового католицизма, и против конфессиональной политики XVI и XVII вв. Как вероисповедный абсолютизм, — все равно, католический или протестантский, — отразил на себе идеи религиозной Реформации и последовавшей за ней католической реакции, так «просвещенный абсолютизм» второй половины XVIII в. был проникнут воззрениями рационалистической философии этой эпохи. Вот почему мы считаем возможным давать это имя не вообще некоторому направлению, под которое историки подводят иногда мыслителей и деятелей разных эпох (например, Ришелье, Страффорда, Валленштейна или Макиавелли и Гоббса), а только определенной эпохе, именно периоду от вступления на прусский престол Фридриха II до начала Французской революции: этот период прямо характеризуется своего рода союзом между абсолютной государственной властью и рационалистическим просвещением века, союзом, которому притом ставились известные преобразовательные цели (бывшие, например, чуждыми политической философии Гоббса).

Это одна сторона дела, обращающая на себя наше внимание при рассмотрении «просвещенного абсолютизма». Другая заключается вот в чем. Абсолютизм Нового времени был одним из воплощений государственной идеи, пришедшей на смену средневековым принципам католицизма и феодализма. Прежде всего эта идея мыслилась как право государственной власти, заслонявшее собой понятие о соединенных с пользованием этой властью обязанностях. То, что можно назвать практическим макиавеллизмом в политике Нового времени, вытекало естественно и необходимо из взгляда, по которому у короля были права, но не было обязанностей. Само общее понятие государства представлялось уму главным образом со стороны совокупности тех прав, которым оно наделено по природе вещей или по изначальному договору, лежащему в его основе: только позднее на государство возлагается обязанность служить высшим целям человеческой жизни. В двух разных формулах выразилось поэтому различие в понимании того отношения, в каком должны находиться между собой носитель государственной власти и само государство: одна формула делала из особы короля воплощение государства, подчиняла второе первой, именно зна-

менитое — «l'état c'est moi»¹ Людовика XIV, тогда как другая делала из монарха «первого слугу государства», по выражению Фридриха II, тем самым налагая на королевскую власть известные обязанности по отношению к государству. Эпохе «просвещенного абсолютизма» принадлежит более высокое понимание государства, нежели то, к каким мы имеем дело на протяжении всего времени, протекшего от Макиавелли до Гоббса, этих главных теоретиков светского абсолютизма. По их представлению задачи государства исчерпываются охраной внутреннего мира и внешней безопасности, а Ришелье прямо находил ненужным, даже вредным, чтобы народу было хорошо, но к XVIII в. мы встречаемся уже с более широким пониманием государственной идеи. Уже известный Томазий учил, что целями государства являются эвдемония и автаркия: первая есть гражданское благополучие (*bürgerliche Glückseligkeit*), состоящее в продолжительности и счастливом течении человеческой жизни, и все это достигается второй, т. е. достаточностью внешних благ и предметов, — вот ради достижения этой-то цели и существует государство, которому потому должно принадлежать высшее господство. Такой взгляд, служивший оправданием полицейскому государству, в то же время подготовлял собой взгляд, по которому *государство должно было сделаться главным органом улучшения человеческой жизни*. Другой знаменитый немецкий философ первой половины XVIII в. Вольф находил, что нравственный и естественный закон предписывает человеку совершенствоваться и способствовать совершенствованию других. Понимая самосовершенствование не только в моральном смысле, но и в смысле улучшения внешних условий людского существования, Вольф указывал на то, что единичными силами человек не в состоянии достигнуть такой цели, откуда выводил необходимость и обязательность взаимной помощи, лежащейся в основу государства. Таким образом, последнему прямо указывается цель способствовать совершенствованию человеческой жизни. Насколько можно говорить о теории «просвещенного абсолютизма», в ней безграничная власть государства и оправдывалась, как единственное средство создать земное благополучие и усовершенствовать внутренние отношения общества.

Раз государство стало признавать за собой не одни права, но и обязанности, оно теоретически должно было наложить на себя известные ограничения. С точки зрения последних история западноевропейского абсолютизма может быть разделена на три периода. В более раннюю эпоху он был более практического, чем принципиального свойства: характернейшим проявлением такого абсолютизма была королевская диктатура Тюдоров в Англии, мирившаяся с существованием парламента, но можно указать и на другие примеры государственных и земских чинов, продолжавших

¹ «Государство — это я» (фр.). — Прим. ред.

собираться, хотя и без важного политического значения при полном развитии абсолютизма, как это было, например, в немецких княжествах от Тридцатилетней войны до Французской революции. Теоретиком такого абсолютизма был во Франции в XVI в. Боден, который полагал, что генеральные штаты, в то время еще собиравшиеся во Франции, отнюдь не ограничивают королевской власти. Или еще, например, в XVII в. Стюарты в Англии, стремясь к абсолютизму, думали видеть его основу в той же самой конституции, которой признавался и парламент. Даже в XVIII в. во Франции абсолютизм Людовика XV и Людовика XVI существовал рука об руку с парламентами. Но этот первоначально скорее практический, нежели принципиальный абсолютизм все более и более делался прямо принципиальным, выразившись наилучшим образом в известных политических заявлениях Людовика XIV: с исчезновением или крайним упадком сословно-представительных учреждений на западе Европы и восторжествовала эта форма. «Просвещенные деспоты» (*despotes éclairés*) XVIII в. не менее ревниво, чем Людовик XIV, относились к своей власти и не менее его были принципиальными противниками сословного представительства, но тем не менее они умеряли свою власть, налагали на нее известные ограничения (по крайней мере, в теории), сами *становясь на точку зрения договорного происхождения государства*, налагающего на монархов известные обязанности: этим умеряющим абсолютизм фактором признавалось Просвещение, которое, кроме того, указывало государственной власти на ее задачи в культурной и социальной жизни.

Но и этим еще не исчерпывается вопрос об основных признаках «просвещенного абсолютизма» второй половины XVIII в. Воплощая в себе государственную идею Нового времени, королевская власть выросла в борьбе со средневековыми силами католицизма и феодализма или, говоря вернее, с политической стороной того и другого. Но у католицизма была еще сторона культурная, у феодализма — сторона социальная, и абсолютизм Нового времени, нанеся удар клиру и аристократии как политическим силам, в то же время вступил с ними в союз и взял их под свое покровительство, сам в то же время подчинившись их влиянию как это особенно рельефно выразилось в конфессиональном и придворном абсолютизме Филиппа II и Людовика XIV, беря наиболее видных его представителей в XVI и XVII вв. Политика «просвещенного абсолютизма» была *возобновлением прекратившейся было борьбы нового государства с католицизмом и феодализмом* и на этот раз не только в политической их стороне, но и *в культурно-социальных их проявлениях*. Продолжая таким образом старую антикатолическую и антифеодальную традицию государственной власти с исхода Средних веков, политика второй половины XVIII в. отражала на себе одновременно и идеи тогдашнего Просвещения, отстаивавшего право общества на свободное культурное развитие,

право личности на религиозное самоопределение и вместе с тем вооружавшегося против сословных привилегий, которые выросли на феодальной почве, равно как против несвободы лица и земли в сельском быту, наиболее удерживавшем остатки средневекового феодализма. Весьма и весьма многие мероприятия «просвещенного абсолютизма» были направлены против двух сословий, представлявших собой старые католические и феодальные традиции, чем, между прочим, и объясняется глухая, а иногда и открытая вражда клира и аристократии против представителей новой политики. В этом отношении «просвещенный абсолютизм» начал действовать в том же направлении, в каком продолжала революция, и те же общественные классы, которые явились врагами «просвещенного абсолютизма», сделались впоследствии врагами и революции. Так как последняя, кроме того, приняла республиканский характер, то в вызванной ею реакции абсолютизм сблизился именно с теми самыми общественными классами, с которыми он находился в натянутых отношениях во второй половине XVIII в.

Все, что было сказано до сих пор, имело целью показать, что на «просвещенный абсолютизм» мы имеем право смотреть, как на историческое явление, характеризующее собой именно известную эпоху в политической и культурно-социальной истории Западной Европы, а не как на общее понятие, которое может безразлично прилагаться всюду, где только встретятся некоторые его признаки¹. Другими словами, этот термин должен был бы иметь такое же значение, как Ренессанс, Реформация, католическая реакция, т. е. служить названием для определенной эпохи. Вместе с этим на основании сказанного мы имеем право и точнее определить границы эпохи «просвещенного абсолютизма»: начало ее следует отнести к 1740 г., когда вступил на престол Фридрих II, «король-философ» и именно философ в духе XVIII в., т. е. вольтерианец, а конец, как было сказано, к 1789 г., около которого сходят со сцены и наиболее видные деятели эпохи, сам Фридрих II (ум. в 1786 г.) и его младший современник Иосиф II (ум. в 1790 г.). На эти полвека приходятся царствования Карла III Испанского (1759—1788), при котором действовал министр Аранда, Иосифа-Эммануила Португальского и его министра Помбаля (1750—1777), упомянутого Карла III и его сына Фердинанда IV в Неаполе с министром Тануччи, Леопольда в Тоскане (1765—1790), Христиана VII в Дании (1766—1807) с министром Струензе (1769—1772), Густава III в Швеции (1771—1792), Карла-Фридриха в Бадене, а к этим представителям «просвещенного абсолютизма» во многих отношениях можно причислить и Екатерину II, назвав рядом со всеми ими и польского короля Станислава Понятовского

¹ Приходилось встречаться даже с зачислением сюда царствования Людовика XIV, так как этот король был «покровитель наук и искусств».

(1764—1795), который хотя и не был абсолютным монархом, но также выступил в роли реформатора¹.

Тесная связь между абсолютизмом и Просвещением в эту эпоху доказывается, между прочим, теми отношениями, какие существовали тогда между монархами и философами, и теми надеждами, которые последними возлагались на первых. Мы уже знаем, что Фридрих II, еще будучи кронпринцем, вступил в переписку с Вольтером, и с этого времени началось *сближение между представителями государственной власти и представителями философии*, примеры которого нами неоднократно приводились выше. Насколько были искренни отношения между теми и другими, это вопрос особый, но факт все-таки тот, что государи и министры второй половины XVIII в. разделяли многие воззрения философов, сообщали им свои предположения, искали у них сочувствия и популярности, оказывали им поддержку, приглашали их к себе на службу и вступали с ними в переписку. Около 1765 г. Дидро не без основания писал поэтому, что тогда в Европе не было ни одного монарха, который вместе с тем не был бы философом. Со своей стороны просветители прошлого столетия *возлагали большие надежды на абсолютную монархическую власть, как на ту политическую силу, которая одна только могла дать победу в жизни новым идеям*. В этом союзе монархов и философов совершалось сближение между началами государственности, нашедшей свое воплощение в абсолютизме, и рационализма, бывшего самой характерной чертой «философии» XVIII в.: государство должно было следовать указаниям разума. В своем месте мы отметили, что на точке зрения такого «просвещенного абсолютизма» стоял сам Вольтер. Его политический идеал можно определить как деспотизм, умеряемый «терпимостью» и «просвещением», и он думал, что все дело не во внешнем перевороте, а в изменении мыслей тех, которые призваны управлять людьми. Кондорсе в своей биографии Вольтера защищает его от обвинения «в слишком большой любви к единоличному правлению». Вместо того, говорит он, чтобы объявить войну деспотизму прежде, чем разум сделается достаточно сильным, и призывать народы к свободе прежде, чем они ее узнают и полюбят, философ должен «указать как им, так и их владыкам на злоупотребления, в уничтожении которых одинаково заинтересованы и повелевающие и повинующиеся»². Но Вольтер хотел сочетать политический абсолютизм с культурной свободой, со свободой совести, мысли и слова, как устного, так и печатного. Вот почему он приветствовал вступление в министерство философа и экономиста Тюрго, а Тюрго сам стоял на точке зрения «просвещенного абсолютизма». Защищая Просвещение от католического фанатизма, Вольтер в духовен-

¹ См. мою книгу «Польские реформы XVIII века».

² Рус. пер. Чуйко В.В. С. 149.

стве видел и главного врага государственной власти, указывая представителям последней на то, что им всегда приходилось выдерживать борьбу со стороны властолюбивых священников, тогда как философы никогда не становились на дороге монархов, а потому между теми и другими, имеющими в клире общего врага, должен был быть заключен тесный союз, от которого только и могло бы произойти общее благо. На точке зрения «просвещенного абсолютизма» стояла и школа физиократов. Уже Кенэ, мечтая о реализации своей экономической системы, нуждался в такой власти, которая могла бы совершить эту реализацию: он требовал поэтому полного единства и безусловного господства верховной власти, возвышающейся во имя общего блага над противоположными интересами частных лиц. Мерсье де Ла Ривьер, один из наиболее верных истолкователей принципов физиократии, в сочинении своем «*Ordre naturel et essentiel des sociétés politiques*» развивал ту мысль, что «законный деспотизм» (*le despotisme légal*), как он выражался, один в состоянии осуществить общее благо, установив естественный общественный порядок, чем, как мы знаем, он вызвал полемику со стороны Мабли. Физиократ, нападая на теорию разделения и равновесия властей или учение о политических противовесах, рассуждал таким образом: если основы хорошего правления очевидны для власти, и она захочет поступать сообразно с ними на благо общества, то «контрофорсы» могут лишь помешать ей в этом деле, и наоборот, в них нет надобности, раз основы хорошего правления остаются неизвестными власти, так что напрасно из боязни, что правитель может быть невежественным, ему противопоставляют людей едва умеющих управлять самими собой, мы еще увидим, почему к числу литературных защитников «просвещенного абсолютизма» нужно причислить и Тюрго, реформаторская деятельность которого в царствование Людовика XVI может рассматриваться как одно из частных проявлений системы. И Вольтер, и физиократы с министром-реформатором Тюрго вовсе не думали о политическом переустройстве, надеясь, что для желаемых ими реформ «*le despotisme légal*» был вполне подходящей формой государственной власти. Несовершенство тех учреждений, в которых в тогдашней Европе осуществлялся принцип политической свободы, могло лишь служить для них лишним аргументом в пользу их основной идеи, тем более, что сословно-представительные учреждения, выросшие на католико-феодальной почве, защищали те самые интересы, которые философия XVIII в. желала подчинить идее общего блага. Защищая Вольтера от упомянутого обвинения в пристрастии к единоначалию, Кондорсе замечает, что философа «никогда не обманывали ни французская магистратура (парламенты), ни шведские и польские дворяне, называвшие свободой иго, под которым они хотели давить народ». Вольтер желал прежде всего культурных изменений, физиократы — социальных, и их противниками были два общественных класса,

против которых пришлось выступить и государственной власти. Фридрих II не менее физиократов был противником теории разделения властей, развитой в «Духе законов» Монтескье.

И теоретики, и практики «просвещенного абсолютизма» *относились с величайшим недоверием к общественным силам*, так что их девизом могло бы быть изречение: «все для народа и ничего посредством народа». Их системе пришлось действовать в наиболее отсталых странах, где правительство шло впереди общества, продолжавшего жить конфессионально-сословными традициями, и если абсолютизм встречал здесь какую-либо оппозицию, то главным образом со стороны консервативных элементов. Южно-романские страны находились в полном культурном упадке, и то же самое можно сказать об Австрии: все они испытали на себе следствия католической реакции. В Дании деспотизм был не лучше турецкого, как выражается Шлоссер. Пруссия второй половины XVIII в. могла даже своей косностью вызвать у Фридриха II признание в том, что ему «надоело царствовать над рабами». В обществе таких стран не могло быть преобразовательной инициативы, — могла быть, наоборот, лишь оппозиция против начинаний, затрагивавших консервативные интересы. Реформа шла сверху, от государственной власти, на стороне которой была сила и которая считала себя вправе действовать посредством силы во имя принципа: «*salus populi suprema lex*»¹. Все делалось путем власти, ничего не оставлялось на долю общественной самостоятельности. Впрочем, последняя, выражавшаяся раньше в феодальных, муниципальных и сословно-представительных формах, давно находилась в упадке, так сказать, совершенно почти иссякла в то время, наоборот, когда государство, сделавшись первейшей силой, в сознании именно этой своей силы считало себя вправе рассматривать само общество как чисто пассивный материал, подлежащий обработке со стороны власти и зависящих от нее органов управления. Притом всякое участие общественных сил в делах правления, принимая характер ограничения власти, не только казалось несоответствующим тем правам, которые должны были принадлежать последней, но и вредным, поскольку со стороны консервативно настроенных общественных сил можно было скорее ожидать не содействия, а противодействия преобразовательным начинаниям: действительно, там, где сохранялись еще «чины», они проявляли оппозиционное отношение ко многим мероприятиям, которых требовала новая государственная политика. Часто между новым и старым сделки быть не могло, и в монархии Иосифа II распря дошла до насильственного образа действия со стороны короля, сделавшегося «революционером на троне», и до восстания подданных, которые защищали вместе с отжившими культурно-социальными принципами и политическую свободу. Нако-

¹ «Да будет благо народа высшим законом» (лат.). — Прим. ред.

нец, государство стремилось к централизации, к ослаблению провинциальной обособленности, особенно бывшей сильной в таких монархиях, как Пруссия и Австрия, а отвлеченная идея государства, развивавшаяся в политической литературе XVIII в., прямо была враждебна каким бы то ни было областным отличиям, основывавшимся на историческом праве; между тем разные ландтаги были именно проникнуты духом провинциализма.

Мы уже видели, что рационализм, отличающий Просвещение XVIII в., был сам по себе направлением антиисторическим; абсолютизм равным образом был противником исторического права сословий и областей, вступив в борьбу с привилегиями духовенства и дворянства и с провинциальным сепаратизмом, опиравшимися на историческое свое право, и *этому последнему он противопоставил естественное право тогдашней философии*, на котором основывалась и сама государственная власть в новых политических теориях. Неблагоприятная исторически сложившемуся социальному строю идея естественного права была, наоборот, весьма благоприятна для личной свободы. «Просвещенный абсолютизм» относился весьма двойственно к этому предмету: поскольку он сам был лишь применением к жизни государственной идеи Гоббса, а главное — был лишь видоизменением полицейского государства, постольку он не давал свободы проявлению индивидуальных сил, но это касалось преимущественно тех сфер, в которых заинтересована была сама государственная власть; но в других отношениях, где права личности ограничивались не в интересах этой власти, а в силу традиционных культурных и социальных отношений, *«просвещенный абсолютизм» содействовал эмансипации личности*, главным образом именно устанавливая веротерпимость, вводя в известной мере принцип свободы в духовную жизнь общества, содействуя его эмансипации от клерикальной опеки, стремясь к отмене крепостного права или вообще к ослаблению и ограничению помещичьей власти и т. п. Эта двойственность, впрочем, должна считаться лишь одним из проявлений тех противоречий, которыми вообще отличается система «просвещенного абсолютизма», будучи одновременно продолжением старой королевской политики и применением новой государственной идеи в духе светского абсолютизма Гоббса, система эта не всегда жила в ладу не только со старыми историческими силами, но и новыми требованиями Просвещения, поскольку последнее защищало права личности и общества, не говоря уже о том, что консервативная оппозиция часто вынуждала представителей власти прибегать прямо к насилию для утверждения начал Просвещения, терпимости и гуманности. Этими противоречиями исполнена и деятельность двух наиболее видных представителей «просвещенного абсолютизма», с которыми мы познакомимся подробнее, и те же противоречия встретим в теории революции.

XX. Страны «просвещенного абсолютизма» и его представители

Англия, Польша и Франция в эпоху «просвещенного абсолютизма». — Протестантские и католические страны в эту эпоху. — Сравнение между Пруссией и Австрией. — Фридрих II и Иосиф II. — Швеция при Густаве III. — Дания в XVIII в. — Два недостатка системы. — Абсолютные государи и всеисильные министры. — Португалия при Помбале. — Испания при Карле III. — Тануччи. — Несколько общих замечаний.

«Просвещенный абсолютизм» был явлением общеевропейского характера: представляя из себя совершенно особый момент в культурно-социальной истории западноевропейского государства, сбрасывавшего с себя средневековые клерикально-феодальные формы, он не был порожден условиями какой-либо одной страны, как ни различно проявлялся он в каждой из них в отдельности. Из общего правила были, конечно, исключения. Первым из них была, разумеется, Англия и понятно, по какой причине: во-первых, в ней в XVIII в. победила окончательно конституционная монархия; во-вторых, многие из тех отношений, которые в других странах только еще предстояло установить (веротерпимость, освобождение общества от клерикальной опеки, уничтожение крепостничества и т. п.), в Англии были осуществлены раньше, и если «просвещенный абсолютизм» был далек от какого бы то ни было намерения подражать английскому политическому режиму, то, наоборот, культурный и социальный быт Англии был как раз тем, что в конце концов должно было бы сделаться результатом системы, если бы только она проводилась последовательно, полно и достаточно продолжительно. Затем мы не видим «просвещенного абсолютизма» в Польше и опять понятно, почему это так: во-первых, и тут не было абсолютной королевской власти, а во-вторых, здесь прямо господствовали два сословия, духовенство и дворянство (шляхта), против которых направлялась большая часть культурных и социальных мероприятий «просвещенного абсолютизма». Тем не менее, правда, Польша особенно нуждалась в таких реформах, как веротерпимость и уничтожение крепостничества, и общий дух преобразовательной деятельности второй половины XVIII в. коснулся и этой страны при ее последнем короле, Станиславе Понятовском. Если Англия переросла необходимость «просвещенного абсолютизма», то Польша, наоборот, не доросла до того, чтобы принять просветительные преобразования, т. к. ее культурный слой был настроен и нетерпимо, и крепостнически. Во Франции, главном очаге Просвещения, весьма значительная часть зажиточного и образованного

класса, напротив того, желала реформ в духе новых идей, но хотя в этой стране существовала абсолютная королевская власть, и здесь система «просвещенного абсолютизма» не применялась, впоследствии же, не получив желательных реформ, французское общество уже прямо стало добиваться политической свободы. Почему случилось так, т. е. почему Франция XVIII в. не знала «просвещенного абсолютизма», это мы еще увидим после, но причины этого явления не совпадают с теми, которые действовали в Англии и в Польше: страна была абсолютной монархией, нуждалась в реформах, которых Англии уже было не нужно, и обладала прогрессивным общественным классом, какого не было в Польше. В последнем отношении дело реформ во Франции находилось в лучшем положении, чем в других монархиях: в буржуазии французское правительство могло бы иметь живую силу, весьма важную опору, какой были лишены правительства других стран, встречавшие больше несочувствия, чем сочувствия в обществе, т. к. в последнем преобладали клерикальные и аристократические элементы и было весьма слабо развито среднее сословие. Во Франции реформа, задержанная сверху, пошла поэтому снизу, и в числе стран, на которые Французская революция оказала влияние, была и Польша.

За указанными исключениями все главные западноевропейские государства в большей или меньшей степени испытали на себе действие «просвещенного абсолютизма». Но и в них общее начало системы разнообразится в своих применениях в зависимости от местных условий. Прежде всего нужно различать между протестантскими и католическими странами. В эпоху религиозной Реформации в первых из них произошло освобождение государства от внешней власти папы, подчинение правительству национального духовенства, ослабление его социального значения посредством секуляризации церковной собственности и т. д., и в XVIII в. этим странам ничего уже не приходилось существенным образом изменять в церковной области, тогда как католические правительства эпохи вынуждены были, не касаясь существа религии, реформировать церковно-политические и церковно-общественные отношения как раз в том же духе, в каком это сделано было протестантскими государствами уже в реформационную эпоху. Представительницей протестантских стран в XVIII в. может служить Пруссия, представительницей католических — Австрия: первая из них в реформационную эпоху достигла того, к чему вторая только еще стремилась при Иосифе II, желавшем освободить государство и общество от опеки курии и клира и превратить духовенство в зависимое от правительства чиновничество.

Мы главным образом и остановимся на этих двух немецких державах в занимающую нас эпоху, тем более, что два самых крупных представителя «просвещенного абсолютизма» были Фридрих II Прусский и Иосиф II Австрийский. Между Пруссией и Австрией существовало не только одно ве-

роисповедное различие, делавшее далеко неодинаковыми задачи государственной власти в той и другой стране, но были и различия иного рода. Во-первых, хотя прусская монархия и составила из разных княжеств, тем не менее здесь гораздо легче было провести централизацию, чем в государствах габсбургского дома, которые мы теперь лишь анахронически называем Австрией; в то самое время, как в состав Пруссии входили земли с немецким населением, габсбургская монархия состояла из разных национальностей, из которых некоторые (Венгрия, Бельгия) отстаивали свои исторические права против все уравнивавшей централизации. Наконец, *Австрия была страной и более феодальной, чем Пруссия*, и власть здесь встретила более сильные препятствия, чем в государстве Фридриха II, особенно в области социальных преобразований, к которым главным образом относилось изменение крестьянского быта. Пруссия в некоторых отношениях могла быть прямо образцом, которому более отсталая Австрия должна была подражать, независимо от того, что Фридрих II и по личным своим качествам делался предметом подражания. Обе страны, кроме того, жили в постоянном политическом антагонизме, причем уже тогда намечался разлад между ними по вопросу о том, кому играть первенствующую роль в Германии, т. е. по тому вопросу, который разрешился лишь в 1866 г., но это относится уже к истории объединения Германии, которую мы теперь не рассматриваем.

Сравнение между прусской и австрийской историями в XVIII в. любопытно и в другом отношении. Фридрих II, этот «король-философ», и Иосиф II, бывший «революционером на троне», являются двумя «просвещенными деспотами» совершенно различного характера. Один не изменял существенным образом династическим традициям Гогенцоллернов, их военно-хозяйственному режиму, другой, наоборот, пошел в разрез с консервативной, клерикально-феодальной политикой габсбургской династии. Отношение обоих к философии XVIII в. также было различное: один проникался больше ее рационализмом, усвоив себе ее скептическую сторону, на другого сильнее действовала филантропия, гуманная сторона философии. Один был реалист, другой — идеалист, и если один как практик проявлял свою деятельность преимущественно в мероприятиях технического характера, то другой, наоборот, исходя из теории, ставил вопросы внутренней политики ребром, принципиально. В Пруссии, как мы видели, и изменять приходилось меньше, чем в Австрии, да и король прусский менее был склонен к крутым переменам, равно как и общество было вообще пассивнее, тогда как в Австрии консервативная оппозиция была сильнее, и личный характер монарха толкал его на путь более радикальных реформ: если в некоторых отношениях прямо существует родство между «просвещенным абсолютизмом» и Французской революцией, то оно, главным образом, касается Иосифа II. Между ним и Фридрихом II при-

близительно такая же разница, какая была между Руссо и Вольтером, между этими «сердцем» и «головой» XVIII в.: это две исторические фигуры, отлично дополняющие одна другую, столь же рельефно представляющие собой две различные стороны новой политики, как Вольтер и Руссо представляли собой два разных полюса философии XVIII в.

Таким образом, на примере Пруссии и Австрии весьма легко познакомиться с очень разнообразными видоизменениями «просвещенного абсолютизма», и потому другие страны могут быть привлечены к рассмотрению лишь для сравнения и для большей полноты общей картины. К числу этих стран нужно отнести два скандинавских государства — Швецию и Данию. В первой из них в 1772 г. Густав III произвел государственный переворот, усиливший королевскую власть, которая перед тем находилась в совершенном упадке¹. Поступок Густава III, спасшего Швецию от судьбы Польши, встретил одобрение со стороны просветителей XVIII в., но причины их сочувствия заключались не в том, что король избавил страну от губившей ее анархии, а в том, что, считая Густава III одним из своих, сторонником Просвещения, они рассчитывали на него как на будущего сокрушителя суеверий и несправедливостей. Воспитанник гр. Тессина, бывшего прежде шведским посланником в Париже, большого почитателя французской литературы, Густав III освоился с ее идеями, хотя далеко не проникался ими настолько, чтобы не на одних только словах быть учеником Вольтера и Монтескье. Вольтеру было известно, что будущий шведский король принадлежит к числу поклонников философии, и потому он возлагал большие надежды на его царствование. Со своей стороны наследный принц шведский, еще своему отцу советовавший совершить государственный переворот, видел в сочувствии философов, задававших тон общественному мнению, своего рода поддержку в задуманном им деле. В 1770 г. он совершил путешествие на континент и посетил Париж, с которым уже раньше находился в литературных сношениях. Вот почему и Густав III мы можем причислить к «просвещенным деспотам» XVIII в. Хотя переворот 1772 г. не уничтожил в Швеции государственного сейма, но значение последнего было донельзя ограничено: король мог не созывать сейма, в случае нужды мог устанавливать налоги без его согласия, и у сословий не было законодательной инициативы. Можно сказать, что конституция 1772 г. позволяла Густаву III править Швецией совершенно неограниченно. Не обращая никакого внимания на то, что по конституции для издания новых законов требовалось согласие государственных чинов, Густав III предпринял ряд реформ, подобных тем, которые вводились в других странах «просвещенного абсолютизма». Правда, в его прео-

¹ См.: *Gejer*. Des Königs Gustav III nachgelassene Papiere (пер. со шведского); *Geffroy*. Gustave III et la cour de France; *Léouzon le Duc*. Gustave III, roi de Suède; *Odhner*. Sveriges politiska under Gustaf III's regering; *De Nervo*. Gustave III, roi de Suède et Anckarström.

бразовательной деятельности многое было рассчитано только напоказ, т. к. он добивался прежде всего популярности среди вождей общественного мнения за границей, а внутри страны он более гнался за пышностью и блеском, так что по существу дела он был скорее учеником версальского двора, чем просветителей XVIII в. Притом он хотел удивить мир громкими подвигами, уже прославившими имена его предков — Карла XII и Густава-Адольфа, что было не по средствам такой бедной стране, как Швеция. Густав III вооружил против себя дворянство, но не сумел расположить в свою пользу народ; духовенство также было им недовольно, а все это заключало в себе семена реакции против короля, который сам, в свою очередь, сделался в конце своей жизни одним из главных представителей монархической реакции против Французской революции. Глубокого значения преобразовательная деятельность Густава III, кроме совершенного им переворота, не имела: его «просвещенный абсолютизм» был более внешний и поверхностный, но во всяком случае, так ли, иначе ли, и Швеция при этом короле вступила в число стран, на которые было оказано влияние общим духом новой политики абсолютизма.

Несколько раньше, чем Швеция, подверглась действию нового направления и Дания. Абсолютизм, установившийся в этом государстве в 1660 г., соединялся с резкой лютеранской исключительностью, особенно при Христиане VI (1730—1746)¹. Но уже преемник этого короля, Фридрих V (1746—1766), начал действовать в духе «просвещенного абсолютизма», имея опытного и образованного советника в лице ганноверского уроженца графа Бернсторфа, ставшего проводником немецкого культурного влияния в Дании. Впрочем, настоящим представителем новой политики сделался здесь в царствование следующего короля, Христиана VII, Струензе, по происхождению также немец². Человек недюжинных способностей и обширного образования, врач по профессии, большой притом честлюбец, строивший, однако, планы, от исполнения которых он сам ожидал общего блага, Струензе, не в пример Бернсторфу, чуждавшемуся французской культуры, был поклонником энциклопедистов. Овладев доверием молодого, нравственно испорченного и ленивого короля, сделавшись любовником королевы (английской принцессы Матильды), он скоро взял в свои руки бразды правления, вытеснив Бернсторфа (1769). С самыми прекрасными намерениями — просветить и осчастливить Данию, Струензе, к сожалению, не соединял правительственной опытности, а кроме того, ему много мешали некоторые его личные слабости, как, например, надменное обращение, пустое чванство своим влиянием и т. п. Понятное дело, что человек, начавший ограничивать дворянские привилегии и вместе с тем

¹ Koch L. Kong Christian den Siettes Historie.

² Jensen-Tusch. Die Verschwörung gegen Karoline-Mathilde und Struensee; Wittich K. Struensee.

действовавший в духе вольномысленного Просвещения, должен был возбудить против себя аристократическую и пиетистическую оппозицию, которая воспользовалась введенной Струензе свободой печати для того, чтобы бороться путем прессы против его нововведений и против него самого. Простой народ не мог сразу понять, что многие правительственные мероприятия имели целью облегчение его положения, а некоторые ошибки Струензе прямо эксплуатировались во вред министру, тем более, что временщик был немец, не считавший даже нужным переводить по-датски королевские распоряжения, и обогащал на казенный счет своих родных и приспешников. Всеобщее недовольство заставило Струензе, получившего титул графа и должность кабинет-министра, подпись которого была равносильна королевской, действовать посредством насилия. Против министра-реформатора, в течение полутора лет издавшего около шестисот новых распоряжений, составил заговор, у слабохарактерного короля вынудили приказ об аресте Струензе, и этот представитель «просвещенного абсолютизма» кончил жизнь на эшафоте, обвиненный в государственной измене и преступлении против религии. Реформы Струензе были отменены, и только лишь после того, как наследный принц (впоследствии Фридрих VI) вынудил у короля для себя регентство (1784), Дания снова выступила на путь либеральных реформ, проводившихся на этот раз Бернсторфом Младшим (племянником вышеназванного) с большей осмотрительностью.

Более или менее внешнее, поверхностное отношение Густава III к Просвещению XVIII в. и отсутствие всякой опытности и осмотрительности в преобразовательной деятельности Струензе не составляют собой единичных исключений: *не все деятели «просвещенного абсолютизма» были глубоко и искренне проникнуты новыми общественными идеями, а подчиняясь им более или менее, на самом деле не всегда обнаруживали умелость в проведении их на практике.* Мы увидим еще, что в первом отношении Густав III был лишь наиболее резким представителем тех государственных людей XVIII в., которые, стараясь заслужить похвалу философов, были весьма далеки от того, чтобы руководствоваться преимущественно философией в своем политическом поведении: из числа таких деятелей был именно и Фридрих II. То, что можно поставить в укор Струензе, равным образом характеризует, например, Иосифа II: и у него страшно развитая самонадеянность и деспотизм в проведении недостаточно обдуманной мероприятий соединялись с самыми благими намерениями и с большей, чем у Фридриха II или Густава III, зависимостью от Просвещения, хотя бы влияние последнего на саму личность прусского короля было и большее по сравнению с Иосифом II. Весьма часто те или другие меры «просвещенного абсолютизма» более объясняются абсолютизмом с его старыми традициями, чем духом века, вследствие чего они становились нередко даже в противоречие с идеями Просвещения. Да и самонадеянность эта, вера в

собственную непогрешимость, какой отличалось, пожалуй, большинство представителей системы, выросли на почве старого абсолютизма, и уже прямо от склада ума и личного характера того или другого деятеля зависело, насколько дело, им на себя одного бравшееся, соответствовало его уму, способностям, знаниям, опытности и умениям.

На примере Дании в эпоху Струензе мы видим, кроме того, что *инициатива преобразовательной деятельности в эпоху «просвещенного абсолютизма» не всегда принадлежала самой королевской власти*, т. к. в реформах, задуманных и проведенных Струензе, Христиан VII был ни при чем. И это опять-таки не единственный случай. Гораздо раньше того времени, когда дух «просвещенного абсолютизма» коснулся Скандинавских государств, новое политическое направление действовало уже в южно-романских странах, в Португалии, в Испании и в Неаполитанском королевстве, и везде в роли просвещенных деспотов выступили не сами царствовавшие тогда короли, а всемогущие министры. В эпоху полного развития абсолютизма не все носители верховной власти обладали инициативой и энергией, и в таких случаях фактически управляли государством первые министры вроде кардинала Ришелье при Людовике XIII. Нет поэтому ничего удивительного, если в рассматриваемую эпоху в одних государствах в роли реформаторов выступают сами государи, а в других эту роль берут на себя министры менее способных и менее деятельных королей. Так было в Дании, где притом Струензе удалось продержаться во главе правления лишь очень короткое время, — факт, опять-таки находящий аналогии в других странах в том смысле, что положение таких временщиков не отличалось особой прочностью.

История «просвещенного абсолютизма» в Португалии связана с именем маркиза Помбала¹. В первой половине XVIII в. в этой стране, с XVI в. находившейся во власти католической реакции, царствовал Иоанн V (1706—1750), получивший от курии название «самого верного короля» (*rex fidelissimus*), ибо в его правление господство клира достигло в стране своего апогея. Уже при нем будущей министр-реформатор обратил на себя внимание своими способностями и ученостью и стал получать важные дипломатические поручения. Преемник Иоанна V, Иосиф I (1750—1777), сделал Помбала сначала министром иностранных дел, но весьма скоро и вообще все правление сосредоточилось в руках этого министра, поставившего своей задачей освободить Португалию от всякого политического влияния извне, а государственную власть — от церковного соправительства. Мы еще увидим, к каким мерам обратился Помбаль, чтобы достигнуть своей цели утвердить права светского государства и отнять народное про-

¹ Старое (1843 г.) соч.: *John Smith. Memoirs of the Marquis of Pombal*. См. также: *Schäler. Geschichte von Portugal* (том V).

свещение из рук духовенства, отметив здесь только то, что именно он подал пример изгнания иезуитов (1759), пример, которому последовали через несколько лет другие католические правительства. В своей преобразовательной деятельности, задевавшей также и интересы дворянства, Помбаль встретился с сильной оппозицией, против которой стал действовать с несокрушимой энергией и даже жестокостью: недаром еще Иоанн V разгадал в нем «щетинистое сердце». Старому порядку, поддерживавшему культурное господство духовенства и социальные привилегии дворянства, он противопоставил иную систему, сложившуюся под влиянием философии XVIII в., и, опираясь на доверие короля, начал сокрушать все, что встречал на своем пути к достижению указанной цели. По общему характеру этой деятельности Помбаль был настоящий деспот, не останавливавшийся перед средствами и не обращающий никакого внимания ни на то, что считалось правом, ни на общественное мнение, враждебное ему, раз в этом мнении находили свое выражение консервативные интересы, ни на препятствия, лежавшие в нравах, привычках, предрассудках нации: его преобразовательная деятельность, глубоко шедшая в культурную и социальную жизнь нации, охватывавшая церковь и народное образование, право и финансы, промышленность и торговлю и т. п., напоминает нам, например, властное пересоздание русской жизни Петром Великим. Против Помбаля при дворе велась постоянная интрига, но король крепко держался министра, поднявшего Португалию из упадка, в каком прежде она находилась. Когда по смерти Иосифа I на престол вступила его дочь Мария, министр, в то время почти уже восьмидесятилетний старик (род. в 1699 г.), подал в отставку, присоединив к прошению отчет о своем управлении. Королева, женщина слабоумная, и ее супруг Дон Педро, отличавшийся ханжеством, согласились на эту отставку, и затем началась реакция против всего того, что сделано было Помбалем. Враги бывшего министра, многие из которых сидели в тюрьмах за участие в заговорах или за противодействие реформам, стали получать важные и влиятельные должности, а затем стали одно за другим отменяться и мероприятия Помбаля. Самого реформатора пытались обвинить в казнокрадстве, но он доказал неосновательность такого обвинения. Затем на него посыпались печатные обвинения разного рода, на которые он также отвечал печатно же. Наконец над ним наряжено было следствие, которое признало его виновным в разных преступлениях, но королева помиловала престарелого министра, пережившего только на пять лет свою отставку (ум. в 1782 г.). Победа реакции над «просвещенным абсолютизмом» выразилась, между прочим, в том, что в число наиболее чествуемых святых были тогда включены папа Григорий VII, провозгласивший учение о главенстве церкви над государством, и Игнатий Лойола, основатель изгнанного из Португалии Помбалем ордена иезуитов. Эта реакция — явление общее всем странам Европы: реформы

«просвещенного абсолютизма» вызывали против себя клерикально-аристократическую оппозицию, с которой приходилось необходимо считаться преобразователям, и эта же оппозиция была предшественницей и той реакции, которая наступила после Французской революции.

В Испании ту же роль, что Помбаль в Португалии, играл Аранда при короле Карле III (1759—1788). Когда умер второй испанский король из дома Бурбонов, Фердинанд VI, наследовавший своему отцу Филиппу V, но сам детей не оставивший, испанский престол достался его сводному брату Карлу, королю неаполитанскому, который, отъезжая в Испанию, передал Неаполь своему младшему сыну Фердинанду, назначив регентом своего министра Тануччи. Новый испанский король окружил себя людьми нового образа мыслей: недаром в своем прежнем королевстве он возвысил Тануччи, одного из деятельных представителей «просвещенного абсолютизма». В числе этих людей особенно выдвигался арагонский гранд граф Аранда, человек решительного характера и ревностный поклонник французских просветителей, с которыми он даже находился в сношениях, между прочим, с Вольтером. Карл III подобно своему португальскому современнику был ревностным католиком, но это не мешало ему отстаивать права светской власти от притязаний курий и духовенства, как то делал за двести лет перед ним даже такой фанатик католицизма, каким был Филипп II, — и в таком смысле Карл II уже действовал раньше в Неаполе, руководимый Тануччи. С этим стремлением короля совпадали и намерения, какие должны были относительно католической церкви сложиться у Аранды уже под влиянием идей XVIII в. Сначала некоторое время Карл III пользовался советами двух итальянцев, привезенных им из Неаполя, Сквилаче и Гримальди, но они возбудили против себя народное неудовольствие, разыгравшееся целым бунтом (1766), в котором замешаны были иезуиты. Аранда, сделавшийся после этого первым министром, нанес (1767) ордену такой же удар, какой постиг его незадолго перед тем в Португалии, и ввел многие реформы, напоминающие мероприятия Помбала. И под испанского реформатора постоянно подкапывалась консервативная оппозиция. Наконец, духовнику Карла III, монаху-доминиканцу, удалось убедить этого короля в том, что, держа такого министра, как Аранда, можно попасть в ад, да и похвалы, какие расточались министру энциклопедистами, только вредили ему в мнении набожного короля. Аранда был удален из министерства на пост испанского посла в Париже (1773). После этого уже трудно было держаться и сторонникам Аранды в Испании, а таких было несколько. Одним из них был Кампоманес, продолжавший и по удалении Аранды действовать в духе новых идей, с большей только осторожностью. Реакция все более и более поднимала голову, что можно видеть на судьбе одного из помощников Аранды. Это был Олавидес, человек нового образования, которого всесильный министр сделал

генерал-интендантом Андалузии. Новый губернатор этой провинции задумал колонизировать пустынную Сиерру Морену иностранными выходцами, обещав им свободу вероисповедания, но дело велось крайне неумело, в страну явилось много разного сброда, неспособного ни к какой работе, приехали ремесленники и фабричные рабочие, когда нужны были прежде всего пахари, а протестантские выходцы из Германии и Голландии были вдобавок обмануты относительно веротерпимости. После падения Аранды Олавидес был обвинен перед инквизицией в том, что привлек в святую, католическую Испанию всякого рода еретиков и что вместе с тем дружил еще с французскими безбожниками, и вот Олавидеса сажают в тюрьму, подвергают через два года суду и приговаривают к пожизненному монастырскому заключению, из которого он, впрочем, бежал в Париж.

Между министрами-реформаторами южно-романских стран видное место принадлежит и Тануччи. Как юрист, занимавший прежде кафедру в Пизанском университете, он был большим знатоком публичного права; как монархист душой и телом, он был противником клерикально-аристократического строя, нарушавшего, по его мнению, права абсолютной монархии. Карл III привез его с собой в Неаполь, сделал первым министром, и около двадцати лет Тануччи был главным помощником и советником этого короля. Когда последний уехал в Испанию, оставив в Неаполе своего малолетнего сына, Тануччи был сделан регентом, но и по достижении совершеннолетия Фердинанда IV он продолжал еще стоять во главе правления, действуя в духе «просвещенного абсолютизма». Этот министр-реформатор опирался на партию патриотов, видевших в монархических реформах зарю лучшего будущего для Неаполя, но их надежды не оправдались ввиду того деспотического характера, какой приняло дальнейшее царствование Фердинанда IV. При Тануччи совершилось изгнание иезуитов и из королевства обеих Сицилий (1767).

Таким образом, в Неаполе, в Португалии, в Испании и Дании просветителями и преобразователями явились не сами монархи, а министры. По-видимому, Франции предстояло вступить на тот же путь при герцоге Шуазеле, равным образом изгнавшем из Франции иезуитов (1764), а еще более при Тюрго, имевшем целый план реформ, которые должны были возродить государство к новой жизни, но положение министров-реформаторов при слабых королях, подчинявшихся клерикально-аристократическим решениям, было весьма непрочное: свидетельствуют об этом и вышеприведенные факты, и судьбы реформационных попыток во Франции при Людовиках XV и XVI. Из западноевропейских монархов XVIII в. «просвещенный абсолютизм» мог увлечь только тех, которые способны были отречься от конфессионально-сословной внутренней политики, характеризующей «старый порядок», но рядом с ними существовали другие, которые сами, по собственной инициативе, частью вследствие отсутствия необходимой энергии, частью

вследствие влияния на них старых традиций, не предприняли бы преобразований, затрагивавших интересы привилегированных сословий. Во всяком случае все наиболее предприимчивые и энергичные государи эпохи действовали в новом духе, хотя бы и можно было сомневаться в их искренности или отмечать непоследовательности и противоречия в их поведении, и в свою очередь короли, охотно отдававшие власть министрам, находили почти постоянно таких людей, которые равным образом действовали или стремились действовать в духе «просвещенного абсолютизма». Государства Западной Европы как бы переживали такой момент, когда силой вещей правительства вынуждались на внутреннюю политику известного рода, а общее влияние Просвещения придавало этой политике особый характер. Конечно, нельзя отрицать и того, что пример одних действовал на других. Из монархов этой эпохи Фридрих II был образцом, которому подражали многие правители, и Иосиф II в конце периода во многом шел уже по проторенным путям. Помбаль в Португалии показал, изгоняя иезуитов, пример, которому последовали Шуазель, Аранда, Тануччи. Людовик XVI, делая философа Тюрго министром, думал идти по стопам других государей эпохи. Когда в разных местах возникают одинаковые задачи, когда повсюду распространяются одни и те же идеи, когда люди начинают присматриваться к тому, как тот или другой вопрос разрешается у соседей, и ищут в этом указания для того, как поступать у себя дома, тогда создается некоторое общее направление, и рядом с крупными его представителями являются другие, менее заметные, но своей многочисленностью свидетельствующие о том, что известное направление не есть нечто случайное. Нам пришлось бы значительно пополнить наш список имен государей и министров, более или менее подчинявшихся новому духу, если бы мы захотели назвать и более второстепенных деятелей, которых коснулось Просвещение XVIII в. как культурное направление, призывавшее правителей к воздействию на жизнь общества во имя новых социальных идей. При систематическом обзоре реформ нам придется встретиться и с новыми именами деятелей эпохи.

XXI. Фридрих II и прусская политика¹

Политическое значение царствования Фридриха II в общеевропейской, общенемецкой и прусской истории. — Важность его роли для внутренней истории Пруссии. — Фридрих II в немецкой исторической литературе. — Вопрос о «просвещенном абсолютизме» Фридриха II. — Прусская династическая традиция. — Военно-хозяйственное управление Великого курфюрста и Фридриха Вильгельма I. — Абсолютизм и сословность. — Идея правительственного долга. — Необходимость ознакомления с личностью Фридриха II.

Второй половине XVIII в. до начала Французской революции нередко присваивается название «века Фридриха Великого». Это обозначение целого исторического периода именем одного государя, — подобно тому, как это было и по отношению к веку Людовика XIV и, пожалуй, в еще большей степени, — возникло главным образом на почве военной и дипломатической истории, в которой знаменитый прусский король играл действительно первенствующую роль. В первую половину своего царствования Фридрих II вел две войны², войну за австрийское наследство (1740—1748) и Семилетнюю (1756—1763), прославившие его как первостепенного полководца, увеличившие Пруссию присоединением Силезии, поднявшие значение этого государства до степени первоклассной державы в Европе и опасной соперницы Габсбургской монархии в Германии. Хотя эти войны имели общеевропейский характер, т. к. в них участвовали в разных комбинациях все главные государства Европы, тем не менее в общих историях изложение этих войн приурочивается обыкновенно именно к рассмотрению прусской истории в царствование Фридриха II: война за австрийское наследство началась нападением прусского короля на Силезию, которую он задумал отнять у Габсбургского дома; Семилетняя война начата была опять-таки Фридрихом II, против которого составила грозная европей-

¹ Литературу по истории Пруссии до начала XVIII в. см. выше. Кроме того: *Cavaignac. La formation de la Prusse contemporaine*, где рассказана и ранняя история Пруссии. *Reimann. Neuere Gesch. des preuss. Staates vom Hubertsburger Frieden bis zum Wiener Congress* (доведена до ст. Фридриха II). Указания на литературу о Фридрихе см. в следующей главе, кроме некоторых сочинений (не относящихся к Фридриху II вообще и ко всему его царствованию), отмеченных в настоящей главе.

² *Bernhardi. Er. der Gr., als Feldherr*. Литература по истории войн Фридриха II весьма обширна, в чем можно убедиться из книги Baumgart'a, о которой см. в начале следующей главы. Ср. также примечания на с. 93—95 четвертого выпуска «Лекций по всемирной истории» Петрова, где проф. Бузескул дал перечень главнейших сочинений. Кроме общих трудов по истории Фридриха II, указанных в начале сл. главы, равно как сочинения по истории Людовика XV, Марии Терезии и Елизаветы Петровны, Петра III и Екатерины II, см. главным образом: *Duc de Broglie. Frédéric II et Marie Thérèse; Idem. Frederic II et Louis XV.*

ская коалиция; самые блестящие победы в этих войнах одерживались прусским же королем, который потерпел и немало страшных поражений в борьбе со всей Европой, с коалицией, ставившей себе задачей раздробление Пруссии; одним словом, Фридрих II был настоящим героем этих войн и в военном, и в политическом отношениях. Уже в конце первой из них Вальполь должен был признаться, что равновесие Европы находится в руках у прусского короля, и что изменить этого нельзя, как бы то ни было неприятно для Англии, но особенно возвысила значение Пруссии и ее монарха борьба Фридриха II с европейской коалицией. Во вторую половину своего царствования Фридрих II пользовался плодами своих военных и политических успехов, чтобы путем дипломатии еще более способствовать усилению прусской монархии. Две главные части последней — Бранденбург и Пруссия были отделены одна от другой польскими землями, представлявшими из себя легкую добычу при тогдашнем расшатанном состоянии Речи Посполитой¹. Польшу от разделов берегло тогда соперничество ее соседок: между прочим, если в прежние времена Московское государство стремилось отторгнуть от Речи Посполитой русские области, то в XVIII в., с Петра Великого задачей России сделалось сохранение территориальной неприкосновенности шляхетской республики под условием политического в ней господства России. Такое направление русской политики было невыгодно для Пруссии, жизненные интересы которой, наоборот, требовали, чтобы уничтожена была чересполасность ее двух главных частей путем отторжения от Польши ее владений по нижнему течению Вислы. Первый раздел Речи Посполитой (1772), отдавший Пруссии эти владения (кроме Данцига и Торна) и таким образом еще более увеличивший ее территорию, был настоящей дипломатической победой Фридриха II над Екатериной II, которая долго сопротивлялась комбинации, придуманной прусским королем. Кстати, и Австрия вознаграждалась за потерю Силезии приобретением Галиции, что для Пруссии было небезвыгодно, т. к. Австрия плохо мирилась с утратой одной из своих провинций. Наконец, получив Белоруссию, Россия могла и не искать иного вознаграждения за свои победы над турками, встревожившие Австрию и подготовлявшие столкновение двух империй, между которыми прусской монархии опять пришлось бы очень плохо, как плохо, впрочем, могло бы быть и в случае их союза без Пруссии, вследствие чего и был неприятен Фридриху II так называемый «греческий проект» Екатерины II, т. е. план раздела Турции между ней и Иосифом II.

Последним важным делом прусского короля было устройство так называемого союза князей (*Fürstenbund*) в Германии². В это время уже наме-

¹ О литературе по польским разделам см. в указанной выше книге «Падение Польши».

² *Ranke. Die deutschen Mächte und der Fürstenbund; Трачевский А. Союз князей и немецкая политика Екатерины II, Фридриха II и Иосифа II. Ср.: Schmidt. Preussens deutsche Politik Geschichte der preussisch-deutschen Unionsbestrebungen.*

чалось в Германии будущее поглощение ее княжеств Австрией или Пруссией и образовывались партии великогерманская и малогерманская, употребляя термины XIX в., или цесарианцы и конфедераты, как называли их прежде. Фридрих II и немецкие князья не симпатизировали друг другу. Прусский король относился к ним насмешливо («point d'argent, point de prince d'Allemagne»; это — «позор века»; нужно за них краснеть; имперский сейм — собрание собачонок, лающих на луну и т. п.), а князья относились к нему с ненавистью, как к «изменнику», «Макиавеллю» своего времени и т. п. Но когда Иосиф II составил план обмана Бельгии на Баварию, что чуть было не повело к началу общегерманской войны, Фридрих II превратился в защитника немецкой свободы (deutsche Libertät) от усиления императорской власти, в защитника того устройства, которое было дано Германии Вестфальским миром. Фридриху II тогда удалось составить «союз князей», просуществовавший два года перед его смертью, и это опять-таки было крупной дипломатической победой не только над Австрией, которой была противопоставлена прусская уния, да и над недоверием князей. Хотя для тогдашнего времени союз и не имел значения, да и прочным быть не мог, раз приходилось, по выражению его организатора, «надеть одну шапку на столько голов» (mettre tant de têtes sous un chapeau), тем не менее сделан был первый опыт объединения Германии под прусской гегемонией, что клало основу совершенно новой системе в империи: последняя освобождалась окончательно от служения габсбургским интересам, а Гогенцоллерны, наоборот, делались представителями национальных стремлений немецкого народа¹. Уже победа Фридриха II над французами при Росбахе (1757), смылавшая с немцев позор прежних постоянных поражений со стороны западной соседки, сделал из прусского короля немецкого национального героя, и вся его последующая германская политика, завершившаяся основанием прусского союза князей, лишь поддерживала представление о том, что главной выразительницей и защитницей немецких национальных интересов является Пруссия. Недаром и Мирабо в сочинении своем «De la monarchie prussienne» советует немцам держаться этого государства.

Говоря коротко, значение Фридриха II в политической истории эпохи заключалось в том, что *он возвысил Пруссию, увеличив ее территорию, сделал из нее соперницу Австрии в Германии, наметив будущее объединение последней под прусской гегемонией и превратив свое небольшое государство в первоклассную державу, которая в течение полувека играла при нем самую видную роль в международных отношениях*. Мы сделали краткий очерк

¹ Литература по истории объединительных стремлений в Германии (*Kliefel*. Die deutschen Einheitsbestrebungen in ihrem geschichtlichen Zusammenhang; *Levy-Bruhl*. L'Allemagne depuis Leibnitz. Essai sur le développement de la conscience nationale en Allemagne и др.) будет указана в истории объединения Германии.

внешней политики Фридриха II и резюмировали главные ее факты в этих немногих словах, имея в виду две цели: именно, внешняя политика Фридриха II сильно отражалась — не с принципиальной, впрочем, стороны — на внутренней его деятельности, как одного из представителей «просвещенного абсолютизма», а кроме того, значение Фридриха II, как творца прусской мощи и как национального немецкого героя, сильно повлияло на изображение его личности и деятельности в немецкой историографии. В самом деле, обсуждая внутреннюю политику короля-философа в век «просвещенного абсолютизма», мы постоянно должны иметь в виду, что *в деятельности Фридриха II, создавшего новую великую державу, должны были преобладать цели и интересы внешней политики*, перед которыми все внутренние распоряжки должны были играть роль средств, ведущих к этим целям и служащих этим интересам, так что и общее благо, которое должно было осуществляться государством, само мыслилось скорее как опора внешней силы, чем как вещь, сама по себе важная. Пруссия, слабая и чересполосная, поставленная среди сильных монархий, в век, когда замышлялись всякие разделы, нуждалась для своего сохранения главным образом в армии и в деньгах, а военно-хозяйственное управление, созданное предшественниками Фридриха II, как нельзя более соответствовало этой потребности в войске и финансах, так что королю-философу не было и надобности выдумывать какую-либо новую систему. Мы и увидим, что в организационной работе Фридрих II и не проявил большого творчества, поддержав только и улучшив старую систему, в силу чего *с этой стороны он наименее может быть назван представителем «просвещенного абсолютизма»*, раз последний мы понимаем как разрыв с прошлым, хотя вместе с тем среди европейских правителей той эпохи не было ни одного другого, кто был бы так проникнут духом Просвещения.

Особое значение Фридриха II в немецкой истории вообще и в частности в истории прусской объясняет нам также весьма многое и во взглядах на прусского короля, с которыми мы встречаемся в германской исторической литературе. Одним из недостатков немецких историков, особенно из пруссаков или симпатизирующих Пруссии ученых, является крайний национализм, выражающийся в напыщенном тоне всего, что говорится о Германии и ее великих деятелях, и в надменном отношении ко всему, что касается других стран, равно как в пристрастном и искаженном — в ту или другую сторону — изображении родной или чужой действительности. Господствующее отношение в немецкой историографии к личности и деятельности Фридриха II панегирическое: замечательные способности короля-философа, его военные, дипломатические и правительственные таланты, доходящие до гениальности, его импонирующая личность, пронизательный ум, сильный характер, тяжелые испытания, посылавшиеся ему судьбой, наконец, его популярность у подданных, слава у современ-

ников и потомства— все это только дает пищу для стремления сделать из Фридриха II главного героя своего века, наделив его всеми совершенствами, освободив его от всего, что, наоборот, могло бы вызвать порицание. Такое настроение весьма неблагоприятно для критики, для анализа: слова принимаются за дела; малым делам приписывается большое значение; крупные ошибки стушеваются; всякие противоречия замалчиваются или оправдываются натянутыми объяснениями и т. п. Между прочим, представление о Фридрихе II как герое переносится и на внутреннюю историю Пруссии его времени как государства высшей культуры, будто бы опередившего все другие страны Европы. Впрочем, такое отношение к Фридриху II особенно господствует лишь в прусской историографии, тогда как немецкие ученые, не имеющие особенной надобности быть пруссаками, относятся к Фридриху II объективнее, с большей критикой.

К числу вопросов, имеющих особенно важное значение при изучении эпохи, относится вопрос о том, какое место занимает Фридрих II среди «просвещенных деспотов» XVIII в. Мы только что видели, как сильно должны были определять внутреннюю политику Пруссии условия ее международного положения и ее стремления в этой области и заметили при этом, что старая гогенцоллернская организация государства хорошо служила главным целям всей внешней политики Фридриха II. Достижение этих целей требовало массы жертв со стороны общества и народа: весьма часто вновь возникавшие потребности и стремления не могли удовлетворяться именно по той причине, что государственная цель требовала, наоборот, сохранения старых отношений, как бы они ни осуждались с теоретической точки зрения. При всей своей прогрессивности в области отвлеченных идей королю-философу на практике приходилось быть консерватором, держаться старых гогенцоллернских традиций, хотя бы они шли в разрез с усвоенной философией, и это вообще так бросается в глаза беспристрастному наблюдателю, что один иностранный историк Фридриха II дал ему такого рода характеристику: «на словах он был французский философ, а на деле — прусский деспот». Сказать это, конечно, легко, однако, нужно объяснить, почему это так было. Разумеется, кое-что объясняется личной психологией Фридриха II, его прирожденным характером, условиями воспитания, влиянием окружающей обстановки, но многого нужно искать в самом историческом положении Фридриха II. При нем для Пруссии ставился вопрос — «быть или не быть»¹, для благополучного разрешения которого нужны были войско и деньги; старая прусская система давала и то и другое, а потому ее нужно было держаться; держаться старой системы и следовать традиционной политике значит одно и то же, но тра-

¹ Ср. в сочинении Онкена книгу VII, так и озаглавленную: «Der Weltkrieg um Preussens Sein und Nichtsein».

диционная политика Гогенцоллернов, в сущности, была далека от требований Просвещения: Фридрих II, который в культурном отношении был вполне монархом во вкусе Вольтера, в социальном, наоборот, наименее мог бы удовлетворить его программе, и это происходило от того, что, усвоив как человек культурные идеи века, *он как правитель продолжал следовать старым гогенцоллернским традициям.*

Выше нам уже пришлось — в другой только связи — бросить беглый взгляд на возникновение прусской монархии. Мы видели, что истинным ее основателем был Великий Курфюрст, царствовавший за сто лет до Фридриха II. Но, говоря об этом родоначальнике Пруссии, мы обратили главное внимание на сделанные при нем территориальные приобретения и на его отношение к земским чинам в отдельных частях монархии, только упомянув о начале военно-хозяйственного режима Пруссии при этом государе. Последний и должен теперь нас занять на некоторое время как одна из характерных особенностей монархии Гогенцоллернов и, в частности, внутренней деятельности самого Фридриха II.

Одной из отличительных черт династии Гогенцоллернов было именно их скопидомство. Получив бургграфство нюрнбергское, они в XIII и XIV вв. скопили довольно много денег, и один из них (Фридрих VI) приобрел от императора Сигизмунда, вечно нуждавшегося в деньгах, Бранденбургское маркграфство сначала по закладной (1411), а потом (1415) и в полное владение с курфюршеским достоинством. Бранденбургская «украина» (марка) была страна негостеприимная, равнина, покрытая лесами и болотами, и в ней предстояла очень большая работа потомству нюрнбергских маркграфов, поставивших своей задачей культивировать новое свое владение. С другой стороны, в XIV в. здесь развился феодализм, воплотившийся в буйном и пьяном «юнкерстве», которое высокомерно смотрело на своего первого князя из Гогенцоллернов (Фридриха VI=I) как на «нюрнбергскую дрянь»; но это рыцарство было бедно и неорганизовано, и Фридриху I удалось весьма скоро со своими франконцами положить конец его грабительствам. Таким образом, в Бранденбурге стал устанавливаться хозяйственный режим, создававший материальные средства, без которых трудно было бы из разных кусков, попадавших впоследствии в руки Гогенцоллернов, сколотить единое государство. Сложилось такое государство вполне, как мы сказали, при Фридрихе Вильгельме, получившем имя «Великого Курфюрста», в эпоху Тридцатилетней войны, когда все спасение мелких земель было в государственном объединении. Мы знаем, что после этого повсюду стали падать земские чины, и князья начали заводить крепости и войска: государственное объединение гогенцоллернских владений могло произойти только путем принуждения — против провинциального партикуляризма, поддерживавшегося земскими чинами, и удержать под единой властью чересполосные земли представлялось возможным,

лишь обладая очень хорошей армией, на содержание которой нужны были материальные средства, земские же чины скорее мешали, чем помогали гогенцоллернскому военно-хозяйственному режиму. Последний, как и сама прусская монархия, сложился окончательно при Великом Курфюрсте.

Фридрих Вильгельм в молодости жил в Голландии и даже учился в Лейденском университете. Это обстоятельство имеет весьма важное значение. В XVII в. Голландия, счастливо вышедшая из борьбы с Испанией, была страной богатой и образованной, и Фридрих Вильгельм насмотрелся в ней на многое такое, что счел нужным ввести и в своих владениях, бедных, разоренных войной, отсталых в культурном отношении. Но то, что в нидерландской республиканской федерации было результатом народной самодеятельности, у себя он хотел ввести путем своей власти, так сказать, предвосхищая политику «просвещенного абсолютизма» с его стремлением делать «все для народа», но «ничего посредством народа». Курфюрст копил деньги, устраивал финансы страны на новых началах, поощрял промышленность, привлекал в свои владения полезных работников, охотно принимал французских гугенотов после отмены Нантского эдикта, — их в Пруссию переселилось около 200 тысяч, — содействовал подъему народного образования и т. п., так что Бранденбург при нем сделался одним из наиболее благоустроенных немецких государств, благодаря экономии и дисциплине, положенным в основу его режима. Мы видели уже, что Великий Курфюрст был в антагонизме с земскими чинами, но и вообще он не терпел независимых элементов в стране, да их почти и не было. Протестантское духовенство находилось в подчинении у светской власти, городское сословие было развито очень слабо, а сломить политические права «юнкерства», — что и сделал Фридрих Вильгельм, — не представлялось особенно трудным. Опираясь на чиновничество и войско, вводя систему бюрократической опеки и внутреннего милитаризма, курфюрст, однако, считал нужным не раздражать дворянства, и, отняв у него остатки политических прав, он утвердил за ним его привилегии и оставил в неприкосновенности его судебно-полицейские права над крестьянством. Одним словом, *военно-хозяйственный абсолютизм, консолидированный Великим Курфюрстом, соединялся с поддержкой социального феодализма*, и эта система была унаследована преемниками Великого Курфюрста, в их числе и Фридрихом II. В этом отношении гогенцоллернская Пруссия была одной из представительниц «старых порядков», во Франции уже разлагавшихся, здесь, наоборот, только что вступивших в фазис полной своей силы. Но в другом отношении *Пруссия пошла по иному пути, отказавшись от вероисповедной исключительности*, столь характерной для «ancien régime» во Франции. Судьбы прусской монархии тесно связаны с историей Реформации и протестантизма. Обра-

зованием своим герцогство Прусское обязано секуляризации владений тевтонского ордена (1525), а другая из главных составных частей монархии, Бранденбург, сделался одним из главных оплотов германского протестантизма благодаря введению и здесь Реформации (1539). В обеих землях протестантизм был введен в лютеранской форме, но в начале XVII в. курфюрст бранденбургский (Иоанн-Сигизмунд, 1608–1618), сделавшийся вместе с тем и герцогом прусским, перешел в реформатство, что сопровождалось эдиктом о взаимной терпимости обеих евангелических церквей в гогенцоллернских землях, под угрозой наказания лютеранским духовникам, которые стали бы нападать на иноверие (1614). Великий Курфюрст, воспитавшийся в Голландии, был также чужд нетерпимости, и в конце его царствования масса французских кальвинистов нашла приют среди лютеранского населения Бранденбурга. Фридрих II только следовал в этом отношении политике своих предков, совпадавшей с требованиями философии XVIII в., но у него явился и лишний мотив быть веротерпимым: уже в начале своего царствования он отнял у Австрии Силезию с католическим населением, и присоединение этой провинции к монархии лишило последнюю строго протестантского характера, а кроме того, защита веротерпимости в Польше, где так фанатически преследовали диссидентов, была хорошим поводом для вмешательства во внутренние дела республики, у которой прусский король стремился отнять нужную ему для «округления» государства область.

В ряду Гогенцоллернов, придерживавшихся экономии и терпимости, столь отличавших прусскую внутреннюю политику от французской, дед и отец Фридриха II составляли, впрочем, исключение, первый (Фридрих III), царствовавший в 1688–1713 гг., принявший с королевским титулом имя Фридриха I¹, как один из подражателей Людовика XIV, тщеславный и расточительный, но терпимый государь, второй (Фридрих Вильгельм I²), бережливый до скaredности хозяин³, солдат в душе, вместе с этим нетерпимый гонитель нового просвещения. В истории военно-хозяйственного режима прусской монархии роскошное царствование Фридриха I было только эпизодом: строгая экономия и суровая дисциплина вполне утвердились в жизни страны при Фридрихе Вильгельме I, который вполне осуществил идею полицейского государства своим вмешательством в частную жизнь подданных. Утверждая свой суверенитет, «как скалу из бронзы», признавая за собой право делать все что угодно, Фридрих Вильгельм I, однако, понимал свои обязанности по отношению к государству, и как ни тяжело было жить под его режимом, все-таки во всей Германии не было другого государства, которое могло бы поспорить с Пруссией относитель-

¹ Waddington. L'acquisition de la couronne royale de Prusse par les Hohenzollern.

² О нем см. соч. Förster'a, Droysen'a и др.

³ Stadelmann R. Friedrich Wilhelm in seiner Thätigkeit für die Landeskultur Preussens.

но порядка в управлении, в финансах и в военном деле. Сочетание абсолютизма с сословностью получило в Пруссии своеобразный характер: на дворянство тоже был возложен долг — поставлять офицеров в армию и помогать королю в деле управления. Военная дисциплина вносилась и в социальные отношения: помещики распоряжались крестьянами, помещиками — король, и крестьянин, повиновавшийся в обыденной жизни дворянину, поступая в армию, должен был повиноваться тому же дворянину, как офицеру. По типу той же военной дисциплины управлялись церковь, чиновничество, судьи: все подчинялось идее долга. Такова была атмосфера, в которой воспитался Фридрих II, бывший, в сущности, только «вторым изданием» своего отца, унаследовавший от него тот же деспотизм, ту же бережливость, ту же страсть к военному быту, но вместе с тем и идею долга, сделавшуюся одной из основных черт всей династии, как бы узко и односторонне ни понимался иногда сам долг этот отдельными представителями династии. Вот один анекдот, указывающий на то, как рано идея правительственного долга сделалась правилом политического поведения Гогенцоллернов. В 1668 г., т. е. около того времени, когда формулировалось знаменитое «государство, это — я» Людовика XVI, Фридрих Вильгельм Бранденбургский продиктовал своим сыновьям латинскую сентенцию, за перевод которой тому, кто его сделает, обещал денежный подарок; сентенция же эта заключала в себе указание на то, что князь должен управлять, имея в виду, что это есть дело народное, а не частное дело князя (*sic gesturus sum principatum, ut sciam, rem populi esse non meam privatam*). Интересно сопоставить эту фразу с правилами, внушавшимися французским королям — даже в прописях, где говорилось, что им всецело принадлежит государство. Положим, отец Фридриха II был неспособен возвыситься до того понимания, какое обнаружил Великий Курфюрст, и смотрел на Пруссию, не иначе как помещик на свое имение, но и он видел в прусском короле какое-то идеальное существо, по отношению к которому он сам был лишь «фельдмаршалом и министром финансов короля прусского», и потому вся его система была построена на идее долга, в требованиях которого он воспитывал и своего сына, во многом бывшего потом только последователем его принципов¹.

Целью этой главы было собрать некоторые данные для того, чтобы иметь историческую основу для суждения о характере царствования Фридриха II, но одних этих данных, т. е. внешних факторов, определявших политическое поведение Фридриха II, еще недостаточно для объяснения его правительственной системы. Не одни только общие условия, в какие была поставлена Пруссия, и не одни гогенцоллернские династические традиции направляли ум и волю Фридриха II: он жил еще в век Просвещения и

¹ Breda V. Friedrich der Grosse als erbe der Regierungsmaximen Friedrichs Wilhelms I.

сам был весьма одаренной личностью, выдававшейся над общим уровнем своей оригинальностью. Если, с одной стороны, многое в нем объясняется теми или другими условиями тогдашней прусской действительности, теми или другими правилами гогенцоллернской политики, то с другой стороны, несомненно, что Фридрих II со своим умом и своей волей не мог быть пассивным исполнителем плана, заранее предначертанного предыдущей историей прусского государства и политикой его предшественников и, относясь сознательно к своему историческому положению, не мог не внести в свою работу того, что должно рассматриваться как влияние философии XVIII в. Сама личность короля-философа, его воспитание, его мирозерцание заслуживают поэтому внимания.

XXII. Воспитание и характер Фридриха II¹

Отец Фридриха II. — Его надежды на сына. — Происхождение столкновения между отцом и сыном. — Воспитание Фридриха II. — Мать и старшая сестра Фридриха II. — Попытка бегства Фридриха II и суд над ним. — Служба в кюстринской военной и доманиальной палате. — Примирение отца и сына. — Характер Фридриха II в молодые годы. — Фридрих II и Вольтер. — Первые шаги царствования Фридриха II.

Фридрих II родился в 1712 г. за год и месяц до вступления на престол его отца Фридриха Вильгельма I, второго короля прусского. Мы уже представили себе в общих чертах, чем был этот король, соединявший в себе свойства хозяйственного помещика (скажем даже — старосветского помещика) со свойствами педантического фельдфебеля: прибавим к этому весьма ограниченный ум и значительную долю самодурства, чтобы закончить самую общую характеристику этого короля, принадлежащего к числу тех исторических личностей, при имени которых тотчас вспоминаются какие-либо анекдоты более или менее забавного содержания², хотя можно указать и на многие почтенные качества в его характере — сознание своего долга, большое трудолюбие, неустанную заботливость о государстве. Вообще это была очень грубая натура, которую не могла задеть ни утонченность придворного быта, столь развитого во всей Европе после Людовика XIV, ни тем более философия и наука, бывшие для него одна — Windmacherei, а другая — тоже пустое дело. Мало того: если против придворного блеска была его скупость, то против философии и науки восставало в нем и нечто

¹ Литература о Фридрихе II громадная. Все, что было написано о нем до 1886 г. (столетняя годовщина его смерти), перечислено в книге М. Baumgart'a «Die Literatur des Inund Auslandes über Friedrich den Grossen». Из сочинений о нем известны труды Preusz'a, Fr. Kugler'a (перев. по-английски, по-французски и по-русски), Campbell'я (давшего повод Маколею написать свою известную статью о Фридрихе II; русский перевод в XIV т. сочинений), Carlyle (перевод по-немецки), Klopp'a, Duncker'a (Aus der Zeit Fr. des Gr. und Fr. Wilh. II), Oncken'a (Das Zeitalter Friedrichs des Grossen, в известной коллекции Онкена, ср. выше), Cauer'a (Zur Geschichte und Charakteristik Friedrichs des Grossen), Dove (Das Zeitalter Fr. des Grossen und Josephs II, шестой том его Deutsche Geschichte), Koser'a (König Fr. der Gr.); Miscellaneen zur Gesch. Er. d. Gr., а также отдельные статьи (и брошюры) о Фридрихе II таких писателей, как Маколей (см. выше), Тренделенбург (в Kleine Schriften), Гейцер (Häusser. Zur Beurtheilung Fr. des Grossen), Ранке (Sämmtl. W.), Блунчли, Дройзен (Zur Charakteristik Preussens, 1740—1750 гг.) и т.п. За последнее время вышли в свет важные работы о молодости Фридриха II: Koser. Fr. des Gr., als Kronprinz; Bratuschek. Die Erziehung Fr. des Gr. Lavissee. La jeunesse du grand Frédéric. Из новейших изданий см. также: Reimann. Abhandlungen zur Geschichte Fr. des Gr.; Bleibtreu K. Fr. der Gr. und die Revolution (по военной истории). Сочинения об отдельных сторонах его деятельности указаны выше и будут указываться в надлежащих местах.

² См., например: Герье В. И. Борьба за польский престол.

иное: знаменитого философа Вольфа он изгнал из Галле под страхом виселицы как человека, учение которого противно откровенной религии, и это произошло под влиянием людей, уверивших короля, что, основываясь на теории о предустановленной гармонии, могли бы разбежаться без зазрения совести все потсдамские гренадеры. Была у него и известная доля презрения к ученым: Гундблинга, отличавшегося большой эрудицией и не меньшей страстью к вину, Фридрих Вильгельм держал постоянно при себе чем-то вроде юрисконсульта и придворного шута, спрашивал у него практических советов и потешался над штуками, которые он выделял в пьяном виде, и этого же Гундблинга он сделал церемониймейстером в виде насмешки над придворными чинами и президентом общества наук, созданного Фридрихом I по совету Лейбница. Удовольствия этого короля были также грубы: известны его заседания с приятелями в табачном коллегииуме с трубками и кружками пива за рассказами и шутками самого вульгарного свойства. Фридрих Вильгельм I еще любил музыку, но, например, и тут забавлялся, слушая нарочно для него сочиненный секстет хрюкающих свиней. Его занимали также фарсы и театр марионеток. И в обращении король был груб, не умел сдерживать своей досады и раздражения, то и дело прибегая к собственноручной палочной расправе, которая нередко происходила на улицах Берлина во время королевских прогулок. На Фридриха Вильгельма I по временам что-то даже «находило», и тогда самодурству его в домашней и публичной жизни не было пределов, а впадал он в такое состояние, когда что-либо ему не удавалось, что-либо плохо шло, и он яростно тогда вымещал свою досаду на семье, на приближенных, на всяком встречном-поперечном. Личное самодурство в соединении с его представлением о неограниченности королевской власти порождало страшный деспотизм: самые жестокие и притом произвольные наказания налагались этим королем, который, например, вмешивался в ход правосудия не для того, чтобы смягчать участь или миловать, а чтобы усиливать наказания с заменой более легких прямо смертной казнью. Даже иностранные посланники чувствовали себя не совсем по себе, когда король приходил в состояние особой раздражительности. Самая строгая, самая суровая дисциплина, которой он подчинял все — и свою семью, и армию, и чиновничество, и духовенство, равно как народное образование, промышленность и торговлю, вполне гармонировала с деспотическим нравом короля, только усилившим то, что было в духе полицейского государства эпохи вообще, в духе гогенцоллернского военно-хозяйственного режима в частности. Можно сказать, что этот король-самодур выдрессировал пруссаков и подготовил для своего сына тот материал, который тот пустил в дело.

Фридрих Вильгельм I в своем увлечении солдатами, казармами, парадными и смотрами доходил до настоящей мании. Но Пруссия была малень-

кая и бедная, едва прокармливала население, не доходившее до двух миллионов, а между тем все честолюбие короля заключалось в том, чтобы иметь армию не меньшую австрийской, хотя в монархии Габсбургов было жителей в десять раз больше; к своему войску он относился, впрочем, как скупой рыцарь к своему золоту, любовался им, но не пускал в ход: он не любил рисковать, да и известные нравственные правила у него были, ибо он был по-своему религиозен и боялся Бога¹. Унаследовав от отца любовь к военному делу, Фридрих II, наоборот, проявил и склонность к риску, и весьма малую охоту считаться со своей совестью, если что плохо лежало. Фридрих Вильгельм I готовил для своего сына. «Курфюрст Фридрих Вильгельм, — писал он в 1722 г. в инструкции для своего наследника, — возвеличил наш дом; мой отец приобрел ему королевское достоинство; я привел в порядок войско и страну, а уже преемнику моему надлежит сохранить то, что нам принадлежит, и добыть новые земли, которые должны принадлежать нам от Бога и по нашему праву». «Вот кто отмстит за меня», — сказал он однажды, указывая на кронпринца. Для него «прусский король» был какое-то идеальное существо, на службе у которого находился он сам, реальный король, будучи сыном и отцом других таких же королей. Считая себя как бы фельдмаршалом и министром финансов этого «прусского короля», сосредоточивая в одном высшем учреждении, так сказать, министерства военное и финансов (General-Ober-Finanz-Kriegs-und Domänen-Directorium), требуя от чиновников соединенного ведомства «такой работы, какая только в силах человеческих», видя в подданных прежде всего податную силу и источник для пополнения армии², Фридрих Вильгельм I не выделял самого себя от государства, чтобы поставить себя вне его и выше его, и весьма естественно, что его преемник, на которого он возлагал надежды, как на будущего приобретателя новых земель и мстителя за все обиды, когда-либо наносившиеся Пруссии, должен был нести также на себе общую тяготу, общую службу государству. В этом механизме, в котором главными колесами были разного рода канцелярии, ведавшие финансовым и военным делом вместе с королевскими доменами и действовавшие прежде всего с точностью и аккуратностью, не смея рассуждать (*nicht raisonnieren*), нужно было и самое главное колесо, приводящее другие в движение, рассуждающее и имеющее свою волю. «Вы, — говорил король членам своей высшей военно-хозяйственной директории, — вы каждый раз и по каждому делу должны прилагать ваши мнения с их основаниями, но я остаюсь господином и королем и делаю что хочу» (*wir bleiben doch der Herr und König und thun was wir wollen*). Такому самому

¹ Фридрих Вильгельм вел войны (со Швецией и участвовал в войне за польское наследство), но без большой энергии.

² Для характеристики этой системы см. также: *Riedel*. Der brand.-preusz. Staatshaushalt in den letzten beiden Jahrhunderten.

главному колесу административной машины работы было много, и кронпринц должен был подготовиться именно к тому, чтобы сделаться таким «господином и королем», каким хотел быть и в действительности был Фридрих Вильгельм I.

Этим взглядом на наследника престола определялся весь план воспитания, данного королем кронпринцу Фридриху: последний, да и другие дети должны были воспитываться не так, как принцы и принцессы или хотя бы Людовик XV, о котором французские газеты трубили на весь свет, а как дети обыкновенных смертных, — на то была воля короля. Для Фридриха Вильгельма I как для человека с узким умственным кругозором и как для государя, проникнутого сознанием важности королевских обязанностей, одинаково должно было быть неприятным, если бы его сын не разделял его взглядов, а маленькому Фрицу едва исполнилось двенадцать лет, когда отец стал сомневаться в том, что сын пойдет по его стопам. «Хотел бы я знать, — сказал он однажды, показывая на мальчика, — что творится в этой головке. Я знаю, что он не так думает, как я (*dasz nicht so denckt wie ich*); есть негодяи, внушающие ему не такие чувства, как мои, и учат его все ругать». Потом он обратился к сыну с советом не думать о пустяках, а «держаться только реального» (*halte dich an das Reelle*), т. е. «иметь хорошее войско и много денег, ибо в них и слава, и безопасность государя», — и заключил этот совет лаской, окончившейся странно: начав слегка хлопать мальчика по щекам, король стал усиливать удары и чуть не дошел до настоящих пощечин. Известное столкновение между отцом и сыном началось, когда сын был еще ребенком. Как в деле несчастного Дона Карлоса, как в деле не менее несчастного царевича Алексея, и тут, подобно Филиппу II или Петру Великому, отец боялся, что сын не будет тем, чем он должен был быть, что сын не пойдет по дороге отца, расстроит дело, на которое положено столько усилий. Как бы ни смотреть на столкновение между Фридрихом Вильгельмом I и его сыном, во всяком случае у прусского короля не было ничего похожего на циническое «после нас хоть потоп» Людовика XV. Фридрих Вильгельм I был не охотник до иностранцев, а между тем поручил воспитание своего сына французам. Самого его воспитывала одна французенка, и ей же, своей старой бонне, он вверил кронпринца, а потом взял к нему в учителя, или «информаторы» молодого офицера Дюган де Жандена (*Duhan de Jandun*), отец которого, один из многочисленных гугенотов, спасшихся в Бранденбурге, был секретарем Великого Курфюрста. Дело в том, что к своей старой бонне, женщине, не лишенной образования и даже серьезных умственных интересов, король чувствовал искреннюю привязанность, а «информатор» понравился ему храбростью во время осады Штральзунда, причем Фридрих Вильгельм и не подозревал, что молодой прусский офицер из французов был человеком большого и разностороннего образования. Рядом с ними были по-

ставлены в качестве дядек двое уже настоящих прусских офицеров: они должны были дать военное воспитание кронпринцу. Таким образом, Фридрих II рос под двойным влиянием французской образованности и прусского милитаризма. Этим воспитателям и учителям дана была королем инструкция: латыни не нужно; учить по-немецки и по-французски; древнюю историю пройти слегка, но самым подробным образом изучить историю последних полутора столетий и в особенности историю Бранденбурга с указаниями на то, что сделано было хорошо и что дурно; математика нужна больше всего для фортификации; главное дело — внушать принцу мысль, что в ремесле солдата единственный путь к славе. Система, рассчитанная на то, чтобы приготовить Фрица прямо к практической жизни, дополнялась частыми экзаменами в присутствии короля и всего двора. В изучение военного дела мальчик был введен игрой в солдатики: уже для шестилетнего кронпринца была организована рота из 131 мальчугана. Но вечно эта забава продолжаться не могла. Фридрих II развился весьма рано, да и Дюган отступал от королевской инструкции, хотя Фридрих Вильгельм I постоянно следил за выполнением своей программы. Например, в фолиантах «Theatrum Europaeum», по которым принц учился новой истории, учитель начал было отмечать лишь наиболее замечательные события, но король потребовал, чтобы сын заучивал все события; Дюган находил нужным, чтобы Фридрих больше рассуждал о событиях, а отец настаивал, чтобы все заучивалось на память. Учитель был неуступчив и особенно не мог пожертвовать историей греков и римлян, которая «ни к чему не нужна», как думал король: уже одно чтение «Телемака» давало учителю постоянные поводы говорить ученику о древних, а потом и сам воспитанник стал зачитываться классиками во французских переводах, правда, украдкой, вставая по ночам и таким образом приучаясь к нарушению воли отца, который не потерпел бы такого ослушания.

Когда кронпринц стал подрастать, все более и более обнаруживалась противоположность между его стремлениями, вкусами и настроением и тем, что особенно характеризовало короля. Последний был до скаредности скуп, а кронпринц обнаруживал наклонность к роскоши; отец любил солдатчину, сын находил военных грубыми и смешными; Фридрих Вильгельм I считал себя прежде всего хорошим христианином, а по отношению к Фридриху II придворный законоучитель имел право выражать некоторое неудовольствие: юноша интересовался всеми науками, но плохо учился Закону Божию. К тому же еще мать и старшая сестра вооружали его против отца: королева София Доротея не сходилась во вкусах со своим супругом, а принцесса Вильгельмина, связанная с братом узами самой тесной дружбы, была даже одной из особенных виновниц обострения отношений между этим самым братом и отцом. Между прочим София Доротея мечтала выдать замуж старшую дочь за внука английского короля Георга I

и женить сына на его внучке, а у Фридриха Вильгельма I были свои планы на этот счет. В 1727 г. учебные годы кронпринца окончились, но его продолжали держать под самым строгим надзором, и юноше еще более приходилось таиться со своими стремлениями. Он, например, завел себе большую библиотеку (более чем в три тысячи томов), но держал ее в наемной квартире неподалеку от дворца, лишь украдкой заглядывая в свое книгохранилище, в котором были и «Государь» Макиавелли, и «Утопия» Моруса, и «Республика» Бодена, и «Вечный мир» аббата де С. Пьера. Поездка в 1728 г. в Дрезден, к самому блестящему двору в Германии, где шестнадцатилетнего Фридриха чествовали как настоящего принца, особенно дала ему почувствовать несносность его положения, и уже в следующем 1729 г. он задумал добиться свободы от тяжелого домашнего гнета посредством бегства в Англию, к родственникам своей матери, ганноверской принцессы. Два молодых человека, находившихся на прусской службе, Кейт и Катте, были посвящены в этот план, который должен был быть приведен в исполнение при первом удобном случае. В 1730 г., когда кронпринцу было уже 18 лет, король предпринял путешествие в свои прирейнские владения, взяв с собой и Фридриха, который и решился воспользоваться этим благоприятным обстоятельством, чтобы бежать. Брат Кейта, паж, однако, открыл заговор королю, и Фридрих был задержан. Отцовский гнев не знал пределов, но юный «арестант» обнаружил во всей этой истории замечательную сдержанность и хладнокровие с не менее замечательной изворотливостью. Уже ранее он был приучен — строгостью своего отца — к притворству и лжи: теперь ему пришлось также пуститься на хитрости, чтобы смягчить свою судьбу и выпутать из дела своих пособников. Возвратившись в Берлин, Фридрих Вильгельм I впал в самое неистовое состояние, одним ударом повалил на пол принцессу Вильгельмину и хотел растоптать ее ногами, ругался с пеной у рта и велел начать самое строгое следствие по делу сына. К вопросным пунктам, предъявленным судьями «арестанту», король прибавил несколько своих, в которых шла речь о том, может ли дезертир наследовать трон и не предпочел ли бы Фридрих сохранить жизнь, отказавшись от своих наследственных прав. Придавая себя милосердию короля и не считая себя в праве быть судьей в собственном деле, кронпринц с большим достоинством заявил, что он не признает себя человеком, нарушившим долг чести, и что жизнью он не дорожит, хотя и не думает, что его королевское величество дойдет до последних пределов строгости; в заключение Фридрих просил прощения. Король был раздражен хладнокровием ответов сына и велел подвергнуть его самому тяжкому заключению. Между тем была открыта тайная библиотека кронпринца, которую он надеялся со временем перевести в Англию: король велел отправить все книги в Гамбург и там их продать, а Дюган, заведовавший библиотекой, был сослан в Мемель. Само дело казалось Фридриху Вильгель-

му I более серьезным, чем оно было в действительности: он подозревал кронпринца в преступных сношениях с иностранцами, в государственной измене, в заговоре на его собственную жизнь. Ходили слухи о том, что Фридрих будет подвергнут казни, и иностранные правительства ходатайствовали перед прусским королем за его сына¹. Одно время Фридрих Вильгельм I, по-видимому, думал о том, чтобы лишить кронпринца права ему наследовать на прусском престоле, относясь с величайшим недоверием к его просьбам о прощении. Как бы там ни было, поступок своего сына король квалифицировал как дезертирство и потому отдал дело на рассмотрение военного суда. Вместе с кронпринцем был предан суду и Катте, не успевший спастись бегством. Судьи постановили повергнуть кронпринца высочайшему и отеческому милосердию короля, заключить Катте на вечные времена в крепость, а Кейта казнить *in effigie*². Фридрих Вильгельм I остался недоволен приговором и потребовал его пересмотра, но судьи объявили, что, постановив приговор по чистой совести, они более не считают себя вправе делать в нем какие-либо изменения. Тогда король сам изменил то, что ему не нравилось в приговоре: пожизненное заключение в крепости было для Катте заменено смертной казнью — перед окном, к которому по приказанию короля был подведен пленный кронпринц; самому Фридриху жизнь была, правда, дарована, но ему предстояло еще выдержать целый ряд испытаний до получения полного помилования. Началось с пасторских увещаний, которые должны были обратить молодого человека на путь истины. Потом он был освобожден из заключения, но должен был жить в крепости (Кюстрине), которая делалась как бы только более просторной тюрьмой и вместе с тем местом его служения в должности аудитора бывшей там военной и доманиальной палаты.

История с бегством и судом оставила сильный след на характере Фридриха II: уже и без того привыкший притворяться и скрытничать, теперь еще более он вынуждался всей этой передрагой к тому, чтобы быть неискренним, лицемерить. Тяжелое испытание закалило восемнадцатилетнего юношу, но в то же время сделало его еще более черствым и озлобленным. Наказание, наложенное на кронпринца королем, в свою очередь, имело также весьма важное значение в жизни Фридриха II. В качестве мелкого чиновника административного учреждения он, по предписанию своего отца, должен был работать наравне с другими служащими, а в свободное от обязательных занятий время изучать старые дела палаты, хранившиеся в ее архиве, или вести беседы со старшими о слове Божиим, устройстве государства, администрации, финансах, суде, мануфактурах, но «отнюдь не о войне и мире и других политических делах». Пребывание Фридриха II в

¹ Спасение Фридриха II от смерти отцом Марии Терезии нужно отнести к числу исторических легенд. Lavissee, 313.

² Символически (*лат.*). — *Прим. ред.*

Кюстрине было для него *практической школой, в которой он познакомился с системой прусского военно-хозяйственного управления*. У молодого человека нашлись здесь хорошие, опытные учителя, сумевшие его заинтересовать в финансовых и коммерческих вопросах, ставя их в связь с возвышением Бранденбурга: еще здесь будущий герой двух войн, которые велись за Силезию, узнал из бесед о прусской торговле, как важна была для последней названная габсбургская провинция. С другой стороны, и отца своего Фридрих рассчитывал расположить в свою пользу, занявшись вопросами государственного хозяйства. Через несколько месяцев кронпринц был повышен в ранге и мог посещать свое присутственное место лишь три раза в неделю: ему позволено было даже отлучаться из крепости, доводя об этом каждый раз до сведения коменданта, но бывать в окрестности Кюстрина он должен был главным образом для того, чтобы посещать королевские домены и присматриваться к тому, как в них ведется хозяйство. Среди таких занятий Фридриха, однако, не покидали философские интересы: если, например, впоследствии с Вольтером он обсуждал весьма охотно вопрос о свободе человеческой воли, то этот же самый вопрос в его богословской форме интересовал Фридриха еще раньше, чем он попал в Кюстрин, так что старый король уже принимал свои меры, чтобы выбить из его головы фаталистическую «ересь» о предопределении. Кронпринца интересовали также и вопросы физики и механики; поэзия по-прежнему была одним из его любимых занятий. Своему отцу Фридрих писал письма, в которых посылал ему хозяйственные отчеты о своих поездках по соседним доменам, и сильно начиная наконец скучать в провинциальном захолустье, просил «не из желания угодить, а от чистого сердца», чтобы ему позволили снова сделаться солдатом. Король все не верил искренности сына и высказывал в ответных письмах огорчение по поводу того, что не сумел ему внушить любви к военному делу. «Гренадеры, конечно, в твоих глазах только сволочь, — писал, например, Фридрих Вильгельм I, — а вот франтики, французики, остротцы да музычка (ein Musiquechen) только и кажутся чем-то благородным, королевским (digne d'un prince). Сделаться снова солдатом! Но ведь прежде нужно быть хорошим хозяином: Карл XII был храбрый воин, но расточал деньги и, раз побежденный, не имел средств выставить новое войско». Мало-помалу Фридрих Вильгельм I должен был, однако, убедиться, что его наследник будет хорошим хозяином: в своих письмах к отцу кронпринц делался все более и более обстоятельным и даже сообщал разные предположения об улучшении торговли; ответные письма короля становились, в свою очередь, более ласковыми. Момент окончательного примирения приближался, но кронпринцу нужно было принести еще одну жертву суровому нраву отца — жениться на выбранной им невесте, принцессе Брауншвейг-Беве́рнской, заранее, однако, решившись не связывать себя ничем в будущей жизни с женой. После свадьбы

Фридрих, которому в то время (1733) был 21 год, получил от отца полк в Ней-Руппине (недалеко от Берлина), а вскоре затем поместье Рейнсберг, близ мекленбургской границы, что позволило ему зажить счастливой жизнью — подальше от «Юпитера», располагая своим временем уже по своему усмотрению. В последние годы старый король имел утешение видеть, что из его когда-то непокорного сына вышел хороший хозяин и хороший солдат, и уже мирился с тем, что в своей частной жизни Фриц отступал от того, что было обычаем при тогдашнем берлинском дворе.

Суровая школа, которую прошел Фридрих II в свои молодые годы, как было сказано, отразилась на его характере. Когда он из Кюстрина приезжал в Берлин на свадьбу своей старшей сестры, выданной замуж за маркграфа Байрейтского, Фридриха едва узнавали близкие лица: даже самое Вильгельмину поразила его необыкновенная сдержанность. Кронпринц многому научился, но многое прежнее так-таки в нем и осталось. Весьма интересную характеристику Фридриха II во время его кюстринской жизни можно составить на основании писем Гилле, служившего в одном с ним присутственном месте: Гилле отметил некоторые черты, которые и впоследствии характеризовали великого короля. Молодой человек уже тогда гнался за тем, что французы называют *esprit*, и находил, что немцы не соответствуют его идеалу цивилизованного человека, увлекаясь французами, которых он представлял себе так, как сами они изображали себя в своих книгах, думая, что лично ему знакомые французы уже немного попорчены своим общением с немцами. Далее кронпринц, в минуты недовольства уже тогда (1731) похожий на Громовержца, был изысканно вежлив, но это была вежливость *grand-seigneur*'а: он был проникнут сознанием своего превосходства над всеми окружающими в качестве кронпринца и в качестве дворянина, относился с пренебрежением к разночинцам, к числу каковых принадлежал и сам Гилле. Вечно насмешливый, он в то же время нередко скандализировал своих собеседников заявлениями, заставлявшими их качать головой относительно его нравственных правил. Гилле находил также, что кронпринцу нужно было бы иметь больше благочестия, но на этот счет он мог бы выразиться и гораздо сильнее. Иногда, впрочем, Фридрих для красного словца преувеличивал свои недостатки и подсмеивался над тем, к чему в душе относился серьезно. Например, в 1731 г. он рисовал свой торжественный въезд в Берлин верхом на осле и в предшествии целых стад свиней, овец и быков и т. п., но, в сущности, к экономии он относился уже весьма серьезно. Впрочем, эта экономия интересовала его преимущественно с политической стороны: особенно его занимал вопрос о торговле с Силезией, о которой он беседовал с Гилле и впоследствии написал целый план для своего отца. В воображении молодого человека уже тогда носилась Пруссия, увеличенная новыми приобретениями — в силу, как тогда уже выражался Фридрих II, «политической

необходимости». Не все, однако, люди, имевшие возможность наблюдать молодого кронпринца, верно о нем судили. Иные, плохо понимавшие, что выйдет из двадцатилетнего юноши, думали, что по вступлении на престол он будет только предаваться служению музам и удовольствиям, предоставив управление для блага народа министрам, и что война из него не выйдет. Нечто подобное думал в 1740 г. и Вольтер, с которым Фридрих II незадолго перед тем вступил в переписку. Но это была большая ошибка.

По мере того, как кронпринц больше и лучше знакомился с хозяйственным управлением и военной силой Пруссии, тем все более проникался он уважением и к своему отцу, и к прусскому устройству, что отразилось и на письмах его к Вольтеру, и на *«Memoires de Brandebourg»*. В прусской истории XVIII в. Фридрих II был лишь продолжением своего отца, но он умел сочетать свою приверженность к унаследованной от отца системе с поклонением гению Вольтера, с которым он вступил в переписку из Рейнсберга двадцатипятилетним молодым человеком. Взаимные отношения Фридриха II и Вольтера были рассмотрены нами выше, но мы не можем еще не коснуться интеллектуального сходства, существующего между этими двумя крупными представителями XVIII в. Действительно, у обоих было немало общего: оба, одинаково великие честолюбцы, были прежде всего людьми большого ума, который господствовал у них над всеми другими душевными способностями: обоих живо интересовали важнейшие проблемы знания, но оба, в сущности, оставались скептиками, умея лучше всего во всех явлениях жизни подмечать лишь отрицательную их сторону, но не думая о коренной ломке существующих порядков во имя какого-либо отвлеченного идеала, и потому оба принимали действительность как она есть. Вольтер и Фридрих II были как бы созданы друг для друга, разделяя одни и те же моральные и политические взгляды: прусский король был как бы призван исполнять программу фернейского философа, хотя и нельзя сказать, чтобы эта последняя была выполнена: программа Вольтера была сама по себе, а го-генцоллернская традиция сама по себе, и когда между той и другой Фридриху II приходилось выбирать, он в громадном большинстве случаев оказывался в гораздо большей степени сыном Фридриха Вильгельма I, чем другом Вольтера. Во всяком случае, для «просвещенного абсолютизма» в Пруссии весьма характерно то, что в завязавшейся между двумя крупнейшими людьми XVIII в. переписке философ действовал на честолюбие будущего прусского короля, привлекая его на сторону Просвещения, а этот будущий король изображал с хорошей стороны старый военно-хозяйственный режим своего отца. Проповедуя союз философов и монархов, Вольтер готов был представлять себе будущую прусскую политику царством муз, тем более что сам Фридрих II вводил его в заблуждение своими заявлениями: старый король был дальновиднее, ибо не чув-

ствуй он, что Фриц пойдет по его стопам, он не мог бы умереть спокойно, а Фридрих Вильгельм I, именно с полной верой в своего сына передал ему власть, вызвав его перед смертью своей в Потсдам.

Некоторые ожидали, что новый прусский король будет государь миролюбивый и что он передаст все дела министрам. Ничего не было более ошибочного, как такое ожидание. Молодой, честолюбивый и энергичный монарх еще чуть не мальчиком думавший о расширении пределов Пруссии, получивший в наследство богатую казну и хорошую армию, до тонкости понимавший выгодные стороны тогдашнего политического положения Европы, тотчас по вступлении на престол увеличил армию на 16 батальонов пехоты, 5 эскадронов гусар и эскадрон гвардии и в том же году начал войну с Австрией. Мудрено было рассчитывать и на то, чтобы такой человек ради служения музам отказался от власти: Фридрих II не только не передал правление министрам, но сам сделался первым и единственным своим министром, превратив советников в простых секретарей, которые должны были только исполнять его предначертания¹. Не ошибся Вольтер только в том, что в некоторых отношениях — там именно, где не затрагивалось существо старой прусской системы и ничто не грозило авторитету власти, — *Пруссия действительно должна была вступить на новый путь, указывавшийся философией той эпохи*. Не прошло, например, месяца со дня вступления Фридриха II на престол, как из уголовного судопроизводства исчезла пытка, отменены были некоторые стеснения при вступлении в брак, введена была веротерпимость, позволявшая каждому «спасаться auf seiner Façon» и указывавшая на государство как на такую силу, которая может заставить жить в мире разные вероисповедания, если бы они вздумали ссориться. Пожалуй, и царство муз наступило: Фридрих II окружил себя образованными и учеными французами, с которыми любил беседовать, стал покровительствовать Берлинской академии, возвратил Вольфа на его кафедру, не преследовал газет, сам, наконец, занимался поэзией и философией, хотя все это не мешало Пруссии Фридриха II оставаться Пруссией Фридриха Вильгельма I, т. е. государством, в котором все должно было ходить по струнке и везде был виден хозяйский глаз, которое во многих отношениях могло считаться по своему времени образцовым, но в котором было очень тяжело жить.

¹ Существуют отдельные биографии лиц, окружавших Фридриха II, начиная с его жены Елизаветы-Христины (Hahnke, Ziethe) и кончая генералами. См. именно работы о дипломате Герцберге (Lehmann'a), о министре народного просвещения Цедлице (Decker'a, Rethwisch'a), о великом канцлере Кокцеи (Trendelenburg'a) и т. п. См. также недавно вышедшую книгу Natzmer'a «Lebensbilder aus dem Jahrhundert nach dem grossen deutschen Kriege». Можно, однако, сказать, что история сподвижников Фридриха II все-таки недостаточно разработана, кроме разве военных деятелей.

XXIII. Политические идеи и правительственная деятельность Фридриха II

Фридрих II как писатель. — Фридрих II и немецкая литература. — Фридрих II и философия XVIII в. — Отношение Фридриха II к религии. — Его политическая теория. — Allgemeines Landrecht. — Прусская государственная традиция и рационалистическая философия. — Отношение Фридриха II к сословному строю Пруссии. — Правительственные преобразования Фридриха II. — Прусская монархия и «старый порядок». — Мирабо о прусской монархии. — Впечатление, произведенное Фридрихом II как правителем на современников.

Фридрих II оставил после себя весьма обширное литературное наследство, являющееся богатым историческим материалом для характеристики его личности, его взглядов, его деятельности. Его сочинения и его переписка наполняют собой целые тома¹, которые уже изучались весьма многими историками. Если в обширной литературе о Фридрихе II большая часть работ рассматривает его как полководца и дипломата и, к сожалению, лишь меньшая — как правителя², то все-таки рядом с этими трудами, для

¹ Сочинения Фридриха II издавались не раз. См. Oeuvres de Frédéric le Grand в тридцати томах, изд. 1848—1857 гг. Первые семь томов заключают в себе исторические сочинения (Mém. Pour servir à l'histoire de la maison de Brandebourg. Hist. De mon temps, Hist. de la guerre de sept ans и др.), следующие два — сочинения философские (между прочим Antimachiavel, Miroir des princes, Dissertation sur les raisons d'établir ou d'abroger les lois, examen critique du Système de la nature, Discours de l'utilité des sciences et des arts dans un État, Exposé du gouvernement prussien, Essai sur les forms du gouvernement et sur les devoirs des souverains, Lettres sur l'amour de la patrie, шесть томов — поэтические, двенадцать — письма Фридриха II и три тома — сочинения военного содержания. Ср. изданную в 1878 г. Verzeichniss sämmtlicher Ausgaben und Uebersetzungen der Werke Fr. d. Gr. В 1879 г. предпринято издание политической переписки Фридриха Великого. Значение источника для характеристики личности Фридриха II имеют также Unterhandlungen mit Fr. dem Grossen. Memoiren und Tagebücher von H. de Catt.

² Исторических работ о правительственной деятельности Фридриха II весьма мало сравнительно с тем, что писалось о нем, например, как о полководце и дипломате. Кроме общих трудов (и сборников статей) и очень устарелых сочинений (Бюшинга, Гериберга, Ад. Мюллера, Рёденбека и др.) см.: *Beheim-Schwarzbach*. Fr. der Gr. als Gründer deutscher Colonien in dem im Jahre 1772 erworbenen Landen; *Lippe*. Westpreussen unter Fr. d. Gr.; *Stadelmann*. Fr. d. Gr. in seiner Thätigkeit für den Landbau Preussens. Второй том его же: Preussens Könige in ihrer Thätigkeit für die Landescultur; *Seidel*. Fr. d. Gr. und die Volksschule.-Grünhagen. Schlesien unter Fr. d. Gr.; *Ring*. Asiatische Handelskompanien Fr. d. Gr.; *Schmoller*. Die Einführung der franz. Regie; *Stadelmann*. Aus der Regierungsthätigkeit Fr. des Gr. и некоторые другие. Между тем предмет этот интересовал уже современников Фридриха II, лучшим доказательством чего является надевавшая много шуму книга (1788 г.) Мирабо «De la monarchie prussienne sous Frédéric le Grand»,

которых Фридрих II прежде всего — государственный деятель, можно указать немало трудов, изучающих этого короля в его сочинениях, изучающих его как писателя¹. Фридрих II не только много писал, но и писал в самых различных родах, стихами и прозой, по философии и истории, по политике и военному делу и т. п. Само собой разумеется, что с той точки зрения, с какой мы здесь рассматриваем великого короля, особое значение должны иметь для нас философские и главным образом политические сочинения Фридриха II. Мы знаем уже, что у него интерес к философскому знанию пробудился очень рано: нужно прибавить, что он никогда и не покидал короля-философа. Фридрих II и среди тревог военной жизни, и среди правительственных забот находил время беседовать и переписываться с философами и писать рассуждения на философские темы. Его метафизические, религиозные, моральные и педагогические воззрения уже давно делались предметом изучения, равно как его отношения к современным ему философам². Вдвигая его в число писателей в духе идей XVIII в., мы должны обратить особое внимание на то, что, будучи не только просвещенным монархом, но и просветителем, Фридрих II является не одним лишь практическим представителем «просвещенного абсолютизма», но и теоретиком этого направления, т. к. написал несколько сочинений, в которых изложил свои взгляды на государство, на его права и задачи, на обязанности государей и т. п., что равным образом послужило для многих писателей весьма благодарной темой — выяснить политическое

о которой см. ниже. Понятно, что правительственной деятельности Фридриха II касаются и специальные сочинения по истории прусской администрации, права, финансов и т. п., каковы указанные выше сочинения Bornhak'a, Isaakasohn'a; *Niebuhr*. Gesch. d. kön. Bank in Berlin; *Poschinger*. Bankwesen und Bankpolitik in Preussen; *Riedel*. Der brandenburgisch-preussische Staatshaushalt; *Schultze W.* Gesch. der preussischen Regieverwaltung; *Stephan*. Gesch. der preuss. Post. *Stölzel A.* Brandenburg — preuss. Rechtsverwaltung und Rechtsverfassung; *Idem*. Fünfzehn Vorträge aus der Brandenburg — preuss. Rechts- und Staatsgeschichte и др.

¹ *Preuss.* Fr. d. Gr. Als Schriftsteller (1837 г.); *Biedermann*. Fr. d. Gr. Und sein Verhältniss zur Entwicklung des deutschen Geistesleben; *Droz*. Th. Fr. le Gr. et ses écrits; *Boretius*. Fr. d. Gr. in seinen Schriften; *Merkens*. Gedanken fr. d. Gr. aus seinen Schriften gesammelt; *Pröhle*. Fr. d. gr. und die deutsche Literatur. Jacoby (с тем же заглавием, что и предыдущая); *Posner M.* Zur literarischen Thätigkeit Fr. des Gr.

² *Rigollot*. Frédéric II philosophe; *Merkens*. Fr. d. Gr. Philosophie, Religion und Moral (брошюра); *Zeller Ed.* Fr. d. Gr. als Philosoph (издано в столетнюю годовщину смерти Фридриха II). См. также сочинение об отношении Фридриха II к Вольтеру (*Thiériot*. Voltaire en Prusse; *Schultzhess*. Fr. und Volt. in ihren persönlichen und litterarischen Wechselverhältnisse), д'Аламберу (*Aug. Boeckh*. D'Alembert und Fr. der Grosse über das Verhältniss der Wissenschaft zum Staat), Монтескье (*Edm. Meyer* в Zeitschr. für preuss. Gesch. за 1879 г.), Рюкко (*Du Bois Reymond* в Deutsche Rundschau за 1879 г.) и т. п. О религиозных воззрениях Фридриха II см.: *Tersteegens*. Gedanken über die relig. Ansichten Fr. des Gr. und den rationalistischen Geist überhaupt; *Nippold F.* Religion und Kirchenpolitik Fr. d. Gr. Cp.; *Lehmann M.* Preussen und die kath. Kirche Set 1640. О педагогических взглядах Фридриха II есть работа Meyer'a, в которой рассматриваются и его школьные реформы.

миросозерцание одного из наиболее крупных представителей «просвещенного абсолютизма»¹.

Фридрих II получил чисто французское образование, писал почти исключительно по-французски, и только письма к отцу должен был писать по-немецки. В его молодые годы немецкая литература влачила жалкое существование и не могла идти в сравнение с блестящей литературой французской, и Фридрих II так и остался при том мнении, что немецкие писатели не заслуживают большого внимания. Незадолго до своей смерти он написал (1780) статью «*De la littérature allemande*», в которой рассматривал немецкую литературу как дело более или менее отдаленного будущего, хотя в эту пору Германия уже имела несколько замечательных писателей, имела уже Лессинга, Гердера, Гете и др. Между королем-философом и немецкими авторами его времени существовало своего рода взаимное отчуждение; многие историки даже думают, что это спасло немецкую литературу от королевского меценатства, которое могло бы лишить ее благородной независимости, ее отличающей, тогда как другие, наоборот, предполагают, что сближение между Фридрихом II и немецкими писателями эпохи могло бы освободить последних от беспочвенного космополитизма, содействовать тому, чтобы они прониклись более национальным духом, и способствовать развитию у них политического интереса². Конечно, весьма трудно решить, какое влияние произвело бы на немецкую литературу иное отношение к ней Фридриха II, тем более, что космополитические ее стремления и отсутствие в ней политических интересов объясняются более глубокими причинами, чем невнимательность к ней прусского короля, но факт сам по себе заслуживает быть отмеченным: *Фридрих II совершенно пренебрегал немецкой литературой*, будучи, так сказать, с головы до ног представителем специально французского Просвещения.

Некоторое время, в тридцатых годах Фридрих II увлекался еще философией Вольтера, которую ему переводили, однако, на французский язык. Под ее влиянием он начинал «замечать возможность существования у себя души и даже возможность ее бессмертия». В духе вольфианского оптимизма он даже сочинял по-французски оды о «Благости Божией» и о «Любви к Богу». «Такие, как вы, философы, — писал он тогда Воль-

¹ Воззрения Фридриха II на государство давно сделались предметом обработки. Из старых сочинений см.: *Demophilos*. Fr. d. Gr. Gedanken über den Staat, Kirche, Fürsten und Volk (1833 г.); *Wolff*. Fr. des Grossen Staatsrechtliche Grundsätze (1840 г.) и др., а из более новых: *Kauser E.* Fr. des Grossen Gedanken über die fürstliche Gewalt (ср. выше, где указан сборник статей Кауера); *Herbst W.* Fr. des Gr. Antimachiavel. См. также отдельные статьи (например, в сборнике статей Реймана, где есть статья и о философских и религиозных воззрениях Фридриха II, ср. выше) или главы в сочинении более общего характера (например, в сочинении Э. Целлера о Фридрихе II как философе, гл. 6, занимающая с. 89–124).

² О космополитизме немецких писателей и об их невнимании к политическим вопросам ср. выше.

фу, — учат тому, что должно быть, а короли, существуют лишь для того, чтобы приводить в исполнение ваши идеи». И в своих письмах к Вольтеру Фридрих II, в то время еще кронпринц, равным образом хвалил Вольфа, а по восшествии своем на престол тотчас возвратил философа на кафедру, отнятую у последнего покойным королем. Но скоро Фридрих II охладел к Вольфу, метафизика которого мало соответствовала складу ума Фридриха II и тому влиянию, какое на него уже успел оказать Вольтер: «Бог, — писал он однажды, — дал нам достаточно разума, чтобы уметь себя как следует вести, но слишком мало, чтобы, еще знать: того, чего не могли найти ни Декарт, ни Лейбниц, никто и не найдет». Подобно Вольтеру, он не сомневается в бытии Бога, но отказывается от познания сущности Божества. Скептическое отношение Фридриха II к метафизическим вопросам заставляло его особенно дорожить философией Бэйля, которого он называл «князем европейских диалектиков», считая себя главным образом его учеником. В 1765 г. Фридрих II составил даже краткое изложение идей этого скептика; переиздает его вторично в 1767 г. и в предисловии называет философию Бэйля «бrevиариум здравого смысла». Королю-философу, конечно, некогда было вырабатывать стройную и последовательную систему, но у него все-таки было известное философское мировоззрение более эклектического, чем синтетического характера, которое его удовлетворяло и сближало с представителями передовой мысли XVIII в. *По своему образу мыслей он наиболее подходит к Вольтеру, но энциклопедисты, в общем, были ему антипатичны*, особенно, когда касались политических и общественных вопросов: между представителем «просвещенного абсолютизма» и «предшественниками революции» не могло быть согласия. Фридрих II даже полемизировал со многими воззрениями энциклопедистов. В одном из его сочинений говорится, между прочим, например, следующее: «Неужели, господин философ, покровитель нравственности и добродетели, вы не знаете, что хороший гражданин должен уважать ту форму правления, под какой живет? Или вам неизвестно, что частному лицу не подобает оскорблять власти (*insulter les puissances*)? Разве могут судить тех, кому дано править миром, неизвестные люди, стоящие далеко от дел, видящие лишь совокупность событий, но не знающие, что их производит, видящие действия, но не понимающие их мотивов, почерпывающие свои политические сведения из газет?» «Философ не станет кричать, что все идет дурно, не показав, а как же можно было бы устроить все хорошо; его голос не будет служить призывом к неповиновению, к образованию союза недовольных, предлогом для восстания. Он с уважением будет относиться к обычаям, установленным и освященным нацией, к правительству, к лицам, его составляющим и защищающим». Особенно антипатичен был для Фридриха II Гольбах, с которым он охотно полемизировал, написав, между прочим, разбор его «Системы природы».

Король-философ брал под свою защиту старую французскую монархию, на которую нападал Гольбах, и указывал на то, что если бы этот писатель хоть несколько месяцев поуправлял каким-нибудь маленьким городком, он лучше понимал бы людей, чем на основании всех своих пустых умозрений. Руссо равным образом не мог приходиться по вкусу Фридриха II, и король-философ не очень высоко его ставил в своем «Рассуждении о государственной пользе наук и искусств» (1772), хотя и не называет здесь по имени женевого философа. Свое общее отношение к современным философам Фридрих II весьма недурно выразил в одном из своих писем: «Я покровительствую только таким свободным мыслителям, у которых приличные манеры и рассудительные воззрения» (*idées raisonnables*). Одна из основных черт «просвещенного абсолютизма» в том и заключалась, что *государственная власть охотно признавала и поддерживала свободу мысли, поскольку свободная мысль держала себя далеко от политики*: короли и философы должны были размежеваться, и если первые предоставляли полную свободу вторым в их области, то и эти последние, со своей стороны, не должны были вмешиваться со своей критикой в государственные дела. Этим в общем определялась и та мера свободы, какой пользовалась в Пруссии печать при Фридрихе II.

В деле религиозного вольнодумства король-философ даже сам подавал пример. Отношение Фридриха II к религии напоминает нам отношение к ней Вольтера. Как Вольтер возражал Бэйлю, считавшему возможным существование государства атеистов, так и Фридрих II полемизировал против Гольбаха, советовавшего упразднить религию, хотя последняя в народных массах и казалась королю необходимо связанной с суеверием. В одном из частных своих писем он даже прямо писал: «Il n'y a pas d'idée plus extravagante que de vouloir détruire la superstition»¹. Вместе с другими писателями XVIII в. и он видел в религиях дело жрецов, придумавших их для управления людьми. Вместе с этим Фридрих II был далек и от мысли о религиозном единообразии: и старая гогенцоллернская политика, и новые условия, в которых очутилось прусское государство после присоединения земель с католическим населением, и современная идея веротерпимости, и собственное мировоззрение Фридриха II заставляли его, как он выражался, держаться нейтралитета между Римом и Женевой, позволять всякому спасаться *auf seiner Façon*². Таким образом, его *абсолютизм отпешался от вероисповедной точки зрения*, — одна, как мы видели, из главных черт «просвещенного абсолютизма». Соответственно с этим и политическая теория Фридриха II покоилась не на богословских основаниях, а на идеях той рационалистической философии, которая господствовала в XVIII в.

¹ «Нет более экстравагантной идеи, чем стремление уничтожить предрассудки» (*фр.*). — *Прим. ред.*

² По-своему (*нем., фр.*). — *Прим. ред.*

при решении теоретических вопросов политики. За два года до вступления своего на престол Фридрих II написал «*Considérations sur l'état présent du corps politique de l'Europe*», где самым резким образом заявил свое несогласие с тем воззрением на королевскую власть, которое рельефнее всего было выражено Людовиком XIV. «Вот в чем, — писал тогдашний прусский кронпринц, — заблуждается большая часть государей. Они воображают, что Бог нарочно и из особого внимания к их величию, благополучию и гордости создал ту массу людей, попечение о которой им вверено, и что подданные предназначаются лишь к тому, чтобы быть орудиями и слугами их нравственной распущенности». На той же точке зрения он стоял и позднее. «Наш враг королей, — писал он, полемизируя с Гольбахом, — уверяет, что власть государей вовсе не имеет божественного происхождения, и мы отнюдь не намерены придирается к этому пункту». Дело в том, что Фридрих II представлял себе королевскую власть как чисто человеческое учреждение, необходимость которого он доказывал соображениями рационалистического свойства, бывшими тогда в ходу. Вообще *политическая теория Фридриха II весьма характерна для «просвещенного абсолютизма».*

Еще ребенком Фридрих II, упражняясь в «сочинениях», написал несколько строк под заглавием «*Manière de vivre d'un prince d'une grande naissance*». Вопрос об обязанностях монарха и впоследствии его занимал, когда он уже не в качестве благонаправленного ребенка, воспитанного в евангелической вере, а в качестве философа, каким он стал считать себя еще с пятнадцатилетнего возраста, рассуждал о том, как подобает вести себя человеку его рождения. Вольтер внушал ему свою идею «просвещенного абсолютизма»; сам он писал Вольфу, что короли должны осуществлять предначертания мыслителей, а старая гогенцоллернская традиция подсказывала кронпринцу, что король должен быть первым слугой (*le premier domestique*, позднее *le premier serviteur*) государства. Эту мысль Фридрих II высказывает в первых своих политических сочинениях, написанных незадолго до вступления на престол, в упомянутых «*Considérations sur l'état présent du corps politique de l'Europe*» и в «Опровержении Макиавеллиева *Государя*». Если весь практический макиавеллизм вытекает из того представления, что у королей есть только права и нет обязанностей, то Фридрих II, наоборот, противопоставлял ему идею монархического долга, исходя из того представления, что люди избрали короля, возложив на него известного рода обязанности. «Народы, — пишет Фридрих II в своем *Anti-Machiavel'e*, — нашли нужным ради спокойствия и сохранения своего иметь судей для разрешения возникающих между людьми тяжб, защитников, которые охраняли бы их от врагов», и вот «они избрали из своей среды тех, кого считали наиболее мудрыми, наиболее бескорыстными, наиболее человечными, наиболее храбрыми, чтобы эти люди ими управляли». Впоследствии, уже королем, в других своих сочинениях Фридрих II

развивает мысли, высказанные впервые в этих ранних его произведениях. Нигде, впрочем, не приводя доказательств, почему, с его точки зрения, королевская власть должна быть наследственной (как он, например, заявлял это в полемике с Гольбахом), король-философ особенно настаивал на необходимости предоставления королю неограниченной власти, как единственном условии, при котором он может надлежащим образом исполнять свои обязанности. В своем «Опыте о формах правления и об обязанностях государей» (1777) Фридрих II говорит, что только сумасшедший может представить себе людей, которые сказали бы себе подобному человеку такие слова: мы ставим тебя над собой потому, что нам нравится быть рабами, и мы даем тебе власть направлять наши мысли по своему усмотрению. Напротив того, продолжает Фридрих II, вот что они сказали: мы нуждаемся в тебе для поддержания законов, которым мы хотим повиноваться, для мудрого нами управления, для нашей защиты, а за всем тем мы требуем, чтобы ты уважал нашу свободу. Государь, написавший эти строки, в известной мере, хотя и весьма ограниченной, действительно уважал свободу своих подданных — в области вопросов совести и отвлеченной мысли, но само определение меры этой свободы принадлежало ему самому как представителю неограниченной власти государства, видевшему, что совместимо и что несовместимо с общим благом. Идее государства должно было подчиниться и поведение самого его главы. «Государь, — писал Фридрих II в том же самом “Опыте”, — есть только первый слуга государства, обязанный поступать добросовестно, мудро и вполне бескорыстно, как будто бы каждую минуту он должен был быть готовым дать отчет согражданам своим в своем управлении». Если, думал Фридрих II, государи ведут себя иначе, то лишь по той причине, что мало размышляют о своем звании (*institution*) и вытекающих из него обязанностях. По его идее, правильно понимаемые интересы монарха и интересы подданных неразлучны. В другом своем сочинении (*Lettres sur l'amour de la patrie*, 1779) Фридрих II сравнивает государство с машиной, в которой главное колесо — королевская власть. «Король, — говорит он, — не деспот, руководящийся лишь своим капризом: его нужно представлять себе как центральную точку, к которой сходятся все линии от окружности». Кроме того, Фридрих II сравнивает здесь хорошо управляемое государство с семьей, в которой монарх есть отец, а подданные — дети: «у них добро и зло одни и те же, ибо государь не может быть счастлив, когда несчастны его народы». Или еще одно сравнение: «государь для общества, им управляемого, то же самое, что голова для тела: он должен смотреть, думать и действовать за все общество, дабы доставлять ему все выгоды, какие оно только может получить». В своем «Политическом завещании» король-философ уподобляет идеальное государство (*un gouvernement bien conduit*) философской системе, где все между собой тесно связано: правительство также долж-

но иметь свою систему, «дабы все мероприятия были хорошо обдуманы, и чтобы финансы, политика и военное дело стремились к одной и той же цели, которая заключается в укреплении государства и в увеличении его могущества» (*l'affermissement de l'état et l'accroissement de sa puissance*). Последние слова заключают в себе указание на истинную цель всех политических стремлений Фридриха II. *Король-философ был одним из самых крупных в истории представителей государственной идеи* в ее отвлечении от непосредственного блага народа. Хотя он и заявлял, что государство существует для блага всех его жителей, и что государь во всех своих мероприятиях должен иметь в виду, что о них скажет большинство населения, которого они касаются, тем не менее на практике общее благо — и именно благосостояние мещанства и крестьянства, составлявших большинство подданных, — приносилось в жертву государственным потребностям, сам же Фридрих II в действительности менее всего думал о том, как понимают это общее благо его подданные, полагая, что он один схватывает все своим умом и знает, что им нужно и чего не нужно. Выше всего государственный интерес, судить о котором может только сам государь, — вот правительственная формула Фридриха II, следуя которой он считал даже излишним обсуждать дела в совете министров.

Забываясь о том, чтобы в правительственной системе все было тесно между собой связано, как в системе философской, Фридрих II, между прочим, предпринял составление общего кодекса (*Allgemeines Landrecht*¹), над которым работали наиболее видные государственные люди и юристы тогдашней Пруссии. Хотя этот кодекс был обнародован лишь в 1794 г., при преемнике Фридриха II (Фридрихе Вильгельме II, его племяннике), тем не менее по своему происхождению и по своим принципам он принадлежит еще веку короля-философа и иллюстрирует его политическую теорию. *Влияние философии на законодательство — одна из любопытных черт XVIII в.* и притом не только для «просвещенного абсолютизма»², но и для Французской революции. Последняя в своей знаменитой «Декларации прав человека и гражданина» перевела на язык законодательного акта философию естественного права, утверждавшего принципы индивидуальной свободы и народовластия. Исходя из той же самой рационалистической философии, прусское «Общее земское право», задуманное в духе политической теории Фридриха II, сделалось, по удачному определению одного историка, «настоящей декларацией прав государства и государя». В основу этого законодательного памятника положены были некоторые общие идеи, выраженные в философской и отвлеченной форме. Благо государства и его жителей есть цель существования общества и граница за-

¹ Всеобщее земское право (Пруссии). — *Прим. ред.*

² Вспомним «Наказ» Екатерины II.

кона. Законы могут ограничивать свободу и права граждан лишь в целях общей пользы. Каждый член государства обязан работать для общего блага сообразно со своим положением и достатком. Права отдельных личностей должны отступать на задний план перед государственным интересом. Кодекс ничего не говорит о наследственном праве короля и о правах королевской фамилии, но высказывает зато несколько положений о правах частных лиц, поскольку эти права не должны преклоняться перед общей пользой. Самые права эти основываются кодексом на естественной свободе делать себе добро, не вредя другим; поэтому все деяния, не запрещаемые естественным или положительным законом, нужно считать дозволенными; каждый житель имеет право, чтобы государство защищало его личность и собственность, и пользуется правом самообороны, раз государство не приходит к нему на помощь. Считая государство представителем общества и подчиняя государству права частных лиц, кодекс в то же время делает государя единственным представителем государства, передавая ему все права, которые признаются им за обществом. Король есть глава государства, и в силу этого ему одному принадлежит право производить общее благо, эту единственную цель человеческого общежития; один он уполномочен направлять все действия отдельных лиц к этой цели, один законодательствует, устанавливает налоги, управляет при помощи чиновников, приказанием которых нужно так же повиноваться, как и его собственным. Кое-что из того, что упомянутая французская декларация считала неотъемлемым правом человека и гражданина, в этом кодексе подвергалось уголовной каре; это-то и расположило в его пользу реакционно настроенного преемника Фридриха II: непочтительная критика правительственных действий наказывалась; авторы, издатели и продавцы опасных сочинений равным образом подвергались гонению; право публичных собраний (до банкетов и маскарадов включительно) стеснялось и т. п. Есть еще одна замечательная черта в кодексе: он возлагает на государство серьезную обязанность — заботиться о материальном благосостоянии тех, которые не могут сами пропитываться.

Основное содержание политических трактатов Фридриха II и «Общего земского права» — одно и то же: и тут, и там утверждаются права государства и государя. *Традиции прусского абсолютизма облеклись в сочинениях Фридриха II в философскую форму, а положения политической философии переводились в законодательный акт, задуманный в духе этих традиций.* Фридрих II унаследовал общее представление о государстве и государе от своих преемников и возвел его на степень философской идеи при помощи учения о естественном праве, на котором основывались и все теоретики государственности, начиная с Гоббса. В данном отношении между Фридрихом-королем и Фридрихом-философом не было никакого противоречия: практический деятель и теоретик шли рука об руку. Тем не менее великий

монарх не всегда был последователен, когда из теоретических посылок следовало делать практические выводы даже при полной поддержке основных принципов старой традиции и новой философии, совпадавших между собой. Отвлеченное государство рационалистической философии XVIII в., мыслилось ли оно в форме абсолютной монархии, как у Фридриха II, или в форме демократической республики, как у Руссо, — было отрицанием традиционного, исторически сложившегося государства, как естественное право было отрицанием права исторического; государство в идее не было ни сословным, ни вероисповедным, ни состоящим из самостоятельных областных частей. Провозглашая в религиозном отношении веротерпимость, политическая философия XVIII в. требовала во имя идеи государственного единства и общего блага устранения областных и сословных перегородок, что лучше всего и проявилось в том применении этой философии к жизни, которое мы наблюдаем в законодательстве Французской революции. Если вероисповедная политика Фридриха II совпадала с гогенцоллернской традицией и с требованием Просвещения, если создавая единое централизованное государство, в котором должен был исчезнуть областной сепаратизм, этот король продолжал дело своих предшественников и осуществлял отвлеченную идею единого государства (одушевлявшую впоследствии якобинцев во время Французской революции), то в отношении к сословному строю прусского государства, исторически сложившемуся, но осуждавшемуся философией XVIII в., Фридрих II держался не новых идей, а старых традиций. *По отношению к прежнему социальному строю Фридрих II оказался консерватором*, не внесшим в этот строй никаких изменений. В прусском государстве, как и везде вообще в XVIII в., за дворянством сохранялись социальные привилегии в виде вознаграждения за лишение политического значения, а потом и за службу в армии, т. к. дворянство поставляло офицеров, плохо оплачивавшихся государством и потому нуждавшихся в доходах с крестьян. Фридрих II не только сохранил этот порядок вещей, но и сам смотрел на дворянство как на людей высшей расы. Уже в роли аудитора кюстринского присутственного места он высказывал аристократические воззрения, а сделавшись королем, продолжал думать, что только дворянам присущи чувство чести и храбрость и что поэтому лишь они одни способны занимать офицерские места. То же самое *Allgemeines Landrecht*, которое основывало государство на служении общему благу, а права граждан — на естественной свободе, охраняло дворянские привилегии, резко противопоставляя привилегированное сословие всем остальным: ему одному открыты были почетные места, одно оно имело доступ ко двору (было *hoffähig*), за его именьями признавались разные льготы; чиновничество было поставлено ниже дворянства, потому что не могло занимать высоких мест, приобретать рыцарские именья, появляться при дворе; чтобы дворянин не ронял своего

достоинства, ему запрещалось занятие промыслами и торговлей, запрещались так называемые мезальянсы и т. п. Только податных изъятий не существовало в Пруссии для дворянства, что опять-таки было введено ранее Фридриха II. Подобно очень строгой границе, проводившейся прусским правом между дворянством и чиновничеством, существовала не менее резкая граница между этим последним и бюргерством, не говоря уже о приниженном положении крестьянства. Потребности государства, удовлетворявшиеся старым военно-хозяйственным режимом, часто заставляли Фридриха II смотреть на бюргерское и крестьянское население Пруссии как на податную массу, нуждающуюся прежде всего в строгой государственной и помещичьей дисциплине. Об отношении Фридриха II к крепостному состоянию сельского населения речь будет еще идти впереди, а здесь мы отметим, что философский *Landrecht* позволял помещикам наказывать неисправных крестьян палочными ударами.

Одним словом, в общем Фридрих II не был преобразователем, деятельность которого была бы направлена к коренному изменению внутренних отношений страны, и если, тем не менее, по своему относительному благоустройству прусская монархия занимала первое место среди континентальных стран, то этим она была обязана порядкам, введенным еще до Фридриха II, им только поддержанным и усовершенствованным. Реформы короля-философа касались главным образом администрации финансов, суда, взаимных отношений между помещиками и крестьянами при полном сохранении старых основ политического и социального строя. *Многие из таких преобразований Фридриха II сделали предметом подражания для других правительств* и, между прочим, для Австрии. Одним из важных его дел в этом отношении была судебная реформа, главным деятелем которой явился канцлер Самуил фон Кокцеи, ученый юрист, державшийся доктрины естественного права. Фридриху II не удалось ввести задуманное им общее земское право, но он реформировал судостроительство и судопроизводство и способствовал созданию в Пруссии хорошего судебного персонала¹. Установление правильного порядка вместо прежнего произвола в судах вполне соответствовало более высокому пониманию задач государства. Генеральная директория в одном году (1748) с судебной реформой получила новую инструкцию, вносившую улучшение в ее деятельность, но притом так, что одновременно расширялась компетенция королевских чиновников насчет земских чинов в тех провинциях, где они еще сохранялись. Особенно развивал Фридрих II свою правительственную деятельность в области государственного и народного хозяйства. У него была своя собственная экономическая теория, в существенных своих частях меркан-

¹ Project des Codicis Fridericiani Marchini oder eine, nach Sr. Kön. Majestät von Preussen Selbst vorgeschriebenem Plan entworfene Kammergerichts-Ordnung nach welche alle Processe in einen Jahr durch alle drey Instanzen zum Ende gebracht werden sollen und müssen. 1748.

тилистическая, сводившаяся к тому, чтобы удерживать золото и серебро в стране, покровительствуя развитию промышленности в самой Пруссии, но в то же время охраняя и улучшая сельское хозяйство. Фридрих II заботился о колонизации малонаселенных земель, об осушке болот, о введении новых культур, об основании заводов и фабрик, об облегчении кредита, об улучшении путей сообщения и условий торговли, об увеличении государственной казны и т. п., и во всем этом достиг весьма многого, хотя в то же время наделал немало крупных ошибок. Заботы Фридриха II распространились и на народное образование. В 1763 г. он издал указ о сельских школах (General-Land-Schul-Reglement), во введении к которому говорится о невежестве деревенских жителей как о великом зле, и потому о необходимости просвещения народных масс, а комментарием к этому регламенту могли бы служить некоторые места в сочинениях самого Фридриха, свидетельствующие о том, как верно судил он о значении «воспитания юношества» с точки зрения общего блага. Регламентом 1763 г. посещение первоначальных школ детьми поселян делалось обязательным (Schulzwang), и за несоблюдение этого правила должны были отвечать родители, опекуны и помещики. Правительственная деятельность Фридриха II, направленная на подъем материальных и духовных сил страны, представляет из себя одно из капитальнейших явлений прусской истории XVIII в., но сохранение старой политической и социальной организации задерживало эти силы. Если во многих отношениях, как выражаются немецкие историки, Фридрих II и пересоздавал прежнее полицейское государство (Policeistaat) в государство культурное (Kulturstaat) Новейшего времени, то это несколько не изменяет главного факта: старые государственные и общественные порядки, состоящие в соединении политического абсолютизма с социальными привилегиями, *пережили в Пруссии эпоху «просвещенного абсолютизма»*, но через двадцать лет по смерти великого короля эти порядки не выдержали первой серьезной пробы, когда одна битва в войне с Наполеоном I привела монархию Фридриха Великого на край гибели и когда для спасения будущности Пруссии пришлось начать реформы именно в той сфере внутренних отношений, в которой король-философ был прежде всего консерваторм. Вскоре после смерти великого короля и незадолго до начала Французской революции Мирабо издал свою знаменитую книгу «De la monarchie prussienne», в которой прославлялась Пруссия Фридриха II и восхвалялся сам этот король. Будущий деятель революции, игравший самую видную роль в ее начале, написал, собственно говоря, апологию личного правления, раз оно было в руках великого короля, но и он видел, как все величие Пруссии держалось на этой личности. Советуя «гражданам Германии» признать в бранденбургском знамени палладиум своей свободы, он, между прочим, высказывает ту мысль, что ни одна страна в Европе не созрела в такой степени, как

Пруссия, к тому, чтобы осуществить идеал свободы — гражданской свободы всех подданных, свободы промышленного труда, свободы торговли, свободы религии, свободы мысли, свободы печати, свободы всех вещей и людей. Конечно, будущий народный трибун увлекался, но само увлечение его Пруссией и ее королем весьма характерно для такого политического деятеля, каким был Мирабо: в сравнении с тем застоём, который царствовал в правительственной деятельности его собственной родины, прусские отношения должны были казаться чем-то необычайным. Он думал даже, что, если Пруссия погибнет, то искусство управлять государством, пожалуй, вернется к младенческому состоянию.

Не один Мирабо преклонялся перед правительственной деятельностью прусского короля. Его прославляли Вольтер, Рейналь, и даже Руссо, «врач королей обещал умереть у подножия его трона», если он «дает, наконец, счастье народу в своем государстве и сделается его отцом». Фридрих II поразил умы современников, ожидавших счастья народов от великих монархов, каким он был признан уже в начале своего царствования. Немецкие и иностранные государи и их министры равным образом видели во Фридрихе идеал правителя и преобразователя, и из этих деятелей самым увлекающимся учеником короля-философа оказался римский император Иосиф II, другая интересная фигура из эпохи «просвещенного абсолютизма», несравненно более Фридриха II из двух основных элементов этого направления — старой государственной традиции и новой философской концепции — отразивший на своей деятельности стремление века сделать из неограниченной монархической власти орудие радикального преобразования государства и общества.

XXIV. Мария-Терезия и Иосиф II¹

Консервативный и прогрессивный абсолютизм в Австрии и в Пруссии. — Династические традиции австрийских Габсбургов. — Австрия при вступлении на престол Марии-Терезии. — Мария-Терезия и значение ее преобразований. — Ее помощники. — Ее муж и сын как ее соправители. — Взаимные отношения Марии-Терезии и Иосифа II. — Характер и воспитание Иосифа II. — Иосиф II в эпоху соправительства. — Иосиф II во Франции.

В истории отдельных западноевропейских стран и в разные эпохи королевский абсолютизм играл далеко не одинаковую роль. Возникнув в католико-феодальном обществе, он должен был действовать на этот строй разлагающим образом, служа государственной идее: прусский военно-хозяйственный режим при всех своих сделках со старыми социальными отношениями был именно проникнут началом государственности, и вот почему традиционная политика Гогенцоллернов так хорошо подготавливала собой «просвещенный абсолютизм» Фридриха II. Будучи продуктом роста государства, абсолютизм, однако, мог употреблять свою силу на охрану старых католико-феодальных отношений, и тогда он являлся силой консервативной: таков был в сравнении с прусским военно-хозяйственным режимом клерикально-аристократический дух австрийской династической традиции. Если системой Фридриха II было возведение на степень философской идеи старого гогенцоллернского взгляда на государство, то для младшего его современника, Иосифа II Австрийского, выступить в роли «просвещенного деспота» значило порвать с политикой своих предшественников в одном из наиболее важных ее пунктов. Когда этот импе-

¹ Для предыдущей истории Австрии см. книгу вторую. По общей истории Австрии см. соч. Mailat'a, Mayer'a, Krones'a, Leger'a (по-французски), Huber'a Asseline (по-французски, с 1780 г.) и др., а также: *Biedermann*. Gesch. der oesterreichischen Gesamtstaatsidee. Кроме того, общая история Германии в XVIII в., каковы, например, Эрдмансдерфера (до 1740 г.), Дове, Гейсера и др. Для эпохи Марии-Терезии особенно много сделано Arneth'ом, автором десяти-томной истории ее царствования и издателем переписки ее и ее детей, и Wolf'ом (Geschichte Bilder aus Oesterreich. II Bd.: Aus dem Zeitalter des Absolutismus und der Aufklärung. Hist. Skizzen aus Oesterreich-Ungarn. Aus dem Hof-Leben Maria-Theresia's. Oesterreich unter Maria-Theresia, Joseph II und Leopold — последний труд в коллекции Онкена). По истории Иосифа II, кроме старой (1835 г.) книги Гросс-Гоффингера (Lebens und Regierungsgeschichte Josephs II), см. монографии Meynert'a, Wendrinsky J., Beer'a A., Brunner'a S., Ritter'a (см. ниже), Jager'a (см. ниже) и др. Столетняя годовщина со дня смерти Иосифа II оживила интерес к его царствованию и вызвала несколько небольших работ об Иосифе, из которых наиболее ценными являются «Josephina» профессора Вольфа. Cf. *Lustkandl*. Die Josephinischen Ideen und ihr Erfolg; *Brunner A*. Der Humor in der Diplomatie und die Regierungskunde. Die Theologische Dienerschaft. Die Mysterien der Aufklärung. Сочинения более частного характера называются ниже.

ратор вступал в управление габсбургскими наследственными землями, прошло целых два века с тех пор, как австрийские Габсбурги сделались ревностными сторонниками католической реакции: между тем Иосиф II был проникнут одной из самых важных идей XVIII в., идеей веротерпимости — к великому прискорбию своей матери, которая боялась, что ее сын не будет добрым католиком совершенно так же, как Фридрих-Вильгельм I опасался, что, его Фриц не будет ни хорошим хозяином, ни хорошим солдатом. Фридрих II не изменил общему духу гогенцоллернской политики, но Иосиф II среди габсбургских государей, своих предшественников и своих преемников, явился каким-то революционером, как бы занесшим руку на все прошлое Австрии. Деятельность Фридриха II достаточно объясняется предыдущей историей Пруссии, деятельность Иосифа II прежде всего — духом времени. Та сторона, которой «просвещенный абсолютизм» роднится с философией XVIII в., с особой силой выразилась в реформах Иосифа II, но у «просвещенного абсолютизма» была и другая сторона — продолжение или возобновление прежней государственной политики, разлагавшей средневековые культурно-социальные формы и удовлетворявшей новым потребностям общества, и вот эту сторону, присутствия которой нельзя, конечно, отрицать в деятельности Иосифа II, мы уже наблюдаем в царствование его матери Марии-Терезии, вовсе не бывшей хорошо расположенной к идеям XVIII в. И в Австрии между матерью и сыном не было такой пропасти, какая может представиться с первого взгляда: будучи в некоторых отношениях «революционером на троне» под влиянием философии своего века, в других Иосиф II продолжал дело своей матери, а если последняя, ненавидевшая вольнодумство и вольнодумцев своего времени, явилась в роли преобразовательницы некоторых внутренних отношений, то это лишь указывает нам на происхождение многих реформ, совершавшихся государственной властью во второй половине XVIII в., не из отвлеченных идей философии, а из реальных потребностей политики, которые заставляли правительства оставлять прежнее охранительное направление своей деятельности.

Рассматривая историю Австрии в Новое время, нужно всегда помнить некоторые особенности политического существования этого государства. Во-первых, наследственный государь габсбургских земель был в то же время и избирательным главой Священной Римской империи и, следовательно, представителем одной из совершенно уже отживших средневековых идей, что, однако, клало печать своего рода архаичности на весь характер власти австрийских монархов. Идея Священной Римской империи была идея католическая: религиозная Реформация XVI в. разрушила религиозно-политическое единство Западной Европы, и в реакции, ею вызванной, католическая церковь и Австрия, как представительница империи, шли рука об руку, — достаточно вспомнить хотя бы одну Тридцатилетнюю вой-

ну. Поддержка католицизма, поддержка старины *сделалась главной традицией габсбургской династии в Австрии*, причем у этой династии была постоянная союзница в лице Испании, где царствовала старшая линия Габсбургов. Влияние мрачного испанского фанатизма стало чувствоваться при венском дворе с Рудольфа II, получившего в Мадриде чисто иезуитское воспитание.

Другая основная черта в австрийской истории — та, что само государство, которое мы теперь называем Австрией, в сущности не было единым государством, а представляло из себя лишь «владения Габсбургского или Австрийского дома», находившихся между собой в известного рода унии, имевших общего монарха, который, однако, как их государь, не имел общего титула, будучи императором лишь по Германии и затем именуясь королем Венгрии, королем Чехии, графом Тироля и пр. и пр. Такой состав Габсбургского государства из самостоятельных земель с разным устройством и историческим прошлым, с разноплеменным притом населением *менее всего соответствовал идее единой монархии* и обязывал правителей считаться с историческими правами отдельных владений, тем более, что в защиту этих прав не раз подымались восстания, из которых наиболее важными были чешское и венгерское, одно в начале, другое в конце XVII в. Наиболее мудрой политикой Габсбургов было поддерживать status quo: их политика должна была и по этой причине быть консервативной, и основным ее мотивом должна была быть боязнь всякого движения, дабы государство, так сказать, застыло в своей неподвижности, дабы то устойчивое равновесие, какое создавалось для «владений Австрийского дома» династической между ними связью, не было нарушено каким-либо коренным изменением в существующих отношениях. Правда, основные стремления абсолютизма находились в противоречии с необходимостью держаться такой политики, и венское правительство не всегда ей следовало, но обстоятельства постоянно заставляли к ней возвращаться: та же ведь политическая необходимость и в первой половине XIX в., в эпоху Меттерниха, заставляла Австрию быть оплотом консерватизма в центре Европы. Поддерживать statum quo значило не только делать уступки областному сепаратизму, но и тем общественным классам, на которых этот сепаратизм держался: затронуть в габсбургских владениях аристократические привилегии и социальный феодализм значило вызвать против себя не только консервативную оппозицию, но и сепаратистические стремления. Таким образом, сам по себе консервативный, *абсолютизм австрийских Габсбургов был действительно как мы сказали выше, клерикально-аристократическим*. В духе этих традиций воспитывались поколения габсбургских государей, по-видимому, унаследовавших от своей прабабки (Иоанны Безумной) склонность к меланхолической бездеятельности. Старшая, испанская линия Габсбургов

вымерла при самом переходе в XVIII в.: одним из кандидатов на «испанское наследство», как известно, был младший сын императора Леопольда I (1657—1705) Карл, который по смерти своего старшего брата императора Иосифа I, (1705—1711) стал сам австрийским государем, но со смертью его прекратилась и младшая линия Габсбургов (1740), в силу чего открывалось «австрийское наследство», и единство монархии ставилось под знак вопроса.

Дочери и преемнице Карла VI, Марии-Терезии, вышедшей замуж за Франца Стефана Лотарингского, *предстояла двойная задача — охранить «наследство» от расхищения и вместе с тем внести в жизнь подвластных земель необходимые перемены.* Не имея потомства мужского пола, Карл VI составил под названием «прагматической санкции» государственный акт, в силу которого все области, находившиеся под его властью, должны были составить одно нераздельное целое, с переходом прав на корону к его дочери. В 1720 г. этот акт был принят сеймами австрийских и чешских земель, в 1722 г. — сеймами венгерским и трансильванским, а потом поставлен под гарантию и иностранных держав. Известно, что «прагматическая санкция» не обеспечила вполне целостности монархии, которой пришлось вести тяжелую борьбу, лишившись Силезии — добычи Фридриха II. Враги Марии-Терезии прямо думали о дележе, а ни одно другое государство по своему пестрому составу не представляло столько удобств в этом отношении, как монархия Габсбургов. Австрия, однако, уцелела, благодаря особенно содействию мадьяр, привилегии которых были подтверждены Марией-Терезией, но при этом пострадала Чехия, лишившаяся трети земель своей «короны» (Силезия) и многих областных вольностей. С другой стороны, государство нуждалось в реформах: успехи Фридриха II в войне за австрийское наследство до очевидности показывали, что оставаться при устарелых формах было более невозможно. Австрия была одной из наиболее отсталых стран, и даже сама немецкая национальность, в ней первенствовавшая в культурном отношении, не стояла на том уровне цивилизации, какого она достигала в других немецких странах. Католическая реакция сделала свое дело. Школа и печать, находившиеся в руках иезуитов, были постоянно действовавшими орудиями этой реакции. Культура протестантской Германии почти не проникала в Австрию. Общий упадок выразился, между прочим, в том, что в стране, как говорится, «людей не было», приходилось выписывать нужных людей из других немецких земель, и если приезжие были протестанты, то от них требовали — хотя бы и чисто наружного — обращения в католицизм, дабы они могли жить в Австрии и находиться на службе у ее правительства. Культурному упадку соответствовало и полное расстройство в управлении. Габсбурги словно тронуть боялись «старые порядки» в администрации, суде, финансовом ведомстве и потому сквозь пальцы смотрели на злоупотребления чинов-

ников, которые многому тогда могли бы с пользой для государства поучиться у прусской бюрократии.

Когда в 1740 г. умер Карл VI, его наследнице было 23 года (род. в 1717 г.). Молодая женщина проявила необычайную энергию в защите своих прав и с честью вышла из борьбы с Фридрихом II, вступившим на прусский престол в одном с нею году. Мария-Терезия была действительно великой монархиней. Хотя отец держал ее далеко от государственных дел, к великому ее огорчению, но, несмотря на свою молодость и неопытность, она нашлась среди трудных обстоятельств, в которые ее поставила война за австрийское наследство. Весьма естественно, что к Фридриху II она воспылала страшной ненавистью, причиной которой было не одно то, впрочем, что прусский король лишил ее Силезии: «королева венгерская и богемская, эрцгерцогиня австрийская», получив строго католическое воспитание, была ревностной дочерью римской церкви, видевшей во Фридрихе II злого безбожника. Тем не менее она считала возможным учиться у этого врага и действительно у него училась, вводя преобразования в своем государстве. У Марии-Терезии совсем не было того, что отличало впоследствии ее сына, не было страсти к нововведениям, но она понимала, что по-старому внутренние дела в ее владениях идти уже не могли. В *преобразовательной деятельности Марии-Терезии мы встречаемся со многими чертами «просвещенного абсолютизма»*, хотя государыня эта ни в каком отношении не может считаться представительницей или сторонницей новых идей. Дело, конечно, в том, что не одни новые отвлеченные идеи были источником реформ XVIII в., но реальные потребности, которые сами порождали нередко и сами эти идеи или, по крайней мере, придавали им жизненную силу. В австрийской политике, как и во всякой другой, боролись между собой два течения — консервативное и инноваторское, при большем или меньшем преобладании первого из них. Рассматривая преобразования Марии-Терезии, мы имеем полное право сопоставить их со всеми теми мероприятиями в других государствах и в другие времена, со всеми теми нововведениями, которые имели своей целью большую централизацию, упорядочение администрации и финансов, улучшение судебных порядков и подъем народного богатства. Реформы Марии-Терезии не коснулись только Венгрии, которая, как мы видели, выговорила себе сохранение старых отношений, чем и объясняется энергичная поддержка мадьяр, помогшая Марии-Терезии отстоять свою монархию в борьбе за наследство.

В своей правительственной деятельности Мария-Терезия нашла выдающихся помощников. Главным организатором бюрократического правления в Австрии был силезский граф Фр.-Вильг. Гаугвиц, значение которого сама монархиня определила таким образом в письме к его вдове после его смерти, последовавшей в 1765 г.: «он один водворил в государстве порядок, вместо

хаоса» (confusion). В области финансов особенно много сделал для Австрии чешский граф Рудольф Хотэк: лишь благодаря его умелому заправлению финансами могла Мария-Терезия вести Семилетнюю войну. Во главе иностранной политики стоял граф, впоследствии (с 1764 г.) князь Венцель Кауниц, самая крупная личность в тогдашнем австрийском мире. Между прочим, в должности канцлера и первого министра он создал в 1760 г. для немецких и богемских земель государственный совет (Staatsrath), главное орудие централистического абсолютизма при Марии-Терезии и Иосифе II, учреждение, вносившее известное единство и порядок в ведение дел¹. К числу помощников Марии-Терезии нужно отнести и мужа ее Франца-Стефана Лотарингского, который вместе с Хотэком управлял финансами. Известно, что по Венскому миру (1738) Франц-Стефан уступил Лотарингию Станиславу Лещинскому, получив взамен Тоскану, где прекратилась династия Медичи; затем в начале царствования своей супруги сделался ее соправителем по Богемии как курфюршеству, а в 1745 г. был выбран в римские императоры по смерти Карла VII (Карла Альбрехта Баварского, одного из претендентов на «наследство»), приняв после этого имя Франца I². Сам по себе это был человек, сильно любивший удовольствия, игру, охоту и, пожалуй, еще больше — деньги, что и делало его специалистом в области финансов, так что он создал и лично для себя большое состояние. Франц I умер в 1765 г. От брака с ним Мария-Терезия имела 16 человек детей, старшим из которых и был Иосиф, родившийся в 1741 г. По смерти отца он, имея тогда 24 года от роду, сделался императором, и тогда же мать назначила его своим соправителем, ограничив, впрочем, его деятельность придворными, военными и финансовыми делами, да и тут не давая ему полной самостоятельности. С этого времени в австрийских высших сферах образовалось два направления: одно было направлением матери, враждебное французскому Просвещению, главным представителем которого среди государей был Фридрих II, а к другому принадлежал сын, который был сторонником новых идей и преклонялся перед прусским королем. Как ни противоположны были стремления Марии-Терезии и Иосифа II, между ними было и много общего: их разделяли преимущественно вопросы, в которых особенно ярко выступали идеи Просвещения, но их сближала общая почва политики абсолютизма. Иосиф II постоянно представлял своей матери проекты реформ, и некоторые из них были осуществлены, именно в военном деле, в котором образцом для императора служил Фридрих II, и в области финансов, где сделаны были некоторые

¹ Hock K., Biedermann H.I. Der oesterreichische Staatsrath (1760—1848 гг.). Шесть седьмых этого обширного труда (около 700 с.) посвящено истории государственного совета при Марии-Терезии и Иосифе II. Сочинение это важно особенно для детальной истории реформ в эти два царствования.

² Meynert H. Kaiser Franz I.

улучшения. В большинстве случаев реформаторские стремления Иосифа II поселяли, однако, в его матери тревогу, и сын, не находя у нее сочувствия, охотно соглашался на то, чтобы сложить с себя соправительство. Только во внешней политике Иосиф II умел настаивать на проведении своих идей¹.

Вопрос о взаимных отношениях между Марией-Терезией и Иосифом II имеет весьма большой интерес для определения характера и значения реформаторской деятельности Иосифа II. Говоря это, мы имеем в виду не материнские и сыновние чувства, которые касаются их обоих, как частных людей, а их правительственные программы. Дело, конечно, не в том, что Мария-Терезия отличалась добродетелями хорошей семьянинки, и что сам Иосиф II был добрым сыном, искренне, например, опечаленным смертью матери и видевшим большое несчастье в невозможности называться более сыном: главный вопрос в том, как можно определить отношение царствования Иосифа II, уже при жизни матери носившегося с планами крупных реформ, к царствованию Марии-Терезии, которая также прославила себя преобразовательной деятельностью. Нет никакого сомнения в том, что император порвал со старыми габсбургскими традициями и на австрийском троне явился настоящим революционером, но этим еще не решается вопрос, насколько эта революционная деятельность вытекала исключительно из отвлеченных идей философии XVIII в., для которой ошибки и неудачи Иосифа II снискали — в отношении к его внутренней политике — название беспочвенной идеологии². Императору-преобразователю ставят часто в вину то, что вся его деятельность вытекала из отвлеченного умозрения, совершенно отрешившегося от условий и потребностей жизненной практики, — упрек, который нередко делается и многим деятелям Французской революции, — а ошибки Иосифа II и неудачи, которые ему пришлось претерпеть, играют роль доказательств того, что вся его деятельность была бессодержательна. Ему вообще противопоставляют более умелую и успешную политику Фридриха II, менее зараженного духом рационалистической идеологии; противопоставляют Иосифу II и его мать, которая своими мероприятиями лишь удовлетворяла назревшим потребностям, не забегая вперед. Что Иосиф II не отличался той практичностью, которая характеризует Фридриха II и Марию-Терезию, что многое начато им было неумело и не увенчалось успехом, это не подлежит ника-

¹ По первому польскому разделу Австрия приобрела Галицию (1772 г.), захватила Буковину (1775 г.) и отняла у Баварии так называемый Innviertel (между Зальцбургом и Нассау). См., между прочим: *Gross-Hoffinger. Die Theilung Polens und die Geschichte der österreichischen Herrschaft in Galizien* — Biedermann. *Die Bukowina unter österreichischen Verwaltung*.

² Ср.: *Ону А. Иосиф II и «философия» XVIII века* (Историческое обозрение, т. II). Статья эта, основанная на главнейших источниках и на новейшей литературе предмета, заключает в себе разбор этого вопроса.

кому сомнению, но отсюда еще далеко до утверждения, будто все его начинания не имели ничего общего с потребностями времени. Двумя главными делами своего царствования он считал введение веротерпимости и уничтожение крепостничества. Несмотря на католическую реакцию, в Габсбургской монархии все-таки еще были протестанты¹, и сама политика требовала, чтобы силы протестантских подданных государства не пропадали для него даром вследствие тех стеснений, каким они подвергались: этот мотив так сильно действовал на Иосифа II, что, по представлению одного историка², мотив этот и был главным в деле введения императором веротерпимости. Что касается до крестьянского вопроса, сильно интересовавшего Иосифа II, то это было больное место не в одной Австрии, да и в ней самой Мария-Терезия, которую никто не обвиняет в реформаторском зуде, своими мероприятиями в этой области положила начало крестьянским реформам сына. Иосиф II мог быть неумел и непредусмотрителен, мог больше полагаться на верность основной идеи и на силу своей власти, чем это допустимо в политической деятельности, требующей большей внимательности к реальным условиям и большей выработки практических средств, но все это имеет значение для характеристики приемов его деятельности, а не ее целей. *То, к чему стремился Иосиф II, в сущности, не противоречило задаче, какую ставила себе Мария-Терезия* — возвысить государство над всеми остатками старины, столь сильными в Австрии, ввести в него начала централизации и бюрократического правления, поставив их на место областного сепаратизма и сословного самоуправления: это была старая задача абсолютизма, которую разрешали многие государи и правители Нового времени. Различие между Иосифом II и его матерью заключается лишь в том, что он шел к своей цели прямее и открытее, действовал решительнее, но и неосмотрительнее, думая быстрыми и крупными мерами осуществить то, чего Мария-Терезия хотела достигнуть исподволь и более ловкостью, чем применением силы. Все дело было в темпераменте императора и в том, что у него был своего рода фанатизм, именно фанатизм идеи «просвещенного абсолютизма», роднящий его с такими революционными государственниками, какими были якобинцы: и Иосиф II, подобно этим последним, был убежден, что счастье народов зависит от осуществления государственной идеи, да и общее благо, взятое в наиболее реальном своем понимании — благосостояния отдельных личностей, было действительно одним из стимулов деятельности императора. Не нужно, наконец, забывать того, что Иосиф II жил в самом конце периода «просвещенного абсолютизма»: во многих отношениях ему не приходилось прокладывать новых путей, и на него действовали не только бывшие тогда в

¹ Wolf G. Die Protestanten in Oesterreich unter der Kaiserin Maria-Theresia.

² Wolf A. Iosephina.

ходу идеи, но и пример других правительств, что, например, касается его церковных реформ, наиболее подвергавшихся критике.

Уже ребенком Иосиф II обнаруживал те свойства, которые отличали его, как взрослого человека. В нем не было и следа меланхолической подавленности его мужских предков с материнской стороны: это был мальчик-непоседа, с которым его воспитателям трудно было справиться и из которого вырос впоследствии весьма подвижный политический деятель. Хваля голову императора, Фридрих II, как известно, выражал сожаление, что он делает второй шаг, не сделав первого: характеристика была весьма удачна, но она именно указывает на натуру, одаренную большим запасом воли, стремлением к действию. Такие люди бывают обыкновенно упрямы и нетерпеливы: и то и другое можно сказать об Иосифе II, когда он был еще ребенком. Однажды, например, он упорно в течение нескольких дней отказывался есть подававшиеся ему кушанья, желая других, и сломить это проявление своенравия удалось, только напугав его криком одного лица, которое заранее было спрятано под стол, чтобы при повторении отказа от пищи напугать мальчика. Из маленького упрямца вырос впоследствии большой деспот, а ребяческая нетерпеливость перешла со временем в своего рода радикализм, отличающий законодательную деятельность Иосифа II. Человек нервного темперамента, он еще в детстве отличался, кроме того, чувствительностью, сделавшейся почвой, на которой особенно хорошо прививались гуманные, филантропические идеи философии XVIII в. К матери у него были самые нежные отношения, и его привязанность к ней не поколебали ни теоретические разногласия, ни столкновения эпохи соправительства. Его первый брак с Изабеллой Пармской был брак счастливый: Иосиф II очень привязался к своей жене, слишком рано умершей. Доброжелательное отношение к людям, стремление осчастливить своих подданных и вера в то, что это вполне в его власти, но рядом с ней и убеждение в том, что сами люди плохо понимают собственное благо, что для этого блага нужно иногда действовать наперекор их желаниям и что правительство в этом отношении всемогуще, — все это создавало в характере и поведении Иосифа II массу противоречий. Оказывали влияние на его поведение и некоторые недостатки его воспитания. Сам Иосиф II впоследствии относился к венской придворной жизни, как к школе подлости и раболепства, а Фридрих II удивлялся, что, родившись при дворе ханжей, император отбросил суеверие и, получив учителей-педантов, сумел ценить Вольтера. Главным воспитателем Иосифа II в очень еще раннем возрасте был венгерский граф Батьяни, грубый солдат, думавший по-военному дисциплинировать своенравного мальчика, но научные занятия считавший излишними: нередко он попросту прогонял учителей, приходивших на урок, или во время урока предлагал мальчику идти гулять. Учителями

Иосифа II были иезуиты, офицеры и юристы, нагонявшие на него нередко только скуку схоластической ученостью или наполнявшие его голову одними отвлеченностями. Общий план учения Иосифа II был выработан статс-секретарем Бартенштейном, составившим, между прочим, историческое руководство в 15 томов, в котором, например, больше говорилось о гуннах и аварах, чем о судьбах Венгрии под габсбургской властью. Педантическое преподавание истории не могло внушить ни любви к ней, ни исторического знания, хотя Бартенштейн признавал важность последнего в образовании будущего государя. В юридических занятиях принца изучение положительного (гражданского и церковного) права было отодвинуто на задний план и на первый план выдвинуто ознакомление с правом естественным. Годы учения дали таким образом Иосифу II, в сущности, весьма поверхностное образование, основу которого составляли скорее отвлеченные идеи естественного права, чем фактические знания из области истории и юриспруденции, и тем самым будущему государю-реформатору была привита слабая сторона философии XVIII в. Система естественного права, которую ему преподавал Мартини, находилась в полном противоречии с правовыми отношениями, сложившимися историческим путем, и Иосиф II смотрел ее глазами не только на все окружающее вообще, но и на правительственную систему своей матери. Еще двадцатилетним юношей (1761) он начал принимать участие в делах только что созданного тогда государственного совета, а через четыре года, как было сказано, сделался соправителем матери и помогал ей до самой ее смерти в течение 15 лет.

С 1765 г. Иосифу II, таким образом, пришлось играть двойную роль: преемника своего отца на престоле римско-католической империи и соправителя своей матери в австрийских наследственных землях. Нося высший монархический титул самого древнего происхождения, Иосиф II не пользовался, однако, действительной властью. Императорство, по собственному его выражению, было *un fantôme d'une puissance honorifique*¹. Новый император сделал было попытку внести дух жизни в дряхлое тело империи, желая, по крайней мере, истребить злоупотребления, господствовавшие в центральных учреждениях империи, но у него не было в распоряжении никаких средств, которые вели бы к этой цели, а притом значительная часть князей с Бранденбургом и Ганновером во главе была против каких-либо изменений в существовавших отношениях, не сочувствуя укреплению имперской власти. Неудача, постигшая Иосифа II в этом деле, отозвалась горечью в его сердце. В Австрии, на его взгляд, дела также шли не так, как следовало. Соправитель думал изменить в ней очень многое, Мария-Терезия сдерживала его порывы и стесняла его самостоятельную деятельность. Иосиф II с само-

¹ Призрак почтенного могущества (фр.). — Прим. ред.

го же начала проникся идеей долга перед государством, работать на пользу которого он считал самой священной своей обязанностью, и ему было досадно, что его идеи не получали хода в правительственной деятельности матери. Тем не менее он делал, что мог. Получив в наследство от отца несколько миллионов гульденов, он подарил их казне, дабы можно было уменьшить цифру лежавших на ней долгов. Придворные расходы были сокращены. Подвижный и деятельный, с гуманными стремлениями и мало расположенный к удовольствиям, император искал работы и, не довольствуясь тем, что предоставлено ему было делать, живя в столице, объезжал разные части монархии, дабы видеть все собственными глазами. «Провидение, — писал он еще до начала своей правительственной деятельности, — не миллионы создало для государя, а государя поставило на то, чтобы он всецело посвящал себя служению этим миллионам». Одной из любимых идей его была идея веротерпимости, но как раз она-то была и непонятна, и несимпатична католичке-императрице. В одном из своих частных писем (1772) Мария-Терезия жаловалась, что у ее сына «слишком много антипатии к старым нравам и духовенству и слишком свободные принципы в морали». «Я слишком стара, писала она еще (1775), — чтобы обратиться к таким принципам, и молю Бога, чтобы к ним никогда не обратился мой преемник». Иосифу II пришлось объяснять своей матери, что дарование свободы вероисповедания протестантам не есть еще личная измена католической церкви, но Мария-Терезия стояла на своем: «дело идет о вашем спасении, — писала она ему в одном из своих писем (1777), — все это происходит от ложных суждений и от дурных книг». Кроме того, Иосиф II настаивал на необходимости более энергичного вмешательства во взаимные отношения между помещиками и крестьянами. Иногда между императрицей и соправителем дело доходило до настоящего столкновения. Иосиф II даже отказывался от соправительства. И это, как и неудачная попытка более деятельной политики в империи, раздражало будущего реформатора, а заведывание военными делами, предоставленное ему матерью, наоборот, приучило его повелевать, требовать повиновения без рассуждения, держать подчиненных в строгой дисциплине. Понятно, что когда смерть Марии-Терезии сделала его полновластным распорядителем в габсбургских землях, тогда все, что сдерживало порывы Иосифа II, исчезло, и он с увлечением бросился в деятельность реформатора.

Отметим из этой эпохи еще одно из заграничных путешествий Иосифа II: в 1777 г. он посетил Францию, где была замужем за королем (Людовиком XVI) его сестра (Мария-Антуанетта). Иосиф II приехал сюда *incognito*, под именем графа Фалькенштейна и главное внимание обратил на парижские благотворительные учреждения, художественные собрания, промышленные заведения и, наоборот, не только не обнаружил большого интереса к придворной версальской жизни, но даже высказал по ее поводу немало горьких истин. Своим пребыванием в столице Франции Иосиф II

воспользовался и для того, чтобы ближе познакомиться и с умственной жизнью страны в ее представителях: он виделся с Руссо, д'Аламбером, Тюрго, Мармонтелем, Бюффоном, Неккером. Ему хотелось повидаться и с Вольтером, жившим тогда в своем Фернее, но Мария-Терезия самым настоятельным образом потребовала от сына, чтобы он во время своего путешествия не вздумал посетить этого защитника веротерпимости. Дорога путешествующего императора лежала через Ферней; когда меняли лошадей на станции, Иосиф гулял в саду, рассчитывая случайно встретить философа, но Вольтер не вышел, по-видимому, ожидая, что император будет к нему в гости сам; оба обманулись в своих надеждах, и Иосиф II продолжал путь, так-таки и не повидавшись с философом. У сына Марии-Терезии не было такого стремления к разрешению отвлеченных вопросов и не образовалось таких прочных связей с просветителями XVIII в., как у Фридриха II, но общий дух их философии был вообще ему симпатичен, и он считал их идеи наиболее годными для того, чтобы осчастливить человечество. Во время своего путешествия он посетил несколько стран, много видел и возвратился с желанием многое из того, что видел, пересадить на родную почву. На его сторону склонялся и Кауниц, бывший в личных сношениях с французскими философами.

В 1780 г. Мария-Терезия умерла, и Иосиф II сделался правителем Австрии. «Voilà un nouveau ordre des choses!»¹ — воскликнул Фридрих II при этом известии.

¹ «Вот он, новый порядок вещей!» — *Прим. ред.*

XXV. «Иозефинизм» и консервативная оппозиция¹

Общий характер реформаторской деятельности Иосифа II. — Его правительственная система и ее сходство с революцией. — «Иозефинизм». — Национальная оппозиция централистической политике Иосифа II. — Венгрия, Чехия, Нидерланды. — События в Бельгии и Венгрии и Французская революция. — Иосиф II и католическая церковь. — Веротерпимость Иосифа II. — Аристократическая оппозиция при Иосифе II. — Внутренние затруднения, встреченные Иосифом II. — Его реформаторская деятельность и внешняя политика.

Царствование Иосифа II в Австрии было непродолжительно: вступив на престол в конце 1780 г., он умер в начале 1790-го. Для Австрии эти девять лет с тремя месяцами были эпохой, когда, по-видимому, сразу должны были сдвинуться с места вековые устои ее исторического бытия. Преобразовательная деятельность императора отличалась поистине лихорадочным характером. Рассматривая его реформы в целом, мы можем, однако, сказать, что Иосиф II, с одной стороны, продолжал — только ускоренным темпом — преобразования своей матери, а с другой — спешил перенести в Австрию то, что уже сделано было представителями «просвещенного абсолютизма» в других странах, более, чем кто-либо, серьезно думая о том, чтобы «сделать философию законодательницей своего государства», управлять государством по собственным принципам и сообщить Австрии совершенно новый вид. *Его реформы действительно охватывали все стороны гражданской жизни, духовную культуру и социальные отношения, церковь, школу и внешнее положение печати, правительственные учреждения, судоустройство, право, сословный строй, крестьянский быт, промышленность и торговлю.* Подробнее об этих преобразованиях Иосифа II мы будем говорить после, в другой связи, именно сопоставляя однородные правительственные мероприятия в

¹ Сочинения по истории Венгрии и Бельгии при Иосифе II: *Krones*. Ungarn unter Maria Theresia und Joseph II; *Ziglauer*. Die politische Reformbewegung in Siebenbürgen in der Zeit Josephs II und Leopolds II. О Венгрии при Иосифе II есть еще сочинение *Marczali* на венгерском языке. *Lorenz O.* Joseph II und die belgische Revolution; *Delplace L.* Joseph II et la révolution brabançonne; *Juste*. Hist. du règne de Joseph II et la révolution belge. О церковных реформах Иосифа II значительная литература: *Schmid H.* Gesch. der Kathol. Kirche Deutschlands von der Mitte des XVIII Jahrhunderts. Ritter. Kaiser Joseph II und seine kirchl. Reformen; *Riehl A.* und *Reinöhl*. Joseph II als Reformator auf kirchlichem Gebiete; *Wolf A.* Die Aufhebung der Klöster in Innerösterreich; *Frank G.* Das Toleranzpatent Josefs II; *E. v. Münch*. Gesch. des Emser Kongresses und seiner Punktata. Менее разработана история других реформ.

разных странах, здесь же мы ограничимся общей характеристикой этой деятельности и рассмотрением причин ее неудачи. Попытку Иосифа II *преобразовать Австрию в духе идей XVIII в. можно назвать революцией, произведенной сверху*: если существует известного рода сродство между «просвещенным абсолютизмом» и Французской революцией, при всей той противоположности, какая прежде всего бросается в глаза, когда мы их сопоставляем, то особенно заметным образом это сродство проявляется в царствовании Иосифа II. Всеобъемлемость реформы, ее радикализм, вера в силу правительственного декрета, желание осуществить по возможности в чистом виде принципы общественной философии века, известного рода фанатизм в преследовании раз поставленных целей, деспотическое отношение ко всякому противоречию — вот общие черты, наблюдаемые при сравнении целей и приемов деятельности Иосифа II и, например, якобинцев, таких же, как он, притом государственников, с тем лишь различием, что австрийский монарх исходил из идеи абсолютизма, а якобинцы — из идеи народовластия, один, как «просвещенный деспот», осуществлял идею Вольтера, а те, наоборот, шли под знаменем Руссо. У императора существовала в голове целая система, согласно с которой должна была быть перестроена жизнь Австрии: ее исходным пунктом была идея всеведущего и всемогущего государства, всему дающего жизнь и движение, все устраивающего и все направляющего, над всем господствующего и все объединяющего, а конечной целью представлялось искоренение всяких зол, пользование каждым человеком его естественной свободой, народное благополучие. Церкви как политической силе, духовенству как сословию, держащему народ в духовном рабстве, остаткам феодализма как соперника государственности, дворянству, держащему народ в крепостной зависимости, как крестьянскую массу, этой системой объявлялась война, как объявлялась она во имя идеи единого и нераздельного государства и областному сепаратизму. Система эта, бывшая, в сущности, *возведением на степень идеи изначальной государственной практики в ее отношениях к католицизму, феодализму и провинциальной обособленности*, вызвала против себя оппозицию со стороны всего, что только могло опираться на историческое право, оппозицию всех консервативных сил, подобно тому, как это произошло во Франции в эпоху революции, но там эта оппозиция была сломлена, ибо движение шло снизу и выдвигало на сцену новые общественные классы, тогда как в Австрии инициатива движения принадлежала одному монарху с небольшим кругом лиц, ему сочувствовавших или на него влиявших: реформаторы надеялись исключительно на силу отвлеченного разума и на силу государственной власти, а общество в одних своих слоях было враждебно реформе, в других — относилось с пассивностью и инертностью, присущими мало развитым массам. Своей системе император действи-

тельно придал совершенно личный характер: «Государство, в котором я царствую, должно управляться по моим принципам», — писал Иосиф II, начертывая в одном письме свою правительственную программу. Его принципы были окрещены его именем, и его направление получило название «иозефинизма»¹. Можно вообще сказать, что этот «иозефинизм» был квинтэссенцией «просвещенного абсолютизма», соединением всего, что было в абсолютной монархии Нового времени противного средневековому католико-феодальному строю и местной автономии, со всем тем, в чем система естественного права становилась в разрез с правом историческим отдельных сословий и областей, но можно также сказать, что «иозефинизм» был лишь монархической формой того государственного принципа, республиканскую форму которого представлял собой французский революционный якобинизм.

Мы еще увидим, что во Франции революция вообще завершила процесс централизации, над которым работала, но которого не довела до конца старая монархия. Во Франции правительственной деятельности в этом отношении весьма много помогало национальное единство ее населения, но в Австрии монарху-централизатору пришлось иметь дело с разнородным национальным материалом, и одной из сил, о которые разбилась иозефинская централизация, *была национальная оппозиция главных частей, из которых складывалась габсбургская монархия*. Иосиф II хотел сразу совершить то, чего не могли сделать его предки в течение веков, несмотря на удачные подавления национальных восстаний. В единой монархии должен был господствовать единый язык. Иосифа II часто выставляют германизатором в духе националистических тенденций нашего времени. Это менее всего похоже на космополитический XVIII в., и тем не менее стремления Иосифа II нельзя иначе определить, как словом «германизация». Дело в том, однако, что в данном случае Иосиф II действовал не как немец, а как монарх, желавший, чтобы в его государстве господствовал один язык, которым «естественнее всего» было быть языку немецкому. Магьяры были недовольны заменой латинского языка немецким в правительственных учреждениях, и Иосиф II писал по этому случаю одному венгерскому магнату: «Каждое представление должно основываться на неопровержимых доводах разума. Немецкий язык есть общий язык моей империи. Я император Германии; владения, мне принадлежащие, суть лишь провинции, образующие единое целое с государством, во главе которого я стою. Если бы королевство венгерское было самым главным из моих владений, я не задумался бы ввести его язык и в другие земли». Иосифу II как представителю прежде всего идеи единой Австрии важно было,

¹ Мы здесь придаем этому выражению вообще более широкий смысл: об «иозефинизме» говорят главным образом по отношению к церковной политике Иосифа II.

чтобы в государственных делах употреблялся один язык, — немецкий ли, мадьярский, это был уже вопрос второстепенный. На практике, конечно, его требование влекло за собой германизацию разноплеменного состава монархии, хотя Иосиф только будил такими мерами дремавшее национальное чувство своих ненемецких подданных. В системе естественного права с ее отвлеченной идеей государства совсем не находилось места для национального элемента, а абсолютизм уже ранее выработал принцип религиозного единообразия, который легко было перенести из внутренней сферы совести во внешнюю сферу языка.

Австрийская монархия имела характер федерации некогда самостоятельных государств под скипетром одного и того же монарха, продолжавших сохранять известную степень автономии. Наибольшими правами пользовались Венгрия, привилегии которой подтвердила Мария-Терезия, и австрийские Нидерланды, т. е. Бельгия, присоединенная к монархии после войны за испанское наследство. Обособленное владение составляла также Чехия, лишившаяся своих прежних прав еще в эпоху Тридцатилетней войны и еще более подчиненная центральному правительству после войны за австрийское наследство. Иосиф II *поставил своей задачей, так сказать, привести все свои владения к одному знаменателю*. Венгрия для него не была особым государством. Он не только не захотел короноваться короной св. Стефана, но даже велел (1784) перевезти этот священный символ венгерской независимости в Вену, где корона должна была храниться вместе с другими фамильными драгоценностями. Официальным языком в землях короны св. Стефана был латинский; Иосиф II приказал заменить его немецким, дав на это срок лишь полтора года (с мая 1784 г. по ноябрь 1785 г.). Венгерский сейм перестал созываться, а затем были уничтожены и собрания отдельных комитатов, на которые распадалась Венгрия, причем страна была разделена на десять округов, во главе которых были поставлены особые начальники, как и в других частях монархии. Иосиф II не захотел также короноваться и чешской короной, которая еще возлагалась в Праге на голову Марии-Терезии, но тотчас вслед за этим была перевезена в Вену, — отчасти из опасения за судьбу этой короны в войне за австрийское наследство. Уже Мария-Терезия вводила немецкий язык в чешские присутственные места и школы как единственный официальный язык, а Иосиф II лишь продолжал это дело с особым рвением. При нем Прага лишилась названия резиденции (Residenzstadt), которое было сохранено за одной Веной. Права местного сейма были сокращены. Одним словом, Венгрия и Богемия должны были превратиться в простые австрийские провинции. Иосиф II прямо разделил свои владения на 13 губерний с подразделением на округа, во главе каждого из которых был поставлен особый начальник (Kreishauptmann). Эта система была дополнена реформой центральных учреждений, заключавшейся в том, что однородные учре-

ждения отдельных частей монархии сливались воедино¹. Кстати, нужно заметить, что мало-помалу государственный совет лишился при Иосифе II прежнего значения, т. к. император предпочитал или решать дела без советников, или совещаться лишь частным образом с отдельными членами государственного совета. В эту общую систему управления должны были быть втянуты и чересполосные австрийские Нидерланды. Генерал-губернаторство в этих провинциях было в руках сестры Иосифа II, Марии-Христины², и ее мужа, герцога Альберта Саксен-Тешенского, но император без их ведома решал важнейшие дела, касавшиеся провинций, через своего министра в Брюсселе, графа Бельджойозо. Реформы Иосифа II в области церковных и школьных дел сильно уже раздражили клерикальное население страны, но еще более возросло недовольство, когда в 1787 г. началась реформа внутреннего управления Нидерландов на централистически-бюрократических началах взамен старых принципов федерации и сословного самоуправления. Брабантские и гегенауские чины протестовали и отказались платить налоги; в стране произошло восстание, которое пришлось подавлять силой, причем Иосиф II объявил (1789) уничтожение старой бельгийской конституции, после чего «брабантская» революция весьма скоро слилась с революцией французской, начавшейся в том же году. Хотя осенью 1789 г. Иосиф II и взял назад свои указы, но в начале следующего года, незадолго до смерти императора, бельгийцы объявили себя независимыми «соединенными штатами» под властью суверенного конгресса. «Просвещенный абсолютизм» Иосифа II имел для этой части Нидерландов такие же результаты, как и католико-реакционный деспотизм Филиппа II Испанского для другой части — за десяти лет перед тем. В то же время происходило и враждебное Иосифу II движение в Венгрии: мадьярские вельможи прямо уже думали об отложении от Габсбургов и у Фридриха Вильгельма II Прусского просили короля и гарантии их конституции, и им уже указывался кандидат в лице Карла Августа Саксен-Веймарского, впрочем, отклонившего эту честь. Иосиф II на смертном одре взял назад все свои нововведения и в Венгрии (кроме веротерпимости и освобождения крестьян), хотя и не созвал сейма. Преемнику Иосифа II, его брату Леопольду II (1790—1792) пришлось умиротворять недовольные провинции отменой распоряжений своего предшественника³.

Есть известие, что Иосиф II сочинил для себя такую эпитафию: «Здесь покоится государь, намерения которого были чисты, но который был несчастлив во всех своих предприятиях». *«Иозефинизм» разбился о консервативную оппозицию*, наиболее резким образом проявившуюся в бельгий-

¹ D'Elvert. Zur oesterreichischen Verwaltungsgeschichte.

² Wolf A. Marie-Christine, Erzherzogin von Oesterreich.

³ Jäger. Kaiser Joseph II und Leopold II. Reform und Gegenreform; Huber. Die Politik Kaiser Josephs, beurtheilt von seinem Bruder Leopold.

ской революции и сепаратистических стремлениях Венгрии. Помогать разрушению дела Иосифа II для спасения целостности монархии довелось его брату Леопольду, который перед этим четверть века управлял Тосканой (1765—1790) сам в духе «просвещенного абсолютизма». Революционное движение в габсбургской монархии совпало по времени с началом Французской революции: одно было направлено против «просвещенного абсолютизма» во имя попиравшегося им исторического права, другая начиналась против абсолютизма клерикально-аристократического и во имя права естественного. Духовенство и дворянство стояли во главе революционного движения в монархии Иосифа II, Французская революция совершалась как раз против этих двух сословий, но в обоих случаях борьба велась за политическую свободу, приходилось ли отстаивать старую конституцию, как то было в Бельгии и Венгрии, или еще только завоевывать новую, как это было во Франции. Как бы там ни было, *консервативная оппозиция против «просвещенного абсолютизма» в австрийской монархии пошла под знаменем национальной независимости и политической свободы*. Иосиф II не только централизовал и бюрократизировал свое государство, но своими церковными и сословными реформами наносил удар католическому духовенству и феодальному дворянству.

В отношении к католической церкви Иосиф II был, во-первых, преемником и последователем тех правителей, которые защищали права светского государства от теократической и клерикальной опеки, во-вторых, одним из представителей философии XVIII в.: в нем соединялись *абсолютизм и Просвещение в их отрицательном отношении к традициям властолюбивого и нетерпимого католицизма*. В этой области Иосиф II отчасти продолжал политику своей матери, отчасти действовал наперекор ей: продолжал в тех мероприятиях, которые касались взаимных отношений между церковью и государством, действовал наперекор, сходя с дороги безусловного подавления иноверия. Преобразования Иосифа II в области церковных отношений, как мы увидим, были однородны с теми, какие производились Тануччи в Неаполе, Помбалем в Португалии, Арандой в Испании, и, в сущности, те же принципы лежали в основе «гражданского уложения о духовенстве» Французской революции. Уже в начале своего царствования он начертал программу своих отношений к католицизму. «Презирая, — по собственным его словам, — суеверие и саддукеев», он поставил себе задачу «освободить от них народ свой». Принципы монашества он рассматривал как «противные человеческому разуму» и смотрел на монахов как на самых опасных и бесполезных членов государства: у него они даже обозначались как «факиры». «В Риме, — писал он своему посланнику при курии, — сочтут, пожалуй, вмешательством в права Божии», если его предначертания «исполнятся без одобрения раба рабов Божиих», — и, пожалуй, будут жаловаться на падение Израиля, если «за-

кон запретит левитам присваивать себе монополию человеческого разума». Желая безраздельно господствовать в своем государстве, Иосиф II стремился к тому, чтобы ограничить права курии областью «догмата и души». Но и тут он не хотел предоставлять безусловной власти римской курии над совестью своих подданных. Уже под конец своего царствования (1787) он в письме к одному из своих сподвижников¹ объяснял, почему он снял с протестантских своих подданных «ярмо, тяготевшее над ними»: «В начале своего царствования я решился украсить корону свою народной любовью... и издал законы веротерпимости... Пусть в моих владениях на будущее время фанатизм будет известен лишь по питаемому мной к нему презрению... Никто впредь не будет принуждаем к исповеданию государственного Евангелия, раз оно противоречит его убеждению... Веротерпимость рождена благотворным просвещением, озаряющим Европу, в основе которого лежит философия, а виновниками являются великие люди. Она ясно доказывает, что ум человеческий идет вперед, пролагая смело себе через царство суеверия дорогу, ... ставшую к счастью для человечества и путем монархов».

Такие принципы Иосифа II и первые же его мероприятия в духе этих принципов сильно встревожили духовенство габсбургских владений и самое римскую курию. Первое думало подействовать на императора просьбами, представлениями и увещаниями, вторая также сначала выступила было на путь увещания, но когда Кауниц на бреве папы Пия VI, поддержанное представлениями папского нунция, отвечал весьма решительно в том смысле, что государство никогда не поступится своими правами в делах чисто человеческого происхождения, Пий VI решился даже сам приехать в Вену, где его приняли с почетом, но не сделали ему ни малейшей уступки. Это было в 1782 г., а в следующем, 1783 г. Иосиф II посетил папу в Риме уже прямо с целью войти с ним в соглашение по некоторым частным вопросам, в которых курия должна была уступить настойчивому императору. Посещение Вены Пием VI дало пищу для сатирического изображения папского пребывания при австрийском дворе в многочисленных памфлетах, выходивших из венских типографий. Враждебные клиру реформы продолжались, и было даже опасение, что император, не изменяя догмата и обряда, отторгнется от власти папы. Во всяком случае *во влиятельном и могущественном клире Иосиф II создал для себя опасного врага.*

Эдикт о веротерпимости, изданный Иосифом II, равным образом не мог снискать ему сочувствия в клерикалах. Нужно заметить, что Иосиф II в своем эдикте дал гораздо менее, чем, по-видимому, считал нужным в принципе: перед изданием этого указа он писал Екатерине II, что, к сожалению, не может выполнить «все то, что казалось ему справедливым и разумным».

¹ Г. ван Свитену, о котором см. соч. W. Müller'a.

Мы еще увидим, что в законодательстве своем он был далек от религиозной свободы, т. к. терпимость распространялась им лишь на протестантизм и на православие, да и то последователи этих двух исповеданий не могли пользоваться такой же свободой вероисповедания, как католики, что было причиной недовольства и с их стороны. Государство объявляло, что оно будет терпеть такие-то и такие-то исповедания, но оно не объявляло свободы совести. В сущности, Иосиф II не умел возвыситься до истинного понимания тех следствий, которые должны были вытекать из его либеральных принципов, поэтому он позволил себе вмешаться во внутреннюю жизнь самой католической церкви, задумав реформировать своей властью ее культ, ее обрядовую сторону, чем дал только лишнее оружие против себя в руки своих клерикальных врагов и поселил против своих мер неудовольствие и в народной массе, дорожившей внешними формами богослужения.

Мы здесь коснулись религиозной политики Иосифа II лишь настолько, насколько это было нужно для объяснения клерикальной оппозиции, которую он против себя вызвал. То же мы сделаем и по отношению к *оппозиции аристократической, возбужденной другой категорией реформ Иосифа II*. Император был противником сословных привилегий и стремился к установлению гражданского равенства среди своих подданных, главным шагом к чему должна была служить отмена крепостничества. Крестьяне были разочарованы той свободой, какую им давало законодательство Иосифа II, но особенно негодовало дворянство, недовольное еще тем, что император как последователь физиократического учения стремился перевести все налоги на землю, уравнивать по отношению к податной обязанности все сословия. Особенно враждебно относилось к гражданским реформам Иосифа II дворянство венгерское, в «вечном рабстве» у которого по сеймовому постановлению 1514 г. находилась крестьянская масса. Дворяне боялись только народного восстания, а вспышки неудовольствия среди сельских жителей встречались время от времени в Габсбургской монархии: в Трансильвании возмутилось сельское население против своих господ, крестьяне в самой Венгрии волновались, и дворянство должно было на время смириться, пока в конце царствования Иосифа II и внешние обстоятельства, и собственные ошибки император не позволили дворянской оппозиции снова поднять голову.

Причина неудачи, постигшей реформаторскую деятельность Иосифа II, лежала, впрочем, не в одной оппозиции консервативных элементов общества, но и в *особенностях его собственной политики*. Император сам создавал себе затруднения и в двояком отношении. Прежде всего, в общем, его преобразования были плохо обдуманы, не соединены в ясную и прочную систему, приводились в исполнение в форме частных мероприятий, которые могли находиться в противоречии между собой, в несоответствии с практическими условиями или оказывались трудно осуществимы-

ми, так что действительно Иосиф II нередко делал второй шаг, не сделав первого. Беря слишком много на личную инициативу, слишком мало, наоборот, заботясь о законодательной выработке своих мероприятий, делая потому нередко ошибки и нуждаясь затем в поправках и переделках раз сделанного, не всегда понимая хорошо реальные отношения, подлежащие реформированию, император вдобавок не имел достаточного количества исполнителей своей воли, которые понимали бы его желания и умели бы осуществлять их на деле. Оскорбив национальное чувство и исторические традиции отдельных частей своей монархии, вооружив против себя представителей католико-феодалов, *он не сумел создать себе прочную поддержку в народной массе*, в чем виноваты были многие его же собственные ошибки, ловко эксплуатировавшиеся его врагами.

С другой стороны, грандиозная внутренняя реформа требовала внешнего мира, а *Иосиф II в международной политике носился с широкими планами*, требовавшими напряжения всех сил государства¹. Еще при жизни своей матери, после первого польского раздела, давшего Австрии Галицию², и после присоединения Буковины от Турции Иосиф II стремился увеличить свои владения «баварским наследством», открывшемся со смертью последнего отпрыска виттельсбахского дома (курфюрста Максимилиана-Иосифа), но в этом ему помешал Фридрих II: начавшаяся было война скоро окончилась Тешенским миром, по которому Австрия приобрела т. н. Innviertel (1779). В 1785 г. Иосиф II задумал променять Бельгию курфюрсту Пфальцскому, к которому перешло «баварское наследство», на это последнее, но ему опять помешал Фридрих II своим «союзом князей». Другой план Иосифа II состоял в том, чтобы в союзе с Екатериной II, с которой он виделся во время ее новороссийского путешествия, изгнать турок из Европы и поделить между собой их владения. Поэтому он вмешался во вторую турецкую войну Екатерины II, но как раз во время этой войны, на которую ушло немало сил и средств, восстала Бельгия, да и Венгрия, пользуясь затруднениями императора, стала оказывать неповиновение.

Тяжелое наследство осталось после Иосифа II его брату Леопольду II, но ко всем старым затруднениям присоединилось новое: преемнику Иосифа II пришлось выступить в роли противника революционной Франции.

¹ Сочинения по внешней политике Иосифа II, кроме других, указывавшихся раньше (польские разделы, союз князей и т.п.): *Reimann*. Gesch. des bayerischen Erbfolgekrieges; *Tratschewsky* A. La France et l'Allemagne sous Louis XVI; *Beer*. Die orientalische Politik Oesterreichs seit dem Jahre 1774; *Sorel* A. La question d'Orient au XVIII siècle; *Wolf* G. Oesterreich und Preussen 1780—1790.

² Литературу по истории польских земель под австрийским владычеством см. в «Истории Польши» М. Бобржинского (т. II).

XXVI. Реформы в области администрации, финансов, суда и умственной жизни

«Государственный интерес» и «общее благо» в реформах XVIII в. Законодательство и администрация. — Экономическая политика и финансы. — Право и судебная часть. — Народное образование и печать. — Благотворительные учреждения. — Несколько заключительных замечаний.

Общий очерк «просвещенного абсолютизма» мы закончим сравнительным обзором его реформ, представив последние в известной системе. Нами уже не раз указывалось на то, что *история «просвещенного абсолютизма» есть не что иное, как один из моментов в развитии на западе Европы государственного начала*. Многие правительственные реформы этой эпохи имели своей целью укрепление государства и таким образом вызывались и оправдывались государственной необходимостью. Государственные соображения (*raison d'état*) стояли всегда и во всем на первом плане у Фридриха II, задававшего тон почти всей тогдашней эпохе. Прусское бюрократическое управление, прусская армия, прусские финансы были предметом зависти и образцом для подражания, и сама консервативная Австрия при воспитанной в старине Марии-Терезии выступила на путь преобразований именно потому, что Австрии это нужно было для собственного ее спасения. В другом месте¹ мы старались доказать, что из соображений подобного же порядка исходили и первые польские реформаторы XVIII в.: Речь Посполитая приходила в упадок, утрачивала свою самостоятельность, делалась добычей соседей, и вот нужны были особые меры для того, чтобы укрепить и тем спасти это государство. Только с течением времени польские преобразователи оставили исключительную точку зрения «государственного интереса», чтобы поставить реформам, которые ими замыслились, и *другую цель, независимую от укрепления государства, а именно «общее благо» в непосредственном смысле народного благосостояния*, важного самого по себе, не в качестве простой основы государственного могущества, т. е. действительное благополучие входящих в состав государства людей. И вообще в эту эпоху везде, где проводились преобразования, последние имели целью, кроме укрепления государства, стоявшего, впрочем, на первом плане, и общее благосостояние: недаром новые культурные и социальные идеи благоприятствовали во имя «естественного права» и челове-

¹ Кареев Н. И. Польские реформы XVIII века.

колюбия — и свободе отдельной личности, и улучшению быта народных масс. Отсюда две категории реформ XVIII в.: одни совершаются во имя государства, другие — во имя человека; одни совершаются в области администрации финансов, войска и т. п., другие — во всех тех сферах, где затрагивается непосредственно жизнь личности и общества с ее интересами и правами. Государство Нового времени выросло в борьбе с католицизмом и феодализмом: в истории этой борьбы эпоха «просвещенного абсолютизма» также составляет отдельный момент, но вместе с тем абсолютизм борется со старыми, отжившими силами не только ради «государственного интереса», но и во имя «общего блага», понимаемого в смысле личной свободы и народного благосостояния. Рассмотрев реформы, которыми государство укрепляло себя и осуществляло идею общего блага, мы остановимся несколько подробнее на церковных и сословных реформах, посредством которых «просвещенный абсолютизм» содействовал разложению католико-феодалных отношений, завещанных новой Европе средневековой ее историей.

В области реформ, имевших главным образом государственное значение, обращают на себя внимание мероприятия, касавшиеся администрации, финансов и армии. Весьма любопытно то обстоятельство, что «просвещенный абсолютизм» *слишком мало заботился о правильной организации законодательной деятельности государства*. Главную роль в последней играли личный почин и личная воля монарха или, как это было в некоторых странах, первенствующего министра. Только австрийский государственный совет, организованный в середине царствования Марии-Терезии, играл роль законодательного учреждения в эту эпоху преобразований, хотя Иосиф II в иных случаях обходился и без его помощи. *Гораздо более обращено было внимание на учреждения административные*, по отношению к которым главные преобразования имели целью бюрократическую централизацию, все более и более уничтожавшую остатки сословного самоуправления. Наиболее важной задачей чиновничьего управления ставилось содействие тем мерам правительства, которые имели в виду увеличение государственного дохода, причем в расходе одно из первых мест занимало содержание войска. Далее государство стремилось и к подъему производительных сил — главным образом в духе меркантилистической системы, хотя уже начиналось на экономической политике эпохи сказываться влияние и физиократии, особыми сторонниками которой были маркграф баденский Карл-Фридрих¹ и Иосиф II. Не забудем, что физиократия сама возникла лишь в эту эпоху и потому не могла еще значительно повлиять

¹ *Kleinschmidt A.* Karl-Friedrich von Baden; *Erdmannsdörfer.* Politische Korrespondenz Karl-Friedrichs von Baden. Особенно новейшее издание: *Knies K.* Karl-Friedrichs von Baden brieflicher Verkehr mit Mirabeau und Dupont, bearb. und angeleitet durch einen Vortrag zur Vorgeschichte der ersten französischen Revolution und der Physiocratie.

на деятельность государственных людей, которые воспитались в идеях меркантилизма. Особенно же важно то обстоятельство, что физиократия была проповедью экономической свободы, тогда как государство XVIII в. стремилось к тому, чтобы удержать за собой заведование всеми отраслями народной жизни, и весьма далеко было от того, чтобы отказаться от вмешательства в торговлю, промышленность и земледелие. В эпоху «просвещенного абсолютизма» *государство усиленно содействовало и покровительствовало производительной деятельности народа, но в то же время ее опекало и своей силой насаждало новые промыслы*, так что многие страны в это время переживали ту же эпоху в своей индустриальной истории, какая была во Франции за сто лет перед тем, т. е. при Кольбере. Эта правительственная деятельность весьма часто имела в виду преимущественно фискальные интересы, а не интересы производителей и потребителей: сознавая, что источником государственных доходов является народное хозяйство, правительства и заботились об улучшении последнего. Физиократическая литература должна была произвести впечатление уже по одному тому, что обращала особое внимание на эту сторону дела. Необходимо прибавить, что правительства этой эпохи не были односторонне расположены в пользу одной торговли и обрабатывающей промышленности, — обращалось внимание и на сельское хозяйство, и вот, между прочим, чисто экономические или финансовые соображения, в чем не может быть никакого сомнения, заставляли правительства позаботиться о том, чтобы смягчить, по крайней мере, феодальные права и крепостничество, задерживавшие экономическое развитие деревень. *Социальный феодализм оказывался несовместимым с правильным удовлетворением материальных нужд государства*, а нужды эти росли с развитием бюрократического управления и увеличением военных сил, не говоря о войнах эпохи, поглотивших большие средства. Обратив большое внимание на увеличение производительных сил в интересах государства, в тех же интересах тогдашнего правительства должны были заняться и улучшением государственного хозяйства, изыскивая новые источники налогов, придумывая лучшие способы их распределения и взимания, заботясь об упорядочении казенных расходов и т. п. В этой области народного и государственного хозяйства главным образцом для подражания была прусская система: Фридриху II во второй половине его царствования (1763—1786) предстояла трудная задача залечить раны, нанесенные Пруссии Семилетней войной, и он действительно исполнил эту задачу с большим умением. На его системе легко познакомиться и с положительными, и с отрицательными сторонами той экономической политики, родоначальником которой считают Кольбера. Направляя всю свою деятельность к тому, чтобы накопить денег в казне (Фридрих II оставил после себя 70 миллионов талеров) и искусственно создать несуществовавшие раньше отрасли промышленности, не всегда

нужные и даже возможные в такой стране, как Пруссия (например, шелководство), Фридрих II доводил платежные силы населения до крайнего напряжения, жертвуя вместе с тем частыми интересами исключительным надобностям казны. Косвенные налоги на самые необходимые предметы доходили до чудовищных размеров, сокращая потребление, например, соли, пива, кофе и т. п. Монополии порождали контрабанду и шпионство. Особенно ненавистна была так называемая «gégie», или «генеральная администрация акцизов и пошлин», организованная Фридрихом II вопреки мнению «генеральной директории» и отданная в заведование французам: это учреждение, к которому пристроились разного рода проходимцы, в самом деле увеличило королевские доходы, но к крайнему отягощению и неудовольствию народа, подвергавшегося всякого рода поборам, притеснениям и т. п. Любопытно, что, организуя одновременно (1766) и почтовое ведомство на новых началах, и тут Фридрих II на первый план выдвинул французов. Для возникавшей школы физиократии экономическая политика прусского короля доставляла немало поводов высказываться неодобрительно, но практические деятели ей подражали, а к их числу можно отнести с большим или меньшим правом всех представителей «просвещенного абсолютизма».

Другой заботой «просвещенного абсолютизма» было *улучшение правосудия, причем уже прямо имелись в виду частные интересы подданных*, страдавших от дурных и устарелых законов, от их бессистемности, от плохих судебных порядков. В Пруссии правосудие перед вступлением Фридриха II на престол представляло из себя самую отсталую часть управления. Одной из первых мер нового царствования была отмена пытки в уголовном процессе. Первым условием для общей реформы было добиться привилегии de non appellando, которой из всех прусских земель пользовалось только одно Бранденбургское курфюршество: освободив все владения от подчинения имперскому судоустройству, Фридрих II только и мог начать свои преобразования. Король в принципе стоял за полную независимость суда от администрации и прямо в противоположность идеям и практикам своего отца находил, что судьи «не должны обращать внимания на рескрипты, хотя бы они выходили из королевского кабинета». Реформированные суды прониклись этой идеей, и прусская юстиция справедливо стала считаться образцовой по независимости и добросовестности судей. Известен анекдот о мельнике, не желавшем снести свою мельницу, чего требовал король, которому она мешала в его резиденции Сансуси; упрямый мельник пригрозил жалобой в суд, и король уступил. «Il y a des juges à Berlin», — сказал он, узнав о смелости мельника. Но история с другим мельником, Арнольдом, показывает, как властный нрав Фридриха II плохо мирился с его собственной доктриной: королю показалось, что высший суд несправедливо

решил дело этого Арнольда, и вот он отменяет приговор и сажает судей в крепость. В свое время эта история наделала немало шума¹. В деле организации судебной части Фридриху II, как мы видели, помогал Кокцей, положивший начало также выработке материального и процессуального права. Работу над этим делом продолжали фон Кармер (с 1779 г. канцлер) и особенно помощник его Сварец², но она была, как известно, окончена лишь в следующее царствование, когда и была опубликована (1794) под названием «Allgemeines Landrecht». Некоторые прусские писатели ставили ее впоследствии выше «гражданского кодекса», созданного Французской революцией, но если между обоими есть сродство по влиянию на них идей естественного права, то не нужно забывать, что прусский кодекс все-таки еще освещал общественное неравенство, от которого не осталось и следа во французском своде.

Судебные реформы происходили и в Австрии еще при Марии-Терезии. В 1749 г. она выделила судебную часть в особое ведомство (die oberste Justizstelle), независимое от общей администрации. В 1753 г. была учреждена комиссия для кодификации общеавстрийского гражданского и уголовного права (Kompilationskommission), выработавшая крайне несовершенный «Codex Theresianus» (1767), который потребовал дальнейших кодификационных работ по мысли Иосифа II. Рядом с этой работой следует поставить уголовный кодекс (1768), действовавший под названием «Nemesis Theresiana» или «Constitutio criminalis Theresiana» до 1788 г. С изменениями, внесенными в него в 1776 г. (отмена пытки, ограничение смертной казни), Иосиф II, потерпевший неудачу в реформе имперского суда, в Австрии продолжал дело, начатое матерью, поставив своей целью создать по возможности независимый и для всех равный суд. Не дожидаясь общей кодификации, он издал частные уставы (брачное право по «Ehepatent» 1783 г., наследственное по «Erbfolgeordnung» 1786 г., что вместе составило первую часть «Josephmischen Gesetzbuchs», общее уложение о наказаниях 1787 г. и общий судебный устав 1788 г.), но кодификация в Австрии завершилась лишь в 1811 г., когда появился «Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch». *Отделение суда от администрации, независимость судей, кодификация гражданского и уголовного права, улучшение законов в духе гуманных идей* — таковы были задачи, которые поставил «просвещенный абсолютизм» практической юриспруденции, и нельзя не признать, что лучшее судоустройство и судопроизводство имели для общества и воспитательное значение. Судебные реформы предпринимались и в других странах. Отметим здесь, например, что Помбаль в Португалии отделил суд от администрации и издал свод законов, который в свое время был предметом удивле-

¹ Она рассказывается во всех подробных биографиях Фридриха II.

² О чем есть сочинение Stölzel'я.

ния юристов. Тануччи тоже помышлял о кодификации. Везде, кроме того, государственному суду *приходилось еще конкурировать с остатками суда феодального*, но начало государственности повсюду утверждалось в области суда. Наконец, законодательство проникалось все большим и большим уважением к человеческой личности: независимость суда была все-таки одной из гарантий, а уничтожение пытки, смягчение уголовных наказаний, ограничение случаев смертной казни (и намерение Иосифа II ее совсем прекратить) представляли собой результат действия гуманных начал в области уголовного права в духе теоретических требований известного Беккарии.

Государство в эпоху «просвещенного абсолютизма» берет на себя и задачу народного образования, что и понятно в век просветительства. В католических странах к общему сознанию важности этого дела присоединились еще две причины — стремление государственной власти ослабить влияние духовенства на народ посредством секуляризации школы и необходимость заменить государственными училищами иезуитские учреждения после уничтожения ордена папой. Мы видели, какое важное значение приписывал народной школе Фридрих II. К сожалению, на практике его идея осуществлялась плохо. Закон об обязательном посещении начальной школы оставался мертвой буквой; учителя были мало подготовленные, часто ими были отставные унтер-офицеры, которым учительство заменяло пенсию; Фридрих II даже скупился выдавать деньги на дело образования. В Пруссии школьное дело еще не выделилось в особое ведомство народного просвещения (как это было уже введено в соседней Польше, где возникла особая «эдукационная комиссия»), и роль министра народного просвещения играл министр юстиции фон Цедлиц¹. Пожалуй, гораздо больше сделано было в Австрии Марией-Терезией и Иосифом II. Здесь главным деятелем в этой сфере в оба царствования был Гергард ван Свитен. Мария-Терезия реформировала гимназию, создала высшие школы (Терезианум, восточную и «рыцарскую» академию) и положила начало образованию простого народа (*Schulordnung*, 1774), доведя общее число школ до 6 тысяч. При Иосифе II существовало особое учебное ведомство (*Studienhofkommission*), которому вверена была и цензура книг. Особенно Иосиф II заботился о развитии народной школы, для которой он установил обязательное обучение. Относительно высшего образования он держался утилитарной точки зрения и видел в университетах главным образом высшие школы для подготовки чиновников². Из других деятелей эпохи особого внимания в области народного просвещения заслуживает Помбаль, который своими низшими, средними и высшими училищами с новыми предметами и методами преподава-

¹ *Rethwisch*. Der Staatsminister v. Zedlitz und Preussens höheres Schulwesen im Zeitalter Friedrichs des Grossen.

² *Wolf G.* Das Unterrichtswesen in Oesterreich unter Joseph II.

ния, с многочисленным штатом хорошо подготовленных преподавателей, с вновь написанными учебниками и т. п. хотел превзойти старые иезуитские школы. Правда, все это было только начало более широкого развития западноевропейского школьного дела, только в XIX в. ставшего на ноги, но уже самое заявление о государственной важности народного образования было дело новое, указывавшее правительствам на новую задачу — содействовать просвещению общества и народа. Культурное значение указанных начинаний не подлежит сомнению.

Заговорив о школе, нельзя не коснуться литературы и прессы. Если исключить отношение правителей XVIII в. к французским писателям, то нельзя будет говорить об их меценатстве в духе Людовика XIV, а с другой стороны, они все-таки предоставляли больше свободы печати, чем то вообще бывало прежде с самого начала абсолютизма, хотя, с другой стороны, нередко в данном случае — как то можно сказать и о Фридрихе II, и об Иосифе II — относительная свобода, какой пользовалась печать, была результатом не признания ее как одного из прав личности, а того презрительного отношения к прессе, какое являлось у государей, чувствовавших свою силу и видевших все бессилие прессы в странах, где общественное мнение не играло еще такой роли, какую играло в Англии и начинало играть во Франции. Во всяком случае *государство снимало клерикальную опеку с печати*: светская цензура была не так строга, как духовная, и давала более простора свободному выражению мысли, особенно, когда дело шло не о политических вопросах. В католических странах меры государства, касавшиеся духовной цензуры, имели весьма важное значение, входя в общую систему борьбы с клиром. Из всех правительственных мероприятий эпохи, направленных на положение печати, наиболее либеральным был цензурный устав (1781) Иосифа II, постоянно говорившего об ограничении цензурных стеснений, несмотря на то, что введением относительной свободы печати в Австрии воспользовались враги императора для того, чтобы напасть на его реформы и выставить их в ненавистном свете. В других государствах цензура, наоборот, была очень строга — особенно по отношению к католическому духовенству, раз оно рассчитывало вести путем печати борьбу с государственной властью. При низком культурном уровне общества в странах, где католическая реакция подавила всякое свободное умственное движение, снятие с печати прежних ограничений не могло, конечно, сразу вывести ее на новую дорогу, и, например, в Австрии при Иосифе II новыми условиями воспользовались не столько для издания серьезных трудов, сколько для того, чтобы наводнить книжный рынок всякого рода пустяками.

Реформы в области администрации, финансов, народного хозяйства, суда, школьного дела и внешнего положения печати имеют немаловажное значение в истории эпохи: они показывают, что государственная власть

почувствовала серьезную необходимость изменить дотоле существовавшая отношения. Нельзя, однако, сказать, чтобы все ее начинания были одинаково энергичны и успешны: на то были многочисленные причины. Отметим наиболее важные из них. Во-первых, не всегда принципиальная сторона реформ вполне отчетливо и ясно представлялась реформаторам: многое, например, что имеет не одно политическое, но и культурное значение, рассматривалось с односторонне-государственной точки зрения. Кроме того, и техническая сторона преобразований оказывалась неудовлетворительной: специальные дисциплины, которые существуют в наше время как предметы научного исследования и университетского преподавания, или вовсе тогда не существовали, или только что зарождались, а что касается до практического опыта, то нередко и его не было, и потому часто приходилось, пролагая новые пути, идти, так сказать, ощупью, не говоря уже о том, что вообще законодательная подготовка реформ в большинстве случаев была крайне неудовлетворительна. Наконец, у государства не всегда были в достаточном количестве материальные средства, необходимые при всяком преобразовании, особенно, если были другие нужды, казавшиеся более настоятельными, а притом и исполнители не всегда были на высоте своего призвания, лучших же взять было негде: так и случалось нередко, что новизна оставалась только на бумаге, на практике же продолжала господствовать старина, всячески мешавшая притом обновлению преобразуемых порядков. Некоторые из этих неблагоприятных обстоятельств оказывали свое влияние и на те реформы, которые совершались во Франции в эпоху революции. Когда рассматриваются какие бы то ни было преобразования с исторической точки зрения, следует принимать в расчет не только то, что хотели и чего не хотели сделать люди, и не только то, что им подобало бы делать, но особенно условия времени, т. е. то, что они могли и чего не могли. Во всяком случае, имея в виду намерения преобразователей, мы должны сказать, что их целью было главным образом все-таки *одно укрепление государства без соответственного развития внутренней свободы.*

XXVII. Государственная власть и католическая церковь во второй половине XVIII в.¹

Значение эпохи «просвещенного абсолютизма» в истории взаимных отношений церкви и государства на западе Европы. — Изгнание иезуитов из разных стран и уничтожение ордена папой. — Международное давление на папство. — Враждебные отношения между церковью и государством. — Церковные реформы в южно-романских странах. — Церковная политика Марии-Терезии и Леопольда Тосканского. — Теоретическая разработка церковно-политических вопросов. — Церковные реформы Иосифа II.

Одной из наиболее видных сторон в деятельности католических правительств эпохи была их борьба с римской курией и местным клиром. В протестантских государствах не существовало тех отношений, которые обострились в католических странах около середины XVIII в. В целой половине Западной Европы Реформация уничтожила всякий повод к тому, что должно было произойти в другой ее половине: в протестантских странах государи освободились от иноземной власти пап, подчинили себе местное духовенство, лишили его прежней силы, отобрав у него его земли, тогда как в католических государствах по-прежнему продолжали существовать отношения, которыми светская власть сильно тяготилась уже с исхода Средних веков. Мало того, католическая реакция создала особый орган, получивший большое политическое и культурное значение, — орден иезуитов, подчинивший своему влиянию и государственную власть, и духовную жизнь общества. Во второй половине XVIII в. католические государства в своей церковной политике выступают на новую дорогу — *устранения всего того, что было результатом католической реакции, и даже приобретения многого из того, что протестантским странам дано было Реформацией*. В первом отношении особого внимания заслуживает изгнание иезуитов из отдельных католических стран, за которым последовало по настоянию католических правительств и уничтожение самого ордена, во

¹ См. некоторые из названных общих и специальных сочинений. По истории уничтожения ордена иезуитов, кроме некоторых общих историй ордена, где говорится и об этом, см. старое сочинение: *De Saint-Priest. Histoire de la chute des Jésuites; Crétineau-Joly. Clément XIV et les Jésuites; Theiner. Geschichte des Pontificats Clemens XIV; Masson Fr. Le cardinal de Bernis*. Кроме того, конечно, история уничтожения ордена иезуитов рассказывается и в общих трудах по истории XVII в. (между прочим в не раз указывавшемся труде Онкена «О веке Фридриха Великого»).

втором же отношении важны те мероприятия указанных правительств, которые имели целью оградить государство от чрезмерной власти курии, подчинить клир светской власти и сломить его культурно-социальное могущество. В длинной истории западноевропейских отношений между церковью и государством эпоха «просвещенного абсолютизма» имеет свое особое значение: антагонизм между духовной и светской властью был явлением старым, хотя особенно обострялся он только по временам, а в новой истории (исключая новейшую) *двумя эпохами наибольшего обострения была эпоха религиозной Реформации и эпоха «просвещенного абсолютизма»*. В XVI в. определение отношений между церковью и государством на новых началах сопровождалось преобразованиями в самой религии, чего не было в XVIII в., когда внутреннее существо веры не затрагивалось само по себе, а лишь изменялись внешние отношения. Последнее происходило под соединенным действием двух факторов — абсолютизма, утверждавшего государственное начало, и Просвещения, враждебного теократии и клерикализму. Общий дух эпохи сказался в этом отношении на судьбе ордена иезуитов.

«Общество Иисуса» было главным продуктом и главным орудием католической реакции с середины XVI в. Орден противодействовал не одному протестантизму, но и вообще духу Нового времени, работая в целях восстановления средневековой церковной опеки над государством и образованием. Иезуиты создали громадную международную организацию, игравшую весьма видную роль в политической и культурной истории Запада, — организацию, имевшую характер международного тайного общества, громадного заговора против самостоятельности государства и общества: члены ордена действовали на них в качестве духовников и вообще руководителей королей, в качестве проповедников, преподавателей, ученых и писателей. В каждой католической стране орден был как бы государством в государстве, сосредоточивая в то же время в своих руках и школьное дело. *В течение нескольких лет в третьей четверти XVIII в. орден терпит поражение за поражением*: в 1759 г. иезуиты изгоняются из Португалии, и имущества их конфискуются; в 1764 г. та же судьба постигает иезуитов французских; в 1767—1768 гг. примеру двух стран, уничтоживших у себя орден, следуют Испания, Неаполь, Парма; в Австрии дело не дошло до этого по той лишь причине, что здесь тогда правил не Иосиф II; впрочем, и Мария Терезия вынуждена впоследствии была поступить так же, когда в 1773 г. сам папа Климент XIV под давлением со стороны католических дворов совсем уничтожил орден. От изгнания иезуитов из Португалии до уничтожения ордена папой прошло полтора десятка лет, и это были, как нам известно, годы, когда просветительная литература приняла наиболее боевой характер, хотя некоторые из видных деятелей литературы и не одобряли приемов, употреблявшихся светской властью в борьбе с иезуитами.

Португалия была одной из первых стран, давших приют иезуитам, и здесь они получили особую силу. Между прочим, в XVIII в. они пользовались большим влиянием на Иоанна V. Португальские иезуиты занимали высшие должности в государстве, сделали из народного образования свою монополию, стояли во главе промышленных и коммерческих предприятий и даже владели целой страной в Новом Свете (Парагваем и Уругваем), лишь номинально зависевшей от лиссабонского правительства. Между этим государством в государстве и министром-реформатором Помбалем возникла борьба: министр стремился к поднятию государственной власти и освобождению светского общества от клерикальной опеки, а это было противно интересам иезуитов. Воспользовавшись впечатлением, произведенным на суеверный народ страшным лиссабонским землетрясением 1755 г., иезуиты стали агитировать против Помбаля и даже возмущать народ. Министр ответил на эти козни удалением от двора иезуитских духовников короля, королевы и принцев с запрещением им возвращаться назад (1757), а португальский посланник от курии предъявил папе доказательства того, что члены ордена занимаются политическими интригами, контрабандой, ростовщичеством, торговлей рабами в колониях. Папа Бенедикт XIV велел кардиналу Сальданые произвести ревизию и реформу ордена в португальских владениях, и иезуитам было запрещено заниматься торговлей (1758). Иезуиты, однако, ловко обошли преемника названного папы (Климента XIII), который в угоду им потребовал нового следствия по делу, возбужденному Помбалем. В том же году на жизнь португальского короля было произведено покушение. Все враги министра поплатились, будучи привлечены к обвинению в заговоре против правительства. Начался настоящий террор — пытки, казни, конфискации, заключения в тюрьму, и между заподозренными оказалось немало иезуитов. Принимались меры и против всего ордена. Послав Клименту XIII просьбу нарядить следствие над иезуитами и подвергнув жизнь и деятельность всех членов ордена в Португалии крайним стеснениям, Помбаль готовился к нанесению удара. Во всех странах Европы, где только были иезуиты, стали писаться и издаваться памфлеты против португальского министра, а кардиналы и епископы обратились к папе с просьбой, чтобы он заступился за орден. Узнав, что ответ папы был составлен не особенно уступчиво, Помбаль посоветовал Иосифу Эммануилу не принимать его, и затем издал указ, по которому все португальские иезуиты были схвачены, посажены на корабли и отправлены в Чивитта-Веккию, гавань Рима, кроме тех, которые содержались под арестом как заговорщики и их пособники. Хотя Иосиф Эммануил и был ревностный католик, Помбаль сумел застрашать его иезуитскими кознями. Дело дошло до разрыва с Римом, до прекращения дипломатических сношений, до высылки из Папской области португальских подданных и из Португалии — папских, что сопровождалось и литературной полемикой с

обеих сторон, так как Помбаль стремился оправдать свою крутую меру и перед общественным мнением (1760). В 1761 г. была совершена в Португалии конфискация всех орденских движимых и недвижимых имуществ, и в том же году Помбаль не остановился перед сожжением — по приговору инквизиции — восьмидесятилетнего патера Малагриды, замешанного в заговоре и обвиненного в ереси. Во время этой борьбы Помбаль действовал еще изданием новых законов против курии и клира и террором против врагов своей политики. Буллой «*Apostolicum pascendi munus*» Климент XIII взял орден под свое покровительство (1765), но булла не была принята в Португалии, правительство которой уже тогда вступило с Францией, а потом и с Испанией, в переговоры относительно полного уничтожения ордена, чего решено было добиться от папы: обе страны уже следовали — каждая сама по себе — примеру Португалии. Между тем и среди самого португальского духовенства возникло движение в пользу большей самостоятельности от Рима. В 1768 г. по инициативе Помбаля посланники бургонских дворов, поддержанные военными демонстрациями своих правительств, настойчиво потребовали у Климента XIII уничтожения ордена.

В это время иезуиты были уже изгнаны и из других стран. Дело происходило таким образом. Французский иезуит Лавалетт, ведший обширную торговлю, занял в одном марсельском торговом доме громадную сумму денег, которую обязался уплатить колониальными товарами, но когда его груз был во время войны захвачен англичанами, орден, в пользу которого Лавалетт вел свои предприятия, отказался уплатить долг и, рассчитывая на свои связи при дворе, решился сопротивляться приговору суда, состоявшемуся в пользу истцов. При Людовике XV был духовником один иезуит, Перюссо, возбуждивший ненависть к королевской метresse г-же Помпадур своим требованием, чтобы она была удалена от двора, а она имела весьма сильное влияние на короля, и даже благодаря ей в то время первенствующий пост во французском правительстве занимал герцог Шуазель, сторонник философов эпохи и особенный поклонник Вольтера. Общественное мнение во Франции также было настроено враждебно к иезуитам. Парламент, куда был перенесен иск против Лавалетта, давно находился по своему янсенистскому духу во вражде с орденом, и приговор, им постановленный в пользу кредиторов Лавалетта, публично был встречен с восторгом. Мало того: парламент потребовал у иезуитов уставы их ордена, назначил комиссию для их рассмотрения, по докладу которой объявил о несовместимости их с государственными законами и признал поведение иезуитов безнравственным. На помощь парламенту пришла пресса: с ее стороны на иезуитов посыпались разные обвинения и обличения. Даже лица, относившиеся неввраждебно к ордену, находили нужным его реформировать. Наконец Людовик XV уступил общему желанию и перестал покровительствовать иезуитам. Сначала он потребовал от генерала ордена

Риччи, чтобы он назначил для Франции особого наместника и согласился на некоторые изменения в уставах, но Риччи отказал знаменитой фразой: «*sint ut sunt, aut non sint*»¹. Поддерживаемые своим начальством, французские иезуиты не хотели подчиниться королевским распоряжениям, собственно говоря, уничтожавшим их организацию (1762), а потому были изгнаны, после чего орден был объявлен упраздненным во Франции (1764). Это было делом преимущественно Шуазеля. Риччи выхлопотал у папы упомянутую буллу «*Apostolicum pascendi*», но этим только еще более раздражил французское правительство.

И в Испании в 1765 г., когда появилась эта булла, в полном разгаре была борьба министра-реформатора Аранды с иезуитами, столь же могущественными и влиятельными, как в Португалии, так и там, бунтовавшими народ, как везде, наконец, издававшими памфлеты против правительства, которое пошло по новой дороге; и здесь друзья преобразований отвечали своими обличениями. В 1766 г. в Мадриде вспыхнуло народное восстание, подготовленное и руководимое иезуитами, чем и воспользовался Аранда, чтобы покончить с орденом: в одну ночь (4 апреля 1767 г.) все испанские иезуиты, число которых доходило до пяти тысяч, были схвачены и на кораблях высланы в Папскую область, и только тогда, когда этот удар был нанесен, был обнародован королевский манифест об уничтожении ордена. Совершенно так же и в том же году поступил в Неаполе Тануччи. Производившаяся в это время реформа в Парме, которую курия считала папским делом, вызвала со стороны Климента XIII предостережение герцогу с угрозой отлучения от церкви, но управлявший герцогством за малолетством дона Фернандо, бургонского цринца, французский дворянин дю Тилло, ответил на угрозу уничтожением ордена иезуитов и в Парме — с высылкой самих иезуитов из пределов герцогства и конфискацией их имуществ (1768). Тогда же дядя дона Фернандо, Карл III Испанский, заступился за своего племянника, склонив бургонские Францию и Неаполь к совместному давлению на курию как в этом деле, так и в вопросе об уничтожении иезуитов.

Помбаль, которому принадлежала инициатива всей борьбы с орденом, особенно настаивал на необходимости добиться уничтожения «Общества Иисуса», опасаясь возможности его восстановления в Португалии, но Шуазель советовал отложить это до вступления на престол нового папы. Между тем испанское правительство устроило соглашение бургонских дворов для действия на папу в указанном смысле. Климент XIII вскоре после этого умер (1769), и в Риме посланники бургонских держав, — к которым присоединился и португальский, возвратившийся на свой пост по-

¹ «Пусть будут в таком виде, как они есть сейчас, или пусть вовсе не будут» (*лат.*). — *Прим. ред.*

сле смерти Климента XIII, — стали действовать в пользу избрания на папский престол прелата, который удовлетворил бы их требованиям. Выбор пал на францисканца Лоренцо Ганганелли, принявшего имя Климента XIV. Новый первосвященник пошел на уступки, примирил папство с Португалией (1770), предпринял исследование учения и деятельности иезуитов и, решив, наконец, что орден должен быть уничтожен, своим бреве «*Dominus ac Redemptor*» (1773) объявил о том всему католическому миру. В следующем, 1774 г. Климент XIV скончался, и в смерти его винили иезуитов, будто бы его отравивших. Только Фридрих II и Екатерина II дозволили иезуитам существовать в своих владениях, в католической Силезии и в окатоличенной Белоруссии, только что приобретенной Россией от Польши. Орден просуществовал 233 года (1540—1773) и был снова восстановлен после сорокалетнего перерыва — в эпоху реакции, наступившей за падением империи Наполеона I.

Уничтожение иезуитов папой было *результатом похода на них, получившего международный характер*. Правительства Португалии, Франции, Испании и Неаполя действовали солидарно, ибо Помбаль, Шуазель, Аранда и Тануччи как руководящие министры одинаковыми глазами смотрели на орден. Совокупному давлению этих держав на папу много помогло то обстоятельство, что три королевских трона занято было Бурбонами, между которыми Шуазель в 1761 г. устроил тесный семейный союз (*pacte de famille*), между прочим заступившийся за бурбонское герцогство Парму, когда оно подверглось нападению со стороны папы¹. Коалиция католических королей, носивших почетные титулы *Fidelissimus* (португальский), *Catholicus* (испанский) и *Christianissimus* (французский), против главы церкви, бывшего в то же время и светским государем, была одним из наиболее любопытных эпизодов международной политики XVIII в. Когда Климент XIII стал грозить герцогу Пармскому отлучением от церкви, Франция и Неаполь заняли папские владения, одна — Авиньон и Венесен, другой — Беневент и Повте-Корво, заявив, что лишь по исполнении требований, предъявленных папе, будут очищены эти земли. Только по упразднении ордена папство получило обратно оккупированные владения. Этот факт нужно рассматривать в тесной связи с общей историей отношений католических монархов к церкви. В своей борьбе с остатками старины «просвещенный абсолютизм» самого опасного своего врага должен был видеть в курии и клире, вдобавок весьма богатым, когда государственная казна была пуста. Столкновение с папством по поводу иезуитов было лишь эпизодом в той войне, которую католические государства XVIII в. объявили церкви во имя тех же принципов, какие защищались

¹ У Онкена глава об уничтожении ордена так и называется «*Die Verschwörung der Bourbonen gegen die Jesuiten*» etc.

светской властью в реформационную эпоху. Перед некоторыми деятелями рассматриваемого времени носились идеалы галликанизма, т. е. тех сравнительно наиболее благоприятных для государства условий, в каких находилась католическая церковь во Франции, а иные шли и далее, мечтая и о большей независимости. Между Португалией и папством произошел формальный политический разрыв, продолжавшийся целые десять лет (1760—1770), и в Португалии начали уже подумывать об отделении от Рима: был даже подвергнут исследованию вопрос о главенстве папы и высказывалась мысль о том, что местный епископат может быть вполне самостоятелен. При Иосифе II существовало опасение, как бы Австрия не вступила на такую же дорогу. Брат Иосифа II, Леопольд, великий герцог тосканский, в одном из своих писем к императору, говоря об упрямстве папы, припоминал древние времена, когда папа был только первый между равными. Такие же натянутые отношения, какие существовали между католическими монархами и папством в XVIII в., повели в XVI в. к образованию чисто государственных церквей, но тогда действовал могучий культурный фактор, которого не было в XVIII в. и без которого в XVI столетии не могло произойти отторжения от Рима: фактор этот — народно-религиозное движение, выразившееся в протестантизме и сектантстве. *Антицерковное направление в XVIII в. сильно было лишь в правительствах, руководившихся государственными интересами*, тогда как в народных массах не совершалось никакого нового религиозного брожения.

В первый период эпохи «просвещенного абсолютизма» в области церковных (католических) отношений особенно обращает на себя внимание преобразовательная деятельность южно-романских правительств. В Португалии, Испании и Италии власть церкви была особенно сильна, и, следовательно, государству предстояла и наиболее упорная борьба. Возведение на престолы Испании, Неаполя и Пармы бурбонских принцев имело результатом перенесение на почву этих стран французской церковной политики, никогда не бывшей благоприятной политической мощи курии и клира. Борьба с иезуитами только обострила отношения. Южно-романские правительства создали немало прецедентов и для той преобразовательной деятельности в области церковных отношений, которая закипела в Австрии при Иосифе II, т. е. уже к концу рассматриваемой эпохи. Без всякого влияния со стороны философии государство XVIII в. делало здесь свое дело, как делало его и раньше и помимо, например, религиозных идей, породивших Реформацию XVI в., но если тогда тем не менее некоторые правительства в своей политике пошли под знаменем этих идей, то и теперь таким знаменем сделалась философия — особенно для Иосифа II. Мы и рассмотрим сначала церковные реформы в южно-романских странах, потом коснемся принципиальной постановки вопроса в литературе и, наконец, укажем на реформы Иосифа II.

Когда в 1734 г. Карл III воцарился в Неаполе и привез с собой Тануччи¹, страна была в полной власти духовенства: здесь было на четыре миллиона жителей около 115 тысяч духовенства, по 28 на каждую тысячу населения, т. е. около 3 %, и в самой столице насчитывалось духовных 16½ тысячи: одних архиепископов (22) и епископов (116) было в этой небольшой стране 138, а монашествующих мужчин (31 800) и женщин (25 600) более 57 тысяч, так что их число превышало число белого духовенства, не доходившего до последней цифры (56 тысяч); в руках этого сословия находилось, по приблизительному исчислению, около двух третей всей поземельной собственности, за исключением королевских доменов; духовные лица не подлежали светскому суду, их жилища, наравне с церквями и часовнями, пользовались правом убежища от полицейского и судебного преследования, их земли не несли на себе государственные налоги, — одним словом, *в Неаполе в начале XVIII в. были вполне осуществлены притязания средневекового католицизма*. Вот в какой среде пришлось действовать Тануччи, «легисту», проникнутому идеей государственной власти, прав государства. Он поручил одному аббату (Дженовези) подробно изобразить невозможность такого положения дел, и министр тотчас же нашел сочувствие среди горожан столицы. В смысле необходимости реформы тогдашнему папе (Клименту XII) сделаны были представления от имени короля, но курия начала по этому поводу длиннейшие переговоры, окончившиеся лишь при новом папе, Бенедикте XIV, вступившем на святой престол в 1740 г. С ним Неаполь заключил конкордат, по которому курия согласилась отменить изъятие церковных имуществ из обязанности платить налоги, затруднить приобретение церковью новых земель и поступление в духовное звание, ограничить епископскую юрисдикцию и сохранить право убежища за одними только церквями, да и то по отношению лишь к лицам, не совершившим тяжких преступлений. Опираясь на этот конкордат, неаполитанское правительство пошло и дальше, приняв со второй половины сороковых годов ряд новых мер. У папских булл, не утвержденных королем, было отнято всякое юридическое значение. Были объявлены не имеющими силы церковные наказания, налагавшиеся епископами на людей, которые исполняли лишь королевскую волю или законы государства. Клир был подчинен светским судам. Было постановлено, чтобы не приходилось более десяти духовных на одну тысячу душ населения. Был предпринят общий кадастр для определения того, что принадлежит церкви и что частным лицам, и для правильного обложения церковных имуществ. Кроме того, было закрыто в Неаполе инквизиционное судилище. При Фердинанде IV, вступившем на престол в 1759 г., Тануччи пошел еще дальше, уничтожив немалое количество монастырей, имущества которых были отобраны в казну, за-

¹ Coletta. Storia del reame del Napoli.

претив делать завещания в пользу всяких духовных учреждений, расширив права светских судов, отдав на их решение брачные дела, — к которым было применено понятие гражданского договора, — подчинив постановления духовной цензуры контролю светской власти, нанеся, наконец, удар ордену иезуитов.

В Испании еще до перехода (1759) на ее престол Карла III, при котором в Неаполе началось ограничение прав курии и клира, именно еще в последние годы Фердинанда VI начата была подобная же работа. В 1758 г. Испания заключила с Бенедиктом XIV конкордат, уступавший короне право замещения большей части церковных должностей и сокративший папские доходы с Испании. Карл III перенес и в новое свое королевство систему, уже применявшуюся при нем в Неаполе, и, как известно, нашел помощников, из которых самыми выдающимися были Аранда и Кампоманес. Последний специально занимался, как и Тануччи, вопросом об отношении между церковью и государством и доказывал экономическую несостоятельность церковного землевладения. На испанском престоле Карл III чувствовал себя даже сильнее, чем в Неаполе, считавшемся папским леном и соседствовавшим с церковной областью. Папские буллы и бреве и здесь не могли более обнародоваться без разрешения короля. Власть иноземных генералов над испанскими монастырями была ограничена. Инквизиция была превращена в полицейское учреждение, и монастыри были подчинены полицейскому надзору. Приняты были меры к тому, чтобы ограничить церковное землевладение, которое, кроме того, было обложено податями. У монахов было отнято почти исключительное право заниматься воспитанием юношества. Наконец, и в Испании, как мы видели, был отменен орден иезуитов. По стопам больших бурбонских держав шла и маленькая Парма, где правительство так называемой «прагматической санкцией» сильно ограничило папские права. Распоряжения папы нуждались в герцогском одобрении. Запрещалось переносить суд по духовным делам в Рим. Положен был предел увеличению церковного землевладения. Имущества духовенства должны были участвовать в платеже налогов. Мы уже видели, что за все папа пригрозил Парме отлучением, но за нее заступились бурбонские державы.

Еще более резким характером отличалась политика Помбаля, подавшего пример изгнания иезуитов и доведшего Португалию до дипломатического разрыва с Римом. Уже в 1751 г. он отнял у «священного судилища» (инквизиции) его права и отменил *auto da fe*, а затем подчинил приговоры духовных судов светским. Буллы и бреве, опубликованные без королевского разрешения, были объявлены незаконными, и особенно иезуитская булла «*La соена Domini*». Духовенству было запрещено отлучать от церкви государственных чиновников. Клерикальная печать была подчинена королевской цензуре, и пастырское послание одного епископа было предано

публичному сожжению; самого епископа отрешили от должности и посадили в тюрьму. Изданы были распоряжения, долженствовавшие остановить рост церковного землевладения: поступая в монастырь, нужно была отказаться от прав на наследство; лишь известную часть имущества разрешалось завещать церкви на помин души. Было уничтожено немалое число монастырей, и без разрешения короля запрещено было постригаться в монахи моложе двадцати лет. Что особенно отличает деятельность Помбала, так это его заботы о народном образовании, которое он задумал исторгнуть из рук клира. Это был громадный труд, заверченный в 1772 г. реформой Коимбрского университета.

Сравнивая деятельность министров-реформаторов по церковному вопросу в Неаполе, Испании, Парме, Португалии, мы находим, что везде она имела однородный характер, и меры, принимавшиеся в одном государстве, были часто как бы скопированы с того, что делалось в другом. Все их стремления сводились к тому, чтобы освободить светскую власть от теократической опеки и подчинить клир государству, но при этом очень мало обращалось внимания на культурные интересы общества. Благочестие таких государей, как Иосиф Эммануил, не мешало им санкционировать действия их министров, направленные против католической церкви. В этом отношении и набожная Мария-Терезия не отставала от движения века, когда сталкивались права короны с клерикальными притязаниями, хотя никак не хотела допустить веротерпимости. Поэтому в сфере церковно-политических отношений Мария-Терезия, весьма часто, впрочем, действовавшая под влиянием «партии просвещения», была предшественницей своего сына-реформатора. И другой ее сын, Леопольд Тосканский, ограничивал права курии и клира в своем владении: его реформы, которые во многом совпадают с тем, что делалось в названных выше католических государствах, прямо вытекали из того убеждения, что государство должно господствовать над церковью.

Господство государства над церковью проповедовалось многими писателями XVIII в. Вольтер, например, находил, что нация достигает силы и могущества, когда «государство приказывает религии». Рэйналь не хотел признавать иных соборов, кроме совещаний министров. Руссо проповедовал необходимость «гражданской религии», устанавливаемой государством. Сами ученые канонисты эпохи разрешали спорные вопросы церковно-политических отношений в пользу преобладания светской власти. Таковы были Тануччи и Кампоманес, таков был Иог.-Ник. фон Гонтгейм, викарий трирский, издавший в 1765 г. под псевдонимом Юстина Феброния книгу «О современном состоянии церкви и о законной власти римского первосвященника» — книгу, которая благодаря изложению в ней канонического права, каким оно было до Тридентского собора, сделалась весьма популярной и несколько раз переиздавалась даже в Италии, Испании и Португалии. На нее, между про-

чим, ссылался Кампоманес, составляя опровержение папского бреве против герцога пармского. Впоследствии на нее же опирался и Иосиф II, производя свои церковные реформы. Феброний был притом не один: другие канонисты защищали его теорию или писали в том же духе («Доводы за и против привилегий духовенства» Верекунда фон Лохштейна, под именем которого скрывался некий Петр фон Остервальд). Иезуиты, которыми стали тяготиться в это время и некоторые немецкие католические князья, стремившиеся к усилению своей власти насчет прав церкви, вели интригу против книги Феброния и, например, добивались у Марии-Терезии, чтобы она запретила ненавистное сочинение, но фон Свитен убеждал ее, что в качестве государыни она должна, наоборот, защищать книгу Феброния. Оппозиция против папства проникла даже в духовные княжества Германии. Архиепископ кельнский (младший брат Иосифа II и Леопольда) разделял воззрения своих братьев. В 1785 г. духовные курфюрсты объявляют папе, что они не намерены поступаться своими правами и желают, чтобы папские буллы поступали на их утверждение, грозя в противном случае созывом национального собора.

Особенно интересны церковные реформы Иосифа II. Опираясь на примеры предшественников своих в других странах, на новое каноническое право (фебронианизм), на государственную идею эпохи, он выступил в конце периода «просвещенного абсолютизма» в качестве самого радикального реформатора из монархов, сделавшись сам *непосредственным предшественником церковной политики первого французского национального собрания во время революции, издавшего знаменитую constitution civile du clerge*. Это «Гражданское уложение о духовенстве» и церковные реформы Иосифа II как бы выросли на одной почве, под одними и теми же влияниями и были потому проникнуты одним и тем же духом. И здесь, и там церковное законодательство исходило из идеи о неограниченном праве государства устраивать собственной властью церковные порядки, поскольку последние не затрагивали существа веры, и в обоих же случаях государственная власть переступила эту границу и тем самым нарушала принципу религиозной свободы (не признанный, правда, законодательством Иосифа II, но провозглашенный Французской революцией).

Церковные реформы Иосифа II мы можем разделить на три категории. Первая включает в себе те меры, которыми император стремился *установить некоторую независимость Австрии по отношению к Риму*. Законами второй категории он хотел *ослабить силу духовенства в самой Австрии и подчинить его государству*. Наконец, третья категория — та, где Иосиф II *допустил со своей стороны прямое вмешательство во внутренние распоряжки самой церкви*. Каждую из этих категорий мы и рассмотрим теперь в отдельности. В мерах Иосифа II, касавшихся взаимных отношений между Австрией и курией, не было, по существу, дела ничего такого, чего не делали

бы представители государственной власти в других странах в видах ограничения папских прав. И Иосиф II не допускал публикации папских булл без правительственного одобрения, т. к. они часто имели политический характер; между прочим, с этой точки зрения было пересмотрено прежнее папское законодательство, и некоторые буллы были признаны не имеющими силы в Австрии. Нельзя было также принимать папские награды без разрешения правительства, ибо в противном случае награжденными духовными лицами могли бы оказаться такие, которые противодействовали светской власти. Была изменена епископская присяга в том смысле, что в новой ее формуле заняло надлежащее место обещание быть верным императору: прежняя формула выдвигала на первый план верность папе. Для установления большей независимости австрийского клира по отношению к курии расширялась диспенсационная власть епископов, и монашеские ордена освобождались от исключительной власти генералов, живших в Риме. Наконец, молодым людям, ездившим учиться в римский Collegium Germanicum для приготовления к духовному званию, было запрещено на будущее время туда отправляться, и для них была даже основана особая школа в Павии.

Вторая категория мер Иосифа II имела более радикальный характер. Смотри на духовенство как на сословие, долженствующее проповедовать Евангелие, отправлять богослужение, совершать таинства и наблюдать за церковной жизнью, но вовсе не к тому предназначенное, чтобы пользоваться исключительными правами и господствовать над обществом, — Иосиф II, с одной стороны, не хотел, чтобы в его государстве были люди, не приносящие никакой пользы и даже вредные, какими ему представлялись монахи, а с другой — желал, чтобы духовенство находилось в таком же подчинении у светской власти, как и все другие подданные. «Мне, — писал Иосиф II к архиепископу зальцбургскому, — предстоит сделать трудное дело — сократить армию монахов, превратить в людей этих факиров, перед бритыми головами которых простонародье становится на колена и которые господствуют над умами граждан с такой силой, как никто никогда не влиял на душу человека». Сами католические писатели, неблагосклонно судящие Иосифа II, соглашались, что монастырей в Австрии действительно было слишком много и что они приносили очень мало пользы, Сама Мария-Терезия начала уже сокращать их число. Но у Иосифа II был еще тот взгляд, что, подчиняясь иноземным генералам, монастыри опасны даже в политическом отношении, почему он и изъясил их из-под иноземной власти; кроме того, он видел в монахах класс людей, ничего не производящий, но много потребляющий. Из целого ряда мер, которыми он начал ограничивать монашество, отметим лишь наиболее крупные. В начале 1782 г. император издал указ, которым уничтожались в его владениях все монашеские ордена созерцательной жизни, т. е. которые не содержали школ или

больниц, не проповедовали и не были духовниками, не предавались и научным занятиям и т. д.; все их имущество поступало в казну. Всех монастырей было, таким образом, уничтожено 788 и распущено — для поступления в другие монастыри или для перехода в белое духовенство, а не то так и для того, чтобы вступить в частную жизнь или уехать за границу — 36 тысяч человек; но за всем тем оставалось еще 1324 монастыря с 27 тысячами монахов и монахинь, подчиненных теперь весьма строгому надзору. Кроме того, было распущено 642 религиозных братства, и отобранное у них имущество пошло на дела благотворительности и на школы. Эти меры вызвали страстную борьбу в печати: одни стояли на стороне императора и прославляли его, как, например, автор сатирической «Монахологии», или капуцинский монах Игнатий Фесслер, подвергшийся клерикальным преследованиям, он уехал в Силезию, где принял протестантизм, а оттуда в Россию¹; с другой стороны, раздавались голоса, обвинявшие Иосифа II в нечестии, в нарушении права собственности, в алчности. Упрек в алчности император получил незаслуженным образом, ибо многие весьма богатые монастыри были не тронуты, а затем большая часть средств, добытых из секуляризации, пошла на нужды самой церкви и школы. Если и случалось, что монастырские здания превращались иногда в казармы и в фабрики, то все-таки главным их назначением было сделаться воспитательными домами, благотворительными учреждениями, училищами, а доходы уничтоженных монастырей и братств шли в так называемый государственный «религиозный и школьный фонд», расходовавший деньги на устройство новых приходов, на дела благотворения, на народное образование. Конечно, в таком деле, как уничтожение 738 монастырей и секуляризация их собственности, было сделано немало ошибок, да и исполнители понагнали себе руки около церковных богатств, что дало немалую пищу католическим историкам «иозефинизма». Не всегда, далее, с должным выбором уничтожали и оставляли монастыри; ценные библиотеки продавались за бесценок; старые рукописи и печатные издания XV в., как никуда якобы негодный хлам, шли в макулатуру; драгоценные вещи пропадали или оказывались во владении чиновников, производивших отобрание монастырских имуществ, и т. п.; но подобные же некрасивые вещи совершались и в эпоху реформационной секуляризации XVI в. Сила духовенства была еще ослаблена и тем, что Иосиф II отнял у духовенства книжную цензуру и школу. Запрещалось печатать только то, что противно христианству и добрым нравам, а также пасквили, но критика правительственных мер разрешалась, и этим как раз воспользовалась клерикальная оппозиция, чтобы нападать на Иосифа II. В Австрии даже университеты были учреждениями чисто церковными, но монарх-реформатор придал системе образования светский

¹ *Fessler Ign.* Rückblick auf meine siebzigjährige Pilgerschaft.

характер, хотя и подчинил школьное дело самой мелочной бюрократической регламентации. Учебная система Иосифа II продержалась в Австрии до середины XIX в. Реформа коснулась и специально духовных школ, готовивших церковных пастырей. Эти училища должны были воспитывать будущих клириков в духе иозефинских идей. Для императора они должны были быть прежде всего наставниками народа и хорошими гражданами: первая цель достигалась новыми учебниками, составленными на основах того рационалистического католицизма XVIII в., который сводил религию на моральную философию, а вторая цель — обучением новому церковному праву, в котором выдвигались на первый план права государства и внушалось слепое повиновение светской власти. Воспитанный в новых принципах священник должен был сделаться своего рода духовным чиновником, и судьями в церковных делах должны были быть светские чиновники. В австрийском епископате нашлись люди иозефинского образа мыслей или просто угождавшие правительству, но большинство вступило в борьбу. Эта оппозиция действовала и на школьную молодежь. Против новой системы духовного образования протестовали в Бельгии епископы, а когда в Лувене появились новые профессора с новыми руководствами, тамошние студенты теологии подняли целый бунт.

Все эти реформы касались главным образом духовенства, и народная масса относилась к ним спокойно, пока некоторыми необдуманными мерами Иосиф II не затронул ее религиозного чувства, вмешавшись в обрядовую сторону веры. Государственная власть считала для себя все позволительным и возможным, но при этом не принималось в соображение, что вмешательством во внутренние дела самой религии нарушались права верующей совести, которые брала под свою защиту идея терпимости. Иосиф II признавал своим правом без соглашения с церковными властями изменять границы епархий и приходов, учреждать новые, основывать капитулы и производить преобразования в культе. Ему хотелось упростить богослужение, а потому он уничтожил некоторые праздники, запретил разные процессии, велел удалять из церквей лишние иконы, статуи и украшения (чем, например, вызвал сопротивление крестьян в Тироле), стал вводить новый служебник с гимнами, в которых усматривали протестантский характер, изменил было обряд погребения, приказав хоронить в холщовых мешках в общих ямах, заливаемых известью, т. к. на гробы выходило много дерева, а под кладбищами пропадало много земли и т. п., но народ был всем этим очень недоволен. У Иосифа II, исходившего из одной идеи прав государства, не было настоящего уважения к чужой совести, хотя в принципе он и высказывался в смысле религиозной свободы. Сам эдикт о веротерпимости не признавал за православными и протестантами права иметь церкви с колокольнями, звоном и входными дверями с улицы; затем, кроме названных исповеданий, другие не допускались. В Че-

хии, например, была секта абраамитов, и вот Иосиф II приказал каждого, кто заявил бы свою к ней принадлежность, наказывать двадцатью четырьмя палочными ударами «не потому, что он деист (так именовались сектанты), а потому, что он претендует быть чем-то таким, чего и сам не понимает» (*weil er vorgiebt etwas zu seyn, von dem er nicht weiss, was es ist*). Абраамитская община воспротивилась слиться с одним из главных исповеданий и была раскассирована. С тем же малым уважением относился Иосиф II и к протесту католической совести. Однажды католики не хотели допустить похорон крестьянина-гусита на своем кладбище, но Иосиф II увидел в этом нетерпимость и велел, выкопав мертвеца из могилы, похоронить его непременно на католическом кладбище, для чего было послано из пражского гарнизона 600 пехотинцев и 30 кавалеристов, дабы не было сопротивления. Такими распоряжениями Иосиф II возбуждал против своих мер и народную массу. Если Фридрих II в своем государстве позволял каждому спастись *nach seiner Façon*¹, то Иосиф II все еще был проникнут принципом «*cujus regio, ejus religio*»². Преемнику его, Леопольду II, разного рода уступками пришлось поправлять дело, испорченное ошибками монарха, который не сумел сочетать в делах религии прав государственной власти с правами верующей совести. Не умели этого сделать, как мы еще увидим, и деятели Французской революции, которая вначале объявила религиозную свободу, а кончила религиозными преследованиями. Но, рассматривая эти отношения, не нужно забывать, что католическая церковь представляла из себя политическую силу, борьба с которой часто увлекала государственную власть гораздо далее той границы, переступив которую приходилось уже нарушать принцип свободы совести, с таким трудом пролагавший путь к своему признанию.

¹ По-своему (нем.). — *Прим. ред.*

² «Чья власть, того и религия». — *Прим. ред.*

XXVIII. Реформы в области сословных отношений и крестьянского быта¹

«Просвещенный абсолютизм» и социальный феодализм. — Борьба с аристократическими привилегиями в разных государствах. — Иосиф II и дворянство. — Физиократы и их влияние на государственных людей. — Неблагоприятные условия крестьянской реформы. — Разный ее характер в разных странах. — Отзывы Мирабо об отношении Фридриха II к крестьянству. — Прусское законодательство XVIII в. в крестьянском вопросе. — Крестьянский вопрос в немецких княжествах. — Крестьянские реформы Марии-Терезии и Иосифа II. — Савойская реформа. — Заключение.

Церковные реформы «просвещенного абсолютизма» были предпринимаемы во имя государственной идеи против одной из основ средневекового быта, которая пережила в католических странах эпоху Реформации, положившей конец средневековым отношениям между церковью и государством в странах протестантских. Другой основой средневекового быта был феодализм, социальная сторона которого сохранилась в сословном строе и в юридической зависимости сельского населения от крупных землевладельцев, духовных и светских. Мы уже знаем, что социальный феодализм пережил феодализм политический, ибо королевская власть разрушала старые права аристократии там, где эти права ее стесняли, где ей приходилось делиться своими собственными правами; но, ревниво оберегая последние и даже их расширяя, короли оставляли неприкосновенными аристократические привилегии, тяготевшие над народной массой: такая политика только и сделала возможными порядки, господствовавшие в XVIII в. Однако в том же XVIII в. *началось разрушение социального феодализма сверху, прежде нежели совершилось его падение под напором народного движения.* Общее направление внутренней политики XVIII в. было враждебно главным остаткам социального феодализма. Государство было вынуждено вмешаться в эту область, которая долго не подлежала сколько-нибудь энергичному, постоянному и систематическому воздействию со стороны правительства. Государство видело в народной массе податную силу, которую нужно было оберегать от излишних поборов со стороны господ, а тут еще за последними сохранялись многие такие права, которые были своего рода узурпацией прав государства в области суда и полиции. К этому присоединилось еще действие новых

¹ См. соч. Sugenheim'a, Stein'a L., Knapp'a, проф. Лучицкого и др. Указания на более специальную литературу можно найти в названных сочинениях.

идей: учение естественного права в конце концов делалось проповедью гражданской свободы, гражданского равенства, которым противоречило крепостничество, а идея государства как учреждения, существующего для общего блага, приводила к мысли об уравнивании прав населения и в других отношениях. Таким образом, *реальные потребности государства и общественная философия эпохи одинаково участвовали в истории законодательства, имевшего своим предметом реформу социальных отношений*. В общем, однако, и в этой области, как и в реформах административно-финансовых, и в мероприятиях, касавшихся церковных отношений, на первый план выдвигается интерес государства, как такового. По отношению к свободе личности от феодальных прав и, в частности, от крепостничества и теория, и практика эпохи оказались довольно робкими и нерешительными. Выше было показано, что всемогущее государство не было твердо уверено в своем праве осуществить силой своей власти требование естественной свободы посредством законодательного акта о безвозмездном уничтожении крепостничества. Было также упомянуто, что Фридрих II, в сущности, не внес никакого изменения в сословный строй Пруссии, который во всей неприкосновенности был даже освящен философским «Allgemeines Landrecht». Если в ком из представителей «просвещенного абсолютизма» и выразилась с особой силой освободительная идея века, то именно в Иосифе II, который, менее чем за десять лет до начала Французской революции, объявил крепостное состояние отмененным в своих владениях. Подобно тому как его церковное законодательство находит аналогию в «Гражданском уложении о духовенстве», изданном французским учредительным собранием, так и его попытку уничтожить крепостничество можно до известной степени поставить рядом с декретами 4 августа 1789 г., посредством которых Французская революция отменяла весь феодальный режим. Но даже законодательство Иосифа II не решило крестьянского вопроса, *и XVIII в., впервые его поставивший, завещал этот вопрос следующему столетию*¹, когда ему пришлось получить решение уже при изменившихся условиях¹. В настоящей главе мы рассмотрим законодательство XVIII в. в области сословных отношений вообще и крестьянского вопроса в частности.

В политической истории XVIII в. замечается одно явление, которое должно обратить на себя особенное наше внимание: это — стремление абсолютной монархии сократить и ограничить аристократические привилегии, бывшие наследием феодальной эпохи, которые сохранялись благодаря тому именно, что ранее, наоборот, королевская власть была в союзе с аристократией, подобно тому как была в союзе и с клиром, с которым, однако, вступила в борьбу в середине XVIII в. Если во Франции

¹ Подробнее этого предмета мы коснемся в истории XIX в.

старые общественные порядки оставались неприкосновенными до самой революции, и если в Пруссии король-философ был самым строгим консерваторм в отношении к социальному строю своего государства, то в других странах, наоборот, *шла упорная борьба государственной власти против остатков феодальной старины*. Это наблюдается прежде всего в южно-романских странах, где министры-реформаторы ограничивали права не одних только духовных, но и дворян. Португальское дворянство, занимавшее все важнейшие должности в государстве, расхищавшее домены, отличавшееся крайним своеволием, притеснявшее народ, увидело в лице Помбаля энергичного врага, который подчинил дворян правительственному контролю и положил предел расширению их поземельной собственности в ущерб доменам и мелкому землевладению свободного крестьянства, в то же время покровительствуя среднему сословию как общественному классу, занятому промышленностью и торговлей. В Неаполе подобным образом действовал Тануччи, видевший в привилегиях духовенства и дворянства узурпацию королевских прав. На дворянские суды была установлена апелляция к королевским судьям, или же эти суды и совсем отменялись. Правительство деятельно вмешивалось в тяжбы, происходившие между феодальными землевладельцами и сельским населением, и разрешало спорные пункты в пользу последнего. Испанские министры-реформаторы равным образом сдерживали дворянство, хотя и не предпринимали каких-нибудь особенно решительных мер. В Тоскане преобразования великого герцога Леопольда, исходившие из новых государственных идей, были направлены прямо против феодализма¹. В Дании, где еще Бернсторф стремился к облегченно участи крестьян, особым врагом дворянских привилегий выступил Струензе.

Нигде, однако, взаимные отношения между правительством и дворянством не обострились в эту эпоху до такой степени, как в Австрии при Иосифе II. Феодальная знать в габсбургской монархии, не игравшая, как то было в Пруссии, роли служилого сословия, представляла из себя весьма значительную социальную силу, с которой власть должна была постоянно ладить. Новое бюрократическое государство, устраивавшееся в Австрии в XVIII в. и вербовавшее своих слуг из разночинцев, стало приходить в столкновение с этим сословием, и Иосиф II, любивший ставить ребром вопросы внутренней политики, содействовал лишь обострению новых возникавших отношений. Для этого государя значение монархической власти заключалось в том, чтобы быть нейтральной между сословиями и приходить на помощь лишь к тому, которое по слабости своей в этом наиболее нуждалось. С такой точки зрения его весьма сильно занимали со-

¹ См.: *Tiravoni C.* L'Italia prima della rivoluzione francese. Reumont. Gesch. Toscana's; *Capponi G.* Storia di Pietro Leopoldo; *Ferd. Hirsch.* Leopold II als Grossherzog von Toscana (в Hist. Zeitschr. Забеля, т. 40).

словные отношения: в качестве государственника, желавшего сделать счастливыми своих подданных, он был врагом разного рода привилегий, поскольку ими нарушались интересы государства и большинства его жителей. Между прочим, он задумал уничтожить податные изъятия дворянства, ссылаясь на другие страны, где это сословие не было освобождено от налогов, и потому он ввел поземельный налог, падавший вообще на всех землевладельцев. Гр. Хотэк, канцлер чешско-австрийской придворной канцелярии, возражал против этой меры, ссылаясь на то, что от нее потеряет дворянство. «Но зато выиграют крестьяне», — возражал император. Иосиф II и с практической точки зрения убеждал Хотэка: «не лучше ли будет, если мы что-либо уступим крестьянам, чем ждать, что они не дадут нам ничего?» Хотэк возражал, что бояться этого нечего, т. к. можно и силой принудить платить. «Силой?! — воскликнул Иосиф II. — Но ведь перевес физической силы находится на стороне третьего сословия. Поверьте мне, что если мужик не захочет платить, всем нам придется идти прочь» (*Glauben Sie mir, wenn der Bauer nicht will, sind wir alle pritsch*). Гр. Хотэк оставил свое место: «Моя совесть, — написал он императору, — не позволяет мне подписать свое имя под распоряжением, которое причиняет дворянству такую несправедливость». В этом деле оппозицию Иосифу II оказывали не только духовенство и дворянство, но и его собственные министры и советники, защищавшие интересы привилегированных сословий или указывавшие на практические неудобства задуманной меры. Император настаивал на ее проведении, но эта крупная реформа была совершена без достаточной выработки подробностей, и указ Иосифа II о налогах (1789) был отменен Леопольдом II. В сословном вопросе Иосиф II был полной противоположностью Фридриху II. То же самое обнаружилось и в их отношениях к крестьянству.

До XVIII в. на западе Европы государственная власть почти ничего не предпринимала, чтобы покончить с социальным феодализмом и снять с крестьянства узы крепостничества. В XVIII столетии, как мы видели, и реальные нужды государства, и новая общественная философия, в которой важное значение принадлежало экономической доктрине физиократов, впервые заставили власть взяться за разрешение крестьянского вопроса. Если физиократы явились сторонниками абсолютной монархии, то, между прочим, это объясняется их взглядом, по которому государство должно было восстановить «естественный порядок» хозяйственной жизни, а это лучше всего могла бы сделать всемогущая королевская власть. Экономисты не переставали взывать к правительствам, указывая на необходимость отмены сословных различий и привилегий, отмены личной зависимости крестьян и отмены феодальных повинностей, на них лежащих, и т. п., а затем уже предполагалось, что экономическому быту будет предоставлена полная свобода развиваться по законам, присущим «естественному

порядку»¹. Экономисты заинтересовывали государственную власть в этом деле, доказывая, что предлагаемые ими меры повлекут за собой подъем народного благосостояния и, как результат этого, обогащение казны². До сих пор под влиянием меркантилистической теории правительства думали об обогащении главным образом путем содействия обрабатывающей промышленности и торговле, но физиократия указывала на землю, на сельское хозяйство, на крестьянский труд. Воззвания экономистов не были напрасными. Государственным деятелям нового направления требования физиократии не казались вовсе опасными для существовавшего политического строя, как ни расходились эти требования с тем, что составляло основу внутренней королевской политики в предыдущие времена. Сами физиократы, отрицавшие пригодность каких бы то ни было иных политических форм, кроме монархии, действующей на основании экономических принципов (*monarchie économique* аб. Бодо), располагали тем самым в свою пользу монархические правительства.

В эпоху финансовых неурядиц, от которых страдали почти все тогдашние государства, учение физиократов не только привлекало своими обещаниями всякого рода благ, но и давало высшую санкцию тем реформам, которые предпринимало государство. *Целый ряд правителей XVIII в. с полной верой в успех своих начинаний подчиняется учению физиократов.* Леопольд в Тоскане был ревностным сторонником Кенэ, Иосиф II в Австрии считался последователем аббата Бодо и Мерсье де ла Ривьера. Густав III Шведский создал орден Вазы для поощрения сельского хозяйства и одним из первых украсил им Мирабо-отца, известного своими физиократическими сочинениями, и друга Карла Фридриха Баденского, тоже поклонника физиократов. Екатерина II приглашала к себе для советов Мерсье де ла Ривьера. Во многих государствах управление делами отдавалось экономистам или их последователям, и некоторые деятели «просвещенного абсолютизма» были особенными сторонниками физиократии. Испанский министр Кампоманес, равно как Флорида Бланка, писали физиократические трактаты. При савойском правительстве играл важную роль экономист Солера, в Неаполе Филанджиери и Пальмиери. В Бадене министерский пост занимал экономист Шлеттвейн. Тюрго во Франции был наиболее знаменитым представителем физиократии на посту руководящего министра.

Широкое влияние физиократии на правительственный сферы было благоприятно для освобождения сельского населения и земли от феодального гнета. Впервые под этим влиянием правительства сколько-нибудь серьезно взялись за крестьянскую реформу, но у последней были и небла-

¹ См. разговор Мерсье де ла Ривьера с Екатериной II выше.

² Ср. знаменитое выражение Кенэ выше.

гоприятные условия разного рода — между прочим, сбивчивое представление о правах государственной власти в этой области и соображение о том, что всякое изменение, произведенное властью в социальных отношениях, будет нарушением частной собственности. Следы феодального происхождения самого государства и сильная консервативная оппозиция также были условиями неблагоприятными для решения крестьянского вопроса. Отсюда *многие реформы в крестьянском быту имели значение лишь полумер*, да и те нередко предпринимались нерешительно, проводились медленно, в исполнении оказывались совсем уж незначительными, тем более, что и в чисто теоретической постановке крестьянского вопроса были крупные недостатки.

История крестьянской реформы в XVIII в. представляет большое разнообразие в зависимости от местных условий. В одних государствах производилось меньше, в других больше изменений; в одних случаях эти изменения обуславливались преимущественно практическими потребностями государства, как они понимались правителями эпохи, в других — новыми экономическими учениями. Примером государства, в котором решительного ничего не предпринималось, была Пруссия Фридриха II в отличие от Австрии Иосифа II, где, наоборот, задумана была более радикальная реформа. Та же Пруссия может служить примером того, как главные мероприятия относительно крестьян диктовались практическими соображениями государственной пользы, тогда как небольшой Баден является типической страной осуществления физиократических принципов.

Из правителей XVIII в. вообще наименее подчинился общему духу физиократической теории Фридрих II. Знаменитый Мирабо-сын, посвятивший свою книгу о прусской монархии своему отцу физиократу, изложив собственные взгляды на экономическую политику, выражает сожаление, что великий король не следовал таким правилам: «Увы! Если бы он их знал, он был бы им неизменно верен, но их не было в его время, ибо разве можно чему-либо научиться на вершине славы и к старости?» Тот же Мирабо не раз указывает на то, как мало сделал Фридрих II для крестьян. Он называет его «верным великому правилу изменять поменьше» (*fidèle à la grande maxime de très peu changer*), правилу «оставлять все на прежних основаниях» (*de laisser tout sur les bases qu'il avait trouvées ou posées*), и во многих местах возвращается к вопросу о крестьянах. Он очень хорошо определил всю прусскую политику в этом отношении: «прусские государи не желали задеть дворян (*choquer les nobles*) уничтожением крепостничества, но они очень хорошо понимали свои собственные интересы для того, чтобы не заключить крепостничество в тесные рамки». «Фридрих II, — говорит он в другом месте, — вовсе не хлопотал о том, чтобы изменить такое положение. Как из всего явствует, он не видел в свободе крестьянина великого

средства процветания, но если бы и видел, многие соображения остановили бы его перед таким шагом, особенно в Померании. В этой провинции бедного дворянства масса. Мог ли он рисковать?» и т. д. То же самое отмечает Мирабо и еще в одном месте: «без сомнения, он (Фридрих II) мог бы заставить всех крупных собственников своей страны освободить крестьян, но таким актом власти (*coup d'autorité*) он не хотел отвратить дворянство, в котором он нуждался для своей армии». Выразивши удивление (*on doit s'étonner*), что «столь просвещенный государь не сделал попытки уничтожить барщину, заменив ее оброком», Мирабо в другом месте уже без всякого изумления замечает, что «этот великий монарх не пытался отменить барщину и крепостничество: он чувствовал, без сомнения, что такой переворот (*une telle révolution*) выходит за пределы всей его власти, всего его могущества, как бы велики они ни были». Эти отзывы о Фридрихе II одного из крупнейших людей XVIII в. заключают в себе верную характеристику отношения короля-философа к крестьянскому вопросу.

Тем не менее Пруссия была одним из первых государств, в которых правительство обратило внимание на крестьянскую массу. Заботы прусского правительства в этом отношении ограничивались улучшением быта крестьян при сохранении старого строя. Уже первый прусский король, вскоре после получения нового титула, выразил желание (1702) освободить всех крепостных в королевских доменах, с чем соединялся целый план и хозяйственного быта крестьян, но у него не хватило характера привести в исполнение свои намерения. Кроме того, Фридрих I в 1709 г. издал указ в защиту крестьян от дурного обхождения господ. Фридрих-Вильгельм I оказался несколько энергичнее. В 1719 и 1720 гг. для привлечения новых жителей в малонаселенную Восточную Пруссию он отменил в тамошних королевских доменах крепостничество, наделив крестьян наследственными участками земли. Подобная же мера была задумана и по отношению к прусской Померании, но встретила затруднения со стороны самих же крестьян, привыкших подозрительно относиться ко всем нововведениям, тем более что в сущности предполагавшаяся отмена крепостничества сводилась лишь к некоторому его смягчению. Важнее был указ 1739 г., запрещавший снос (*Legen*) крестьянских дворов, а за год перед этим король вооружился строгими наказаниями против жестокого обращения с крепостными. Как мало, однако, действовали королевские запрещения, видно из того, что Фридриху II пришлось дважды подтверждать указ о сносе дворов (1749 и 1764) под угрозой все больших и больших штрафов, и что не раз ему представлялся случай выступать против особенно вопиющих злоупотреблений помещичьей властью. Чиновники сами являлись притеснителями народа, как будто, говорилось по этому поводу в одном указе короля-философа, крестьяне были совсем их крепостными людьми. Указ 1749 г. грозил чиновнику, побившему крестьянина палкой,

не менее как шестилетним заключением в крепости, хотя и это не устранило грубых насилий всех властей имущих над крестьянами: знаменитая прусская бюрократическая дисциплина была бессильна против того, что глубоко вкоренилось в нравы общества. Дворянство и чиновничество не только не исполняли королевских предписаний, раз дело шло о крестьянах, но и мешали всячески новым мероприятиям. После Губертсбургского мира, которым окончилась разорительная Семилетняя война, Фридрих II предпринял было реформу крестьянских отношений в Померании, где положение сельской массы было особенно жалкое. В 1763 г. померанская доманиальная и военная палата получила такого рода предписание: «абсолютно и без малейшего рассуждения (*absolut und ohne das geringste Raisonniiren*) должны быть немедленно совершенно освобождены все крепостные в деревнях королевских, дворянских и принадлежащих городам», но когда этот указ был сообщен местным чинам, последние единогласно объявили, что волю монарха совершенно нельзя исполнить, и послали королю представление, в котором говорилось следующее: в провинции крепостничества, собственно говоря, нет, а существует лишь «благодетельная» и «весьма выгодная» для крестьянина (*zum wichtigen Beneficio*) «связь» (*Verbindung*) между ним и землевладельцем, и лишить провинцию этой связи значит подвергнуть ее обезлюдению (*Depeuplirung*), дороговизне и еще одной очень большой опасности; дело в том, что означенная «*Verbindung*» доселе служила средством удерживать крестьян в стране и поставлять рекрут в королевскую армию, т. к. помещики всячески разыскивают уклоняющихся от вербовки, а это может прекратиться, раз старый порядок будет отменен. Последний аргумент подействовал на Фридриха II, и изданная через год для Померании «*Bauernverordnung*» не заключала в себе никаких изменений в крепостнических отношениях провинции. Только в области, отнятой у Польши, Фридрих II пришел на помощь к сельскому населению, находившемуся в еще более печальном положении, чем в старых частях монархии, смягчив рабство, в каком оно находилось у своих господ¹. Даже в собственных доменах Фридрих II был бессилен добиться точного исполнения своей воли. В 1756 и 1763 гг. он издал распоряжение, по которому сыновья доманиальных крестьян должны были наследовать наделы своих отцов, раз хозяйство на них ведется хорошо, но чиновники продолжали преспокойно отдавать участки умерших крестьян, кому вздумается, и в 1777 г. король еще раз подтвердил свой указ для местностей, где он не был приведен в исполнение (*an allen Orten, wo noch nicht geschehen*). По смерти Фридриха II Пруссия оставалась крепостной, а опубликованный после его смерти преемником его «*Allgemeines Landrecht*»

¹ *Lippe-Weissenfeld Gr.* Westpreussen unter Friedrich dem Grossen. «В Западной Пруссии, — писал Фридрих II Вольтеру, — я уничтожил рабство (*esclavage*) и преобразовал варварские законы».

лишь изменил не существо дела, а название, когда, вместо старого термина «крепостничество» (*Leibeigenschaft*) ввел другой — «наследственное подданничество» (*Erbunterthätigkeit*). Впрочем, и в остальных немецких землях делалось то же самое. Исключение составляет Баден, где маркграф Карл-Фридрих, не раз уже упоминавшийся поклонник физиократии, в 1783 г. безвозмездно отменил крепостное состояние крестьян и разные повинности, кроме барщины. Маркграф был так проникнут идеями физиократов, что стал даже делать опыты сельскохозяйственного устройства по этим идеям. Это единственный пример освобождения крепостных немецким князем перед Французской революцией. Уже после этого события, имевшего вообще громадное значение в истории падения социального феодализма, отменили у себя безвозмездно крепостничество незначительные князья Вольфганг-Эрнст Изенбургский (1795) и Герман-Фридрих Гогенцоллерн-Гехингенский (1798). *Дальнейшее освобождение немецкого крестьянства от крепостной зависимости совершалось уже под влиянием событий, вызванных Французской революцией.*

В Австрии не было недостатка в инициативе в деле улучшения быта крестьян и освобождения от крепостной зависимости, но и здесь дворянство было против крестьянской реформы, а чиновничество плохо исполняло мероприятия правительства. Уже Мария-Терезия начала вносить изменения в дотоле существовавшие порядки. Окружные начальники, учрежденные в ее царствование, должны были наблюдать за тем, чтобы между помещиками и крестьянами были «правомерные и Богу угодные» отношения, и чтобы бедным не чинилось обид. Со времени соправительства Иосифа II, весьма сильно интересовавшегося крестьянским вопросом еще при жизни матери, правительственная деятельность усиливается в этом направлении, но император сначала надеялся на то, что можно будет достигнуть полюбовного соглашения между помещиками и крестьянами относительно обоюдных прав и обязанностей. В 1769 г. была ограничена уголовная юстиция господ. Принимались меры против обезземеления крестьян помещиками. Особенно много правительство Марии-Терезии занималось вопросом о барщинах или, «*Roboten*», как они назывались в габсбургской монархии. До этого времени господа могли большею частью требовать какого им было угодно барщинного труда, хотя бы и по шести дней в неделю, а когда барщина была ограниченная, то все-таки она была не менее трехдневной. В 1771 г. была назначена особая комиссия для пересмотра барщинных повинностей, т. к. Мария-Терезия решила своей властью регулировать эти повинности. Результатом работ комиссии были так называемые «*Robot-und Urbarial-Patente*» для отдельных провинций. Первый патент был издан для Богемии, но и местное дворянство, и местное крестьянство создали не мало затруднений правительству при его проведении. Дворяне сделали пред-

ставление, что этим-де нарушается их законная собственность и что патент противоречит коронационной присяге государыни, да и вред один только принесет, ибо крестьянин начнет лениться и разорит своего помещика. Крестьяне, со своей стороны, поняли дело не в смысле ограничения барщины тремя днями, а в смысле полной ее отмены, а иные еще утверждали, что в Чехию прислан не настоящий патент, а подложный: крестьяне отказывались ходить на барщину, требовали себе вольных грамот и кончили восстанием (1775). Глухое брожение проникло и в другие земли. Издавая «Robot-Patent» для Моравии, Мария-Терезия оговаривается в нем, что ее мера есть только некоторое «облегчение крестьянина», отнюдь не полная или частичная отмена этих повинностей (*Schuldigkeiten*), за которые стоят законы страны о праве собственности. В Венгрии своею *Urbarial-Ordnung* 1764 г. Мария-Терезия также несколько смягчила настоящее рабство, в каком находился народ с начала XVI в. Иосиф II между тем сильно раздражался тем направлением, какое принимало крестьянское дело. Он все более и более приходил к мысли о том, что решить его может лишь авторитет власти (*Machtspruch*). Мысль о полной отмене крепостничества не чужда была самой Марии-Терезии, и тем более она ее лелеяла, что злоупотребления господскими правами вызывали в Австрии в последние годы ее царствования частые народные волнения. Она даже жаловалась, что Иосиф II недостаточно ее поддерживает в этом деле и даже ей мешает, т. к. министры, которые сами из землевладельцев, колеблют решимость императора. По смерти матери Иосиф II не задумался, однако, авторитетом своей власти отменить крепостничество. Осенью 1781 г. император издал указ о подданничестве (*Unterthanenpatent*) и указ о наказаниях (*Strafpatent*), которыми для австрийско-богемских провинций уничтожалась произвольная помещичья власть над крестьянами, тяжбы между ними и господами должны были решаться государственными чиновниками, отнимались у помещиков принудительные средства по отношению к крестьянам, запрещались денежные штрафы и т. п. За этими мерами в 1782 и 1785 гг. последовала отмена и самого крепостного состояния. Оно существовало в Чехии, Моравии, Крайне, Галиции и Лодомерии, и здесь еще было отменено указом 15 января 1782 г., после чего оно еще удерживалось только в Венгрии, где было уничтожено через три с половиной года (1 авг. 1785), хотя в сущности «*Leibeigenschaft*» заменялась здесь более сносной «*Horigkeit*», какая существовала в эрц. Австрии. Крестьяне получали право вступать в брак без разрешения господ, свободу передвижения и труда, право приобретать собственность и т. д.; но они должны были отбывать барщинные повинности и подчиняться, хотя и ограниченной, патримониальной юстиции. Дворянство было страшно раздражено на Иосифа II, но и народ не был вполне доволен, т. к. мечтал о большей свободе, да и аграрные отношения не были

вполне разработаны в новом законодательстве¹. По смерти Иосифа II началась реакция, и его крестьянская реформа погибла в смутах, начавшихся еще при его жизни.

Крестьянский вопрос был поставлен, и даже начали приступать к его решению. Между прочим, жизнь выдвинула его на весьма видное место и в шляхетской Речи Посполитой польской². Он, как увидим, получил еще очень важное значение и в истории Французской революции, деятелям которой, впрочем, приходилось решать его совсем заново, т. к. в эпоху его окончательной постановки во Франции только одно савойское законодательство в крестьянском вопросе обращало на себя внимание, как наиболее подходившее к тогдашней Франции, поскольку социальные отношения в обеих странах были сходны и поскольку крестьянская реформа, произведенная герцогом савойским, казалась некоторым публицистам примером, достойным подражания. В 1762 г. Карл-Эммануил III освобождал безвозмездно сервов в доменах и отказывался от своей части выкупной цены, какую получали сеньоры с освобождавшихся крепостных. Эдикт 1771 г. обязывал сельские общины выкупать лица и земли из сеньориальных прав. Еще два эдикта (1773 и 1778 гг.) устанавливали правила этого выкупа. Не входя в подробности законодательства Карла-Эммануила III, можно сказать, что таким образом и в Савоие начиналась ликвидация социального феодализма.

С Фридрихом II и Иосифом II сходили со сцены почти одновременно самые видные представители «просвещенного абсолютизма». В те же годы начиналось во Франции политическое движение, которое вскоре получило значение общеевропейское, начав таким образом новый период во всемирной истории. «Старые порядки» распались. Общая реформа была необходима, что и выразилось в почти повсеместной преобразовательной деятельности второй половины XVIII в. Перевороту, который начался во Франции в 1789 г., предшествовала и здесь попытка реформы путем власти, причем явился и министр-реформатор в лице физиократа Тюрго; но и здесь реформа встречена была консервативной оппозицией, которая выступила было против государственной власти, но которую потом сломали новые общественные силы.

¹ Одной из наиболее известных брошюр против Иосифа II была брошюра «Warum wird der Kaiser Joseph von Seinem Volke nicht geliebt?»

² См. соч. В.А. Мякотина.

Французская революция¹

¹ Общие указания на литературу см. выше. На более частные и специальные труды ссылки делаются ниже в соответственных местах.

XXIX. Местное и европейское значение революции

Старая и новая Франция в XVIII в. — Положение между ними французского правительства. — Двойное отношение революции к старой монархии. — Политическое воспитание французского общества. — Судьба политической свободы во Франции. — Общеввропейское значение революции.

В течение XVIII в. в социальной жизни Франции совершался глубокий внутренний процесс. Старая Франция Людовика XIV продолжала сохранять свои прежние формы, не затрагиваемая никакими серьезными преобразованиями, которые бы изменили их заметным образом; но в этих старых формах развивалась новая жизнь, правда, сдерживаемая обветшалыми рамками, но все сильнее и сильнее их расшатывавшая, пока под напором новых сил старые формы не подались, и на развалинах прежних отношений не сформировался новый общественный строй, подготовленный предыдущим развитием. Система Людовика XIV продолжала, в общем, господствовать в официальной жизни Франции, но что рядом с Францией официальной Францией королевской власти и двора, католического духовенства и феодального дворянства, существовала другая Франция, самым рельефным проявлением этого была ее литература с принципами, диаметрально противоположными тем, которые лежали в основе системы Людовика XIV: во французской литературе XVIII в. самыми популярными идеями были идеи духовной и политической свободы и гражданского равенства. Порвав связь с традициями прошлого, эта замечательная литература сделалась органом совсем нового общества, в котором главную роль играли не представители старого католико-феодального строя, а иных общественных слоев, люди либеральных профессий разного звания и люди промышленно-торговых предприятий. Интеллигентная буржуазия XVIII в. сделалась главной сторонницей поступательного движения вперед и в требовании реформ заняла поэтому положение передового класса нации. В первой половине XVIII в. она пошла бы за правительством, которое выступило бы на поприще преобразовательной деятельности, и оказала бы ему поддержку, какой, например, не имел в Австрии «просвещенный абсолютизм» Иосифа II: выразителем новых стремлений был тогда Вольтер. Между тем на сцену не являлось ни монарха, ни министра, подобных позднейшим реформаторам в других странах. Правительство поддерживало старые отношения, и представители старой Франции не думали, чтобы им откуда-нибудь угрожала опасность, кроме разве вольнодумной литературы, да и та увлекала немало людей из тех общественных слоев, под кото-

рые она подкапывалась. Новая Франция между тем росла и делалась более требовательной: с середины XVIII в. ее не удовлетворяла уже программа Вольтера, т. е. реформы всякого рода, но без политической свободы, и вот последняя, проповедниками которой являются Монтескье, Руссо, Мабли и некоторые энциклопедисты, делается одной из наиболее популярных политических идей, одинаково разделявшихся перед 1789 г. и буржуазией, и привилегированными. Когда умер Людовик XV, две Франции уже стояли одна против другой, готовые к борьбе: вопрос был только в том, на чьей стороне будет государственная власть и уступит ли она новым влияниям времени. Революция 1789 г. была победой новой Франции над старой, но старая не умерла, и когда пал властелин, сам победивший революцию, чтобы действовать в духе своего рода «просвещенного абсолютизма», она сделала отчаянную попытку клерикально-аристократической реакции против новых общественных слоев, поднявшихся в XVIII в. из прежнего унижения¹.

Одним словом, *французской нации предстояло выйти на новую дорогу, но французские правители оказались не на высоте своего положения*. В эпоху, когда троны других великих держав занимали Фридрих II, Мария-Терезия, Иосиф II, Екатерина II, во Франции царствовали совершенно опустившийся Людовик XV (1715–1774) и слабохарактерный Людовик XVI. Они оказались неспособными к роли инициаторов реформ, вытекавших из практических нужд государства, и это было в обществе, которое, наоборот, не так, как в других странах, само требовало реформ. Своей привязанностью к старым формам и неспособностью осуществить желания общества названные короли посеяли недоверие к власти, носителями которой являлись: то, чего не могла совершить старая монархия, должна была взять на себя «нация», заменившая в сознании передовой части общества прежние сословия (*états*). Правда, и положение французских правителей было более затруднительным, чем где-либо: в странах «просвещенного абсолютизма» правительствам приходилось иметь дело с одной консервативной оппозицией, но такая оппозиция существовала и во Франции, имея органом своим парламенты, но рядом с ней существовала еще и оппозиция либеральная, какой не было в других странах, да и она видела в тех же парламентах учреждение, обеспечивающее права нации посредством ограничения произвола власти. С разных точек зрения обе эти оппозиции — старая и новая Франция — могли быть и бывали недовольны правительством, но обе сходились на почве идеи политической свободы, хотя понимали ее различно, одни — в аристократических формах Монтескье, другие — в де-

¹ Для истории «старого порядка» во Франции см. соч.: *Eug. Guglia. Die konservativen Elemente Frankreichs am Vorabend der Revolution (Zustände und Personen)*, а также соч.: *Chérest. La chute de l'ancien régime*, имеющее своим содержанием также историю консервативной оппозиции.

мократических формах Руссо и Мабли, одни — думая об участии в правлении для охраны своих привилегий, другие — стремясь к власти, чтобы, обладая ею, изменить общественный строй в духе новых идей. Все это ставило правительственную власть между двух огней: и консервативная, и преобразовательная политика вызывали или ту, или другую оппозицию, а раз правительство решалось на сколько-нибудь крутую меру, против него готовы были соединиться обе оппозиции. При таких обстоятельствах во главе Франции должны были бы стоять не такие люди, какими были Людовик XV и Людовик XVI — с большей частью их советников и руководителей, тем более, что и реформы требовались не одним общественным мнением, которое еще кто-нибудь мог бы обвинять в несоответствии с реальными нуждами страны, а общим расстройством и полнейшей негодностью старой системы. Французская монархия, взявшая под свою опеку общественные силы, приучила нацию смотреть на себя, как на нечто всемогущее, как на силу, во власти которой находится осчастливить или сделать несчастной всю страну: привыкши ожидать всего от власти, ей преимущественно и стали ставить в вину — и не без основания — печальное положение государства. Монархия Людовика XV и Людовика XVI, в сущности, охраняла консервативные интересы, но это не мешало духовенству и дворянству накануне взрыва 1789 г. мечтать об ограничении благосклонного для них абсолютизма и тем самым идти вместе с буржуазией, которая не отделяла политической свободы от социальной реформы. Бедственное положение народной массы, бывшее источником смуты, и революционные идеи, органом которых стала пресса, действовали в том же направлении, подготавливая насильственный переворот¹.

Этот переворот, разрушивший «старый порядок» (*l'ancien régime*) и создавший современную Францию, не мог уничтожить вполне консервативные элементы прежней Франции, которые заняли по отношению к нему оппозиционное положение, а после 1814 г. стали во главе католико-феодальной реакции, и в то же время не мог быть полным разрывом с прошлым, от которого революционная Франция весьма многое унаследовала и по отношению к которому революция весьма часто являлась не переломом, а завершением предыдущего развития. В самом деле, революция, разрушившая прежний строй, во многом лишь завершала работу старой монархии, остановившейся, так сказать, на полдороге². Работа эта заключалась в разрушении старых католико-феодальных основ быта и производилась совместно королевской властью и народной массой, союз которых — один из крупнейших фактов в истории Франции; но в общем старая монархия исполняла эту работу лишь настолько, насколько преж-

¹ См. особенно: *Rocquain*. *Esprit révolutionnaire avant la révolution*.

² См. главным образом соч. Токвиля и Сореля, названные выше.

ние порядки были неудобны и стеснительны для самой королевской власти, сделавшей даже, наоборот, охранительницей тех сторон в этих порядках, которые были невыгодны и тягостны для одной народной массы. Если бы королевская власть и нация шли вместе, рука об руку, Франция должна была бы пережить свой период «просвещенного абсолютизма» и притом с более широким значением и с более глубоким влиянием, чем где бы то ни было, но французская история приняла другое направление, и работа, начатая, но не оконченная старой монархией, была завершена уже новыми силами. Централизируя страну, королевская власть привела к одному знаменателю, поскольку дело касалось ее самой, отдельные провинции Франции, но они продолжали сохранять во всем остальном такие особенности, которые стояли в полном противоречии с национальным единством страны как результатом объединительной политики королей. Нивелируя общественные классы, старая монархия и здесь по отношению к власти поставила все в одинаково бесправное положение и тем не менее сохранила все сословные перегородки, с которыми плохо мирилось новое в политическом отношении нивелированное общество. Более чем где-либо в другой католической стране, во Франции монархии удалось поставить церковь в положение особенно благоприятное для государства, и вместе с тем католически клир пользовался здесь привилегиями, которые давали ему особую силу над культурно-социальной жизнью страны, сделавшейся главным очагом свободного светского Просвещения, между прочим потому, что само же государство не допускало крайностей католической реакции, до каких последняя доходила в других странах. Многое из того, что во Франции фактически существовало в отношениях между государством, с одной стороны, и его областями, его сословиями и католической церковью, с другой стороны, в иных странах в эпоху «просвещенного абсолютизма» было лишь целью, которой нужно было еще достигнуть. Но если королевская власть не чувствовала здесь неудобств со стороны областных, сословных и церковных привилегий, ее не затрагивавших, и потому сама по себе таким образом не нуждалась в изменении этих отношений, то нигде, наоборот, в такой степени, как во Франции, не тяготился указанными привилегиями народ, выдвинувший вперед зажиточное и образованное среднее сословие, которое все более и более проникалось новыми общественными взглядами. Остановившись в своей исторической работе, французская династия, так сказать, отстала от развития, совершившегося в нации, и последняя своими силами и средствами завершила процесс, в котором прежде такую деятельную роль играла старая монархия, завершила объединительную, всеуравнивающую и устраняющую всякий дефеле власти работу государства над разрозненными областями, над обособленными сословиями, над притязаниями клира. Взяв на себя окончание невыполненных задач, ставившихся старой властью общественным ростом

Франции, революция унаследовала у низвергнутой ею монархии и многие приемы, посредством которых та достигала своих целей. И с этой стороны новая Франция не совсем порвала свои связи с Францией старой.

Во многих отношениях «просвещенный абсолютизм» и Французская революция были явлениями одной и той же категории, представляя из себя два разных момента или две разные формы в процессе перехода западноевропейских народов от средневекового социального строя к строю Новейшего времени. Но между ними была и существенная розница. Одно направление было направлением по преимуществу правительственным и государственным: реформы исходили от власти без участия общественных сил и совершались прежде всего во имя государства. Переворот, совершившийся во Франции, ставил своей целью достижение свободы в двух смыслах этого слова, т. е. свободы политической как участия нации в правлении и свободы индивидуальной как эмансипации личности из-под безграничной опеки государства. Старый порядок во Франции являлся полным отрицанием свободы в обоих этих смыслах, и благодаря этому, *французское общество в XVIII в. было воспитано в привычках, наименее благоприятствовавших действительному установлению свободы при новых порядках.* В Англии и в Северной Америке, в которых французы искали для себя политических поучений, то, что было целью стремлений французов, являлось результатом долгого исторического процесса, во время которого принципы свободы входили постепенно в привычки, в нравы, в жизненную практику народа и тем самым создавалось уважение к чужой свободе, без которого желание свободы только для себя не в состоянии осуществить настоящую свободу в жизни. История протестантизма показывает, с каким трудом пролагал себе дорогу принцип свободы совести, несмотря на то, что в теории права индивидуальной совести были поставлены выше всякой принудительной силы уже родоначальниками движения: воспитанные в известного рода привычках, создававшихся старой церковной жизнью, они переносили эти привычки и в новую церковную жизнь. То же было и во Франции: привычки и нравы, привитые обществу прежним режимом, пережили этот режим и породили многие явления, бывшие лишь перелицовкой старых. К тому же для значительной части передового общества свобода народа понималась в смысле власти народа: будь власть в руках народа и будь все равны во власти, последняя могла быть, пожалуй, и беспредельной. Такова была государственная идея Руссо, а этот писатель был одним из главных политических воспитателей французского общества в XVIII в. Все это было крайне неблагоприятно для того порыва к свободе, какой ощутила вся Франция в 1789 г. Но было тут еще и нечто другое.

Исполнить то дело, которое не было совершено старой монархией, т. е. осуществить новую государственную идею, значило во многих отношениях прямо продолжать чисто правительственную и государственную поли-

тику монархии. Революция встретила с консервативной оппозицией, против которой она вооружилась всеми средствами власти. *Защита нового строя, основанного на гражданском равенстве, требовала усиления власти и отодвигала на задний план интересы свободы.* Новому строю грозили не только внутренние враги, но и враги внешние: чрезвычайные обстоятельства требовали чрезвычайных мер, особенно когда Франции угрожало иноземное завоевание. Из этих всех затруднений Франция вышла победительницей, но не достигнув желанной свободы. Империя Наполеона I была своего рода «просвещенным абсолютизмом» в обществе, снявшим с себя феодальную оболочку. Тем не менее попытка основания свободного государства, сделанная французами в 1789 г. и на первых порах окончившаяся, собственно говоря, неудачей, не осталась бесследной в истории как самой Франции, так и других западноевропейских народов. Первая французская конституция (1791) просуществовала самое короткое время, но те принципы, которые были положены в ее основу, сделались руководящими при создании последующих конституционных учреждений во Франции и вне Франции.

Таково значение революции в самой французской истории. Но событие это получило громадное значение в истории других западноевропейских государств. Подобно тому, как немецкая Реформация в XVI в., объясняясь из местных причин и, в свою очередь, объясняя дальнейшую историю Германии, вместе с тем находилась в тесной связи с более общими условиями всей западноевропейской истории и потому оказала сильное влияние на другие страны, так и Французская революция, имея особое отношение к месту своего происхождения, получает и более общий смысл с точки зрения всей западноевропейской истории. Вот те два главных исторических факта, к которым она имеет отношение: *разрушение феодализма, поскольку последний господствовал в социальной сфере и даже окрашивал отношения политические*, с одной стороны, и *внесение в государственную и общественную жизнь начал свободы политической и индивидуальной*, с другой. Постепенное разрушение феодализма — один из основных фактов западноевропейской истории, другой не менее важный факт — рост личного и общественного самосознания, соединенный со стремлением к самоопределению в сферах индивидуальной и национальной жизни. То, что вытекало во Франции из условий, общих для нее и для других стран Западной Европы, и что по местным причинам совершилось в ней ранее, чем в этих других странах (хоть и позднее, чем в Англии), должно было — в иных только формах — произойти везде, где историческая жизнь развивалась из таких же точно основ. Но в истории действует еще и пример: распространение французских идей среди разных народов подготовило почву для того, чтобы и пример приложения этих идей к жизни, поданный Францией, мог также найти подражание. Таким образом, общие условия быта и общие политические идеи сами по себе были

условиями для перехода движения, начавшегося из Франции, в другие страны, подобно тому, как это уже было с переходом Реформации из Германии к разным народам католической Европы. Но в данном случае на сцену выступил и еще один фактор.

В 1792 г. между революционной Францией и монархической Европой началась война, почти непрерывно продолжавшаяся около четверти века. В этой борьбе победа была на стороне Франции; в конце концов она отстояла свои новые учреждения и произвела целый переворот в самой этой Европе, принудив даже ее монархические правительства вступать в сделки с правительством, вышедшим из недр революции. *Французская революция была началом целого ряда крупных перемен*: в период, о котором идет речь, не только была переделана политическая карта Европы, но и во внутренней жизни разных государств под прямым или косвенным влиянием Франции происходили значительные изменения. Вся новейшая западноевропейская история развивается поэтому в направлении, которое ей дал толчок, вышедший из Франции. «Великая» революция разрушала не только старую Францию, но и вообще старую Европу. Борьба между новыми началами и стариной тотчас же получила международный характер, как то было и в эпоху борьбы Реформации и католической реакции. Одним из ближайших результатов французского переворота было то, что королевская власть и клерикально-феодалные элементы, не особенно между собой ладившие в эпоху «просвещенного абсолютизма», теперь, одинаково подвергаясь опасности со стороны конституционного и демократического движения, начинают сближаться между собой. Союз этот одерживает победу в 1814 г.; но победой этой он был обязан новой силе, впервые проявленной опять-таки Францией, силе наций, пробудившихся к исторической жизни под влиянием все тех же великих событий эпохи. Старый феодальный строй разлагал нации на обособленные сословия, а при политическом режиме Нового времени нация поглощалась в государстве, но и для этих отношений наступали новые времена¹.

Время от начала Французской революции до падения империи Наполеона I (1769—1815), составляя особый период западноевропейской истории, может быть подразделено на два периода — эпоху Французской революции (1789—1799) и эпоху консульства и империи или наполеоновскую (1799—1815). Каждый из них мы рассмотрим отдельно, но прежде мы должны сделать очерк внутренней истории Франции от 1715 до 1789 г.

¹ *Laurent. Les nationalités* (X т. еро «Etudes sur l'histoire de l'humanité»).

XXX. Царствование Людовика XV¹

Общее значение царствования Людовика XV. — Личный характер Людовика XV. — Уничтожение завещания Людовика XIV. — Ссылки на права нации. — Нравственное разложение высшего французского общества. — Система Лоу и значение ее истории. — Разложение старого общества и литература XVIII в. — Роль парламентов при Людовике XV. — Министерство Террэ и Мону. — Борьба с парламентами в конце царствования Людовика XV. — Дело Бомарше и памфлеты против Мону. — Необходимость реформы.

История долгого царствования Людовика XV была историей слабого, малодетального, нерадивого правительства, историей постепенного упадка и разложения «старых порядков», но зато и историей роста новых общественных сил и зарождения новых общественных идей. Уже в конце царствования Людовика XIV Франция находилась в весьма тяжелом состоянии и нуждалась в энергичных реформах, и тогда уже зарождалось во французской литературе оппозиционное направление. Из предыдущего изложения «старых порядков» и новых идей мы познакомились с наиболее важными сторонами быта дореволюционной Франции и с главнейшими направлениями французской оппозиционной литературы. Изучение истории царствования Людовика XV показывает, как мало при нем изменились в существе дела «старые порядки» и как мало имели практического значения новые идеи. Чем неподвижнее было само правительство, и чем далее уходили вперед новые требования, предъявлявшиеся государству; чем неизменнее оставались дряхлевшие порядки, и чем быстрее происходило общественное развитие, тем все более и более увеличивалась пропасть между практикой и теорией, между объективной и субъективной сторонами жизни. Еще в конце царствования Людовика XIV намечался будущий разлад. Эпоха Людовика XV ничего не сделала для устранения старых зол, ставших совершенно очевидными, и для удовлетворения новых потребностей, явившихся результатом изменений в самой глубине социальной жизни: пропасть все увеличивалась в своих размерах. Конечно, это должно было отразиться и на общем ходе дел в государственном организме, где все так было тесно связано между собой. Народное и государственное хозяйство, земледелие, промышленность, финансы были в рас-

¹ О состоянии Франции при Людовике XV см. выше, равно как указания на литературу по «старому порядку» во Франции. О Людовике XV и его царствовании: *Jobez A. La France sous Louis XV; Bonhomme H. Louis XV et sa famille.* Соч. De Broglie, Boutaric, Pajot, Vandal'я и др. Кроме того, в сочинении Онкена о «Веке Фридриха Великого» см. отдельные места, посвященные Франции при Людовике XV.

стройстве, администрация и правосудие — также, законодательная деятельность — равным образом. *Франция досталась Людовику XVI в таком виде, что требовалась самая радикальная реформа*: так все обветшало, расшаталось и расстроилось, так все было запущено, благодаря беспечности и бесдеятельности верховной власти.

Людовик XV вступил на престол пятилетним ребенком. Воспитатели сумели ему внушить то представление о безграничных правах королевской власти, которое сделалось официальным политическим догматом Франции Людовика XIV, но не внушили мальчику-королю ни малейшего понятия о королевском долге. В цинических заявлениях, приписываемых Людовику XV: «на наш век хватит» (*après nous le déluge*) и «будь я на месте моих подданных, я стал бы бунтовать», — были, так сказать, формулированы логические выводы из принципов, внушавшихся ему в детстве. Ему было только пять лет, когда его гувернер Вильруа, показывая ему на народ, собравшийся под окнами дворца, говорил: «Государь! Все, что вы видите, — ваше» (*tout ce que vous voyez est à vous*). До тринадцатилетнего возраста Людовик XV находился под регентством своего родственника, герцога Филиппа Орлеанского (1715–1723), прославившегося страшным развратом. Пришедши в возраст, сам Людовик XV оказался человеком также порочных наклонностей, легко подчинявшимся влиянию своих любовниц и развратных собутыльников, очень мало интересующаясь делами. Сначала последними заведовал герцог Бурбон, потом кардинал Флери (до 1743 г.), после чего в политику стали вмешиваться королевские фаворитки: герцогиня де Шатору и маркиза де Помпадур (ум. в 1764 г.), при которой возвысился герцог Шуазель, а под конец царствования — графиня Дю Барри, добившаяся отставки и ссылки Шуазеля¹. Сначала к Людовику XV французы относились с большой преданностью, называя его возлюбленным (*le Bien-aimé*); например, опасная его болезнь во время войны за австрийское наследство (в которой Франция была против Австрии) повергла страну в искреннюю печаль, которая сменилась шумной радостью, когда молодой король выздоровел. Мало-помалу, однако, это чувство перешло в ненависть и презрение, вызывавшиеся зазорным поведением Людовика XV и его дурным правлением, которое он, в сущности, предоставлял своим фаворитам и креатурам своих метресс. Двадцать лет продолжалось господство г-жи Помпадур, которая склонила Людовика XV к участию в Семилетней войне в союзе с Австрией после того, как Мария-Терезия написала всесильной фаворитке любезное письмо, назвав ее своей «кузиной». Когда с годами г-жа де Помпадур стала утрачивать свою красоту, она продолжала держать Людовика XV в своих сетях, между прочим, приискивая ему но-

¹ О m-me de Pompadour соч. Capefigue, Compardon и др., о Дю Барри — соч. Ch. Vatel'я; об обеих еще писали братья E. et J. Goncourt. Людовик XV был женат на Марии Лешинской, о которой есть соч. графини de Ségur.

вых красавиц, к которым, однако, не позволяла ему привязываться, боясь, как бы та или другая не сделалась ее соперницей по влиянию на короля. Расточительность двора при г-же де Помпадур достигла страшных размеров: маркиза распорядилась государственной казной, как собственной шкатулкой, раздавала деньги направо и налево, тратила громадные суммы на придворные увеселения, которыми она старалась развлекать пресыщенного короля и устранять от занятия делами, проигрывала в карты, а то и просто брала себе, так что по смерти у нее оказалось весьма значительное состояние. Если Людовик XV чем особенно интересовался, так это разного рода интригами: например, при нем одновременно с официальной дипломатией действовала еще дипломатия тайная, личный «секрет короля»¹. Безнаравственные поступки Людовика XV совершались открыто, а народная молва их еще преувеличивала, так что о короле во вторую половину его царствования ходили чудовищные слухи, все более и более дискредитировавшие королевскую власть в глазах подданных². В Людовике XV с грубым развратом и с цинически-легкомысленным отношением к государственным делам соединялись еще страсть к придворному блеску и большая набожность, поддерживавшие старый союз королевской власти с аристократией и клиром. Общественное настроение по отношению к нему делалось все враждебнее и враждебнее, тем более, что и во внешней политике Франция роняла свое достоинство. Особенно болезненно отзывалась на национальном чувстве потеря Францией североамериканских и ост-индских колоний, перешедших в руки англичан. Польша была старой союзницей Франции, и последняя ничего не могла сделать, чтобы помешать совершиться первому польскому разделу.

Таков общий характер царствования Людовика XV. Мы остановимся еще на некоторых его эпизодах, наиболее характерных для истории разложения «старых порядков», подготовившего революцию.

Людовик XV вступил на престол ребенком: в последние годы царствования Людовика XIV перемерли почти все члены его семьи, его сын, старший внук (герцог Бургундский) с женой и двумя своими старшими сыновьями и младший внук (герцог Беррийский), так что престол должен был достаться третьему сыну старшего внука, над которым должно было быть учреждено регентство. Права на последнее принадлежали королевскому

¹ *De Broglie. Le secret du roi.*

² Между прочим, и в историческую литературу попало известие об особом «Обществе голодовки» (*pacte de famine*), т.е. хлебной спекуляции насчет народного голода, в которой участником называли самого Людовика XV. В настоящее время это нужно признать за легенду, имевшую свою основу в плохо понятых правительственных мероприятиях по хлебной торговле. *Bard G. Le pacte de famine; Biollay. Le pacte de famine; Afanassief. Le pacte de famine.* Г.Е. Афанасьев изложил результаты прежних исследований и свои собственные разыскания в одной главе своей книги «Условия хлебной торговли во Франции в XVIII в.» и в отдельной статье (Истор. обозр., т. II).

племяннику, герцогу Филиппу Орлеанскому, но Людовик XIV его очень не любил, а в обществе ходил даже слух, будто этот принц крови был прямой виновник всех смертей в королевском семействе, пролагая себе путь к регентству или даже к короне. Престарелого Людовика XIV сильно занимал вопрос о регентстве, занимал и вопрос о возможности прекращения династии. У него были еще незаконные сыновья от одной из его метресс (г-жи де Монтеспан), которых он легитимировал, и вот в пользу их он составил духовное завешание, признав за «легитимированными принцами» наследственное право на престол, дабы династия не могла прекратиться, и тем отстраняя от трона герцога Орлеанского, хотя и ближайшего родственника королевского дома. Мало того, старший легитимированный принц назначался опекуном малолетнего Людовика XV, а герцог Орлеанский должен был быть лишь председателем совета регентства, в состав которого входили легитимированные принцы, маршалы и министры и который, должен был решать все дела по большинству голосов. За легитимированных принцев стояли двор, иезуиты, высшие чины армии, на стороне герцога Орлеанского — парламент, янсенисты, люди промышленности и торговли. Парламент кассировал завешание Людовика XIV, и герцог Орлеанский, возвративший парламенту старые права, был объявлен единоличным регентом¹. *Уничтожение завешания Людовика XIV было первым шагом реакции против его системы*, но герцог Орлеанский был далек от того, чтобы принципиально изменить прежние правительственные порядки и дело ограничилось несколькими мерами, лишенными всякой последовательности. В одном только отношении он, а с ним и его противники, отступили от идей покойного короля. Людовик XIV не признавал за французской нацией никаких прав, теперь эти права стали в теории признаваться. Принцы крови, враждебно относившиеся к легитимированным, объявляли, что завешание Людовика XIV противоречит самому прекрасному праву нации — праву по собственному усмотрению распорядиться короной в случае прекращения династии. На это легитимированные им отвечали, что, будучи также королевской крови, они тем самым включены в договор, существующий между нацией и царствующим домом, и что вообще всякое важное государственное дело может быть решено в малолетство короля лишь тремя чинами королевства. Права нации и определенно признавались в эдикте маленького короля, которым он отменял распоряжение своего прадеда: тут прямо говорилось, что в случае прекращения династии нация одна могла бы исправить дело мудрым выбором, королевская же власть не имеет права распоряжаться короной. В то же время тридцать девять членов высшего дворянства заявляли, что такого

¹ *Lemontey. Hist. de la régence et de la minorité de Louis XV; Ed. Barthelemy. Les filles du regent; De Seilhac. Vie de l'abbé Dubois.*

рода дело касается всей нации и потому может быть решено лишь на собрании трех чинов королевства. Таким образом, парламенту возвращались его права, что возобновляло его оппозицию против неограниченного законодательного права короля, а заявления о том, что царствующая династия получила свою корону от нации, — заявления, исходившие от принцев крови, пэров Франции, высшего дворянства и даже от самого короля и соединявшиеся со ссылками на три чина государства, — указывали, что *в обществе еще не умерла память о генеральных штатах*, не собиравшихся уже более ста лет. Прежде, нежели политическая литература второй половины XVIII в. распространила теорию о народном верховенстве и национальном представительстве, сама власть как бы отрекалась от политических принципов Людовика XIV, не признававшего прав нации и утверждавшего, что она целиком заключается в особе короля: указанными заявлениями правительство собственными руками подкапывало под собою старые основы политического быта и первое начинало проповедовать идеи, не согласные с известными теориями Людовика XIV.

В эпоху регентства власть не только теоретически подрывала свои прежние права, но и *морально роняла себя в глазах общества*. Герцог Орлеанский был человек блестящих способностей, но без всякого внутреннего содержания. Своими скандальными поступками он ронял достоинство той власти, которую представлял, но то, что в этом отношении было начато регентом, продолжалось с неменьшим успехом и самим королем, едва он пришел в возраст. Вместе с монархией в лице ее представителей *разлагалось и высшее французское общество, утрачивая в развращенной жизни, какой стало предаваться с эпохи регентства, всякое уважение со стороны народных масс*. Привилегированные, на которых во Франции не лежало местной службы, и которые бежали из своих поместий, — вели праздную, полную удовольствий жизнь, центром которой был королевский двор. Бесконечные траты на роскошь, удовольствия и разгул, приводящие к разорению, вечная праздность, протекающая среди постоянных развлечений, полное отсутствие сознания, что должны же быть у людей обязанности по отношению к отечеству, к народу, легкомысленная веселость и шутливое остроумие, прикрывающие внутреннюю пустоту, — вот обычные черты, характеризующие жизнь высшего французского общества в XVIII в., — общества, равнодушного к общественным делам, небрежного и по отношению к частным своим делам, не понимающего опасности, в какой находилось собственное его положение, благодаря общему расстройству страны¹.

¹ См. блестящее изображение нравов высшего общества у Тэна (в I т. его «Происхождение современной Франции», переведенном и по-русски).

Уже в эпоху регентства вполне проявилась вся эта порча старой Франции. Особенно тут характерен один эпизод — известная история финансовой системы Джона Лоу¹. Здесь не место излагать подробности этой истории, представляющей для нас двоякий интерес. Во-первых, мы имеем здесь дело с одним из крупных финансовых кризисов, или, как говорят еще, «крахов», и с этой точки зрения «система» Лоу — явление весьма любопытное в истории крупных кредитных и промышленно-торговых предприятий, тем более что Франция долго не могла оправиться от бедственных следов краха начала двадцатых годов XVIII в. Во-вторых, — и именно эта сторона теперь для нас особенно любопытна, — история «системы» Лоу — весьма важная страница в истории деморализации высшего французского общества. Регента в 1716 г. расположил в свою пользу шотландский авантюрист Джон Лоу, сколотивший себе миллионное состояние денежными аферами и уже успевший потерпеть не одну неудачу в попытках заинтересовать разные правительства своими проектами верного и быстрого обогащения. Сначала все шло хорошо: Лоу получил разрешение основать акционерный банк, ссужавший деньги частным лицам на выгодных условиях и выпускавший билеты, которые казна принимала наравне с деньгами (1717). Но Лоу на этом не остановился, а соединил еще со своим банком другое предприятие — вест-индскую компанию, тоже акционерную. Ее акции стоили при выпуске 500 ливров, но скоро цена их поднялась до 18 и даже 20 тысяч ливров, т. е. увеличилась в 36–40 раз, благодаря чему многие быстро обогатились, купив акции по номинальной цене и продав их с громадной прибылью, тогда как другие впоследствии, наоборот, разорились, приобретая эти бумаги по высокой цене перед тем, как они начали падать. Герцог Орлеанский всячески помогал Лоу расширять предприятие: в 1718 г. банк был объявлен королевским, и его акции были выкуплены у первоначальных владельцев; затем Лоу получил монопольные права ост-индской компании, право чеканки монеты, табачную монополию, откуп налогов. В то же время Лоу неумеренно выпускал денежные знаки, на которые был большой спрос в публике, жадной до легкой наживы, тем более, что о будущих барышах рассказывались чудеса. Начался страшный ажиотаж, и спекулятивные сделки на акции приняли ужасающие размеры. Первый признак понижения их цены был, однако, сигналом к началу паники. Прежде всего бросились менять банковые билеты на золото, но золота в кладовых банка не было. Лоу, назначенный в 1720 г. генерал-контролером финансов, добился приказа, которым запрещалось частным лицам иметь больше 50 ливров звонкой монеты под строжайшим наказанием (конфискации и 10 тысяч ливров штрафа), но эта и другие

¹ Бабет И. Джон Лоу; *Thiers. Hist. de Law; Daire Eug. Économistes financiers du XVIII siècle. Levasseur. Recherches historiques sur le système de Law; Horn. Jean Law; Вурм М. История торговых кризисов.*

подобные меры не спасли компанию от краха, разорившего массу людей, хотя кто вовремя успел реализовать свои бумажные ценности, наоборот, обогатился. В биржевой игре на повышение и понижение, смешиваясь с толпой разночинцев и простолюдинов, принимала участие вся аристократическая Франция. Знатно овладела жажда легкой наживы и сильных ощущений. Герцог Бурбон хвастался своим портфелем, набитым акциями, и ему напоминали о том, что у его предка были actions (подвиги) получше этих. Лица, принадлежавшие к высшему свету, толпились в передней финансового гения, как незадолго перед этим толпились разве только в приемной версальского дворца. Многие из них заискивали у лакея Лоу, от которого зависело впустить в кабинет своего барина, лестили любовнице Лоу. За самим директором компании ухаживали великосветские дамы. Весьма важный барин, маркиз д'Уаз, сделался женихом трехлетней дочери одного ловкого спекулянта, нажившего миллионы, и в ожидании брачного возраста невесты получал от будущего тестя приличную своему званию пенсию. Принц Кариньян для заключения сделок выстроил барак и выхлопотал ордонанс, запрещающий их совершать где-либо, кроме его помещения. Один молодой аристократ, родственник регента, заманил в кабачок биржевого маклера, который принес с собой акций на большую сумму и был зарезан с целью грабежа; потом убийцу всенародно казнили на Гревской площади. Материально аристократия также немало проиграла во время господства «системы», но *главным образом она себя обесславила* вместе с регентом, обнаружившим страшное легкомыслие во всей этой истории. Духовенство тоже проявило жадность к деньгам, столь легко достававшимся, когда «система» еще процветала, и это впоследствии давало в руки врагов духовенства лишний против него аргумент. Возбужденное катастрофой общественное мнение нашло самое полное и вместе с тем весьма резкое выражение в той сатирической литературе, которой во время регентства было начато воспитание французского общества в оппозиционном духе.

Со времен Филиппа Орлеанского высшие представители власти, двор, духовная и светская аристократия все более и более катились по наклонной плоскости к той пропасти, которая должна была их поглотить. Вообще отрицательное отношение к королевской власти, к католической церкви, к феодальному дворянству, характеризующее литературу в царствование Людовика XV, не было результатом одного только теоретического рассуждения, извлекавшего свои выводы из посылок рационалистической философии, но отражало на себе и все то презрение и негодование, какие должны были ощущать в себе лучшие люди из всех общественных классов, непосредственно наблюдая жизнь высших сословий, в руках которых были вся власть, все влияние на общественные дела, все почести, привилегии и права, недоступные для других. Начиная с памфлетов, явившихся

по поводу катастрофы «системы» Лоу или вообще направленных против регента, начиная со знаменитых «Les j'ai vu», приписывавшихся молодому Вольтеру, и с написанных около того же времени «Персидских писем» Монтескье — до самого кануна революции жизнь высшего французского общества давала писателям XVIII в. немало аргументов против «старого порядка», оказывавшегося несостоятельным и с другой точки зрения — в том именно общем внутреннем расстройстве, которое мало озабочивало разве лишь самого Людовика XV и его двор. В то время, как в литературе проповедовались новые принципы, привилегированные, со своей стороны, не выставили ни одного крупного писателя, который вооружился бы в защиту порядка, подкапывавшегося в самых своих основах. Мало того: на словах аристократы нередко разделяли воззрения «плебейской философии», да и среди великосветских аббатов были вольнодумцы.

Хотя «старый порядок» основывался на солидарности между королевской властью и привилегированными, дело все-таки не обходилось без столкновений между этими союзниками, — столкновений, которые, впрочем, не оказывали значительного влияния на общий ход дел. Главным оплотом консервативных интересов были парламенты, с которыми, как мы видели в другом месте, у королевской власти происходили в XVIII в. довольно резкие коллизии. Защищая «старый порядок», парламенты, однако, хранили в себе традиции прежней сословной монархии, давно уже уступившей место королевскому абсолютизму, и в то же время ссылались на новые политические идеи, так что их оппозиция получала революционный характер и тем располагала в свою пользу общественное мнение, находившееся под влиянием новых общественных учений. *Борьба между королевской властью и парламентами в царствование Людовика XV представляет из себя один из наиболее ясных признаков разложения ancien régime*¹. Людовик XIV не допускал никакой самостоятельности парламента, и если последний тем не менее стал играть снова политическую роль, начав с уничтожения его завещания, то это одно уже указывает на ослабление абсолютизма. С другой стороны, не нужно забывать, что члены парламента, в сущности, были чиновники, и их оппозиция получала характер, так сказать, прямого противодействия правительству со стороны собственных его слуг. Не представляя собой закономерного ограничения королевской власти от имени нации, парламентское вмешательство в законодательную сферу тем не менее было одним из препятствий, тормозивших во Франции преобразования: когда правительство задумало реформы, парламентская оппозиция стала поперек дороги, и нация сделалась свидетельницей распри между королевской властью и старинным учреждением,

¹ Литературу о парламентах см. на с. 56. Кроме того: *Aubert*. Le parlement de Paris. См. также общие истории XVIII в. во Франции и истории царствования Людовика XV, а также соч. Guglia, Rocquain'a и Chérest'a.

насчитывавшим чуть не столько же веков существования, как сама монархия, и еще более, нежели сама она, сделавшаяся главным оплотом консервативных интересов. Нельзя вместе с тем сказать, чтобы парламент жил в мире и с другими силами старой Франции: между парламентской аристократией, т. е. так называемой *noblesse de robe*, и аристократией феодальной, или *noblesse d'épée*, существовал сословный антагонизм; в деле изгнания из Франции иезуитов, пользовавшихся большим влиянием в духовенстве, парламенту принадлежала одна из самых главных ролей. Наконец, не менее любопытно и то, что члены учреждения, стоявшего на страже всяких привилегий, защищавшего все старое и обветшалое, преследовавшего философов и сжигавшего их сочинения, сами начинали говорить революционным языком, заимствуя из оппозиционной литературы ее идеи и даже ее фразеологию. И в этом нельзя не видеть одного из признаков разложения «старого порядка», ибо раз вещь не соответствует своему принципу, это уже указывает на начало ее падения. Вообще интересно то, что *первое нападение на королевскую власть сделано было во Франции со стороны представителей «старого порядка»*.

В другой связи мы упоминали уже о главных случаях столкновений между королевскою властью и парламентами при Людовике XV. В середине XVIII в. составила такая теория, будто парламенты суть лишь отделения (*classes*) общекоролевского учреждения, без согласия которого не может быть издано ни одного закона. В этом смысле писались сочинения, доказывавшие изначальность (с меровингской эпохи) прав парламентов. Вскоре после этого парижскому парламенту пришлось играть упомянутую уже роль в деле уничтожения ордена иезуитов во Франции, причем на стороне магистратуры было тогда и большинство философов, хотя сам парламент был далек от того, чтобы пользоваться тогдашними философскими аргументами против ордена, т. к. в доводах против иезуитов, шедших еще с середины XVI в., во Франции никогда не бывало недостатка, да и сама вражда парламента к иезуитам была очень старинной. Около того же времени (1763) парижский парламент объявил, протестуя против новых эдиктов о налогах, что обложение, вынужденное посредством *lit de justice*¹, есть низвержение основных законов королевства. К такого рода заявлению примкнули парламенты в Руане и Бордо, т. к. учение о том, что все парламенты, как «классы» единого учреждения, должны действовать солидарно, все более и более входило в сознание провинциальной магистратуры. На этой почве и подготовился самый резкий конфликт между парламентами и королевскою властью в конце царствования Людовика XV.

¹ Ложа справедливости (*фр.*). Словарь Брокгауза и Эфрона (Т. XVII а. СПб., 1896. С. 664) поясняет: «Торжественное заседание французского (парижского) парламента времен старого порядка, в присутствии короля и пэров, обязывавшее парламент вносить все королевские постановления (ордонансы) в свой реестр и лишавшее их возможности протеста». — *Прим. ред.*

В начале семидесятых годов правительство проявило некоторую энергию. Еще при Шуазеле, положение которого покачнулось после смерти г-жи де Помпадур и под влиянием не любившей его г-жи Дю Барри, канцлером Франции был назначен (1768) Мопу¹, а генерал-контролером финансов (1769) его друг аббат Террэ. Оба они были люди решительные, а старые предания над ними не имели никакой силы. Первым выступил Террэ с новыми финансовыми мерами. Финансы во Франции были расстроены². Система налогов была крайне несовершенна; расходы не соответствовали доходам и не подлежали никакому контролю; никто не знал настоящей цифры ни тех, ни других, казна не выходила из долгов, и сами долги эти возрастали непомерно. Единственная попытка уменьшить цифру долга посредством ежегодного погашения сделана была при Людовике XV, когда Машо (Machault) создал в 1764 г. для этого особую кассу (*caisse d'amortissement*), которая в шесть лет уменьшила долг на 76 миллионов. Террэ захватил предназначенные для этой цели суммы и прекратил дальнейшее погашение государственного долга: министр менее всего отличался церемонностью. В 1770 г. ему предстояло прямо выбирать между объявлением полного банкротства или сокращением платежей по долговым обязательствам кредиторам государства: он предпочел последнее, т. е. произвольно уменьшил ренты, выплачивавшиеся казной лицам, которым она была должна, что вызвало всеобщее негодование. Парламент, членов которого эта мера не задевала, не протестовал, однако, против такого правонарушения. Нельзя не заметить, что у Террэ все-таки еще было некоторое понимание истинного положения дел: он стремился к экономии и делал Людовику XV указания на необходимость перемены в способах ведения государственного хозяйства, хотя совершенно тщетно, ибо на одни свадебные торжества, когда будущий Людовик XVI, внук и наследник короля, женился на дочери Марии-Терезии, были потрачены громадные суммы денег.

Между тем произошли некоторые события, приведшие в столкновение с правительством парламенты. Бретанский губернатор, герцог д'Эгильон запятнал себя разными злоупотреблениями по своей должности и был наконец отозван. Местный парламент (реннский), живший с ним в ссоре, и провинциальные штаты Бретани возбудили против него процесс и нашли поддержку со стороны парижского парламента, но двор

¹ О нем соч.: *Flammermont*. Le chancelier Maupeou et le parlement.

² *Clamageran*. Hist. de l'impôt en France; *Vuitry*. Etudes sur le régime financier en France avant la révolution; *Noël*. Etudes sur l'organisation financière de la France; *De Nervo*. Les finances françaises sous l'ancienne monarchie etc.; *Stourm*. Les finances de l'ancien régime et de la révolution; *Vührer A.* Histoire de la dette publique en France. См. также новейшее сочинение Gomet'я «Des causes financières de la révolution française». *Бржецкий Н.* Податная реформа. Французские тори XVIII в.

взял герцога под свою защиту, и король хотел прекратить все дело: процесс тянулся в парижском парламенте уже около двух месяцев, когда Людовик XV предписал считать герцога д'Эгильона свободным от всякого обвинения (1770). Парижский парламент не повиновался. Объявив герцога лишенным прав и привилегий пэра, пока он не очистится от подозрений, позорящих его честь, он протестовал против стремления двора «низвергнуть старое государственное устройство и лишить законы их равной для всех власти», поставив на их место голый произвол. Провинциальные парламенты заявили свою солидарность с парижским. 24 ноября 1770 г. появился составленный канцлером Мопу королевский эдикт против парламентов. Они обвинялись в том, что проповедуют новые принципы, будто они представители нации, непременные выразители королевской воли, стражи государственного устройства и т. п. «Мы, — говорил Людовик XV в своем эдикте, — мы держим власть нашу исключительно от Бога: право издавать законы, которыми должны управляться наши подданные, принадлежит нам вполне и безраздельно». Поэтому парламентам запрещалось говорить об их единстве и о «классах» единого учреждения, сноситься между собою, прерывать отправление правосудия и протестовать посредством коллективных отставок, как это делалось прежде. Парламент протестовал против этого эдикта: судьи в нем увидели нечто противное основным законам королевства и, объявив, что не считают себя достаточно свободными, чтобы постановлять приговоры о жизни, имуществе и чести подданных короля, прекратили отправление правосудия. Тогда Мопу решился на самую резкую меру. Добившись у Людовика XV отставки Шуазеля, со стороны которого опасался противодействия, канцлер послал в ночь с 19 на 20 января 1771 г. мушкетеров ко всем членам парламента с требованием немедленно ответить посредством письменного «да» или «нет», желают ли они возвратиться к исполнению своих обязанностей. Сто двадцать членов отвечало отказом, и их сослали, равно как и других 38 человек, которые, дав сначала согласие, потом заявили, что солидарны со своими товарищами. Их должности, составлявшие частную их собственность, были конфискованы и объявлены вакантными, а обязанности судей должны были исполнять особые комиссии из членов государственного совета. В былые времена ссылка членов парламента была лишь средством заставить их быть сговорчивее и уступчивее, но теперь дело получило более серьезный характер. 23 февраля Мопу объявил судебной комиссии, заступившей место парламента, что король решил в округе парижского парламента учредить шесть новых высших судов (*conseils supérieurs*) и начать общую судебную реформу, уничтожив продажность должностей, заменив наследственных судей назначаемыми от правительства и оплачиваемыми жалованьем, отменив взносы тяжущихся в пользу судей, упростив, ускорив и удешевив судопроизводство. Эти обещания никого не удовлет-

ворили, так что совершенно безуспешно Вольтер, сочувствовавший возведенной реформе, напоминал обществу процессы Каласа и Сирвена, лежавшие несмыслаемым пятном на старом судопроизводстве. Оставаясь верным идее «просвещенного абсолютизма», Вольтер приветствовал удар, нанесенный парламенту рукой министра, но громадное большинство думало иначе: парламент, говорили в обществе, защищал свободу от деспотизма, а «революция»¹, совершенная Мопу, наоборот, уничтожала всякие преграды, сдерживавшие произвол власти. К тому же и повод, из-за которого произошла распря с парламентом, был выбран весьма неудачно. Новый суд не пользовался доверием, и адвокаты даже отказывались иметь в нем дела. В тогдашней прессе чуть не один Вольтер указывал на то, что «основными законами», защищавшимися парламентом, были все те злоупотребления, от которых страдал народ. Большая часть тогдашних памфлетов обрушилась на «майордома» (le maire du palais) Мопу как на врага нации. Провинциальные парламенты объявляли, что все совершившееся противозаконно и что лица, которые возьмут на себя исполнение судебных обязанностей в новых судах, суть негодяи. Протестовала и высшая финансовая палата (cour des aides), осмелившаяся потребовать созвания генеральных штатов и заявившая при этом, что она защищает «дело народа, от которого и во имя которого (par qui et pouf qui) король царствует». За парламент заступились также принцы крови и пэры Франции, подавшие королю особый мемор. Ничего подобного не происходило во Франции со времен Фронды, но Мопу был непреклонен. Протестовавшие парламенты были уничтожены, и судьи лишены своих должностей; cour des aides была равным образом уничтожена; принцы крови и пэры, подписавшие мемор, удалены от двора. Таким образом, *в начале семидесятых годов королевская власть была в открытой борьбе с консервативными силами Франции*, и монархия наносила удар учреждениям, которые были почти столь же древни, как и она сама. У Мопу был целый план судебной реформы в духе новых идей, но пора для опыта применения к Франции «просвещенного абсолютизма», по-видимому, миновала. Вновь учрежденный в Париже суд (апрель 1771 г.) получил насмешливое название «парламента Мопу», которое было распространено и на суды, открытые перед тем в шести других городах. В памфлетах эпохи к «парламенту Мопу» относились, как к «вертепу разбойников» (caverne des voleurs). Место его заседаний пришлось окружить войском, чтобы народ не сделал на него нападения, но и это также эксплуатировалось врагами нового суда: могли ли де быть свободными приговоры судей, находившихся под военной охраной? К лицам, принявшим на себя должности в новом суде, относились с нескрываемым презре-

¹ Ср. лондонский памфлет 1774 г. *Journ. Hist. de la revolution opérée dans la constitution de la monarchie française* par M. de Maupeou, chancelier de France.

нием. Реформа тем не менее была проведена, и мало-помалу общественное мнение успокоилось; в некоторых местах народу даже стали нравиться новые суды, и бывали случаи, что толпа прямо стала выражать свое неодобрение членам прежних судов. Старая магистратура продолжала оказывать сопротивление: ее представители в большинстве не хотели возвращаться к судейской службе и не хотели брать предлагавшихся им денег в виде выкупа принадлежавших им мест, несмотря на то, что для этого был назначен срок (1 апреля 1773 г.); и королевская казна поэтому оставалась в выигрыше на целых 80 миллионов. Успокоение общественного мнения было однако лишь временным: едва скончался Людовик XV, как общество стало высказываться с такой силой за парламенты, что Людовик XVI счел нужным их восстановить. Мы еще увидим, что *в новое царствование парламенты сделались главными противниками реформ, и что между ними и королевской властью произошла новая борьба*, бывшая, так сказать, уже прелюдией к великой революции.

Как отнеслось общество к судебной реформе Мопу, видно из одного любопытного эпизода, характеризующего тогдашнее настроение. В это время во Франции начинал свою литературную деятельность Бомарше¹, публицист и драматург, впоследствии автор «Севильского цирюльника» (1775) и «Свадьбы Фигаро» (1784) и издатель полного собрания сочинений Вольтера. У Бомарше был в новом парижском суде процесс по взысканию одного долга; он тот процесс проиграл, возбудив против себя еще обвинение в попытке подкупить судью. Дело в том, что Бомарше, нуждаясь переговорить с докладчиком по своему делу и не получив к нему доступа, сделал подарок жене этого судьи, и та ему устроила свидание со своим мужем, что и послужило потом поводом к осуждению Бомарше за подкуп судьи. Остроумный и не особенно застенчивый писатель перенес свое дело на суд общественного мнения, сумел смешать с грязью «парламент Мопу» в блестящих памфлетах, в которых его личное дело было представлено как имеющее общественный интерес. Читая «мемуары» Бомарше, смеялась вся грамотная Франция и с ней вместе сам Людовик XV. Бомарше сделался героем дня, и представители высшего общества всячески выражали ему свое сочувствие, хотя свое личное дело он связал не с той консервативной оппозицией, которая проявилась в протестах парламента и принцев крови, а с новыми либеральными идеями, нашедшими выражение и в его бессмертных комедиях. Вообще тогдашняя памфлетная пресса в вопросе о парламентах становилась на точку зрения господствовавшей политической теории, а таковой была доктрина Руссо. Правительственные заявления в смысле абсолютизма королевской власти встречали возражения в

¹ L. de Loménie. Beaumarchais et son temps (автору этой прекрасной монографии принадлежит еще сочинение о семействе Мирабо, о чем ниже), а кроме того, сочинения Battelheim'a, Liutilhas'a и статья Алексея Николаевича Веселовского в «Вестн. Евр.» за 1887 г.

духе учения о народном верховенстве. Например, угроза одного из министров бретанским провинциальным штатам, что они в три дня будут кассированы, если станут отстаивать парламент, вызвала летучий листок под заглавием «Le propos indiscret», где конфликт правительства с сословно-представительным учреждением названной провинции рассматривался с точки зрения «общественного договора», нарушаемого королем, «т. е. агентом нации», желающим превратить в «рабов» двадцать миллионов «свободных граждан». *Прежде чем сделаться основой нового политического порядка, новые политические идеи послужили знаменем, под которое стала консервативная оппозиция*, в сущности, относящаяся к той же самой категории явлений, к которой принадлежит бельгийская и венгерская клерикально-аристократическая оппозиция против «просвещенного абсолютизма» Иосифа II. В конце царствования Людовика XV французский абсолютизм сделал попытку уничтожить все, что в «старом порядке» было для него стеснительно, но оппозиция, встреченная им со стороны защитников всякой старины, искала санкции в новых политических учениях революционного характера и находила поддержку в обществе, уже не довольствовавшимся программой Вольтера.

«Парламент Мопу», которому по старому обычаю были представлены новые распоряжения Террэ относительно повышения многих налогов и вообще увеличения доходов казны, разумеется, не поднимал никаких споров. Террэ не удалось только завести экономию. За свадьбой дофина следовала свадьба его брата, гр. Прованского, стоившая страшно дорого, и расходы двора возросли до 42½ миллиона ливров, что в 1774 г. составляло $\frac{1}{4}$ всех доходов государства. Все худшие стороны старой финансовой политики в годы управления Террэ только получили дальнейшее развитие, но министр видел, что так идти далее нельзя, и думал о необходимости реформы. С Мопу и Террэ французская монархия как бы вступала в период правительственных преобразований, а новое царствование, начавшееся в 1774 г., в этом отношении обещало, по-видимому, весьма многое, т. к. к власти прямо призывался настоящий философ, уже успевший засвидетельствовать свои административные способности в качестве интенданта одной провинции, где им были проведены кое-какие реформы: 10 мая Людовик XVI вступил на престол, а 19 июля в министерство призван Тюрго.

XXXI. Тюрго и неудача его реформы¹

Людовик XVI и придворная обстановка. — Новые министры. — Прошлое Тюрго. — Его правительственная программа. — Преобразовательные планы Тюрго. — Мемуар о муниципалитетах. — Идея самоуправления. — Намерения Тюрго относительно феодальных прав. — Реформы Тюрго. — Консервативная оппозиция и судьба этих реформ. — «Мучная война». — Тюрго и парламент. — Тюрго и духовенство. — Роль королевы в падении Тюрго. — Отставка министра-реформатора. — Общий взгляд на его историческое значение.

Людовику XVI при вступлении на престол было только двадцать лет. Воспитанный клерикальным гувернером в полном незнании жизни и в совершенном незнакомстве с государственными делами, благожелательный и с лучшими намерениями, но не обладавший необходимыми для правителя способностями, он был к тому же еще человеком бесхарактерным, нерешительным, легко подчинявшимся влиянию окружающей среды. Его пассивную натуру могли расшевелить только охота да полюбившееся ему слесарное дело. Рядом с ним стояла молодая, легкомысленная, любившая увеселения и расточительная королева Мария-Антуанетта², которую во Франции очень не любили, как «австриячку» (l'Autrichienne), нарочно якобы выданную замуж за Людовику XVI, чтобы подчинить французскую политику видам венского двора. Она имела на своего мужа пагубное влияние, равно как его братья — гр. Прованский и гр. д'Артуа. Молодые люди предавались, очертя голову, веселой придворной жизни, на которую ухлопывались громадные суммы денег, и первые шаги короля на пути реформ, требовавших экономии, тотчас же неприятным образом действовали на его жену, на его братьев, на придворных, начавших упрекать Людовика XVI в мещанском поведении. Слабохарактерному молодому человеку трудно было сопротивляться влиянию придворной жизни. Французский король, отдаленные предки которого были когда-то лишь «первыми между равными» и который продолжал считаться первым дво-

¹ О царствовании Людовика XVI см.: *Droz. Hist. Du règne de Louis XVI; Renée. Louis XVI et sa cour; Jobez. La France sous Louis XVI. Реформы Людовика XVI; Semichon. Les réformes sous Louis XVI; Луицкий И.* Провинциальные собрания при Людовике XVI и их политическая роль. О Тюрго громадная литература (на русском языке: *Муравьев.* Тюрго, его ученая и административная деятельность; *Афанасьев Г.* Главные моменты министерской деятельности Тюрго). *Daire. Notice sur la vie de Turgot; D'Hugues. Essai sur l'administration de Turgot dans la généralité de Limoges; Batbie. Turgot philosophe, économiste et administrateur; Mastier. Turgon, sa vie, son administration, ses ouvrages; Foncin. Essai sur le ministère de Turgot; Léon Say. Turgot (в коллекции «Les grands écrivains français»); Gomel, Chérest* и др.

² Трагическая судьба этой королевы породила целую литературу, о которой см. ниже.

рянином в королевстве, благодаря развитию придворного быта сделался как бы первым придворным: вся его жизнь протекала при дворе; с утра до ночи, вставая с постели, принимая пищу, отходя ко сну, он был окружен куртизанами; церемонии, приемы, увеселения, в которых он должен был участвовать, не оставляли ему времени, чтобы уединиться от людей, чтобы чем-либо заняться; вечно окруженный придворными, он на все смотрел их глазами, во всем разделял их идеи; придворные интересы, интриги, сплетни отодвигали на задний план внутренние дела государства; от этой жизни напоказ, от этой вечной выставки королю нужен был отдых, и вот Людовик XVI отдыхал за своим станком. Фридрих II, в государстве которого дворянство служило в армии и в канцеляриях, удивлялся распорядку жизни французского короля и говорил, что будь он на его месте, он первым своим указом назначил бы особого короля, который был его заместителем при дворе. До самой революции Версаль продолжал жить своей веселой, беззаботной, дорого стоившей жизнью, и Людовик XVI был бессилен освободиться от тяжкого рабства, на которое был обречен установившимися порядками. Если он и вырывался на свободу, то только для охоты. Его дневник был, по меткому выражению одного историка, дневником какого-то доезжачего, да и впоследствии, когда революция переселила его из Версаля в Париж и обрекла на сидячую жизнь в Тюильри, он страшно тосковал, что больше нельзя было охотиться, и с напряженным вниманием следил за тем, как другие предавались этой благородной страсти. Мы уже упоминали, что в своем дневнике он отмечал словом «ничего» числа, в которые не было охоты, но в которые совершались самые крупные события революции.

Таков был новый король и такова была его жизненная обстановка. С новым царствованием выступили на сцену новые люди. Герцог д'Эгильон и покровительствовавшая ему графиня Дю Барри были удалены от двора, а на пост первого министра назначен семидесятитрехлетний граф Морепа, занимавший когда-то (до 1749 г.) пост морского министра, но лишившийся этого места и высланный в провинцию за злую эпиграмму на Помпадур. Целые двадцать пять лет этот экс-министр, попавший в немилость, жил в удалении от всяких дел, несколько не изменив своего легкомысленного нрава и не отказываясь от удававшегося ему острословия, за которым скрывалась совершенная пустота мысли. Это был выбор короля, а Мария-Антуанетта желала бы видеть у власти Шуазеля, всегдашнего сторонника более тесного союза с Австрией. Выбор сам по себе был не из удачных, но Морепа стремился к популярности и, вовсе не будучи представителем какой-либо правительственной идеи, думал, отчего же не попробовать было бы с реформами, которых требовало общественное мнение. Назначив на пост министра иностранных дел Вержена, он лишил должностей Мопу и Террэ, которые были даже сосланы в свои имения к великому удовольст-

вию публики. В то же время на пост сначала морского министра (19 июля), а потом генерал-контролера финансов (24 августа) был призван лиможский интендант Тюрго.

Тюрго — одна из самых крупных личностей предреволюционной Франции. Мыслитель, принадлежавший к числу философов, один из наиболее крупных представителей физиократической школы экономистов, *он выступил в роли государственного человека, у которого был целый план преобразований, долженствовавший пересоздать Францию*. Реформы Тюрго потерпели, однако, неудачу, разбившись, как и преобразования Иосифа II, о консервативную оппозицию, но тем не менее на них с интересом останавливались историки, а некоторые историки даже утверждали, что, не помешай министру-реформатору эта оппозиция и бесхарактерность короля, во Франции была бы предотвращена революция, т. е. ее в истории возрождения Франции заменила бы мирная реформа. Тюрго, происходивший из нормандского рода, родился в 1727 г. в Париже и получил богословское образование в Сорбонне, где обратил на себя внимание своими выдающимися способностями, с которыми как-то не гармонировала его робость, неловкость и застенчивость, не покидавшая его всю жизнь. Уже будучи министром, он извинялся однажды перед Людовиком XVI в том, что чувствует себя смущенным, и король на это ему ответил, что знает о его конфузливости. В Сорбонне молодой Тюрго, уже тогда интересовавшийся экономическими вопросами¹, изучал главным образом богословские предметы, выдерживал установленные экзамены и получал соответственные звания. В 1749 г. он достиг почетного звания приера (prieur), в качестве какового в следующем 1750 г. произнес две речи, имеющие важное значение в истории идеи прогресса в XVIII в. В одной речи молодой клирик говорил о выгодах, доставленных человеческому роду введением христианства, во второй — о последовательных успехах человеческого ума. В том же году Тюрго оставил Сорбонну, отказавшись вместе с тем и от церковной карьеры: в это время он уже посылал Вольтеру свои стихи, выходившие, впрочем, совсем неудачными. После этого Тюрго поступил на государственную службу и в начале шестидесятых годов занимал уже должность интенданта в Лиможе. До своего отъезда из Парижа в Лимузен он близко сошелся со многими философами, с д'Аламбером, с Гельвецием, с Кондорсе и др., равно как с экономистами, с Кенэ, Мирабо-отцом, Дюпон-де-Немуром и около 1762 г. познакомился с Адамом Смитом, а с аббатом Морелле он сошелся еще во время учения в Сорбонне. Через д'Аламбера он свел личное знакомство с Вольтером, который приветствовал впоследствии его вступление в министерство, как зарю нового будущего, крайне был опеча-

¹ В 1749 г. он написал опровержение одного сочинения, написанного в защиту «системы» Лой.

лен его отставкой и во время своих предсмертных триумфов в Париже впоследствии целовал его руку, «подписавшую спасение народа». Д'Аламбер пригласил Тюрго сотрудничать в «Энциклопедии», где он написал несколько статей, между прочим, статью о «существовании» (*existence*), появление которой сделалось целым литературным событием. Главной специальностью Тюрго стала, однако, не философия, а политическая экономия. В этой области он сочетал идеи Кенэ с идеями Гурнэ, сторонника полной свободы промышленности и торговли, которому принадлежит знаменитая формула: *«laissez faire, laissez passer»*. В 1752 г. Тюрго написал статью об этом последнем экономисте, а через несколько лет (1766) свой *«Essai, sur la formation et la distribution des richesses»*, только на десять лет предшествовавший *«Богатству народов»* Адама Смита. Это сочинение обратило на себя внимание Давида Юма, который вступил с Тюрго в переписку по поводу некоторых пунктов физиократической теории. В 1761 г. Тюрго был сделан лиможским интендантом, т. е. получил весьма широкую власть над одной из 35 *généralités*, на которые в административном отношении была разделена Франция. Ему досталась бедная и обремененная налогами провинция, над улучшением быта которой он проработал тринадцать лет, отказываясь от других назначений, дабы довести свое дело до конца. Население Лимузена относилось к нему двояко: порвав с традицией прежних интендантов, которые всячески мирволили дворянству, он сделался для него крайне неприятным человеком, но крестьяне полюбили Тюрго и жалели, когда он оставлял «генеральство». Подобно другим физиократам он был сторонником неограниченной королевской власти, полагая, что «равновесие властей» может сделаться еще большим злом, чем то, против которого оно направлено. Вооружая короля всеми «правами государства», он думал, однако, что когда последние выходят за пределы необходимого, пользование ими может привести к тирании, и потому требовал, чтобы власть прежде всего уважала личную свободу, ибо, говорил он, «правительства слишком привыкли приносить в жертву счастье отдельных лиц так называемым правам общества», «забывая, что общество существует для отдельных лиц». Полагая, что для уважения к свободе будет достаточно беспрепятственного и гласного заявления обществом своих желаний, Тюрго всего хорошего ожидал от благотельной власти, приводящей в исполнение свои предначертания через чиновников, и в этом смысле понимал свою задачу как интенданта, т. е. правительственного чиновника, облеченного широкими полномочиями: лиможская деятельность завершила выработку из него бюрократического реформатора. Лиможский интендант был человеком определенных принципов, которые он развил в целом ряде циркуляров своим подчиненным и донесений своему начальству, и эти принципы он осуществлял на практике, внося изменения в распределение налогов, падавших на провинцию, в систему торгового креди-

та, в хлебную торговлю, бывшую большим местом дореволюционной Франции¹, и т. п. Тюрго оправдывал свои мероприятия и теоретически, не отказываясь от полемики, какую, например, возбудил вопрос о хлебной торговле в тогдашней публицистике. Политическая экономия едва зарождалась, Тюрго мог ошибаться, как во многом ошибались все физиократы, но к чести лиможского интенданта нужно сказать, что обязанностью всех и прямым делом всех он считал «облегчение всякого, кто только страдает», и что, став на эту точку зрения, он предпринял ряд благотворительных мер. У Тюрго было несколько приятелей и поклонников, оказавшихся в числе друзей Морепа, и они рекомендовали ему лиможского интенданта. В литературном мире, где Тюрго был хорошо известен, назначение Тюрго министром произвело впечатление. Кондорсе спешил с восторгом оповестить об этом Вольтера, и мы уже знаем, как отнесся фернейский патриарх к обрадовавшему всю Францию известию.

Рассказывают, что когда Тюрго благодарил Людовика XVI за назначение в министры (*contrôleur général*) финансов, то сказал королю: «Не в руки короля отдаю я себя, а в руки честного человека»², на что Людовик XVI ему отвечал: «И вы не будете обмануты». При этом король взял руки министра и, по другому рассказу, на просьбу позволить изложить письменно свои виды, дал ему честное слово поддерживать его в его мужественном (*courageux*) предприятии. Исполнить свое обещание, однако, оказалось выше сил молодого и бесхарактерного короля: назначенный генерал-контролером финансов в августе 1774 г., Тюрго был отставлен в мае 1776 г., через двадцать с половиной месяцев. Первые соображения, представленные министром королю, резюмировались в словах: «ни банкротства, ни увеличения налогов, ни новых займов». Для этого он требовал сокращения расходов во имя народного блага, а облегчить народ считал возможным лишь посредством отмены злоупотреблений, хотя и находил это трудной задачей, ибо многие заинтересованы были в их сохранении, те именно, которые ими жили. «Мне придется, — писал Тюрго в заключение, — вооружиться против естественной доброты, против великодушной щедрости (*la generosite*) вашего величества и особ, наиболее для вас дорогих»; под этими особами он разумел королеву, ибо в черновой после слов «*contre la générosité de Votre Majesté*» стояло «*et de la*», но было зачеркнуто и заменено посредством «*des personnes*»: Тюрго предвидел, с кем придется считаться, рекомендуя экономии. При этом министр указывал королю на то, с каким трудом добывает народ те деньги, которые по доброте своей он, король, раздает всем, кто только у него попросит. Краткой программой, изложенной в этом благородном письме, не ограничивались преобразова-

¹ См. соч. Г.Е. Афанасьева, указанное ниже.

² Эти слова есть и в записке Тюрго, представленной на другой день королю.

тельные планы нового министра: все, что было, с его точки зрения, «предрассудком», «привилегией», «злоупотреблением», нашло в нем врага, стремившегося искоренить предрассудки, привилегии и злоупотребления «старого порядка» и встретившего тайных и явных врагов во всех тех людях, которые, как он выражался, «жили» этими не порядками.

В деятельности Тюрго было много общего с деятельностью представителей «просвещенного абсолютизма», и в то же время его преобразовательные планы предвосхищали те реформы, которые осуществила через полтора десятка лет Французская революция, хотя лишь в области социальных отношений, администрации, финансов, земледелия, промышленности и торговли, но не в области того, что получило впоследствии название политических гарантий. При всем бюрократическом характере внутренней политики Тюрго, министр-реформатор считал нужным пробудить общественную самостоятельность, которой не хотели знать ни Фридрих II, ни Иосиф II, ни другие правители эпохи. Тюрго не был сторонником ни старых парламентов, которые Людовик XVI поспешил восстановить и которые потом делали оппозицию реформам, ни новых политических идей о народном верховенстве, о разделении властей и т. п., но он видел в то же время недостатки господствовавшей системы централизации и правительственной опеки и желал для их устранения реформировать все управление. Поэтому вопросу мы имеем целый мемуар, в котором Тюрго начерчивал план местного самоуправления¹. Как бывший интендант, он хорошо знал слабые стороны тогдашней провинциальной администрации, а как министр познакомился и с тем, что дурно было устроено в учреждениях центральных. «Причина зла, государь, — писал он в этом мемуаре, — заключается в том, что ваша нация не имеет устройства (n'a point de constitution). Это — общество, состоящее из разных, дурно между собой соединенных сословий (ordres) и из народа, члены которого едва находятся в каких-либо общественных связях друг с другом, в силу чего почти всякий только и занимается, что своим, исключительно частным делом и никто почти не думает об исполнении своих обязанностей и знать не хочет своих отношений к другим. В этой вечной борьбе притязаний и предприятий, которых никогда между собой не соглашали разум и взаимные объяснения, ваше величество обязаны решать все по собственному изволению или через доверенных лиц (mandataires). Все ждут ваших особых (spéciaux) приказаний, чтобы содействовать общему благу, чтобы оказывать уважение чужому праву, нередко даже — чтобы пользоваться собственным своим правом. Вы вынуждаетесь постановлять обо всем и чаще всего по частным желаниям (par des volontés

¹ «Mémoire au roi sur les municipalités, sur l'hérarchie qu'on pourroit établir entre elles, et sur les services que le gouvernement en pourroit tirer».

particulières), тогда как вы могли бы управлять подобно Богу на основании общих законов, если бы составные части вашей державы (*empire*) имели правильную организацию и определенный взаимоотношения». Проект Тюрго не отменял во Франции абсолютной монархии. «Поскольку ваше величество, — писал он между прочим, — не будете отступать от справедливости, вы можете смотреть на себя, как на неограниченного законодателя (*législateur absolu*) и рассчитывать на свою верную (*bonne*) нацию в исполнении ваших приказаний». Но, прибавлял он, дело не в одном том, чтобы нация повиновалась: нужно обеспечить за собой возможности повелевать ею, а дабы это безошибочно делать, нужно знать ее положение, ее нужды, ее средства и притом с большой обстоятельностью, и это было бы полезнее, чем иметь исторические справки о прежних отношениях. Беда та, что во Франции все разрознено. Правда, в некоторых провинциях, называемых *pays d' états*, есть местные собрания, но состоя из сословий (*ordres*), стремления которых весьма неодинаковы, а интересы расходятся между собой и с интересами нации, собрания эти (провинциальные штаты) далеки от того, чтобы осуществлять благо провинций, в управлении которыми они участвуют. Тюрго самым решительным образом предлагал Людовику XVI дать и другим провинциям надлежащее устройство (*constitution*), которое, по его мысли, должно было быть настолько лучше старых штатов, чтобы и провинции, обладающие последними, пожелали изменить свое устройство по новому образцу. План состоял в установлении общинного, окружного (*des arrondissements, d' élections, des districts*) и провинциального самоуправления, дабы «вещи, которые должны делаться, достаточно хорошо делались сами собой», без постоянного вмешательства правительства и его агентов во все мелочи управления. Общинные собрания распределяли бы налоги, заведовали бы общественными работами (дорогами), помогали бы бедным и ходатайствовали бы о местных нуждах перед высшей властью (*autorité supérieure*). Они состояли бы из местных жителей, но не из всех, а только из землевладельцев, которые притом пользовались бы правом голоса пропорционально своему доходу; 600 ливров дохода давали бы право на один голос, 1200 — на два, 300 — на полголоса (*citoyens fractionnaires*). Другими словами, в приходских собраниях должна была быть представлена поземельная собственность, что вполне соответствовало физиократической теории. В рамки этой организации предполагалось ввести и привилегированные сословия, права которых должны были быть соразмерены с их имущественным цензом, т. е. Тюрго хотел заменить старый сословный строй новым, в основе которого лежало бы лишь одно различие между экономическими классами. Вместе с сельским самоуправлением предлагалось ввести и городское, бывшее во Франции в полном упадке. Над ними должна была возвышаться «вторая ступень муниципалитетов, или

окружное самоуправление, промежуточное между общинным и провинциальным и состоящее из депутатов от отдельных муниципалитетов первой ступени»: здесь рассматривались бы общие дела целого округа и выбирались бы депутаты в «провинциальные собрания» как «третью ступень муниципалитетов». Все это здание сельского, городского и земского (окружного и провинциального самоуправления) Тюрго советовал увенчать «великим муниципалитетом», или «королевским» (*municipalité royale*), «общим муниципалитетом королевства», которое он обозначал также и именем «национального собрания» (*assemblée nationale*), хотя впоследствии это название было дано учреждению совершенно иного характера. «Великий муниципалитет», состоящий из депутатов от отдельных провинций и королевских министров, должен был заведовать распределением налогов между отдельными провинциями, делать постановления относительно расходов на самые крупные общественные работы, оказывать помощь провинциям, испытывавшим какое-либо бедствие или не имеющим собственных средств для полезных предприятий местного значения. Через это же собрание королевская власть узнавала бы о нуждах народа. Посредством такой организации Тюрго думал достигнуть лучшего распределения налогов между провинциями, округами, городами, деревнями и частными лицами, более полного знания положения, потребностей и средств отдельных частей королевства, более совершенного удовлетворения местных нужд самими заинтересованными, более тесной связи между правительством и народом и вместе с этим большего развития «общественного духа» (*esprit public*), на недостаток которого он жалуется в начале мемуара. В борьбе частных интересов, говорит Тюрго, никто не чувствует потребности помогать правительству, а на того, кто это делает, смотрят косо: «Нет общественного духа, потому что нет видимого и всем известного общего интереса». Поэтому Тюрго предположил своему общему плану рассуждение о «способе подготовить отдельные лица и семьи к надлежащему вступлению в хорошее устройство общества», с каковой целью он советовал учредить особый «совет национального образования», (*conseil de l'instruction nationale*), т. е. министерство народного просвещения, и позаботиться о чисто гражданском воспитании (*éducation civique*) юношества, единственном средстве «создать просвещенный и добродетельный народ», внушив детям «принципы человечности, справедливости, благотворительности, любви к государству» и тем «подняв патриотизм на высокую степень энтузиазма, некоторые примеры которого были даны лишь древними нациями». «И вот, — сказано в заключении, — через несколько лет у вашего величества будет новый народ и народ первый между другими народами... Ваше королевство... удесятирит свои силы... Европа будет взирать на вас с удивлением и уважением, а ваш любящий народ — с чувством искреннего

обожания». Мы остановились на этом обширном мемуаре¹, вышедшем из-под пера Тюрго, по следующим соображениям. В истории Нового времени повсеместно королевская власть наносила удары старому феодальному и муниципальному самоуправлению, заменяя его системой бюрократической централизации, и «просвещенный абсолютизм» не составлял в этом отношении исключения. Сохранялось самоуправление неприкосновенным лишь в немногих странах, в Англии, где оно имело исконную основу в древнейших учреждениях, в Польше, где каждое воеводство было как бы маленькой республикой², но не в абсолютных монархиях эпохи. *Недостатки бюрократической централизации и устранения общественных сил от заведования местными делами ранее всего почувствовались во Франции*, но устранить эти недостатки думали здесь не посредством возвращения к старым сословным чинам, а посредством совсем новой организации, которая должна была опираться на представительство недвижимой собственности. В лице своего министра французское правительство теперь сознавалось, что и центральная власть, и провинциальные ее представители (интенданты) взяли на себя непосильную задачу, совершенно устранив общественные силы из дела управления, и вот, не думая нарушать главного принципа, лежавшего в основе тогдашнего государственного устройства, это правительство поставило своей задачей привлечь силы общества к местному самоуправлению. Интенданты, эти «сатрапы нации», как их называли, были весьма непопулярны, и уже Фенелон в конце царствования Людовика XIV требовал их отмены (*point d'intendants*) в пользу предоставления стране дела управления посредством провинциальных штатов. Мы уже видели из изложения французской политической литературы XVIII в., какой широкий план децентрализации был развит также д'Аржансоном, одним из министров Людовика XV, но, кроме того, идея самоуправления нашла еще защитника в лице Мирабо-отца, о котором нам придется еще говорить: Тюрго, таким образом, не стоял особняком. Хотя ему и не удалось осуществить свою административную реформу, тем не менее его мысль не осталась безрезультатной, ибо одному из его преемников пришлось даже и приступить к введению земского самоуправления во Франции.

Оставляя неприкосновенным принцип, лежавший в основе политического устройства Франции, Тюрго не только стремился к реформе всей системы управления, но и *желал осуществить целый ряд реформ, исходным пунктом которых было новое представление об обществе*. Это представление было, по существу, дела физиократическое, враждебное сословному строю с его привилегиями. Финансовые изъятия духовенства и дворянства

¹ В издании *Oeuvre de M.-r. Turgot, ministre d'état*, которое у нас под руками (Paris, 1809. Т. VII), он занимает около ста страниц (387—489).

² *Pawicki A. Rządy Sejmikowe w Polsce; Кареев Н. И.* Исторический очерк польского сейма.

нашли в министре-реформаторе принципиального противника, и в его общем плане «муниципалитетов» привилегированные должны были вступить в ряды обыкновенных «граждан» (*citoyens*). Феодальный режим, царствовавший в деревнях, по плану Тюрго, должен был исчезнуть с французской территории, как того желал еще раньше д'Аржансон, говоривший, что во Франции все земли должны сделаться «ротюрными алодами», но в этом отношении Тюрго был исключением среди других физиократов, у которых совсем не было поставлено вопроса о способе отмены феодальных прав. Тюрго думал именно о том, чтобы одни права были у их владельцев выкуплены, другие же уничтожены безвозмездно: к первой категории он относил все те права, которые по тогдашней теории возникали из земельной уступки, ко второй — те, которые были узурпацией у государственной власти или составляли нарушение естественного права. Один из друзей министра-реформатора, Бонсерф, изложил его идеи на этот счет в брошюре «О неудобстве феодальных прав» (1776), но брошюру парламент сжег рукой палача, как мятежную, и только первое национальное собрание революции осуществило идею Тюрго¹. Уже в короткое время заведования морским министерством, которому были подчинены и колониальные дела, он мечтал о возвращении естественной свободы рабам в колониях, а потом хотел освободить сервов и в самой Франции. Ему не удалось это совершить, а отменять серваж в одних королевских доменах он не хотел, дабы умолчание в эдикте — о сервах духовенства и дворянства не было принято за молчаливое подтверждение королем безусловного права сеньоров над их крепостными, как это и случилось, когда Людовик XVI при Неккере (1779) освободил доманиальных сервов². Заботясь об облегчении хлебной торговли, Тюрго успел лишь приступить к реформе феодальных порядков, предприняв выкуп сеньориальных прав на зерно и муку, обусловленных существованием баналитетов.

Таковы были наиболее важные планы Тюрго, осуществление которых должно было действительно дать Франции совершенно новый вид. Все это было еще впереди, ибо требовало большого времени, но там, где можно было реформировать быстрее и где нужда в преобразовании казалась Тюрго настоятельнее, там он сразу и прямо приступал к делу посредством эдиктов, в которых мотивировал свои мероприятия. Сторонник экономической свободы, стеснявшейся мелочной регламентацией старого режима, он объявил свободу хлебной торговли (1774), чем думал достигнуть

¹ О его плане см. мою книгу «Крестьяне и крестьянский вопрос во Франции в последней четверти XVIII века», с. 292. План этот изложен там по данным биографии Тюрго (*Vie de Turgot*. Londres, 1786), написанной Кондорсе, но он подтверждается и сделавшейся мне известной лишь впоследствии книгой «*Mémoire sur la vie et les ouvrages de M. Turgot, ministre d'état*» (Philadelphie, 1788).

² О связи этой меры с распространенными на этот предмет взглядами см. выше.

лучшего распределения хлебных запасов по стране и удешевления продукта; затем он распространил ту же меру и на вино (1776). Находя для крестьян обременительной натуральную дорожную повинность (*la corvée*) и желая, чтобы к дорожному делу были привлечены все классы общества, каждый сообразно со своими достатками, он заменил эту повинность денежным сбором, падавшим и на привилегированных (1775). Цеховая организация во Франции была в полном расстройстве, и Тюрго, исходя из принципа *laissez passer, laissez faire*¹, объявил (1776) уничтожение всех жюранд, метризов и корпораций с предоставлением права каждому заниматься каким угодно ремеслом (кроме профессии цирюльников, аптекарей, золотых дел мастеров и типографшиков с книгопродавцами). Тюрго отменил далее круговую поруку (*contraintes solidaires*), которой были подчинены крестьяне в отбывании повинностей.

Больше Тюрго не успел сделать ничего, да и *то немногое, что было им сделано, было большей частью отменено после его отставки*: и свобода хлебной торговли, и уничтожение дорожной повинности, и объявление свободы ремесленного труда. Против министра-реформатора со всех сторон поднялись враги, а ими были все те люди, которые жили, по его выражению, монополиями, привилегиями, злоупотреблениями, т. е. финансисты, боявшиеся отмены откупной системы налогов, хлебные барышники, извлекавшие выгоду из существовавших тогда стеснений торговли, парламенты, стоявшие на страже всяких консервативных интересов, привилегированные вообще, чувствовавшие в Тюрго своего врага, наконец, двор, недовольный экономией, которую он стремился ввести в государственные расходы. Вопрос о хлебной торговле был одним из наиболее спорных для тогдашних публицистов и администраторов, и в числе литературных оппонентов министра выступил женеvский банкир Неккер, сторонник протекционизма, незадолго перед тем увенчанный Французской академией за «Похвалу Кольберу». Вопрос между тем имел большое практическое значение. В XVIII в. Франция благодаря плохому сельскому хозяйству и частым неурожаям постоянно чувствовала недостаток в хлебе, и обнищавший народ то и дело производил беспорядки, вследствие недостачи хлеба, грабил пекарни, амбары, обозы с зерном или мукой². Урожай 1774 г. был плохой, и ожидался не лучший урожай в 1775 г. Весной этого последнего года возникли подобные беспорядки в некоторых местностях Франции и приняли весьма широкие размеры, получив даже название «мучной войны» (*guerre des farines*). Смута, которую пришлось подавлять силой, поставив под ружье двадцать пять тысяч солдат, произошла не без постороннего подстрекательства против эдикта о свободной хлебной торговле, будто бы

¹ Пусть все идет, как идет (*фр.*). — Прим. ред.

² La législation sur la commerce des grains.

повинного в том, что хлеб вздорожал: шайки грабителей, нападая на хлебные караваны, шедшие по Сене, топили в реке мешки с хлебом; другие жгли сараи с хлебными запасами, производили беспорядки на городских рынках, и все это делалось как будто бы по чьему-то приказу; даже ходили слухи, что у многих вожakov видели в руках большие деньги. 2 мая шайки появились в самом Версале и требовали у короля установления таксы на хлеб, а на другой день проникли в Париж и произвели там беспорядки, сопровождавшиеся грабежом. Только 4 числа военная сила остановила новую попытку грабежа. В эти трудные дни Тюрго проявил большую энергию, но парижский парламент вступал с ним в пререкания, издавая свои распоряжения, шедшие вразрез с тем, что делал сам Тюрго для успокоения народа, и члены парламента 5 мая были вызваны в торжественное заседание (*lit de justice*), где король поддержал меры своего министра. Между прочим, парламент мстил Тюрго и за то, что он ранее высказывался против его восстановления.

«Мучная война» не свалила Тюрго, как рассчитывали его враги. Напротив того, никогда в такой степени Людовик XVI не доверял своему министру. Тюрго видел в парламентской оппозиции помеху реформам, и ему приписывали слова: «дайте мне пять лет деспотизма, и Франция будет свободна». Восстанавливая в ноябре 1774 г. парламент, Людовик XVI думал некоторыми распоряжениями своими сделать на будущее время невозможной прежнюю борьбу его членов с королевской властью; но восстановленный парламент поспешил протестовать против всякого умаления его прав, *поставив вместе с тем своей задачей препятствовать всякой реформе, которая грозила бы тому, что он называл древней конституцией королевства*. В январе 1776 г. Тюрго представил королю шесть эдиктов, из которых один касался отмены дорожной повинности, другой — уничтожения цеховой организации. Первая мера уже раньше была им испробована в Лимузене, но т. к. в общем введении к шести эдиктам министр провозгласил принцип равенства всех земельных собственников перед налогом, то эдикт был встречен парламентом крайне недружелюбно. По этому пункту между членами самого правительства также не было согласия, и эдикт о дорожной повинности был подписан королем после довольно долгих споров между его советниками. Против парламентской оппозиции эдикту решено было прибегнуть к *lit de justice*¹. Между тем возгорелась брошюрная борьба, и правительство запретило появившиеся против Тюрго памфлеты, на что парламент отвечал запрещением и сожжением упоминавшейся ранее брошюры Бонсерфа «О неудобстве феодальных прав» и даже привлечением ее автора к суду. Тюрго взял последнего под свое покровительство, к великой радости Вольтера, следившего за всеми перипетиями

¹ Ложе справедливости (*фр.*). — Прим. ред.

этой борьбы Тюрго с защитниками старины и объявившего, что брошюра Бонсерфа — «превосходная книга в интересах народа». Кроме эдикта о дорожной повинности, парламент представил «ремонстранцию» и против эдикта о цехах, установлявшего свободу труда как одно из естественных прав личности, нарушение которого, как было сказано во введении к эдикту, не может быть узаконено ни давностью, ни силой власти. 12 марта состоялось в Версале *lit de justice*, и январские эдикты, которым парламент отказывал в записи в свой регистр, были по приказанию короля, не согласившегося принять ремонстранции, занесены вместе с четырьмя остальными в парламентский регистр, после чего должны были получить законную силу¹. Тюрго оказался прав, когда отсоветовал Людовику XVI восстанавливать парламенты: они сделались главной помехой реформ, и если парижский парламент был принужден, например, принять эдикт о цехах, то в Бордо, Тулузе, Эксе, Безансоне, Ренне и Дижоне эдикт этот так-таки и остался не внесенным в регистры. Протестуя против новых законов, парижский парламент находил их принципы опасными, нарушающими права собственности и влекущими за собой злоупотребление свободой: он отстаивал сословные и корпоративные привилегии и государственную опеку над личной свободой. Эдикт о цехах создал нового врага Тюрго и в среде парижской промышленной аристократии, для которой свобода ремесленного труда была невыгодна. Кроме того, во время выработки шести эдиктов Тюрго столкнулся с другими министрами, и мало-помалу они его оставили, в том числе и Морепа.

К числу врагов Тюрго нужно отнести и духовенство. Клир видел в министре философа и ставил ему в вину его воззрения, касавшиеся религии и церкви. Министр-реформатор по поводу отмены Нантского эдикта выразился однажды, что, «желая угодить (*flatter*) Людовику XIV, обесславили религию». Кроме того, он, расходясь в этом отношении со старой практикой, подновлявшейся в эпоху «просвещенного абсолютизма», находил, что король не должен быть главой веры, равно как и глава веры не должен быть королем: «английская супрематия и светская власть — вот две противоположные крайности одного и того же злоупотребления». Ставилось в вину Тюрго и то, что он настаивал на необходимости устранить из коронационной присяги Людовика XVI торжественное обещание всячески истреблять еретиков в своих владениях. Известно, что Морепа, не желавший ссориться с епископами, подал королю противное мнение, и Людовик XVI, не решившись выпустить из присяги слова о еретиках, прочитал их тем не менее крайне невнятно. Через несколько дней после коронации, происходившей в Реймсе, Тюрго передал королю «Мемуар о веротерпимо-

¹ К вопросу об отмене цехов мы вернемся, излагая законодательство учредительного собрания.

сти», где убеждал его «предоставить каждому своему подданному свободу разделять и исповедовать ту веру, в истинности которой каждого убеждает его совесть». В этом замечательном мемуаре Тюрго устанавливает права совести на основании принципов религии и естественного права и по отношению к «политическому интересу государства», хотя мы и не имеем мемуара в полном виде. Понятно, что церковная партия вооружилась против Тюрго, и граф Прованский, брат короля (будущий Людовик XVIII), даже написал против веротерпимого министра памфлет, а Людовику XVI донесли, что Тюрго не посещает мессы. Все это действовало на короля, а тут еще Мария-Антуанетта была крайне недовольна экономным министром. Морепа заметил, что королева все более и более забирает власть над мужем, и решил, что для сохранения за собою министерского места особенно поддерживать Тюрго не стоит. Министерство не было однородным и солидарным, а для положения Тюрго было не безразлично, как относились к нему его товарищи при той ненависти, какая его окружала со всех сторон. Когда Вержен и Тюрго посоветовали Людовику XVI отозвать из Лондона бывшего там посланником гр. де Гюина (de-Guines), бывшего в большом фаворе у Марии-Антуанетты, последняя стала требовать у мужа не только всяких милостей для бывшего посланника, но даже отставки и заключения в Бастилию ненавистного ей министра. Слабый волей Людовик XVI, для которого мартовское *lit de justice* уже было причиной большого утомления, все более и более поддавался влияниям, враждебным для Тюрго, хотя и говорил, что только он сам да этот министр на самом деле любят народ. Король стал избегать свиданий с Тюрго, и тогда министр написал ему четыре письма, из которых два сохранилось до нашего времени. «Я, — писал он в одном из этих писем, — смело шел (*j'ai bravé*) против ненависти всех, кто только имеет выгоду в злоупотреблениях. Пока я питал уверенность, что, благодаря поддержке вашего величества, я могу делать доброе дело, я ни на что не обращал внимания (*rien ne m'a cûté*). А какова теперь моя награда? Государь! я не заслужил этого, осмеливаюсь сказать это! Я изобразил вам все бедствия, причиненные слабостью покойного короля, я представил вам ход интриг, постепенно унизивших его авторитет. Осмеливаюсь просить вас перечитать это письмо и спросить себя, желаете ли вы подвергнуться тем же опасностям, скажу даже — опасностям еще большим». Тюрго предостерегал далее короля относительно смелого поведения парламентов, относительно придворных интриг, слабости министерства, разделенного внутри, и говорил о своем тяжелом положении, одинокого и изолированного. Указывая на необходимость правительству быть солидарным и сильным, Тюрго писал еще: «Никогда не забывайте, государь, что слабость привела Карла I на эшафот (*a mis la t te de Charles I sur un billot*), что она же делала из Людовика XIII и теперь делает из португальского короля коронованных невольников, и опять-таки она же была

причиной всех бедствий предыдущего царствования. Вас считают слабым, государь, и бывают случаи, когда я боюсь, нет ли на самом деле в вашем характере этого недостатка, хотя я и видел истинное мужество (*courage*) с вашей стороны при других и более щекотливых обстоятельствах... Правду говоря, я вас, государь, не понимаю. Пусть вам наговорили, что у меня горячая и химерическая голова, но мне кажется, что все мною вам сообщаемое не похоже на предложения сумасшедшего». Тюрго ставил прямо вопрос о выборе между ним и Морепа и просил ответа, но Людовик XVI не отвечал и на это письмо, как и на два предыдущих. Король предпочел Морепа, ибо Тюрго, казалось ему, хотел подчинить себе его волю. Он даже считал себя оскорбленным подобными письмами. Отставка не замедлила прийти, а с ней не только прекратились дальнейшие реформы, но и те были отменены, которые Тюрго успел уже провести. План о «муниципалитетах» тоже не понравился Людовику XVI, который на полях мемуара изложил свои мысли о стремлениях новатора, желающего иметь «Францию более нежели английскую» (*une France plus qu'anglaise*). «Система г. Тюрго, — писал он еще, — только прекрасный сон, — утопия благонамеренного человека, но низвергающая установленные порядки. Идеи г. Тюрго опасны, и их новизна требует отпора».

После отставки своей Тюрго прожил еще пять лет среди научных и литературных занятий (1781). Современники самого его винили, что он резкими чертами своего характера оттолкнул от себя людей, с которыми должен был ладить. Идеи Тюрго восторжествовали через восемь лет после его смерти: как мы видели, историки ставили вопрос, не сделали бы реформы Тюрго излишней революцию 1789 г., если бы ему удалось осуществить свои планы. Об этом можно говорить надвое: да, в том случае, если бы при поддержке Людовика XVI реформа могла совершиться мирно, и нет, если бы, наоборот, деятельность Тюрго сама вызвала революцию. В самом деле, если уже то небольшое, что сделал Тюрго, подняло такую бурю, дальнейшие его преобразования вызвали бы еще более страстную оппозицию парламента: пришлось бы с ними вступить в борьбу, пришлось бы прибегнуть к произвольным мерам, как это было сделано при Людовике XV и как потом, уже после смерти Тюрго, вынужден был поступить сам Людовик XVI; но за парламент вступились бы и общественное мнение, и народная масса, как это случилось позднее, а соединение консервативной оппозиции с либеральной и было началом крушения старого порядка. Кроме реформ, которые желал осуществить Тюрго, французы стремились еще к политической свободе, и его «*grande municipalite*», не понравившаяся Людовику XVI, не удовлетворила бы и французской нации, в образованных кругах которой были популярны идеи Монтескье, Руссо и Мабли. Попытка Тюрго была, в сущности, проявлением «просвещенного абсолютизма» среди особых обстоятельств, представляемых тогдашней французской жизнью.

Многое из того, что задумал Тюрго, было осуществлено только революцией, а именно, введение самоуправления, освобождение крепостных, уничтожение социального феодализма, провозглашение религиозной свободы, свободы труда и т. д., равенство всех перед налогом и пр., но такова была и программа Вольтера, ждавшего ее осуществления от королевской власти. В 1776 г. французская монархия отказалась от выполнения этой программы и бросилась в объятия клерикально-аристократической реакции. Между тем обстоятельства вынуждали правительство идти по иной дороге. После реакции, наступившей за падением Тюрго, оно дважды выступало на путь реформ: в первый раз при Неккере, за отставкой которого наступила новая реакция (1781), во второй раз при Калонне (1783—1787) и Ломени де Бриенне (1788), когда произошло полное объединение консервативной и либеральной оппозиций против старой монархии. В сущности и реформы, предлагавшиеся названными министрами, коренились в планах Тюрго. Министра-реформатора постигла неудача, и рассматривая его деятельность, невольно вспоминаешь неудачу, постигшую преобразователя-монарха, его младшего современника (Иосифа II): им пришлось встретиться с одной и той же консервативной оппозицией. Иного рода была причина неуспеха другого крупного государственного человека Франции той эпохи, также младшего современника Тюрго (Мирабо), который в 1789—1791 гг. столь же ясно понимал положение страны, как Тюрго в 1774—1776 гг. Остановившись несколько подробнее на первых двух годах (1774—1776) царствования Людовика XVI, мы имели в виду представить единственный оригинальный и стройный план общей реформы, какой только был во Франции накануне революции. История следовавших затем преобразовательных попыток может быть рассказана короче, и на первое место выдвинуто, наоборот, то, что непосредственно подготовило переворот 1789 г.¹

¹ Одновременно с Тюрго в роли министра действовал Malesherbes, предлагавший Людовику XVI вернуть протестантам гражданские права, уничтожить lettres de cachet и отменить пытку, но и он пал вместе с Тюрго.

XXXII. Франция накануне революции¹

Предмет главы. — Первое министерство Неккера. — Провинциальные собрания. — Падение Неккера и усиление реакции. — Калонн и нотабли. — Последняя борьба с парламентами. — Решение созвать генеральные штаты. — Настроение французского общества. — Бомарше. — Общественное мнение и двор. — Влияние американской революции на общественное настроение. — Лафайет и французские добровольцы. — Обсуждение конституционных вопросов. — Мирабо до 1789 г. — Его отец. — Его молодость. — Его сочинения. — Два пути, по которым могло идти правительство в 1789 г.

Мы рассмотрим теперь вкратце историю последних лет «старого порядка» во Франции. Нам нужно показать, как сила вещей вынуждала правительство Людовика XVI снова начинать реформы, которые опять вызывали консервативную оппозицию, и как неудача этих реформ и борьба с этой оппозицией заставили короля согласиться на созвание генеральных штатов. Нам нужно познакомиться с настроением французского общества в годы, непосредственно предшествовавшие перевороту 1789 г., под влиянием не только внутренних событий, но и под впечатлением, какое произвело на французов основание демократической республики в Северной Америке; наконец, нам предстоит познакомиться с одним из политических деятелей, которого события 1789 г. поставили впереди общественного движения, но который уже в последние годы старого режима был представителем идей, восторжествовавших в 1789 г.

Вскоре после падения Тюрго, когда стали усложняться внешние политические отношения вследствие восстания английских североамериканских колонистов против метрополии², французское правительство должно было поспешить с делом улучшения своих расстроенных финансов. Эту задачу поручили женевскому банкиру Неккеру³, который в июне 1777 г. и стал во главе финансового управления. Неккер родился в 1732. г. в Женеве, где его отец, родом из Бранденбурга, был профессором государственного права. Сколотив себе банкирскими операциями состояние, он занял во

¹ Кроме сочинений Токвиля, Тэна (т. I) и Сореля (т. I), а также трудов Gruglia, Gomel'я и Cherest'a, моей книги о франц. крестьянах и тех, которые названы в предыдущей главе, см.: Boiteau. *État de la France en 1789*; Raudot. *La France avant la révolution*; Vic. de Broc. *La France sous l'ancien régime*; Pisard. *La France en 1789*; Труды Babeau: *Le village sous l'ancien régime*; *La vie rurale dans l'ancienne France*; *La ville sous l'ancien régime*; *La vie militaire sous l'ancien régime*; Wallon. *Le clergé de 1789*; Chassin. *L'église et les derniers serfs*; Sepet. *Préliminaires de la Révolution*.

² См. ниже.

³ Неккер и г-жа Сталь, его дочь, оставили свои сочинения для суждения о революции.

Франции место женеvского резидента при версальском дворе и вскоре прославился своими экономическими сочинениями, в которых защищал меркантилистические принципы и нападал на свободу хлебной торговли. Последнее обстоятельство обратило на него внимание двора как на противника Тюрго, и этого одного было уже достаточно, чтобы Неккер сначала получил должность в финансовом управлении, а потом сделался и министром, хотя ему как протестанту не дали звания генерал-контролера, а только «директора» (*directeur des finances*). Неккер стоял во главе министерства финансов четыре года (1777—1781), и все время титулом генерал-контролера пользовалось другое, подставное, лицо (*Taboureau des Réaux*). Хотя Неккер был поставлен в министры реакцией против Тюрго, хотя, даже не нося министерского титула, он должен был заведовать одними лишь финансами, сама уже задача улучшения финансов до такой степени требовала реформ и само положение лица, взявшего на себя эту задачу, до такой степени выдвигало его вперед сравнительно с другими министрами, что *Неккер не только должен был сделаться руководящим министром, но принять на себя выполнение наиболее настоятельных реформ*. Кроме преобразований, произведенных им в финансовом ведомстве, которые сами по себе не могли одни улучшить общего положения дел, отметим его меры общего характера. В 1779 г. он уничтожил серваж в королевских доменах. Осудив в гуманном вступлении к эдикту позорное рабство, Людовик XVI продолжал таким образом: «Мы хотели бы отменить без различия следы этого тягостного феодализма; но т. к. состояние наших финансов не позволяет нам выкупить это право из рук сеньоров и т. к. мы будем во все времена питать уважение к законам собственности, в которых мы видим самое твердое основание порядка и справедливости, то мы можем, не нарушая этого принципа, осуществить только часть блага, которое имеем в виду», уничтожая рабское состояние в королевских доменах. Сеньоры лишь приглашались последовать этому примеру и лишались только прежних своих прав на беглых крепостных. Таким образом, *эдикт, освобождавший королевских сервов, был составлен в реакционном смысле*, и многие сеньоры видели в нем прямо новое подтверждение своих прежних прав. Внося этот эдикт в свои регистры, парламент сделал еще оговорку, что королевский указ отнюдь не должен наносить ущерба (*nuire*) правам сеньоров. Далее Неккер отменил пытку при допросе обвиняемого (*la question préparatoire*), оставив, однако, по-прежнему существовать пытку, какой подвергали уже осужденных перед казнью (*la question préalable*). Он не смел также коснуться сурового законодательства старой Франции, лишавшего прав протестантов, его же собственных единоверцев.

Особого внимания заслуживает административная реформа, предпринятая Неккером, но не доведенная им до конца вследствие отставки. О мемуаре, в котором он предлагал Людовику XVI эту реформу, король выра-

зился как о проекте, напоминающем ему идеи Тюрго. Людовик XVI был прав, ибо основа плана была заимствована у бывшего министра, но и *на плане введения во Франции самоуправления сказалось влияние общей реакции*. Неккеру стоило большого труда убедить Людовика XVI согласиться на это нововведение. Были, по признанию самого Неккера, приняты меры, дабы земские собрания постоянно чувствовали необходимость быть достойными оказываемого им доверия и знали, что лишь в этом заключается залог их существования. Уже Тюрго придавал этим собраниям только совещательный характер, а Неккер еще более подчеркивал, что они должны состоять из простых административных комиссаров. Он даже не предлагал ввести их сразу во всей Франции, а советовал сначала в виде опыта и на время только реформу в одной провинции (Берри в 1778 г.), самой бедной и в то же время не имевшей парламента и считавшейся наиболее преданной. Провинциальное собрание должно было состоять здесь из 48 членов, а именно 12 духовных, 12 дворян и 24 лиц из третьего сословия, так что сохранялся сословный принцип. Члены эти не выбирались, а назначались в первый раз королем из местных собственников, дабы впоследствии собрание уже само себя пополняло, выбирая новых членов взамен выбывающих по очереди. Собираться такая *assemblée provinciale* должна была на один месяц и притом раз в два года для занятия вопросами, которые и Тюрго отдавал на рассмотрение своих «муниципалитетов». Решения собрания нуждались в утверждении королевского совета, но не иначе, как с согласия особого правительственного комиссара и с его замечаниями. Тюрго думал такими собраниями заменить интендантов, но теперь интендант оставался на своем месте и контролировал действия собрания. Установлен был и порядок делопроизводства, сложный, мелочно рассчитанный на то, чтобы собрание не могло превысить своих полномочий. Исполнительным органом собрания была особая управа (*bureau intermédiaire*), но ее функции не были строго разграничены с функциями интенданта: последний всегда имел возможность своими распоряжениями парализовать ее действия. В следующем (1779) году Неккер ввел подобные собрания в Дофинэ и Верней-Пуйени (Haute-Guyenne), но в первой из этих провинций дело не пошло, ибо привилегированные сословия потребовали восстановления старых провинциальных штатов¹. Еще через год (1780) Неккер задумал ввести эту реформу и в четвертом округе (Bourbonnais, Nivernais и la Marche), но против этого протестовали парижский парламент и муленский (Moulins) интендант, а Людовик XVI не поддержал министра. Когда Неккер вышел в отставку (1781), провинциальные собрания были введены лишь в двух провинциях, где и удержались до самой революции. Только Ломени де Бриенн перед началом революции (1787) ввел провинциальные

¹ Golley. Tentatives d'organisation provincial en Dauphiné: l'assemblée provincial de 1787.

собрания во всех местах, где не было провинциальных штатов, внесши в порядок, установленный Неккером, изменения, заимствованные из плана Тюрго (приходские, окружные и провинциальные собрания, выборные члены и т. п.). Некоторые историки¹ приписывают этой реформе громадное значение, какого, однако, она не имела и не могла иметь, ибо беррийское и гюйенское собрания после отставки Неккера были урезаны в своих правах, и после возлагавшихся на реформу ожиданий наступило разочарование, распространение же ее на всю Францию было уже мерой запоздалой, хотя нельзя отрицать частной пользы, какую принесли новые собрания в двух названных провинциях.

В 1781 г. Неккера постигла судьба Тюрго. Людовик XVI перестал его поддерживать. Например, Неккер потребовал, чтобы король уволил интенданта, прямо отказавшегося открыть провинциальное собрание в Мулене, но Людовик XVI не согласился на отставку непослушного чиновника. При дворе и Неккера невзлюбили за то, что он также мешал тому расхищению казны, в котором участвовали придворные, получавшие денежные подарки и пенсии или клавшие в свой карман значительные суммы из того, что шло на расходы по содержанию двора. Для покрытия дефицитов Неккер стал прибегать к займам, и, желая внушить капиталистам доверие к государственным финансам, он решился обнародовать бюджет (*le compte rendu*), который, хоть и не вполне, проливал свет на траты двора. Этого было достаточно, чтобы министра, выдвинутого самой же реакцией, отставили, и чтобы *за его отставкой реакция еще более усилилась*. Она прямо приняла строго аристократический характер: недворянам был закрыт доступ к офицерским чинам в армии, к занятию особенно доходных церковных должностей, соединенных с землевладением, к вступлению в парламенты; все процессы между привилегированными и ротюрьерами в парламентах стали решаться в пользу первых; оживала вся феодальная старина, а между тем жизнь требовала движения вперед и, следовательно, реформ.

С падением Неккера усилилось влияние на короля Вержена, самого завзятого противника реформ и новых идей. Например, в это время подверглась сожжению знаменитая книга Рейналя. С другой стороны, росло раздражение. При Неккере благодаря займам государственный долг сильно увеличился, а тут еще увеличились и расходы благодаря вмешательству Франции в войну за американскую свободу. Преемник Неккера, Жоли де-Флери, умел только увеличивать налоги да занимать деньги на самых

¹ Особенно Lavergne, сочинение которого названо выше. Lavergne вообще изображает царствование Людовика XVI как эпоху, когда очень много было сделано для процветания Франции. См. также его: *Economie rurale de la France depuis 1789*. Более верный взгляд в брошюре проф. И. В. Лучицкого (см. выше). Ср.: *Luçay. Ees assemblées provinciales sous Louis XVI et les divisions administratives de 1789*.

обременительных условиях. Его сменили, но и новый министр, Ормесон, следовал той же политике, расстроив еще более финансы. Многие советовали призвать снова Неккера, но двор не хотел подчиниться экономии, а Людовик XVI и слышать не желал о реформах. Королева и граф д'Артуа вместе с Верженом рекомендовали на пост министра финансов угодливого и расточительного валансьенского интенданта Калонна, который уже прямо держался на практике знаменитого изречения Людовика XV: «После нас хоть потоп». Окончательно запутав дела, увеличив долг и дефицит, истощив казну, раздражив общественное мнение, вызвав оппозицию парламентов против новых налогов, Калонн решился наконец описать королю всю безвыходность положения и рекомендовать «сильные средства» к устранению зла. Выслушав предложения министра, Людовик XVI, которому перед тем твердили, что дела идут превосходно, был удивлен. «Но ведь вы, — сказал он Калонну, — приносите с собой все того же Неккера». — «Государь, — отвечал он, — в данную минуту ничего лучшего нельзя придумать», — и указал на то, что нужно прибегнуть к помощи нации, допустив ее к участию в администрации. План Тюрго снова выступил на сцену, но обстоятельства изменились: *в 1787 г. дела были более запутаны, чем в 1774–1776 гг.; общество настроено более оппозиционно, да и к власти, особенно к легкомысленному Калонну, относилось с недоверием.* Желая при враждебном отношении к нему парламентов опереться на сочувствие нации, он убедил Людовика XVI созвать собрание нотаблей, т. е. назначенных самим правительством представителей трех сословий, в былые времена заменявшее генеральные штаты. Правление Калонны подверглось со стороны этого собрания, состоявшего, главным образом, из привилегированных, самой строгой критике, и Калонн, всеми оставленный, должен был выйти в отставку. Его заменил архиепископ тулузский Ломени де Бриенн, возобновивший перед нотаблями один из проектов своего предшественника — о поземельном налоге, который падал бы одинаково на всех собственников королевства, а также проект о введении провинциальных собраний во всем королевстве и о даровании протестантам прав гражданского состояния (без прав, однако, занимать должности и заниматься некоторыми профессиями, отнятыми у них в эпоху уничтожения Нантского эдикта). Нотабли согласились на эти реформы, но не хотели допустить, чтобы новый налог падал на всех равномерно. Когда они были распущены, против министерской реформы выступил парижский парламент, объявив, что лишь генеральные штаты имеют право давать согласие на новые налоги. Один из советников парламента, оказавшийся особенно несговорчивым, именно д'Эпременил (между прочим, приравнивавший дарование протестантам гражданских прав к вторичному распятию Христа) сделался героем дня. Пришлось прибегнуть к новому *lit de justice*, но и после этого парижский парламент протест-

ствовал. В августе 1787 г. он был сослан в Труа¹, в сентябре был возвращен и возобновил свою оппозицию. Тогда хранитель печатей (garde des sceaux) Ламуаньон решился последовать примеру Мопу: эдиктом 8 мая 1788 г. у парламентов было отнято право делать ремонстранции, и провинциальные парламенты, ставшие на сторону парижского, должны были прекратить свою деятельность впредь до выработки новой судебной организации. Парламенты и теперь, как и прежде, служили делу консервативной оппозиции; но им оказывало поддержку общественное мнение, относившееся с недоверием к правительству, и даже в некоторых местах произошли народные волнения, принявшие характер сопротивления властям в защиту парламентов. Ломени де Бриенн был отставлен, парламенты были снова восстановлены, и судебная реформа Ламуаньона так-таки и не осуществилась. Во время этой последней борьбы с парламентами *все настойчивее и настойчивее раздавалось требование, чтобы были созданы генеральные штаты*. Уже в собрании нотаблей, созданных Калонном, о них заговорил один из представителей дворянства, впрочем, проникнутый новыми политическими идеями: это был Лафайет², герой американской Войны за независимость. Выше было упомянуто, что на генеральные штаты сделал ссылку и парижский парламент во время борьбы с Ломени де Бриенном. В провинциальных собраниях, только что введенных этим министром в разных частях Франции, равным образом раздавались голоса за необходимость созыва генеральных штатов. Их требовали, далее, провинциальные штаты Дофинэ, собрание духовенства в 1787 г., *требовало и общественное мнение без различия партий*. Людовику XVI пришлось уступить: в декабре 1787 г. он обещал созыв государственных чинов Франции через пять лет, но события приблизили этот срок. После неудачи, постигшей Ломени де Бриенна, в министерство вторично был призван Неккер, и вторично собранные нотабли (ноябрь 1788 г.) также высказались за необходимость созыва генеральных штатов. Мы останавливаемся весьма коротко на этой эпохе, но, собственно говоря, события, которые непосредственно привели к падению «старого порядка», начинаются с созыва нотаблей; в этот период, однако, сопротивление предначертаниям власти шло со стороны привилегированных, которые сами начали разрушение «старого порядка»³. Несмотря на сказанное, по недостатку времени мы остановимся больше на выступлении на сцену новых факторов.

¹ Babeau. Le parlement de Paris à Troyes en 1787.

² См. его мемуары и соч. о нем Regnault Warin, Büdinger'a и др.

³ Об этом периоде есть старые (конца прошлого века) сочинения Montjoye и Lameth'a, но в Новое время ими обыкновенно пренебрегали. Лет десять тому назад этими годами (1787—1789) занялся Chérest в сочинении, называвшемся раньше, к сожалению, неоконченном (вышло два тома и половина третьего). Автор, решительный консерватор, как он сам себя аттестует в предисловии, приступал к своему исследованию с предвзятой мыслью, что Франция могла бы преобразоваться легально и мирно, одним прогрессом идей, одной силой вещей,

Если привилегированные в царствование Людовика XVI каждый раз вступали на путь оппозиции, когда правительство вынуждалось на реформы, задевавшие их интересы, то, с другой стороны, общая реакция клерикально-аристократического характера после отставок, данных Тюрго и Неккеру, дурное ведение дел неспособными министрами, только ухудшавшими и без того неприглядное положение страны, борьба правительства с парламентами, на которые французы смотрели, как на защитников свободы, безрассудное поведение двора, продолжавшего тратить (особенно при Калонне) большие суммы денег на роскошь, на увеселения, на разного рода подачки, — все это страшно раздражало и те круги общества, которые желали реформ, понимали настоящее положение дел, одушевлялись новыми политическими идеями и видели в тогдашнем дворе главную помеху в деле осуществления настоятельных требований времени. Не нужно забывать, что к началу царствования Людовика XVI французская литература XVIII в. уже дала все самое существенное, что ее характеризует, и успела воспитать общественное мнение в известном направлении. На Людовика XVI общество возлагало самые блестящие надежды и разочаровалось. Сами привилегированные показывали народу пример сопротивления власти. Некоторые события довершили развитие оппозиционного духа. Появление на сцене двух комедий Бомарше было одним из таких событий. Этот писатель, бывший в то же время авантюристом, нравственные качества которого совсем не соответствовали общественной роли, которую ему пришлось играть, — сделался весьма популярным человеком после своего столкновения с «парламентом Мопу». Боясь оваций ему со стороны общества, разные круги которого — и консервативные, и либеральные — видели в Бомарше как бы своего трибуна, правительство запретило представление его комедии «Севильский цирюльник», хотя потом само же пользовалось услугами ее автора по части секретных поручений за границей, имевших подчас мало общего с политикой (например, нужно было добиться уничтожения одного пасквиля против графини Дю Барри и предупредить появление другого на Марию-Антуанетту). В 1775 г. после многих цензурных пересмотров дозволили, однако, поставить на сцену «Севильского цирюльника», но первое же представление, имевшее блестящий успех, вызвало в пьесе некоторые сокращения: в ней было много заявле-

но изучение истории 1787 и 1788 гг. произвело на него иное впечатление. «Чем более, — говорит он, — я углублялся в подробности действительной истории, тем более моим умом овладевало противоположное убеждение». Шерест показывает, как революция началась наверху, т.е. пошла со стороны привилегированных, которые оказывали сопротивление королевской власти и призывали народ к мятежу. Заметим, что автору, когда он приступал к своему труду, было более пятидесяти лет. Научный дух историка победил в нем предвзятое мнение человека партии. С Тэнном произошло наоборот: он хотел изучать историю революции, как натуралист изучает метаморфозы насекомого, но не удержался на этой позиции и как раз оказался весьма пристрастным в своих суждениях.

ний оппозиционного свойства по отношению к высшему свету. После этого Бомарше служил, главным образом, торжеству новых идей, сделался — не без помощи правительства — поставщиком для армии американских инсургентов, потом с большими затруднениями издал полное собрание сочинений Вольтера, выбрав для этого один городок на баденской территории и т. п. Одним словом, деятельность его становилась все сознательнее, и вот он пишет новую комедию «Свадьба Фигаро» прямо со смелыми намеками на современность. Четыре года ее рассматривала и пересматривала цензура, а пока Бомарше читал комедию в разных кружках и поставил на любительской сцене. Людовик XVI объявил прямо, что в его царствование эта комедия играть не будет, ибо для того, чтобы оправдать ее содержание, нужно было бы немедленно уничтожить Бастилию; но ловкий и настойчивый сатирик добился-таки разрешения, и пьеса дана была на публичной сцене в 1784 г. Успех был колоссальный. Людовику XVI сделали на Бомарше донос в оскорблении величества, и он написал, играя в карты, на пиковой семерке приказ об аресте Бомарше, вскоре, впрочем, выпущенного. Комедия была направлена против знати, достигающей всех благ, «потрудившись лишь родиться», против двора, где «тайна успеха заключается в словах: давать, брать и требовать», против законов, «снисходительных к богачам, суровых к беднякам». Надменным и бездарным вельможам Бомарше противопоставил способного разночинца Фигаро. Финансовые операции обогатили автора оппозиционных комедий, и он рядом с Бастилией построил себе дом, сад которого был украшен статуями энциклопедистов. Впрочем, Бомарше не видел, куда направляется общественное течение, и верил еще в возможность реформы сверху. Ему, однако, пришлось увидеть революцию, во время которой он еще раз вернулся к испытанному уже прежде средству обогащения путем поставок в армию.

Успех комедий Бомарше был одним из признаков крайне неблагоприятного «старым порядкам» общественного настроения. Двор окончательно дискредитировал себя в глазах общества, и «австриячка» Мария-Антуанетта, которую стали называть «госпожей Дефицит», сделалась особенно непопулярна в публике. Знаменитая история с ожерельем (*l'affaire du collier*) доказывает, как дурно смотрело на королеву французское общество¹. Кардинал де Роган, епископ страсбургский, попал в немилость при дворе и из всех сил пытался вернуть себе расположение королевы, особенно бывшей к нему неблагосклонной. Одна авантюристка, называвшая себя графиней Ламотт, и известный шарлатан Калиостро, имевший большой успех среди легковерной аристократии своими познаниями в тайных науках и вызовами духов, стали эксплуатировать Рогана. Узнав, что королева отказалась по неимению денег от покупки страшно дорогого ожере-

¹ *Compardon. Marie Antoinette et le procès du collier.*

ля, которое ей предлагали купить, графиня Ламотт убедила кардинала, что ему легко будет вернуть милость королевы покупкой для нее этого ожерелья; Калиостро помог ей в этом деле, причем было устроено тайное свидание Рогана с какой-то женщиной, переодетой королевой. Ожерелье было приобретено в долг за поручительством Рогана, увезено в Англию и там продано, так что кардинал, не подозревавший обмана, очень удивлялся, видя, что Мария-Антуанетта не надевает ожерелья. Когда он не получил ожидавшейся им министерской должности, а ювелир, продавший ожерелье, — должных ему денег, обман вскрылся (1785). Епископ страсбургский был арестован во время торжественного богослужения, предан суду вместе с обманщицей-графиней, и начался скандальный процесс. Роган был освобожден, графиню клеймили и приговорили к тюремному заключению на всю жизнь, но она сумела бежать и потом участвовала в раздувании всей этой истории, бросавшей тень на королеву, т. к. публика готова была верить всему дурному и сильно подозревала Марию-Антуанетту в том, что она была тут не без греха. На двор посыпались памфлеты, которыми мстила ему и оскорбленная фамилия де Роганов.

Одно событие в области внешней политики также весьма сильно подействовало на французское общественное мнение¹. Восстание английских североамериканских колоний против своей метрополии (1774) и начавшаяся между ними война, объявление колониями своей независимости от Англии (1776) и образование из них республики Североамериканских Соединенных Штатов, появление во Франции знаменитого американского патриота Бенямина Франклина, искавшего помощи своей родине, участие в этой войне нескольких выдающихся французских добровольцев и, наконец, посылка самим правительством на помощь американцам войска под начальством Рошамбо, — все это страшно взволновало французское общество, весьма близко принявшее к сердцу дело политической свободы в Америке: оно видело в восстании английских колонистов и в образовании нового свободного государства применение тех политических принципов свободы и равенства, которые проповедовались французской литературой, а успех новой республики, подтвержденный Версальским миром (1783), по которому европейские государства признавали независимость Соединенных Штатов, *окрылял надежду на то, что новые*

¹ Касаемся здесь североамериканских событий лишь по отношению к тому веянию, какое они оказали на Францию. См. общие сочинения Банкрофта (Hist. of the american revolution и History of the United States), Laboulaye (Hist. des Etats Unis, пер. по-рус.), Неймана (Gesch. der Vereinigten Staaten von Amerika, пер. по-русски, как и соч. Циммермана) и др. Об участии Франции в американской Войне за независимость см.: *Doniol. Hist. de la participation de la France l'établissement des Etats Unis d'Amérique; Balch Th. Les Français en Amérique; Bancroft. Hist. de l'action commune de la France et de l'Amérique* (пер. с английского). См. также указанную книгу Ломени о Бомарше (выше) и статью М.М. Ковалевского «Англомания и американофильство во Франции XVIII века» (Вестн. Евр., 1892).

идеи восторжествуют и на своей родине. Громадное большинство французского общества не знало, что колонии давно пользовались самоуправлением, давно пользовались правами личной неприкосновенности своих граждан и религиозной свободой, давно пользовались и гражданским равенством, — не обращало внимания на то, что на девственной почве Америки не существовало тех исторических сил — королевской власти, католического клира и феодальной аристократии, существование которых во Франции отражалось не на одних внешних формах общества, но и на всех привычках и нравах нации: оно видело только освобождение целого народа от угнетения, которое имело, однако, совсем иной характер, чем то, на какое могли жаловаться французы, — и видело, что в данном случае играли роль новые политические идеи, как бы выросшие во Франции и оттуда перенесенные в Америку. Поскольку принципы индивидуальной свободы, разделения властей, народного верховенства осуществлялись в учреждениях новой республики, они были в сущности наследием долгого развития самой английской жизни: английские колонисты, гонимые на родине в эпоху деспотических Стюартов, принесли их с собою на новую почву и осуществили в своем быту. Идеи эти продолжали между тем развиваться и в самой Англии, в ее политической литературе, которая, как известно, сильно повлияла на литературу французскую. То, что последняя развивала, защищала, доказывала в области отвлеченного умозрения, уже осуществлялось ранее этого в жизни североамериканских колонистов. Между старыми американскими порядками и новыми французскими идеями было несомненное родство: вот почему французские политические принципы естественных прав личности, гражданского равенства, народного верховенства, разделения властей были приняты американцами, для которых они имели характер философской обосновки отношений и без того осуществлявшихся их жизнью, и вот почему *французам могло показаться, что американцы у себя создали все это вновь на основании новых политических идей.* Сами американцы помогли образованию такого мнения, перешедшего скоро во всеобщее убеждение, между прочим и своей знаменитой декларацией 1776 г. Когда в 1774 г. американские патриоты, представители отдельных провинциальных собраний, съехались на общий конгресс в Филадельфии, они составили здесь декларацию прав по образцу декларации английской, изданной во время второй революции: она предназначалась к тому, чтобы подействовать на общественное мнение в Англии, и потому конгресс ссылался в ней на разные статуты и грамоты английского государственного права, допустив, впрочем, ссылки и на право естественное. Это было еще перед началом междоусобия, но когда началась война с Англией и колонии решились отложиться от метрополии, то конгресс составил вторую декларацию уже для всего цивилизованного мира, и здесь уже не было такой надобности ссылаться на государствен-

ные законы Англии, мало известные в других странах, почему выдвинуты были вперед уже аргументы новой политической философии, т. е. ссылки на естественные права людей и народов, права их на равенство, свободу, стремление к счастью и самоуправлению. Целый народ исповедовал эти принципы, и впечатление этого факта на французов было весьма сильное. Страстное увлечение этой декларацией выразилось в некоторых сочинениях эпохи, например, в «*Révolution de l'Amérique*» (1781) аббата Рейналя, который, между прочим, писал: «Зачем у меня нет гения и силы речи знаменитых ораторов Афин и Рима! С каким величием духа я воспрославил бы благородных мужей, которые своим терпением, своей мудростью, своим мужеством соорудили это великое здание!» и пр. И далее: «Героическая страна! Мой преклонный возраст не позволяет мне побывать в тебе. Никогда не увижу я себя среди почтенных мужей твоего Ареопага, никогда мне не доведется присутствовать при совещаниях твоего конгресса! Я умру и не увижу жилища веротерпимости, нравственности, законности, добродетели и свободы! Свободная, святая земля не скроет моего праха, но я, по крайней мере, желал бы этого, и моими последними словами будут молитвы к небу о твоём благоденствии». Декларацию 1776 г. и американские порядки прославляли еще Мабли (*Notre gloire ou nos rêves, Observations sur le gouvernement et les lois des Etats-Unis de l'Amérique*), Бриссо (*Nouveau voyage dans les Etats-Unis de l'Amérique*, 1788), Кондорсе и др.

Увлечение французов Америкой выразилось не на словах только: многие сочли своим долгом оказать помощь Соединенным Штатам в то время, как некоторые представители «старых порядков», немецкие князья, помогали, наоборот, Англии, отдавая ей за деньги своих солдат¹. Одним из первых французов на помощь молодой республике пришел Бомарше в качестве поставщика и политического агента французского двора, сначала тайно покровительствовавшего инсургентам. Другим выдающимся защитником американской свободы был маркиз де Лафайет, тогда лейтенант французской службы, которому пришлось впоследствии играть одну из наиболее видных ролей в истории революции. Увлеченный декларацией 1776 г., он решил служить «сынам свободы» своей шпагой. Ему было только 19 лет, когда он на свой счет снарядил корабль «Победа» и с другими офицерами отправился в Америку под менторством немца барона Кальба, тоже офицера французской службы. Общественное мнение было так настроено в пользу американцев, что само правительство подчинилось общему увлечению, тем более что имело давно в виду извлечь выгоду для себя из ослабления Англии. В начале 1778 г. между Францией и новой республикой был заключен союз. Пребывание в Париже в эпоху американ-

¹ *Kapp Fr. Der Soldatenhandel deutscher Fürsten nach America*. Ему же принадлежат биография Ф. Штейбена (Steuben), генерала американской службы, явившегося туда из Европы при посредстве Бомарше, и биография ген. Кальба, немца на французской службе.

ской войны знаменитого Франклина усиливало еще более энтузиазм: старик в черном квакерском сюртуке, без галунов, лент и орденов, с седыми волосами без пудры и парика, простой в обращении, приветливый, разумный в речах, представлялся как истинный тип «республиканца» в духе героев Плутарха и идеальный человек, какого создавал в своем воображении Руссо. Везде, где ни появлялся Франклин, ему устраивались оvationи; его портреты можно было видеть повсюду. Д'Аламбер в академии приветствовал его как человека, «исторгнувшего у неба молнию и скипетр из рук тиранов»¹. Вольтер, приехавший в Париж в год своей смерти, пожелал видеть Франклина, и когда тот явился к нему со своим внуком, благословил последнего словами: «Бог и свобода». В 1779 г. Лафайет приезжал во Францию из Америки, где проникся глубочайшим уважением к Вашингтону. Его приняли в Версале благосклонно, хотя по поводу его энтузиазма к Америке Морепа говорил, что молодой маркиз охотно разграбил бы Версаль, чтобы добыть средств на одежду для американских солдат. Военным министром назначен был в это время родственник Лафайета маркиз Сегюр, который и добился посылки в Америку вспомогательного войска. Когда война окончилась, французы, сражавшиеся за американскую независимость, возвратились исполненные глубокого уважения ко всему, что видели в стране новой свободы. Мы уже знаем, что сочувствие к американским порядкам отразилось и на тогдашней политической литературе. Не только декларация 1776 г., но и пенсильванская конституция, особенно проникнутая демократическим духом, останавливали на себе внимание французских публицистов, *получавших в них повод поднять в печати конституционные вопросы*. Кроме Мабли, не дожившего до революции, но тем не менее оказавшего своими идеями влияние на составителей первой французской конституции, в обсуждении этих вопросов участвовали будущие деятели революции: Бриссо и Кондорсе. Первый дважды ездил в Америку и написал сочинение об этой стране, где ему, между прочим, пришлось выслушать мнение о том, что едва ли Франция подготовлена к той свободе, какой пользуются Америка и (не в такой степени) Англия. Тем не менее он сильно надеялся на то, что в Европе последуют образцам, данным конституциями отдельных американских штатов. Кондорсе в «Мыслях о деспотизме», появившихся уже после того, как решено было созвать генеральные штаты, проводил ту идею, что знакомство с американскими учреждениями должно помочь возрождению Франции, и рекомендовал начать дело с Декларации прав человека, на которых покоятся права нации. Нельзя сказать, чтобы эти писатели обнаружили полное понимание складывавшихся в Америке политических порядков, как не вполне понимал Монтескье истинный характер английской конституции,

¹ Eripuit coelo fulmen sceptrumque tyrannis. Франклин изобрел громоотвод.

но дело в том, что американские события послужили толчком к новому возбуждению во Франции политической мысли и как раз перед самым созванием генеральных штатов. Благодаря связям, образовавшимся между американскими политическими деятелями и некоторыми французами (например, между Вашингтоном и Лафайетом), в Америке с большим интересом следили за тем, что происходило во Франции. Некоторые из американцев высказывали свои желания относительно Франции и давали советы французам. В числе их был, например, американский посланник в Париже Джефферсон, один из авторов декларации 1776 г., и он же сам в одном письме весьма ясно указал на то, что «американская война пробудила мыслящую часть французского общества от сна деспотизма, в который оно так долго и так глубоко было повергнуто». Его дом сделался даже сборным пунктом для поклонников Америки. Благодаря всему этому «американофильство» сделалось одним из источников, из которых вытекло политическое движение 1789 г.

В числе лиц, стремившихся сражаться в Америке, был и самый крупный деятель первых двух лет революции, Мирабо, с которым как с одним из самых выдающихся представителей либеральной Франции до революции мы теперь и познакомимся¹. Биографию великого трибуна 1789 г. нельзя, впрочем, отделять от биографии его отца, который и сам по себе был человек замечательный.

Фамилия Мирабо произошла от названия замка, приобретенного одним из их предков Жаном Рикетом, купеческим сыном и первым консулом города Марсели в середине XVI в. Сто лет спустя, при Людовике XIV, Мирабо получили титул маркизов. Позднее они старались доказать большую древность своего дворянства и стали вести свой род от флорентийских выходцев Рикетти. Маркиз Виктор Мирабо, отец трибуна, был человек странный, но недюжинный: в нем уживались важный барин, проникнутый феодальными традициями и гордившийся целым рядом предков на расстоянии будто бы пяти веков, предков, которые лишь один раз

¹ О Мирабо, кроме его мемуаров, сочинений и речей (см. издания Бакура, Дюмона и др.) и устарелых биографий Пипитца, Левитца, Вермореля и т.д., существует целая новейшая литература. Несколько лет тому назад о фамилии Мирабо предпринял обширное исследование Louis de Loménie, автор монографии о Бомарше (см. выше), но не окончил, успев в двух томах только довести до конца биографию Мирабо-отца (см. в «Этюдах» В.О. Корша статью о последнем на основании книги Ломени); продолжал эту работу и завершил капитальный труд (еще три тома) о фамилии Мирабо, дав биографию Мирабо-сына, Ломени-сын (Charles de Loménie). Одновременно с ней появилась двухтомная немецкая биография Мирабо, написанная Альфредом Штерном (см. нашу рецензию в «Рус. Мысли» за 1891 г.). По книге Ломени составлены биографии Мирабо меньших размеров Mézierès, Edm. Rousse (в коллекции Les grands écrivains français), Arnould. Наконец, о Мирабо существует масса статей из которых отметим: *Decrue*. Études sur les idées, politiques de Mirabeau (в Revue historique за 1883). Полное заглавие пяти томов Л. и Ш. Ломени: «Les Mirabeau. Nouvelles études sur la société française au XVIII^e siècle».

унизили свой род брачным союзом с Медичи, — и человек XVIII в., мечтавший о счастье всего человеческого рода, искавший сближения с философами, сам писавший в новом духе. На него было даже перенесено название одного из его сочинений «Ami des hommes»¹: он прославился именно как «друг людей». В 1747 г., тридцати двух лет от роду, он пустил в обращение в рукописи свое «Политическое завещание», трактат о правах и обязанностях сеньоров, направленный против интендантов. Через три года он выпустил в свет без имени автора мемуар о провинциальных штатах, где рекомендовал свою систему местного самоуправления с двойным представительством третьего сословия и поголовной (а не посословной) подачей голосов. Прошло еще несколько лет, и появляется крайне беспорядочно написанный «Друг людей», в котором феодальный сеньор проповедует демократическое братство и бичует праздных рантьееров, главных врагов общества, нападает на крупные состояния, которые «в государстве то же самое, что щуки в пруду», на «идиотов и висельников, утверждающих, будто народ должен бедствовать» и пр. Один историк хорошо определил общий характер «Друга людей»: «вторжение демократических идей в феодальную голову». Издание имело успех и доставило маркизу европейскую известность. Им заинтересовался Кенэ, и они сблизились: уже под обратным влиянием со стороны последователя его же мыслей маркиз сделался физиократом. В духе идей новой школы он написал «Теорию налога», за которую поплатился арестом в Венсенском замке и высылкой из столицы (1760). Опальный дворянин стал тогда фрондировать против двора, гордый своим подвигом «друга людей» и чувством феодальной независимости. В это время у него уже был сын Габриэль-Оноре, родившийся в 1749 г. Трех лет мальчик был изуродован оспой, по поводу чего отец писал своему брату, что его племянник безобразен, как черт. Отец, по натуре своей человек взбалмошный, то восторгался способностями сына, то находил, что у «этого индивидуума» нет ни малейшего признака знаменитой «расы» Мирабо. «Друг людей» в семейной жизни был самодур, сын оказался непокорным. Отец сильно заботился о его образовании и особенно хлопотал о том, чтобы подросток изучил физиократическую систему Кенэ. Когда настало время отдать первенца в военную службу, Мирабо-отец выбрал ему полк маркиза Ламбера, молодого аристократа, немного прикосновенного к философии и политической экономии. Юному Мирабо с его необузданным нравом пришлось плохо от военной дисциплины, и скоро, проигравшись в карты и соблазнив одну девушку, он бежал из полка. Дезертира посадили в цитадель острова Рэ, но комендант скоро пожелал отделаться от беспокойного узника, и его перевели в другой полк, который был послан усмирять восстание в Корсике. Здесь юноша отличился хра-

¹ «Друг людей» (фр.). — Прим. ред.

бросью, но скоро вернулся во Францию и временно поселился у одного своего дяди, отзывавшегося тогда о нем так: «если он не сделается хуже Нерона, то будет лучше Марка Аврелия». Он пророчил даже, что из него выйдет «или самый великий зубоскал (*persifleur*) в мире, или самый крупный человек (*le plus grand sujet*) в Европе, чтобы сделаться папой, министром, полководцем, канцлером и может быть сельским хозяином» (*agriculteur*). Дядя был от племянника в восторге и сумел примирить с ним отца, бывшего тогда в ссоре с женой. «Друг людей» немедленно вмешал сына в семейные дразги, но вместе с тем стал приучать к сельскому хозяйству и физиократическому управлению «вассалами» (т. е. крестьянами) в своих имениях. 23 лет молодой граф (титул сына) женился на дочери маркиза де Мариньян, богатой наследнице, добившись этого брака не совсем-таки чистыми средствами. Подобно отцу он начал теперь разыгрывать роль важного барина и стал сорить деньгами, задолжал в пятнадцать месяцев 200 тысяч ливров ростовщикам и поставщикам, но был выручен отцом. Вместо того, однако, чтобы расплатиться с кредиторами, на что у него и денег не хватило бы, маркиз выхлопотал повеление, которым молодой граф, как тогда говорили, попадал «под королевскую руку» (*sous la main du roi*), т. е. освобождался от преследования кредиторов, интернированный в замке Маноск. Отсюда он, однако, отлучался и однажды, покинув место ссылки по поводу измены своей жены, заехал к своей сестре, у которой жестоко исколотил одного ее гостя, обвинившего потом молодого графа в покушении на убийство. Отец снова спас сына от судебного преследования, выхлопотав *lettre de cachet*, в силу чего молодой Мирабо попал (1774) в заключение в замке Иф, откуда его перевели в форт Жу. Местный комендант позволял ему отлучаться в соседний Понтарлье, где он скоро сделался душой общества и сошелся с Софьей Монье, молодой женой старого мужа. Нарушив честное слово, данное коменданту, Мирабо бежал из форта, а с ним и Софья Монье, прихватив денег из шкатулки обманутого мужа. Они скрылись в Амстердаме, где им пришлось страшно бедствовать. Нуждаясь в средствах к существованию, беглец сошелся с издателями и книгопродавцами и стал на них работать, скрывая свое авторство под чужими именами. Так началась литературная деятельность Мирабо, прославившая его еще до начала революции. Беглецов наконец выследили, арестовали, и они были выданы французскому правительству. Мирабо засадили в Венсенский замок, где он провел около четырех лет, с мая 1777 по 1780 г. Софью Монье тоже подвергли заточению.

Мирабо был тридцать один год, когда его выпустили из заключения. Находясь на свободе, он начал вести прежнюю бурную жизнь, должен был участвовать в бракоразводном процессе с женой, в котором проявил впервые замечательные способности оратора, — потом уехал с некоей *m-me de Nehra* в Англию, где присмотрелся к политической свободе, — затем сде-

лался агентом министра Калонна по части писания брошюр о финансах, но рассорился с ним и написав ему грубое, но меткое письмо, через несколько времени очутился в Берлине, где виделся с Фридрихом II, но, узнав о созыве нотаблей Калонном, поспешил во Францию с предложением своих услуг правительству, которое их не приняло, и, наконец, поставил свою кандидатуру в генеральные штаты. В то время он был уже человеком весьма известным и по тем «историям», которые создали ему очень нелестную репутацию, и по тем брошюрам, памфлетам и книгам, которых он немало успел написать по разным вопросам, интересовавшим тогда общество. Еще находясь в Маноске, он написал свой «Опыт о деспотизме», где страстно напал на современный ему политический быт Франции. В Голландии он продал потом рукопись одному книгопродавцу, напечатавшему ее и извлекшему из нее хорошие барыши, и Мирабо сразу стал получать заказы на предисловия, памфлеты, брошюры, статьи и т. п. Когда он узнал, что ландграф гессенский продал Англии солдат для войны в Америке, он написал не менее страстный памфлет («Avis aux Hessois»): «Вы проданы и для какой цели, боги справедливости! Чтобы напасть на народ, подающий столь благородный пример. Да, зачем вы ему не подражаете? Люди существовали раньше князей... Не забывайте, что все не были созданы для одного, что тому, кто приказывает совершить преступление, не следует повиноваться, и что ваша совесть должна быть главным вашим начальством». Становясь на точку зрения принципов, Мирабо не отказывался и от личной полемики, задевая в ней, между прочим, и «друга людей, который не был другом ни своей жены, ни своих детей». В Венсенском замке Мирабо продолжал свои литературные занятия (между прочим, написал знаменитые «Письма к Софье», имеющие большой интерес для определения общего мирозерцания Мирабо). Здесь были составлены «История Филиппа II», «Опыт о веротерпимости», мемуар о *lettres de cachet*, служивший продолжением «Опыта о деспотизме» и др. По выходе из Венсенского замка Мирабо продолжал, как мы видели, издавать брошюры по разным вопросам текущей политики, как внешней, так и внутренней, смело давая советы государям и республикам, министрам и народам по вопросам высшей политики и финансов, войны и торговли, промышленности и сельского хозяйства, исполняя подчас заказы и поручения от сильных мира, обративших внимание на его публицистический талант, и выдавая иногда их тайны, как это было, когда он издал свои секретные донесения из Пруссии. В сотрудничестве с онемеченным французом Мовильоном Мирабо написал большую книгу «О прусской монархии», изданную в нескольких томах в 1788 г. Это — целая апология единодержавия в руках великого монарха, хотя, говоря о смерти Фридриха II, автор и замечает, что его царствование утомило всех до ненависти (*on en était fatigué jusqu'à la haine*). Прославляя Пруссию как образцовое государство, Мирабо высказывает,

однако, и весьма резкие о ней мнения. Одним из величайших зол, удручающих человечество, он объявляет убийственную болезнь *de vouloir trop gouverner*¹, происходящую из забвения, что частные лица лучше всего могут делать собственные дела: Мирабо потому и предпринял исследование о «монархии, которая более, чем какая-либо другая, была подчинена абсолютнейшему (*très absolu*) правлению, только тем и занимавшемуся, что за всем наблюдало, все регламентировало, предписывало, приказывало». С этой точки зрения он строго осуждает всю деятельность и Иосифа II. Но вот что он говорит о самой Пруссии, подводя итоги деятельности великого короля. Он называет зыбкой (*la base chancelante*) ту основу, на которой Фридрих II основал свое могущество, но которую может снести одна буря... «Прусская монархия устроена таким образом, что не выдержит ни одного бедствия... При всем искусстве покойного короля, эта сложная машина не может быть долговечной... Напрасно Фридрих II лечил свое государство паллиативами: ему нужно лечение радикальное». Одним словом, Мирабо строго осудил ту систему, представителями которой были и Фридрих II, и Иосиф II, как ни прославлял он одного из них и ни унижал в его пользу другого. Он считал тем не менее Пруссию за страну наиболее подготовленную к тому, чтобы осуществить его общественный идеал. О необходимости реформ он докладывал преемнику Фридриха II². Труд о прусской монархии сразу высоко поднял репутацию Мирабо как политического писателя, что при тогдашних обстоятельствах для него было важно. Объявление о созвании генеральных штатов также заставило будущего трибуна взяться за перо и изложить свои взгляды на потребности минуты. 1789 г. открывал перед ним блестящую карьеру, но ему не раз приходилось впоследствии выражать сожаление о дурно проведенной молодости, о незыavidной славе, которую он себе создал.

Царствование Людовика XVI кончалось банкротством «старого порядка». Монархия Бурбонов в лице этого короля отрекалась от традиций, твердо в ней державшихся около двух веков. Созывались генеральные штаты, но перед правительством было теперь еще два пути — или представить на утверждение государственных чинов готовый план необходимых реформ, возратить себе этим доверие страны и, опираясь на общественное сочувствие, провести в жизнь новые начала, или же, напротив, явиться перед представителями сословий с пустыми руками, прямо признаться в своем незнании, что же нужно делать, и тем самым передать дело реформы в руки самих генеральных штатов. Мирабо находил, что нужно было идти по первому пути, и говорил, что у него есть «определенный и прочный план», который представителям нации останется только санкциони-

¹ Желание управлять всем (*фр.*). — *Прим. ред.*

² *Lettre remise à Fr. Guil. Roi regnant de Prusse le jour de son avènement au trône par le comte de Mirabeau.* Мирабо написал еще «Секретную историю прусского двора».

ровать, но Неккер, на которого Мирабо и смотрел как на «шарлатана», как раз не имел никакой выработанной программы, и правительство пошло по другому пути. *Старая власть созывала представителей нации, не имея никакого представления о том, что же из этого выйдет*, а потому оказалась бессильной принять на себя руководящую роль в движении, которое, наоборот, формулировало свои принципы и в прессе, и в публичных речах, и в тех наказах, которыми избиратели снабжали своих выборных.

XXXIII. Созыв генеральных штатов и указы 1789 г.¹

Революционное настроение Франции перед 1789 г. — Намерения правительства относительно генеральных штатов. — Его поведение во время выборов. — Агитация в прессе. — Брошюра Cisca. — Выборы и роль Мирабо. — Указы 1789 г. и их значение. — Общий взгляд на задачу генеральных штатов. — Вопрос о конституции. — Сословные привилегии в указах. — Крестьянский вопрос. — Заявления об индивидуальной и общественной свободе. — Требование разных реформ. — Гуманные пожелания указов. — Церковные вопросы.

Потребность во внутренних реформах более или менее чувствовалась во всех европейских государствах XVIII в., но особенно сильно чувствовалась она во Франции. Здесь указывали на ее необходимость министры, далеко не бывшие новаторами по принципу; здесь литература и значительная часть образованного общества прямо были проникнуты духом преобразований; здесь тяжелее, чем где-либо, приходилось от «старых порядков» народной массе, загнанной и разоренной, но все более и более делавшейся беспокойной и выражавшей свое недовольство хотя бы, например, в столь частых в XVIII в. хлебных бунтах, не говоря уже о развитии нищенства, бродяжничества, разбойничества. Долговременный законодательный застой в то самое время, когда общественная жизнь шла вперед, а старые учреждения, наоборот, приходили в расстройство, был причиной того, что будущая реформа должна была сразу сделаться более глубокой, всесторонней и полной, чем если бы она производилась своевременно, исподволь, по частям. Консервативная оппозиция против преобразовательных планов и постоянная реакция против уже произведенных реформ, полное вырождение правящей власти и ее внутреннее бессилие делали невозможной энергическую деятельность правительства в смысле проведе-

¹ О выборах в генеральные штаты и о указах 1789 г. существует масса сочинений (и документальных изданий, из которых главное — Laurent et Mavidal. Archives parlementaires). См.: Richard A. La bibliographie des cahiers de doléances de 1789, а также мою книгу о французских крестьянах в XVIII в., с. 375 и сл., и мою статью о новейших трудах по истории Французской революции (Истор. обозр., т. I, с. 54—55) и примечания проф. В.П. Бузескула на с. 188—189 четвертого тома «Лекций по всемирной истории» Петрова. Особенно много издано работ по cahiers отдельных провинций. Общие сочинения (кроме трудов Токвиля, Шереста; Тэн не пользовался этим материалом): Chassin. Le génie de la révolution и Les cahiers des curés; Poncin. Les cahiers de 1789; Проф. В.И. Герье. Понятия о власти и народе в указах 1789 г. и сокращенное изложение этой книги в статье «Истор. вестн.» за 1884 г. О крестьянских cahiers см. в указанной моей книге; о дворянских — реферат Б.В. Каттерфельда в IV т. «Истор. обозр.» (отд. II, с. 14—22).

ния самых настоятельных преобразований старыми средствами; и осталось одно — обратиться к самой нации, обратиться притом не за поддержкой какой-либо программе, которая могла бы существовать у правительства, — ее не было, — а за советом, что делать. Между тем господствующим настроением нации было недоверие к власти, ненависть к «старому порядку», стремление к переменам. Политическая философия эпохи сообщала этому настроению, порождавшемуся непосредственно самой жизнью общества при данных условиях, весьма определенный характер, вносила в него элемент сознательности, указывала на ту цель, к которой следовало стремиться, предлагала средства, которыми можно было бы устранить всякого рода злоупотребления. У нации спрашивали совета, но давно отученная от заведования собственными делами, нация была лишена той опытности, без которой трудно было делать государственное дело: она могла только указать на свои нужды, которые, впрочем, правительству «старого порядка» были плохо известны, да предъявить свои желания, которых правительство раньше не хотело знать, с которыми вступало раньше даже в борьбу. *Желания большинства французов в 1789 г. можно резюмировать в двух-трех словах: полное уничтожение старых государственных и общественных порядков.* Но общество желало не разрушать только, оно желало и созидать: по какому плану, на это отвечали наиболее популярные в то время общественные идеи и политические теории, некоторые же из них имели прямо революционный характер не в том лишь смысле, что подкапывались под старые учреждения, порядки и отношения, но, как это можно особенно сказать о политической философии Руссо, были теориями не нормального течения государственной жизни, а прямо теориями революции. Собственного опыта у французов не было, чужой опыт заменить его не мог уже по одному тому, что французы плохо понимали реальные условия античного мира, увлекавшего их воображение риторически разукрашенными гражданскими доблестями «героев», плохо понимали и настоящие основы политической жизни современных свободных государств, Англии и Соединенных Штатов. Бессильное правительство отдавало власть в руки неопытной нации: реформа, к которой стремилась последняя, должна была совершиться, но она не могла пройти совершенно гладко, без крупных ошибок, без увлечений, как не могла не встретить консервативной оппозиции и попыток реакции, которые, в свою очередь, только разжигали страсти и выдвигали на самое видное место наиболее крайние и наименее рассудительные элементы общества. Пример страстности в политической борьбе подали сами привилегированные: за ними пошел средний класс, а затем движение проникло и в народную массу. В этой массе накопилось множество причин к неудовольствию: ненавистные феодальные права, тяжесть государственных налогов, дурные условия, в какие народ был поставлен к земле, хроническая нищета, голодовки, безработи-

ца¹, — все это было постоянно действующей причиной возникновения беспорядков, смут, сопротивлений власти. Борьба с правительством, которую вели привилегированные, в ослеплении своем стремившиеся поднять в свою защиту и народ, впервые всколыхнула эту массу: «мучная война», народные бунты во время последней борьбы с парламентами были прямыми предвестниками народных восстаний революционной эпохи. Благодаря деятельности лиц, взявших на себя просвещение народа насчет его прав перед выборами в генеральные штаты, *новые политические идеи проникли в народную среду* и дали своего рода санкцию недовольству масс. Народное море всколыхнулось и долго не могло успокоиться: главные причины его недовольства, т. е. плохое экономическое состояние, дороговизна хлеба, безработица сразу исчезнуть не могли, а кроме того, и новые правители Франции по неопытности, по недостаточному пониманию народных нужд, по оторванности от народной среды наделали немало ошибок, поддерживавших и впоследствии народное недовольство. Как бы там ни было, в новом движении приняла участие народная масса и сообщила ему ту силу, с которой уже было трудно бороться реакционным стремлениям. Одним словом, в 1789 г. вся французская нация с верха до низа была настроена революционно, — и привилегированные, и средний класс, и народная масса, — и памятником этого настроения явились указы, которыми отдельные сословия снабдили своих депутатов в генеральные штаты.

Первоначальным сроком созыва государственных чинов был назначен, как было уже сказано, 1792 г., но затем решено было приблизить этот срок, ибо ждать оказывалось невозможным, и Неккер, вторично сделавшись министром, со своей стороны, указывал на необходимость скорейшего созыва штатов. Известие о таком решении было принято с радостью: Мирабо писал, что в сутки нация сделала вперед шаг, равный целому столетию. Неккер, с возвращением которого совпало ускорение срока, сделался одним из наиболее популярных людей во Франции, но Мирабо смотрел на него иными глазами. В письме к Мовильону он отзывался об этом министре как о человеке, у которого нет «ни такого таланта, какой нужен был при данных обстоятельствах, ни гражданского мужества (*ame civique*), ни истинно либеральных принципов». Стремясь попасть в генеральные штаты и предлагая свои услуги правительству, Мирабо в письме к тогдашнему министру иностранных дел Монморену (в сентябре 1788 г.) спрашивал его, готовится ли министерство к тому, чтобы действовать на генеральные штаты, заботится ли оно о средствах, при помощи которых оно могло бы не бояться их контроля и могло бы, наоборот, рассчитывать на их содействие, есть ли у него «твердый и прочный план, который представителям нации оставалось бы только санкционировать». «Да, граф, — продол-

¹ Обо всем этом см. выше, гл. VIII.

жал Мирабо, — такой план, а у меня он есть. Он заключается в конституции, которая могла бы нас спасти от заговоров аристократии, от крайностей (excess) демократии и от глубокой анархии, в которую вместе с нами попала власть, желавшая быть абсолютной». Монморен не обратил внимания на предложение Мирабо помочь правительству своим планом. Но не один Мирабо думал так. Около того же времени Малуэ, один из деятелей начинавшейся революции, говорил самому Неккеру: «Не нужно ожидать, чтобы генеральные штаты стали у вас требовать или вам приказывать; нужно поспешить с предложением им всего, что только может быть предметом желаний благомыслящих людей (bons esprits) в разумных границах как власти, так и национальных прав». Но у *правительства именно и не было никакой определенной программы*, оно продолжало колебаться из стороны в сторону, как человек, не знающий, что делать, на что решиться, а план Мирабо заключался в союзе королевской власти с народом против привилегированных. Все зависело от состава штатов и способа подачи голосов, и вот в этом-то вопросе правительство с Неккером во главе оказалось непоследовательным и нерешительным. Неккер добился, чтобы в будущих штатах у третьего сословия было столько же представителей, сколько у привилегированных вместе взятых, и созвал вторично нотаблей для утверждения этого распоряжения, а когда они отвергли такое «удвоение третьего сословия», провел свою меру через королевский совет. Мера, однако, могла иметь действительный смысл лишь под условием поголовной подачи голосов, а не решения дел в каждом сословии отдельно, ибо при последнем способе у привилегированных было бы два голоса против одного голоса всех представителей остальных классов, хотя бы число их было утроено, даже удесятерено, но Неккер и не сделал логического вывода из своего принципа. За поголовную подачу голосов высказывалось все, что желало действительного обновления Франции, за посословное голосование — привилегированные и вместе с ними парламенты, вдруг утратившие поэтому свою популярность как сторонники привилегий и архаических форм генеральных штатов. Правительству нужно было решительно высказаться по этому вопросу, но оно колебалось, даже тогда колебалось, когда генеральные штаты были уже в сборе и вопрос был решен помимо правительства. Так было и во всем остальном: Неккер не проявил ни малейшей инициативы. Его намерения были самые похвальные, но в его поведении, действительно не было такого таланта, какого требовала серьезность минуты: вместо того, чтобы направлять движение, Неккер предоставил его на произвол всех случайностей. У него было много доброй воли: избирательные права были весьма широко распространены на все население, и во время выборов не было ни официальных кандидатур, ни административного давления на избирателей, но у него не было и никакой инициативы. Правительство не только решило дать третьему сословию двойное

представительство, т. к. «его дело связано с благородными стремлениями и будет иметь за себя общественное мнение», но и постановило, чтобы сельские священники имели самое широкое участие в избирательных собраниях духовенства, т. к. «эти хорошие и полезные пастыри лучше всего знают народные нужды, находясь в самых тесных и постоянных соприкосновениях с народом». Королевский регламент 24 января 1789 г., созывая на 27 апреля генеральные штаты, указывал цель будущего собрания в «установлении постоянного и неизменного порядка во всех частях управления, касающихся счастья подданных и благосостояния королевства,... в наискорейшем по возможности уврачевании болезней государства и уничтожении всяких злоупотреблений», причем король выражал еще желание, чтобы «и на крайних пределах его королевства и в наименее известных селениях за каждым была обеспечена возможность довести до его сведения свои желания и свои жалобы». Поэтому избирательное право дано было всем французам, достигшим двадцатипятилетнего возраста, имевшим постоянное место жительства и занесенным в списки налогов, хотя последнее ограничение исключало из избирательного права значительное количество бедных граждан. Выборы были не прямые, а двухстепенные (и даже иногда трехстепенные), т. е. выбирались депутаты не самим населением, а выбранными им уполномоченными, и те желания, которые высказывались в наказах от самих избирателей, потом сводились в указы уже от целых больших округов. Только привилегированные непосредственно посылали депутатов в генеральные штаты. В составлении крестьянских наказов играли большую роль демократически настроенные сельские священники, адвокаты и законоведы, популяризовавшие среди деревенского населения идеи тогдашних политических брошюр, которые весьма легко принимали, однако, характер легенд о желаниях «лучшего из королей». Неккеру доносили об этой пропаганде, как о чем-то в высшей степени опасном, но он оставался верен принципу свободы, с какой правительство предоставляло всем классам общества выразить свои нужды и желания.

О мнениях, которые тогда циркулировали во Франции, мы можем составить себе представление, во-первых, по брошюрной прессе 1788—1789 гг., во-вторых, по наказам, составлявшимся избирателями во время выборов. До 1789 г. во Франции периодическая пресса была развита очень мало, и газеты заменялись брошюрами, которые перед выборами в генеральные штаты нередко принимали форму проектов, программ и проспектов упомянутых наказов. Брошюр публицистического характера появилась масса; издавались они и расходились в громадном количестве экземпляров и, например, одна влиятельная брошюра, о которой будет сейчас сказано, в несколько дней была распродана в количестве сорока тысяч экземпляров. Брошюры были весьма различного направления, но консервативных было неизмеримо меньше, чем либеральных, написан-

ных в духе идей XVIII в., и благодаря таким изданиям идеи политических писателей этой эпохи популяризировались и пропагандировались в таких слоях общества, куда ранее они не проникали, — воспринимались, по-своему понимаемые, народной массой и делались одним из факторов начинавшегося движения. Некоторые брошюры были специально посвящены интересам простого народа, которому иногда дается в них название «четвертого сословия», — интересам крестьян и городского пролетариата. Другие говорили о правах всей нации, о предметах, которые должны были интересовать одинаково все классы общества. Главным образом, однако, они выражали взгляды и стремления тогдашнего среднего сословия, интеллигенции, людей либеральных профессий, буржуазии, отстаивавшей принципы свободы индивидуальной и политической, гражданского равенства, народовластия, громившей деспотизм, привилегии, феодальные права, крепостничество и т. п. Идеи Вольтера и энциклопедистов, политических писателей и экономистов применялись к рассмотрению вопроса о том, что делать, куда идти. Одной из наиболее популярных брошюр сделалась та, автором которой был аббат Сиез (Sieyès¹), писавший и другие, менее известные брошюры (*Essai sur les privilèges*). Называлась она «Что такое третье сословие?» (*Qu'est ce que le tiers état?*) и заключала в себе три вопроса и три ответа: «Что такое третье сословие?» — «Все». — «Чем оно было до сих пор?» — «Ничем». — «Чем оно желает быть?» — «Быть чем-нибудь» (*être quelque chose*). Эти немногие слова, действительно, *резюмируют содержание знаменитой брошюры, которая, в свою очередь, выражала мысль большинства образованных французов*. Сиез сам принадлежал к духовному сословию и даже был его представителем в орлеанском собрании в 1788 г., но он явился выразителем демократических стремлений и был избран в Париже представителем от третьего сословия в генеральные штаты, после чего вскоре издал и еще брошюру под заглавием «Признание и изложение прав человека и гражданина». Это было время наибольшей славы Сиеза, позволившей ему играть видную роль в начальной истории революции, когда старые сословные штаты превращались в новое «национальное собрание», где третье сословие делалось, пожалуй, и чем-то большим, чем что-нибудь. Известно, что через десять лет аббат Сиез помогал государственному перевороту генерала Бонапарта.

Выборы в генеральные штаты в общем прошли весьма спокойно, и нация отнеслась к ним очень серьезно. Направлением выборов овладели люди, желавшие реформ и ожидавшие от штатов полного переустройства Франции, причем в народной среде особенно выдающуюся роль играли сельские священники и адвокаты. Образованное и либеральное меньшин-

¹ О нем соч. Mignet, Beauverger и др. Его брошюра недавно была переиздана «Обществом истории Французской революции».

ство вообще стало во главе движения и внесло в указы, в которых население выражало свои нужды, свои жалобы, свои желания, массу новых идей, заимствованных из политической печати эпохи, так что иногда в указе какой-либо заброшенной деревушки мы встречаемся со ссылками на разделение властей или на ответственность министров. Всех депутатов должно было быть выбрано 1200 (300+300+600), но их было несколько меньше. Среди духовенства преобладали приходские священники (более 200), среди третьего сословия довольно значительную группу (тоже более 200) составляли адвокаты. Кроме того, третье сословие выбрало несколько (полтора десятка) духовных и дворян, в числе которых был Мирабо. В это время Мирабо был одним из наиболее деятельных публицистов, выпуская брошюру за брошюрой («О государственных тюрьмах», «О свободе прессы» и т. п.), обращая на себя всеобщее внимание своими постоянными заявлениями относительно всех злоб дня, своими критическими разборами чужих мнений и мер, своими повелительными советами, что делать и чего не делать. Стремясь попасть в генеральные штаты, он ищет сначала поддержки, хотя бы и тайной, у правительства, обратившись, как мы видели, к министру Монморену. Затем он ставит свою кандидатуру в Эльзасе и, потерпев неудачу, переносит ее в родной Прованс. Здесь он также попробовал сначала счастья у дворянства, но оно его отвергло, т. к. между Мирабо и провансальской знатью с самого же начала обнаружилась целая пропасть во взглядах и стремлениях. Зато своими речами и брошюрами он достиг большой популярности среди городского населения провинций, и его выбрало третье сословие сразу в двух городах: в Марсели и в Эксе (Aix). Приходилось выбирать между ними, и Мирабо выбрал Экс. Таким образом, отвергнутый правительством, которому он пытался давать советы, отвергнутый дворянством, которому он также стремился внушить свои идеи, он сделался народным трибуном, как сам он о себе выразился¹. Во время избирательной борьбы Мирабо также высказывал свои взгляды на общее положение дел в стране. Он уже раньше в своих письмах и брошюрах указывал на необходимость реформ, торжественное обещание которых немедленно успокоило бы народ, и только боялся, что правительство «сегодня не даст добровольно того, что завтра у него исторгнут силой». Реформы, по его мнению, должны были быть обширны и радикальны, но он опасался, что это дело будет проводиться насильственной революцией, которая может попятить общество назад. Главное препятствие к реформам он видел в том, что называл страшной болезнью старой власти никогда не делать уступок, как бы в ожидании, чтобы у нее исторгли силой то, что она должна была бы дать; видел это препятствие и в оппозиции привилегированных. Оправдывая себя в том, что не написал ни единой строки в защи-

¹ *Guibal*. Mirabeau et la Provence en 1789.

ту парламентов, когда их оппозиция была еще популярна, он говорил, что между королем и парламентом есть еще маленькая партия, которая носит название народа и к которой должны принадлежать все порядочные люди. Когда Мирабо отвергло его собственное сословие в Провансе, он страшно напал на аристократию, которая, как писал он тогда, «во всех странах и во все времена неумолимо преследовала врагов народа. Если, — продолжал он, — не знаю, по каким случайностям судьбы, в среде аристократов являлся друг народа, его-то главным образом они и старались поразить, с яростью стараясь навести страх на других выбором своей жертвы. Так погиб последний Грахх от руки патрициев. Но, уже пораженный смертельным ударом, он бросил к небу горсть пыли, взывая к богам-мстителям, и из этой пыли возник Марий, тот Марий, который был велик не тем, что истребил кимвров, а тем, что низверг в Риме аристократию знати» (*aristocratie de la noblesse*). И обращаясь к плебеям Прованса, Мирабо призывал их к единодушию и твердости, обещая им пойти против всей вселенной, если бы ему пришлось поддерживать их своим голосом и своими трудами в собрании нации. «Я был, — восклицал он, — есть и буду человеком общественной свободы. Привилегиям придет конец, но народ вечен!» Чем более приближался переворот, тем все с большей тревогой ожидал Мирабо его исхода, опасаясь за свободу, которой прежде всего добивался, и плохо доверяя самой нации. В декабре 1789 г. он писал, например, своему германскому другу Мовильону: «Если вы (т. е. немцы) и опередили нас, быть может, в просвещении, то вы менее созрели, чем мы, хотя и мы ведь никогда еще не были зрелыми. Вы незрелы, говорю я, потому что у вас волнуются только головы, а они с незапамятного времени привыкли к рабству. Поэтому взрыв у вас произойдет позже, чем у нации, способной в течение четверти часа проявить и героизм свободы, и самое глубокое рабство». Судьба политической свободы интересовала Мирабо прежде всего: недаром, когда ему однажды стали говорить о «его отечестве», он возразил, что «отечества не бывает в стране рабов». В 1789 г. Мирабо как бы предчувствовал, что у французов старые привычки могут взять верх над новыми стремлениями.

«*Cahiers de doléances*», как назывались указы депутатов или выборщиков в депутаты, представляют из себя в высшей степени важный и интересный исторический материал. Наказов первичных, составлявших даже в самых захолустных и маленьких деревушках, и наказов сводных от целых бальяжей существует такая масса, что до сих пор еще не приведены в известность все *cahiers*, которые сохранились в архивах. В этих документах, из которых одни состоят едва из нескольких параграфов, а другие достигают размеров чуть не целых книг, французская нация *изобразила «старые порядки» накануне их исчезновения, высказала свои желания, изложила свои воззрения по разным вопросам общественной жизни и вообще, так ска-*

затем, дала волю своему настроению. Уже в 1789 г. эти указы обратили на себя внимание: некоторые из них тогда же были напечатаны, а кроме того, составлялись печатные своды требований, заключавшихся в *sahiers*, причем издатели таких сводов, конечно, находили в бывших под их руками наказах лишь то, чего искали сами. Долгое время историки революции, говоря о желаниях нации в 1789 г., пользовались преимущественно такими *resumés*, пока не обратились к подлинным *sahiers*¹, которые стали также издаваться. К сожалению, однако, некоторые историки, специально занимавшиеся этим материалом, стремясь определить желания Франции в 1789 г., не производили настоящего анализа этих документов, выдвигая на первый план лишь известные мысли — каждый историк сообразно с тем, что хотел доказать относительно желаний нации перед революцией, да еще с такой точки зрения, будто указы являются выражением мыслей всего населения, а не того более образованного или более энергичного меньшинства, которое стало во главе движения. Поэтому настоящая разработка этого материала еще впереди, тем более что некоторые историки до сих пор игнорируют этот важный материал². Например, если взять первичные, большей частью крестьянские *sahiers*, то в них мы почти не встречаем требований политического характера, играющих уже очень большую роль в сводных наказах третьего сословия, и наоборот в последние иногда совсем не попадают крестьянские жалобы и просьбы или играют в них далеко не первостепенную роль рядом с требованиями горожан, или же несколько видоизменяются согласно с видами составителей сводных *sahiers*³. Бывало и так, что крестьянские указы являются выражением главным образом мыслей тех лиц, которые писали эти указы, а не самих крестьян, впоследствии же некоторые историки весьма наивно из таких даже *sahiers* делали вывод о высоком уровне образования в деревнях до революции или о том, что сельские жители сознательно желали, например, конституции с разделением властей. Не нужно забывать и того, что земледельческая масса в это время распадалась во Франции на самостоятельных хозяев (*laboureurs*) и батраков (*manoeuvres*): иногда крестьянские *sahiers* выражают желания всей этой массы, иногда — лишь одних хозяев без батраков. Выборными из деревень в избирательные собрания были большей частью не сами крестьяне, а священники, адвокаты, писари, мелкие чиновники и т. п., а если и попадались лица крестьянского сословия, они должны были делаться иногда простыми зрителями того, что совершали более их

¹ Chancel, автор книги «Angoumois en 1789», еще в 1847 г., потом Токвиль.

² Семь томов издания Лорана и Мавидаля, вышедшие в свет в 1869 г., совсем не были эксплуатируемы ни Дониолем (*La révolution française et la féodalité*, 1874), ни Тэнном, ни у нас г. Афанасьевым в сочинении о хлебной торговле во Франции XVIII в. В русской литературе важно между прочим исследование проф. В.И. Герье.

³ Наказы (*фр.*). — *Прим. ред.*

образованные люди, составляя сводные cahiers от целого баляжа. Бывали случаи, что наказы писались по одному шаблону, иногда по печатным образцам¹. Наконец, следует помнить и то, что во Франции в это время происходила страшная сословная и классовая борьба, вследствие чего единодушных желаний и не могло высказаться, не говоря уже о том, что редакторы, заносившие эти желания в наказы, проводили в них собственные политические воззрения, складывавшиеся под влиянием весьма различных теорий, какие существовали раньше в литературе, и развивались в тогдашней брошюрной прессе, или же просто личные соображения, очень часто расходившиеся с другими такими же личными соображениями. Все это необходимо иметь в виду, т. к. нередко популярные историки слишком обобщают требования наказов, придавая им характер единодушных желаний всей нации и представляя эти желания под известным углом зрения. Эти оговорки не изменяют, однако, существа дела: в cahiers 1789 г. целые миллионы французов начертали программу будущей революции, тогда как у правительства своего плана не было, а генеральные штаты, превратившиеся в «национальное учредительное собрание», лишь выполняли известные требования наказов 1789 г. Таким образом в этих cahiers de doléances заключалось уже в зародыше все почти законодательство революции.

Мы видели, что, созывая генеральные штаты, правительство не отдавало себе ясного отчета о том, что же будет оно с ними делать: оно хотело выпутаться из затруднительного положения главным образом относительно финансов, но далее этого не шло, не имело общей программы реформ. Конечно, и крестьянской массе был чужд политический вопрос, который вытекал из созыва генеральных штатов: чем будет это собрание в политическом отношении? Наоборот, духовенство, дворянство и буржуазия понимали, что вопрос этот имеет важное значение, и везде подчинялись мнению тех лиц, которые казались им наиболее компетентными в решении вопроса. Самый влиятельный в то время класс французского общества весьма резко высказался всюду в смысле полного осуждения абсолютизма, который притом подвергся этому осуждению с обеих сторон — и со стороны привилегированных, и со стороны буржуазии, одинаково выражавших желание, чтобы королевская власть была ограничена. Цель созывания генеральных штатов в cahiers определялась словами: возродить нацию, восстановить Францию, обрести снова полноту естественных прав, утвердить «священный и национальный договор короля и нации» (le pacte français), но чаще всего указывалось на то, что Франция должна была «восстановить», «упрочить», «получить» свою конституцию, последнее же слово употреблялось или в старом смысле², или в новом, какое оно утвердило

¹ См. об этом в моей книге о французских крестьянах в XVIII в.

² Как, например, у Тюрго.

за собой главным образом в XIX в. У привилегированных и особенно у дворян часто заходит речь о «восстановлении конституции», т. е. они думали, что целью генеральных штатов должно быть возвращение старым сословиям их прежних политических прав, возвращение к старой сословной монархии, нашедшей свое место и в политической теории Монтескье, но у третьего сословия преобладало стремление к созданию новых отношений, дабы «уравновесить власть государя и права нации», чего можно было бы достигнуть путем разделения властей, которое тот же Монтескье усматривал в английской конституции.

Cahiers высших сословий и сводные указы третьего сословия большей частью совсем не возбуждали вопроса, кому будет принадлежать учредительная власть и в каком отношении будут находиться штаты к королю. Одни cahiers представляли из себя просьбы к королю и генеральным штатам, другие — к королю, «заседающему» в генеральных штатах, а относительно реформ в указах говорилось, что их «испросят», «вотируют» или что «будет постановлено», или же говорилось о «содействии» штатов в деле реформы, о «согласии» короля на то-то и то-то и т. д. в подобном, не вполне определенном роде. Весьма немногие из тех указов, которые высказывались точно и ясно, предоставляли учредительную власть, т. е. право дать Франции конституцию одному королю, большинство же рассматривало это право как принадлежащее самой нации, хотя последнюю одни cahiers понимали так, другие — иначе: или это была совокупность всех избирателей, или это были одни депутаты, или же те и другие вместе, причем, однако, и одни депутаты должны были действовать не иначе, как по указанию избирателей, дающих им безусловные инструкции (mandats impératifs) и лишающих их власти, раз эти инструкции не исполняются, — требование, особенно часто встречающееся в дворянских указах¹. Наконец, третья категория cahiers признает учредительное право за самими генеральными штатами, которые рассматриваются в них как олицетворение всей нации, как целая нация, собранная в одном месте (la nation assemblée), как, наконец, «национальное собрание», — название, довольно часто заменяющее старое имя генеральных штатов, пример чему был еще прежде подан брошюрной прессой, которая к старому сословному строю Франции применяла понятие нации в новом смысле, какой оно получило в политической литературе XVIII в. Насколько, однако, решения нации будут обязательны для короля, вопрос этот не ставился и не решался с достаточной ясностью и определенностью, ибо, например, говорилось, что «будет санкционировано» или «утверждено» то-то и то-то, возможность же отказа санкционировать или утвердить при этом не предусматривалась: во многих cahiers высказывается мысль, что *нет ничего выше генеральных штатов, ибо они* —

¹ Такой порядок существовал в Польше.

вся нация в сборе, а нации принадлежит верховная власть, т. е. идея народовластия уже играет видную роль в политических соображениях *cahiers*. Кроме того, даже те наказания, которые были составлены в самых смиренных и почтительных выражениях, рекомендуют депутатам производить на правительство давление, не соглашаться на налоги, пока не будет решен политический вопрос: генеральные штаты созывались для вывода правительства из затруднительного финансового положения, а штаты-то и не должны были помогать, пока не будут исполнены их требования. При этом генеральные штаты и впредь должны были собираться периодически (*le retour periodique*), по некоторым *cahiers* — в определенные сроки без участия правительства, а иные наказания требовали непрерывных (*permanents*) штатов, иногда еще так, чтобы они не могли быть вообще распускаемы (*indessolubles*) королем (в случае, например, конфликта) или могли быть распускаемы лишь не иначе, как по собственному на то изволению. Сами штаты, предполагалось, определяют свою организацию, и по вопросу о последней *cahiers* расходились: все зависело от того, как кто понимал нацию. В духовенстве, где существовал антагонизм между высшим и низшим его слоями, образовался раскол: в одних духовных наказах воля нации понимается в смысле единодушия трех отдельных сословий (*ordres*); в других требуется поголовная подача голосов, хотя и с предосторожностями; в третьих рекомендуется вотировать по сословиям, пока нация не прикажет иначе. Дворяне тверже стояли за сохранение сословного начала: многие *cahiers* требовали, чтобы депутаты в противном случае протестовали и удалились из собрания. Третье сословие, напротив, желало поголовного голосования, но и тут высказывались разные мнения: одни, *cahiers* (и таких было большинство) не требовали слияния сословий, желая лишь, чтобы *tiers-état* имело двойное представительство и чтобы его депутаты были из его же среды, а другие указывали еще на необходимость выделения особого крестьянского чина (*ordre des paysans*), но были и такие, хотя и в малом числе, которые утверждали, что третье сословие есть по существу дела, сама нация, и что голосование должно быть не только поголовное, но и совместное. Каждый, таким образом, представлял себе по-своему конституцию, какую должна была иметь Франция, — по своему понимал, что такое нация и чем будут генеральные штаты, но *все одинаково переносили атрибуты верховной власти с короля на нацию* и, считая себя монархистами, высказывали нередко республиканские идеи. Будущая конституция рисовалась и привилегированным, и буржуазии как государственное устройство, в котором главную роль станет играть «национальное собрание», сословное с преобладанием аристократии — по одним *cahiers*, бессословное, демократическое — по другим, и в обоих случаях королевская власть представлялась как нечто не только ограниченное в своих правах, но и ослабленное. Мы видели, что политическая литература XVIII в. при-

учала французское общество смотреть на абсолютную монархию Бурбонов как на узурпацию; для одних только — узурпированы были ею старые исторические права сословий, для других — нарушены естественные права нации, о которых учила новая философия. Монархия в лице Людовика XVI отрекалась от самой себя, *и вот за власть должна была произойти борьба между аристократией и демократией, между правом историческим и правом естественным*. В борьбе этой аристократия нашла поддержку в короле, демократия — в народе, который увидел в ней обеспечение того, что вопросы, близко его касавшиеся, будут решены в желательном для него смысле. Его, сказали мы, совсем не интересовали вопросы политические, притом сами по себе ему мало понятные, но он хотел добиться облегчения своей участи от гнета государственных налогов, от феодальных поборов, от церковной десятины и поддержал буржуазию, в которой особенно была популярна идея демократической и, как у Руссо и Мабли, республиканской монархии.

По вопросу о сословных привилегиях и о социальном феодализме указы 1789 г. можно резко разделить на две категории: *духовенство и дворянство стремились сохранить и поддержать старый общественный строй, третье сословие, напротив, требовало отмены аристократических привилегий и феодальных прав*. Читая *sañiers* привилегированных, можно подумать, что представители старого социального строя понимали деятельность, предстоявшую генеральным штатам, не только в смысле утверждения всех привилегий, но даже иногда их приумножения. В духовном сословии еще замечается раскол, потому что широкое участие в выборах и в составлении наказов, какое было дано низшему клиру, т. е. приходским священникам (*cures*), имело результатом появление в *sañiers* духовенства требований, направленных против привилегий, но дворянство упорно отстаивало старину. В одном лишь отношении новые идеи весьма сильно повлияли на привилегированных: они отказываются от налоговых изъятий, соглашаясь в принципе с той идеей, что все равномерно должны нести на себе бремя государственных повинностей. Стремясь приобрести политические права, духовенство и дворянство делали, по крайней мере, эту уступку духу времени и очевидной необходимости изменить старую финансовую систему. Иногда между обоими привилегированными сословиями возникал антагонизм, и, например, дворянство требовало отмены десятины, составлявшей доход церкви, духовенство — уничтожения права охоты, которое было одной из привилегий дворянства. В вопросе о социальном феодализме привилегированные были солидарны: в своих *sañiers* они высказывают опасения относительно феодальных прав *и заранее иногда протестуют против их отмены* «во имя священных прав собственности». Сеньоры протестовали даже против выкупа крестьянами лежавших на них феодальных повинностей. Многие их указы заключают в себе еще просьбы о сохране-

нии права суда, права охоты, баналитетов и т. п., как духовенство, со своей стороны, отстаивает десятину. *Требование отменить феодальный режим почти исключительно исходило из третьего сословия.* Нужно только отметить, что по вопросу об остатках крепостничества и привилегированные высказывались в либеральном смысле, как о наследии варварских времен, и любопытно еще то, что серваж сохранился во Франции перед революцией преимущественно на церковных землях¹. Лишь в очень редких случаях владельцы феодальных прав соглашались на выкуп некоторых из них, да и то на самых тяжких для населения условиях. Впрочем, и указы третьего сословия не были однородны: в тех, где преобладали взгляды горожан и сельской буржуазии, нередко бывшей заинтересованной в сохранении феодального режима, даже прямо защищались интересы сеньоров, а также указывалось на то, что это вопрос очень трудный, и что лучше его отложить до более благоприятного времени, но такие случаи были исключительные, ибо в большинстве наказов горожан, равно как сводных *sahiers* от всего третьего сословия вместе с деревнями, выражалось желание, чтобы феодальный режим был отменен. Важно и то, что по вопросу о способе уничтожения феодальных прав очень многие *sahiers* заключают в себе однородные предложения, которые оказываются не чем иным, как возобновлением плана, бывшего на этот счет у Тюрго, а именно — отменить безвозмездно все то, что вытекало из крепостничества, и выкупить все права, происхождение которых объяснялось уступкой сеньорами земельных участков крестьянам на известных условиях. Очень немногие указы третьего сословия не делают никакого различия между разными категориями феодальных прав, требуя безусловной отмены всех, каково бы ни было их происхождение. Зато в крестьянских наказах такое требование встречается, напротив, довольно часто, причем высказан был и такого рода довод в пользу этой мысли: сеньоры вознаграждены уже тем, что долго не платили податей, а народ, на котором лежала вся тяжесть налогов, уже тем самым выкупил свою свободу от феодальных повинностей.

Наказы 1789 г. вообще имеют большую важность в истории крестьянского вопроса во Франции. В этих документах выразились не только жалобы и желания самого крестьянского сословия, но и те взгляды, какие существовали на крестьян, на их нужды, на их права, на их положение среди других классов общества. Из-за влияния на крестьянскую массу во время выборов в генеральные штаты даже происходила довольно ожесточенная борьба между аристократией и буржуазией: оба общественных класса стремились представить себя естественными союзниками и защитниками крестьян от администрации и других сословий, но, разумеется, более искренними и более близкими к истине в этом деле были горожане, а не

¹ Chassin. L'église et les derniers serfs.

сеньоры. Масса частных вопросов крестьянского быта поднималась и в наказах самого сельского населения, и в других *sahiers*, начиная с политического вопроса об учреждении в генеральных штатах особого «*ordre des paysans*» и кончая экономическим вопросом о том, как улучшить быт, например, безземельных батраков. Впрочем, в этом вопросе доминировала не политическая и не экономическая сторона (земельное обеспечение крестьян), а сторона юридическая — отмена феодальных прав — вместе со стороной финансовой, т. е. с вопросом об облегчении налогов, тяжело падавших на скудный достаток сельского населения.

Наказы 1789 г. осуждали «старый порядок» в его самой характерной черте — в соединении политического абсолютизма с социальными привилегиями, а вместе с тем заключали в себе требования, касавшиеся личной и общественной свободы. Религиозная нетерпимость, созданная отменой Нантского эдикта, порицалась наказами, даже наказами духовенства, и выдвигался принцип равноправности подданных разных исповеданий. Гарантии личной свободы занимают также видное место в желаниях образованных классов: неприкосновенность личности и имущества, отмена *lettres de cachet*¹, исключительных судов, Бастилии и других подобных тюрем, ненарушимость тайны писем, свобода слова и свобода печати — вот требования, которые очень часто встречаются в наказах высших сословий, а *sahier* города Парижа предлагал, разрушив Бастилию, сделать на ее месте площадь и поставить колонну «Людовику XVI, восстановителю общественной свободы». Подобного рода требования вполне гармонируют с желаниями, выражавшимися относительно конституции, и в деле индивидуальной свободы образованные люди без различия сословий высказывали одни и те же принципы. В числе требований этой категории мы встречаемся и с заявлениями, имевшими в виду свободу труда, свободу промышленных предприятий, свободу торговли, хотя и тут заинтересованные часто отстаивали старые регламенты, создававшие разного рода привилегии. Во всяком случае, идеи естественного права и физиократии отразились на *sahiers* 1789 г. с такой же силой, как и идеи народовластия или разделения властей. Многие *sahiers* требуют еще провозглашения прав.

Кроме того, указы 1789 г. заключают в себе массу указаний на бывшие желательными реформы в области администрации, права и суда, налогов и т. п. Идея местного самоуправления была очень популярна в наказах разных сословий, хотя в данном случае, как и в вопросе о конституции, она представлялась или в старой сословной форме провинциальных штатов (*états provinciaux*), за которую держалась аристократия, или в новой форме только что введенных провинциальных собраний (*assemblées provinciales*), более благоприятной для народа. Этим одинаково осуждался

¹ Письма с печатью (фр.). — Прим. ред.

старый интендантский порядок провинциального управления. Если еще у консервативных классов общества мы встречаемся с защитой провинциальных привилегий, то в *sahiers* третьего сословия нередко слышится желание, чтобы Франция была более объединена. Между прочим, жалуясь на отсутствие частного и публичного права, выражают желание, чтобы в стране существовало общее для всех право, вместо устарелых провинциальных кутюм. Податные привилегии провинций также должны были исчезнуть перед новым, для всех граждан равномерным обложением. Единство веса и меры равным образом имелось в виду составителями наказов и не по одним практическим соображениям. В *sahiers* 1789 г. вообще *чувствуется сильное сознание национального единства*, ибо передовые фракции общества представляли себе генеральные штаты не только с поголовным голосованием, уничтожавшим сословные перегородки, но и с устранением из них всего, что напоминало бы перегородки провинциальные.

Демократическое равенство — одна из видных особенностей содержания *sahiers* третьего сословия: все должны быть равны перед законом, иметь одинаковый доступ к должностям и отличиям, подчиняться общей и равной для всех системе обложения и пр., и пр. Наконец, в области суда предлагается введение гласности, присяжных заседателей, защитников для подсудимых.

Гуманный дух философии XVIII в. точно так же отразился на наказах 1789 г.: высказываются пожелания относительно уничтожения рабства в колониях, смягчения уголовных законов, ограничения случаев смертной казни, отмены конфискации имущества и наказаний, налагающих позор и на семью преступника; высказываются желания и относительно лучшей организации благотворительности и т. п. И народное образование входит в число предметов, которыми занимаются наказы.

Наконец, *sahiers* 1789 г. касаются и церковных вопросов. Духовенство, желая сохранить за католической церковью значение государственной религии и удержать за собой руководство народным образованием, равно как и духовную цензуру, в то же время выставило из своей среды немало лиц, желавших изменений в самой церкви: сельские священники именно высказывались за ограничение власти епископов, за восстановление независимости церковных выборов и даже за отмену конкордата. Весьма нередки в *sahiers* 1789 г. указания на необходимость национальных соборов и провинциальных синодов. Приходское духовенство перед началом революции проявило не только демократические стремления, но и либеральный дух в смысле идей галликанизма, т. е. национальной независимости.

Вот какие идеи принесли с собой в генеральные штаты представители разных слоев французской нации.

XXXIV. Первые месяцы революции¹

Разделение истории Французской революции на периоды и план последующего изложения. — Открытие генеральных штатов. — Проверка полномочий. — Провозглашение национального собрания. — Королевское заседание. — Планы двора и парижское восстание. — Король и национальное собрание после 14 июля. — Эмиграция и ее значение. — Впечатление, произведенное на Европу революцией. — «Жакерия» 1789 г. и ночное заседание 4 августа. — Намерения двора и события 5–6 октября. — Положение национального собрания и его задача.

История Французской революции распадается на несколько периодов, более или менее согласно принимаемых всеми историками. Эпоха Французской революции в тесном смысле этого слова охватывает собою десятилетие, протекавшее от открытия генеральных штатов (5 мая 1789 г.) до переворота «18 брюмера» (9 ноября 1799 г.), с которого начинается история консульства и империи Наполеона I. Десятилетний период 1789–1799 гг. делится довольно резко на два одинаково продолжительных, именно пятилетних, но имеющих различный характер периода — до «9 термидора» (27 июля 1794 г.) и после «9 термидора»: первое пятилетие характеризуется развитием революционного движения, достигающего кульминационного пункта в эпоху так называемого «террора», второй — началом реакции, мало-помалу приводящей к бонапартовскому военному деспотизму. Главный интерес истории революции сосредотачивается на первом ее периоде (1789–1794), что отражается как на числе сочинений, посвященных ему, так и на количестве страниц, отводимых обыкновенно на его изложение в общих историях революции, сравнительно с тем, что дается на второй период. В свою очередь в первом пятилетии Французской революции нужно различать два еще меньших периода. В 1789 г. генеральные штаты, превратившиеся в национальное учредительное собрание, предприняли великую работу полной реорганизации внутреннего быта Франции по началам, по-

¹ См. указанные выше сочинения Тьера, Минье, Мишле, Луи Блана, Зибеля, Гейсера, Карлейля, Тэва, Сореля, Онкена, Рамбо, из которых многие переведены по-русски, равно как и недавно (1893) изданная на русском языке популярная «История Французской революции» И. Карно, сына «организатора победы» и отца теперешнего президента республики. Она, вместе с книжкой Рамбо, Paul Janet (Centenaire de 1789. Hist. de la révolution française), m-me E. Duvergier de Hauranne (Hist. populaire de la rév. française), Bloss'a (на нем. яз.), относится к популярной литературе. Популярные попытки обсуждения событий революции сделаны в книжках E. Champion'a (Esprit de la révolution française), Feugère'a (La révolution française et la critique contemporaine) и др. Только что вышел русский перевод «Франц. рев. в показаниях современников и мемуаров» де Брөка.

лучившим название «принципов 1789 г.». Работа эта была окончена национальным собранием к осени 1791 г., когда была утверждена новая конституция, в силу которой учредительное собрание разошлось и уступило место новому, законодательному собранию, избранному на полтора года. Это было в сентябре 1791 г., но менее чем через год, 10 августа 1792 г., произошел в Париже переворот, имевший своим результатом низвержение монархической конституции 1791 г. и образование чрезвычайного собрания, которое получило название национального Конвента и установило во Франции республику. Первая эпоха характеризуется господством «принципов 1789 г.», вторая — «принципами 1793 г.». Между этими эпохами различие заключалось не в одной правительственной форме, но и в других отношениях. Во-первых, в социальном отношении два разных общественных класса господствуют на политической арене: в 1789 г. буржуазия, поддерживаемая народом, разрушает старый порядок и на его месте созидает новый, рассчитанный на то, чтобы ввести в жизнь французской нации начала личной и общественной свободы, но в 1793 г. делается попытка заменить буржуазию, достигшую господства в 1789 г., пролетариатом, и на первый план выступает идея равенства, а фактически правительство получает характер диктатуры, т. к., хотя и составляется новая конституция (республиканская «конституция 1793 г.»), но она никогда не была приведена в исполнение. Таким образом, мы можем и период от 5 мая 1789 г. по 27 июля 1794 г. (9 термидора) подразделить на эпоху конституционной монархии, буржуазии «принципов 1789 г.» и на эпоху республики, пролетариата и «принципов 1793 г.», а насколько можно подводить события и явления реальной жизни под теории, это будут эпохи сначала наибольшего влияния Вольтера и Монтескье, впоследствии энциклопедистов и Руссо, хотя, конечно, очень резко не следует понимать этого противоположения между указанными эпохами. Наконец, рассматривая первую эпоху, мы должны положить грань между первыми двумя годами революции, или временем учредительного собрания, и третьим годом, т. е. временем законодательного собрания: первые два года были временем выработки глубоких внутренних реформ, которые должны были дать Франции новый вид, третий год — временем их применения к жизни, окончившимся катастрофой 10 августа 1792 г. Сделав в двух главах очерк внешней истории учредительного собрания, мы рассмотрим потом преобразование Франции учредительным собранием, и, переходя к истории законодательного собрания, поставим вопрос: почему реорганизация Франции учредительным собранием не окончила революции, почему последняя продолжалась еще несколько лет и почему Конвент повел Францию по новой дороге, пока в 1794 г. не началась реакция? Затем, когда мы познакомимся с историей крушения дела учредительного собрания и с историей попытки основания во Франции республики, мы должны будем ответить на вопрос о том, почему и эта

последняя попытка не удалась, какие причины вызвали реакцию против «принципов 1793 г.» и как эта реакция привела к наполеоновскому режиму, который, обеспечив за французами сделанные ими в 1789 г. социальные приобретения (победу демократического равенства над католико-феодальным строем), не давал им, однако, политической свободы, будучи, таким образом, как бы возобновлением — на новых началах, при новых условиях и в новой форме — «просвещенного абсолютизма», явившегося по отношению к старой Европе абсолютизмом революционным: можно сказать, что Наполеон I во многих отношениях осуществлял мечту «революционера на троне», Иосифа II, подобно тому как и Французская революция сделала многое из того, что Иосиф II хотел видеть в Австрии. Переворотом «18 брюмера» мы и закончим настоящий том, т. к. в 1799 г. начинается новый период истории, и вместе с тем Европа вступает в XIX столетие¹.

Генеральные штаты собрались в Версале в начале мая 1789 г. 4-го числа было торжественное богослужение, 5-го произошло торжественное открытие заседаний этих последних штатов старой Франции. Если и правительство не имело определенной программы действий, зато церемониймейстеры обдумали все относившееся к внешней стороне собрания и при дворе было решено, что генеральные штаты 1789 г. будут держаться форм штатов 1614 г. Депутаты привилегированных сословий должны были присутствовать на обеих церемониях в великолепных костюмах, а депутаты третьего сословия в простых черных плащах, и когда хранителя печати Барантена спросили, должны ли депутаты третьего сословия говорить на коленях, он отвечал: «Да, если так угодно будет королю». Нантский епископ в церковной речи просил Людовика XVI принять уверения в преданности (*les hommages*) духовенства и в уважении (*les respects*) дворянства, а от третьего сословия всенижайшие просьбы (*les humbles supplications*). Когда на торжественном собрании 5 мая король, заняв трон, надел шляпу, духовные и дворяне тоже надели свои головные уборы, но когда поступили таким же образом и члены третьего сословия, привилегированные шумом выразили свое неудовольствие, и Людовик XVI тотчас же снял шляпу, дабы заставить всех обнажить головы. В этом заседании произнесены были три речи: го-

¹ Считаю удобным дать здесь краткую хронологию событий 1789—1791 гг.

1789 г. 5 мая, открытие генеральных штатов. 17 июня, провозглашение национального собрания. 20 июня, присяга в *Jeu de raime*. 23 июня, королевское заседание. 14 июля, разрушение Бастилии. 4 августа, ночное заседание (падение феодализма). 5—6 октября, поход Парижа на Версаль и переселение короля и национального собрания (12 октября) из Версала в Париж.

1790 г. 14 июля, праздник федерации.

1791 г. 2 апреля, смерть Мирабо. 21 мая, бегство Людовика XVI. 17 июля, дело на Марсовом поле. 14 сентября, принятие Людовиком XVI конституции. 30 сентября, закрытие учредительного собрания.

ворили король, хранитель печати и Неккер. Речь последнего была не чем иным, как длинным и скучным финансовым отчетом, состоявшим из массы цифр, т. к. правительство смотрело на собравшиеся штаты, лишь как на способ добыть денег посредством новых налогов. Вообще, однако, речи эти не содержали прямого указания относительно самого важного вопроса, от которого зависело решение и всех иных, как именно должны были подавать голоса — поголовно или посословно, а касательно нововведений делалось даже предостережение в обозначении их опасными (*des innovations dangereuses*). Правительство само не решало главного вопроса, и он был решен помимо правительства. 6 мая три сословия собрались в отдельных помещениях для проверки полномочий (*verification des pouvoirs*), т. е. документов об избрании того или другого депутата, которых явилось более 1100 человек, но третье сословие стало требовать, чтобы этим делом занялись все сообща и в одном помещении, на что привилегированные отвечали отказом. Начались пререкания, длившиеся довольно продолжительное время, взаимные обвинения в нежелании приступить к работе, ради которой были собраны генеральные штаты, и в этом прошли первые недели собрания. *Последние генеральные штаты, бывшие за 175 лет перед тем, окончились ссорой между сословиями, столь характерной вообще для истории этого старинного учреждения, и вот в генеральных штатах 1789 г. в самом начале происходит то же самое.* В былые времена из этого извлекала для себя выгоду одна королевская власть, но теперь обстоятельства были иные, и победа осталась на стороне третьего сословия, отождествившего себя с нацией: последняя действительно оказывала поддержку своим депутатам в то время, как привилегированные сносились с двором, продолжавшим стоять на своей старой точке зрения. Наконец 10 июня автор знаменитой брошюры Сизес, нашедши, что «пора же обрезать канат», предложил в последний раз в торжественной форме старой судебной процедуры от имени «общин» вызвать (*sommer*) духовенство и дворянство, назначив им срок, после которого неявившиеся (*non-comparants*) лишатся своих прав. 12 числа в 7 ч. вечера началась проверка полномочий, а на другой день началось присоединение к третьему сословию представителей других сословий, на первый раз в лице трех приходских священников, появление которых было встречено громкими рукоплесканиями. Когда (15 июня) была окончена проверка полномочий, Сизес указал на то, что в собрании присутствуют представители, по крайней мере, 96 % нации, которые могут действовать и без неявившихся депутатов от кое-каких баляжей или разрядов граждан, а потому и предложил депутатам объявить себя «собранием известных и удостоверенных представителей французской нации». К этому присоединился и Мирабо, находивший, однако, лучшим назваться «представителями французского народа». Три дня происходили прения по поводу

этих предложений, пока не принято было наименование — «национальное собрание» (*assemblée nationale*), не бывшее совсем новым, т. к. мы находим его уже в наказах 1789 г., но подсказанное на этот раз представителям третьего сословия и присоединившимся к ним депутатам высших сословий — одним совсем почти никому неизвестным депутатом. Торжественное провозглашение национального собрания произошло 17 июня: в этот день *старое сословное деление французских подданных на три чина (ordres) исчезло, и все французы образовали в политическом отношении однородную по своему составу нацию*. Это решение с восторгом было принято парижским населением и действовало на большинство депутатов духовенства, решившихся примкнуть к третьему сословию, но двор, наоборот, был страшно раздражен. Людовик XVI колебался еще между советами Неккера и советами жены, младшего брата, принцев крови и привилегированных, но, наконец, принял решение устроить торжественное заседание с целью своей властью отменить случившееся. Между тем национальное собрание декретировало: 1) прекращение взимания налогов, буде его распустят, 2) принятие государственного долга под гарантию нации и 3) образование особого продовольственного комитета. 20 июня Байльи, председатель национального собрания, получил извещение от Барантена, что заседания отсрочиваются, после чего депутаты и многочисленная публика, собравшаяся посмотреть на то, как большая часть духовенства направится в залу национального собрания, нашли эту залу запертой и охраняемой часовыми: в зале шли приготовления к королевскому заседанию. Депутаты направились тогда в манеж *Jeu de raume*, где произошла в присутствии большой публики знаменитая присяга членов национального собрания — не расходиться и собираться всюду, где только представится возможность, пока Франция не получит прочной конституции. Протокол о присяге был подписан всеми депутатами: в него был занесен протест только одного члена, не присоединившегося к этому решению. На другой день было воскресенье. Когда в понедельник (22 июня) представители народа хотели опять собраться в *Jeu de raume*, им уже не дали этого помещения, т. к. гр. д'Артуа должен был там играть в мяч, но в это время уже значительная часть низшего духовенства присоединилась к национальному собранию, которое и приглашено было духовенством заседать в церкви св. Людовика, «храме религии, сделавшемся храмом отечества», по выражению одного говорившего там оратора. Около 150 человек из низшего духовенства здесь присоединилось торжественно к национальному собранию¹.

¹ См. выше о демократическом настроении низшего духовенства во Франции накануне революции. См. еще: *Élie Mège. Le clergé sous l'ancien régime; Chassin. Les cahiers des curés; Robidou B. Histoire du clergé pendant la révolution française*, а также указанную ниже работу по истории гражданского уложения о духовенстве. Одним из первых духовных, примкнувших к

Королевское заседание состоялось 23 июня. Со стороны двора и привилегированных оно должно было быть началом реакции против всего, что совершилось во имя новой идеи нации, и с такой целью к собранию представителей народа была применена форма прежних парламентских *lits de justice*. Королю сочинили повелительную речь, которую он и произнес в торжественном собрании, в присутствии всех депутатов, но произнес неуверенным голосом человека, поступающего не по собственной инициативе. Решения третьего сословия как противные законам и государственному устройству были объявлены уничтоженными; предписывалось сохранять в полной неприкосновенности старое разделение на сословия, запрещалось затрагивать какие бы то ни было права, принадлежащие привилегированным и королевской власти; возвещались кое-какие незначительные реформы и прибавлялось, что, если генеральные штаты не окажут поддержки благим намерениям власти, то он, король, один станет трудиться для блага своих подданных и будет считать себя единственным их представителем. «Я приказываю вам, господа, — сказал в заключение Людовик XVI, — немедленно разойтись, а завтра утром собраться каждому сословию в отведенной для него палате». Духовенство и дворянство повиновались, но третье сословие осталось на своих местах. Обер-церемоний-местер Дрё-Брезе возвратился в залу и сказал президенту: «Господа! Вы ведь слышали приказание короля», на что получил такой ответ от Байльи: «Мне кажется, что собравшейся нации нельзя давать приказаний». Мирабо, который раннее прихода Дрё-Брезе сказал речь против оскорбительной диктатуры короля, являющегося лишь уполномоченным (*mandataire*) нации, и напомнил о присяге не расходиться, пока Франции не будет дана конституция, теперь поднялся со своего места и произнес знаменитые слова¹: «Да, мы слышали намерения, внушенные королю, а вы, который не можете быть его органом перед генеральными штатами, не имея здесь ни места, ни голоса, ни права говорить, вы — не созданы для того, чтобы нам напоминать о его речи. Однако во избежание всякого недоразумения и всякой проволоочки, я объявляю вам (легенда сократила все предыдущее в одну фразу: «Идите сказать своему господину»), что если вас уполномочили заставить нас уйти отсюда, вы должны потребовать приказаний, чтобы употребить силу, ибо мы оставим наши места лишь под напором штыков». Дрё-Брезе удалился из залы, пятась назад, как бы будучи в присутствии короля, а один бретонский депутат воскликнул: «Что это? Король говорит с нами, как господин, когда должен был бы просить у нас

третьему сословию, был приходской священник Грегуар, впоследствии конституционный епископ, о котором см.: *Gazier*, *Études sur l'histoire éligieuse de la révolution française*.

¹ Полная достоверность их подвергается сильному сомнению в настоящее время, равно как (и притом особенно) предыдущая речь Мирабо. Loménie, IV, 321 sq. Само обращение к Дрё-Брезе передается в разных редакциях.

совета». «Господа! — обратился к собранию Сиэс. — Вы остаетесь сегодня тем же, чем были вчера: приступим же к прениям». И национальное собрание объявило, что принятые им решения сохраняют всю свою силу, и декретировало неприкосновенность личности депутата под угрозой обвинения в государственном преступлении всякого, кто посягнул бы на эту неприкосновенность. При дворе не ожидали такого исхода королевского заседания. Мария-Антуанетта радовалась сначала, что все вышло хорошо, и, представляя дофина депутатам дворянства, заявила, что вверяет его их охране, но пришло известие о сопротивлении третьего сословия, и настроение изменилось. *Задуманный двором государственный переворот против совершившейся революции пришлось признать неудавшимся*, а растерявшийся Людовик XVI сказал, что «если они (т. е. депутаты третьего сословия) не хотят расходиться, то пусть остаются». Неккера думали было уволить, но теперь король упросил его не покидать своего поста, и популярность этого министра, отсутствовавшего в королевском заседании, сильно после этого возросла. На другой день в заседание национального собрания явилось большинство духовенства, а потом вскоре примеру этому последовало незначительное меньшинство дворянства с герцогом Орлеанским во главе. Наконец, по совету Неккера, сам король приказал и другим представителям привилегированных прийти на заседание в общую залу. 27 июня произошло уже окончательное слияние депутатов духовенства и дворянства с третьим сословием.

Придворная партия с Марией-Антуанеттой во главе не хотела примириться с победой третьего сословия. *За первой попыткой контрреволюции, сделанной 23 июня, должна была последовать другая* и на этот раз при помощи тех самых штыков, на которые указывал Мирабо. Та консервативная оппозиция, которая препятствовала прежде необходимым реформам, теперь самым решительным образом подготавливала новую реакцию, но если прежде этой оппозиции до известной степени сообщала силу поддержка народа, переставшего доверять власти, то при новых обстоятельствах, какие наступили после 17 июня, уже никоим образом не могло быть ни малейшей солидарности между привилегированными и народной массой: теперь, наоборот, *реакционные попытки, направленные против национального собрания, должны были лишь разжигать народные страсти, направляя их в то же время в защиту именно этого самого национального собрания*. Если 23 июня депутаты третьего сословия, признавая себя представителями суверенной нации, ослушались королевской воли, не поддержанной физической силой, то в середине июля попытка произвести насильственную, при помощи войска, реставрацию старого политического строя вызвала насильственный же отпор со стороны народа, спасший национальное собрание, но вместе с тем выдвинув на политическую сцену народонаселение Парижа, которому потом и суждено было играть такую

видную роль в событиях революции: в этом и заключается смысл июльских событий, за которыми последовали события октябрьские, как увидим, уже менее благоприятные не только для королевской власти, но и для самого национального собрания¹.

В истории летних и осенних месяцев 1789 г. реакционные попытки двора и революционное движение в народе идут рука об руку. Одни историки склонны объяснять тогдашние народные восстания исключительно чувством самосохранения народной массы перед угрожающим положением двора и готовы поэтому взваливать на один двор вину той анархии, какая началась тогда во Франции, между тем, как другие именно исключительно этой анархией пытаются иногда объяснять репрессивные меры, к которым считала нужным прибегнуть придворная партия. Ни то, ни другое нельзя признать верным само по себе: верно и то, и другое вместе, но и тут опять-таки не вполне, ибо и народные бунты, и придворная реакция имели более глубокое происхождение. Конечно, реакция сильно подливала масла в огонь и вызывала грандиозные июльское и октябрьское восстания, да и такие события в свою очередь заставляли реакционную партию думать о более энергичной репрессии, но народные волнения задолго еще предшествовали революции, имея свои причины в общем состоянии Франции, в плохом экономическом положении народной массы, в общей социальной дезорганизации, в тревожном и возбужденном настроении умов², равно как и придворная оппозиция против всяких нововведений политического и социального свойства не была явлением новым, коренясь опять-таки в общем состоянии Франции, в том значении, какое получил двор в жизни страны, в его союзе с консервативными элементами общества, в его влиянии на королевскую власть. Обе силы вступили теперь в открытую борьбу: подозрительное поведение двора вызывало народные восстания, а народные восстания служили для двора поводом к тому, чтобы думать о репрессии. В этой борьбе двора и народа, обострявшейся главным образом реакционным направлением первого, *положение национального собрания было, как увидим, весьма затруднительное*, и придворная партия, не хотевшая признавать совершившихся событий, своим поведением сама подготавливала новый переворот, еще более для нее грозный и в то же время оказавшийся неблагоприятным для национального собрания. Если 23 июня власть из рук короля переходила в руки представителей нации, то впереди был еще захват власти непосредственно парижским населением, думавшим спасти свободу от козней придворной партии.

¹ См. выше в хронологических данных 5—6 октября и ниже.

² См. I том «Революции» Тэна, где говорится об *anarchie spontanée*. Уже 27 апреля 1789 г. в Париже был бунт, чуть было не отсрочивший открытие генеральных штатов.

После неудачи королевского заседания 23 июня в начале следующего месяца к Парижу и Версалью стали стягиваться войска, состоявшие главным образом из иностранных наемников разных национальностей, и во главе их были поставлены Бретейль и маршал Броль (Brogie), решившиеся на самые крайние меры против национального собрания и парижского населения. 9 июля национальное собрание, принявшее в этот день название конститутанты (*constituante*), т. е. учредительного собрания, просило короля об удалении войск; в этом деле опять одну из самых первых ролей пришлось играть Мирабо, но король отвечал, что войска необходимы для защиты самого национального собрания и что если оно тревожится, то его можно будет перевести в Нойон или Суассон. Между тем при дворе решились действовать. 11 июля сделалось известным, что Неккер получил отставку и вместе с тем приказание немедленно и без огласки покинуть Францию, и что было образовано новое министерство из Броля, Бретейля, клерикала Вогюйона и Фулона, которому молва приписывала такие слова по поводу голода: «Если народ хочет есть, пусть питается сеном». Национальное собрание послало к королю депутацию с просьбой вернуть Неккера и отослать войска на прежние места стоянки, но эта депутация не была принята. Тогда собрание декретировало, что нация напутствует Неккера и его товарищей выражением доверия и сожаления, что новые министры и советники короля, каково бы ни было их звание и положение, будут ответственными за свои поступки, и что вечный позор покроет того, кто предложит государственное банкротство. Тревожные слухи, приходившие из Версаля, производили сильное впечатление на парижан, среди которых уже начиналось революционное брожение, поддерживавшееся бедственным положением народа, безработицей, дороговизной хлеба, стечением массы людей из окрестностей и т. п., но в этом брожении участвовала и французская гвардия. Пресса и речи народных ораторов усиливали возбужденное состояние столичного населения. 12 июля пришло в Париж известие об отставке Неккера. В саду Пале-Рояля один молодой человек, Камилль Демулен, проникнутый античными идеями о республиканской свободе, вынесенными из только что покинутой школы, в страстной речи стал призывать народ к восстанию по поводу отставки Неккера, предложив всем присутствовавшим на сходке украсить себя листьями каштанового дерева, под которым он говорил, — прототип позднейшей национальной кокарды. В тот же день начались уличные беспорядки, и избиратели, собравшись в ратуше (*hôtel de ville*), установили новое городское управление и декретировали образование милиции в 48 тысяч граждан, из которой возникла затем национальная гвардия. 13 июля восстание приняло еще более грозные размеры под влиянием все более и более тревожных слухов. Наконец, 14 июля громадная толпа разграбила арсенал дома инвалидов, где было захвачено около 30 тысяч ружей и двадцати пу-

шек, а затем произошло знаменитое взятие Бастилии. Народ хотел овладеть оружейным складом крепости, но когда толпу встретили из нее залпом, она рассвирепела и бросилась на приступ, продолжавшийся пять часов и стоивший немало жертв. Затем началась жестокая народная расправа с комендантом де Лоне, голову которого носили по улицам вздетой на пикет, и такая же судьба постигла Флесселя, бывшего парижским городским головой. После этой победы народа над древним замком, бывшим как бы символом «старого порядка», началось его разрушение, как того требовали некоторые указы 1789 г. Лафайет послал Вашингтону в подарок ключ от главных ворот Бастилии¹. С парижским восстанием 12–14 июля начинается деятельная роль населения столицы в истории революции².

Взятие Бастилии расстроило все планы двора, которые предполагалось привести в исполнение в ночь с 14 на 15 июля, для чего уже было заготовлено 40 тысяч экземпляров королевской прокламации к народу. Когда Людовику XVI сообщили о парижских событиях, он воскликнул: «Но ведь это бунт!» — «Нет, государь, — отвечал герцог Лианкур, — это революция!» («Mais c'est une révolte?» — «Non, sire, c'est une révolution!») В войсках, которые должны были быть употреблены в дело для совершения государственного переворота, обнаруживались признаки неповиновения, нежелания стрелять в народ: военная сила старой монархии также разлагалась. Национальное собрание между тем должно было стать в определенные отношения к совершившимся событиям. 9 июля оно слушало мемуар (Мунье) об основах будущей конституции, 11-го числа Лафайет внес свой проект декларации прав, 13-го оно опять просило короля удалить войска, но получило отказ. Намерения двора были известны депутатам, и они решились тогда не расходиться, дабы снова не очутиться потом перед запер-

¹ О Бастилии и ее взятии 14 июля 1789 г. см. соч. Ravaissou's a (Les archives de la Bastille), Funck. Brentano (в revue historique за 1890 г.), G. Bord'a (La prise de la Bastille et les consequences de cet événement dans les provinces), Fournel (Les hommes du 14 juillet, gardes françaises et vainqueurs de la Bastille), Lecocq'a (La prise de la bastille et ses anniversaires), Flammermont'a (Relations inédites sur la prise de la Bastille) и др. См. также новую русскую книгу (1898) г. Ахшарумова, а также ср.: Любимов Н.А. Первые дни Французской революции 1789 г. по неизданным запискам очевидца. Для характеристики второстепенных деятелей в событиях 12–14 июля см.: Mémoires secrets de Fournier l'Americain (изд. под ред. Aulard).

² История Парижа во время Французской революции имеет целую литературу, чему за последнее время много способствовал особый комитет исторических работ при парижском муниципальном совете (ср. мою статью о новейших трудах по истории Французской революции в первом томе «Исторического обозрения», 1890). См. его издания: *Monin*. Etat de Paris en 1789; *Chassin*. Les élections et les cahiers de Paris en 1789; *Charavay*. Assemblée électorale de Paris (1790–1791); *Robiquet*. Le personnel municipal de Paris pendant la revolution française. Интересно также юбилейная (1889) книжка знатока «старого порядка» во Франции А. Babeau (см. выше). Paris en 1789. Соч.: *Monin H.* Journal d'un bourgeois de Paris pendant la revolution française (année 1789) имеет также интерес (книга популярная). Из более старых сочинений отметим немецкую книгу, переизданную и по-французски: *Schmidt A.* Pariser Zustände während der Revolutionszeit.

тыми дверями: потому заседание длилось беспрерывно в течение всей ночи (с 14 на 15 июля). Утром 15 числа решено было послать к королю еще одну депутацию, — перед чем Мирабо сказал одну из наиболее пламенных своих речей, — и собрание готово было уже разойтись, когда ему дали знать, что сам король желает явиться в собрание. Мирабо советовал, чтобы «первым приемом монарху со стороны представителей несчастного народа была мрачная почтительность», ибо, прибавил он, «молчание народов — урок королям». Но когда Людовик XVI явился без стражи, когда он сказал, что велел удалить войска, когда употребил выражение «национальное собрание», когда, наконец, вверил ему свою безопасность, депутаты приветствовали его с восторгом и проводили назад до самого дворца. Сто членов национального собрания немедленно поехали в Париж известить население столицы о радостном событии. Вопреки желанию Марии-Антуанетты, не покидавшей мысли о контрреволюции, Людовик XVI решился также ехать в Париж; здесь его встретили и устроили ему торжественный прием новые муниципальные власти, в то же время члены национального собрания — Байли, сделавшийся мэром Парижа, и Лафает, ставший во главе национальной гвардии. Неккер был возвращен, король принял трехцветную кокарду¹, утвердил Байли и Лафайета в их должностях и уехал обратно в Версаль, откуда немедленно началась эмиграция дворян, пример которой подали граф д'Артуа, принцы Конде, Конти, Полиньяк, вместе с ними Броль, Калонн и др. лица, советовавшие произвести контрреволюцию.

Была ли причиной этой эмиграции опасность, которой не хотели подвергать себя лица, чувствовавшие, что в народе они не могут быть популярны, как утверждают одни историки, или в эмиграции действовала, как говорят другие, ненависть к новым порядкам, во всяком случае граф д'Артуа и другие знатные лица оставили территорию Франции не в качестве беглецов, жертв народной ярости, а в качестве недовольной политической партии, которая тотчас же стала искать союзников при мелких германских дворах для восстановления «старого порядка» на родине. Если замыслы двора произвели уже парижское июльское восстание, то *вызывающий тон эмигрантов, их угрозы «мятежникам», их союз с иностранцами поддерживают и усиливают тревогу в народе*, который начинает подозревать в сообщничестве с ними и двор, и всех оставшихся во Франции дворян; вследствие этого ответственность за многое из того, что впоследствии происходило во Франции, падала на эмигрантов, а они вышли из тех самых кругов, где сначала противились реформам Тюрго и других министров Людовика XVI, а потом только и думали что о противодействии национальному собранию. Эти эмигранты первые вмешивали иностранные дворы

¹ Красный и синий — цвета парижского герба, белый — цвет королевского знамени.

во внутренние отношения Франции, и любопытно, что и на чужбине они продолжали вести себя столь же легкомысленно в погоне за удовольствиями и в интригах разного рода, как вели себя, когда играли на родине первенствующую роль при дворе¹.

В то самое время, как эмигранты обращаются к иностранным дворам с просьбой о поддержке, *общественное мнение в самой Европе становится на сторону совершившегося во Франции переворота*. Известие о взятии Бастилии было повсюду встречено с большой радостью — в Германии, в Англии, в Италии, в России, как о том доносил французский посланник при дворе Екатерины II. В Англии устраивались общественные празднования этого события; Кембриджский университет объявил падение Бастилии конкурсной темой для студентов. В Италии Альфиери, в Германии Эбелинг, писали оды на взятие Бастилии. Да и вообще французские события лета 1789 г. произвели сильное впечатление на иностранных мыслителей, поэтов и просто образованных людей, что весьма понятно ввиду того влияния, какое оказывали французские идеи на англичан, немцев, итальянцев и другие нации, и при общем космополитическом настроении XVIII в. В числе лиц, приветствовавших новую Францию и даже, — как делали, конечно, не все, — нарочно приезжавших в нее «подышать воздухом свободы», были многие исторические знаменитости — Кант, Вильгельм фон Гумбольдт, Клопшток, Гердер, Вортсворт и т. п. Для общественного мнения Европы Французская революция получила такое же значение, какое американская имела для общественного мнения самой Франции, и только позднейшие крайности революции стали изменять благоприятное к ней отношение, хотя в то же время те, которые, как Гете, не придавали французским событиям сначала никакого серьезного значения, поняли всю их важность и не для одной Франции². Что касается до европейских правительств, то они не сразу поняли характер начинавшихся во Франции событий и первоначально смотрели на них не с принципиальной, а с утилитарной точки зрения: каждое отдельное правительство имело в виду исключительно собственные политические интересы, и только тогда, когда революция стала грозить монархическому принципу, эмигранты стали рассчитывать на большой успех при иностранных дворах.

¹ По истории эмиграции тоже есть значительная литература. *Forneron*. Hist. des émigrés. *Daudet E.* Les Bourbons et la Russie. Les émigrés et la seconde coalition; *Coblentz*. *Pingaud*. Corresp. du c-te de Vaudreuil avec le c-te d'Artois и др.

² Об этом можно найти подробности во многих общих сочинениях (например, у Сореля, т. II, у Геттнера, Бидермана, см. выше, а также страницу, где названы сочинения по истории французского влияния в Германии). Кроме того, см.: *Wohlwill*. Weltbürgerthum und Vaterlandsliebe der Schwaben, 1789—1815; *Venedey*. Die deutschen Republikaner unter der französischen Republik; *Rambaud*. Les Français sur le Rhin; *Rieger*. Schillers Verhältniss zur französischen Revolution; *Franchetti*. Storia d'Italia (глава primi effetti della rivoluzione francese) и др.; *Pingaud Cf.* Les Français en Russie.

14 июля отозвалось весьма быстро и на провинциях: в отдельных городах и деревнях по всей Франции начались восстания, причем, например, в Кане (Саен), в Бордо, народом были взяты королевские цитадели, но главным образом борьба шла в деревнях, где крестьяне, — это было время жатвы, — отказывались платить шампар, десятину и др. сборы, равно как и налоги, нападали на замки, разграбляли феодальные архивы, жгли и те, и другие, совершали насилия над сеньорами. Это было повторение «жакерии» середины XIV в., повторение на почве Франции великой крестьянской войны, бывшей в Германии в реформационную эпоху. К движению, источник которого была ненависть к фискальному гнету и феодальному режиму, примыкали голодные толпы, грабившие хлебные запасы и обозы, как это часто бывало и раньше, бродяги, нищие, контрабандисты, настоящие, наконец, разбойники, а разные слухи, иногда совершенно нелепые, только поддерживали в народе это волнение. Собственно говоря, то, что происходило во Франции во второй половине июля 1789 г., началось гораздо раньше, еще до созвания генеральных штатов, но прежде все это были лишь вспышки, хотя и пророчившие будущий общий взрыв (как это было и перед немецкой крестьянской войной 1524—1525 гг.): время жатвы, когда собирали с крестьян разные повинности, пример Парижа и других городов, а также разные слухи, ходившие в народной массе, подметные письма, подложные манифесты и агитация, шедшая со стороны людей, впоследствии сделавшихся главными опорами якобинского режима, — вот что усиливало теперь движение, превращало его уже в целую крестьянскую войну¹.

В национальное собрание стали приходить грозные известия из провинции, и оно, наконец, должно было обратить внимание на то, что совершалось в деревнях. Представители нации спохватились, что не предупредили ужасных сцен своевременным обращением к народу. «Деревни, — говорил в заседании 4 августа виконт де Ноайль, — высказали свои желания: не конституции просили они, ибо эта просьба высказывалась только в бальяжах, — они требовали облегчения или изменения феодальных повинностей. Уже более трех месяцев они видят одно — как их представители занимаются тем, что мы называем и что в действительности есть общественное дело, но для них общественным делом кажется то, чего они сами желают и чего страстно хотят добиться... Они уже распознали людей, им преданных, стремящихся к их счастью, и могущественных лиц, наоборот, противящихся этому: они нашли нужным вооружиться против силы и теперь они уже не знают более никакой сдержки». Таким образом, «жакерия» была понята как напоминание со стороны народа националь-

¹ В Париже тоже продолжалось волнение, во время которого были убиты Фулон и Бертье.

ному собранию о главном содержании сельских cahiers: для успокоения провинций не оставалось более ничего сделать, как узаконить официальной волей нации то, что фактически было уже отменено действительной волей народа, начавшего войну против феодальных прав. Виконт де Ноайль, либеральный дворянин, одним из первых перешедший на сторону третьего сословия, и еще несколько таких же дворян (герцог д'Эгильтон, герцог де Ла Рошфуко, Александр де Ламет и др.) вошли в тайное соглашение первыми предложить уничтожение феодальных прав, что и было ими исполнено в заседании 4 августа. Де Ноайль заключил свою речь, отрывок из которой приведен выше, предложением возвести в закон равенство в налогах, уничтожение тяжелых для народа привилегий, выкуп феодальных повинностей, отмену без выкупа крепостничества, барщин и т. п. Его поддержал герцог д'Эгильтон. Целый ряд предложений следовал за их речами, предложений, в которых отдельные депутаты отказывались от разных сословных, корпоративных и провинциальных привилегий: появление на трибуне новых и новых ораторов встречалось рукоплесканиями, которыми награждались и все предложения, делавшиеся с трибуны; многие плакали от умиления и восторга, и секретари среди шума и аплодисментов едва успевали записывать то, что предлагалось и говорилось. Заседание затянулось далеко за полночь (откуда его название «ночного»), и в несколько часов национальное собрание отменило серваж, сеньориальную юстицию, исключительные права охоты, голубятен и гаренн, все финансовые привилегии и податные льготы и объявило выкупаемость феодальных прав и десятины, равенство всех граждан перед законом и в налогах, равный для всех доступ к гражданским и военным должностям и т. п. Потребовалось еще несколько дней, чтобы общие принципы, принятые в «ночном» заседании 4 августа, формулировать в декретах (декреты 4—11 августа), а затем нужно было назначить особый феодальный комитет (12 августа) для разработки подробностей и частных всего законодательства о феодальных правах. Этому комитету предстояла очень трудная задача, потребовавшая у него более полугода работы, прежде нежели могли появиться декреты, один классифицировавший феодальные права (15 марта 1790 г.), другой устанавливавший способ и таксу выкупа (3 мая 1790 г.), хотя этим еще не кончилась работа феодального комитета конституанты, ибо последний подготовленный им декрет был помечен 29 сентября 1791 г.¹ Если 23 июня пал политический абсолютизм, то 4 августа совершилось падение социального феодализма, более древнего, чем сама старая монархия, выросшая уже на развалинах феодальной системы, социальная сторона которого, коренясь еще в быту римской провинции Галлии, дожила таким образом

¹ О восстании деревень, заседании 4 августа, декретах касательно феодализма и о деятельности феодального комитета см. в моей книге «Крестьяне и крестьянский вопрос во Франции в посл. четв. XVIII в.».

до конца XVIII в. Поскольку Французская революция оказала непосредственное влияние на другие западноевропейские страны, 4 августа получило важное значение в истории вообще крестьянской реформы, ибо до этого времени еще ни разу не наносилось такого решительного и смертельного удара социальному феодализму, как в это заседание.

Уже «просвещенный абсолютизм» начал подкапываться под социальный феодализм, встречая несочувствие и противодействие привилегированных: во Франции декреты 4 августа не нашли одобрения со стороны самого короля, писавшего архиепископу арльскому, что он не разделяет восторга, овладевшего всеми классами общества, и никогда не согласится, дав санкции декретам, обобрать свое духовенство, свое дворянство. Национальное собрание ожидало иного, когда постановляло по поводу состоявшихся решений объявить Людовика XVI «восстановителем свободы Франции». Правда, впоследствии король вынужден был согласиться на декреты, но эта временная его оппозиция показывала, как сильно он подчинялся влиянию придворной партии.

При дворе после неудач 23 июня и 14 июля все еще мечтали о новом *coup d'état*¹, рассчитывая на генерала Буйлье, стоявшего в Меце с 30-тысячной армией: предполагали снова стянуть войска к Версалью и Парижу и с помощью этого генерала восстановить прежний порядок вещей. В Версаль 1 октября пришел «фландрский полк», которому королевская гвардия устроила пир, превратившийся в манифестацию против национального собрания: офицеры срывали с себя трехцветные кокарды и топтали их ногами, и придворные дамы заменяли эти кокарды белыми. Людовик XVI с женой и маленьким сыном присутствовал на этом банкете, а на другой день Мария-Антуанетта прямо говорила, что вчерашний день привел ее в восхищение. А Париж в это время голодал; в нем по-прежнему было неспокойно, т. к. народные скопища происходили то там, то здесь. Уже раньше рождалась в народе мысль идти на Версаль, а теперь, когда в Париж пришло известие о версальской «оргии», волнение достигло крайних размеров. Народонаселение столицы, приученное «старым порядком» к тому, чтобы смотреть на правительство, как на нечто всемогущее, думало, что переселение короля и национального собрания в Париж сразу повлечет за собой обильное снабжение города хлебом и удешевление жизненных припасов, а политики (и в числе их Лафайет) полагали, что вырвать короля из рук реакционной партии будет лучше всего, если переселить его в Париж. 5 октября стотысячная толпа, в которой было множество женщин, двинулась из Парижа на Версаль за «хлебопеком» (*boulangier*), как в шутку называли короля, а Лафайет с национальной гвардией, чтобы не дать народному походу выродиться в бунт, поспешил также в королевскую резиденцию,

¹ Государственный переворот (*фр.*). — *Прим. ред.*

дабы в случае нужды защитить королевскую семью от опасности. Толпа вступила в Версаль при пении роялистического «Vive Henri IV» и послала к Людовику XVI депутацию из женщин, которой он и обещал принять меры для снабжения столицы хлебом. Под утро несколько человек из пришедшей толпы проникло во дворец, убив часовых, и только Лафайет, явившийся на шум, спас короля и его семью от смерти. Но теперь Людовик XVI, а за ним и национальное собрание должны были переселиться в Париж, население которого 6 октября приветствовало въезд короля и его семьи (le boulanger, la boulangère et le petit mitron) радостными криками. Многие разделяли восторг народа, например, Камилл Демулен, в своей газете «Révolutions de France et de Brabant», радовавшийся возвращению Парижу его значения, как столицы королевства, и победе революции над реакцией. Другие иначе оценивали значение событий 5–6 октября, и между прочим Мирабо, хотя его и обвиняли, как и герцога Орлеанского¹, в возбуждении этого нового восстания. Более чем когда-либо раньше стремился теперь Мирабо сделаться руководителем погибавшей монархии и вместе с тем умерителем победоносной революции. «О чем думают эти господа? — спрашивал он около этого времени своего друга гр. Ла Марка. — Разве они не видят пропасти, разверзающейся под их ногами? Все потеряно! Король и королева погибли, и — вы увидите это — чернь будет глумиться над их трупами. Вы не вполне понимаете опасность их положения, а между тем им нужно раскрыть глаза на настоящее положение дел». *6 октября действительно было роковым днем для монархии, но оно же было и роковым днем для самой революции*: 23 июня власть перешла из рук короля в руки национального собрания, и если 14 июля спасло собрание от контрреволюции, то после 6 октября парижское население овладело самим собранием, которое уже не могло считать себя свободным среди жителей столицы, терпевших от нужды, безработицы, дороговизны хлеба, веривших всем слухам, какие только возникали, всегда возбужденных, охотно слушавших страстные речи народных ораторов, читавших, наконец, зажигательные статьи и брошюры, — и все это в то время, когда за границей интриговали принцы, когда двор оказывал противодействие, когда духовенство и дворянство все более и более враждебно относились к переменам, которые стали одна за другой совершаться в государственной жизни Франции.

К осени 1789 г. прежний порядок во Франции рухнул окончательно: старое правительство обнаружило свое бессилие; армия находилась в разложении; народ не повиновался законным властям. Единственная власть, пользовавшаяся авторитетом, была власть национального собрания, и оно санкционировало своими декретами крушение политических и обще-

¹ Герцог Орлеанский на другой же день уехал в Англию с дипломатическим поручением, которого вовсе не просил. Мирабо пришлось оправдываться.

ственных порядков, господствовавших во Франции до 1789 г. Трудная задача предстояла этому собранию — при явно враждебном отношении двора и привилегированных и при полной анархии в народных массах созидать на развалинах старого новое, перестраивать весь государственный и общественный быт страны, заступая в то же время место утратившего всякую власть правительства, причем не нужно забывать и еще одного обстоятельства: члены учредительного собрания были люди без практического опыта в делах подобного рода, да и теоретическая разработка тех частных вопросов политики, права и народного хозяйства, которыми им пришлось заниматься, была в XVIII в. крайне несовершенна. Немудрено поэтому, что учредительное собрание не могло решить все подлежавшие его рассмотрению вопросы вполне удовлетворительно, что не мешало его работе в общем быть весьма благодетельной для Франции.

XXXV. Монархия и нация в 1789–1791 гг.

Основной взгляд Мирабо на революцию. — Его роль в первые ее месяцы. — Сношения Мирабо с двором. — Партии в национальном собрании. — Клубы вообще и в частности якобинский клуб. — Революционная пресса. — Праздник федерации. — Разработка конституционного вопроса и роль Мирабо в этом деле. — Мирабо, Лафайет и якобинцы. — Смерть Мирабо. — Людовик XVI и учредительное собрание. — Двор и эмиграция. — Бегство короля. — Дело на Марсовом поле. — Принятие королем конституции. — Конец учредительного собрания. — Внешние отношения Франции в 1789–1791 гг.

В учредительном собрании 1789 г. соединился цвет тогдашней французской интеллигенции. Собрание провозгласило известные принципы, но их нужно было еще применить к делу. Королевская власть, которая оказалась неспособной реформировать Францию по собственному почину и тем предупредить революцию, теперь должна была занять совсем новое положение в государстве, если не хотела окончательно погибнуть в перевороте, так глубоко совершавшемся в старом государственном и общественном строе Франции. В то время республиканская идея еще не имела за себя в стране партии, а монархия могла существовать лишь демократическая, такая, о какой мечтали уже ранее некоторые передовые люди, начиная с д'Аржансона. Людовик XVI, как по своим взглядам и привычкам, по своей бесхарактерности и нерешительности, по своим связям с духовенством и дворянством, так и вследствие постоянного влияния на него придворной партии, был мало способен выступить на новую политическую дорогу, которую открывали перед ним события первых пяти месяцев революции (с 5 мая по 5–6 октября 1789 г.) и на которую решительно советовал ему вступить Мирабо. Из всех людей 1789 г. *Мирабо оказался единственным человеком, правильно понимавшим политическое положение*, предчувствовавшим и даже предвидевшим, куда приведут те или другие события, наконец, имевшим настоящую правительственную программу. Мы знаем уже, как он смотрел на то, что совершалось во Франции, еще перед началом генеральных штатов, мы знаем, что у него был план, которого не было у правительства, и знаем, что он стремился сделаться советником правительства в проведении реформ. Горячий поклонник гражданской свободы, которую должна была обеспечить свобода политическая, он стоял на той точке зрения, что ради свободы нужно сохранить монархию, дав ей новый характер. Он разошелся со своим сословием и сблизился с народом, в национальном собрании он с самого начала сделался одним из самых влиятельных и популярных защитников новых политических принципов, и вот

когда пал старый государственный и общественный строй, он понял свою задачу в смысле упрочения приобретений революции, а для этого нужно было, по его мнению, создать крепкое правительство, которое заимствовало бы свою силу прежде всего из решительного и твердого перехода на сторону нового порядка вещей, из торжественного признания совершившихся перемен, из бесповоротного разрыва с прошлым, переставшим существовать. В 1789 г. Мирабо не видел возможности создать такое правительство, не положив в его основу традиционную королевскую власть, которая должна была, однако, сбросить с себя все то, что противоречило идеям и стремлениям нации, добившейся, наконец, равенства и свободы. По мысли Мирабо, в случаях надобности король должен был бы даже отвоевать у национального собрания его популярность, но главное — король должен был бы образовать министерство из наиболее популярных членов национального собрания, из людей, сделавших революцию и ей обязанных своим возвышением. Быть министром демократической монархии, консолидировать приобретения революции, не дать последней выйти из пределов в данную минуту единственно возможного и нужного для Франции — такова была идея Мирабо, особенно после событий 5–6 октября, когда опасность «аристократических заговоров», о которых он писал еще в конце 1788 г. Монморену, миновала, и его стали пугать уже «эксцессы демократии», о которых он тогда же равным образом писал тому же Монморену.

Уже в первые месяцы революции Мирабо страшно выделялся среди других членов учредительного собрания. Его энергия и смелость, его замечательное красноречие в собрании, выставившем немало крупных ораторов¹, делали его популярным и в самом собрании, и в стране, да и сам он старался влиять на общество не одними речами с трибуны, но и своими статьями в периодическом издании, к которому он приступил после открытия генеральных штатов, в «*États généraux*», переименованных им впоследствии в «*Письма своим доверителям*» (*Lettres à mes commettants*). В то же время он искал сближения с Неккером, думая его расположить в пользу своего плана, но министр отнесся к нему с недоверием и оттолкнул его от себя, но Мирабо в то же время должен был понять, как сильно вредила ему его дурная репутация. Поведение Мирабо 23 июня двор никак не мог ему простить, и это тоже мешало осуществлению его плана, в котором личное честолюбие и глубокая политическая мысль так гармонически сливались между собой. В собрании, далее, он многих раздражал своими бесцеремонными манерами и повелительным нравом, но он все-таки умел им управлять, хотя, по-видимому, часто желал совсем различных вещей, то составляя адрес королю с просьбой об

¹ Aulard. L'éloquence parlementaire pendant la révolution française. Les orateurs de l'assemblée constituante.

отозвании иностранных полков, то предлагая воззвание к народу с призывом к повиновению законам, или то защищая право общин посылать депутации в национальное собрание, то противясь предложению, чтобы присягу войск принимали муниципальные власти, а не «власть исполнительная», защищая, однако, при каждом удобном случае свою верность основным принципам. Мирабо упрекали в честолюбии, но он не был рабом этого честолюбия: ради того, чтобы во всем и всегда оставаться популярным, он не отступал перед проповедью того, что считал истинным и полезным для страны. Мирабо принимал самое горячее, самое деятельное участие во всех прениях по наиболее важным вопросам, занимавшим национальное собрание, и всегда с меткой критикой делавшихся предложений, с мудрыми советами по самым разнообразным предметам, с ясными принципами для будущей конституции, к выработке которой приступило учредительное собрание. Его, однако, не всегда понимали и не везде ему доверяли: его демократические принципы были ненавистны двору, который продолжал отождествлять интересы королевской власти с интересами привилегированных, его монархизм казался, наоборот, подозрительным в собрании, где все более и более считали нужным быть настороже против королевской власти; его прошлое, его дурная репутация, его малая разборчивость в практических средствах создавали при дворе такое о нем представление, что слушаться его не следует, но что можно посредством подкупа сделать его безвредным, да и в собрании заподозривали его искренность и считали его способным сделаться изменником, продать за деньги и за почести интересы свободы и права нации. Весь правительственный план Мирабо покоился на образовании парламентарного министерства по английскому образцу и на том, чтобы самому сделаться первым министром, но этот план требовал двух условий: нужно было, во-первых, чтобы к нему отнеслись с сочувствием обе стороны, т. е. и король, и национальное собрание, но ни одна сторона не могла проникнуться идеей Мирабо, поскольку Людовик XVI лишь скрепя сердце терпел национальное собрание, а это последнее, в свою очередь, готово было считать мало заслуживающим доверия всякого, кто сделался бы советником короля; во-вторых, сам Мирабо не казался ни двору, ни конституанте таким человеком, на которого можно было бы положиться, хотя талантам его удивлялись, боялись его энергии. Вечно нуждаясь в деньгах, Мирабо брал их отовсюду, где только их давали, и, например, новейший его историк¹ для того, чтобы доказать несостоятельность мнения, делавшего из него одного из агентов политики герцога Орлеанского, пользуется, между прочим, таким доводом: Мирабо никогда не просил денег у этого принца.

Не прошло десяти дней после переселения короля в Париж, как Мирабо через своего друга графа де Ла Марка вошел в сношения с двором, написал

¹ Charles de Loménie.

мемуар, который прежде всего был передан брату короля, графу Прованскому (15 октября). Ла Марк был приятелем Мирабо, но вместе с тем он был человеком, преданным королевской семье и особенно Марии-Антуанетте: ему-то и пришлось играть роль посредника при дальнейших переговорах, хотя королева, на которую Мирабо страстно нападал в одной из своих речей (5 октября), долго колебалась входить в сношения с таким человеком. Двор стал платить Мирабо деньги, Мирабо стал давать ему свои советы, принимая плату за свои труды, хотя его советам не следовали. В его сообщениях двору было немало противоречивого в зависимости от менявшихся обстоятельств, но основная мысль их была одна и та же: цель оставалась прежняя, но средства для ее осуществления могли представляться разные, смотря по условиям того или другого момента времени. Создавались разные комбинации, но дальше переговоров дело не шло: уж очень договаривающиеся стороны смотрели на дело разными глазами, тем более, что при дворе, например, были недовольны, когда узнавали, что Мирабо по-прежнему говорил речи в духе демократических интересов. Его сношения с двором стали известными, его начали обвинять в государственной измене, и ему нужно было показывать, что на деле он не переменялся, т. е. что он по-старому остается другом народа и защитником его свободы. В конце концов он сам запутался в тех противоречиях, которые неминуемо должны были возникнуть в его деятельности, раз ее целью было соединить на нем, Мирабо, доверие двора и доверие нации, двух сил, подозрительно относившихся одна к другой. Мирабо советовал королю уехать, например, в Нормандию, объявив, что не считает себя свободным в Париже, и пригласить национальное собрание, не менее его несвободное, последовать его примеру, а в случае несогласия собрания предлагал апеллировать к народу и созвать чрезвычайный «национальный Конвент», хотя бы это было поводом к гражданской войне, которой нечего бояться, раз партия короля будет партией национальной, народной: следует лишь опасаться внешней войны, а кроме того, боже упаси уезжать куда-либо на границу, например, в Мец, так это могло бы возбудить в народе подозрения; еще же менее позволительно просить иностранной помощи, чтобы с оружием в руках вторгнуться в родную землю. К сожалению, Мирабо указывал еще на средства, далеко не соответствовавшие его цели основать королевскую демократию, возродить династию посредством революции и положить в основу восстановленной власти гражданскую свободу и равенство, обеспеченные политической конституцией: этими средствами были иногда просто-напросто интрига и подкуп, или, как выражался сам Мирабо, «комбинации государственного человека и средства интриги, мужество великих граждан и дерзость злодеев», своего рода «политическая аптека», в которой были бы и целебные лекарства, и убийственные яды, т. е. предлагались, как верно замечает Сорель, способы, которыми через десять лет пользовались консульство Бонапарта и министерство

Фуше¹. Так-таки Мирабо не удалось добиться содействия двора своим планам, наоборот, двор, платя ему деньги за советы, которым не следовал, также не добился того, чтобы купить Мирабо, не продававшего, конечно, своих убеждений.

Столь же мало успеха имел политический план Мирабо и в национальном собрании. Когда он своим бурным и пламенным красноречием действовал на страсти, собрание шло за ним, но едва он обращался к голосу рассудка, ему не удавалось быть достаточно убедительным: его идеи оставались непонятными, его советам не доверяли. В самом собрании уже в эпоху переселения в Париж *стали формироваться партии*, среди которых Мирабо трудно было проводить свою политику. Партий в собрании было несколько: одни (высшее духовенство и дворянство) все еще мечтали о сохранении «старого порядка»; другие (Неккер, Мунье, Лалли-Толлендаль, Клермон-Тоннер) думали о необходимости предоставить королю исполнительную власть и, сохранив за духовенством и дворянством первенствующее положение, разделить национальное собрание на верхнюю и нижнюю палаты; третьи представляли себе будущую конституцию не иначе, как с одной палатой, и такого мнения, кроме Мирабо, держались Сизес, Вайльи, Лафайет; далее были деятели, которые желали придать более значения действию на собрание парижского населения и клубов (Дюпор, Барнав, братья Ламеты), и уже намечались будущие деятели республики (Робеспьер, Грегуар, Петион и др.). Но, кроме национального собрания, весьма скоро *сделались значительной политической силой клубы*, заседания которых стали впоследствии публичными, привлекая массу народа, и которые мало-помалу открыли филиальные отделения в провинциях, благодаря чему после крушения старого центрального правительства, не заменившегося новой организацией, один из этих клубов стал господствовать не только над парижским пролетариатом, но и над провинциями, привыкшими при «старом порядке» повиноваться всему, что ни исходило из столицы. Этот клуб получил название якобинского, и в нем организовалась партия, точно так же известная под именем якобинцев, и выработалось целое политическое направление — якобинизм².

Первоначальная история якобинского клуба мало известна. Еще в самое первое время революции, до королевского заседания 23 июня 1789 г., уже существовал в Версале бретонский клуб (*club breton*), в котором зара-

¹ Известный революционер, а потом одно из орудий (в качестве министра полиции) наполеоновского деспотизма.

² О якобинцах обширная литература. Главные труды: *Zinkeisen. Der Jakobiner-Klub. Ein Beitrag zur Geschichte der Parteien und der politischen Sitten im Revolutionszeitalter*. II т. «Революции» Тэна, носящий название «*La conquête jacobine*». *Aulard E.A. La société des Jacobins* (обширный сборник документов с введением и примечаниями Олара, который дал и подробную библиографию). Другие известные клубы были в Париже кордельерский, фельянский и т.д.

нее обсуждались дела, стоявшие на очереди в национальном собрании. В заседаниях клуба участвовали одни депутаты, сначала только бретонцы, сходявшиеся в одно кафе для того, чтобы поговорить об общих делах, но мало-помалу притянувшие к себе единомышленников из депутатов других провинций, каковы герцог д'Эгильон, Мирабо, Сиэс, Барнав, Петион, Вольней, аббат Грегуар, Робеспьер, братья де Ламеты и др. Роялисты смотрели на них, как на заговорщиков. В клубе или комитете, как его иначе называли, принимались важные решения, которые проводились потом в собрании. Кажется, постановление 17 июня 1789 г. прошло первоначально в этом частном собрании, а затем было еще большое заседание в начале двадцатых чисел июня, на котором присутствовало полтора ста членов национального собрания под председательством герцога д'Эгильона. После 5–6 октября бретонский клуб продолжал свои заседания и в Париже, где возникали и другие подобные сходки депутатов. Версальский комитет патриотов реорганизовался осенью 1789 г. в общество, сначала называвшееся «Обществом революции», потом «Обществом друзей конституции, заседающим у якобинцев в Париже», после того, как клуб нанял себе помещение в старом якобинском монастыре, откуда враги революции и дали ему кличку — якобинцы. Сначала члены общества отказывались от этой клички, но позднее (с установлением республики) стали сами себя называть «Обществом якобинцев, друзей свободы и равенства». Состав клуба расширился весьма быстро приемом в него писателей, чем-либо оказавших услугу делу свободы, и всяких других лиц по рекомендации шести членов, причем уже в декабре 1789 г. прежние провинциалы представлялись в заседаниях клуба и просили об учреждении подобных собраний в главных городах Франции. 8 февраля 1790 г. общество приняло для своей деятельности особый регламент, составленный Барнавом. Целями клуба обозначались: 1) предварительное обсуждение вопросов, подлежащих рассмотрению в национальном собрании; 2) работа над установлением и утверждением конституции в смысле демократических идей и 3) сношения с другими обществами того же рода, которые могут образоваться в провинциях. Заседания тогда не были еще публичными: посторонних посетителей стали допускать в собрание общества лишь в середине октября 1791 г. Бюро клуба состояло из председателя, выбиравшегося на два месяца, четырех секретарей и казначея, но, кроме того, в клубе образовалось три комитета, из которых один вел всю корреспонденцию. Что касается до филиальных отделений общества, то к середине августа 1790 г. их было уже более полутора ста, но число их увеличилось весной 1791 г. под влиянием слухов о новых замыслах против революции; по мартовскому списку 1791 г. всех провинциальных клубов числилось 227, по майскому прибавилось к ним еще 118 обществ, по июньскому всего было 406 обществ, не считая нескольких клубов, находившихся с центральным обществом лишь

в простых сношениях. Число это возрастало, и в эпоху республики оно превышало тысячу. Учредительное собрание сначала благосклонно относилось к учреждению подобных народных обществ (*sociétés populaires*), т. к. они поддерживали дело революции; но потом, когда клубы стали все более и более вмешиваться в дела, подлежащие ведению национального собрания и муниципальных учреждений, законодательство начало принимать разные ограничительные меры. В феврале 1791 г. в национальном собрании стали даже раздаваться голоса о том, что нужно было бы уничтожить «народные общества», ибо пока они существуют, на спокойствие в государстве надеяться будет трудно. До уничтожения клубов дело, однако, не дошло, но у них отняли, например, право петиций национальному собранию, право расклейки на стенах улиц своих объявлений и т. п. Расходясь в конце сентября 1791 г., учредительное собрание даже издало декрет, запрещающий вообще всяким обществам, клубам и ассоциациям превышать права чисто частных соединений граждан. Законодательное собрание (1791—1792) относилось к клубам благосклоннее, а при Конвенте, особенно во II году республики (1793—1794), «народные общества» сделались настоящими государственными учреждениями и стали играть официальную роль, к чему их приглашали сами конвентские комиссары в провинциях. В конце 1790 г. якобинский клуб завел и свой периодический (еженедельный) орган под названием «*Journal des Clubs ou sociétés patriotiques, dédié aux amis de la constitution, membres des différents Clubs français*», постановив своей задачей следить за заседаниями и других клубов и в сентябре 1791 г. слившийся с ежедневным «*Journal général d'Europe*». Около того же времени возник «*Journal des amis de la constitution*», бывший могущественным орудием пропаганды, но не помещавший еще отчетов о заседаниях, а 1 июня 1791 г. стал появляться «*Journal des débats (a c 1 января 1792 г.: et de la correspondance) de la société des amis de la constitution séante aux Jacobins à Paris*». Таково было происхождение самого знаменитого из революционных клубов, с которым ни один другой не мог сравняться по своей организации, мало-помалу покрывшей всю Францию сотнями «*sociétés-populaires*», по энергии своих членов, сделавшихся впоследствии агентами революционного правительства в стране, по своему влиянию, которое поддерживалось обширной корреспонденцией и публицистическими изданиями. В недрах этой организации сформировалась партия, которая, опираясь на народ, захватила впоследствии в свои руки власть над страной.

Кроме клубов, большое развитие в первые же годы революции получила и политическая пресса¹: брошюру в это время сменила газета, а газет

¹ *Hatin. Hist. de la presse en France; Chalamel. Hist. de la liberté de presse en France depuis 1789; Gallois. Histoire des journaux de la Révolution; Champfleury. Histoire de la caricature en France pendant la Révolution.*

стала возникать громадная масса, причем некоторые имели большой успех, как, например, «Les Révolutions de Paris» Лустало (200 тысяч экземпляров), «L'Orateur du peuple» Фрепона, «Les Révolutions de France et de Brabant» Камилла Демулена, «Point du jour» Барпера и др., к которым потом прибавились «Ami du peuple» Марата, «Père Duchêne» Эбера (Hébert) и иные крайне революционные издания. Двор также имел свои органы, в которых подвергались нападению деятели революции («Journal de la Cour et de la Ville», «Journal des Halles», «Ami du roi», «Actes des apôtres»). Мы еще увидим, как относилось национальное собрание к свободе прессы, но в обществе, воспитанном в строгостях старого режима, еще не было ни умения пользоваться свободой, ни уважения к свободе чужого мнения: своими крайностями периодическая пресса весьма много способствовала продолжению той анархии, которая вызвана была разложением «старого порядка», народными бедствиями, тревожными слухами, попытками контрреволюции, причем самые ярые листки только подливали масла в огонь, отражая на себе всеобщее брожение, ловя слухи, ходившие в обществе, бросая тень подозрения в неблагонадежности на своих политических противников, выступая с прямыми обвинениями против отдельных лиц и целых категорий граждан, грубым и резким тоном проповедуя насилие, как все это, впрочем, делали нередко и газеты, получавшие субсидии от двора. С другой стороны, иногда совершались попытки с разных сторон заставить замолчать противника, хотя бы путем насилия, и очень часто издатели и редакторы противной партии подвергались оскорблениям, а их газеты предавались торжественному auto-da-fe перед дверьми кофейни, в которой собирались те или другие политические единомышленники. Подобно тому, как по отношению к клубам национальное собрание приняло некоторые ограничительные меры, оно под конец задумало положить предел и злоупотреблениям свободой в прессе. Во всяком случае, революционные «народные общества» и революционная пресса, говорившие прежде всего языком страсти, *отражали на себе то бурное и вместе с тем тревожное настроение, которое переживалось французской нацией*, стремившейся к свободе, но не знавшей ее действительных прав и пределов, воспитанной в традициях деспотизма и потому неумевшей уважать чужую свободу, наконец, думавшей, что единственным средством утверждения свободы было употребление одной силы против всех несогласно мыслящих.

В эту бурную эпоху французской истории было совершено немало несправедливостей, насилий, жестокостей; но в сознании людей, которые занимались реорганизацией внутреннего быта или с сочувствием следили за тем, как велась эта работа, все, что могло наводить на пессимистические размышления, отступало на задний план перед светлыми упованиями на будущее, перед фактами, свидетельствовавшими, что французская нация

пробуждается к новой жизни. Одним из таких моментов, когда будущее представлялось в самом радужном виде, когда все великодушные стремления, героические усилия, бескорыстная работа патриотов получали высшую свою награду, был праздник федерации, устроенный в первую годовщину взятия Бастилии, т. е. 14 июля 1790 г. Уже с осени 1789 г. чувствовалась народом какая-то потребность к манифестациям, в которых проявлялись бы новые стремления, чувствовалось влечение к «федерациям», т. е. к громадным сходкам с целью принесения присяги «нации, закону и королю» и устроения по этому поводу народных празднеств. Подобные торжества свободы устраивались в разных провинциальных городах для целых значительных районов, но самая грандиозная манифестация подобного рода была устроена в Париже в первую годовщину взятия Бастилии. На Марсовом поле был воздвигнут громадный алтарь, при котором служило триста священников в присутствии полумиллионной толпы и почти десяти тысячной национальной гвардии, собравшейся из разных местностей, и во время этого торжества приносили присягу новому государственному устройству Лафайет от имени национальной гвардии, президент национального собрания и сам Людовик XVI¹. Подобных театральных сцен история Французской революции представляет немало: в них было много искренности, много энтузиазма, великодушных порывов и того оптимизма, который характеризует французскую литературу XVIII в.

Вот среди каких вообще обстоятельств приходилось учредительному собранию совершать свою преобразовательную работу, результаты которой мы рассмотрим отдельно и в общей между собою связи. Одним из главных трудов национального собрания была выработка новой конституции, происходившая под весьма сложными влияниями не только господствовавших в то время теоретических взглядов в области политики, но и отношений и настроений, создававшихся поведением короля и двора, духовенства и дворянства, клубов и народной массы. *Громадное большинство в национальном собрании желало конституционной монархии*, но в то же время разделяло политические теории Руссо и Мабли, бывшие, в сущности, республиканскими², не доверяло королевской власти, опасаясь возможности злоупотребления ее правами со стороны Людовика XVI, и подозрительно относилось ко всякому предложению, клонившемуся к тому, чтобы поставить монарха в независимое положение и дать ему действительную возможность управлять Францией при помощи парламентарного министерства. Мы еще увидим, что выработанная учредительным собранием конституция лишь по форме была монархической, по существу же республиканской, и для того, чтобы объяснить, как монархически настроенное

¹ Lambert. Les fédérations en Franche-Comté et la fête de la révolution du 14 juillet 1790.

² Мабли прямо учил о принципиальной вражде законодательной и исполнительной власти.

собрание могло основать конституцию на республиканских принципах, нужно принять в расчет не одни бывшие популярными среди его членов идеи Руссо, Мабли и др. о республиканской монархии, но и те условия, среди которых совершалась выработка конституции 1791 г. Поведение Людовика XVI, планы двора, заграничная агитация эмигрантов в связи с боязнью перед возможностью восстановления абсолютизма *заставляли учредительное собрание всячески урезать королевские права в конституции, которую оно вырабатывало*; главным же противником такого урезывания был Мирабо, на которого и в самом собрании, и в клубах, и в прессе, и в обществе смотрели как на человека, продавшегося двору. Мирабо и в национальном собрании потерпел такую же неудачу со своим планом конституционной монархии, как и при дворе. Работы по составлению конституции начались еще в Версале, незадолго до июльских событий 1789 г., именно 9 июля, когда национальное собрание объявило себя учредительным, и с самого же начала Мирабо принял наиболее деятельное участие в трудах собрания по этому вопросу.

Переименование генеральных штатов в национальное собрание совершилось против желания Мирабо, предлагавшего дать им другое название. Он боялся доверить всю власть безраздельно одному всемогущему собранию и требовал, чтобы решения представителей народа нуждались еще в королевской санкции. «Я, — говорил он, — не знаю ничего ужаснее, как суверенная аристократия из шестисот лиц, которые могли бы завтра объявить себя несменяемыми, послезавтра наследственными и кончили бы, как все аристократии всех стран, захватом всего в свои руки» (*par tout envahir*). Мирабо принимал также участие в обсуждении декларации прав человека и гражданина, которой требовали еще наказания, но он был против «метафизического» и «абстрактного» направления, какое приняли прения по этому вопросу, находя, что собрание слишком долго оставалось в области идей (*la vaste region des abstractions du monde intellectuel*), откуда нужно было, по его мнению, поскорее вернуться в реальный мир, в область положительного законодательства. При разработке конституции он защищал самым решительным образом раздел законодательной власти между собранием и королем, которому предоставлял абсолютное *veto*¹. Еще в середине июня 1789 г. он говорил, что без королевской санкции он скорее согласился бы жить в Константинополе, чем в Париже, указывая на возможность захвата национальным собранием деспотической власти, и потом, когда конституция уже разрабатывалась, он поддерживал абсолютное *veto*, но не имел успеха: собрание, как мы увидим, в конце концов приняло *veto* отсрочивающее, в силу которого король лишь на время мог останавливать решения законодательного корпуса. Между тем не только в

¹ Ср. взгляд на значение *veto* у Монтескье.

самом собрании, но и в клубах, и в прессе королевское *veto* принималось за нечто грозящее деспотизмом, и потому сама идея эта была весьма непопулярна. Другой вопрос, сильно занимавший Мирабо, был вопрос о министерстве. Когда два депутата (Blin и Lanjunaïs) сделали предложение, чтобы король не мог назначать министров из членов национального представительства, Мирабо, видевший необходимость связующего звена между последним и королевской властью, т. е. необходимость того, что уже существовало в конституционной Англии под названием кабинета, стал с энергией и страстью защищать принцип парламентарного министерства. «Я не могу допустить, — говорил он, — чтобы доверие, оказанное нацией гражданину, служило основанием для лишения его доверия со стороны монарха... Я не хочу думать, чтобы хотели сделать такую несправедливость по отношению к министерству, как бы объявляя, что раз кто-либо входит в его состав, уже тем самым должен быть подозрительным собранию... Неужели лучше будет, если король станет выбирать министров среди своих придворных, а не среди избранных народа?» Когда в собрании поднялся шум, и стали указывать на то, что Мирабо говорит все это *pro domo sua*¹, желая сам сделаться министром, оставаясь депутатом, тогда Мирабо ради спасения принципа предложил требуемое исключение применить лишь к себе, депутату общин эксского сенешельства. Весьма язвительно он заметил еще, что, быть может, депутат, внесший предложение, против которого он говорил, по скромности своей испугался возможности получить от короля приглашение на министерский пост и, желая заранее сделать это невозможным, задумал закрыть доступ к министерству всем своим товарищам, а если предложение имеет в виду лишь его, Мирабо, то пусть же к нему одному оно и будет применено. Закон состоялся в смысле нежелательном для Мирабо, и конституция 1791 г., таким образом, не заключала в себе пункта, на котором он особенно настаивал. К числу конституционных вопросов, вызвавших наиболее страстные прения, относился еще вопрос о праве войны и мира: и тут Мирабо отстаивал прерогативу монарха; но уже громко говорили, что он только исполняет взятые им перед двором обязательства как человек, за деньги защищающий чужие интересы. Это не останавливало Мирабо, и он страстно продолжал защищать свою политическую идею. «И меня также, — говорил он, — несколько дней тому назад хотели с триумфом нести на руках, а теперь кричат² на улицах: “великая измена графа Мирабо”. Мне не было надобности в этом уроке, чтобы знать, как мало расстояние от Капитолия до Тарпейской скалы; но эти удары снизу не остановят меня на моей дороге». В это время действительно об измене Мирабо всюду уже говорили, и Ма-

¹ За свой собственный дом (лат.). Здесь: в защиту личных интересов. — *Прим. ред.*

² Продавцы газет и брошюр.

рат в своей газете «Друг народа» требовал, чтобы граждане просто-напросто повесили «негодяя Рикетти» с другими изменниками на восьмистах виселицах, которые он советовал поставить в Тюильрийском саду. В самом собрании Мирабо угрожала крайняя партия, но он объявил, что будет говорить как человек, для которого все равно — рукоплещут ли ему, или шикают. Не доверяя Людовику XVI особенно ввиду того, что внешние отношения Франции усложнялись, учредительное собрание опасалось предоставить королю дела войны и мира. В то же время возникал еще вопрос о законе против эмигрантов, но Мирабо предлагал отвергнуть его без прений как противный разуму и личной свободе, заявив, что если такой закон состоится, он «поклонится никогда ему не повиноваться».

Мирабо не добился своей цели ни при дворе, ни в национальном собрании. В числе комбинаций, роившихся в его голове и бывших не неприятными двору, был проект союза с Лафайетом для образования прочного большинства в собрании. Мирабо обратился к популярному генералу с предложением действовать сообща (1 июня 1790 г.), хотя и писал королю, что надежда на Лафайета плоха, ибо он не в состоянии был бы сопротивляться народным страстям, а если его принципы не те, что у национальной гвардии, то последняя за своим генералом и не пойдет; притом Мирабо желал, чтобы без него Лафайет ничего не делал. Весь план разбился о недоверчивость Лафайета, подозревавшего подкуп, интригу или ловушку в деле, с которым было связано имя Мирабо. Это были два человека слишком противоположные, чтобы могли между собой сойтись. Мирабо был менее всего энтузиаст и доктринер, прежде всего был проницательный и трезвый государственный человек, прекрасно притом умевший угадывать людей и не обольщавшийся популярностью, которой были, например, окружены тогда имена Неккера и Лафайета, а потому относившийся к ним критически, да, наконец, и сам не искавший популярности во что бы то ни стало. Другое дело Лафайет: лично честный и искренний, он был большим энтузиастом и человеком принципов, но недальновидным и непредусмотрительным политическим деятелем, мало способным к критическому анализу людей, событий и обстоятельств, вдобавок человеком, слишком дорожившим своей популярностью, а потому и неособенно склонным — в то время, по крайней мере — идти против того, что считал за выражение общественного мнения: потому-то Мирабо и видел в нем одного из наиболее опасных для монархии людей среди деятелей того времени, что и высказал в своих тайных мемуарах двору, потому-то и соглашался лишь на то, чтобы в предполагавшемся министерстве Лафайету принадлежал один почет первенства, но не действительная руководящая роль. Под конец Мирабо прямо рекомендовал двору назначить якобинское министерство: «Якобинцы, как министры, не будут якобинскими министрами... Поставленный у дел, самый завзятый демагог, видя вблизи бедствия королевства,

поймет недостаточность королевской власти... Назначайте всех, ибо, если они удержатся, тем лучше; они вынуждены будут вступить в соглашение, а если не удержатся, они потеряны, они (т. е. вожди) и их партия».

Настроение общества по отношению к Мирабо было весьма изменчиво. Стоило ему дать волю своему негодованию на двор, не слушавший его советов, стоило ему произнести (ноябрь 1790 г.) две страстные речи, которые своим резким тоном понравились народу, и к нему снова вернулась прежняя популярность: ему стали делать при встрече с ним овации, он был выбран председателем якобинского клуба, в чем готов был даже видеть как бы только первую ступень к председательству в самом национальном собрании. В клубе Мирабо пользовался большим весом, хотя здесь (28 февраля 1791 г.) за несколько недель до его смерти и сделано было на него нападение за то, что он возражал в национальном собрании на проект закона против эмигрантов. При дворе (и, между прочим, Ла Марк, друг Мирабо) ставили ему в вину его сношения с якобинцами, его у них популярность, хотя по-прежнему читали его проекты, не особенно им, впрочем, доверяя, и даже один раз его удостоила свиданием сама Мария-Антуанетта, все больше и больше начинавшая играть более значительную роль, чем ее муж. Наконец, в начале 1791 г. (29 января) Мирабо был избран в председатели национального собрания¹, когда ему же оставалось жить всего только два месяца: застарелая болезнь, излишества, которые он себе позволял, непомерная работа в национальном собрании, подкосили его силы, хотя он и пользовался при подготовке своих речей и докладов помощью друзей и секретарей. В марте Мирабо, уже совсем больной, принимал участие в занятиях собрания. Еще 27 марта он говорил с трибуны по одному специальному вопросу, а 2 апреля его уже не было в живых. Весть о его кончине произвела угнетающее впечатление на короля, на народ, на национальное собрание, на сторонников монархии и на защитников народного верховенства, на политических друзей и на политических противников: все чувствовали, что с Мирабо уходила в могилу крупная сила, на которую все возлагали свои надежды, каждый со своей точки зрения, и которой дорожили даже противники, не перестававшие думать, что эта сила могла бы быть и в их лагере. Одними из последних слов Мирабо было такое пророчество: «Я уношу с собой траур по монархии... теперь партии могут оспаривать друг у друга ее лохмотья». В народе стали говорить об отравлении, и пришлось сделать официальное вскрытие трупа. Похороны Мирабо были блестящие: участвовали двор, духовенство, национальное собрание, Лафайет со штабом национальной гвардии, «народные общества», и гроб был поставлен в церкви Св. Женевьевы, превращенной в усыпальницу великих людей. На страницах истории первых двух лет революции имя Ми-

¹ На один месяц.

рабо сделалось самым крупным именем и для последующих поколений, как бы ни судили его как человека, и как бы ни оценивали его идеи и планы как политического деятеля. Мирабо среди деятелей 1789–1791 гг. *был единственным, ясно видевшим будущие опасности, единственным, хорошо понимавшим, при каких условиях возможно было во Франции осуществление конституционной монархии, единственным, наконец, человеком, который был бы способен консолидировать революцию.* В последнем отношении, однако, необходимы такие же оговорки, с какими пришлось раньше оценивать историческую роль Тюрго: оба они видели, в чем заключалось зло и в чем были средства спасения, но оба оказались не в состоянии вывести Францию на правильную дорогу по обстоятельствам, которые были сильнее их обоих. Между прочим, сам Людовик XVI (или двор, под постоянным влиянием которого он находился) делал и теперь, как делал и тогда, невозможным осуществление новой политической программы, не желая оказать поддержку тому, что требовалось ходом событий, идеями времени и настроением общества. С другой стороны, если реформы Тюрго, вовсе не думавшего о политических гарантиях, не могли уже вполне удовлетворить ту часть общества, которая находилась под влиянием идей Монтескье, Руссо и Мабли, то и конституционная монархия, как ее понимал Мирабо, казалась очень и очень многим слишком мало гарантирующей политическую свободу, особенно ввиду подозрительного поведения самого Людовика XVI.

В отношениях между королем и учредительным собранием действительно не было искренности. Людовик XVI, только скрепя сердце, под давлением обстоятельств, давал свое согласие на те или другие меры национального собрания, но ни сам он, ни его приближенные, ни министры, ни двор в глубине души не могли примириться с новыми порядками. На короля особенно действовало духовенство, которое протестовало против нового устройства, данного учредительным собранием французской церкви под названием «*Constitution civile du clergé*». Сам папа Пий VI обратился к Людовику XVI с бреве (10 июля 1790 г.), в котором писал, что, утвердив декреты национального собрания, он погубит всю нацию, все королевство. Когда, тем не менее, Людовик XVI дал свою санкцию декретам, папа опять писал ему, что он огорчен донельзя таким шагом с его стороны. Между тем новые церковные законы встретили оппозицию среди значительной части духовенства, и тогда национальное собрание особым декретом (27 ноября 1790 г.) потребовало от духовных лиц специальной присяги новому уложению. Людовик XVI был вынужден и этому декрету дать свою санкцию, но он только и думал о том, чтобы при первой же возможности взять свое согласие назад, т. к. в новом церковном законодательстве он видел нападение на религию: его совесть сильно возмущалась против того, на что он смотрел как на нарушение прав Церкви. Даже Мирабо поддерживал Лю-

довика XVI в его нерасположении к декретам национального собрания, касавшимся церковных дел. Поэтому король все более и более считал свое положение невыносимым, и при дворе давно уже замышлялось бегство короля из Парижа: Мария-Антуанетта особенно мечтала об этом, рассчитывая, кроме того, на материальную помощь иностранных дворов. Людовик XVI равным образом не считал себя не в праве употребить все, какие представляются, средства, для того, чтобы наказать людей, бывших с его точки зрения государственными преступниками. Ему казалось, что все сделанные им уступки как вынужденные не имеют обязательной для него силы, т. к. благо государства выше всего, а над королями судья один Бог. Сначала он уступал по слабости характера и из осторожности, но потом делать притворные уступки вошло в его систему. Пришлось, конечно, уступать и в церковном вопросе, но тут Людовику XVI было особенно тяжело, и он с осени 1790 г. все более и более стал входить в виды своей жены насчет бегства из Парижа и обращения за помощью к монархической Европе: предполагалось ехать в Мец, где начальствовал над войском верный королю Буйлье (мечтавший, впрочем, о конституции по английскому образцу) и откуда легко было в случае надобности уехать в Германию. *Этот план ставил, однако, виды двора в слишком близкое соседство с прои-сками эмигрантов*, а с точки зрения приверженцев революции, он уже прямо имел характер государственной измены. Так или иначе, двор связывал интересы короля с интересами добровольных эмигрантов, которые, со своей стороны, однако, нисколько не думали о том, как их заграничное поведение будет отзываться на судьбе оставленного ими во Франции короля, а были заняты исключительно мыслью, как бы вернуть себе старое положение в государстве. Еще Мирабо говорил, что, грозя возвращением во Францию деспотизма, эмигранты доведут ее до того, что она станет искать спасения в республике. Эмигранты, особенно гр. д'Артуа и Калоин, даже прямо интриговали против двора. В свою очередь лично Людовик XVI и Мария-Антуанетта не хотели содействия эмигрантов, рассчитывая главным образом на вооруженное вмешательство Европы, но в этом последнем отношении виды двора и виды эмиграции между собой сходились. Приближенные короля даже говорили о территориальных уступках иностранным державам за помощь против революции. Замыслы двора сделались известными национальному собранию и повергли его в большую тревогу.

Весной 1791 г. Людовик XVI получил от папы письмо, в котором говорилось, что присяга новым церковным законам прямо влечет за собой обвинение в ереси. При таких обстоятельствах Людовик XVI считал себя не в праве говеть, в чем поддержал его один епископ, но сторонники нового церковного устройства требовали у короля, чтобы он показал пример повиновения законам и причащался у приходского священника, давшего присягу «Граж-

данскому уложению о духовенстве». В Париже по этому поводу начинались волнения, и Людовик XVI, чтобы выйти из затруднительного положения, задумал уехать в Сен-Клу (18 апреля). Его, однако, задержала толпа, предводимая Дантоном, и, несмотря на вмешательство Лафайета, король так-таки и не мог выехать из Тюильри. Тайные агенты двора за границей ссылались на этот факт как на лучшее доказательство несвободы короля, и говорили, что европейские монархи не должны будут удивляться тому, на что будут вынуждаемы соглашаться Людовик XVI и Мария-Антуанетта: оба они решились притворяться до конца и усыплять подозрительность народа, который в намерении их уехать в Сен-Клу видел начало приведения в исполнение изменнического плана. Той сдержки, какую все-таки для короля составляли советы Мирабо, с его смертью не стало, и при дворе теперь более всего боялись, с одной стороны, что Людовика XVI задержат революционеры, с другой — что гр. д'Артуа, как говорили, вступит во Францию с австрийским войском, боялись по той простой причине, что это представляло для короля пока большую опасность. 20 июня Людовик XVI с семьей тайно покинул Париж, но на другой день вечером беглецы были задержаны в Варенне, и только одному гр. Прованскому удалось пробраться в Бельгию. Известие об исчезновении короля произвело страшный переполох в Париже, но национальное собрание осталось спокойно: оно взяло в свои руки и исполнительную власть, отправило миролюбивые заверения к иностранным дворам, разослало своих комиссаров по войскам для принятия присяги на имя нации, декретировало сбор 300 тысяч национальной гвардии и велело арестовать каждого, кто хотел перейти границу. Уезжая, Людовик XVI оставил письмо, наполненное упреками национальному собранию и заключавшее в себе отречение от данного им уже согласия на декреты собрания. Этим письмом монархическое большинство конституанты было весьма смущено, и она постановила, вопреки очевидности, считать это происшествие не бегством самого короля, а похищением его злонамеренными людьми. *Но попытка бегства наносила сильный удар монархии.* Многие говорили, что «le grand embarras» хорошо сделало, что уехало, а другие прибавляли, что настоящий король вот там, в национальном собрании, другой же может ехать, куда ему угодно. Возвращение арестованного Людовика XVI в Париж было встречено народом с чувством неприязни к беглецу. Само национальное собрание временно отрешило короля от исполнительной власти до принятия им конституции и взяло его под стражу, вместе с тем внеся в конституцию статьи, в силу которых король в известных случаях¹ должен был считаться отказавшимся от престола. В клубах, в прессе, в парижском населении начинали уже высказываться республиканские мысли, но в этот момент еще не существовало республиканской партии, хотя идея республики уже при-

¹ См. ниже, в след. главе.

ходила в голову отдельных лиц. Составлена была даже петиция о низложении Людовика XVI, и народ был приглашен подписывать ее на «алтаре отечества», сооруженном на Марсовом поле для праздника федерации (17 июля 1791 г.). Это шло далее того, чего желало национальное собрание и муниципальные власти. На Марсово поле явились Байльи и Лафайет с вооруженной силой, но в войско из толпы, собравшейся подписывать петицию, полетели камни. Национальная гвардия отвечала ружейным залпом в воздух, отряд регулярного войска — прямо в народ, скучившийся на ступенях алтаря, и эти ступени обагрились кровью убитых и раненых. Этим сильно была подорвана прежняя популярность учредительного собрания, Лафайета и Байльи. Группа роялистов в национальном собрании задумала воспользоваться республиканской манифестацией для того, чтобы при общем пересмотре составлявшейся собранием конституции внести в нее поправки в монархическом смысле, но другая группа оказала дружный отпор ввиду того, что после бегства Людовика XVI еще менее, чем прежде, было доверия к «исполнительной власти» (*pouvoir exécutif*), как называли короля. В якобинском клубе произошел раскол: от него отделились и основали свое особое общество (клуб фельянов, *feuillants*) конституционные монархисты: Дюпор, Барнав, братья Ламеты и после этого главное влияние в клубе якобинцев стало принадлежать людям, которые считали нужным вести революцию дальше.

Между тем учредительное собрание окончило свою работу над конституцией. С короля сняли теперь запрет, и конституционный акт был предложен ему на свободное принятие (3 сентября). Через несколько дней (13 сентября) Людовик XVI дал знать собранию, что он принимает конституцию, но этому предшествовали долгая нерешительность, колебания, совещания. После этого 14 сентября король лично явился в национальное собрание и принес присягу в верности нации и закону. Считая свое дело оконченным, учредительное собрание 30 сентября объявило прекращение своих заседаний, чтобы уступить место законодательному собранию, которое было избрано и должно было начать свою деятельность уже по конституции 1791 г. *Но, расходясь, конституанта сделала большую политическую ошибку, объявив, что никто из ее членов не подлежит переизбранию в законодательное собрание.* Решение было великодушно, но непрактично: в новое собрание должны были явиться люди без того опыта, какой приобрели члены учредительного собрания в два с лишком года, — люди, которые в 1789 г. не имели за себя достаточного количества голосов и во многом уступали деятелям 1789—1791 гг., наконец, люди, которым нечего было дорожить делом учредительного собрания, хотя, с другой стороны, они, быть может, лучше отражали на себе господствующее настроение нации. Вместе с этим Байльи счел нужным сложить с себя звание парижского мэра, Лафайет — должность начальника национальной гвардии.

Ко времени последних месяцев учредительного собрания Французская революция стала сильно озабочивать монархические правительства Европы. От того взгляда, который образовался сначала у иностранных государственных людей, видевших во французских смутах обстоятельство благоприятное или неблагоприятное для политических интересов той или другой державы, правительства перешли постепенно к другому взгляду: пример, подаваемый французами, стал считаться вообще опасным. Кроме того, начались столкновения и на почве интересов, особенно когда провозглашение народного суверенитета и отмена феодального режима заделали права немецких князей, владевших землями в Эльзасе. Затем возник вопрос о папских Авиньоне и Венессене, составлявших чужую территорию (enclave) в королевстве: под влиянием революции обнаружилось в местном населении сильное стремление к слиянию с Францией. Далее в национальном собрании и в народе проявлялось сочувствие к бельгийской революции, вспыхнувшей в последние годы Иосифа II, в то самое время, как среди французов все популярнее и популярнее делалась мысль, что их революция не должна ограничиваться одной Францией, а должна распространиться на весь «человеческий род»: самым ярким представителем идеи космополитической революции стал переселившийся в Париж немец Анахарсис Клоотц¹. Когда эмигранты стали подбивать европейские правительства, слишком в то время занятые другими делами², к восстановлению во Франции «старого порядка», то, находясь под угрозой насильственного подавления революции, французы впервые начали думать о перенесении ее принципов в соседние страны. Уже под влиянием ареста королевской семьи в Варенне император Леопольд II обращается к государям Европы и к немецким князьям с предложением согласиться насчет общих действий в пользу французского короля. Переговоры между державами и хлопоты эмигрантов при дворах после этого усилились. В конце августа 1791 г. между Леопольдом II и прусским королем состоялось свидание в Пильнице, недалеко от Дрездена, куда приехали и принцы-эмигранты с самыми дикими предложениями (например, совершенного истребления Парижа). Монархи вели себя, однако, осторожно и ограничились манифестом, в котором выражали надежду на то, что другие государи вмешаются в дело Франции, но вместе с тем объявили, что лишь в случае общего согласия и они, император и король, будут действовать заодно с другими, а пока приказывают своим войскам быть наготове. Во Франции этот манифест был принят как бы за прямое объявление войны революции, что лишь ухудшило положение короля. В сущности, Леопольд II вовсе не думал о войне и употреблял все свое влияние во Франции на то, чтобы при-

¹ *Avenel G. Anacharsis Clootz.*

² Австрия была занята Бельгией, Венгрией, Турцией; Россия вела войну со Швецией, с Турцией; подготавливались события, приведшие ко второму разделу Польши и т.п.

вести короля и национальное собрание к соглашению. Но во Франции пильницкий манифест был понят не только в смысле угрозы войны, но и как общее дело самого двора с эмигрантами и всех иностранных держав, т. к. никто не знал как следует, что между двором и эмигрантами солидарности не было и что эмигранты даже интриговали против Людовика XVI, что принцы в Пильнице были отвергнуты и что им вообще не везло в их планах при иностранных дворах, наконец, что Леопольд II давал самые благоразумные советы своей сестре, Марии-Антуанетте, и ее мужу. Впечатление от манифеста было еще усилено прокламацией принцев (10 сентября), в которой они хвастались поддержкой всей Европы и, заранее протестуя против принятия Людовиком XVI конституции, заявляли, что разве под посторонним давлением король может заявлять о своей свободе в этом деле. Гр. Прованский даже заговорил о необходимости регентства ввиду несвободы Людовика XVI, что страшно оскорбило последнего, так что он под влиянием фейльянов даже послал братьям вызов вернуться во Францию. Впрочем, с другой стороны, хотя Людовик XVI торжественно известил иностранных государей о принятии им конституции, но тайные агенты двора должны были сообщать повсюду, что не нужно верить официальным заявлениям, что все это формальности, вынужденные необходимостью, что это лишь средство усыпить подозрительность бунтовщиков, пока Европа не придет их усмирить силой. Иностранные правительства, однако, были довольны, что теперь не было официальной надобности в замышлявшемся конгрессе и в оказании вооруженной помощи, тогда как принцы, наоборот, хлопотали о вмешательстве и громко говорили об этом самом конгрессе. Что делалось за кулисами политики, французская нация не знала, но все, что бросалось в глаза, *заставляло ее верить в участие Людовика XVI в громадном заговоре против своего отечества*. Конституционная монархия устанавливалась во Франции при неблагоприятных условиях, и Барнав, задумавший идти по стопам Мирабо, оказался не более счастливым в этом деле, чем его предшественник: между монархией и нацией образовался разрыв, и нужно было очень большое искусство, чтобы соединить в одно целое монархию и нацию, не доверявших одна другой.

XXXVI. Принципы индивидуальной свободы и народовластия в законодательстве конституйанты¹

Общий взгляд на законодательство учредительного собрания, на его отношение к требованиям времени, на причины его недостатков и на его историческое значение. — «Декларация прав человека и гражданина». — Принцип индивидуальной свободы в законах учредительного собрания. — Конституция 1791 г., ее характер и недостатки. — Организация административная и судебная по конституции 1791 г. — Судьба конституции 1791 г. — Значение «принципов 1789 г.» в истории.

Работа, совершенная учредительным собранием, поражает своей громадностью. Мы не раз уже говорили, до какой степени Франция нуждалась в коренной внутренней реформе, и эту реформу довелось выполнить учредительному собранию. Старый строй рушился сам собою, и ввиду общего крушения тех порядков, которые веками складывались во Франции, притом без всякого содействия со стороны королевской власти (если не говорить о противодействии) и среди общественной анархии, собранию предстояло созидать новую Францию, не имея за собой ни опыта, который в делах подобного рода и не могло существовать при «старом порядке», ни той теоретической подготовки по многим практическим вопросам, которой тоже не могло быть при состоянии общественных наук в ту эпоху. Понятно, что в таком сложном и трудном деле, при тогдашних ненормальных обстоятельствах, слишком сильно также влиявших на разработку законодательных вопросов, чтобы она могла совершаться спокойно, при недостаточной опытности и с не особенно большими социо-

¹ Литература по вопросам, рассматриваемым в этой и следующей главах, весьма обширна: кроме соч. Лаферьера, Рихтера и Рамбо (Hist. de la civil. contemp.), см.: Градовский А. Государственное право иностранных держав (т. I); *Faustin Hélie*. Les constitutions de la France (и др. издания конституции); *Duvergier de Hauranne*. Histoire du gouvernement parlementaire; *Troplong*. Du principe d'autorité depuis 1789; *Chalamel*. Histoire de la liberté en France depuis 1789; *Bardoux* A. La bourgeoisie française; *Levasseur*. Histoire des classes ouvrières en France depuis 1789; *Doniol*. La féodalité et la révolution française; *L. de Lavergne*. Economie rurale de France depuis 1789; *Капеев* Н. Крестьяне и крестьянский вопрос во Франции; *Sciout L.* Histoire de la constitution civile du clergé et de la persécution révolutionnaire (есть, кроме большого издания в 4 томах, сокращенное в одном томе); *E. de Pressensé*. L'église et la révolution française; *Gazier*. Etudes sur l'histoire religieuse de la révolution française; *Boris Minzes*. Die Nationalgüterveräusserung während der französischen Revolution. О «Декларации прав человека и гражданина» см. статью М. М. Ковалевского в «Юрид. вестн.» за 1889 г. Кроме того, вообще сочинения по истории права, администрации, финансов, народного образования и т. п. Декреты нац. собр., речи, прения и т. п. можно найти в Hist. parlem. de la révol. franç. par Buchez et Roux и в Arch. parlementaires.

логическими знаниями, какие в 1789 г. имели депутаты, возможны были в законодательной деятельности учредительного собрания и частные ошибки, и даже ошибки общего характера, которые впоследствии — и притом с весьма различных точек зрения — подвергались критике, часто основательной, но часто и незаслуженной. Рассматривая эту деятельность, нужно помнить, что учредительное собрание, включавшее в себя массу умных, талантливых и образованных людей, серьезно смотревших на свою задачу, было неизмеримо выше представителей старого правительства, и что весь *raison d'être*¹ этого собрания заключался в необходимости преобразования всех внутренних отношений государства. В каком направлении должны были совершаться реформы, *зависело не столько от доброй воли членов собрания, сколько от общего положения страны, созданного предыдущим ходом истории и от идей, выработанных прежде теоретической мыслью и принятых обществом*. Во-первых, само правительство приходило к мысли о необходимости «установления постоянного и неизменного порядка во всех частях управления... и уничтожения злоупотреблений всякого рода», как было сказано в королевском регламенте, созывавшем генеральные штаты. Франции действительно крайне были нужны и уже предпринимались реформы административные, судебные и финансовые: в сущности, *здесь учредительному собранию пришлось делать то же, что делали, хотя и не в таком объеме, правительства «просвещенного абсолютизма», предпринимая административные, финансовые, судебные и т. п. преобразования*². Во-вторых, во Франции продолжали над новым обществом тяготеть старые католико-феодальные формы, и если в других государствах XVIII в. уже предпринимались меры, касавшиеся католической церкви³ и сословного строя⁴, то и Франция не могла не пойти по той же дороге, *тем более, что нигде до такой степени, как здесь, церковные и сословные отношения, требовавшие реформы и в странах «просвещенного абсолютизма», не противоречили стремлениям самого общества*, а, кроме того, *во Франции борьба с провинциализмом, которую вел «просвещенный абсолютизм» в других странах во имя государственного единства, должна была вестись на почве единства национального*, которому противоречили старые областные перегородки. В-третьих, если в деле преобразования администрации, суда, финансов и т. п., с одной стороны, а с другой — в борьбе со старыми силами католицизма и феодализма (сословностью и провинциализмом) учредительное собрание брало на себя то, что должна была бы сделать еще старая власть (и что правительства других стран совершали на самом деле), главная причина этого заключалась не только в

¹ Смысл существования (фр.). — Прим. ред.

² См. выше, гл. XXVI.

³ См. выше, гл. XXVII.

⁴ См. выше, гл. XXVIII.

бессилии этой власти и в оппозиции привилегированных, но и *в полном разложении прежней системы законодательства, устанавливавшей в стране двоевластие правительства и наследственной магистратуры*, благодаря чему проведение реформ королевской властью делалось невозможным, как это и показал опыт Людовика XVI, а потому здесь требовалась еще организация законодательной власти на новых началах. Между тем старые учреждения или так были плохи, что нужна была замена их новыми, или возбуждали в народе такую ненависть, что о сохранении их трудно было и думать, или же, наконец, до такой степени сами противились преобразованиям, что только для проведения последних необходимо было прежде всего полное уничтожение этих учреждений. Чем более противились всякой реформе парламенты, старые сословно-представительные собрания в провинциях, церковь, дворянство и, наконец, сама королевская власть, тем все менее и менее делалась возможной их реформа, тем все более и более они обрекали себя на уничтожение и своей оппозицией заставляли сторонников преобразования идти далее того, что последние имели в виду первоначально. Но, с другой стороны, чем более старая Франция упорствовала и тем самым приводила новую Францию к убеждению, что из старого нужно как можно менее переносить в будущие учреждения, тем *все более и более старые традиции должны были уступать место в деле реформы новым идеям*. Мы уже знакомы с этими идеями: идея естественного права была враждебна всякому историческому праву, и чем сильнее отстаивала последнее сама королевская власть, парламенты, церковь, провинции, сословия, корпорации, чем менее они шли на сделку с новыми требованиями, тем все более и более они *подготавливали переход реформы в революцию*, т. е. замену исправления «старых порядков» полным их уничтожением. Не учредительное собрание по своему произволу занялось разрушением старого: старое само приходило в упадок, само обрекало себя на гибель, а извне прежде всего разрушалось народным движением, так что учредительному собранию пришлось лишь принять участие в общей работе всего народа. Но учредительное собрание и созидало. Спрашивается, чем же собрание должно было при этом руководиться, как не новой политической философией, принятой обществом? Конституанте ставится в вину, что в области политических учреждений и социальной организации она поступала не как «легислатура практических деятелей», а как «академия утопистов», хотя даже самые строгие критики находят, что во всех вопросах частного быта учредительное собрание сделало много хорошего¹. Действительно, *слабые стороны политическим мышлением философии XVIII в. отразились и на законодательной деятельности учредительного собрания, но у этой философии были ведь не одни только*

¹ Напр.: Taine. La révolution, t. I.

слабые стороны: ее общественные принципы не были случайным порождением разложения «старого порядка», а вырабатывались в длинном историческом процессе, в котором участвовали и гуманизм XIV–XV вв., и религиозная Реформация XVI в., и политическое развитие Англии в XVII в., и новая философия и т. п. *Законодательство учредительного собрания впервые признало за этими принципами силу в жизни, перестроив на их основании многие ее стороны*, хотя и допустило отступления от них, когда этого не требовалось, и, наоборот, прилагало их к таким случаям, где жизнь не была еще подготовлена достаточно к тому, чтобы их воспринять надлежащим образом. Главными из этих принципов были свобода и равенство, и, руководясь ими, учредительное собрание создавало новое общество, в котором должны были исчезнуть *бесправие личности перед государством и зависимость ее прав от условий рождения в том или другом состоянии*. И с этой стороны дело учредительного собрания подвергалось порицанию: программа деятелей 1789 г. объявлялась слишком узкой и своекорыстной¹ — слишком узкой потому, что в ней не ставился во всем объеме вопрос социальный как вопрос прежде всего экономический и слишком своекорыстной потому, что учредительное собрание будто бы было проникнуто исключительно одними буржуазными интересами. Тут нужно заметить две вещи. Во-первых, при тогдашнем состоянии теоретической разработки экономических и социальных вопросов наиболее искренние публицисты и деятели были убеждены, что материальное благосостояние придет с одной политической свободой и гражданским равенством, и смотрели на социальные отношения глазами физиократов: только позднейший исторический опыт научил отделять одно от другого и резко различать отношения политические и социальные. Во-вторых, учредительное собрание так общо ставило вопрос о правах человека и гражданина, что провозглашаемые им права не были правами лиц только известного общественного класса. Нельзя, однако, не заметить, что, конечно, *во многих отношениях главные выгоды перемен выпали на долю буржуазии, и что народ мог быть действительно недовольным многими законами учредительного собрания*, хотя этого никак не следует обобщать. Каковы бы, впрочем, ни были ошибки и промахи законодательства 1789–1791 гг. и вообще слабые стороны самой конституанты, отнюдь не нужно упускать из виду ни трудности и сложности дела, ни нелегких условий, в каких его приходилось делать, да и того, наконец, не следует забывать, что учредительное собрание приступило к реализации лучших, наиболее справедливых и наиболее гуманных идей философии XVIII в. и что *его законодательство не только обновило внутренний быт самой Франции, но и*

¹ Напр., см. Луи Блана.

повлияло впоследствии на культурно-социальное развитие других стран Европы. Вот почему нам нужно на нем остановиться подробнее.

Во главе законодательства 1789—1791 гг. нужно поставить «Декларацию прав человека и гражданина». Уже некоторые указы 1789 г. требовали провозглашения такой декларации, а в собрании особенно настаивал на ней Лафайет, в данном случае увлекавшийся американским примером. Мирабо был против «метафизических тонкостей», с которыми рискуешь «быть понятым лишь немногими и заслужить восторг всех, кто не понял бы этих тонкостей», но громадное большинство собрания было настроено в пользу декларации. Многие историки впоследствии также находили, что учредительное собрание занималось в данном случае решением вопросов, подлежащих скорее ведению ученой академии; но тем не менее догматы политической веры, провозглашенные первым национальным собранием Франции, получили в жизни новейших обществ не одно теоретическое значение, и прежде всего в самой Франции они легли в основу нового порядка вещей. Приводим, поэтому, целиком знаменитую «Декларацию прав человека и гражданина».

«Представители французского народа, — говорится во вступлении к документу, — составляющие национальное собрание, принимая во внимание, что незнание, забвение или презрение прав человека суть единственные причины общественных бедствий и порчи правительства, решились изложить в торжественном объявлении естественные, неотчуждаемые и священные права человека, дабы объявление это, будучи постоянно в виду всех членов общественного тела, непрерывно напоминало им об их правах и обязанностях; дабы действия властей законодательной и исполнительной, будучи ежеминутно сравниваемы с целью всякого политического установления, были через это более уважаемы; дабы требования граждан, основанные отныне на началах простых и бесспорных, обращались всегда к поддержанию конституции и к общему счастью».

«В силу этого национальное собрание признает и объявляет пред лицом и под покровительством Верховного Существа следующие права человека и гражданина:

«Люди рождаются и остаются свободными и равными в правах. Общественные различия могут быть основаны только на общей пользе».

«Цель всякого политического союза есть сохранение естественных и неотчуждаемых прав человека. Права эти суть свобода, собственность, безопасность (*sûreté*) и сопротивление угнетению».

«Принцип всей верховной власти находится существенным образом в нации. Никакое учреждение, никакое лицо не может осуществлять власти, не происходящей прямо от нации».

«Свобода состоит в праве (*à pouvoir*) делать все, что не вредит другому: таким образом, пользование каждого человека его естественными права-

ми не имеет границ, кроме тех, которые обеспечивают за другими членами общества пользование теми же правами. Эти границы могут быть определены только законом».

«Закон может запрещать лишь действия, вредные для общества. Все, что не воспрещено законом, дозволено (*ne peut être empêché*), и никто не может быть принужден к тому, чего закон не предписывает».

«Закон есть выражение общей воли. Все граждане имеют право лично или через представителей участвовать в издании законов. Закон должен быть равным для всех, имеет ли он целью защиту или наказание. Так как все граждане перед ним равны, то они должны быть одинаково допускаемы ко всем званиям, местам и общественным должностям по своим способностям и без иных различий, кроме существующих в их добродетели и талантах».

«Никто не может быть обвинен, задержан или заключен иначе, как в случаях, определенных законом, и по предписанным им формам. Те, которые испрашивают, отдают, исполняют или заставляют исполнять произвольные повеления, подлежат наказанию, но каждый гражданин, вызванный или схваченный в силу закона, должен немедленно повиноваться: он делается виновным, оказывая сопротивление».

«Закон должен устанавливать наказания только строго и очевидно необходимые и никто не может быть наказан иначе, как в силу закона, установленного и обнародованного раньше преступления и законно примененного».

«Так как каждый человек предполагается (*étant présumé*) невинным, пока его не объявят (на суде) виновным, то в случае необходимости его ареста всякая строгость, которая не нужна для обеспечения (за судом) его личности, должна быть строго подавляема законом».

«Никто не должен быть тревожим за свои мнения, даже религиозные, лишь бы их проявление (*manifestation*) не нарушало общественного порядка, установленного законом».

«Свободное сообщение мыслей и мнений есть одно из самых драгоценных прав человека: каждый гражданин может, следовательно, свободно говорить, писать, печатать, под условием ответственности за злоупотребления этой свободой в случаях, определенных законом».

«Для гарантии прав человека и гражданина нужна публичная сила; таким образом, эта сила установлена для счастья всех, а не для частной выгоды тех, кому она вверена».

«Для содержания общественной силы и для расходов администрации необходимо общее обложение (*contribution*): налоги должны быть распределены равномерно между гражданами сообразно с их средствами (*facultés*)».

«Все граждане имеют право лично или через своих представителей определять необходимость общественных налогов, свободно на них согла-

шаться, следить за их употреблением, устанавливать их размер, основания раскладки, способ взимания и срок».

«Общество имеет право требовать отчета у каждого публичного агента своей администрации».

«Каждое общество, в котором не обеспечена гарантия прав и не установлено разделение властей, не имеет конституции (*n'a point de constitution*)».

«Так как собственность есть ненарушимое (*inviolable*) и священное право, то никто не может быть ее лишаем, кроме тех случаев, когда того очевидно требует общественная надобность, законно засвидетельствованная, и под условием справедливого и предварительного вознаграждения».

Вот и все содержание декларации. В ней, как мы видим, положения политической философии XVIII в. в качестве требований «естественного закона» ставятся выше самой конституции: этим ее составители думали ограничить суверенитет государства по отношению к свободе личности, содержание которой определяется статьями 7—11 и 17. *Индивидуалистический характер декларации явствует из заявления, что люди рождаются и остаются свободными* (и равными) в правах, — заявления, поставленного во главе декларации (ст. 1). *Другая основная черта декларации — это признание ею принципа народовластия* (ст. 3), хотя декларация и не делает отсюда никакого вывода относительно формы правления. В первом отношении декларация примыкает к индивидуалистической традиции Монтескье, во втором — к идеям Руссо, от которого, впрочем, отступает в вопросах о представительстве (ст. 6) и о разделении властей (ст. 7), равно как о гарантии личных прав¹. Идея личности как обладающей прирожденной и неотчуждаемой свободой и идея нации как обладательницы верховной власти в государстве — вот две основные идеи приведенной декларации: мы и посмотрим теперь, как обе эти идеи осуществлялись в законодательстве учредительного собрания, после чего нам можно будет перейти и к реформам, не имеющим непосредственного отношения к указанным идеям.

Принцип индивидуальной свободы в общественной жизни, в политической философии и в законодательстве имеет весьма длинную историю², в которой «принципам 1789 г.» принадлежит весьма видное место. Мы только что видели, как «Декларация прав человека и гражданина» провозгласила прирожденность людям известных естественных и неотчуждаемых прав (ст. 1—2), пользование которыми не должно было иметь иных границ, кроме обеспечивающих и за другими пользование теми же права-

¹ Взгляды Монтескье и Руссо по этим пунктам см. выше, с. 179—182 и 200, 201.

² См.: *Кареев Н.И.* История Западной Европы в Новое время. Развитие культурных и социальных отношений. Переход от Средних веков к Новому времени. Гл. XXI и XXV; *Его же.* Реформация и политическая жизнь в XVI и XVII вв. Гл. XX, XXXVI, XLI и др. М.: Академический проект, 2015. — *Прим. ред.*

ми (ст. 4), причем закон как можно менее должен стеснять индивидуальную свободу, а вне закона она ничем не должна стесняться. Мы видели также, что декларация обеспечивала личную неприкосновенность от произвольного ареста (ст. 7) или от обратного действия законов (ст. 8), равно как от излишних строгостей в случае уголовного обвинения (ст. 9), что декларацией обеспечивались, далее, свобода совести, свобода мысли, свобода слова (ст. 10–11), что собственность гражданина признавалась ненарушимым и священным правом личности (ст. 17). Всем этим не ограничивалось еще то, что учредительное собрание сделало для расширения личных прав, хотя еще другой вопрос, насколько все это было гарантировано не на словах только, но и на деле, именно постановкой этих прав под защиту суда от возможного их нарушения со стороны законодательной и исполнительной власти по примеру охраны, существовавшей в Англии¹: последнего, к сожалению, сделано не было, ибо в угоду теории разделения властей собрание считало невозможным ставить действия администрации под контроль судебных мест. Кроме того, само национальное собрание, стоявшее сначала за безусловную почти свободу слова, сходов и эмиграции, мало-помалу отошло с этой точки зрения, когда эти виды свободы, по его мнению, стали приходить в столкновение с интересами государства (*raison d'état*). Уже формулируя принцип свободы совести, конституанта ограничивала ее условием, чтобы проявление религиозных мнений не нарушало общественного порядка, т. е. оговоркой, не дававшей права, например, протестантам на свободное отправление своего культа, и напрасно Мирабо горячо поддерживал тут одного депутата, предлагавшего внести в статью еще слова «и никто не должен встречать препятствий в отправлении своего культа», дабы свобода совести действительно установилась во Франции, гарантируемая законом. Гораздо либеральнее отнеслось собрание к свободе слова устного, письменного (неприкосновенность частной переписки) и печатного (освобождение печати от предварительной цензуры), но и здесь, когда собрание нашло, что периодическая пресса стала грозить опасностью общественному порядку, проступки по делам печати не столько стали вызывать судебное преследование, сколько административные мероприятия, как это было после знаменитого дела на Марсовом поле 17 июля 1791 г. То же самое было и с правом сходов и петиций: сначала собрание было к ним благосклонно, но под конец оно стало ограничивать, например, деятельность клубов и право петиций, установив в последнем отношении правило, по которому содержание подаваемой петиции должно было быть заранее известно властям и самые петиции должны были быть подписаны определенными именами, а не подаваться, например, просто от имени народа.

¹ Английский Habeas corpus act.

Кроме того, национальное собрание издало так называемый военный закон против мятежных сходок (*loi martiale*). Мирабо был против такого закона, когда он только что был предложен, но сам вошел в комиссию, вырабатывавшую его подробности, дабы смягчить его применение предоставлением права его применять выборным муниципальным властям, допущением переговоров с таким собранием и, наконец, разрешением действовать силой лишь после трехкратного увещевания и выкидки красного знамени. Мирабо, как мы видели, отстаивал и право эмиграции от стеснений, которому конституанта задумала подвергнуть выезд их за границу в виду политической опасности, какую представляли выходцы, интриговавшие при иностранных дворах. Таким образом, *учредительное собрание в некоторых случаях само нашло нужным ограничивать индивидуальную свободу во имя государственной необходимости*, и мы еще увидим, что впоследствии борьба революции с враждебными ей силами, что опасности, которым новый порядок подвергался со стороны действительных или мнимых врагов, что старая привычка к административному произволу в связи с необходимостью диктатуры, вызывавшейся внешним положением Франции и с политической теорией, не дорожившей принципом индивидуальной свободы и, наоборот, ничем не ограничивавшей суверенную власть народа¹, — что все это должно было взять перевес над этим порывом французского общества к обеспечению прав личности. Впрочем, *в некоторых сферах законодательство учредительного собрания установило принцип личного права весьма прочно*, уничтожив разные стеснения, которым подлежала индивидуальная свобода в силу прежних отношений. Личность освобождалась не только от полного произвола, господствовавшего в отношениях к ней со стороны государства прежних времен, но и от всего того, в чем *феодализм и католицизм ограничивали ее права*: пало крепостничество и всякие стеснения прав личной свободы и собственности, вытекавшие из сеньюальных прав; отменена была утрата монашествующими их гражданских прав², равно как и исключение из пользования правами французского гражданства протестантов и евреев, получивших теперь полное равноправие с католиками. Только свободную человеческую личность учредительное собрание хотело видеть и в лицах низших рас, и в иностранцах: негр-невольник, попав на французскую территорию, становился свободным³, а по отношению к иностранцам отменен был обэнаж, лишавший их права оставлять в наследство своим детям собственность, находившуюся во Франции. Раз «естественные и неотчуждаемые права» личности признавались за всеми людьми, каково бы ни были их общественное положение, их религия, их происхождение, тот же

¹ Имеем в виду теорию Руссо.

² Им нельзя было только наследовать имущество.

³ Рабство в колониях было отменено лишь декретом 4 февр. 1794 г.

принцип должен был определить собой и многие отношения права семейного и имущественного. По законодательству учредительного собрания, дети обоих полов, достигшие совершеннолетия (21 года), освобождались от родительской власти равно как уравнивались в правах на наследство все дети одних и тех же родителей без различия старшинства и мужского или женского пола. За преступление, совершенное одним членом семьи, другие не должны были страдать в своем добром имени и в имущественных правах, в силу чего, например, конфискация имущества вычеркивалась из уголовного кодекса¹. Наконец, признавалась за собственником полная свобода посмертного распоряжения своим имуществом (посредством завещания) и уничтожалось право наследников на родовой выкуп (*retrait lignager*) проданного имения: собственность получила чисто индивидуальный характер, т. к. законы, ограничивавшие право распоряжения ею в интересах наследников (принцип фамильной собственности), отменялись во имя безусловного личного права. Наконец, учредительное собрание отменило все старые, цеховые и отчасти протекционистские стеснения, лежавшие на выборе занятий, уничтожив корпорации, жюранды и метризы и объявив свободу труда и промышленности. Мы видели, что уже Тюрго думал о том же самом² и что старая цеховая организация действительно не соответствовала более ни духу, ни потребностям времени. Но в своей погоне за безусловной свободой индивидуума в сфере этих отношений, боясь восстановления под новым именем старых цехов со всем, что в них было противного индивидуальной свободе, учредительное собрание зашло слишком далеко, запретив и на будущее время всякие промышленные рабочие ассоциации. Впоследствии это запрещение дало себя знать в экономической жизни не одной Франции, когда надежды на свободную конкуренцию индивидуальных сил оказались неоправданными. Таким образом, мы видим, что *во имя принципа личной свободы и тесно связанного с ним гражданского равенства учредительное собрание разрушало целый ряд прежних правовых норм, коренившихся в старых феодальных, католических, цеховых и даже родовых учреждениях*, поскольку именно этими нормами нарушались равно всем людям прирожденные естественные права. Философия «естественного права» давала новую основу для личного начала в общественной жизни, и учредительное собрание полнее, чем кто-либо раньше, вводило принципы этой философии в самую жизнь общества, давая им законодательную санкцию³. По этой же философии из таких равных друг другу в правах и рожденных свободными людьми

¹ Но на деле позднее она практиковалась в страшных размерах за преступления политические.

² См. выше, с. 395–410.

³ Ср. выше то, что сказано о философском элементе в законодательстве «просвещенного абсолютизма» (с. 263–272).

образуется совокупность граждан, составляющая собой нацию, которой все по тому же естественному праву и должна была принадлежать верховная власть в государстве. Рассмотрим теперь, как был проведен этот другой принцип философии «естественного права» в учреждениях, созданных первым национальным собранием Франции.

«Верховная власть, — гласит конституция 1791 г., — едина, нераздельна, неотчуждаема и неотъемлема; она принадлежит нации; никакая часть народа и никакое отдельное лицо не может приписывать себе пользование ею (раздел I, статья 1). Нация, от которой единственно происходят все власти, может пользоваться ими лишь посредством делегации. Французская конституция есть представительная: представители суть законодательный корпус (*le corps législatif*) и король» (ст. 2). Таким образом, по конституции 1791 г. державная нация проявляла свою верховную власть через двух своих уполномоченных, из которых одним был наследственный король, но т. к. историческая монархическая власть не была властью делегированной и потому самое понятие делегации несовместимо с представлением о монархии, то по существу дела конституция 1791 г. была республиканской, имея лишь монархическую форму, т. к. превращала королевское достоинство в наследственную республиканскую магистратуру совершенно в духе политической теории Мабли и отчасти Руссо. Между этими двумя уполномоченными нации, т. е. законодательным корпусом и королем, конституция 1791 г., согласно учениям Монтескье и Мабли¹, разделяет власть законодательную и исполнительную. Первая «поручается (*est délégué*) национальному собранию, составленному из временных представителей, свободно избранных народом, дабы собрание это пользовалось ей с королевской санкцией» (ст. 3), так что и в данном случае конституция 1791 г. воспроизводит идеи Монтескье и Мабли, считавших наилучшей формой представительство, а не идеи Руссо, который не допускал ни разделения властей, ни представительства, тогда как по взгляду на королевскую власть эта конституция заимствует свои тезисы скорее только у Руссо и Мабли. «Правительство есть монархическое: исполнительная власть делегируется королю, чтобы отправляться от его имени (*sous son autorité*) министрами и другими ответственными агентами» (ст. 4). Наконец, судебная власть, совсем как у Монтескье, делегируется судьям, на время выбранным народом (ст. 5). По конституции 1791 г., для замещения должностных лиц широкое значение придавалось принципу народного избрания, совершавшегося в первичных собраниях (*assemblées primaires*) самих граждан или в департаментских собраниях лиц, выбранных в первичных. Вопреки «Декларации прав человека и гражданина», признавшей общее равенство в правах, конституция 1791 г. разделила граждан на актив-

¹ Мабли был против veto.

ных и пассивных, признав значение первых лишь за теми природными или натурализованными французами, которые достигли двадцатипятилетнего возраста, постоянно жили в городе или кантоне в течение известного времени, платили прямой налог, по крайней мере, не менее, чем трехдневная заработная плата, не состояли ни у кого в услужении за жалованье, числились по месту жительства в списках национальной гвардии и принесли гражданскую присягу (разд. II, ст. 2). Этой статьей конституции устранялась из пользования политическими правами беднейшая часть нации, например, в деревнях все батраки, нанимавшиеся в услужение к сельским хозяевам, хотя ценз, установленный для активных граждан (не без влияния теорий Монтескье и Мабли), не был настолько велик, чтобы конституцию 1791 г. в этом пункте нужно было считать прямо буржуазной. Активные граждане составляли первичные собрания, в коих должны были выбираться, кроме муниципальных властей, выборщики (*électeurs*) с более уже значительным имущественным цензом для образования в каждом департаменте, на которые была разделена Франция, особого избирательного собрания (*assemblée électorale*), выбиравшего, кроме департаментской администрации, представителей в национальное собрание, каковыми могли быть вообще активные граждане. Представители выбирались на два года (на одну легислатуру) с правом переизбрания без перерыва лишь еще на два года и считались представителями не отдельных департаментов, а всей нации, которых притом не мог связывать никакой *mandat impératif*¹. Законодательный корпус, состоявший лишь из одной палаты, должен был непрерывно заседать два года, что и называлось одной легислатурой, обновляясь лишь на основании закона (*de plein droit*), т. е. без созыва королем (разд. III, гл. I, ст. 4), который не мог также и распускать законодательного корпуса (ст. 5). Конституция одному законодательному корпусу предоставляла право предлагать и декретировать законы; в его распоряжение отдавались финансы, национальные имущества, сухопутные и морские силы; объявление войны могло произойти не иначе, как в силу декрета национального собрания, изданного по формальному предложению короля. Последнему предоставлялось право отказывать в согласии своем на декреты законодательного корпуса (разд. III, гл. 3, секц. 8, ст. 1), но этот отказ мог быть только отсрочивающим: «раз две легислатуры, следующие за той, которая представила декрет (на королевскую санкцию), одна за другой снова представят тот же самый декрет и в тех же выражениях, в таком случае будет считаться, что король дал свою санкцию» (*le roi sera censé avoir donné la sanction*, ст. 2). Это и было то отсрочивающее «*veto*» (*veto suspensif*), которое было предметом долгих споров и в конце концов вос-

¹ Но по разд. III, гл. I, ст. 3, первое законодательное собрание должно было разойтись в конце апреля 1793 г.

торжествовало над безусловным «veto» (*veto absolu*), игравшим большую роль в политической теории Монтескье и защищавшимся Мирабо. Мы увидим, что когда была применена конституция 1791 г., французы не снесли и этого отсрочивающего «veto».

Авторы конституции 1791 г. находились под сильным влиянием политической теории Мабли, представлявшей из себя нечто среднее между теориями Монтескье и Руссо. Стоя вместе с первым из последних двух писателей на точке зрения необходимости разделения властей с предоставлением королю власти исполнительной, учредительное собрание вместе со вторым понимало, однако, значение монархического правительства в смысле простого исполнения народной воли. Облекая «короля французов» таким «*rouvoir exécutif*»¹, конституция 1791 г., так сказать, требовала, чтобы он немедленно передал ее министрам и другим ответственным агентам, но конституция не устанавливала парламентарного министерства, т. е. такого органа исполнительной власти из членов самого законодательного корпуса, каким был английский кабинет и какого добивался Мирабо. В этом было большое неудобство, ибо не создавалось связующего звена между королевской властью и народным представительством, и в законодательном корпусе ответственные министры короля могли встречать только критику и оппозицию, но не могли иметь ни откуда поддержки. Впоследствии сама жизнь указала на необходимость парламентарного министерства и действительно вызвала нечто подобное к жизни. Таким образом, король не созывал и не распускал национального собрания, не имел самостоятельной законодательной инициативы и имел право лишь отсрочивающего «veto», а, кроме того, должен был пользоваться властью не иначе, как через посредство ответственных министров, которые, однако, не были членами законодательного собрания: все эти ограничения королевской прерогативы (мы сравниваем конституцию 1791 г. с английской) были введены в монархическую конституцию, какую хотело создать учредительное собрание, из личного недоверия к Людовику XVI и из боязни, как бы малейшая самостоятельность монарха не послужила впоследствии способом восстановления абсолютизма, что и делало наиболее популярной идею республиканской монархии Руссо и Мабли. Тем не менее конституция 1791 г. объявляла в духе теории Монтескье личность короля священной и неприкосновенной (разд. III, гл. 2, секц. 1, ст. 2) и король должен был только считаться отказавшимся от престола (*sera censé avoir abdiqué la royauté*) в следующих случаях: если не присягнет конституции или возьмет назад данную присягу; если станет во главе армии против нации или формальным актом не воспротивится такому предприятию, задуманному во имя короля; если, удалившись из королевства, не вернется в

¹ Исполнительная власть (*фр.*). — *Прим. ред.*

назначенный срок по приглашению законодательного корпуса (ст. 5—7). Эти статьи явились в конституции под влиянием всего поведения Людовика XVI и особенно под влиянием его попытки бегства. После отречения король должен был сделаться простым гражданином, и тогда его можно было судить и обвинить за действия, совершенные после отречения.

Принцип народовластия, как мы только что видели, был вполне осуществлен в организации законодательной власти, которая была почти безраздельно вверена национальному собранию, да и самым отсрочивающим «*veto*» король пользовался в силу делегирования ему народом права. На том же принципе была основана организация исполнительной и судебной властей. Конституция 1791 г., передавая первую из них наследственному королю, в сущности не давала ему органов для отправления этой функции: ни король, ни министры не участвовали в замещении административных должностей и не могли смещать чиновников, ибо и *вся администрация была построена на начале народного избрания*. Мы еще увидим, что учредительное собрание дало Франции новое административное деление на департаменты, дистрикты и муниципалитеты, причем не только не было сделано различия между органами центрального управления и самоуправления, но введен был принцип замещения административных должностей путем народного избрания в первичных и департаментских собраниях. Отделив строжайшим образом в силу теории Монтескье администрацию от суда и сделав первую совершенно независимой от контроля со стороны второго (к ущербу гарантий личной свободы), учредительное собрание построило все органы администрации по одному типу: везде были совещательные коллегии и исполнительные комитеты. Местные и притом именно выборные власти ведали и общегосударственными делами, оставаясь, однако, совершенно независимыми от центрального правительства, мало того, считая даже себя вправе ему не повиноваться по примеру старых парламентов. Организовав законодательную власть, учредительное собрание совершенно тем самым дезорганизовало власть исполнительную: то, что давалось королю или вообще центральному правительству под этим именем, было в сущности фикцией, ибо у короля не было даже органов для контроля над действиями административных лиц и учреждений. Учредительное собрание понимало все недостатки старой централизации и хотя, как мы еще увидим, само способствовало усилению этого принципа в будущем, но вместо того, чтобы сочетать принципы центрального правительства и самоуправления, построило всю администрацию на началах самой крайней децентрализации, как бы осуществляя старую мысль д'Аржансона о королевской демократии. Франция действительно разделена была как бы на отдельные республики, совершенно независимые от центрального правительства, что вносило уже прямо анархию в дело управления. Недоверие к королевской власти, к ее прежним органам в

провинциях (к интендантам), к административной централизации вообще склонило учредительное собрание к тому, чтобы не только ввести в жизнь Франции местное самоуправление, но и передать в ведение его органов то, что должно было бы остаться в руках центрального правительства и его органов в отдельных селлах, городах и целых провинциях.

В судебной организации произошло то же самое: не доверяя старому судейскому сословию, учредительное собрание не только не установило особых апелляционных палат, под видом которых могли бы возродиться старые парламенты, но даже и не требовало того, чтобы судьи обладали необходимыми юридическими знаниями, опасаясь, как бы не возродилось старое судейское сословие. Введя институт присяжных заседателей для уголовных дел (большое жюри для предания суду и малое для произнесения приговора), учредительное собрание и судейские должности как мировых судей, так и членов департаментских трибуналов (окружных судов) сделала выборными, так что и здесь был применен принцип народовластия. Судебное ведомство с кассационным судом во главе, впрочем, наименее подвергалось впоследствии переменам, если не считать, например, позднейшего введения апелляционных палат и т. п. Судопроизводство было также реформировано и во многих отношениях в духе гарантий личной неприкосновенности.

Конституция 1791 г. просуществовала недолго. Хотя ее составители сами отказались от возможности сделаться и проводниками ее в жизнь, тем не менее они проявили большую заботливость об упрочении ее существования особым конституциональным же законом. Признав за нацией неотъемлемое право изменять конституцию¹, но в то же время, считая, что было бы прямо в национальных интересах пользоваться правом реформировать ее статьи, неудобства которых покажет опыт, не иначе, как способом, указанным в самой же конституции, учредительное собрание обставило «пересмотр (*la revision*) конституционных декретов» такими формальностями, что первым двум легислатурам не давалось вообще права подымать этот вопрос, а затем требовалось, чтобы то или другое изменение предлагалось одинаковым образом тремя последовательными легислатурами, после чего лишь четвертая, да и то усиленная новыми членами (всего их было 743), могла приступить к самому пересмотру (разд. VII). При соблюдении этих условий конституция 1791 г. должна была бы просуществовать неизменно, по крайней мере, 10 лет, но она просуществовала лишь десять с небольшим месяцев. Кроме внешних причин, на которые своевременно будет указано, тут действовали причины, заключающиеся и в самой конституции 1791 г. Декларация прав поставила естественные пра-

¹ Ср. мнение Руссо об этом. В Англии нет различия между обыкновенными и конституционными законами.

ва человека и гражданина выше всякого положительного закона, а между тем конституционный акт 1791 г. в одном отношении (по вопросу о пересмотре) должен был в течение нескольких лет связывать национальную волю, а в другом (в разделении граждан на активных и пассивных) противоречил декларации прав, объявлявшей равенство всех граждан. Несколько параграфов конституционного акта оказались плохой гарантией против нового проявления национальной воли, как бы ни было случайно последнее, а установление имущественного ценза, притом такого низкого, при котором гражданин очень легко мог лишиться политических прав в силу каких-либо случайностей, вооружало против конституции массу граждан. В этом заключалось одно внутреннее противоречие конституции. Другое было в том, что в ней монархическая форма совсем не соответствовала республиканскому содержанию: первая показалась впоследствии помехой людям, настроенным на республиканский лад, тогда как второе было причиной оппозиции, в какую стали по отношению к ней не только двор, но и многие конституционные монархисты. Наконец, конституция 1791 г. совершенно разрушала всякую возможность управления Францией законной центральной властью, хотя и подготовила почву для еще большей, чем прежде, централизации полным уничтожением всех областных особенностей, но, т. к. Франция привыкла к повиновению приказам, которые исходили из центра, то место правительства, оставшееся в конституции 1791 г. незанятым, занято было впоследствии якобинским клубом, стоявшим во главе целых сотен филиальных отделений в провинциях.

Хотя конституция 1791 г. не продержалась и года, хотя после нее во Франции сменилось еще несколько конституций до ныне действующей конституции 1875 г., но в основе их всех и великого множества других, издававшихся в иных странах под прямым или косвенным влиянием Французской революции, *мы находим одни и те же политические идеи, ставшие основными принципами государственного права западноевропейских народов в XIX в.*, так что о конституции 1791 г. нужно судить не только по ее отношению к ее недостаткам и к современному ей положению дел во Франции, но и по отношению ко многим из ее принципов, утвердившихся в новейшем государственном праве, притом не одной Франции, но и других стран Западной Европы. Этими принципами являются индивидуальная свобода в смысле личной неприкосновенности и разных видов независимого проявления личности в области веры, мысли, слова и свобода политическая в смысле народного участия через представителей в законодательстве и управлении, т. е. те начала, которые уже осуществлялись раньше в английской государственной жизни, поэтому 1789 г. для других стран Западной Европы был началом и рецепции конституционных учреждений, выработанных в Англии. Как ни смотрели во Франции свысока на английские уч-

реждения некоторые публицисты XVIII в. и весьма многие деятели 1789 г., думавшие создать нечто более совершенное, чем во многих сторонах своих чисто «готическая» английская конституция, в сущности «принципы 1789 г.» были перенесением во Францию основных начал английской же конституции лишь в демократической оболочке. Принципы эти, однако, не нашли для себя во Франции сразу вполне подходящей почвы: торжество индивидуальной свободы было кратковременным, ибо всем предыдущим политическим воспитанием своим Франция была мало подготовлена к тому, чтобы ее осуществить, ибо учредительное собрание не создало для нее реальных гарантий, ибо чрезвычайные события, переживавшиеся государством, создавали потом надобность в диктатуре, ибо, наконец, многие деятели революции стали «смешивать свободу народа с властью народа» и даже прямо не дорожили принципом индивидуальной свободы. И народовластие, столь прочно привившееся на американской почве, не осуществило действительного политического самоуправления, и старая королевская власть Божией милостью сменилась — после неудачи с конституционной монархией — таким же, как и прежде, абсолютизмом диктатуры во имя народа — сначала якобинской, потом военной. Все это доказывает только, что новые принципы осуществляются в жизни не сразу.

XXXVII. Преобразование общественного строя Франции во время революции¹

Разрушение католическо-феодального строя в Новое время. — Старые провинции и административная реформа конституанты. — Права корпорации и личное начало. — Падение сословного устройства французского общества. — Буржуазия и народ. — Французская демократия. — Отмена феодальных прав. — Отношение революции к крестьянам. — Французская революция и духовенство. — Гражданское уложение о духовенстве. — Продажа национальных имуществ.

Революция 1789 г. имела значение не только политического переворота, с которым соединены были реформы административные, судебные, финансовые и т. п., но и значение *весьма крупного события в социальной истории Франции и других стран*, на которых сказалось влияние этой революции. Уже не раз нами указывалось на то, что старые государственные и общественные порядки, против которых была направлена революция, заключались в соединении политического абсолютизма с социальными привилегиями. Конституция 1791 г., основные принципы которой были изложены в «Декларации прав человека и гражданина», имела своей целью заменить прежнюю абсолютную монархию представительным образом правления, но в той же декларации заключались принципы, в силу которых должен быть реформирован и социальный строй Франции, а именно общество, разделявшееся на отдельные сословия с разными правами, привилегиями и обязанностями, должно было превратиться в нацию, состоящую лишь из равноправных граждан, причем и духовенство должно было утратить значение особого привилегированного сословия, превратившись в простой, так сказать, профессиональный класс служителей религии. Вся новая история имеет своим содержанием в социальной своей стороне постепенное разрушение католическо-феодального строя, ведущего свое начало из Средних веков. Процесс этот в различных странах совершался различным образом, т. е. где раньше, где позже, когда путем действия государственной власти, когда путем народных движений и т. п., и ранее всего бессословная нация стала вырабатываться в Англии, где поэтому уже осуществлялось в XVIII в. то, к чему Франция в прошлом столетии только стремилась и чего достигла лишь благодаря революции 1789 г.

¹ Указания на литературу см. в предыдущей главе.

Если в эпоху «просвещенного абсолютизма» королевская власть во имя интересов государства и новой государственной идеи начинала решительнее, чем прежде, действовать в области социальных отношений¹, завещанных новой Европе средневековым католическо-феодальным строем, то уже не одна государственная идея революции, сводившаяся к принципам естественного права, верховенства нации, осуществления государством общего блага и т. п., требовала уничтожения всего, что существовало лишь в силу права исторического, раздробляло нацию на сословия, создавало привилегии и имело в виду не интересы государства, а интересы отдельных общественных групп: требовала уничтожения всего этого и указанная идея естественного права личности, права, принадлежащего ей как таковой, а не в силу ее случайного рождения в том или другом общественном состоянии — права на свободу и равенство, которые нарушались существованием сословных перегородок, сословных привилегий, сословного неравенства. Религиозная Реформация в XVI в. уничтожила в протестантских странах духовенство как особое привилегированное сословие и к тому же до известной степени стремился и «просвещенный абсолютизм»²; ту же цель поставила себе и Французская революция: духовные лица должны были сравняться в правах со всеми остальными гражданами государства. В таком же направлении совершалась и та борьба, какую «просвещенный абсолютизм» начинал против привилегий феодального дворянства и всего социального феодализма. В обоих случаях имелись в виду и интересы государства, и интересы большинства как совокупности отдельных личностей, права которых страдают от общественного неравенства, но до Французской революции в борьбе правительств с разными сторонами католическо-феодального строя ставились главным образом целью права и интересы государства, тогда как права и интересы личности, и народа как совокупности отдельных индивидуумов в расчет принимались плохо. В другом месте мы указывали уже, что католическо-феодальный строй был одинаково стеснителен и для государства, и для личности и что борьба с этим строем велась во имя начал государственности и индивидуализма, но что первое из этих начал развивалось быстрее и успешнее, чем второе, и даже стало само во враждебное отношение к этому второму началу, потребовав для государства безусловных прав, а на долю личности оставив одни обязанности. *В эпоху Французской революции мы впервые имеем дело с разрушением католическо-феодального строя не только во имя идеи государства, но и во имя естественных прирожденных и неотъемлемых прав личности.* С этой точки зрения Французская революция открывает собой совершенно новую эпоху в истории цивилизованного мира. В борьбе своей со

¹ См. выше, гл. XXVIII.

² Имеем в виду Иосифа II.

старыми порядками учредительное собрание исходило, между прочим, из того представления, что главная причина народных бедствий заключается в законах и учреждениях, лишаящих личность ее естественной свободы и нарушающих гражданское равенство, но утверждая права личности, учредительное собрание, как мы еще увидим, не сознавало необходимости заботиться о материальном обеспечении личности, полагая, что каждый лучше, чем кто-либо посторонний, может заботиться о собственном интересе и что равномерное распределение налогов, уничтожение феодального режима, провозглашение свободы труда и т. п. сами по себе способны создать народное благосостояние. В этом была, конечно, большая ошибка, но из того, что учредительное собрание ее сделало, вовсе не следует, будто сами по себе индивидуальная свобода и гражданское равенство ничего не значили и будто «принципы 1789 г.» были нужны только для буржуазии.

В своих реформах социального строя учредительное собрание исходило из отвлеченных принципов государства, или нации и личности, или гражданина, как принципы эти были представлены в философии естественного права. В последней государство мыслилось вне исторических его форм, каковыми являются следы происхождения государства из бывших прежде самостоятельными княжествами провинций, существование в нем резко одно от другого отграниченных сословий, известные отношения, установившиеся между ним и космополитическим учреждением католической церкви. По конституции 1791 г. (разд. II, ст. 1), королевство признавалось единым и нераздельным (*un et indivisible*) в согласии с единством французской нации и с отвлеченным представлением о государстве. Для удобства управления оно было распределено (*distribué*) на 83 департамента, вместо старого исторического деления на провинции, причем в основу нового деления были также положены отвлеченные математические принципы — возможной равновеликости территории отдельных департаментов (принцип геометрический) и возможной равнонаселенности этих территорий, полагая на каждый департамент приблизительно 400 тысяч жителей (принцип арифметический): если бы мыслимо было осуществить вполне эти принципы, то пришлось бы разделить территорию королевства наподобие шахматной доски и постараться, чтобы число жителей на одном квадрате не превышало числа жителей на другом. Это искусственное деление не принимало в расчет ни исторических границ между прежними провинциями, генеральствами, бальяжами и т. п., ни местных условий, так что каждый департамент представлял из себя чисто искусственную административную единицу, и это только способствовало еще большему развитию принципа централизации, когда позднее во главе каждого департамента был поставлен правительственный чиновник. Франция нуждалась в большем объединении относительно порядка адми-

нистрации, права, финансовой системы и т. п., нуждалась в уничтожении устарелых областных привилегий, т. е. *жизнь требовала уничтожения остатков феодализма, поскольку он лежал в основании неравенства между отдельными частями государства*, но самое дело свободы требовало более осмотрительного отношения к реальным условиям и потребностям местной жизни. Искусственно выкроенные департаменты с их столь же искусственными подразделениями на дистрикты, а дистриктов — на кантоны и с иерархическим подчинением одних другим были весьма мало приспособлены к тому, чтобы сделаться живыми общественными организмами, несмотря на широкую свободу, предоставленную им конституцией 1791 г. Во имя абсолютного равенства между отдельными частями государства, при всем желании установить местную свободу, учредительное собрание отнимало у нее все необходимые условия, какие могли заключаться лишь в том, чтобы приняты были в расчет при делении государства на департаменты реальные отношения отдельных местностей, а не отвлеченные начала равновеликости и равнонаселенности территорий. В своем рвении к нивелированию, прямо унаследованном от старой монархии, учредительное собрание не хотело даже делать различия в способе управления между небольшими деревушками и самыми громадными городами, подводя их одинаково под одно понятие муниципалитетов. Мы еще увидим, как при Конвенте департаменты и муниципалитеты подчинились фактически одному из наиболее деспотических центральных правительств, какие только существовали когда-либо во Франции: к этому привели, конечно, обстоятельства времени при содействии привычек, привитых нации старой системой административной централизации, но, кроме того, действительная местная автономия, слишком напоминавшая консервативные притязания старых провинций, была противна самому духу той концепции государства «единого и нераздельного», главными представителями которого явились якобинцы, прямо отождествлявшие «федерализм» с наиболее опасными государственными преступлениями: перед отвлеченной идеей государства должна была пасть всякая местная обособленность, и в этом отношении Французская революция представляет немало аналогий с централистическими стремлениями старых правительств, не исключая «просвещенного абсолютизма» (особенно Иосифа II). С тем же недоверием, как к старым провинциям, отнеслось учредительное собрание и к прежним корпорациям, имевшим характер юридических лиц. Местная самобытность с одной и той же точки зрения должна была казаться столь же опасной для государственного единства, хотя в то же время и вводилась самая широкая децентрализация, как должны были казаться опасными для индивидуальной свободы какие бы то ни было корпорации, хотя вместе с тем допускалось, однако, весьма широкое развитие клубов. Мы уже упомянули, что, уничтожая цехи, учредительное собрание запрещало и впредь

устраивать какие бы то ни было ассоциации подобного рода. Читая декрет национального собрания (14 июня 1791 г.), уничтожающий «всякого рода корпорации граждан одного и того же состояния и профессии» и запрещающий «восстанавливать их под каким бы то ни было предлогом и под каким бы то ни было видом», мы видим, что национальное собрание усматривало в возможных попытках основания новых ремесленных ассоциаций нечто «неконституционное и заключающее в себе покушение (*attentaire*) на свободу и декларацию прав человека», ибо, как пояснял докладчик декрета, в государстве не должно быть иных интересов, кроме частного интереса каждого отдельного лица и интереса общего: «никому не дозволяется внушать гражданам какой-то промежуточный интерес (*intérêt intermédiaire*), отделять их от общего дела (*de la chose publique*) корпоративным духом» (*esprit de corporation*), а с другой стороны корпорации противоречат принципу свободных соглашений лица с лицом (*conventions libres d'individu à individu*). Таким образом, учредительное собрание не хотело знать ничего промежуточного между государством и отдельным лицом и во имя индивидуальной свободы лишало отдельные лица права соединяться между собою ради достижения некоторых общих целей в смысле известной профессии. Мы откладываем до другого места рассмотрение того, какое значение получил позднее этот закон в истории борьбы капитала с трудом — закон, поставивший отдельного наемного работника лицом к лицу с предпринимателем, но здесь мы отмечаем лишь политическую сторону дела, тем более, что декрет запрещал ассоциации не одних рабочих, но и предпринимателей (*entrepreneurs*), как это прямо заявлено в декрете: все, что становилось между личностью и государством в виде старых провинций и прежних корпораций с их особыми интересами, должно было исчезнуть во имя прав государства и свободы личности, хотя право ассоциаций является как раз одним из средств обеспечения личности в ее жизненной борьбе. Позднейшие историки объясняли иногда такое распоряжение конституанты не односторонним применением принципа да еще под влиянием боязни, как бы не возродились старые привилегированные корпорации, нарушавшие свободу труда и бывшие орудием эксплуатации, а тонким буржуазным расчетом, хотя именно часть буржуазии (мастера) и теряла от уничтожения цехов. Конвент в этом отношении не отступил от конституанты, и для него при господстве якобинского принципа государственности корпорация являлась чем-то враждебным государству, отвлекающим гражданина от того, чтобы посвящать все свои силы только одному отечеству.

На примере вопроса о провинциях и корпорациях мы старались выяснить тот общий принцип, который был положен в основу общественного переустройства Франции. Перед той высшей государственной идеей, которую выработала общественная философия XVIII в., не было места для

неравенства прав граждан одного и того же отечества, как бы они ни различались между собой по своему социальному положению, и в этом отношении требования, вытекавшие из идеи государства, которое существует единственно для общего блага, только подкрепляли силу индивидуалистического принципа «Декларации прав человека и гражданина». Мы уже знаем, что 4 августа 1789 г. рухнул весь социальный феодализм: *результатом этого было то, что учредительное собрание создало во Франции бессловное гражданство*, ставшее одним из наиболее прочных приобретений революции. Уже превращение генеральных штатов с их сословным разделением в национальное собрание как собрание представителей всего народа (17 июня 1789 г.) было первым шагом на пути демократизации французской нации, а через год после этого (19 июня 1791 г.) были отменены и все дворянские титулы (titres nobiliaires) вместе с наследственным дворянством. Конституция 1791 г. с первых же строк своих объявляла «бесспорно уничтоженными все учреждения, оскорблявшие свободу и равенство прав», «нет больше, — сказано в ней, — ни дворянства, ни пэрства, ни наследственных отличий, ни сословного разделения (distinction d'ordre), ни феодального режима, ни патримониальной юстиции, ни каких-либо титулов, званий (dénominations) и прерогатив, из всего этого возникающих, ни каких-либо рыцарских орденов, корпораций и украшений, для коих требовались бы доказательства дворянства или которые предполагали бы неравенство рождения, ниже каких бы то ни было других случаев превосходства, кроме того, которое принадлежит представителям власти (fonctionnaires publics) при исполнении ими своих обязанностей». Содержание декретов 4 августа 1789 г. было резюмировано в самой конституции, которая «гарантировала (разд. I) в качестве естественных и гражданских прав: 1) что все граждане могут быть допущены ко всем местам и должностям без каких бы то ни было других отличий, кроме добродетели и таланта; 2) что все налоги будут распределяться между всеми гражданами равномерно в соответствии с их средствами; 3) что одни и те же преступления будут наказываться одинаковым образом без всякого различия лиц». Наконец, конституция прямо признавала (разд. II, ст. 2) только одно состояние граждан (état des citoyens), причем для всех без различия жителей устанавливался один и тот же способ удостоверения своей личности.

Падение сословного строя старой Франции обнажило от исторических наслоений разделение общества на два больших класса, которым позднее окончательно были присвоены названия буржуазии и народа, как то уже давно было в Англии, где, несмотря на сохранение многих аристократических форм, гораздо раньше, в сущности, все социальные различия стали сводиться к разделению общества на имущих (землевладельцы, фермеры-капиталисты, купцы, фабриканты и т. п.), и неимущих (сельский и городской пролетариат). До 1789 г. во Франции буржуазия и народ составляли

одно и то же третье сословие, у которого было много общих интересов, противоположных интересам привилегированных: *революция 1789 г. вообще имела прежде всего демократический характер в противоположность старому аристократическому строю*, т. е. имела характер ни исключительно буржуазный, ни исключительно простонародный, хотя внутри этой демократии в разные периоды и выдвигался на первый план сначала один, потом другой социальный элемент. Деятели 1789 г. шли в этом отношении под знаменем демократов Руссо и Мабли, а не под знаменем аристократа Монтескье. Вот почему, между прочим, во Франции не было учреждено верхней палаты национального собрания, подобной палате лордов английского парламента. Деятели 1789 г., относившиеся с недоверием к королевской власти, к административной централизации, к парламентам, к провинциальной самобытности, к корпорациям, не могли отнестись с доверием и к аристократическому началу, раз вся старая знать была главной противницей новых общественных идей, стремлений и преобразований. Вначале учредительное собрание колебалось между однопалатным и двухпалатным устройством законодательного корпуса: за две палаты говорили примеры английского парламента и конгресса Североамериканских Штатов, конституция которых была утверждена в 1789 г., равно как и разные политические соображения, вроде того, что необходимы противовес увлечениям единственной палаты и известная гарантия против возможности превышения его власти или что нужно иметь в виду и возможность конфликтов между законодательной и исполнительной властями, а на сей конец и понадобилась бы другая палата в качестве учреждения, которое могло бы мирно улаживать подобные столкновения. Защитниками двухпалатной системы были Лалли-Толендаль, Клермон-Тоннер, Мунье, Малюз, Дюпон де-Немур, Сизес, но на противоположной стороне были Мирабо и многие другие влиятельные деятели, доказывавшие, что это было бы нарушением народного верховенства, если собрание, представляющее народ, ограничивалось бы еще каким-то другим собранием, что народ един, а потому не должно было быть двойственности в его представительстве, что единая общая воля и не могла бы проявляться посредством разных органов, что, наконец, и Англия, Североамериканские Штаты в данном случае не указ, т. к. мало ли какие бывают где аристократические предрассудки. В сущности, одержали победу не столько теоретические соображения, сколько боязнь, какую внушала новой Франции старая аристократия: сила демократического настроения учредительного собрания выразилась в том, что однопалатная система была принята большинством почти пятисот человек против меньшинства, не доходившего и до сотни. Не в этом только отношении французская конституция оказалась демократичнее английской, но и в том, что, хоть и не допустив всеобщей подачи голосов, учредительное собрание для пользования политическими пра-

вами в качестве избирателей не установило того высокого ценза, благодаря которому в Англии лишь незначительное меньшинство населения пользовалось правом посылать депутатов в палату общин. Вот почему демократический дух Французской революции сильно встревожил правящий класс в Англии, и вот почему этот класс, боявшийся за прочность своего положения в государстве, в течение многих лет (до 1832 г.) сопротивлялся сделавшейся до очевидности необходимой парламентской реформе. Мы уже знаем, что ценз, введенный учредительным собранием для так называемых активных граждан, был вовсе не так велик, чтобы конституцию 1791 г. нельзя было назвать демократической. В собрании была небольшая группа депутатов, которая желала установить ценз, равный 60 франкам прямых налогов, но против этого было громадное большинство, в состав которого входили Мирабо и Робеспьер, и дело ограничилось принятием ценза в 3—6 франков, т. е. ценза, столь незначительного, что в число активных граждан в 1791 г. попало более четырех миллионов лиц: примем в расчет, что в эпоху конституционного режима Реставрации (1814—1830) и Июльской монархии (1830—1848) число избирателей благодаря высокому цензу было менее ста тысяч (в эпоху Реставрации) и не доходило до четверти миллиона (в эпоху Июльской монархии), хотя население Франции к этому времени возросло почти в полтора раза. Правда, в 1791 г. число пассивных граждан, т. е. таких, которые не пользовались правом избрания, было тоже весьма большое (около двух миллионов), но исключение наиболее бедных граждан из пользования политическими правами объясняется тогдашними политическими теориями (необеспеченные не могут быть надежными гражданами в смысле независимости голосов) или физиократической концепцией общества (только одни поземельные собственники суть истинные граждане). Деление граждан на активных и пассивных сделалось сразу непопулярным, и против него стали раздаваться протесты, в которых неимущие вооружались против меры, лишавшей их главного политического права, тем более что, как говорилось в некоторых брошюрах, именно бедные особенно нуждаются в представительстве для защиты своих интересов. Нельзя, впрочем, отрицать и того, что в рассмотрении всего этого вопроса не выражалось опасение, как бы неимущие, будь на их стороне большинство, не экспроприировали имущих. Во всяком случае, в установлении ценза до такой степени чувствовалось противоречие с основным демократическим принципом революции, что 11 августа 1792 г. законодательное собрание, как мы увидим, уничтожило всякое различие между активными и пассивными гражданами, а якобинская конституция 1793 г., которая, впрочем, никогда не была приводима в действие, и так называемая конституция III 1795 г. удержали принцип всеобщей подачи голосов. Если в чем и видеть буржуазный принцип в конституции 1791 г., так разве только вот в чем: она устанавливала уже более высокий ценз для

того, чтобы иметь право сделаться избирателем, т. е. членом департаментского собрания, выбиравшего департаментские власти и депутатов: закон 22 декабря 1789 г. определял этот ценз только в три с небольшим раза больше (уплата прямого налога в размере десятидневной рабочей платы, т. е. от 10 до 20 франков), но в конституции 1791 г. уже требуется поземельный доход в размере от 150 до 200 дней рабочей платы, т. е. от 150 до 400 франков дохода. Впрочем, и тут по сравнению с конституциями 1814 и 1830 гг., по которым избирательное право давалось лишь прямым налогом (а не доходом) в 300 и 200 франков, был более проведен демократический принцип, причем по конституции 1791 г. в депутаты мог выбираться каждый активный гражданин, тогда как по хартиям 1814 и 1830 гг. от депутата требовалась уплата прямого налога в тысячу и в 500 франков, благодаря чему во Франции, например, при Реставрации было лишь 15 тысяч человек, подходивших под условие избираемости в депутаты. Все это указывает на то, что конституция 1791 г. отличалась, в сущности, демократическим характером и что те отступления от строго демократического принципа, которые мы в ней находим, далеко не вытекали из сколько-нибудь резкой противоположности между буржуазией и народом, хотя бы введение ценза и подавало уже тогда повод поднимать вопрос о противоположности интересов между отдельными экономическими классами.

Сословный строй старой Франции был заменен демократическим равенством в политическом (и юридическом) смысле, но это не касалось непосредственно отношений экономических, которыми определяется существование разных социальных классов и в бессословном обществе. «Старые порядки» как соединение политического абсолютизма с социальными привилегиями пали, и вот, если мы поставим вопрос, какой же общественный класс наиболее выиграл от этого переворота, то должны будем ответить, что *далеко не одна буржуазия, на долю которой пришлись самые крупные выгоды, но и та часть крестьянства, которая имела земельное обеспечение*, не касаясь, конечно, тех выгод, какие давались новыми порядками безразлично всем гражданам и не упоминая о том, что отмена крепостничества являлась величайшим благодеянием в особенности для тех крестьян (около 1,5 миллиона), которые были ему подчинены, и что вообще уничтожение феодального режима было одним из главных приобретений всего сельского населения Франции. Указанный режим, рухнувший во время ночного заседания 4 августа 1789 г., тяжелым бременем лежал не только на личности крестьянина, но и на *непривилегированной (крестьянской и буржуазной) собственности, которая теперь и освобождалась от своего рода крепостной зависимости, в какой она находилась у духовенства и дворянства*¹. Декрет 4 ав-

¹ Для дальнейшего см. главу VIII моей книги о крестьянах во Франции в XVIII в. (Карев в Н.И. Крестьяне и крестьянский вопрос во Франции в последней четверти XVIII века. М.: Тип. М.Н. Лаврова и Ко и А.И. Мамонтова, 1879. — Прим. ред.).

густа уничтожал безвозмездно лишь те сеньориальные права, которые имели происхождение в крепостничестве, объявлял, что все остальные будут подлежать выкупу. Этот общий принцип предстояло применить к отдельным категориям и видам феодальных прав, и это-то вызвало образование особого феодального комитета, который должен был заняться подробной разработкой соответственного законодательства. Привилегированные члены собрания и землевладельцы старались решить все возникавшие в этой области вопросы в наиболее благоприятном для себя смысле. Интересы собственности нашли защитников среди членов собрания. 4 августа решено было покончить и с церковной десятиной, но весь вопрос заключается в том, должны ли будут земельные собственники освободиться от нее посредством выкупа или же она будет уничтожена безвозмездно, а те средства, какие она давала на содержание клира, будут приняты на счет государственного казначейства. Первый способ был, несомненно, наиболее выгодным для землевладельцев, освобождая их от тяжелого налога, но он был менее выгоден для всей нации, включая и таких плательщиков налогов, у которых не было никакой собственности, ибо то, что духовенство имело от десятины, приходилось теперь возмещать из средств всей нации. Так дело и было решено, причем от безвозмездного уничтожения десятины выиграли одинаково все землевладельцы светского звания без различия сословий — дворяне, буржуа, крестьяне, а средства на содержание духовенства должны были давать все. Это был один из вопросов, перед решением которых остановились англичане в эпоху первой своей революции, когда и в Англии ставился подобный же вопрос об освобождении собственников от налога, который, однако, не был отменен ввиду признанной за государством обязанности содержать клир. Уничтожая безвозмездно десятину, учредительное собрание дарило землевладельцам около 125 миллионов франков в год, которые на содержание духовенства должны были быть взяты из других источников, т. е. со всего уже населения. После этого рента собственника увеличилась, и землевладельцы подняли арендную плату, т. к. десятину платил обыкновенно фермер. Наиболее выдающимися членами феодального комитета были Мерлен, знающий и способный человек, но неустойчивый в своих мнениях, и Тронше, слишком гнувшийся в сторону владельцев феодальных прав. Брошюрная пресса, в коей участвовал и Бонсерф, весьма подробно рассматривала общие и частные вопросы, возникавшие в этой области, и, между прочим, высказывалась такая мысль: пусть король безвозмездно освободит своих непосредственных вассалов с условием, чтобы они безвозмездно же освободили своих вассалов и т. д. до последнего цензитария, ибо нет другого способа уничтожить эту старую несправедливость. Феодальный комитет не разделял такой точки зрения, но если Мерлен стремился дать первенство соображениям формального права, т. е. делал логические выводы из принятых принципов, невзирая на то,

кому будут полезны или вредны эти выводы, то Тронше открыто заявлял, что ему были более дороги интересы сеньоров. Формальная точка зрения превращала все феоды и цензивы в аллоды, как того требовал еще д'Аржансон¹, а сеньоров и цензитариев — в простых кредиторов и должников, но Тронше находил нужным отступать от нее, например, не требуя у «кредитора» документа на его право или устанавливая, что не каждый «должник» в отдельности должен выкупаться, а все цензитарии одного и того же сеньора коллективно. Кроме того, многие права сомнительного характера из подлежащих отмене безвозмездно были переведены в категорию выкупаемых. *Декреты 15 марта и 3 мая 1790 г. устанавливали очень тяжелые условия для выкупа сеньориальных прав:* во-первых, очень много было таких прав отчислено к подлежащим только выкупу; во-вторых, от сеньора не требовалось документа на пользование известным правом, но цензитарий как раз лишь документально приглашался доказывать, что он не должен был платить; в-третьих, до окончательного выкупа все повинности должны были продолжать существовать на прежних основаниях; в-четвертых, во многих случаях один цензитарий без своих товарищей не мог выкупить своего участка, да и самый выкуп объявлялся лишь факультативный; в-пятых, все повинности должны были выкупаться разом и т. п. При таких условиях выкуп делался совершенно невозможным, а тут еще конституанта декретом 30 мая, 1, 6 и 7 июня 1791 г. признала одну форму феодального держания (*le domaine congéable*) не за цензивную собственность, подлежащую выкупу, а за простую аренду, на которую у держателя нет никаких прав. Не этого ожидали крестьяне, да и сеньоры часто не хотели подчиняться новым декретам. *Вообще феодальное законодательство конституанты было очень неудачно*, причина чего лежала, между прочим, в недостаточности теоретической разработки этого вопроса, которая могла бы служить подготовкой для практического разрешения такой важной задачи, как освобождение земли от феодального режима. Решения 4 августа встретили оппозицию со стороны короля и привилегированных, хотя последние и выигрывали от уничтожения десятины. Отношения между дворянами и крестьянами были самые обостренные в течение всего этого времени, с лета 1789 г., что немало способствовало продолжению народных волнений, хотя в очень многих местах крестьяне и не выходили из прежней покорности. В большинстве случаев крестьяне, ожидавшие от учредительного собрания гораздо более, чем получили в силу декретов 15 мая и 3 марта 1790 г., отказывались платить всякие феодальные повинности, захватывали сеньориальную собственность, рубили леса, истребляли дичь, а потом по-своему толковали декреты, переделывая в то же время свои *cahiers* в более радикальном смысле, отправляя в национальное собрание петиции,

¹ Мысль д'Аржансона приведена выше, с. 224 и далее.

жалобы, протесты и т. п. В общем, указанные декреты произвели таким образом дурное впечатление на сельскую массу, движение в которой не улеглось, а, напротив, усилилось после появления декретов. Муниципальные власти не только не в состоянии были поддерживать порядок, но нередко сами (поневоле иногда) становились во главе возмущившихся приходов, терроризировавших всякого, кто не подчинялся их требованиям. Когда учредительное собрание уступило свое место (по конституции 1791 г.) собранию законодательному, в последнее посыпались крестьянские петиции, заключавшие в себе уже прямые угрозы. Составители этих просьб указывали на то, что дворяне, которым хотели «угодить» декретами 15 марта и 3 мая, находятся в эмиграции и угрожают отечеству войной и что представителями третьего сословия были большей частью горожане, потому и позабывшие крестьян, что сами не страдают от феодальных прав. Народное недовольство обратило на себя внимание общества и в 1790—1792 гг. вышло несколько брошюр в защиту прав и интересов крестьянской массы. Таким образом, *учредительное собрание оставляло следующим собраниям задачу пересмотра феодального законодательства*. Чтобы не возвращаться более к этому вопросу, укажем теперь же на судьбу его в законодательном собрании и Конвенте. Первое назначило свой новый феодальный комитет, признав, что конституанта не исполнила данного ею обещания помочь освобождению почвы от феодального гнета, и комитет этот в апреле 1792 г. внес в собрание проект декрета, которым безвозмездно уничтожались феодальные пошлыны, разрешался индивидуальный выкуп, а сеньоры обязывались доказывать существование своих прав на отдельные повинности; вслед затем сделано было и еще несколько облегчительных предложений, хотя старый принцип различения между двумя категориями прав и был оставлен в силе с перенесением, впрочем, наиболее сомнительных случаев в категории прав, отменяемых безвозмездно. Своими декретами 18 июня и 25 августа 1792 г. законодательное собрание объявило всякую собственность вольной и свободной от каких бы то ни было феодальных и цензуальных прав, если лица, имеющие на них какие-либо притязания, не докажут противного, чем бесповоротно уничтожалось одно из главных и основных правил французского социального феодализма: «*nulle terre sans seigneur*»¹. Конвент пошел еще далее: изданный им 17 июля 1793 г. декрет уничтожал без вознаграждения даже то, что должно было выкупаться по закону 25 августа 1792 г., и повелевал под страхом пятилетнего тюремного заключения всем владельцам феодальных документов передать их муниципальным властям для сожжения. *Так кончил свое существование во Франции социальный феодализм, и Французская революция благодаря тому радикализму, какой она проявила в решении этого вопроса в эпоху легислативы и Конвента, открывает но-*

¹ «Нет земли без сеньора» (фр.). — Прим. ред.

вую эпоху в истории крестьянского вопроса, которому суждено было на западе Европы стать опять на очередь в первой половине XIX в. и на этот раз для окончательной ликвидации крепостничества и феодализма. На решения легислативы и Конвента, кроме народного недовольства и теоретической разработки вопроса в более радикальном духе, сильное влияние оказало и то обстоятельство, что выкупную сумму должны были бы получить с населения дворяне, находившиеся в громадном количестве в эмиграции, заявлявшие свою ненависть к революции и ожидавшие от победы образовавшейся против Франции коалиции восстановления на родине прежних порядков.

Крестьянский вопрос не решался, конечно, одним *освобождением почвы от феодальных повинностей, приносившим выгоду, кроме землевладельцев из буржуазии, и мелким собственникам из крестьян*. Правда, декреты 25 августа 1792 г. и 17 июля 1793 г. весьма много содействовали успокоению сельского населения и превратили ту часть крестьянства, которая была обеспечена землей, в самых надежных защитников новых порядков, поскольку последние заключались в полной отмене феодальных повинностей, но в сельском населении Франции были еще неимущее, нуждавшиеся главным образом как раз в земельном обеспечении. Вопрос о последнем вообще не играл большой роли в публицистике XVIII в., а физиократы (и агрономы) были даже сторонниками крупной, фермерской обработки земли при помощи наемных рабочих. И в учредительном собрании не заходило речи о земельном обеспечении неимущих, хотя та распродажа национальных имуществ, о которой еще будет идти у нас речь, представляла хороший случай помощи безземельной массе, если бы было организовано приобретение его поступавших в продажу участков. Вообще этот вопрос выдвинулся лишь в XIX в., когда и вопрос об освобождении крестьян от крепостной зависимости (без земли или с землей) стал решаться в более благоприятном для земледельческого сословия смысле.

Как бы там ни было, сравнивая законодательство революции в области феодальных отношений и крестьянского быта с аналогичными мерами некоторых правительств в эпоху «просвещенного абсолютизма», мы видим, что социальная реформа 1789-го и следующих годов была полнее и шла гораздо глубже. С другой стороны, революция (подобно религиозной Реформации XVI в. в протестантских странах) *наносила удар по социальному могуществу католического духовенства*, превращая его из особого сословия (*orde* или *etat*) в простой класс служителей религии, отнимая у него земли и десятину, чтобы заменить такую форму его материального обеспечения жалованием от государства, делая его, наконец, более зависимым от правительства, причем в некоторых отношениях учредительное собрание в церковном вопросе шло и по стопам таких монархических деятелей XVIII в., как Иосиф II или Помбаль.

Мы уже знаем, что низшее духовенство оказало большие услуги национальному делу в начале революции, но высшее духовенство, которое состояло большей частью из дворян и пользовалось разного рода привилегиями, упорно держалось за старый порядок. Приходские священники между 13 и 20 июня 1789 г. первыми присоединились к третьему сословию, превратившему генеральные штаты в национальное собрание, а в заседании 4 августа отказались от платы за требы. Низшее духовенство поддержало и дальнейшие шаги учредительного собрания, *пока последнее не оттолкнуло его от себя, вмешавшись во внутренние распоряжки самой церкви*. Уже 6 августа 1789 г. было сделано в национальном собрании заявление (Бюзо), что церковное имущество принадлежит нации, а 8-го предложено было одним членом объявить их гарантией государственных займов; взамен же этого Мирабо предложил нации самой оплачивать жалованьем (*salarier*) «своих наставников морали» (*ses officers de morale et destruction*). Через четыре дня после этого (12 августа) была отменена десятина. Зимой 1789 г. реформа внешнего положения церкви была окончательно завершена: декрет 2 ноября отдавал церковные имущества в распоряжение нации, дабы они служили гарантией для «ассигнатов», т. е. новых бумажных денег (*assignats*), определив вместе с тем духовенству жалованье, а декрет 19 декабря назначил в продажу церковных имуществ на 400 миллионов. Все эти меры не задевали интересов низшего духовенства, и значительная часть приходских священников все еще поддерживала национальное собрание. Разрушая корпоративное устройство клира, секуляризируя церковную собственность, уничтожая десятину, принимая на счет государства содержание служителей алтаря, учредительное собрание действительно вводило во Франции те порядки, которые создавались в протестантских странах Реформацией XVI в.: во всех этих отношениях уже в первый год революции устанавливалось то внешнее положение католической церкви во Франции, которое сохранилось и доселе, как сохранилось и демократическое равенство граждан перед законом.

Учредительное собрание задумало, кроме того, реформировать и внутреннее устройство церкви и в еще большей степени, чем стремился к тому Иосиф II. Перед национальным собранием было три пути — войти в соглашение с папой о внутренних реформах, которые были необходимы в церкви или поручить совершение преобразований национальной церковной власти, т. е. собору епископов, или, опираясь на идею, по которой государство могло «приказывать» религии, произвести реформу собственной властью, как это делал и Иосиф II. Первый путь был закрыт, ибо папа враждебно относился к революции; о благоприятном решении национального собора и думать было нечего, поскольку епископы были сами привилегированные, *идея же суверенной нации заключала в себе и*

право нации или государства на вмешательство во внутренние дела церкви. Мысль не была новой: так производились церковные реформы XVI в. народом и республиканскими властями швейцарских кантонов и немецких имперских городов, государственными чинами и парламентами (шотландским и английским), наконец, самими королями, и во всех этих случаях действовал один и тот же принцип, который в Германии был сформулирован как «*cujus regio, ejus religio*»¹. Национальное собрание пошло по стопам республиканских и монархических правительств XVI в., которые в свое время находили поддержку в народном стремлении к религиозной реформе, чего в данном случае во Франции не было. *Национальное собрание властью государства реформировало французскую церковь и потребовало от клира и от народа повиновения реформе*, исходившей не от церковной власти, — от клира и народа, которые оставались верными старой церковной власти, хотя это требование противоречило самим же национальным собранием провозглашенному принципу религиозной свободы, которой, впрочем, весьма последовательно со своей точки зрения не хотели знать и протестантские правительства XVI в. Но в такое же противоречие стал в XVIII в. и Иосиф II: оно вообще не было случайностью. От вмешательства во внутренние дела церкви был один шаг до уничтожения свободы совести: на этот довольно скользкий путь ступило национальное собрание своим «Гражданским уложением о духовенстве» (*constitution civile du clerge*), после чего оставалось только, чтобы Конвент установил свою гражданскую религию, которую многие были не прочь силой навязать католическому большинству населения. «*Гражданское уложение о духовенстве*» было и *большой политической ошибкой*: оно оттолкнуло от революции большинство низшего духовенства, внесло религиозную смуту в народ, заставило национальное собрание вооружиться репрессивными мерами против людей, отстаивавших права своей совести, и создало одно из самых сильных, как мы видели, препятствий к тому, чтобы Людовик XVI, строгий католик, мог примириться с переворотом; вот в чем заключался этот новый закон, отменявший (12 июля 1790 г.) болонский конкордат Франциска I и Льва X после двухсот семидесяти четырех лет его существования. Церковные границы Франции должны были совпадать с государственными, в силу чего отменялась власть некоторых иноземных епископов над пограничными французскими приходами; далее епархии должны были совпадать с департаментами, и тем самым число епископств уменьшалось до 83, вместо прежних 134 (116 епископств и 18 архиепископств), исторические названия кафедр заменялись новыми, и, кроме того, уничтожалось право архиепископств именоваться этим титулом в отличие от епископств. Перераспределялись равным образом и

¹ «Чья власть, того и религия» (лат.). — Прим. ред.

приходы. Уничтожались все церковные титулы, кроме епископа и даятеля (*cure*), а прежние капитулы и каноники превращались в епископский совет и в епископских викариев. Должности епископов и приходских священников были выборными, а выбирали одних департаментские собрания, коим принадлежало право выбирать депутатов, судей и департаментскую администрацию, других же — избиратели, назначавшие членов административных собраний дистриктов. Таким образом, духовные лица избирались совершенно так же, как и чиновники, причем закон ничего не говорил относительно вероисповедания избирателей, т. е. в числе последних могли участвовать и не католики, т. е. протестанты, евреи, деисты и даже атеисты: собрание отвергло предложение аббата Грегуара, чтобы избирателями духовных лиц могли быть только католики. Утверждение епископов папой отменялось, и новый епископ должен был лишь известить папу «как видимого главу вселенской церкви во свидетельство единства веры и общения, которое епископ должен поддерживать с папой». В случае отказа епископом в каноническом водворении (*installation*) священнику последний мог жаловаться светской власти, самих же епископов утверждали старшие из них. По вступлении в должность каждое духовное лицо обязано было присягой в присутствии муниципальных властей с обещанием хорошо исполнять пастырские обязанности, быть верными нации, закону и королю и поддерживать по мере сил своих конституцию. Присяга о повиновении папе уничтожалась. Мы знаем, что Людовик XVI счел себя вынужденным дать санкцию этому закону, но папа и курия воспротивились новому уложению, хотя и склонялись к тому, чтобы оно ради религиозного мира было только согласовано с каноническими правилами. Не так думали французские епископы, протестовавшие против уложения без оговорок, увлекшие за собой множество низшего духовенства и не ставшие обращать никакого внимания на новые церковные порядки. Национальное собрание еще более обострило положение, потребовав от «служителей религии» или «общественных чиновников» (*fonctionnaires publics*) духовного звания специальной присяги «Гражданскому уложению о духовенстве» (декрет 27 ноября 1790 г.) под угрозой отставки, в случае же нарушения присяги или сопротивления декрету угрожали и другими карами до потери прав активного гражданства. Новый декрет внес раскол в духовенство, разделив его на присяжное (*assermenté*), или конституционное и неприсяжное или отщепенческое (*refractaires*). Первым присягнул по утверждению декрета королем Грегуар, за ним — два епископа (Талейран и Гобель), но вообще из 300 духовных членов национального собрания присягнуло лишь около ста, в Париже из 666 духовных только 236, в остальной Франции вообще около одной трети. Сорбонна объявила уложение еретическим и схизматическим. Тем не менее началось назначение посредством выборов новых епископов,

причем парижским епископом был выбран Гобель, но папа объявил выборы противозаконными и не признал новых епископов. Это так подействовало на духовенство, что многие из самых лучших священников, бывших патриотами и демократами, сторонниками новых государственных и общественных порядков, стали отказываться от присяги или нарушать уже данную присягу. Этот раскол в духовенстве повел к смутам, во время коих присяжные и неприсяжные священники оспаривали одни у других церкви, во что вмешивались и народные толпы, и муниципальные власти. Учредительное собрание само спохватилось, что сделало ошибку, вызвав религиозные междоусобия, которые притом ничем не оправдывались вне созданного им самим раскола, и декретом 7 мая 1791 г. разрешило неприсяжным священникам служить мессы во всех церквях, посвященных национальному культу, и даже открывать частные церкви, лишив только таких духовных лиц права занимать должности епископа и кюре и поставив условием не проповедовать против новых порядков. Религиозные страсти, однако, уже настолько разгорелись, что национальное собрание было бессильно положить конец насилиям, которые одинаково позволяли себе одна над другой обе церковные партии, и таким образом революция совершенно ненужным образом превратила многих из своих прежних союзников в ожесточенных врагов. Произошло это по той причине, что *в церковном вопросе учредительное собрание стало на точку зрения государственной церкви, а не религиозной свободы*, которую оно само же нарушало, навязывая стране новое церковное устройство совершенно в духе пресвитерианизма. Церковное законодательство конститутанты дополнялось уничтожением (13 февраля 1790 г.) монашеских орденов с бесповоротными обетами и превращением их имуществ в национальную собственность.

Благодаря секуляризации церковной и монастырской собственности, образовавшей так называемые национальные имущества (*biens nationaux*), в состав которых вошли помимо нее еще домены и позднее конфискованные имения эмигрантов, в распоряжении государства была во Франции масса земель, которыми обеспечивались теперь государственные долги и новые бумажные деньги, выпущенные учредительным собранием на 1800 миллионов. Мы видели, что национальное собрание предприняло для уничтожения дефицита и уплаты долгов распродажу части национальных имуществ. Многие советовали при этом продавать землю по возможности мелкими участками для того, чтобы увеличить число собственников и уменьшить число нищих, но никому в голову не приходило организовать для этого какой-либо кредит: покупателями являлись потому большей частью люди, у которых уже и без того была земельная собственность или спекулянты, покупавшие иногда целыми компаниями очень большие поместья. Поэтому *нельзя принять сделавшееся традиционным у некоторой части французских историков утверждение, будто мелкая собственность во*

Франции ведет свое происхождение от революции и обязана им распродаже национальных имуществ. Уже Токвиль опроверг такой взгляд, указав на развитие мелкой крестьянской собственности (несвободной, т. е. цензивной или крепостного владения) в дореволюционной Франции (хотя из этого и не следует делать преувеличенного вывода о хорошей обеспеченности земель крестьянского населения во Франции XVIII в.¹. Основа современной мелкой собственности французских крестьян существовала еще до революции, и если площадь крестьянских участков после нее расширилась, то потому, что французский земледелец постепенно прикупал земли к тому, что у него было раньше. Если что и досталось ему в руки из biens nationaux², то не непосредственно и не сразу: в эпоху революции главными покупателями являлись капиталисты, спекулянты, люди «черной банды» или просто буржуа, приобретающие земли по дешевым ценам, дабы вести на них хозяйство или отдавать в аренду. Подобно тому, как в эпоху Реформации от секуляризации церковной и монастырской собственности выиграло более всего дворянство, так в эпоху революции *большая часть секуляризованных имений духовенства и конфискованных земель дворянства досталась посредством покупки буржуазии*, и в этом заключался один из главных социальных результатов революции, на который давно уже указывали историки³.

Объявление равенства всех граждан перед законом, установление равномерного обложения, отмена феодальных прав, переход части поземельной церковной и дворянской поземельной собственности в руки буржуазии — все это *создало из громадного большинства бывшего третьего сословия ревностных защитников нового общественного строя*, заменившего собой старую католико-феодальную организацию. То обстоятельство, что монархия и церковь стали на сторону прежнего строя, дало впоследствии перевес республиканскому и антикатолическому движению, а еще позднее для обеспечения гражданских приобретений революции крестьянская масса, никогда не стремившаяся к политической свободе, как таковой, и буржуазия, сильно разочаровавшаяся в этой свободе, готовы были опять

¹ См. об этом подробно в моей книге о французских крестьянах, а также ср. новую статью М.М. Ковалевского «Крестьянское хозяйство во Франции до революции» (Русское богатство, 1893).

² Национальное имущество (фр.). — Прим. ред.

³ В прошлом (1892) году софийский проф. Борис Минцес издал небольшое, но весьма солидное, написанное на основании хорошего знакомства с литературой и печатными источниками, равно как и на основании архивных данных, исследование «Die Nationalgüterveräußerung während der französischen Revolution» (ein Beitrag zur sozialökonomischen Geschichte der grossen Revolution), в котором главным образом специальные данные относятся к департаменту Сены и Уазы. Это вопрос весьма мало изолированный, в чем можно убедиться из рассмотрения автором литературы предмета. Во всяком случае выводы г. Минцеса подтверждают то, что говорится нами в тексте книги и что было сказано по тому же предмету в сочинении о французских крестьянах.

подчиниться политическому абсолютизму в форме военного деспотизма Наполеона I, подобно тому как перед тем и якобинская диктатура для многих была гарантией того, что старый общественный строй более не восстанет из гроба.

XXXVIII. Переход Франции к республике

Почему Французская революция не окончилась в 1791 г.? — Народное движение и политическая агитация. — Революционная роль якобинцев. — Выборы в законодательное собрание, его состав. — Политические партии легислативы. — Жирондисты и их политика. — Законодательное собрание и Людовик XVI. — Вопрос об эмигрантах и неприсяжных священниках. — Внешняя война. — Жирондистское министерство. — Объявление войны Австрии. — Ссора короля с жирондистским министерством. — Восстание 20 июня. — «Отечество в опасности». — Манифест герцога Брауншвейгского. — Восстание 10 августа. — Сентябрьские убийства. — Конец законодательного собрания. — Республика во Франции.

Окончив свою преобразовательную работу, учредительное собрание разошлось, но революция не кончилась в 1791 г. Общие экономические причины, на которые нам уже не раз приходилось указывать¹ как на главные в истории народных восстаний, продолжали действовать и после того, как рухнул старый порядок, создавший такие неблагоприятные условия, в каких в материальном отношении находилась почти вся масса французского населения. Общая нищета как наследие прежних отношений и безработица как следствие переживавшегося кризиса, конечно, должны были поддерживать народное брожение. Были и новые причины недовольства. Особенно вооружали против себя крестьян декреты учредительного собрания о выкупе феодальных прав, делавшие этот выкуп действительно почти невозможным. Разделение конституцией 1791 г. граждан на активных и пассивных тоже не нравилось некоторой части населения, хотя главным образом под влиянием политической агитации со стороны более радикальных партий. «Гражданское уложение о духовенстве» внесло еще новую причину смут, ибо разделение произошло не в одном духовенстве, но и в народе, и дело дошло до религиозных междоусобиц. Тревожные слухи о замыслах двора, о кознях эмигрантов, о планах иностранных держав равным образом давали пищу революционному настроению масс, бывшему, конечно, весьма благоприятной почвой для успеха демагогической агитации, какую вели политические клубы, газетная и брошюрная пресса, народные ораторы и вестовщики. Старое правительство пало, новое не успело еще, да и не могло organizоваться, ибо административная система конституанты вводила во Франции самое широкое самоуправление, которое, конечно, сразу не в состоянии было дать тех результатов, ка-

¹ Ср.: Biolley. Les prix en 1790.

кие от него ожидались, сделавшись, в сущности, орудием в руках самого беспокойного элемента местного населения и филиальных отделений якобинского клуба. Конституция 1791 г., приводить которую в исполнение пришлось людям, не принимавшим участия в ее создании, не нашла поддержки ни у короля, принявшего ее лишь поневоле, ни в новом законодательном собрании, где начинало складываться еще более республиканское направление: для Людовика XVI конституция была слишком мало монархической, для наиболее выдающихся деятелей 1792 г. она казалась, наоборот, слишком много дающей значения монарху. Столкновения между королем и законодательным собранием, начавшиеся весьма скоро по введении конституции 1791 г., в свою очередь, не обещали ничего хорошего для упрочения того, что было уже сделано. Чем более Людовик XVI противился мерам собрания, направленным против духовенства, отвергавшего гражданскую конституцию клира, и против дворянства, находившегося в эмиграции, тем все больше и больше открывалась пропасть между монархией и нацией, пропасть уже и раньше бывшая весьма значительной. Старая солидарность королевской власти с бывшими привилегированными, находившимися теперь в самой резкой оппозиции с представительством нации, влекла монархию к гибели, ибо народ ничего так не боялся, как возврата «старых порядков» с церковными десятинами и феодальными правами. Иностранные отношения, угрозы, делавшиеся Франции из-за границы, сборы других королей помочь французскому и восстановить привилегированных в их правах, еще более должны были вооружить известную часть населения против монархии, как это предсказывал еще Мирабо. Всем этим пользовались якобинцы, прекрасно организованные и дисциплинированные, научившиеся двигать народными массами в Париже и руководить революцией в провинциях, а они сознательно хотели вести революцию дальше, еще более демократизировать конституцию в смысле непосредственного народовластия, идея которого населением воспринималась в том смысле, что раз верховная власть принадлежит народу, то и каждая отдельная часть народа должна пользоваться тем же правом. На сцену выступала политическая теория Руссо, но это, как мы видели, была теория не нормального государственного бытия, а революционного состояния. Сама декларация прав, помещая в число естественных прав, стоящих выше конституции, сопротивление угнетению, тем самым давала и свою санкцию дальнейшему развитию революционного движения. Но в этом движении все более и более рядом с насилием снизу развивалось и насилие сверху, т. е. анархия шла рука об руку с деспотизмом, как это было не только в теории Руссо, но и в теории Мабли, который, разрешая в известных случаях народу сопротивляться, вместе с тем позволял и власти прибегать к «священному насилию» (*la sainte violence*), дабы при его посредстве и хотя бы против собственной воли народа приво-

доть последний к добродетели и счастью. *При таком состоянии общества и таком настроении умов нет ничего удивительного, что революция не окончилась в 1791 г.*, когда, по-видимому, реорганизация внутреннего быта Франции была приведена к благополучному окончанию.

Продолжение революции было *результатом совокупного действия народного движения и агитации политических партий*. В данном случае в истории Франции в конце XVIII в. повторилось то же самое, что было, например, в Чехии в эпоху гуситских войн или в Германии во время Крестьянской войны 1524—1525 гг. с тем лишь различием, что в XV и XVI вв. агитация заимствовала свои идеи из происходившего тогда движения религиозного, из совершавшейся тогда реформы церкви, тогда как в эпоху Французской революции народное брожение имело характер прежде всего политический, а его идеи выводились из философии XVIII в. Сам народ не был, однако, однородной массой, и различные его элементы принимали далеко не одинаковое участие в движении. Говоря об участии народа во Французской революции, мы должны, конечно, иметь дело не с отвлеченным собирательным понятием народа, а с реальными единицами, из которых он складывался. Дело в том, что словом «le peuple»¹ нередко злоупотребляла и французская литература XVIII в., в которой часто абстрактная идея заслоняла действительный предмет, обозначаемый данным словом; злоупотребляли им и деятели революции, считавшие возможным отождествлять весь народ с известными лишь его частями, и злоупотребляли, наконец, историки революции, которые соединяли идеологическое представление о народе с отождествлением частей и целого. Например, в «Истории Французской революции» Мишле мы даже имеем дело с какой-то персонификацией народа, который является главным и даже почти единственным «героем» революции, совершающим все великое, все главное и все благодетельное, что только было сделано революцией, тогда как все, чем запятнала себя революция в памяти потомства, все ненавистное, все насильственное, все кровавое было якобы лишь делом отдельных лиц и партий, вообразивших себя выше народа, но бывших, в сущности, «честолюбивыми марионетками». Мишле не хочет даже допустить существования какого-либо различия в отношении к «братскому знамени» между отдельными классами общества, между буржуазией и народом, не хочет признавать существования в эпоху революции рабочего вопроса, т. к. в то время, по его мнению, и рабочий класс совсем еще не народился. Таков народ в представлении Мишле: отсюда его патетическое отношение к этому народу как главному герою революции, с которого снимаются все обвинения в насилиях и злодеяниях, принадлежащих «честолюбивым марионеткам». С другой стороны, т. к. главные сцены революционной драмы

¹ Люди (фр.). — Прим. ред.

разыгрывались в Париже при участии парижского пролетариата (санкюлотов), то очень часто, когда в историях революции речь идет о народе, под ним разумеются главным образом низшие классы населения одного Парижа или вообще городского населения, сельское же население, менее волновавшееся по политическим мотивам, отступает как-то на задний план. Например, Луи Блан, видевший в деле учредительного собрания только одно стремление заменить духовную и дворянскую аристократию аристократаей буржуазной, привилегии рождения привилегиями богатства, под народом, противопоставляемым буржуазии, разумел преимущественно один городской пролетариат и особенно низшие классы парижского населения, как бы заступающего у него место всего народа. Как Мишле все печальное в истории революции относит на счет отдельных личностей и политических партий из интеллигенции (*les partis qui regurent leur impulsion des lettrés*), так Луи Блан приписывает все нехорошее буржуазии с ее индивидуалистическим и потому противообщественным стремлением к личной свободе в ущерб принципу братства, к которому стремился народ и во имя которого будто бы действовали якобинцы. Насколько неверно понимал историк истинный характер якобинизма, это мы еще увидим, но нельзя и у Луи Блана не отметить огульной идеализации народа в событиях революции. Народные восстания, имеющие обыкновенно в своей основе причины экономического свойства, всегда заключают в себе элемент сильного нервного возбуждения под влиянием той или другой идеи (религиозной, политической и т. п.) или какого-либо чувства, благодаря чему на первый план выступают тогда самые сильные человеческие страсти, начиная с наиболее возвышенных и благородных, заставляющих человека жертвовать имуществом, здоровьем, самой жизнью во имя свободы, во имя любви к ближнему и любви к отечеству, во имя идеи долга и кончая низменными инстинктами злобы, мщения, разрушения, грабежа и мелкого честолюбия или властолюбия. Народное движение Французской революции не было исключительно ни героическим порывом воодушевленного великой идеей народа, ни одним рядом зверств, которые будто бы совершались целой нацией, уподобляемой в известном сочинении Тэна человеку, опившемуся до белой горячки «скверной водкой общественного договора и других поддельных или горячительных напитков». Французская нация в эпоху революции не состояла, конечно, ни из одних героев, воодушевлявшихся только одними великими идеями, ни из одних разнузданных насильников, в которых действовал лишь инстинкт разрушения: в ней были, конечно, люди весьма различных категорий, и, как это всегда бывает, отклонения от человеческой нормы не-героя, но и не-злодея были в ней все-таки исключениями, хотя бы по обстоятельствам времени исключениями и более многочисленными, чем при спокойном течении жизни, да и исключения эти могли встречаться в разных классах нации, а не в том

или другом классе и более нигде. Плохое экономическое состояние и тревожные слухи поддерживали вызванное революцией нервное напряжение нации: последнее было источником и подвигов, прославивших революционные армии в борьбе с европейскими коалициями, и злодеяний, которые близорукими людьми стали ставиться в вину самим политическим принципам, но, собственно говоря, на сцене в наиболее мрачную эпоху революции *действует только меньшинство, энергично навязывающее свою волю пассивному большинству*, уже ранее приученному больше к повиновению силе, чем к самостоятельности, хотя, впрочем, и это большинство иногда выводилось из терпения и оказывало сопротивление — новая причина продолжения революционных смут. По мере того, как перевес в общем ходе событий брали самые крайние политические партии, все более и более насильственно устранялись или сами добровольно себя устраняли от участия в активной политической жизни целые общественные группы, а к ним присоединялись и те социальные элементы, которые, наконец, добивались своего, как это можно сказать о крестьянской массе, после окончательного уничтожения феодальных прав в 1792—1793 гг. Всколыхнувшееся народное море стало мало-помалу успокаиваться, а, между тем, ходом событий у власти поставлена была партия, решившаяся во что бы то ни стало осуществить свой собственный государственный идеал, — партия, хорошо дисциплинированная и организованная, умевшая действовать на народные страсти и устранять противников из нужных ей самой позиций, партия, своей энергией гарантировавшая и более умеренным элементам общества невозможность возвращения к старому порядку и вместе с тем, как увидим, обеспечивавшая победу над внешними врагами. Это были якобинцы, уже тревожившие своим задором многих членов учредительного собрания, которые, как мы уже знаем, говорили, что спокойствия в стране не будет, пока будут во все вмешиваться якобинцы.

Революционная агитация якобинцев имела мало успеха в крестьянской массе: будущие правители Франции вербовали своих сторонников преимущественно среди людей, получивших некоторое образование, без которого трудно было бы понимать отвлеченную политическую догматику партии, — в мелкой буржуазии между представителями полуинтеллигентных профессий, среди ремесленников, а также и простых рабочих. Еще в эпоху учредительного собрания якобинский клуб со своими отделениями в провинциях представлял большую силу, тем более, что хорошо организованные «народные общества» провинций принимали деятельное участие в разного рода выборах на всевозможные должности, как того требовала новая административная машина, между тем как вообще громадное большинство населения, не привыкшего к публичной жизни и даже тяготившегося слишком частыми выборами то на ту, то на другую должность, наоборот, не являлось в собрания для исполнения обязанностей активных

граждан (не являлось, например, три четверти, семь восьмых, девять десятых того числа, которое должно было бы присутствовать на собраниях). Летом 1791 г. вышли из клуба более умеренные его элементы, и это произошло как раз в то время, когда подходило время общих выборов в законодательное собрание, которому предстояло сменить конституанту. В эпоху общей дезорганизации якобинцы были хорошо организованы, и для их стремления к вмешательству во все проявления общественной жизни, к преобладанию над всеми другими партиями, к господству над массой открылось теперь широкое поле деятельности. Правда, они составляли меньшинство в общем числе избирателей, каких-нибудь 300 (много 400) тысяч на шесть с лишним миллионов активных граждан, но на их стороне, как за полтора века перед тем на стороне индипендентов в Англии, были фанатическая вера, громадное честолюбие, страшная энергия и сильная организация. Децентрализация, созданная конституцией 1791 г., совсем лишала правительство возможности руководить выборами в законодательное собрание, а, между тем, при непривычке населения к свободному пользованию своими правами, выборами на местах и притом не всегда при помощи одних законных средств овладело меньшинство, не останавливавшееся перед запугиванием и насилиями, оно же, меньшинство это, играло более или менее везде роль орудия парижского «Общества друзей конституции», а в нем самом все более и более брало перевес то мнение, что можно пускать в ход и насилие, когда целью его делается превращение французской нации в добродетельный, свободный и счастливый народ.

Не нужно забывать, что выборы в законодательное собрание летом 1791 г. происходили под влиянием еще таких событий, как бегство короля, республиканская манифестация на Марсовом поле, пыльный манифест, прокламация эмигрантов об иностранной помощи: все это представляло почву, особенно благоприятную для якобинской агитации, и партия получила в законодательном собрании целую треть мест (около 250 из 745), и в первые же недели в клуб записалось около 140 новых депутатов. Вместе с тем важные муниципальные должности Парижа были заняты людьми, также не считавшими революцию оконченной, Петионом (мэр), Манюэлем (*procureur-syndic*), Дантоном (его товарищ), Робеспьером (*accusateur public*) и др. Состав нового собрания был вообще своеобразный: в нем преобладали адвокаты (400 членов), было несколько (около 20) конституционных духовных, небольшое количество поэтов и литераторов, большей частью люди молодые, имевшие менее 30 лет от роду, — человек 60 было в собрании двадцати пяти лет, получивших политическое воспитание в клубах или на всевозможных выборных должностях, учрежденных менее чем за два года перед тем, как сами они сделались «законодателями» (*législateurs*, официальный термин). Деловой характер, какой приняли под конец заседания конституанты, после того, как она отдала

свою дань академическому обсуждению отвлеченных вопросов, снова сменился философскими рассуждениями, риторической фразеологией, полутеатральными представлениями, — доказательство малой опытности в делах новых представителей народа.

В легислативе образовалось три политические партии. «Правую» составляли конституционные монархисты, называвшиеся фейльянами по одноименному клубу или файетистами, т. е. сторонниками Лафайета, вскоре получившего командование над северной армией: они разделяли политические идеи членов конституанты Барнава, Дюпора и Ламета, более всего хлопотавших летом и осенью об утверждении во Франции конституционной монархии. «Левая» делилась на жирондистов (*girondins*) и монтаньяров (или горцев). Между этими двумя партиями было сильное соперничество, между прочим, из-за преобладания в якобинском клубе и в Парижской коммуне. Партия жирондистов получила название от департамента Жиронды, из которого происходили ее главы — Верньо, Гюаде, Жансонне, бордосские адвокаты, к которым нужно присоединить еще Инара (*Isnard*), а также уже известных нам Бриссо и Кондорсе. Монтаньяры, получившие свое название от верхних скамей, на которых они сидели (гора, *la montagne*), считали наиболее выдающимися своими деятелями Мерлена (*de Thionville*), Базира, Шабо (капуцина), Кутона, но самые выдающиеся члены этой партии были вне собрания, а именно Робеспьер, бывший член учредительного собрания, мало-помалу ставший главой якобинского клуба, Дантон и Камилл Демулен, игравшие первую роль в клубе кордельеров, Сантер, имевший большое влияние на рабочее население сент-антуанского предместья, наконец, Марат, неистовавший в своем «Друге народа» против всех, кого только мог так или иначе подвести под кличку «аристократа». Правая сторона состояла из сотни членов, но к ним примыкало еще около полтораста членов центра, бывших членами клуба фейльянов (всего около 260 депутатов), из членов левой лишь около 140 было записано в якобинском клубе, но с ними всегда вотиловало около сотни других депутатов. Наконец, было еще около 250 членов «независимых», считавших себя не принадлежащими ни к какой партии, но, в сущности, совершенно несамостоятельных, легко подчинявшихся влиянию левой стороны. Самую влиятельную группу последней составляли жирондисты, большей частью молодые адвокаты и литераторы, прежде всего убежденные теоретики, пламенные ораторы, самоуверенные политики, свысока относившиеся к учредительному собранию, считавшие себя единственными способными во Франции государственными людьми и единственными настоящими патриотами в духе героев Плутарха, но в действительности недостаточно дальновидные, оказавшиеся притом мало способными к партийной дисциплине и не обнаружившие организаторского таланта, наконец, не всегда последовательные и решительные. Сна-

чала они думали пользоваться демагогами крайней левой (т. е. Мерленом, Базиром, Шабо, Кутоном и др.) и деятелями как клубов (Робеспьером и Дантом), так и революционной прессы как орудием для достижения своих целей, не подозревая, что в этих орудиях они готовили опасных для себя соперников, которые проявят больше дисциплины и организаторских способностей, больше последовательности и решительности и возьмут перевес над ними самими. Составляя меньшинство собрания, левая искала поддержки в клубах и в народной толпе, которая, например, разгоняет клуб фейльянов, шумно поддерживает якобинцев в собрании из галерей, отведенных для публики, совершает нападения на их противников и на улицах: парижскому народу постоянно сообщается к сведению, каких членов собрания он должен считать своими врагами, каких — друзьями. «Независимые» все более и более подчинялись якобинскому влиянию или переставали показываться в собрании¹.

Между законодательным собранием и Людовиком XVI отношения стали натянутыми с самого начала. Иначе и быть не могло, ибо из того, что одно национальное собрание сменилось другим, не вытекало никаких перемен в общем положении дел. При дворе отнеслись даже с насмешкой и презрением к церемониям, которыми сопровождалось открытие легислативы, и король как бы нарочно заставил долго ждать своего прихода депутацию, которая была к нему прислана, чтобы известить его об открытии собрания. После этого, по требованию, между прочим, Кутона, легислатива в отместку за такую невежливость декретировало лишить короля титулов «государь» (sire) и «величество» (majeste) и заменить королевский трон таким же креслом, какое было у председателя собрания, поставив еще это кресло по левую руку от председательского, но на другой день депутаты одумались, и когда Людовик XVI лично явился в собрание, прием ему был оказан хороший, его приветствовали криками: «vive le roi!» Хотя среди представителей нации и господствовало еще монархическое настроение, однако, эпизод этот не обещал ничего хорошего для взаимных отношений между законодательной и исполнительной властями. Королю по конституции принадлежало отсрочивающее «veto». Людовик XVI стал им пользоваться, но т. к. он не давал согласия своего на декреты законодательного собрания, которыми оно особенно дорожило, то пользование со стороны короля его законным правом было прямо поставлено ему в вину,

¹ Хронология событий во время законодательного собрания:

1791 г. 1 октября, открытие законодательного собрания. 29 ноября, декреты против эмигрантов и неприсяжных священников.

1792 г. 14 февраля, появление красного колпака как революционного знака. 24 марта, жирондистское министерство. 20 апреля, объявление войны Австрии. 20 июня, восстание парижских предместий и нападение на Тюильри. 10 августа, падение монархии. 2 сентября и далее, так называемые сентябрьские убийства. 21 сентября, закрытие легислативы.

а двусмысленная политика двора по отношению к иностранным державам только еще более делала отношения обеих сторон весьма натянутыми. *Главными и притом открытыми противниками новых порядков были оба привилегированных сословия старой Франции* — духовенство и дворянство. Первое проявляло свою оппозицию, не желая (хотя далеко не все) подчиниться «Гражданскому уложению о духовенстве», другое продолжало эмигрировать и хлопотать о вторжении во Францию с иностранными войсками. Уже учредительное собрание, обратив внимание на неприсяжных священников и на эмигрантов, ставило вопрос о тех и других, как о врагах общественного порядка, законодательное же собрание издало строгие декреты, в которых грозило наказаниями и духовным, не желавшим принести установленной присяги, и дворянам, уезжавшим за границу. Это были боевые средства, которыми собрание считало нужным вооружиться против врагов нового порядка вещей, но от них страдали и те священники, которые находили лишь противным своей совести присягать новой церковной организации, не вмешиваясь, однако, в политику, и те эмигранты, которые спасались от усилившихся смут (между прочим, религиозных), а не для того, чтобы готовиться к вооруженному вторжению во Францию: конечно, собрание думало поразить своими декретами именно политических своих врагов, и отказ Людовика XVI, верного сына католической церкви и все еще в собственном представлении первого дворянина в королевстве, санкционировать эти декреты был, разумеется, принят не за защиту индивидуальной свободы, ими попиравшейся, а за защиту интересов тех общественных классов, которые были самыми ожесточенными врагами демократии. Отсюда та страстность, с какой ведется борьба за декреты об эмигрантах и неприсяжных духовных. В ноябре 1791 г. был издан декрет, объявлявший смертную казнь и конфискацию имущества эмигрантам, которые не вернутся на родину к 1 января 1792 г., а другим декретом назначались очень строгие кары (от лишения прав с отдачей под надзор до двухлетнего тюремного заключения) не присягнувшим священникам, которые будут оказывать неповиновение и возмущать народ. Оба декрета не получили королевской санкции. Собрание, между тем, совершенно напрасно смешивало воедино эмигрантов, большей частью действительно врагов нового государства, с неприсяжными священниками, преимущественно отстаивавшими лишь права своей совести, и тем самым толкало и клир на путь сопротивления. Эмигранты и якобинцы были вообще двумя крайними политическими противоположностями тогдашней Франции, и боязнь нации перед возвращением эмигрантов (конечно, с оружием в руках для восстановления «старого порядка») придавала особую силу якобинцам. Сопротивление клира, в свою очередь, развивало в последних ненависть к самой церкви, которая дошла в эпоху Конвента до попытки уничтожить самый католицизм во Франции. Сво-

им несогласием на декреты легислативы король при таких условиях подписывал смертный приговор монархии.

Отношения Франции к иностранцам также обострились. На угрозы, исходящие из-за границы, отвечали угрозами. Уже в конце 1791 г. вожди жирондистов говорили о необходимости войны. «Скажем Европе, — восклицал Инар в одной из своих речей, — что если кабинеты подбивают королей к войне против народов, мы призовем народы к войне против королей». «Вам нужно самим напасть на державы, которые дерзнут вам угрожать», — говорил Бриссо. Между тем Людовик XVI тайно сносился с иностранными дворами, предлагая устроить «конгресс главных держав Европы, опирающейся на вооруженную силу как лучшее средство остановить успехи бунтовщиков», «обнаруживающих намерение совершенного уничтожения остатков монархии» во Франции «и воспрепятствовать тому, чтобы зло распространилось по другим государствам Европы». Двор замыслил коалицию королей¹, а в якобинском клубе говорились речи о всесветной революции: «Франция, — говорил Инар, — испустит страшный крик, и ей ответят все народы. Земля покроется бойцами, и враги свободы будут вычеркнуты из списков людей». По вопросу о войне *впервые начался разлад между жирондистами и монтаньярами*. Первая из этих партий надеялась посредством войны консолидировать революцию, в то же время ослабив престиж королевской власти, в защиту которой ополчились за границей: иностранцы и эмигранты были врагами отечества и революции; война с ними будет популярна; они, жирондисты, начнут эту войну, сделаются господами положения, вождями победоносной революции, освободителями Европы, благодетелями человечества. Немец Анахарсис Клотц в качестве «оратора от человеческого рода» официально приглашал легислативу вести такую войну. Иначе смотрели на дело монтаньяры, сильные особенно в якобинском клубе, счастливая война усилит престиж королевской власти и создаст послушную ей армию, несчастная же низвергла бы правительство, но лишь для того, чтобы отдать Францию в руки жирондистов. Якобинцы сами были не менее рьяными сторонниками революционной пропаганды, но они желали начать ее не ранее того, как сделаются сами господами положения во Франции. Великодушные идеалисты, жирондисты, мечтают о братстве народов и отталкивают от себя мысль о диктатуре как о вещи, несовместимой со свободой, а настоящие якобинцы уже в конце 1791 г. советуют на случай войны предпринять меры, которые показались бы слишком суровыми во время мира, ибо все то, что имеет целью спасение государства, справедливо, и бывают случаи,

¹ 2 января 1792 г. Австрия и Пруссия заключили наступательный и оборонительный союз.

когда нужно накинуть покрывало на статую свободы, как выразился якобинец Геро де Сешель.

Жирондисты проповедовали всеобщее вооружение, необходимость готовить орудие, и под их влиянием Францией овладел воинственный пыл, символом которого явился красный фригийский колпак, так сказать, сменивший символ конституанты — трехцветную кокарду. С начала 1792 г. иностранная политика все более и более начала останавливать на себе внимание собрания и нации. Гоаде в страстной речи нападал на проект европейского конгресса, предлагая указать изменникам на их настоящее место и чтобы этим местом был эшафот, в измене все более и более подозревался и прямо обвинялся двор, обвинялись министры короля. «С этой трибуны, — восклицал Верньо, — я вижу дворец, где создаются ковы контрреволюции, где подготавливается интрига, которая предаст нас Австрии... Пришел день, когда вы можете положить конец такой дерзости и смутить заговорщиков. Страх и ужас исходили часто из этого дворца в старые времена во имя деспотизма: пусть же они теперь туда войдут во имя закона; пусть они проникнут в сердца его обитателей, и пусть обитатели эти знают, что конституция делает неприкосновенным только короля. Закон поразит виновных без всякого различия. Нет такой преступной головы, к которой не мог бы прикоснуться меч правосудия». Натиск жирондистов на королевских министров был так силен, что Людовик XVI был вынужден дать им отставку и призвать на их места жирондистов (24 марта 1792 г.). Таким образом, во Франции возникло нечто вроде парламентного министерства, которого тщетно добивался в свое время Мирабо и которого не полагалось по конституции 1791 г. Вместо того, однако, чтобы обратиться к вождям партии и составить вполне однородное министерство, Людовик XVI призвал в него людей менее известных, среди которых главная роль принадлежала министру юстиции Ролану, тогда как министерство иностранных дел, из-за которого главным образом и велась вся борьба, досталось Дюмуре, талантливому авантюристу, в очень еще молодых годах искавшему деятельности и отличий на полях битв, потом игравшему роль в тайной дипломатии Людовика XV, теперь явившемуся во фригийском колпаке в якобинский клуб и целовавшемуся там с Робеспьером. Министр Ролан был человеком знающим и опытным, т. к. занимал прежде должность инспектора торговли и мануфактур, обладал холодным и строгим умом, отличался большими нравственными качествами и неподкупной честностью. Его жена — одна из наиболее замечательных женщин Французской революции¹, так что недаром жирондистское министерство окрестили именем министерства г-жи Ролан: молодая, красивая, умная жена министра отличалась страстным темпераментом, энтузиазмом поли-

¹ Шлоссер. Женщины Французской революции; Michelet. Les femmes de la révolution.

тической свободы, горячей привязанностью к республиканскому идеалу античного мира и умением группировать около себя недюжинных людей своей партии. Жирондистское министерство было за войну, которая делалась тем более неизбежной, что Франц II, преемник Леопольда II, скончавшегося 1 марта 1792 г., ограниченный и фанатически настроенный государь, со своей стороны решил ускорить события. 20 апреля Людовик XVI явился в законодательное собрание и взволнованным голосом предложил ему на основании конституции объявить войну королю венгерскому и богемскому (т. е. Францу II, тогда еще не коронованному императорской короной). Только семь голосов было против предложения, и война была таким образом решена. *Так началась международная борьба, которой суждено было продолжаться с небольшими перерывами почти целую четверть века (1792–1815) и оказать громадное влияние не только на международные отношения Европы, но и на внутреннюю историю ее государств и народов.* Уже на заседании 20 апреля войне приписывался характер революционной пропаганды. «Вы, — говорил один депутат, — декретируете свободу всего мира»; «объявим войну королям и мир нациям», — говорил другой. Вопреки тому, что случилось впоследствии, манифест о войне заключал в себе «обещание не предпринимать войн с завоевательными целями и не делать посягательств на свободу других наций». Людовик XVI между тем составил протест против собственного своего предложения и послал разного рода тайные советы и указания иностранным дворам, а также и эмигрантам, которых просил, впрочем, воздержаться от участия в войне¹. Объявление войны подняло на ноги всю Францию, решившуюся защищать до последней крайности родную землю и революцию. Знаменитые волонтеры 1792 г. положили начало революционным армиям, игравшим такую видную роль в событиях эпохи². Скоро возникла и сделавшаяся славной «марсельеза» (la Marseillaise), революционный гимн, составленный Руже де Лилем (Rouget de Lisle) и впервые распевавшийся марсельскими волонтерами. Толпы преимущественно молодежи, часто потом оказывавшейся, правда, недостаточно годной для военной службы, спешили к границам. Первые действия французов, направившихся на Монс и Турнэ, были неудачны: офицеры эмигрировали или относились к революции враждебно, интендантская часть организована была плохо, солдат кормили дурно, волонте-

¹ Историю революционных войн см. главным образом в соч. Сореля. Кроме того, см. «Историю XIX века» Файфа (перев. под ред. проф. И.В. Лучицкого), которая начинается с 1792 г. См. еще: *Ranke. Ursprung und Beginn der Revolutionskriege; Hüffer. Oesterreich und Preussen gegenüber der franz. Revolution.* В дальнейшем мы будем касаться революционных войн преимущественно по их отношению к внутренней истории самой Франции, ибо влияние их (как и самой революции) на другие страны будет рассмотрено далее (в следующей книге. — *Прим. ред.*).

² *Bonnal. Les armées de la république; Boissonade. Hist. des volontaires de la Charente pendant la revolution; Chuquet. Les guerres de la Révolution.*

ры были неопытны, недисциплинированы, и первые стычки с неприятелем кончились паникой, поражением, причем один отряд даже изрубил своего генерала. В то же время двор продолжал свои тайные сношения с границей, и в обществе стали говорить о существовании в Париже, в самом дворце особого австрийского комитета, душой которого была королева. Между тем и Пруссия, связанная с Австрией договором, объявила Франции войну.

Военные неудачи сделались предметом взаимных обвинений и упреков. Лафайет ссорился с Дюмуре, Робеспьер в якобинском клубе нападал на Бриссо и на жирондистов. 23 мая жирондисты указали собранию на существование австрийского комитета, а через 6 дней собрание уничтожило «конституционную гвардию» короля как заподозренную в антиреволюционном настроении. В начале июня военный министр из жирондистов предложил от себя собранию организовать под Парижем вооруженный лагерь из 20 тысяч «федератов» (*fedérés*), и собрание приняло это предложение. Людовик XVI согласился на распускание гвардии, но продолжал платить жалованье составлявшим ее лицам, бывшим большей частью роялистами, прежними членами королевской стражи, но на созыв «федератов» он не дал своего согласия, равно как на декретированное собранием (27 мая) усиление наказаний против неприсяжных священников, продолжавших свою агитацию, именно на высылку неприсяжных из кантонов, департаментов и даже из самой страны по донесению 20 активных граждан, подтвержденному местными властями. *Между жирондистским министерством и королем отношения сделались невозможными.* Ролан, находивший поведение Людовика XVI неискренним, говорил, что король или самый честный человек в мире, или, наоборот, величайший обманщик, ибо так, как он, притворяться невозможно. Сам Людовик XVI советовался больше с посторонними лицами, чем с официальными своими советниками. Когда он отказался дать свою санкцию декретам, Ролан обратился к нему с письмом, автором которого была жена этого министра: г-жа Ролан гораздо ранее своего мужа и его товарищей поняла, что для доверия, с каким жирондистское министерство относилось сначала к Людовику XVI, не было в сущности никаких реальных оснований, да и в данную минуту эта замечательная женщина явилась вдохновительницей мужа. Письмо было составлено именно в минуту горячности, было страстно по содержанию, резко по форме. Настоящее положение Франции невыносимо и должно привести к взрыву. В этом виноват король, вступающий в союз с врагами конституции и действующий против законодательной власти. Но время поправить дело еще не ушло. «Престолу вашему, — говорилось в письме далее, — угрожают страшные бедствия, если он не будет утвержден на основах конституции и упрочен миром... Общественное мнение уже подвергает осуждению намерения вашего величества: еще отсрочка — и

опечаленный народ будет видеть в своем короле друга и сообщника заговорщиков». Людовик XVI ответил на письмо отставкой жирондистского министерства, за которой последовал и выход в отставку Дюмурье, после того как новые министры (из фейльянов) объявили собранию королевское «veto» на декреты (первая половина июня). Собрание со своей стороны заявило, что отставные министры унесли с собой его прежнее к ним доверие, и вотировало отправку письма Ролана во все 83 департамента. Между тем Лафайет, стоявший лагерем у Мобежа, прислал собранию письмо, в котором выражал удовольствие свое по поводу отставки жирондистов, обвинял во всех беспорядках якобинскую «шайку» и советовал собранию заменить господство клубов господством закона. Письмо произвело в собрании сенсацию, между прочим, своим повелительным тоном, и, например, Гюаде выражал недоумение, мог ли сподвижник Вашингтона говорить языком Кромвеля, когда тот наносил удар свободе Англии. Тогда же Лафайет написал письмо и королю, советуя ему крепко держаться за власть, делегированную ему национальной волей, и обещая ему поддержку всех настоящих (bons) французов.

Непринятием декретов, отставкой министров-«патриотов», письмом Ролана к королю, вызовом Лафайета воспользовалась партия демагогов, чтобы поднять население парижских предместий, страдавшее от нищеты, безработицы, дороговизны съестных припасов, жившее уже около трех лет в крайнем возбуждении, все это время все более и более подпадавшее влиянию революционных клубов, демагогической прессы и уличных ораторов. Жирондисты сами были не прочь пользоваться содействием демагогов, но не в смысле насилия и кровопролитий, а в смысле внушительных народных манифестаций. «Истинные патриоты, — говорит г-жа Ролан в своих мемуарах, — оставляли действовать демагогию, как шумную свору собак, и не прочь были воспользоваться ею, чтобы произвести давление на исполнительную власть». Но демонстрации пошли гораздо далее, и то оружие, которым жирондисты хотели пользоваться, обратилось впоследствии против самих же жирондистов.

Два народных восстания, произошедших в Париже 20 июня и 10 августа, низвергли монархию. Якобинцы успели внушить парижскому населению, что оно представляет собой всю Францию, что оно-то и есть прежде всего «народ», *populus*, и парижане поверили, что народная толпа на улицах столь же суверенна, как и вся нация на своих собраниях. У инсургентов 20 июня явились и вожди уже из их собственной среды, каковы пивовар Сантерр, мясник Лежандр, Фурнье Американец, бывший человеком без определенных занятий. Толпа в несколько тысяч совершила вторжение во дворец, ее вожди добрались до Людовика XVI, заставили его пить прямо из бутылки за здоровье нации и надеть красный колпак, но не могли заставить утвердить декреты. Петион, мэр Парижа, явившийся на ме-

сто происшествия, успокоил народ, но многие, расходясь, говорили, что раз ничего не было получено, нужно было бы вернуться еще раз. Легислатива выразила сожаление по поводу всего случившегося. Кроме того, ей подана была петиция с 20 тысячами подписей, протестовавшая против беспорядка 20 июня. Приехал в Париж и Лафайет, чтобы потребовать у собрания наказания якобинцев и предложить свои услуги королю, но уехал, ничего не достигнув, в главную квартиру своей армии. В собрании Гюаде поставил на вид, что не дело армии вмешиваться в политику, а Мария-Антуанетта говорила, что она скорее готова погибнуть, чем пользоваться услугами такого человека, как Лафайет. Между тем возбуждение в городе росло: говорили о внутренней измене, о заговорах, о внешних опасностях; в Париж съехались из провинций «федераты», большей частью находившиеся под влиянием якобинцев, и еще более усилили брожение. Законодательное собрание не избежало общей судьбы тех, кого только касалось это возбуждение: оно само находилось в весьма тревожном состоянии. В собрании даже заговорили о том, что нужно было бы принять меры на тот случай, если бы опасность стала грозить со стороны исполнительной власти. По этому случаю Верньо сказал одну из наиболее красноречивых своих речей на ту тему, что все это во имя короля, и французские принцы сделали попытку поднять всю Европу, и заключен был пильницкий договор, и начал войну с Францией король венгерский и богемский, и Пруссия направляется к ее границам, и в этой речи он указывал на то, как король, пользуясь всеми средствами, которые ему давала конституция, стремится низвергнуть эту самую конституцию, напоминал, далее, что по конституции король считается лишенным престола, раз он формальным актом не противится предприятию, совершаемому против нации, и спрашивал, был ли Людовик XVI на высоте своей задачи ввиду нападения Австрии и Пруссии; если бы, однако, король стал указывать на то, что он не нарушал конституции, дающей ему такие-то и такие-то права, французы имели бы право ему сказать, — и тут Верньо как бы от имени Франции обратился к самому королю с такими, например, словами: «О король, верящий по примеру тирана Лизандра, что истина не дороже лжи, и что можно взрослых людей забавлять клятвами, как забавляют детей игрушками... не думаешь ли ты, что и теперь можешь обмануть нас лицемерными уверениями?... Человек, которого не могло тронуть великодушие французов, которому доступна только жажда власти, не должен пожать плодов своего клятвopепреступления. Ты уже ничто в глазах конституции, так недостойно попранной тобой, ничто для народа, так низко тобою преданного». В заключение Верньо предложил объявить «отечество в опасности», что влекло за собой непрерывность заседания всех выборных властей и призыв под оружие всех, способных его носить. Речь эта была произнесена 3 июля, а 11-го числа состоялось в собрании провозглашение «отечества в опасно-

сти». Под впечатлением этого события была отпразднована третья годовщина взятия Бастилии (14 июля), а 22 июля состоялось объявление об опасности отечества Парижу с пушечными выстрелами, военными парадом, церемониальными шествиями муниципальных властей, читавших декрет, который был составлен в звучных и красивых фразах, и на парижских площадях были поставлены столы для записи волонтеров. На защиту революции и в конце июля приходили еще в Париж «федераты», в честь которых устраивались публичные празднества. Происходили, кроме того, частые народные сходки, на которых обсуждалось трудное положение государства. Вожди жирондистов и якобинцев, между тем, держались выжидательного образа действий, во главе готовившегося движения стояли большей частью совсем неизвестные люди. В горячий материал упала еще искра: такой искрой был манифест герцога Брауншвейгского, главнокомандующего союзной австро-прусской армией, написанный кем-либо из эмигрантов и, как думали, на основании сведений, сообщенных из Тюильри, манифест, заключавший угрозы наказания мятежным подданным Людовика XVI, угрозы казней, военных экзекуций, сожжения и срытия домов, разрушения Парижа и т. п. В конце июля этот манифест, тон которого привел придворных в восхищение, был напечатан в газетах, и немедленно волнение усилилось, приняв прямо республиканский характер, и из столицы распространилось в провинции. В начале августа Петион уже подал собранию петицию от 47 из 48 секций, на которые был разделен Париж, о низложении Людовика XVI. Уверениям короля в преданности конституции, когда он сам сообщил собранию о манифесте герцога Брауншвейгского, не придали ни малейшего значения. 10 августа последовал взрыв. Его предвидели, и с обеих сторон шли приготовления. Восстание началось еще ночью, когда главные вожаки июньского движения овладели ратушей и организовали из себя новую парижскую общину (коммуну); при этом был убит начальник национальной гвардии (Мандат). Защита Тюильрийского дворца была ненадежная: национальная гвардия кричала или «Да здравствует нация!» или «Долой тирана!» и лишь наемные швейцарцы, тайно введенные во двор, оказались хорошей стражей, но их было сравнительно мало. С восьми часов утра началась осада дворца, который наконец и был взят приступом. Король с семьей должен был искать убежища в национальном собрании, где Верньо обещал ему безопасность. В ложе, помещавшейся за председательским креслом, Людовик XVI был свидетелем того, как решался вопрос о монархии: по предложению Верньо, собрание декретировало приостановку (*suspension*) исполнительной власти, как это раз уже было после бегства короля в июне 1791 г., решение же о самом королевском сани должно было принадлежать чрезвычайному собранию — национальному Конвенту (*convention nationale*), выборы в который должны были совершаться всеми гражданами, достигшими совершеннолетия

(21 года) без разделения на активных и пассивных. После этого Людовик XVI с семьей стал жить пленником в цитадели Тампль, когда-то принадлежавшей храмовникам. Организовано было новое министерство из жирондистов, в котором место министра юстиции досталось главарию кордельерского клуба Дантону. Лафайет, уже раньше помышлявший о военном перевороте в пользу конституционной монархии и даже чуть было не попавший под суд¹, протестовал против событий 10 августа, но ничего не мог сделать и перебрался за границу, чтобы уехать в Голландию или Америку, но попал в руки австрийцев, засадивших его в тюрьму.

Выборы в Конвент должны были произойти 26 августа (первичные) и 2 сентября (департаментские). До окончания своих заседаний законодательному собранию пришлось бороться с Парижской коммуной, занявшей ратушу в ночь на 10 августа и стремившейся захватить в свои руки власть над Парижем, над всей Францией, и к неизвестным лицам, считавшим себя вправе извлечь для себя все выгоды из победы над монархией, присоединились Робеспьер и Марат. По предложению своего министра юстиции Дантона, собрание учредило чрезвычайный суд для наказания сообщников двора. Против эмигрантов и неприсяжных священников изданы были новые декреты. Возбуждение столицы росло все более и более: в самом Париже подозревали существование роялистических заговоров; из провинции приходили известия о роялистических восстаниях; пруссаки завладели одной крепостью (Longwy) вследствие измены коменданта. Дантон счел нужным напугать роялистов (*il faut faire peur aux royalistes*), предписав повальные домовые обыски в Париже с целью захвата спрятанного оружия и ареста «подозрительных». Между тем неприятель обложил Верден. Ролан, снова ставший министром, предлагал перенести собрание и правительство за Луару, в Тур или Блуа, но Дантон был против этого. По его предложению, собрание, между прочим, декретировало смертную казнь всякому, кто отказался бы служить лично или выдать свое оружие или же стал бы противиться и мешать мероприятиям исполнительной власти. Для спасения отечества Дантон прежде всего требовал смелости (*il nous faut de l'audace, toujours de l'audace, et la France est sauvée*). Он не только не остановил избиения арестованных, ожидавших в тюрьмах суда над собой за защиту монархии и за измену отечеству (часто мнимую), но даже взял на себя часть ответственности, падавшей на тех, кто задумал и привел в исполнение это ужасное дело. Еще 26 августа национальное собрание во имя общечеловеческого братства дало право французского гражданства знаменитым иностранцам, оказавшим услуги делу свободы (в числе их были Вашингтон, филантропы Вильберфорс и Кларксон, проповедовав-

¹ 8 августа законодательное собрание 406 голосами против 224 решило вопрос о передаче Лафайета суду отрицательно.

шие уничтожение рабства негров, Шиллер, педагог Песталоцци, английский ученый Пристли, юрист Бентам, Анахарсис Клотц), а через несколько дней Марат, давно уже проповедовавший убийство в своей газете, теперь попавший в парижский общинный совет и потом даже в члены Конвента, и его единомышленники организовали избиение всех арестованных в тюрьмах Парижа, Версаля и других городов, продолжавшееся несколько дней в начале сентября: в провинциальные города об этом послано даже было циркулярное повеление, напечатанное в типографии Марата. Убийства эти получили название сентябрьских, а их участники — сентябристов (*septembriseurs*). Бриссо просил Дантона спасти хотя бы невинных, но министр юстиции заявил, что между избиваемыми нет ни одного, который был бы невинен. Тем не менее Дантон спас жизнь своих политических противников Дюпора и Ламета, а Манюэль (*procurateur syndic*) — своего смертельного врага Бомарше. Впоследствии все отрекались от этого злого дела или выражали по его поводу негодование или сожаление, не исключая и самого Марата.

Вот при каких обстоятельствах возникла во Франции первая республика, а между тем и дела на границе шли дурно для французов: Верден был принужден сдаться пруссакам. Для защиты отечества, однако, политические деятели революции оставили свои ссоры, и Дюмурье, которого считали наиболее способным генералом и жирондисты, и якобинцы, и Дантон, все одинаково его не любившие, был отправлен командовать войском на границе ввиду наступавшего врага. 20 сентября он при Вальми отбил атаку пруссаков с герцогом Брауншвейгским и самим прусским королем во главе. Вечером на бивуаке Гете, сопровождавший армию, сказал окружающим: «На этом месте и в этот день началась новая эра во всемирной истории, и вы все можете потом говорить, что присутствовали при ее рождении». На другой день после этой битвы в Париже собрался национальный Конвент, первым делом которого было провозгласить республику.

XXXIX. Жирондисты и якобинцы¹

Периоды в истории первой республики. — Вопрос о революционной диктатуре и о свободной республике. — Республика без республиканцев. — Республика и война. — Жирондисты и якобинцы перед судом историков. — Главные черты якобинизма. — Якобинское «народничество». — Союзники якобинцев «санкюлоты». — Чем жирондисты отличались от якобинцев? — Их достоинства и недостатки. — Жирондистский проект конституции.

Первая французская республика, сменившая собой конституционную монархию, которую думало создать учредительное собрание, просуществовала двенадцать лет (1792—1804), но, в сущности, если вычесть из них так называемое консульство генерала Бонапарта, впоследствии императора французов Наполеона I, бывшее лишь замаскированной монархией (1799—1804), то на республику придется только семь лет. Далее из этих семи лет приходится только четыре года, составляющих вторую половину этого периода (1795—1799), когда Франция управлялась в силу настоящей конституции: первые три года были временем диктатуры, вызывавшейся внешними и внутренними осложнениями политической жизни страны. Хотя уже в октябре 1792 г. был назначен комитет, долженствовавший выработать для Франции республиканскую конституцию, а в июне 1793 г. была принята и самая конституция, проектированная якобинцами, тем не менее введение ее было отсрочено до восстановления мира, и особым декретом на все это время устанавливалась власть временного правительства, которое само дало себе название «революционного» и установило свою организацию в декабре того же 1793 г. Таким образом, первые три года французской республики *могут быть названы временем революционной диктатуры, действовавшей во имя общественного спасения (salut public), которое было, в сущности, другим выражением принципа государственной необходимости (raison d'état)*, т. е. одного из самых основных принципов прежнего абсолютизма. Индивидуальная свобода должна была склонить-

¹ По истории жирондистов и якобинцев, равно как Конвента и террора, см. сочинения Ламартина, Вателя Жирардо Добана, Минович, М.М. Ковалевского (по истории жирондистов) и Динкейзена, Тэна, Олара и др. (по истории якобинцев). Кроме того, см.: *Barante. Hist. de la convention nationale* (устарело); *Mortimer-Ternaux. Histoire de la terreur*; *Adolf Schmidt. Tableaux de la révolution française. Recueil des actes du comité du salut public etc.* (под ред. Олара); *Vallon. 1) Histoire du tribunal révolutionnaire de Paris. 2) La révolution du 31 mai et le fédéralisme de ou la France vaincue par la commune de Paris. 3) La terreur. 4) Représentants du peuple en mission et la justice révolutionnaire dans les départements en l'an II*; *Eugene Despois. Le vandalisme révolutionnaire* (снятие с Конвента упрека в вандализме); *Julius Eckart. Figuren und Ansichten der Pariser Schreckenszeit* (1792 bis 1794). Кроме того, более частные монографии Fayard, Rabaud, Guillois, E. Carrette et A. Sanson, Fr. Mège, указанный, между прочим, в статье о новейших трудах по истории Французской революции (Истор. обозр. I).

ся перед режимом, исходившим из правила «*salus populi — suprema lex*»¹. Сначала шла еще борьба за власть между двумя крупными фракциями той партии, которая после 10 августа очутилась у власти, между жирондистами и якобинцами, но уже весной 1793 г. якобинцы одолели своих противников и стали господами положения, выдвинув на первое место своего главу Робеспьера. По своим политическим принципам, заимствованным из «Общественного договора» Руссо, по своему чисто сектантскому фанатизму, заставлявшему их видеть свою миссию в насильственном проведении в жизнь этих принципов, по своей организации, делавшей из парижского клуба центральное правительство для целых сотен подобных учреждений в провинциях, по своим приемам, заключавшимся в отдаче беспрекословных приказаний, в угрозах, застрашиваниях, принуждении силой, по своему неограниченному, наконец, влиянию на часть народа, в которой поддерживалась анархия как одно из политических средств, якобинцы были людьми наиболее пригодными к той роли революционных диктаторов, какую приходилось принять на себя правителям Франции при тогдашних трудных обстоятельствах. Жирондисты оказались к такой роли неспособными: у них не было ни той последовательности и прямолинейности во взглядах, ни той неразборчивости в выборе средств, ни той практичности, ни той партийной дисциплины, ни того, наконец, организаторского таланта, которые помогли якобинцам вырвать из их рук революционную диктатуру. Мы увидим, что жирондисты сами задумали суд над Людовиком XVI; и первые же потом хлопотали о том, чтобы его спасти; мы увидим, что известная нравственная щепетильность, известная брезгливость мешали им идти заодно с Дантоном, сделавшимся их союзником после 10 августа и бывшим единственным человеком, который мог организовать жирондистское правление; мы увидим, какой непрактичный проект республиканской конституции выработали жирондисты, да и отсутствие партийной дисциплины весьма часто вредило партии, которой и не удалось организовать ничего прочного. Впрочем, жирондисты и сами не гнались так за диктатурой, как якобинцы. Если последние, крайние государственники по своим принципам и, в сущности, деспоты по своим приемам, менее всего способны были основать свободную республику, то республика, которую стремились организовать жирондисты, более дорожившие индивидуальной свободой и менее склонные к действию одним путем власти, должна была бы быть государством свободным, чего, однако, достигнуть и не сумели, и не смогли.

Во Франции формально установилась республика, но *этим не было еще решено, чем будет эта республика, революционной ли диктатурой именно или же организацией политической свободы*. Все сложилось в пользу диктатуры —

¹ «Благо народа — высший закон» (лат.). — Прим. ред.

и внешняя опасность, и внутренние смуты с антиреволюционным характером, и политическая неспособность жирондистов, и средства, которыми располагала партия, стремившаяся к диктатуре. Но и помимо всего этого Франция, еще за какие-нибудь три-четыре года перед тем жившая под одним из наиболее абсолютных правительств, *скорее была способна принять извне диктатуру одной партии, сумевшей сделать свое правление необходимым, чем создать из самой себя свободное правление.* Республика была без республиканцев, т. е. громадное большинство нации совсем не было республиканским. Монархию низверг, в сущности, парижский пролетариат и немногие «федераты» из провинций и самый способ, каким это было сделано, напугал одних, деморализировал других: Франция, привыкшая повиноваться всему, что исходило из центра, пассивно подчинилась и этому перевороту. Громадное большинство нации еще в 1790 г. устранилось от политической жизни, что можно видеть из того, какое значительное число граждан — три четверти, пять шестых, девять десятых — не являлось на выборы, и это так продолжалось до конца революции. В нации не было ни одного общественного класса, который мог бы принять на себя бремя республиканского правления. Духовенство находилось в открытой ссоре с республикой, которая решилась под влиянием этой ссоры декретировать даже отмену самого христианства. Та часть дворянства, которая не эмигрировала, была настроена роялистически и ненавидела революцию вообще, а в частности республику, окончательно отменившую без выкупа феодальные права. Да и вообще республика, конечно, могла бы рассчитывать на поддержку лишь тех общественных классов, которые выиграли от революции. Этими классами были преимущественно буржуазия и крестьянство, хотя последнее далеко не все, но сельское население вообще мало интересовалось политическими вопросами и еще менее их понимало, а потому без малейшего воспитания в привычках политической свободы готово было поддерживать всякое сильное правительство и вполне ему подчиняться, лишь бы оно обеспечило невозможность возврата «старого порядка»; если же в буржуазии было больше политического развития, то и она в массе ставила интересы выше принципов: не привыкшая к самоуправлению, без традиций политической свободы, она так же, как и крестьянская масса, дорожила социальными приобретениями революции и боялась при этом не только роялистов, стремившихся к реставрации «старого порядка», но и городского пролетариата, при помощи которого якобинцы овладели властью. Буржуазия подчинялась якобинской диктатуре, гарантировавшей для нее невозможность реставрации старых отношений, так же, как охотно приняла потом и диктатуру военную, охранявшую этот класс и от возвращения эмигрантов, и от пролетариата, ставшего в неприязненные отношения к буржуазии. Первая французская республика, как и английская за полтора столетия перед тем, *таким образом, была создана чисто временными обстоятельствами, а не вытекала из общих*

условий социальной жизни, была навязана стране энергичным меньшинством, а не являлась исполнением сознательного требования всей нации или даже сколько-нибудь значительного ее большинства или влиятельного класса. Когда во время суда над Людовиком XVI возник вопрос об отдаче решения Конвента на утверждение первичных собраний, то и жирондисты, и якобинцы были вполне убеждены, что эта мера спасла бы короля, а потому, имея на этот счет разные виды, одни хлопотали о такой апелляции к народу, другие, наоборот, ей противились. Оставался, наконец, один пролетариат, стоявший еще за республику, но он и по материальному своему положению, и по культурному уровню, и по совершенному отсутствию каких-либо политических традиций и привычек годился только для роли более или менее послушного орудия в чужих руках, а никак не для роли влиятельного и действительно правящего социального класса. Притом пролетариат мало-помалу разочаровался в республике, и когда пронеслась революционная буря, скоро впал в прежнюю политическую апатию.

Война не в одном том лишь отношении благоприятствовала более диктатуре, чем политической свободе, что требовало сосредоточения власти в одних сильных руках, в силу чего, например, якобинская диктатура Робеспьера подготовила только военную диктатуру Бонапарта. В 1789 г. общественное движение было общенациональным, но по мере того, как большинство получало удовлетворение тем своим требованиям, которые с наибольшей настоятельностью предъявлены были в наказах, оно все более и более отставало от движения, и последнее все сильнее и сильнее стало принимать окраску воззрений и стремлений якобинизма, притянувшего к себе вообще одно более энергичное и менее спокойное меньшинство. Для тех общественных элементов, которые были наиболее проникнуты революционным духом, рвались в активную борьбу и искали подвигов, война с врагами Франции, с врагами революции, с врагами республики была поприщем, открывавшим дорогу к широкой деятельности такого же революционного характера, т. к. войны республики получали значение пропаганды новых идей и введения новых порядков у соседей, низвержения, как тогда выражались, «тиранов», «аристократов» и «ханжей». Такую цель революционным войнам поставили впервые жирондисты, и якобинцы ничего не имели против того, чтобы и в свою политическую программу включить тот же принцип. Революция перестала быть внутренним делом Франции, а получила значение и в международной истории, так что внешняя политика, в свою очередь, тесно связалась с внутренними делами Франции. Перед грандиозными событиями, происходившими за границей, перед успехами французской армии, начавшей делать завоевания, перед основанием новых республик, которые сделались как бы дочерьми французской, внутренние отношения впоследствии стали отходить на задний план, а революционные армии, отправившиеся вести войну с королями и освобождают народы, начали все более и более забывать эту последнюю цель

ради стяжания славы, добычи, господства: пока на родине республика, не имевшая прочных корней в стране, не умела организоваться, вне Франции создавалась военная организация, в которой и подготовилось правительство, сменившее собой республику, подобно тому, как правительство, ее основавшее, само выработалось в недрах якобинской организации. Между падением якобинизма и воцарением милитаризма прошло около пяти лет — целый период в истории революции, когда сделана была попытка организации политической свободы в республиканской форме, чтобы избавить страну от диктатуры демагогической, имевшей еще приверженцев и после, и избежать диктатуры солдатской, грозившей уже опасностью свободе. Неудача, постигшая и эту попытку, как постигла неудача и попытку организации конституционной монархии в 1789—1792 гг., *показывает, как мало было основ для того, чтобы республиканский режим мог упрочиться во Франции конца XVIII в.* Республиканцы прошлого столетия могли иметь успех, как имели его за полтора столетия перед тем индипенденты в Англии, когда им тоже удалось достигнуть своего — основать республику, но в обоих случаях успех был только временный.

В борьбе французских политических партий, ведущих свое начало с 1789 г., на крушение монархии и установление республики в XIX в. высказывались историками весьма различные взгляды, в которых очень часто сквозит желание осудить или оправдать там, где прежде всего дело должно было бы идти о простом объяснении. И в той распре, которая возникла между обеими республиканскими партиями, историки становятся нередко исключительно на ту или на другую сторону. Тут существует великое разнообразие мнений. У Тьера, у которого правыми всегда оказываются победители, жирондисты, например, оправдываются как партия, одержавшая перевес над конституционными монархистами, но когда их самих побеждают якобинцы, сочувствие историка переходит на сторону последних: в данном случае, однако, как и везде, Тьер судит не с официальной точки зрения, а с точки зрения смягчающих обстоятельств и оказанных услуг. В эпоху Июльской монархии, т. е. в тридцатых и сороковых годах нынешнего столетия в историографии Французской революции возобновилась якобинская традиция, т. е. история революции стала освещаться с той точки зрения, что только один якобинизм (да и то лишь робеспьеровский) воплощает в себе истинный дух революции. Католический демократ Бюшез, который вместе с Ру издал сорокатымную «Парламентарную историю Французской революции», напал на учредительное собрание, якобы пожертвовавшее идеей долга идеей права, т. к., по его мнению, у революции и у христианства одна формула: равенство посредством братства¹. Оба эти писателя отождествили с католицизмом и догмат народовластия, поскольку

¹ Наоборот, Мишле противопоставляет христианство и революцию.

ку последний предписывает повиновение каждого всем и устанавливает закон равенства, и объявили, что верховенство народа есть, в сущности, только верховенство цели (*souveraineté du but*) общей деятельности, образующее нацию, а потому и верховенство тех, которые сознают эту цель. Братству как принципу якобинизма Бюшез и Ру противопоставили как нечто вредное индивидуализм, под которым они понимают свободу: Французская революция вне якобинского периода была произведением этого индивидуализма в интересах опять-таки индивидуализма, делом буржуазии в буржуазных же интересах, противных принципу братства и народа. Ту же самую точку зрения проводит и Луи Блан в своей большой «Истории Французской революции»: и он якобинцам, представителям народной идеи братства, противопоставляет жирондистов с их буржуазным принципом индивидуализма, только христианский оттенок, какой идее равенства придают Бюшез и Ру, у Луи Блана получает характер социалистический. Историк, бывший, как известно, сам одним из видных социалистов сороковых годов, приписал якобинцам, партии прежде всего политической, проникнутой, главным образом, идеей всепоглощающего и всеуравняющего государства, значение социальных реформаторов, для которых на первом плане стоял будто бы вопрос экономический, действительно доминирующий в социальном движении XIX в., но едва нарождавшийся в прошлом столетии. Идеализация якобинизма у Луи Блана основана не только на одностороннем отождествлении с этим направлением всего, что для него было симпатично в революции, но и на сообщении якобинизму такой основной черты, которой у него вовсе не было. От Луи Блана такой взгляд на якобинизм без достаточной критической проверки его оснований приняли историки других направлений, начавшие, например, колоть глаза политическим поклонникам якобинизма его мнимым социализмом или заимствовать аргументы против социализма из истории якобинизма, будто бы бывшего применением на практике социалистических теорий. Конечно, в таком сложном явлении, как Французская революция с ее партиями и с ее публицистикой, мы найдем зародыши социалистических учений XIX в.¹, как найдем их в сектах реформационной эпохи, у чешских гуситов, у немецких анабаптистов, у английских индпендентов в XV, XVI и XVII вв. Было бы, однако, столь же ошибочно приписывать всем якобинцам вообще и наиболее ярким их представителям в частности социа-

¹ *Villegardelle*. Histoire des idées sociales avant la révolution française; *Sudre*. Hist. du Communisme; *Thonissen*. Le socialisme depuis l'antiquité; *Dühring*. Kritische Geschichte der National-Oeconomie und des Socialismus; *Paul Janet*. Les origines du socialisme contemporain; *Щеглов*. История социальных систем. Особенно см.: *Lorenz Stein*. Geschichte der sozialen Bewegung in Frankreich; *Le Faure*. Le socialisme pendant la révolution française; *Eugen Jager*. Die französische Revolution und die sociale Bewegung; *Limanowski*. History a ruchu społecznego w. XVIII stuleciu; *Ковалевский М.* Общественные доктрины прошлого века (Северн. вестн. 1893).

листические стремления, как ошибочно, например, отождествлять с политическими уравнилителями (левеллерами) первой английской революции тогдашних коммунистов или анархистов. Якобинизм, казавшийся Луи Блану каким-то историческим просветом в царство грядущего братства, что, конечно, плохо мирится с якобинским террором, у других историков получил скорее характер возведения в революционную систему старой государственной тирании с ее презрением к индивидууму, презрением к свободе. Так взглянул на дело Кинэ, особенное внимание обратил на эту черту революции, как раз и усилившуюся в якобинский период, т. е. на недостаток уважения к индивидуальной свободе, на преклонение перед силой, на своего рода культ всемогущества центральной власти. Токвиль вообще указал на то, как много унаследовала революция от абсолютной монархии по части воззрений и правительственных приемов. Абсолютистский характер якобинизма признается и новейшими историками Французской революции, Тэном и Сорелем. Первый противопоставляет показной конституции 1793 г., сочиненной якобинцами, их действительную политику, в которой они были лишь учениками и последователями старой монархии, сравнивает их деспотизм с деспотизмом Филиппа II, Людовика XIV, Петра Великого, Фридриха II. Подобные же сравнения мы находим и у Сореля. Действительно, в истории государственной идеи Нового времени рядом с такими государственниками, как Ришелье и Гоббс или как представители «просвещенного абсолютизма», мы должны поставить якобинцев и вдохновлявшего их Руссо с его неограниченным суверенитетом государства, конечно, безотносительно к тому, была ли видимым выражением этой государственной идеи абсолютная монархия или республиканская диктатура.

Якобинцы были не партией только, они были сектой, отдельные члены которой являются как бы вылитыми в одну форму, с одними и теми же идеями в голове, одними и теми же словами на устах, с одними и теми же манерами, с общим всем им фанатизмом, с каким именно они относятся к своему политическому догмату, стоящему выше разума и не допускающему никаких сделок с противоположными или отличными от него началами мысли и жизни. В «единой и нераздельной республике» якобинцев *воплощалась для них высшая их идея — идея государства, родственная античному пониманию гражданской общины, пониманию его у Ришелье и у всех практических государственников эпохи абсолютизма, пониманию его, наконец, у Гоббса и у Руссо*, из которых последний был, как известно, главным якобинским авторитетом. Себя одних они считали прежде всего «патриотами»; всех остальных признавали или врагами «патриотизма», например, «аристократов» и «философов», т. е. всех, сколько-нибудь выдающихся над общим уровнем и сторонников индивидуальной свободы (жирондистов) или не доросшими до настоящего «патриотизма», каковы

были для них санкюлоты¹, т. е. их союзники, пролетариат. Кто не был с ними, тот попадал в разряд «подозрительных» (suspects) и прямо в смысле измены отечеству, а видов этой измены в ходячем уголовном кодексе якобинцев было много: «федерализм», составлявший покушение на единство и нераздельность республики, «инцивизм» (incivisme) — один из признаков дурного гражданина или «модерантизм», т. е. недостаточно ревностное отношение к революции, и т. п. Якобинцы видели в государстве великую силу, которая должна подчинить себе все проявления человеческого бытия, воспитывать гражданина для своих целей, требовать от него полного повиновения, опекать во всем отдельную личность и целое общество, устанавливая в частной и социальной жизни все, начиная с мелочей поведения и кончая религией, которая тоже должна была быть гражданской. Якобинцы не только сами стремились воплотить в себе известный тип «гражданина и патриота», но считали себя призванными по этому образцу переделать всех французов. Нежелание подчиниться общему режиму во имя государства и было признаком «инцивизма», отказа от исполнения первого условия общественного договора, заключающегося в полном отчуждении своих прав в пользу всех: такого человека нужно было принудить к «цивизму». Считая необходимой диктатуру для спасения отечества от внешних врагов, якобинцы видели в той же диктатуре средство всех французов сделать настоящими, «гражданами» и «патриотами». Конституция, составленная ими, не была приведена в исполнение: предлогом была война, настоящим мотивом — намерение сначала создать граждан, достойных конституции и способных ею пользоваться. «Святое насилие», которым, по мнению Мабли, можно было содействовать водворению добродетели и счастья народа, было главным средством, употреблявшимся якобинцами: они возвели террор в систему. Молодой друг Робеспьера, энтузиаст якобинизма Сен-Жюст² оставил после себя отрывки сочинения³, в котором идеалом выставляется нечто в роде спартанского устройства общества с полным отсутствием личной жизни или же в роде государства Платона, как известно, возведшего на ступень идеи древнюю гражданскую общину с полным исчезновением в ней личности гражданина. Луи Блан, сводящий все принципы общественной жизни к общим категориям власти (autorité), индивидуализма и братства и отождествляющий якобинизм с принципом братства, скорее должен был бы признать в этом направлении одно из наиболее резких проявлений принципа власти. Во имя государственной идеи, перед которой все одинаково ничтожны, и требо-

¹ Высшие классы французского общества носили штаны (culottes) до колен, тогда как простой народ — длинные штаны (pantolons). Поэтому переводить *sanculottes* словами «безштаннные» или «голоштанники» неосновательно.

² *Fleury*. Saint-Just.

³ *Fragments sur les institutions républicaines*.

валось ими равенство: всепоглощающее государство должно было быть и государством всеуравняющим. Другими словами, равенство было в их системе не столько постулатом личности, сознающей свое право на равенство с другими, сколько постулатом государства, перед которым все должны быть одинаково бесправны. Все, что не хотело опуститься до этого общего уровня, вызывало со стороны якобинцев косые по отношению к себе взгляды, и в число «аристократов» как врагов равенства попадали люди, никогда не бывшие аристократами, например, буржуазия и интеллигенция. Когда революционный суд приговорил к казни знаменитого химика Лавуазье и тот просил отсрочки для окончания одного научного исследования, председатель суда Коффингаль объявил, что «республика не нуждается в ученых». Другое дело — санкюлоты: они повторяли якобинскую фразеологию, приходили в движение по первому знаку вождя партии, составляли ее опору и никак уже не могли навлечь на себя подозрения в тех антигосударственных грехах, которыми были заражены более зажиточные и образованные люди. *На этом главным образом и был основан политический союз якобинцев и санкюлотов:* источником якобинского «народничества» было не столько живое чувство сострадания к народу с сознанием долга прийти к нему на помощь, сколько отвлеченная идея демократического государства, соединенная со стремлением сделать из народа орудие для достижения этого политического идеала. Якобинцы были учениками Руссо, у него же демократия опиралась на отвлеченную идею суверенного народа, а не на принцип общей пользы, т. е. «пользы наибольшего числа людей», который проповедовался в XVIII в. Гельвецием, потом дал плодотворные результаты в политической философии Бентама и вообще всегда лежал в основе всех требований действительного социального улучшения. Как бы там ни было, *между якобинизмом и пролетариатом установилась весьма тесная связь*, и как это обстоятельство, так и некоторые частные мероприятия в пользу нуждающихся и бедных (или — для противников социализма — случаи произвольного распоряжения частной собственностью, бывшие лишь одним из видов общей произвольности якобинских действий), а, наконец, и то, что у отдельных личностей возникали коммунистические планы, — все это и служило своего рода основаниями для того, чтобы говорить о якобинцах как о предшественниках социализма. Нельзя только отрицать, что революционный дух эпохи, крайне демократическая доктрина якобинцев, страшная нужда городского пролетариата действительно способствовали зарождению во время революции социалистических и коммунистических тенденций, в которых, однако, вовсе не заключалась сущность якобинизма, хотя бы даже от той идеи, что нужно истребить все отношения, мешающие индивидууму отдать себя целиком на служение государству, и был лишь один шаг до вывода, что к числу этих отношений принадлежит, между прочим, частная собственность как пита-

ющая антигосударственный эгоизм. Различая в XIX в. политических и социальных демократов, мы не должны их смешивать и в предыдущие эпохи, а якобинцы, как, впрочем, и жирондисты, были демократами именно политическими, те же, кого можно было бы считать предшественниками социализма XIX в., играли лишь второстепенную роль между революционными деятелями девяностых годов прошлого века.

Пролетариат возлагал на самом деле очень большие надежды на якобинцев, и многие из них, конечно, считали нужным помочь народу мероприятиями, которыми были недовольны имущие классы, но только при крайнем смещении понятий возможно подводить все такие мероприятия под понятие социализма и коммунизма¹. Франция с 1792 г. переживала такие необычайные времена, находилась в таких исключительных условиях, при каких всякое правительство стало бы требовать для спасения страны чрезвычайных материальных жертв, а они, конечно, прежде всего должны были пасть на имущие классы общества; политическая теория якобинцев, по которой гражданин должен был отдавать все, что требовалось у него государством, и практические приемы их диктатуры, не церемонившейся с правами частных лиц, равным образом менее всего могли встретить сочувствие к буржуазии; необходимость прокармливать население столицы, заставлявшая еще старое правительство принимать на этот счет экстренные меры, точно так же вынуждало якобинцев издавать направленные к той же цели распоряжения, опять-таки встречавшиеся неприязненно людьми, интересы которых при этом так или иначе задевались. Вот почему буржуазия с неудовольствием переносила якобинский режим, и когда последний пал, начавшаяся в ней реакция могла бы, пожалуй, привести к реставрации монархии, если бы только возможным было примирить стремление буржуазии сохранить приобретения революции со стремлением роялистов вернуть привилегированным их прежнее положение в государстве. В 1789 г. буржуазия победила благодаря народным восстаниям, в которых видную роль играло население парижских предместий, поднимавшееся 14 июля и 5 октября 1789 г., как оно же низвергло монархию 20 июня и 10 августа 1792 г.: между обоими классами общества, связанными друг с другом целым рядом незаметных переходов, в первые годы революции существовал союз, хотя в народной массе и сильно ненавидели таких людей, как откупщики налогов,

¹ Напр., в «Лекциях по всемирной истории» М.Н. Петрова (IV, 221) говорится: «Ряд коммунистических законов, изданных с тем, чтобы задобрить чернь и с ее помощью утвердить свое владычество в Париже и в целой Франции: конфискация имущества эмигрантов, аукцион имущества сентябрьских жертв, выпуск новых ассигнатов с обязательным курсом (ассигнаты пали тогда на 60%), насильственная замена найденной при домовых обысках звонкой монеты ассигнатами, правительственная такса на хлеб и понудительный вывоз его на рынок и т. п.». Это место может служить образцом того, что нередко разумеется под якобинским «коммунизмом». В главе о законодательстве Конвента мы вернемся к вопросу, чтобы остановиться на нем подробнее.

хлебные барышники, ростовщики, крупные промышленники, привилегированные цеховые мастера и т. п., составлявшие весьма влиятельную часть буржуазии. Вообще на конец XVIII в. не следует переносить социологических понятий, выработанных социальной историей XIX в. Перед революцией еще не существовало вполне сложившегося пролетариата как общественного класса, резко и вполне сознательно противопоставившего себя буржуазии; те общественные элементы, которые стали обозначаться в эпоху революции именем «санкюлотов», мало, в сущности, походили на рабочих современной крупной промышленности, представляя скорее массу, жившую, так сказать, идеями и интересами мелкого мещанства или ничем не сплоченную толпу бедняков, перебивавшихся наемной работой, поденным трудом, нищенством, а при случае увеличивавших и контингент преступников. Бросаясь в революцию, население парижских предместий мало чем рисковало и, наоборот, многое рассчитывало выиграть, не говоря уже о том, что к движению примыкал значительный процент людей, бывших не прочь и непосредственно поживиться чужой собственностью и в то же время шедших за тем, кто обещал больше дать, каковы бы ни были его идеи. Без содействия этих социальных элементов буржуазия одна не могла бы справиться со «старым порядком» и их же содействие нужно было политическим партиям в их взаимной борьбе. Из союзников, однако, санкюлоты сделались господами положения: это случилось потому, что они почувствовали свою силу, организовались, стали смотреть на себя как на суверенный народ, соединились с якобинским клубом, сделавшимся как бы центральным правительством для всей Франции, овладели городским представительством Парижа (коммуной) и сочли себя вправе диктовать свою волю представителям всей нации. Объявление «отечества в опасности» сделало из парижского населения своего рода политическую силу, которая поставила себе задачу всеми средствами и способами спасти отечество, вывести измену, предупредить даже возможность какого бы то ни было сопротивления. Но санкюлоты хотели спасать не просто Францию, а Францию новую, такую, о какой говорилось в речах клубных ораторов, в демагогических листках, в патриотических песнях, одним словом, Францию якобинскую, в которой, однако, доминировала известная политическая идея, а не принцип экономического переустройства общества, лежащий в основе социализма¹. Обстоятельства передали фактически власть над всей Францией парижскому пролетариату, который стал ею пользоваться, конечно, и для облегчения собственного своего положения, только ухудшившегося с начала войны: главным способом к этому явилось насильственное вмешательство в экономическую жизнь посредством реквизиций, установления максимума для цен на жизненные припасы, казней над хлебными барышниками, биржевиками, по-

¹ См.: *Kautsky*. Die Klassengegensätze von 1789.

ставщиками в армию и т. п., что останавливало, в свою очередь, промышленность и торговлю, вредило интересам других классов и отражалось на самих же санкюлотах, так что им, раз уже вступившим на эту дорогу, оставалось лишь или совершенно отказаться от такой системы улучшения своего материального быта, или идти далее по тому же пути, т. е. делать революцию бесконечной и усиливать террористические меры. Таким образом, *не только политические стремления якобинцев, но и экономическая их политика, подсказывавшаяся преимущественно нуждами парижского пролетариата, превращали революцию во что-то такое, чему и конца впереди не предвиделось*, и требовали возведения террора в систему. Пока страшная энергия, какую проявляли якобинцы и их союзники в деле спасения отечества, не разбирая при этом средств, находила еще оправдание в критическом положении государства, террористическая диктатура парижских якобинцев и санкюлотов еще переносилась страной, т. е. другими политическими партиями, другими классами нации, но победы революционной армии над внешними и внутренними врагами отняли у якобинской организации ее *raison d'être*¹. Не создав ничего нового, союз якобинцев и санкюлотов содействовал лишь спасению того социального строя, который был уже создан учредительным собранием и окончательно консолидирован империей Наполеона. Якобинский деспотизм, однако, сильно дискредитировал республику в глазах значительной массы населения и, между прочим, в глазах крестьянства, по отношению к которому принимались крайне стеснительные для него и совершенно произвольные меры

Якобинцы достигли безраздельного господства лишь после того, как отделались от соперничества жирондистов, которые составили самую влиятельную группу в Конвенте, относившуюся притом с крайним отвращением к Марату и сентябрьским убийствам. Искренние и убежденные республиканцы, идеалисты и теоретики, верившие в «Contrat Social» Руссо, как пуритане верили в Библию, проникнутые великодушными и благородными чувствами, они считали себя призванными дать Франции идеальную конституцию, которая была бы лучше и английской, и американской, в которой воплотилась бы целиком демократическая идея Руссо и которая составила бы счастье народа. Эта конституция должна была установить правильный государственный порядок, положить конец анархии, убийствам, грабежам, создать настоящую политическую свободу. Жирондисты сами не отказывались раньше от содействия толпы, когда нужно было достигнуть известных политических целей, но они были против того, чтобы это было возведено в систему и продолжалось бесконечно. Люди просвещенные, с артистическими и литературными вкусами, они не могли переносить грубостей и цинического тона, бывших в ходу у демагогов

¹ Смысл существования (фр.). — Прим. ред.

вроде Марата, Эбера (Hebert) и др. авторов революционных статей, полагавших, что истинный демократизм заключается в ругательствах и неприличных выражениях. Простота революционного правительства якобинцев равным образом не соответствовала их принципам: они стояли вообще за легальные формы и потому были против произвола, на котором основывалась вся якобинская система, хотели правильных налогов, вместо произвольных конфискаций, требовали судебной процедуры с гарантиями для обвиняемых в политических преступлениях вместо чрезвычайных трибуналов, желали наказаний, а не проскрипций, указывали на необходимость свободы выборов, которой не допускали якобинцы. Жирондистам казалось также ненормальным далее, что Париж, составляющий лишь одну восемьдесят третью часть нации, присваивает себе какие-то исключительные права над страной. Жирондисты не прочь были заключить в легальные формы даже самое право сопротивления угнетению¹, на которое указывала декларация прав, предпосланная ими их проекту конституции: «в каждом свободном правлении, — сказано в 32-й ее статье, — способ сопротивления этим различным актам угнетения должен быть упорядочен (regie) законом». При обыкновенных обстоятельствах, с хорошо организованной администрацией, располагая вооруженной силой, опираясь на спокойное большинство нации, не имея против себя союза якобинцев с санкюлотами, жирондисты могли бы своими принципами осуществлять свою идею, добиваться путем убеждения, чтобы на их стороне было большинство Конвента и чтобы оно издавало законы в их духе, хотя нельзя не заметить, что и они готовы были ставить различие между республиканцами и нереспубликанцами в таких отношениях, где должна была господствовать одна легальность. В принципе они все-таки исходили из идеи народовластия, которая требовала равного права каждому гражданину, и не разделяли взгляда якобинцев, говоривших, что голос одного патриотомонтаньяра должен перевешивать сто тысяч голосов «бриссотинцев», как также называли жирондистов.

Жирондисты, как и якобинцы, не представляли собой одного какого-либо общественного класса. И те и другие были республиканцами, но во Франции не было такого класса, который давно стремился бы к республике: и те и другие представляли собой известные принципы, а не интересы, первые — демократическую республику с гарантиями индивидуальной свободы, другие — ту же демократическую республику с безусловным преобладанием государственного начала. И те и другие имели в виду счастье народа, как бы ни заблуждались относительно того, в чем оно заключается и каким путем его достигнуть; но якобинцы сумели создать себе прочное положение, вступив в союз с парижским пролетариатом, тогда как

¹ См. статью 2 «Декларации прав человека и гражданина» в конституции 1791 г.

жирондисты, в сущности, оставались почти совсем изолированными. Мы упоминали еще выше, что, будучи философами, теоретиками, ораторами, они обнаруживали необыкновенную способность к стройным идейным комбинациям, к логическим решениям теоретических задач, к блестящим ораторским импровизациям, но не были людьми жизни, людьми практики, людьми дела: они страдали от отсутствия предусмотрительности, организации и дисциплины, предоставив, например, все места в национальной гвардии и муниципалитете якобинцам в расчете на силу своих знаний и талантов, на силу своего ума и красноречия. Нравственными качествами они также превосходили якобинцев. В них, кроме того, было больше задушевности, и их трагическая судьба окружила в памяти потомства особым ореолом имена главных жирондистов и всю их партию¹.

Все недостатки жирондистов как политических деятелей и многие достоинства их ума воплотились, между прочим, в Кондорсе, авторе проекта жирондистской конституции. Ему в это время было уже около пятидесяти лет (род. в 1743 г.), и он был давно уже ученой знаменитостью как математик, сотрудник «Энциклопедии» и публицист, защищавший, например, американскую свободу. Маркиз по происхождению, он искренне увлекся демократическим движением и одним из первых стал республиканцем. В законодательном собрании он был одно время (февр. 1792 г.) президентом, в Конвенте ему поручили составить манифест для Франции и Европы об отмене королевской власти, а потом и проект конституции вместе с другими жирондистами (между прочим, Бриссо, Верньо, Жансонне и т. п.). Вскоре после того, как началось обсуждение этого проекта, жирондисты пали. Известно, что после того Кондорсе в течение восьми месяцев должен был скрываться от якобинцев и написал в это время свой знаменитый «Эскиз исторического изображения успехов человеческого ума» (1794), проникнутый горячей верой в бесконечный прогресс человечества. Наконец, когда его арестовали, он, не желая подвергнуться казни, отравился. Хотя жирондистская конституция и осталась простым проектом, она в высшей степени характерна для всей партии². У Кондорсе не было, по-видимому, ни малейшего чувства действительности: например, за два дня до 20 июня 1792 г. он говорил, что народ вполне спокоен и что «по тому, как народ относится к событиям, можно, пожалуй, подумать, что он каждый день посвящает несколько часов изучению анализа». Это качество философа-математика отразилось и на его конституционном проекте. Мы знаем, что Руссо стоял не за представительную, а за непосредственную демократию, и вот за разрешение задачи ввести этот принцип в

¹ *Biré*. La légende des girondins.

² В сборниках конституций, действовавших во Франции, она обыкновенно не помещается. Ее можно найти у *Bouchez et Roux*. Декларация прав состоит из 33 статей и заключает массу гарантий личности.

республиканскую конституцию Франции и взялся Кондорсе (как потом взялись за него и якобинцы). Исполнительная власть вручалась семи министрам, выбираемым на два года непосредственно всем народом в первичных собраниях, которые на один год должны были выбирать непосредственно же и законодательный корпус. Первичным собраниям, кроме этих и других выборов, было предоставлено принимать и отвергать проекты конституции или конституционные изменения, отвечать на вопросы законодательного корпуса относительно желания всех граждан, предлагать разные вопросы на обсуждение законодательному корпусу. Законы делились на законы в собственном смысле и на декреты. Каждому гражданину предоставлялось предлагать новые законы или изменения в старых, раз он находил пятьдесят человек в своем первичном собрании, которые подписывали его предложения; принятый большинством голосов проект поступал бы на рассмотрение всех первичных собраний того же округа, потом всех первичных собраний всего департамента, наконец, в законодательный корпус (каждый раз в случае принятия большинством). Если бы законодательный корпус отверг такой проект, то должен был бы отправить его на рассмотрение первичных собраний всей Франции и т. д. Той же процедуре стали бы подвергаться и конституционные изменения, для которых законодательный корпус обязан был бы собирать, не расходясь сам, особый национальный Конвент. Если бы предложение, отвергнутое законодательным корпусом, было принято затем большинством голосов во всех первичных собраниях Франции, должно было бы совершиться обновление законодательного корпуса без права переизбрания тех его членов, которые вотировали против предложения. Только декреты не подлежали такой «цензуре народа над актами национального представительства». Конституция выходила похожей на математическое построение, но если бы она была приведена в исполнение, французскому народу почти ничего не оставалось бы делать как законодательствовать, ибо стоило бы кому-нибудь задумать какую-либо перемену в законах, конституция дала бы ему право потребовать созыва первичного собрания, и стоило бы в нем согласиться на проект пятидесяти гражданам, оно должно было бы собраться вторично, и дело могло бы затем при благополучном шествии поступить на рассмотрение всех граждан Франции и даже кончиться не только заменой членов законодательного корпуса новыми, но и созывом национального Конвента для изменения самой конституции. Между тем во Франции громадное большинство граждан уклонялось от присутствия на собраниях. Мы увидим, что якобинцы в конституции 1793 г. гораздо практичнее разрешили вопрос о сочетании представительного начала и непосредственного народовластия.

XL. Борьба партий в Конвенте и террор¹

Общий взгляд на эпоху террора. — Марат, Дантон и Робеспьер. — Партии Конвента. — Провозглашение республики 21 сентября 1792 г. — Начало борьбы партий и вопрос о суде над королем. — Внешние отношения и Вандея. — Революционный суд и комитет общественного спасения. — Дантон и жирондисты. — Падение жирондистов и восстания в провинциях. — Конституция 1793 г. — Усиление террора. — Отмена христианства. — Единовластие и падение Робеспьера.

Абсолютная монархия во Франции в 1789 г. уступила место монархии конституционной, которая в свою очередь сменилась в 1792 г. республикой, точно так же не удержавшейся. Одновременно с абсолютизмом пала и старая католико-феодалная организация общества, уступившая место бессословному гражданству: конституционная монархия должна была быть в то же время демократической. Но в новом бессословном гражданстве, выработанном всей предыдущей историей Франции и сбросившем с себя в 1789 г. обветшалую клерикально-аристократическую оболочку, существовали разные общественные классы, различавшиеся между собой по своему экономическому значению, по степени образования, по политическим стремлениям. Сместив прежний привилегированный класс, состоявший из духовенства и дворянства, представителей старого католико-феодалного строя, революция поставила на первое место буржуазию, которая не только освободилась от первенства привилегированных, но и обогатилась на их счет покупкой конфискованных у духовенства и дворянства земель. Если бы во Франции могла утвердиться конституционная монархия, она силой вещей должна была бы сделаться организацией социального господства буржуазии. События привели Францию к республике, которой вовсе не желало громадное большинство французского народа, в том числе и буржуазия, но которая сделалась необходимостью. Победа досталась в руки республиканской партии, разделившейся на две части: одна стояла за свободную республику, а последняя при тогдашнем

¹ Хронология событий из эпохи Конвента:

1792 г. Сентября 21, провозглашение республики. Октября 21, присоединение Савойи. Ноября 6, победа при Жеманне.

1793 г. Января 21, казнь Людовика XVI. Март, коалиция и Вандея. Марта 10, учреждение революционного суда. Апреля 6, комитет общественного спасения. Мая 31, народное восстание. Июля 2, падение жирондистов. Июля 24, принятие конституции 1793 г. Октября 31, казнь жирондистов.

1794 г. Марта 25, казнь эбертистов. Апреля 5, казнь Дантона. Июня 8, праздник Верховного Существа. Июля 27, падение Робеспьера.

социальном состоянии Франции не могла бы быть чем-либо иным, как организацией господства буржуазии (что не только имело место после падения террористов, но имеет место и в современной нам Франции, несмотря на ее политический демократизм), другая же партия стояла за диктатуру и, найдя опору в революционном пролетариате Парижа, захватила власть и сделала таким образом попытку заменить господство буржуазии господством пролетариата. Попытка эта имела временный успех, но только при помощи террора: направив его сначала против представителей «старого порядка» и конституционалистов как врагов республики, якобинцы прибегли к нему же и против жирондистов, хотя последние были также республиканцы, а затем среди самих террористов произошло то же самое, т. е. одна фракция террористов стала истреблять другие, пока, наконец, сама не сделалась жертвой коалиции истребляемых; с другой стороны, главные выгоды от террористической системы, поскольку она направлялась не на политические партии, а на известный общественный класс, должны были достаться тому именно классу, который всегда шел рука об руку с якобинцами и был в их глазах народом *par excellence*¹, но эта правительственная система только разоряла население страны, в том числе и крестьянскую массу, и вооружала его против республики, ничуть в то же время не упрочивая благосостояние пролетариата, т. к. главные причины его бедствий зависели от общих экономических условий. Вот та основная точка зрения, с которой мы рассмотрим теперь внутреннюю историю за двадцать два месяца, прошедшие с момента объявления республики (21 сентября 1792 г.) до падения террористов (27 июля 1794 г.). Но прежде мы познакомимся с личностями главных террористов, выступивших на сцену ранее 1792 г. и уже бывших вполне сложившимися революционными деятелями. Это Марат, Дантон и Робеспьер².

Жан-Поль Марат родом из Невшательского княжества (род. 1744 г.), одно время преподаватель французского языка в Эдинбурге, где он в 1774 г. издал на английском революционную брошюру под названием «Цепи раб-

¹ Главным образом, по преимуществу (*лат.*). — *Прим. ред.*

² Марат, Дантон и Робеспьер были предметом не только обстоятельных изображений в разных историях Французской революции, но даже отдельных, посвященных каждому из них монографий, нередко, написанных большей частью в тоне панегириков. *Chevremont*. Jean-Paul Marat; *Piazzoli*. Marat, l'amico del popolo e la rivoluzione; *Bougeard A.* Marat; *Robinet*. Danton homme d'état; *Hamel*. Histoire de Robespierre. Блестящие характеристики всех трех см. в третьем томе «Революции» Тэна (стр. 159–220) под заглавием «Психология якобинских вождей», а также и у Сореля. Заметим кстати, что Тэн собрал массу материалов для характеристики якобинизма вообще, которая с психологической стороны вышла у него мастерской, но и он впадает в ошибку, отождествляя якобинизм, социализм, коммунизм и т. п. См. и переведенную на русский брошюру «Социализм как правительство» Тэна. (Работа Тэна «История Французской революции» выходила на русском языке с 1906 по 1913 г. (6 частей) в переводе Н. Шемардина. *Прим. ред.*)

ства» (The chains of slavery)¹, позднее переехавший в Париж, живший здесь медицинской практикой и даже состоявший на службе у гр. д'Артуа, был, вне всякого сомнения, человеком ненормальным, психопатом. Нося на себе довольно ясные признаки физического вырождения, он еще до начала революции проявлял и некоторые душевные свойства, характеризующие вообще маньяков: это была сначала мания величия, мало-помалу осложнившаяся бредом преследования и, наконец, дошедшая до мании убийств. Отец Марата был врачом и хотел сделать из сына ученого, его мать, большая идеалистка, мечтала о том, что их сын будет «филантропом». Честолюбивым стремлениям Марата далеко не соответствовали его таланты: он начал свою карьеру неудачником, преисполненным, однако, величайшего самомнения и уверенным в том, что лишь из зависти к нему враги портят его репутацию. Первоначально он думал прославиться в области философии и науки, считая себя великим мыслителем, призванным совершить переворот в физике своими сочинениями, в которых он, например, опровергал Ньютона. В 1789 г. Марат вообразил себя не менее великим политиком и начал резко нападать в своей газете «Ami da peuple» (называвшейся сначала «Publiciste parisien») на национальное собрание, говоря, что дай ему лишь на время власть, он все устроил бы наилучшим образом и Франция при нем процветала бы. Когда против Конвента вспыхнуло вандейское восстание, Марат писал, что вот он нашел бы средство одним ударом нанести поражение вандейцам, если бы ему только взглянуть, как они дерутся. Сначала в заговоре против себя он обвинял завистливых академиков, не признающих его ученых заслуг и потому постоянно их ругал, но потом перенес свою ненависть на Неккера, этот «позор человечества», на «мошенников» Байльи и Лафайета, на все национальное собрание как на «скопище людей низких, пресмыкающихся, подлых и неспособных». Кроме журнала, он издавал и революционные брошюры (Moniteur patriote, Junius français, C'en est fait de nous), проповедовавших убийства: уже летом 1790 г. он требовал восемьсот виселиц, из которых на одной должен был бы болтаться «проклятый Рикетти»². Свои статьи он лично прочитывал на сходках народа. На него обратил внимание Дантон и взял его под свое покровительство, оказавшееся нужным, т. к. Марату пришлось долгое время скрываться от ареста, которым ему грозили за его статьи. Попытка бегства Людовика XVI вызвала Марата из его убежища в каких-то подвалах, где он все время продолжал писать свои статьи, но когда — уже в законодательном собрании — Гюаде поднял вопрос о его преследовании, он опять нашел тайный приют у кордельеров. 10 августа снова вызвало его на сцену: попав в городской совет, а потом в Кон-

¹ Франц. перевод издан в 1792 г.

² Т. е. Мирабо.

вент, он возбуждал народ к сентябрьским убийствам и принимал участие во всех террористических мерах, давно уже сделавшись отчаянным врагом жирондистов: в сентябре 1792 г. он требовал сорок тысяч голов, а в конце того же года эта цифра возросла у него почти до трехсот тысяч. Его безумие как бы все шло, пока рука Шарлотты Корде (13 июля 1793 г.) не прекратила его жизни как тирана, погубившего жирондистов.

Совсем другого покроя, чем Марат, был Жорж-Жак Дантон, которому едва исполнилось тридцать лет в том году, когда вспыхнула революция (род. в 1759 г.). Занимая в это время должность адвоката, он с самого начала примкнул к движению и сделался героем народной толпы, с которой находил нужным считаться как с важной силой сам Мирабо. Человек громадного роста, с большой головой, обладая внушительной наружностью и страшными голосовыми средствами, необыкновенно живой и энергичный в своих движениях, он уже одним своим видом производил весьма сильное впечатление, а его красноречие, страстное и беспорядочное, образное и меткое, то разнузданно-грозное, то грубо-шутливое, вполне овладевало слушателями, тем более что и содержание его речей не сводилось к общим местам и шаблонной фразеологии, а было выражением самобытной натуры, ума недюжинного, свободного от предвзятых взглядов, характера смелого до дерзости и необыкновенно стойкого. Дантон обладал вообще замечательным чувством действительности, громадным даром предвидения, искусством в выборе средств для достижения своих целей и обнаружил во время революции такие громадные политические способности, что его как государственного человека революции можно поставить только рядом с Мирабо. В юности ему, человеку низменного происхождения, приходилось немало бедствовать и кое-как перебиваться в неизвестности, но это была натура требовательная и властная, жаждавшая наслаждений и господства, стремившаяся к шуму и широкой деятельности. Это был и не Марат, не вполне обладавший своим рассудком, и не Робеспьер, живший чужими идеями, — это был человек, психически здоровый и оригинальный: ему не доставало только идеи, которой он считал бы себя призванным служить, не хватало нравственной основы деятельности, не хватало способности к постоянному и усидчивому труду. В начале революции он основал свой особый клуб, получивший название кордельерского и сделавшийся главной его опорой на первых порах его шумной революционной деятельности: это была своего рода маленькая республика, в которой он был диктатором. Уже в 1790 г. Дантон объявлял, что граждане Парижа суть естественные представители всех 83 департаментов, — мысль, выросшая в идею диктатуры парижского населения. 10 августа, несомненно им подготовленное, сделало его министром юстиции и дало ему возможность проявить весь свой организаторский талант на самой широкой сцене. Сентябрьские убийства он считал недурным средством «напугать

роялистов», но у него не было ни мании убийства, которой был одержим кровожадный Марат, ни того бесстрастно-холодного требования новых и новых казней, к какому был способен Робеспьер: ему были доступны чувства жалости, сострадания и он спасал отдельные личности. Отвергнутый жирондистами, в союзе с которыми он хотел организовать диктатуру Конвента против своеволия якобинского клуба, опиравшегося на санкюлотов, Дантон сблизился потом сам с якобинцами, хотя и предвидел, что санкюлотизм, «пожравший жирондистов, пожрет и якобинцев и кончит тем, что пожрет самого себя». В конце своей жизни он ничего уже не ожидал от революции и смотрел на будущее весьма пессимистически, предсказав, однако, что тех людей, которые послали его на эшафот (5 апреля 1794 г.) за то, что он стал поперек дороги Робеспьеру, постигнет та же самая судьба. Дантон оттолкнул от себя жирондистов своими связями с террористами, своим братанием с Маратом, своим одобрением, данным сентябрьским убийствам и т. п., но и перейдя на сторону якобинцев, он видел, что дай только полную волю Робеспьеру и С. Жюсту, и они немедленно превратят Францию в «Фиваиду с двумя десятками политических траппистов».

В конце концов господином положения — на короткое время — остался Максимилиан Робеспьер, «сентиментальный тигр», как отозвался о нем Душкин. Он был лишь одним годом старше Дантона (род. в 1758 г.). До 1789 г. Робеспьер был провинциальным адвокатом и автором нескольких филантропических брошюр, имевших характер литературных упражнений, которые открывали доступ к почетным местам в научно-литературных «академиях» провинциальных городов. Человек не особенно представительной наружности, франтоватый и прилизанный, чопорный и даже несколько елейный, завистливый ко всякому превосходству над собой и делавший из своей недоступности для всякого рода соблазнов, из своей нравственной безупречности и неподкупности как бы некоторую рекламу, не без известного кокетства в манерах, ради литературного тщеславия вылащивавшей и украшавшей свои писания и речи, умевший говорить только догматическим тоном и в самом безукоризненном тоне, Робеспьер был совершенной противоположностью Дантону. У него не было дерзкой смелости последнего: он даже боялся иметь дело непосредственно с народной толпой. Чувство жалости было ему недоступно, но его холодная жестокость, нисколько не напоминавшая кровожадную манию Марата, мирилась с какой-то сентиментальностью, заставлявшей самого его вечно говорить о «человеколюбии», «справедливости», «свободе», «добродетели» и бояться самого вида крови. Дантон не скрывал своих диктаторских стремлений, но «неподкупный» Робеспьер готов был видеть личное для себя оскорбление в подозрении, будто он стремится к диктатуре. Впрочем, он не столько хотел, чтобы его боялись и ему повиновались, сколько, чтобы его любили, ему поклонялись, его прославляли, верили ему и шли за ним,

как овцы за пастырем, как сектанты за своим проповедником, как верующие за папой, ибо и якобинизм имел своего папу и своих верующих — поклонников и поклонниц Робеспьера (*tricoteuses de Robespierre*). Попав в учредительное собрание, Робеспьер мало обращал на себя внимания, но зато мало-помалу сделался одним из наиболее влиятельных членов якобинского клуба и весьма популярным деятелем среди парижских санкюлотов, что доставило ему после 10 августа место в революционном общинном совете и в Конвенте. Республиканцем он стал сравнительно поздно, скорее идя за другими, чем впереди других, и вообще ему понадобилось три года, чтобы занять положение, какое Марат занимал с самого начала революции; но зато в его список заговорщиков и изменников попали не одни «аристократы», как у Марата, но и атеисты, и развратники, и все противники ортодоксального якобинизма. Для Робеспьера в 1792–1794 гг. революция отождествлялась с якобинизмом, якобинизм — прямо с ним самим: вне своей догмы он не признавал возможности патриотизма и разыскивал изменников среди собственной партии, в Конвенте, в его комитетах, среди членов революционного правительства. Посредством террора вся Франция должна была обратиться к якобинскому патриотизму: до того времени конституция должна была быть простым клочком бумаги, и должно было действовать революционное правительство. Робеспьер собственно пожал там, где посеял Дантон, взяв в одни свои руки управление созданной им организацией, но у него самого, особенно по сравнению с Дантоном, не было выдающихся способностей государственного человека: «он и яйца-то не сумеет сварить», — отзывался о нем Дантон. Робеспьер был далее лишен чувства действительности и смотрел на современность через призму своей политической теории, созданной не им самим и не на основании фактов и тем не менее не претерпевшей ни малейшего изменения в голове его от соприкосновения с действительностью. Эта теория — «*Contrat Social*» Руссо — была для него догматом, в который нужно было только верить и в который он верил, а его вера была источником его влияния, ибо люди, находившиеся под властью тех же идей, должны были подчиняться Робеспьеру, т. к. он и не выводил их из этого круга идей, не вносил в него ничего постороннего, личного был в нем, однако, хозяином, умея извлекать принципы из принципов, овладев притом всей аргументацией, фразеологией и терминологией Руссо, хотя, глядя со стороны, можно сказать, что все это оставалось у него мертвым, как бы не своим, чем-то чужим, усвоенным только внешним образом. Его концепция государства была донельзя проста, ограничена до последней крайности и в этом отношении отличалась необыкновенной цельностью. Для Робеспьера Франция была именно населена двумя с половиной десятками миллионов вполне однородных индивидуумов, имеющих от природы самые добрые задатки, но нуждающихся в известной очистке и в надлежащей дрессиров-

ке: воля всей совокупности этих граждан есть сам непогрешимый разум, но ее настоящему проявлению препятствуют изменники, злодеи и развратники, к которым причислялись, кроме роялистов и фейльянов, и жирондисты (бриссотинцы), и эбертисты, и дантонисты.

В национальном Конвенте, собравшемся 21 сентября 1792 г., громадное большинство (около 500) составляло так называемую равнину (la plaine), попеременно попадавшую под влияние двух групп — жиронды и «горы» (монтаньяров). Кроме бывших членов конституанты (Петион, Бюзю, Ланжюине) и легислативы (Бриссо, Верньо, Гюаде, Кондорсе, Жансонне, Инар), среди жирондистов стали играть видную роль и некоторые новые депутаты (Барбару и др.). То же было и среди монтаньяров: здесь были и прежние члены конституанты (Робеспьер, Грегуар и др.) и легислативы (Карно, Кутон и др.), и новички, хотя иногда уже успевшие прославиться вне собраний (Дантон, Марат, Камилл Демулен), а рядом с ними — О. Жюст, Колло-д'Эрбуа, младший Робеспьер, Каррье, Фуше, Баррас и др., прославившиеся главным образом впоследствии. Равнина не играла самостоятельной роли в политике, хотя и выставила немало опытных, дельных и работающих людей, действовавших в комитетах Конвента. Она помогла сначала жирондистам сделаться в Конвенте господами, потом содействовала монтаньярам в низвержении жирондистов и наконец позволила Робеспьеру отделаться от эбертистов и дантонистов, пока не приняла участия в низвержении робеспьеристов и т. д. *С таким изменчивым большинством трудно было организовать правительство*, да еще в государстве, где только что отмененная конституция дезорганизовала управление страной. Новой конституции еще не было, и Конвент соединял в своих руках не определенные никаким законом законодательную, исполнительную и даже судебную власти. Настоящего, т. е. прочного и постоянного большинства в нем не было, а два враждебных одно другому меньшинства — жирондистское и якобинское (монтаньяры) объявили друг другу войну не на жизнь, а на смерть. Партия, побитая в Конвенте, переносила борьбу вне его стен: жирондисты подымали департаменты, монтаньяры — парижский пролетариат. С Конвентом в самом Париже соперничали далее общинный совет, секции (т. е. кварталы) Парижа, батальоны национальной гвардии, якобинский и кордельерский клубы, случайные собрания, принимавшие на себя функции «державного народа», и все эти силы были в руках озлобленных одна на другую партий. Мы не будем, однако, следить за всеми перипетиями этой борьбы, чтобы остановиться лишь на ее главных моментах.

В первом же заседании Конвента по предложению Колло-д'Эрбуа и Грегуара была декретирована отмена королевской власти и провозглашена республика, и с 22 сентября 1792 г. все государственные акты стали датироваться так: «в первом году французской республики». Немало при отмене

монархии наговорено было резкостей по ее адресу Грегуаром, объявлявшим, что «все династии всегда были породами лютых зверей», что «короли в нравственном мире имеют значение чудовищ или уродов в природе», что «история королей есть повесть о страданиях народа». В этом акте все партии Конвента действовали еще солидарно; но когда в собрании обнаружилось стремление наказать виновников сентябрьских ужасов и восстановить правильный порядок общественной жизни, монтаньяры стали обвинять жирондистов в стремлении к диктатуре, и те им ответили таким же обвинением. Марату, Дантону и Робеспьеру пришлось оправдываться: первый защищал необходимость своей диктатуры и грозил застрелиться на месте, если его обвинят; второй отрекался от солидарности с Маратом; третий особенно много говорил о своих «подвигах», «спасших» отечество. Жирондисты ограничились тем, что одержали несколько словесных побед. Скоро другой вопрос еще сильнее разделил партии. 16 октября Конвенту была представлена петиция оксерских (Auxerre) якобинцев о предании короля суду. И жирондисты, и якобинцы, не желая одни другим показаться «умеренными» и чего доброго, пожалуй, роялистами, высказались за это предложение. В деле этом было две стороны — юридическая и политическая. С юридической точки зрения суд был немыслим, ибо принятие конституции 1791 г. сопровождалось забвением всего прошлого, а по конституции король пользовался безответственностью и лишь в известных случаях должен был считаться отказавшимся от престола. Но в Конвенте становились на политическую точку зрения: как индипенденты, казня Карла I, рассчитывали этим упрочить республику, в чем, однако, ошиблись, так думали и члены Конвента судом над Людовиком XVI и даже казнью его нанести последний удар королевской власти. Вот эту-то точку зрения и выдвинули на первый план якобинцы. По словам С. Жюста (13 ноября), дело было не в том, покрывает ли короля или нет его неприкосновенность, не в том было дело, чтобы устроить суд, а в том, чтобы нанести удар, имея перед собой не гражданина, но неприятеля, поступить с ним так, как поступили с Цезарем в Риме. С. Жюст прибавлял, что потомство будет удивляться, как это судили короля: «Судить значить применять закон, а закон есть отношение справедливости, но какое может быть отношение между человечеством и королями? Королевская власть есть вечное преступление» и т. д. в том же роде. Так говорил друг Робеспьера, сам же он (3 декабря) развивал ту же мысль дальше: «Тут нет никакого процесса. Людовик не подсудимый, вы не судьи: вы не можете быть чем-либо как государственными людьми, представителями нации. Вам не приговор нужно постановить за или против человека, но принять меру во имя общественного спасения, исполнить акт национального провидения», — и Робеспьер прямо потребовал «смерти Людовика XVI, чтобы жила республика». Такая страшная постановка вопроса испугала жирондистов. Верньо

(31 декабря) выступил с пророческой речью. «Разве вы не слыхали, как там и сям разъяренный народ кричит: дорог ли хлеб, виноват Тамплъ¹; мало ли денег, терпят ли наши войска нужду, виноват Тамплъ; видим ли мы каждый день печальное зрелище нищеты, виноват Тамплъ? Кто нам поручится, что по смерти Людовика те же люди не станут кричать: дорог ли хлеб, виноват Конвент; мало ли денег, виноват Конвент; терпят ли наши войска нужду, виноват Конвент; возрастают ли бедствия вследствие заявлений Англии и Испании, виноват Конвент, вызвавший эти заявления поспешной казнью Людовика?» Верньо предвидел внутри государства террор, а вне — новую войну: между Францией и Англией готовился тогда союз, но из Англии дали знать, что союз не состоится в случае умерщвления Людовика XVI. Среди жирондистов возникла тогда мысль о спасении короля: пусть Конвент его судит, но приговор Конвента должен будет идти на утверждение всем народом (*appel au peuple*) на первичных собраниях. Якобинцы, опасаясь, что это может спасти Людовика XVI, наоборот, были против апелляции к народу. 11 декабря состоялся допрос «Людовика Капета». Ему позволили выбрать себе защитников, и он указал на Тронше, к которому присоединился добровольно Мальзерб, бывший министром при Тюрго, а они выбрали в помощники молодого адвоката Десеза, вызвавшего в своей блестящей речи к состраданию и разбиравшего юридическую сторону дела, но совсем не обратившего внимания на сторону политическую. С 15 по 19 января 1793 г. члены Конвента поименно подавали свои голоса на три вопроса: виновен ли Людовик? Будет ли апелляция к народу? Какое наказание ему назначить? Громадным большинством голосов он был признан виновным в заговоре против свободы нации и общей безопасности государства, причем многие мотивировали свое мнение в длинных речах. *Appel au peuple* был отвергнут 423 голосами против 281. Из 721 голоса, поданного по третьему вопросу, 387 голосов были за смертную казнь, 334 за другие наказания (за изгнание, за каторгу, за тюремное заключение). По двум последним вопросам голоса жирондистов разделились: одни были против апелляции к народу, другие — за нее, а в вопросе о наказании одни были за заточение (Кондорсе), другие — за казнь с отсрочкой (Верньо, Пюаде, Бюзо, Петсион, Бриссо), третьи — за безусловную смерть (Инар, Барбару). 20 января была большинством 380 голосов против 310 отвергнута отсрочка. В заседании 19 января председательствовал Верньо, которому пришлось объявить результат голосования. Жирондисты не спасли короля: они не обнаружили мужества и партийной дисциплины перед народными толпами, наполнявшими трибуны и своими криками оказывавшими давление на Конвент, оправдываясь потом разными соображениями политического свойства. Монтаньяры подавали голоса за казнь и с

¹ Король был заключен в Тамплъ.

ними герцог Орлеанский, теперь «гражданин Филипп Эгалитэ» (т. е. Равенство), спасавший тем, как думают, свои громадные богатства. 21 января приговор над Людовиком XVI был приведен в исполнение. В день казни в Париже было совершенно тихо.

Опасения, возникшие среди жирондистов относительно как внешних осложнений, гражданской войны, террора, так и их собственной судьбы, стали сбываться. После битвы при Вальми, остановившей пруссаков, дела Франции на войне стали поправляться. В то время, как французское дворянство эмигрировало за границу, к французским генералам из-за границы являлись люди разных национальностей и просили их содействия для низвержения старых политических порядков и в пограничных странах: революция коснулась и соседей, и когда французские войска перешли в наступление, население ближайших к границам областей встречало их с восторгом, как избавителей от старого притеснения. Осенью 1792 г. почти без сопротивления со стороны сардинских войск была занята французами Савойя, и «национальное суверенное собрание аллоброгов», в котором было представлено 658 общин, громадным большинством голосов (583 общины) постановило присоединиться к Франции (21 октября 1792 г.). Занята была и Ницца. Кюстин почти без сопротивления захватил Шпейер, Вормс и 19 октября появился под Майнцем, который капитулировал, после чего в этом городе образовался клуб немецких патриотов и собрался Конвент от прирейнских немцев, декретировавший присоединение всего левого берега Рейна к Франции. Свидетельство о том, с каким восторгом принимали здесь французов, можно найти в «Германе и Доротее» Гете. Между тем Дюмуре одерживает 6 ноября над австрийцами победу при Жеманне, и затем вся Бельгия, в которой уже раньше происходила своя революция, была в руках французов. Весьма скоро из-за этой страны между Дюмуре, ее завоевавшим, и монтаньярами, желавшими установить в ней свой режим, начались несогласия, тем более, что у Дюмуре были еще тайные замыслы насчет восстановления монархии в пользу герцога Шартрского, сына герцога Орлеанского («гражданина Филиппа Эгалитэ»). Дантон поехал в Бельгию, чтобы предотвратить разрыв между генералом и Конвентом. Между тем последний 19 ноября 1792 г. издал декрет о том, что Франция будет поддерживать каждую нацию, стремящуюся к свободе, а 15 декабря декретировал, что повсюду, куда ни явятся французские армии, аристократические правления будут отменены, церковные имущества конфискованы, сеньориальные права и десятины уничтожены и народ будет призван к свободе. Дюмуре был крайне раздосадован этим декретом, но Дантон ему объявил, что настоящий автор декрета — это он, Дантон, и приступил к реализации в Бельгии конвентского распоряжения. *Завоевание французами Савойи с Ниццей, левого берега Рейна и Бельгии сильно встревожило монархическую Европу, а казнь Людовика XVI послужила последним*

звеном в цепи причин, вызвавших против Франции большую коалицию. Французских посланников стали выгонять, а в Риме представитель республики был даже умерщвлен. 1 февраля 1793 г. Конвент объявил войну Англии и голландскому штатгальтеру, 7 марта — испанскому королю, а 22 марта имперский сейм решил начать войну с Францией от имени всей Священной Римской империи. Конвент обратился к армии с манифестом, составленным Инаром, где вопрос ставился просто: или поражение и гибель свободы, торжество тирании, или победа и поражение тиранов, братство народов, прекращение войны между ними: «Вас провозгласят спасителями отечества, основателями республики, возродителями вселенной!» В то самое время, как почти полумиллионная армия Англии, Голландии, немецких государств, т. е. Австрии, Пруссии и разных княжеств империи, Сардинии и Испании начала угрожать границам Франции, *загоралась и междоусобная война в самой республике:* в департаментах Пуату и Бретани произошло антиреволюционное движение крестьян под предводительством неприсяжных священников и дворян, давно уже подготавливавшееся и вспыхнувшее, когда Конвент потребовал под знамена для защиты отечества рекрут. В марте вся Вандея (нижний Пуату, Анжу, Нижний Мэн и Бретань) была охвачена восстанием, и начались знаменитые вандейские войны, в которых Конвент имел против себя десятки тысяч шуанов (chouans), как стали обозначать инсургентов по прозвищу одного из первых вождей движения¹, имевшего сначала скорее более религиозный, нежели роялистический характер, но скоро получившего именно и значение антиреспубликанского взрыва. В то же время Дюмуре был разбит при Неервиндене (12 марта) и, поссорившись с Конвентом, но не найдя поддержки в своей армии, бежал со своим кандидатом на трон, герцогом Шартрским², к австрийцам. Замечательно, что Дюмуре не был первым генералом, думавшим, опираясь на военную силу, произвести государственный переворот: в эпоху конституанты таков был Буйлье, в эпоху легислативы — Лафайет, но армия тогда, как и теперь, не была расположена идти против представителей народа.

Поражение и измена Дюмуре оказали весьма большое влияние на борьбу партий, происходившую в Конвенте. В это время самой влиятельной группой собрания были жирондисты, но у них не было единодушия и энергии, они обнаруживали нерешительность и колебания, и их поведение объяснялось монтаньярами в клубах в смысле измены. По старой связи жирондистов с Дюмуре якобинцы сделали последнего прямо «жирондистским генералом» и кричали о его измене как о преступлении целой

¹ Bournisseaux. Hist. Des guerres de la Vendée et des chouans; Lambert. Henri de la Rochejacquin et la guerre de la Vendée; Port. La Vendée angevine и др. Другое объяснение: «chouanschat huans».

² Впоследствии (1830—1848) Людовик-Филипп, король французов.

партии. «Равнина» поддерживала монтаньяров каждый раз, как последние делали какое-либо предложение; но приводить решение Конвента в исполнение должны были жирондисты, постоянно выбиравшиеся в председатели конвентских заседаний, занимавшие министерские посты и административные должности в департаментах, так что главные мероприятия исходили не от них, а ответственность падала на них. Среди парижского населения, возбужденного новым объявлением «отечества в опасности», уже начиналось в марте 1793 г. глухое брожение против жирондистов; необычайные обстоятельства требовали, по мнению Парижской коммуны и якобинцев, и чрезвычайных мер: 10 марта Конвент декретировал учреждение революционного суда¹ для наказания изменников, бунтовщиков, недобросовестных поставщиков в армии, поддельвателей бумажных денег и т. п. Когда Дантон, министр юстиции, предлагал его учреждение, он имел в виду установление чрезвычайного суда по осадному положению, но суд этот и превратился потом в главное орудие террористической тирании, обрушившееся и на самого Дантона. На известие о восстании Вандеи Конвент ответил объявлением смертного приговора всем эмигрантам и неприсяжным священникам, которые через неделю будут найдены в пределах Франции. Далее, после поражения Дюмуре, Конвент декретировал учреждение во всех общинах революционных комитетов для наблюдения за «подозрительными» и обезоружением всех бывших дворян и духовных. Когда, наконец, сделалась известной сама измена Дюмуре, были приняты новые экстренные меры, и, между прочим, послали на границы подкрепление и конвентских комиссаров в армию (что декретировано было раньше еще по предложению Карно). Тогда же по предложению Баррера Конвент организовал знаменитый Комитет общественного спасения (comité du salut publique) по декрету, текст которого был составлен жирондистом Инаром (6 апреля). Комитет должен был состоять из 9 (впоследствии большего числа) членов, выбиравшихся на месяц, и сосредоточить в себе всю власть. При его образовании из него систематически были исключены жирондисты и монтаньяры, кроме одного Дантона, который явился настоящим организатором этого революционного правительства. Органами комитета в департаментах стали конвентские комиссары с самыми широкими полномочиями, но поставленные в зависимое положение по отношению к комитету общественного спасения. *Революция, таким образом, отказывалась от идей 1789 г., от разделения властей и от уничтожения централизации, чрезвычайных судов, административного произвола, сосредоточив неограниченную власть в руках Комитета общественного спасения, сделав из конвентских комиссаров послушные орудия этой власти в провинциях, учредив страшный политический надзор над всеми гра-*

¹ *Compardon.* Le tribunal révolutionnaire.

жданами и установив чрезвычайные суды¹. Дантон сделался настоящим правителем Франции, приняв на себя, между прочим, в качестве министра иностранных дел и заведование внешней политикой Франции. Теперь его идеей было положить конец анархии, восстановить государственный порядок, превратить республику в настоящее правительство, осуществить права человека, доставить стране мир и обеспечить правильное течение хозяйственной жизни. «Поспешим, — говорил он своим друзьям, — поспешим окончить революцию: кто делает революцию слишком долгой, не принадлежит к числу тех, которые извлекают из нее выгоду». При пассивности «равнины» из двух боровшихся между собой партий Дантону приходилось выбирать между жирондой и «горой». Те политические выводы, к которым он стал приходить, должны были располагать его к союзу с жирондистами. Быть может, если бы союз этот состоялся, и он привлек бы к себе наиболее благоразумных и дельных монтаньяров вроде Карно, то Франция избежала бы якобинского террора. Дантон действительно искал сближения с жирондой, делал все, чтобы избежать разрыва с ней, и между жирондистами были люди, склонявшиеся к сближению с ним, — Верньо, Кондорсе, Жансонне, — но большинство, увлекаемое Роланом и его женой — Бюзо, Гюаде, Барбару и др., — не хотело идти заодно с сентябрьским убийцей и «грабителем Бельгии». Дантон употреблял все усилия к тому, чтобы не дать разъединиться наиболее значительным политическим силам, старался предотвратить разрыв с Дюмуре, а на одном тайном свидании с вождями жирондистов (30 ноября 1792 г.) особенно настойчиво убеждал их соединиться с ним, но был отвергнут. «Гюаде, — сказал тогда Дантон, — ты неправ: ты не умеешь прощать, не умеешь подчинить своего чувства отечеству. Ты упрям, и ты погибнешь». Весной 1793 г. борьба жирондистов и монтаньяров обострилась еще больше, и монтаньяры обнаружили в ней много сплоченности и энергии. Между тем 1 апреля был принят декрет, лишавший права личной неприкосновенности каждого депутата, против которого явилось бы более или менее основательное подозрение в сообщничестве с врагами свободы, равенства и республики: декрет этот давал в руки наиболее смелым депутатам оружие для истребления своих противников и устрашения большинства. Дантон снова думал теперь с помощью жирондистов образовать прочное большинство и предлагал вождям жиронды забыть прошлое, прекратить распри, соединиться, обещаясь дать клятву, что ради отечества будет защищать самого смертель-

¹ В Конвенте было еще много (15) других комитетов, между прочим, «комитет общей безопасности» (comitet de sûreté générale), ставший грозой «подозрительных». Недавно Aulard издал акты Комитета общественного спасения и официальную переписку конвентских комиссаров (représentants en mission), указывающие на деловую и полезную сторону этих учреждений, тогда как Wallon в своем сочинении о том же предмете выдвинул на первый план факты, свидетельствующие о произволе и насилиях.

ного своего врага, но жирондисты из старого отвращения к нему, из завистливого чувства, которое он внушал некоторым из них, снова его отвергли. Гоаде прямо ему объявил «войну — и пусть погибает одна из партий». «Ты хочешь войны, — вскричал Дантон, потрясая его руку, — и ты получишь смерть!» Скоро жирондисты первые сделали нападение, обвинив Дантона в сообщничестве с Дюмуре, на что Дантон отвечал обвинением жирондистов в стремлении к восстановлению монархии и к нарушению единства отечества. 10 апреля Робеспьер произнес длинную речь, в которой уже жирондисты обвинялись в сообщничестве с Дюмуре, и около того же времени Камилл Демулен издал убийственный для партии памфлет «История бриссотинцев». 14 апреля коммуна потребовала у Конвента исключения из него двадцати двух жирондистов. Гоаде настоял на предании Марата революционному суду, но суд его оправдал и толпа с триумфом внесла его в Конвент (24 апреля). Дело дошло до того, что обе партии считали иужным исключить одна другую, хотя бы вопрос должен был решаться первичными собраниями. Верньо был, однако, против последней меры, находя ее опасной для самой республики, а Дантон предложил бриссотинцам самим убраться и не мешать другим работать, но бриссотинцы этого не хотели, тем более, что «равнина» продолжала по-прежнему их поддерживать и еще 16 мая выбрала Инара в председатели собрания. Когда жирондисты воспротивились введению *maximum'a* на съестные припасы и организовали свой комитет из 12 членов для восстановления порядка, и этот комитет арестовал Эбера (Hebert), издателя цинического революционного листка (Père Duchene), коммуна, якобинский клуб и революционные комитеты Парижа вошли между собой в соглашение, потребовали исключения 34 жирондистов (прежних 22 и 12 членов нового комитета) и отдачи двенадцати из них под суд и начали посылать в Конвент депутации (25 и след. мая). Первой из них Инар ответил, что Франция не потерпит нарушения прав своих представителей и «от имени всей Франции» объявил, что скорее будет уничтожен весь Париж. Монтаньяры вотировали отмену «комитета двенадцати», жирондисты добились его восстановления, что вызвало страшное народное восстание 31 мая, заставившее Конвент уничтожить «комитет двенадцати». Марат, коммуна, якобинский клуб хотели большего и отделились от Дантона, сдерживавшего страсти. В ночь с 1 на 2 июня клуб декретировал принудительный заем с богатых для содержания новой революционной армии, а утром 2 июня пришло известие о жирондистском восстании в Лионе и избиении лионских якобинцев. Это было сигналом к новому взрыву, в котором играл большую роль Марат. Толпа бросилась на Тюильри, где заседал Конвент. Анрю (Hanriot), ставший 31 мая начальником национальной гвардии, заявил президенту собрания, что народ поднялся не для того, чтобы слушать фразы, а чтобы дать приказ о предоставлении ему 34 виновных. Во время

этой сцены депутаты вели себя мужественно и отстаивали своих товарищей, но на Конвент стали наводиться пушки, и когда депутаты хотели удалиться через двери, выходившие в сад, там не пустил их Марат. Дело кончилось тем, чего требовала толпа: жирондисты были исключены (между прочим, Верньо, Гюаде, Жансонне, Бриссо, Петион, Барбару, Бюзоч, Ланжюине и др. — всего 27 человек, а Инар и Фоше удалились сами). Исключенных, однако, не отвели в тюрьму, но подвергли домашнему аресту. Дантон и почти вся «гора» не хотели их гибели и даже ради их собственного блага считали нужным, чтобы они устранились от дел. Якобинцам самим было совестно, что национальное представительство подверглось такому оскорблению, особенно было совестно таким людям, как Карно: торжествовали только маратисты и робеспьеристы.

Исключение жирондистов вызвало большое восстание в провинциях, и был момент, когда оно происходило сразу чуть не в шестидесяти департаментах. Против Конвента поднялись многие больше города — Бордо, Лион, Марсель и др., и во многих местах руководителями явились жирондисты, в Нормандии — Гюаде, Бюзю, Барбару и др., в Аллье — Бриссо, в Провансе — Ребекки, тогда как Верньо, Жансонне, Фоше и др. остались в Париже. Это провинциальное движение якобинцы, сторонники «единой и нераздельной республики», обвиняли в «федерализме», в стремлении к перенесению на почву Франции порядков Североамериканских Штатов, в раздроблении отечества перед грозным врагом. После того, как наиболее энергичные и дельные члены Конвента уехали комиссарами в армию и в провинции, а жирондисты были исключены, в Конвенте заседало только 220—250 депутатов, но он продолжал быть для Франции таким же невидимым воплощением верховной власти, как и прежний абсолютный король: была война — нация решилась защищаться до последней крайности, и ей нужно было сильное правительство, ей не было дела до лиц, стоявших у власти, — ей нужна была власть как орудие национального самосохранения, и вот это то и придавало силу централистическим стремлениям якобинцев, хотя бы лично им самим Франция и не симпатизировала. По той же причине «федерализм» не имел успеха, и Конвент справился с движением. Жирондисты, к крайнему удивлению своему, увидели, что везде, где они являлись защищать свои принципы, они, собственно говоря, вызывали только дремавшие силы роялизма, бывшие даже готовыми, на измену. 27 августа англичанам прямо преданся Тулон. Положение было опасное, тем более что и коалиция переходила в наступление: испанцы вторгались в Руссильон, австрийцы овладевали Конде и Валансьеном, Майнц должен был сдаться пруссакам. Конвент со страшной энергией организовал защиту страны и подавлял восстания в департаментах. Борьба была ожесточенная, кровавая. Тогда именно страшный Каррье расстреливал и топил в реке тысячи людей. Тогда же, например, Конвент декретировал, к счастью,

не приведенное в исполнение разрушение Лиона, переименование его в Commune-Affranchie¹ и постройку на его месте памятника с надписью: «Лион возмутился, и Лиона не стало». Тогда же Тулон, возвращенный от англичан искусством молодого Бонапарта, был наказан и переименован в Port-de-la Montagne. В это же время свирепствовали в Вандее под именем адских колонн бывшие солдаты майнцкого гарнизона. Наконец, в ту же эпоху границы государства стойко защищались, но многие генералы, не хотевшие вполне подчиняться Комитету общественного спасения или имевшие несчастье потерпеть неудачу, сложили головы на плахе (напр., Кюстин в августе 1793 г. или Богарне в июле 1794 г.).

Конвент был избран, однако, не для того, чтобы сделаться правительством Франции и организатором национальной защиты: он должен был дать Франции конституцию. Мы видели, что проект конституции был уже выработан жирондистами незадолго до их падения. После 31 мая в состав Комитета общественного спасения вошло пять новых членов из монтаньяров (между ними Геро-де-Сешелль, Кутон и С. Жюст) для переделки жирондистского проекта. В июне 1793 г. новый проект был представлен в Конвент, принят им (24-го числа) и представлен на утверждение первичных собраний в департаментах, оставшихся верными Конвенту. 9 августа в последнем был провозглашен результат голосования: за новую конституцию подано было 1 801 918 голосов, против — лишь 11 610. Это был первый плебисцит во Франции, в котором, как мы видим, участвовали далеко не все граждане, да и подавляющее большинство согласных еще ничего не доказывает, кроме того, что, как это показали последующие плебесциты, народ утверждал, особенно когда были в ходу террористические средства, все, что ни предлагалось ему со стороны фактических правителей Франции. В одной из статей «Декларации прав», предшествовавшей конституции, было сказано, что «свободные люди» должны немедленно умерщвлять всякого, кто узурпировал бы верховную власть, что санкционировало впоследствии все казни, совершавшиеся над политическими деятелями, а другая статья объявляла самым священным правом и самой неуклонной обязанностью каждой фракции народа возмущение (insurrection) против нарушения правительством прав народа, что в свою очередь санкционировало продолжение революционного движения. Хотя ввиду обстоятельств времени якобинская конституция и не была применена, тем не менее заключавшиеся в ней принципы были принципами самого революционного правительства с его деспотизмом и его анархией.

После подавления восстаний и отражения вражеского нашествия (победы над англичанами при Гондшооте 8 сентября, над голландцами при Менене 18 сентября, над австрийцами при Ваттиньи 16 окт. 1793 г.) Дантон

¹ Освобожденная коммуна (фр.). — Прим. ред.

повел кампанию против прекращения террора, без которого, по его мнению, Франция вполне могла спасти свою территорию, свое единство, свою республику, и к тому же, по-видимому, склонялся и Робеспьер (Марат еще 13 июля был зарезан Шарлоттой Корде). Когда (3 октября) Комитет общей безопасности предложил Конвенту обвинить перед революционным судом 73 жирондистов, протестовавших против изгнания их товарищей, то Робеспьер за них заступился, и все пока ограничилось одним их арестом. Тогда другие якобинцы стали указывать, что без террора нельзя будет ни победить роялистов, ни обеспечить реквизиции, ни поддержать закон о *maximum*'е цен на съестные припасы, ни дать принудительный курс ассигнатам. Можно даже сказать, что террор был усилен и в последние три месяца погибли под топором гильотины Мария-Антуанетта¹, 21 жирондист, арестованный после 31 мая (31 октября), между ними, Верньо, Бриссо, Фоше, Жансонне и др., мужественно и благородно встретившие смерть, после чего последовали еще новые казни жирондистов (г-жа Ролан, которой друзья предлагали яд, но которая предпочла смерть на эшафоте 8 ноября). Ролан кончил жизнь самоубийством на большой дороге, не будучи более в силах скрываться от врагов, а весной следующего года отравился и Кондорсе, будучи арестован врагами. Кроме того, погибли около этого времени и после того на гильотине Вайльи, Барнав, химик Лавуазье («республике не надо ученых», — сказал один якобинец), поэт Шенье, Мальзерб, Филипп Эгалитэ и др. известные и выдающиеся люди.

В эпоху террора среди господствовавшей партии образовалось течение, враждебное христианству². В октябре 1793 г. христианский календарь был заменен республиканским: годы стали считаться с 22 сентября 1792 г., месяцы получили новые названия (вандемьер, брюмер, фример — осень; нивоз, плювиоз, вантоз — зима; жерминаль, флореаль, прериаль — весна; мессидор, термидор и фрюктидор — лето); неделя была заменена декадой (10 дней), воскресенье — десятым днем (декады). Инициатором перемены был Ромм. Соединившись с Анахарсисом Клотцем и филантропом Шометтом, он предложил заменить католицизм культом разума, и к этому движению присоединился сам епископ парижский Гобель, подавший в отставку, но епископ Грегуар протестовал против этого. 10 ноября в соборе Парижской Богоматери отпразднован был День разума, богиню которого изображала г-жа Майльяр в белом платье, синем плаще и красном колпа-

¹ 16 октября. Маленький сын Людовика XVI (Людовик XVII) был отдан в обучение мастерству, но скоро умер. О Марии-Антуанетте большая литература. См. из новейших трудов M. de la Rochetierie, de Nolhas, Gaulot (*Un complot sous la terreur*), Chaix-d'Est-Ange и др.

² См., кроме сочинений, указанных выше по истории церкви в эпоху революции, особенно те тома «*Études sur l'histoire de l'humanité*» Лорана, которые посвящены революции. О религиозных преследованиях в эпоху революции см. новые сочинения Bauzon'a, Rabaud и др. Недавно (1892) неутомимый исследователь Французской революции Aulard издал исследование под заглавием «*Le culte de la Raison et le culte de l'Être Suprême*».

ке. Конвентские комиссары распространяли новый культ в провинциях, а парижский общинный совет 23 ноября велел закрыть церкви города. Напрасно Робеспьер говорил и в Конвенте, и в клубе речи против «крайних» и атеистов, напрасно Дантон восстал против «религиозных маскарадов», устраивавшихся последователями Эбера (эбертистами), — эти явления продолжались. Дантон, отнявший у общин право созывать революционные комитеты и утвердивший в департаментах власть конвентских комиссаров или «национальных атентов», сблизился было тогда с Робеспьером, и тот его даже защищал в якобинском клубе, где против Дантона было большое негодование. Робеспьер добился даже того, что католический культ все-таки не прекращался, и за главу якобинцев даже молились в соборе Парижской Богоматери. В декабре снова поднялся вопрос о прекращении террора, за которое начинали высказываться весьма многие якобинцы, особенно после новых военных успехов на границе. Робеспьер, однако, боялся прекратить террор, боялся именно перехода влияния в клубе к более крайним или торжества над собой более умеренных. Политику милосердия вместе с тем стал проповедовать Камилл Демулен в своем журнале «*Vieux Cordelier*», напав, между прочим, и на Эбера, который со своей стороны обвинял Демулена, и на Робеспьера, полагая, что тут за Демуленом скрывается сам Дантон. В это время произошло разделение между эбертистами, стоявшими за террор, и дантонистами, проповедовавшими милосердие: Робеспьер, не желавший победы над собой ни «крайних», ни «снисходительных», свою точку зрения обозначал словом «правосудие», но на деле он мог удерживаться у власти только терроризируя своих противников. Якобинизм при этом все более и более превращался в какое-то сектанство, в котором Робеспьер играл роль непогрешимого пророка: для узких, недалеких, нетерпимых сектантов сами монтаньяры, не разделявшие их доктрины, казались подозрительными, в то же время раздражая их тщеславное самолюбие своим умственным превосходством, превосходством таких талантов, какими обладали Дантон и Карно или даже Демулен. Но Робеспьер, «неподкупный» и добродетельный, как его называли поклонники, всегда желавший действовать легальным путем, т. е. посредством Конвента, членов которого он только убеждал, не прибегая к насилию, решился отделаться от соперников посредством Конвента же: 5 февраля 1794 г. он прочитал в собрании доклад, где говорилось об опасностях для республики от двух партий, из которых одна проповедует ослабление энергии, другая — разные крайности, и в сущности предлагалось продолжение террора. Главными сотрудниками Робеспьера в новой борьбе, которую он затеял, были Кутон и С. Жюст. Они говорили, что общество должно быть очищено, что кто этому мешает, тот развращает общество, а кто развращает, тот хочет его разрушить. Эбертисты в марте были арестованы, обвинены в сношениях с роялистами и иностранцами,

(между прочим, с «оратором человеческого рода» Анахарсисом Клотцем, который желал присоединения к Франции левого берега Рейна и проповедовал всемирную республику), преданы революционному суду и казнены (24 марта). За «крайними» настал черед «умеренных» или снисходительных. Когда Дантона известили о том, что его арестуют, он сказал, что уж лучше быть гильотинированным, чем гильотинером и не подумал спастись бегством, т. к. «нельзя же, — сказал он, — унести отечество на подошвах своих башмаков». 31 марта были арестованы, кроме него, Камилл Демулен и др. его сторонники и преданы суду с несколькими ворами и иностранцами. На суде Дантон сказал, что он зовется Дантоном, что ему 35 лет от роду, что жительство его завтра будет в «ничто», а имя останется в пантеоне истории. Судьи были смущены таким важным подсудимым, и между двумя произошел в сторонке такой разговор. «Это, — сказал один, — не процесс, а необходимая мера. Вдвоем они невозможны, и нужно, чтобы один погиб. Хочешь убить Робеспьера?» — «Нет», — отвечал другой. «Ну, так уже тем самым ты хочешь приговорить Дантона». Дантон мужественно держал себя на эшафоте и просил палача показать народу свою голову: «она этого стоит», — прибавил он к своей просьбе. С ним погиб (5 апреля) Демулен, сказавший на эшафоте: «Вот награда первому апостолу свободы». В следующие дни были казнены Шомет, апостол культа разума, Гобель, бывший епископ парижский и др.

Робеспьер с преданными ему Кутонем и С. Жюстом был теперь господином положения: наступало время его личной диктатуры. Одной из первых его мер было введение «культа Верховного Существа», по идеям «гражданской религии» Руссо. 7 мая Робеспьер произнес в Конвенте длинную речь против атеизма и фанатизма и предложил декретировать, что «французский народ признает бытие Верховного Существа и бессмертие души». 8 июня был устроен и праздник в честь Верховного Существа, на котором Робеспьер разыгрывал роль первосвященника. Между тем у Робеспьера было много врагов — даже в Комитете общественного спасения за него были лишь Кутон и С. Жюст — и его единовластие становилось возможным, лишь благодаря новым и новым казням и арестам. Враги не дремали и распространяли о Робеспьере всякие слухи, какие только ему вредили, поводы к чему всегда были под рукой (например, одна сумасшедшая старуха Екатерина Тео называла себя богородицей, Робеспьера — своим сыном и пророчила близкое пришествие Спасителя и т. п.). Между монтаньярами было распространено убеждение, что у него были совсем готовые списки новых проскрипций. 8 термидора (26 июля) он произнес в Конвенте (и повторил вечером в якобинском клубе) речь с неопределенными обвинениями, которые каждый мог принять на свой счет. Члены Конвента у него потребовали назвать имена, но он промолчал; в клубе же было сильное раздражение против Конвента, и наиболее горячие головы не прочь

были повторить 31 мая. На другой день Робеспьеру не давали уже говорить в Конвенте, кричали «Долой тирана!», требовали его ареста вместе с братом, с Кутоном, С. Жюстом и еще одним его сторонником (Леба). За Робеспьера заступился было общинный совет, — на Конвент Анрю наводил уже пушки, — но собрание не тронулось с места, да и парижские секции не поддержали движение против Конвента. Вечером, однако, несколько, якобинцев освободили Робеспьера, привели его в ратушу, и тут его сторонники организовали новый исполнительный комитет, объявивший повеление «всем гражданам во имя спасения народа не признавать иных властей, кроме него». Конвент, заседавший всю ночь, со своей стороны, объявил вне закона пятерых депутатов и всех их сторонников и послал их арестовать вновь. Кутон и С. Жюст не сопротивлялись, брат Робеспьера выбросился в окно, Леба застрелился, у самого Робеспьера выстрелом из пистолета была раздроблена челюсть: говорили, будто он сам выстрелил в себя, но, по другому известию, он был ранен одним жандармом. 10 термидора арестованные и еще несколько человек были гильотинированы, на другой день — еще семьдесят, на третий — тринадцать.

Так сходили с революционной сцены одни за другими жирондисты, эбертисты, дантониисты, наконец, робеспьеристы. С падением Робеспьера террор, поддерживавшийся последнее время взаимным недоверием и соперничеством вождей, окончился, начиналась уже реакция, но смуты все еще продолжались.

XLI. Законодательство Конвента¹

Законодательство Конвента. — Жирондистская и якобинская декларации прав. — Конституция 1793 г. — Правление Конвента. — Термидорианский режим. — Смуты 1795 г. — Последние месяцы Конвента. — Конституция III года. — Церковь и государство при Конвенте. — Общественная свобода при Конвенте. — Деловые люди в Конвенте и результаты их трудов. Противоположение между политическим и социальным периодами революции. — Предполагаемый социализм Конвента. — Вопрос о праве частной собственности. — Право на труд. — Национальные имущества и общинные земли при Конвенте.

С начала революции до перелома в ее истории, обозначаемого именем 9 термидора, прошло пять лет. «Старый порядок» пал, но не так легко было установиться новому. Основание ему было положено учредительным собранием, и дело, им сделанное, однако, не удержалось: Конвент стал перedelывать то, что было выработано учредительным собранием, и расходясь (26 октября 1795 г.), объявил, что исполнил свою задачу, и задача же эта, как мы знаем, состояла в том, чтобы дать Франции республиканскую организацию. Рассмотрим теперь, что оставил Конвент своим преемникам.

Мы видели раньше, что в 1793 г. сначала жирондисты, потом якобинцы составили для Франции республиканские конституции, и что якобинская была принята народом, но не приводилась никогда в исполнение. Якобинцы исходили в своей конституции из тех же общих оснований, что и жирондисты, как это можно видеть уже из сравнения жирондистской «декларации естественных, гражданских и политических прав человека» с декларацией якобинской. *В общем, впрочем, последние мало чем отличаются от декларации 1791 г.* с более сильным только заявлением о верховенстве нации (например, на неограниченный пересмотр конституции) и о праве сопротивления, даже о праве возмущения, о котором говорит декларация 1793 г. и с некоторыми прибавлениями, из которых отметим два: статья 23 жирондистского проекта провозглашает, «что образование есть общая потребность и что общество должно давать его всем своим членам», а статья 24 гласит, что «общественная помощь есть священный долг общества», в силу чего «закон должен определить ее размер и способ применения» и обе эти статьи приняты были в якобинскую декларацию в такой форме: «Общественная помощь есть священный долг. Общество обязано давать средства к существованию несчастным гражданам через доставле-

¹ См. сочинения, указанные в главе XXXVI.

ние им работы или обеспечивая их пропитание, если они не в состоянии работать (ст. 21). Образование есть общая потребность. Общество всей своей властью должно содействовать успехам общественного разума (*favoriser de tout son pouvoir les progrès de la raison publique*) и сделать образование доступным всем гражданам» (ст. 22). Таким образом, обе декларации 1793 г. возлагают на государство такие задачи, каких не знала декларация 1791 г., но одну из которых мы находим, например, в философском *Allgemeines Landrecht*¹ Фридриха II. Не нужно, однако, думать, что впервые только Конвент поставил во Франции вопрос о праве на труд. Между прочим, статья 21 якобинской декларации давала иногда повод говорить также о социализме и чуть не коммунизме якобинцев в противоположность индивидуалистам-жирондистам, но дело в том, что совершенно такая же статья была и в жирондистском проекте. Мало того: и одни, и другие, подобно авторам декларации 1791 г., включают в число естественных прав и собственность (ст. 1 у жир., ст. 2 у як.), и якобинская декларация не менее жирондистской, равно как и декларация 1791 г., обеспечивает полное право собственности. «Право собственности, — сказано в декларации 1793 г., — есть право каждого гражданина пользоваться и располагать по собственному усмотрению (*a son gré*) своими доходами, плодами своих трудов и своих занятий (ст. 16). Никто не может быть лишаем ни малейшей части своего имущества без собственного на то согласия, кроме случаев, когда того требует общественная надобность, легально установленная, и под условием справедливого предварительного вознаграждения (ст. 17)»². Таким образом, *конституция 1793 г. не изменяла ни в чем того социального строя, который очерчен статьями первой декларации прав*. Статья 18 якобинской декларации прямо признает существование законного отношения между наемщиком и наймитом. Большой демократизм конституции 1793 г. был чисто политическим, ибо выборы были сделаны прямыми, т. е. первые собрания непосредственно должны были выбирать представителей (одного на 40 тысяч жителей), причем ценз был отменен и предельный возраст избирателей был понижен с 25 лет до 21 года, а, кроме того, в конституцию вводился и принцип непосредственного народовластия. Мы знаем уже, как думали жирондисты сочетать последнее с представительством, но их система была крайне непрактична, даже неосуществима. Якобинцы, стремясь к той же цели, показали большую способность принимать в расчет реальные условия осуществления идеи. Конституция 1793 г. в принципе также объявляла непосредственный суверенитет народа: «верховный народ есть совокупность (*universalité*) французских граждан» (ст. 7) и ему принадлежит право законодательных решений (ст. 10). Но рядом с

¹ Всеобщее земельное право (*нем.*). — *Прим. ред.*

² Мы еще вернемся к предметам, рассматриваемым в этих статьях.

суверенным народом признается существование представительного учреждения — законодательного корпуса, единого, нераздельного и непрерывного (ст. 39), выбираемого на год (ст. 40) с правом издавать декреты и предлагать (*proposer*) законы (ст. 53). Проекты законов, принятые законодательным корпусом, должны были печататься и рассылаться во все общины республики (ст. 58): если в течение сорока дней одна десятая часть первичных собраний в половине общего числа департаментов плюс один департамент не опротестует, проект делается законом (ст. 59), и лишь в противном случае созываются первичные собрания (ст. 60), причем народ мог голосовать *только да или нет* (ст. 19). Такая система, по которой инициатива законов принадлежала исключительно представительству, а народу давалось нечто вроде *veto*, была осуществимее проекта жирондистов. Что касается до исполнительной власти, то конституция 1793 г. вручала ее исполнительному комитету из двадцати четырех членов, назначаемых законодательным корпусом из лиц, представленных департаментскими собраниями. Наконец десятая часть первичных собраний, в половине общего числа департаментов плюс один, в каждый момент могла бы потребовать пересмотра конституции (ст. 115). В общем, эта наиболее демократическая из всех французских конституция ослабляла и законодательную, и исполнительную власти, выбиравшиеся лишь на один год. Понятно, что сами творцы конституции издавали ее при тех обстоятельствах, какие тогда переживала Франция, преимущественно лишь в угоду общественному мнению, но не могли ее приложить к делу. Административная система конституцией 1793 г. сохранялась та же, что была установлена конституантой, т. е. оставлялась полнейшая децентрализация, какая действительно могла бы повести к федерализму, в котором обвинялись жирондисты. Заметим еще, что в конституции 1793 г. были статьи (118—121), касавшиеся и международных отношений: «Французский народ — друг и естественный союзник свободных народов. Он не вмешивается в дела правления других наций¹ и не терпит, чтобы другие нации вмешивались в его собственные дела. Он дает убежище иностранцам, изгнанным из отечества за дело свободы, но отказывает в убежище тиранам. Он не заключает мира с неприятелем, занимающим его территорию».

Вместо какой-либо конституции за все время Конвента (1792—1795) во Франции существовала диктатура, как на деле существовала и диктатура конституанты (1789—1791), пока вырабатывалась конституция 1791 г. *Действительно, власть Конвента была столь же неограниченна, как и власть абсолютных монархов*². Собственно правительственная власть была в руках разных комитетов, из которых наиболее важную роль играли Коми-

¹ Как часто и много эта статья нарушалась впоследствии!

² См. об этом и о последующем в предыдущей главе.

тет общественного спасения и Комитет общей безопасности (с. du salut public., с. de la sûreté générale): первый, в состав которого в разное время входили между прочим, С. Жюст, Кутон, Робеспьер (причем в конце состав его не обновлялся), пользовался исполнительной властью, а второй имел право предавать революционному суду. Под начальством Комитета общественного спасения находились комиссии (числом 12), заменившие собой, по декрету 12 жерминаля II года (1 апреля 1794 г.), министров как «учреждение монархическое». На практике далее и муниципальные, и департаментские власти, выходявшие из народного выбора, должны были подчиниться установленным в каждой общине комитетам надзора (21 марта 1793 г.) и национальным агентам или конвентским комиссарам (représentants en mission), распоряжавшимся революционной армией и революционным судом, последний же действовал без каких бы то ни было гарантий для подсудимых, хотя бы даже они были и депутаты. Между тем на словах якобинцы продолжали исповедовать либеральные принципы 1789 г., оправдываясь лишь тем, что революционное правление было нужно только на время войны. В специальных декретах о временном правительстве мы читаем: «Временное правительство Франции есть революционное до заключения мира», и все власти «поставлены под надзор Комитета общественного спасения, который будет каждую неделю давать отчет Конвенту», и «революционные законы должны исполняться быстро» (декр. 10 октября 1793 г.). «Национальный Конвент есть единственный центр, приводящий в движение правительство», — сказано также в декрете 4 декабря 1793 г., установившем всю организацию диктатуры и предписавшем «очистить» все установленные власти. Как бы там ни было, *однако, якобинское правление и якобинская конституция находились в самом резком между собой противоречии.*

Падение Робеспьера, С. Жюста и Кутона, в котором главную роль играл другой триумвират в Комитете общественного спасения (Колло, Билло и Барер), сделалось поворотным пунктом в истории террора¹. В оба комитета и в революционный суд были назначены новые члены, и были восстановлены личные гарантии на суде. В Конвенте произошла реорганизация прежних партий: рядом с монтаньярами как их противники стали теперь термидорианцы, сблизившиеся с умеренными, но между новыми партийными комбинациями продолжалась прежняя борьба с прежними поползновениями к захвату власти. Термидорианцы, хотя и говорившие о продолжении революционного режима и даже устроившие перенесение в Пантеон праха Марата и Руссо, вели подкоп под клубы и под предлогом беспорядков даже закрыли в ночь с 11 на 12 ноября 1794 г. якобинский клуб. Вскоре (8 декабря) в Конвент были возвращены 73 жирондиста,

¹ Литературу см. ниже.

исключенные за свой протест против 31 мая, что еще более усилило умеренную партию, в которой начал вскоре играть роль Сизс. Ужасный Каррье, обвиненный в страшных злодеяниях во время террора и оправдывавшийся тем, что ведь «все же были одинаково виноваты», был предан (498 голосов из 500) суду и казнен. Начались преследования и против других лиц, хотя общий характер нового режима должен был заключаться в амнистии: даже декреты об изгнании дворян и неприсяжных священников были взяты назад. В 1795 г. реакция усилилась еще более. В феврале бюст Марата был вынесен из залы заседаний, а в марте возвращены были в Конвент из объявленных «вне закона» жирондистов двадцать два депутата (между ними Инар и Ланжюине).

Париж, однако, все еще продолжал волноваться. 12 жерминаля (1 апреля 1795 г.) на Конвент сделано было нападение парижского пролетариата, просившего «хлеба и конституции 1793 г.», что дало только повод большинству Конвента арестовать и даже казнить некоторых монтаньяров, реорганизовать национальную гвардию и потом обезоружить предместья. 1 прерияля (20 мая) произошло еще одно нападение на Конвент народной толпы, убившей уже одного из депутатов: это было снова «восстание народа для получения хлеба и возвращения своих прав». В собрании произошел переполох, и ворвавшиеся в зал инсургенты заняли места депутатов и вместе с монтаньярами декретировали восстановление революционных мер, но когда большая часть народа к ночи удалась, а остальных разогнала национальная гвардия, только что декретированное народом было снова отменено, и монтаньяры, виновные в сообщничестве с инсургентами, были преданы суду. В следующие дни в Париж были введены войска, совершено было до 10 тысяч арестов, многие затем судились военным судом и были расстреляны, да, кроме того, снова погибло еще несколько человек из Конвента, так называемые «последние монтаньяры»¹. *Прерияль III года нанес последний удар революционному движению в лице санкюлотов и «последних монтаньяров», потерпевших поражение от термидорианцев. В то же самое время начались кое-где роялистические восстания, нередко прикрывавшиеся, впрочем, знаменем жирондистов и действовавшие террористическими средствами против «патриотов»: на юге Франции это движение приняло даже довольно значительные размеры, да и вандейцы не были еще усмирены. Опять Конвенту приходилось поэтому принимать чрезвычайные меры.*

Но время революционного правительства приближалось к концу. 22 августа 1795 г. Конвент принял новую конституцию, которая получила название конституции (5 фрюктидора) III года, и постановила чтобы в новые законодательные собрания («совет пятисот» и «совет старейшин») две

¹ Claretie. Les derniers montangards. Claretie.

трети членов были избраны из членов Конвента, т. е. в данном случае была принята мера, диаметрально противоположная самоисключению членов конституанты. И конституция, и декрет о двух третях были приняты в первичных собраниях — первый миллионом голосов против 50 тысяч, второй 168 тысяч против 95 тысяч. Роялисты, поднимавшие в это время голову повсюду, решились в самом Париже поднять восстание после того, как в силу упомянутого закона потеряли надежду получить перевес на выборах и легальным путем восстановить монархию¹. 13 вандемьера (5 октября 1795 г.) роялисты возмутили против Конвента несколько секций Парижа и сделали на него нападение, имея в распоряжении около 30 тысяч человек, которых и двинули на Тюильри. Конвент был спасен благодаря только военной силе и особенно вследствие распорядительности артиллерийского офицера Бонапарта, встретившего нападавших картечью. Одержав победу над этим восстанием, Конвент в качестве «национального избирательного собрания» назначил (по закону о двух третях) членов в новые законодательные учреждения, а когда оба совета («пятисот» и «старейшин»), полагавшиеся по конституции III года, окончательно сформировались (17 октября), то выбрали уже сами пять директоров, которым вручалась исполнительная власть: это были Ларевельер-Лейо, Ревбель, Летурнер, Баррас и Карно — все республиканцы, вотировавшие казнь короля. Уступая 26 октября свое место новым властям, Конвент декретировал уничтожение смертной казни после общего умиротворения и общую амнистию, из которой были исключены лишь эмигранты, неприсяжные священники, поддельватели ассигнатов и вандемьерские инсургенты. На другой день (27 октября) Тюильрийский дворец был занят комитетами «пятисот» и «старейшин», а Люксембургский — директорами, после чего конституция III года вступила в действие. Ею Франция управлялась четыре года: революционная диктатура уступила теперь место конституционной республике.

Со времени принятия Конвентом конституции 1793 г. до введения им конституции III года прошло более двух лет, в течение которых террор успел достигнуть своего апогея и затем успела уже обнаружиться и реакция. Все это сказалось на том глубоком различии, которое существует между двумя республиканскими конституциями, бывшими делом одного и того же Конвента: крайние демократы, какими были жирондисты и якобинцы, сошедшие к 1795 г. со сцены, *уступили теперь место более умеренным элементам или таким, которые под влиянием событий последнего времени отказались от многого из того, что защищали сами же прежде*. Действительно новое настроение отразилось на декларации, предпосланной конституции: во-первых, из прав было исключено право сопротивления,

¹ Заметим, что когда умер (8 июня 1895 г.) дофин, сын Людовика XVI, европейская коалиция признала королем Франции гр. Прованского под именем Людовика XVIII.

а, во-вторых, в декларацию, кроме прав (22 статьи), включены были и обязанности (9 статей). Естественными правами объявлялись по-прежнему свобода, равенство, безопасность и собственность (ст. 1–5), причем личная неприкосновенность обеспечивалась целым рядом специальных статей. Закон по-прежнему определялся как выражение общей воли (ст. 6), а верховная власть как заключающаяся в совокупности граждан (ст. 17), но с прибавкой, что частные соединения граждан не имеют права присваивать себе верховной власти и что «никто без законной делегации не может пользоваться какой-либо властью или исполнять какую-либо общественную должность» (ст. 18–19). Наконец, разделение властей и ответственность агентов власти называются необходимыми условиями общественной гарантии (ст. 22). Изложение обязанностей гражданина имеет характер преимущественно моральный: особенно, впрочем, выдвигается вперед требование подчинения законам и законным властям (ст. 3, 5, 6 и 9) и требование поддержания (*maintien*) собственности как основы всего общественного порядка (ст. 8).

Из декларации прав III года выпущено было право сопротивления, ибо составители не хотели делать из новой декларации «арсенал для бунтовщиков». Вообще опыт прошлого сильно действовал на составителей конституции. Буасеи д'Англа, докладывавший проект нового государственного строя, ссылаясь прямо не только на чужой исторический опыт, но и на свой французский, и, между прочим, особенно он настаивал на опасности одного собрания без плотности, которая его сдерживала бы, т. е. без разделения собрания на две палаты, дабы одна, подлежа контролю другой, была осмотнительнее в своих решениях, а другая могла предупреждать ошибки первой. «Все власти, — прибавлял к этому докладчик, — происходят от народа, но т. к. он не может сам ими пользоваться, ему нужно делегировать их таким образом, чтобы ни одна власть не могла его угнетать». Это было прямо возвращением к теории Монтескье. Мы уже говорили, что вопрос о двухпалатной системе представительства ставился в конституанте, но верхняя палата была отвергнута даже Мирабо, думавшим, что достаточно будет королевского «*veto*» против злоупотреблений властью со стороны собрания. То, чего, однако, опасался Мирабо, случилось: единое собрание (Конвент) сделалось действительно деспотическим, и вот составители конституции III года во избежание повторения тирании со стороны национального представительства нашли нужным разделить его на две палаты или «совета» — совет пятисот (*Conseil des Cinq-Cents*) и совет старейшин (*Conseil des anciens*) из 250 членов: первый «предлагал» законы, второй их «одобрял». Этой конституцией далее исполнительная власть поручалась пяти директорам, составлявшим директорию (*directoire*), и ее состав обновлялся ежегодно выходом (по жребию) одного из ее членов и замещением вакансии советом старейшин по списку десяти кандидатов,

представлявшемуся советом пятисот. Директория назначала министров, посланников, генералов и всех чиновников, которые не были выборными. Разделение властей было полное: депутаты не могли быть министрами, директория не имела ни малейшего участия в законодательстве: как директория не имела права распустить или отсрочить советы, так и последние не были вправе низложить директоров. В этом был большой недостаток: две власти ставились рядом, но без всякой связи между собой, а в случае их столкновения не существовало средства разрешить кризис (например, роспуском советов и обращением к нации или выходом в отставку министров), что впоследствии привело к ряду государственных переворотов¹. Мало того, разделение исполнительной власти между пятью директорами вело к конфликтам и между ними, выходом из которых опять являлось простое правонарушение. *Все это делало конституцию III года весьма неустойчивой* и низвержение ее Наполеоном Бонапартом было лишь завершением тех ее нарушений, которые начаты были самими конституционными властями (да и в заговоре Бонапарта участвовали два директора). В принципе конституция III удерживала, наконец, всеобщую подачу голосов на выборах, но возвращалась к двухступенной системе выборов 1791 г. Что касается до администрации, то в конституции III заметно уже некоторое стремление подчинить местные власти центральному правительству, что выразилось в праве последнего временно отрешать от должности или смещать эти власти (выборные департаментские и муниципальные директории) и в назначении при них правительственных комиссаров в роли контролеров, наблюдающих за исполнением законов.

Мы знаем, что Конвент весьма строго преследовал неконституционных духовных (декрет 12 жерминаля казнил смертью всякого, кто принял бы неprisяжного священника), что одно время отменялось декретом Конвента само христианство, а другим вводился культ Верховного Существа, что церкви запирались по приказанию муниципалитетов и запрещался всякий культ, кроме гражданского (т. е., кроме католического, протестантский и еврейский). Робеспьер старался отменить антирелигиозный террор, исходивший не столько от Конвента, сколько от муниципальных властей, хотя Конвент и провозгласил свободу культов. В сентябре 1794 г. Конвент объявил, что республика не оплачивает никаких служителей религии. Декрет 21 февраля 1795 г. запрещал нарушать свободу культов, но запрещал и всякие внешние их проявления (процессии на улицах, колокольный звон, внешние знаки на зданиях, особый духовный костюм). Декрет 30 мая возвратил церкви ее здания, которые не были еще отчуждены, но декрет 29 сентября 1795 г. подтвердил еще раз запрещение внешних

¹ 18 фрюктидора и 22 флореаля против советов и 30 прериаля против директории, о чем в следующей главе.

знаков. Так как декрет 21 февраля 1795 г. не делал никакого различия между присяжными и неприсяжными священниками, то в разных местах он толковался разным образом, да и сам Конвент в 1796 г. то возобновлял, то ослаблял прежние меры (например, согласившись в мае на то, чтобы священники давали только простое обещание подчиняться законам). В это время образовалось во Франции два культа — присяжный и неприсяжный, но правительство, относясь довольно терпимо ко второму, не оплачивало и первого и вместе с тем и ему не позволяло внешнего проявления. В самом присяжном духовенстве возник также раскол: некоторые епископы женились и позволили брак своим подчиненным, тогда как другие были против этого. Во всяком случае *с падением террора свобода совести снова стала вступать в свои нарушенные права.*

В эпоху террора не могло быть также ни свободы собраний и сходов, ни свободы печати, если только дело не касалось клубов, сборищ и изданий самих якобинцев. Роялистические или даже умеренно-республиканские клубы и сходки разгонялись, подобно тому, как после 9 термидора началась репрессия против якобинцев, и дело дошло до закрытия их клуба. Закон 25 вандемьера III года (16 октября 1795 г.) даже прямо запрещал какие бы то ни было сношения между отдельными обществами как нечто антиправительственное (subversives du gouvernement) и противное единству республики. Свободы прессы вообще не существовало с 10 августа 1792 г. для роялистов как «отравителей общественного мнения», по выражению парижского общинного совета: де Розу, редактор «Cazette de Paris», даже был приговорен к смертной казни, а типография «Ami du Roi» была отдана жирондистскому публицисту Горса (Corsas), издававшему «Courrier des departements», но в марте 1793 г. его типография была разрушена сторонниками якобинцев. Та же печальная судьба запрещений и преследований постигла после 31 мая 1793 г. вообще все газеты жирондистов, а затем и «Vieux Cordelier» Демулена (дантониста) или «Journal de Paris» поэта Андрея Шенье. Наконец, после 9 термидора и якобинские газеты подверглись подобной же участи. Сначала все это делалось без всякого закона, но 29 марта 1793 г. был издан декрет, объявлявший смертную казнь за призыв к убийству, нарушению прав собственности и восстановлению монархии. Конституции 1793 г. и III провозгласили свободу печати, но истинным выразителем мнения тогдашнего общества по этому вопросу были не составители деклараций прав, а Шабо, бывший капуцин, который говорил, что свобода печати была нужна лишь для установления свободы, но что затем роль ее кончилась, ибо свобода прессы могла бы, пожалуй, повредить самой свободе. Не было также при терроре и свободы местной жизни, несмотря на полную децентрализацию, введенную конституантой и в принципе поддержанную Конвентом. Против деспотизма парижского муниципалитета (коммуны) совершались восстания в других городах и де-

партаментах, но самое простое стремление к пользованию местной свободой рассматривалось как «федерализм», за который, как известно, немало пострадали жирондисты.

Рассматривая вообще деятельность Конвента, было бы односторонним (в том или другом направлении) сводить всю его историю в борьбе его партий, в организации им национальной защиты к его деспотизму, к террористическим мерам и т. п. Не все якобинцы или их союзники выдвигали на первый план клубную агитацию и политические интриги в Конвенте: между членами последнего были и деловые люди, хорошие работники, энергично трудившиеся в комитетах, хотя и бывшие мало заметными (кроме Карно, «организатора победы») на поприще публичной жизни. Особенно напряженную деятельность развивали лица, заведовавшие армией (Карно), снабжением как армии, так и флота всем необходимым (Приер, Жан Бон С. Андре), народным продовольствием (Ленде), финансами (Камбон), народным просвещением (Лаканаль) и т. п.: их преданности делу, их предусмотрительности, их энергии Франция была многим обязана в трудную пору своей жизни. Деловые люди, хорошие работники были и между конвентскими комиссарами в департаментах, и против данных, несомненно свидетельствующих о том, что очень многие из них запятнали себя насилиями, жестокостями и грабежами¹, можно выставить ряд данных, указывающих и на чисто деловую и полезную работу этих «командированных представителей народа». Кроме того, в Конвенте шла работа законодательного характера с весьма важными результатами. В то самое время, как все суды в эпоху террора превратились в произвольные орудия тирании, да и сам Конвент деспотически кассировал ненравившиеся ему судебные решения, издавались новые законы, касавшиеся семейного, имущественного и наследственного права; многие из них, правда, не удержались при последующих режимах, но некоторые вообще вместе с законами конституанты и легислативы вошли потом в состав гражданского кодекса. Последнего просили еще указы 1789 г., но первый проект кодекса был представлен только Конвенту Камбасересом 9 августа 1793 г., хотя честь завершения этой работы принадлежит эпохе консульства. Подобного рода предприятия мы уже встречали в эпоху «просвещенного абсолютизма», но тогдашние кодификации уступают французской². Камбон, заведовавший финансами, также улучшил эту важную сторону государственной жизни. В Конвенте, далее, существовал особый Комитет народного просвещения, в числе членов которого весьма видную роль играл после Кондорсе, действовавшего еще в легислативе, знаменитый Лаканаль. Уже указы 1789 г. выражали известные желания относительно

¹ См. III том «Революции» Тэна и особое сочинение Валлона об этом предмете.

² *Sevin. Etudes sur les origines révolutionnaires des codes Napoléon.*

народного образования¹. Первые два собрания, хотя и занимались этим вопросом, но ничего почти не сделали, тогда как Конвент, члены которого ставили заботу народного образования в число обязанностей государства в жирондистской и якобинской декларациях², весьма много занимался народным просвещением, по которому ему представлено было несколько проектов. К сожалению, и здесь дело не обошлось без колебаний, тем более, что сразу было трудно выполнить великую задачу. Сначала в силу декретов 30 вандемьера и 29 фримера II года (21 октября и 19 декабря 1793 г.) принят был принцип для всех обязательного и дарового образования, но декретом 3 брюмера IV года (25 октября 1795 г.) он отменил прежнее распоряжение. По общему плану в каждом департаменте должна была существовать средняя школа, в которой отводилось широкое место математике, естественному, истории и философии. Для высшего образования, для науки и искусства Конвент создал нормальную школу (9 брюмера III года, т. е. 30 октября 1794 г.) для приготовления преподавателей, в которой заняли кафедры крупные ученые (Лангранж, Лаплас, Монж, Гаюй, Бертолле) и литераторы (Вольней, Бернарден де С. Пьер, Лагарп), создал далее центральную школу публичных работ (позднее политехническая школа), специальную школу восточных языков, бюро долгов, консерваторию искусств и ремесел, луврский музей, национальную библиотеку, национальные архивы, музей французских древностей, национальную консерваторию музыки, артиллерийский музей, художественные выставки, не говоря о том, что были реформированы и старые учреждения. Во главе всех этих установлений был поставлен Национальный институт, в котором были слиты воедино реорганизованные академии, бывшие раньше, по выражению Мирабо, школами сервиллизма и лжи (1795). Конвент напрасно обвиняли в революционном вандализме: создавая музей национальных древностей, он прямо даже запретил портить памятники старины под предлогом уничтожения знаков феодализма и королевской власти. Если среди якобинцев и были люди, думавшие, что республике не нужно ученых, то в общем Конвент держался мнения Лаканалья, одного из своих членов, сделавшегося председателем Комитета народного просвещения: «Невежественный народ не может быть свободным». Конвент впервые узаконил и право литературной собственности («право гения», по выражению Лаканалья, 19 июля 1793 г.), прежде бывшее королевской привилегией.

¹ *Allain*. Cahier des états généraux relatifs à l'instruction publique. Отмечаем и вообще литературу предмета: *Babeau A.* L'école de village pendant la révolution; *Hippeau*. L'instruction primaire pendant la révolution; *Duruy A.* L'instruction publique et la révolution; *Despois*. Le vandalisme révolutionnaire, fondations littéraires, scientifiques et artistiques de la convention; *Guillaume*. Procès verbaux du comité d'instruction publique de l'Assemblée législative.

² Недаром автором первой был Кондорсе, еще легислативе представивший общий план организации народного образования.

Конвенту немало было хлопот с благотворительностью и продовольствием голодающих, что особенно вызывалось тяжелыми обстоятельствами эпохи. Особые заботы Конвента о неимущих дали некоторым повод *противопоставить эпоху 1793 г. как время реформ социальных эпохе 1789 г. как времени реформ исключительно политических*. Нет ничего неосновательнее такого разделения: и конституанта, и Конвент одинаково были заняты разрешением обеих категорий вопросов. Можно даже сказать, что главная социальная реформа была произведена учредительным собранием, и что Конвент ни в чем не переделал, да и не пытался переделать социальный строй, возникший в 1789–1791 гг. на развалинах «старого порядка», только довершив своим декретом 17 июля 1793 г. начатое конституантой уничтожение феодальных прав. Односторонние критики революции ставили ей в вину и то, будто она ограничилась одними лишь политическими реформами, не тронув социального строя, и то, будто она слишком далеко ушла вперед в реформах социального характера, не сделав ничего существенного в политической области, но самое это противоречие возможно лишь благодаря тому, что вообще история 1789–1799 гг. не была ни исключительно политической, ни исключительно же социальной. Одно только верно, что в 1793 г. — да и то более теоретически только — обострился вопрос социальный, откуда еще далеко до утверждения, будто мыслью Конвента было произвести какую-то социальную революцию в том смысле, в каком это слово употребляется в XIX в.¹ Хотя мы уже коснулись этого вопроса раньше, но теперь считаем нужным к нему вернуться еще раз.

Приписывание законодательству Конвента (как и вообще якобинизму) социалистического характера основывается на ряде недоразумений. Во-первых, исходным пунктом якобинизма была мысль чисто политическая, тогда как у социалистов такой отправной точкой является мысль экономическая. Весь якобинизм заключен в «Общественном договоре» Руссо, который было бы правильнее называть договором государственным, политическим, а не социальным: Руссо создал форму «братской ассоциации», как выражается Морлей, для политической жизни, но если эта формула нашла потом (у Луи Блана) применение к жизни экономической, то сам Руссо не делал такого применения. Во-вторых, многие историки слишком склонны видеть прямой социализм во всех заявлениях, где сопоставляются богатство и бедность, неравенство имуществ и т. п., или в чисто теоретическом отрицании прав собственности, хотя бы отсюда не делалось других выводов, кроме улучшения законов для облегчения участи

¹ Из авторов популярных историй революции такой взгляд опровергает, напр., Карно (см. стр. 215 и след. русского перевода). (Кареев имеет в виду книгу: *Карно Л.И. История Французской революции* / Пер. с фр. под ред. и с пред. Р.И. Сементковского. СПб.: Ф. Павленков, 1893. — *Прим. ред.*)

бедняков или кроме необходимости организации общественной помощи. В-третьих, основу социализма составляет, как известно, учение о непримиримости интересов имущих и неимущих классов, на точку зрения какой якобинцы вовсе не становились, и, например, Робеспьер прямо говорил, что весь вопрос лишь в том, чтобы сделать бедность уважаемой, вовсе не уничтожая рядом с ней и богатства. В-четвертых, ни якобинцы, ни Конвент вообще никогда не говорили о том, чтобы орудия производства и средства обмена должны были находиться в общем обладании или чтобы уничтожены были состояния наемника и нанимателя, т. е. продажа и покупка труда, среди членов клуба и собрания были даже такие, которые скорее могли опасаться, как бы без стимула нужды рабочий человек не обленился; что же касается до коммунизма, имевшего больше чисто отвлеченный характер, то его идея распространялась лишь на одну поземельную собственность. В-пятых, в основу социализма легло учение о необходимости обобществления труда («*travail sociétaire*» Сен-Симона), тогда как якобинцы и Конвент были не менее, чем конституанта, враждебно настроены ко всякого рода ассоциациям, причем имелось в виду не только несоответствие корпоративного интереса общему благу, но и то, что государство будет доставлять работу нуждающимся или оказывать помощь престарелым и больным и тем самым делать ненужными кассы взаимопомощи, которые могли бы возникнуть при ассоциациях¹. Наконец, уже в силу простого смешения понятий деятельность революционного правительства представляется социалистической и в тех случаях, когда, например, это правительство регулировало рыночные цены на припасы, запрещало оптовую их закупку, хранение их в больших складах, устанавливало *tauximum* цены на хлеб или принимало репрессивные или террористические меры против собственников, враждебных революции.

В частности, Конвенту приписывается вражда к принципу частной собственности, якобы заимствованная им у Руссо и других демократических писателей. Но верно ли это? В известном месте своего рассуждения о неравенстве² Руссо как будто и в самом деле вооружается против права собственности, но в действительности он нигде не говорит о том, чтобы в гражданском состоянии возможна была отмена этого права. Мало того: в этом же рассуждении, объяснив возникновение собственности захватом, он сам покидает эту мысль и становится на точку зрения Локка³, выводившего право собственности из труда, а в одном из примечаний прибавляет, что «строгое равенство естественного состояния неосуществимо (*praticable*) в гражданском обществе». В статье своей о политической эконо-

¹ Такое соображение высказывалось, между прочим, при обсуждении закона 14 июня 1791 г.

² Место приведено нами выше, с. 197, 198.

³ Впрочем, Руссо колебался, становясь и на точку зрения Гоббса.

номии¹ Руссо даже называет собственность одним из самых священных прав гражданина, т. к. она обеспечивает сохранение жизни. Самой целью общественного договора ставится у него обеспечение не только личности, но и имущества. У Руссо на первом плане политика, а не экономия, как и у Мабли, поскольку последний был представителем коммунистических идей, опять-таки главное дело не в экономии, а в морали: Мабли порицает частную собственность как источник себялюбия, вредного в моральном отношении. Вместе с тем Мабли самым решительным образом заявляет, что нужно уж терпеть последствия сделанной «глупости», ибо никакая людская сила не могла бы вернуть нас к естественному состоянию. Точно также и Бриссо, в сущности только повторявший идеи Руссо и Мабли, в своих «Исследованиях о праве собственности и кражи» исходил из юридических, а не экономических соображений и прямо говорил, что его рассуждение не относится к гражданскому обществу. Бриссо сам участвовал в революции, но стоял в рядах партии, которую никто не обвинял в нападении на собственность. Переходя к якобинцам, можно положительно сказать, что Робеспьер никогда не призывал к упразднению частной собственности: он стоял на точке зрения Руссо и самое большее, что допускалось им, это содержание бедных на счет богатых; но это, как мы видели, было не только принципом якобинизма, выраженным в одной из статей декларации 1793 г., но и принципом жирондистов, и, в конце концов, в данном случае мы имеем дело только со стремлением к установлению во Франции той практики общественного презрения бедных, которая утвердилась в Англии в силу законов о бедных еще при королеве Елизавете, т. е. более, чем за двести лет до Французской революции. На той же точке зрения стоял даже Марат, написавший на основании идей Руссо памфлет, озаглавленный «Проект уголовного законодательства», где он говорит, во-первых, что в обществе не должно быть людей, лишенных необходимого, а потому нужно помогать бедным, впрочем, не даром кормя бездельников, а устраивая национальные мастерские (английские рабочие дома в сущности) для неимущих, и, во-вторых, что нужно смягчить уголовные законы против кражи, ибо между ценой золота и ценой жизни нет ничего общего, т. е. Марат становится здесь на точку зрения Бриссо. В эпоху Французской революции образовалась еще «секта равных» (*la secte des égaux*), к которой принадлежали Бабеф и Антонелль, которые позднее устроили заговор, известный под названием «*conjuración des égaux*»: они оба были последователями Руссо и Мабли и делали из их взглядов коммунистические выводы, но более теоретического свойства, практически же они желали, чтобы у

¹ Кареев имеет в виду сочинение Руссо, которое на русский язык было переведено под названием «Гражданин, или Рассуждение о политической экономии» в 1787 г. Эта работа представляет собой обширную статью, написанную Руссо для знаменитой Энциклопедии Дидро и д'Аламбера. — *Прим. ред.*

каждого было необходимое и ни у кого не было излишнего. Особенно чисто теоретическим характером отличается коммунизм Антонеллы: в своих «*Orateur plébéien*» и «*Journal des hommes libres*» он, воздавая хвалу обобщению имуществ в теории, замечает, например, что никогда нельзя исторгнуть из жизни старых народов слишком глубоко пустившее в ней свои корни «роковое учреждение» собственности, и что вовсе не следует сейчас же вотировать ее отмену. Впрочем, и Бабеф в своем «*Tribun du peuple*»¹ не раз заявлял, что целью его вовсе не является проведение, как он выражался, аграрного закона. В громадном большинстве случаев из коммунистических рассуждений, какие можно найти и у других публицистов эпохи, делался тот практический вывод, что право частной собственности должно быть ограничено. На этой именно точке зрения стоял и сам Робеспьер, составивший (в 1792 г.) свою декларацию прав, где признавалось гарантированное законом право собственности и вместе с тем это право ограничивалось (*le droit de propriété est borné*), как и все другие права, обязанностью уважать чужое право. Или, например, аббат Фоше заявлял прямо, что передел земель сразу невозможен, но что законодательство постепенно (*doucement*) могло бы привести к более равномерному распределению собственности. «Всякий человек, — говорит он, — имеет право на все для него необходимое» и «право каждого частного лица на его поземельную собственность всегда подчинено праву общества (*communauté*) над всеми». В конце концов, принцип частной собственности при всем теоретическом коммунизме, к какому склонны были и далеко не все, и не одни якобинцы, стоял твердо и в законодательстве Конвента, и в общественном сознании, но он требовал разных ограничений во имя общественного интереса. Даже самые ревностные защитники права собственности, какими были физиократы, и те не останавливались перед нарушением этого права во имя общественного интереса, когда ради успехов сельского хозяйства и промышленности они восставали против феодальных прав и цеховых привилегий, составлявших известные виды собственности сеньоров и мастеров. Тем не менее остается верным, что в идеях всей революции вообще (но не одного Конвента) мы видим зародыш той постановки социального вопроса, какую он получил в XIX в.

Конвенту приписывается далее изобретение «права на труд», но и это неверно, ибо еще Монтескье, в данном случае, вероятно, находившийся под влиянием английской системы общественного призрения бедных (которой желал в сущности и Марат), высказал мысль, по которой государство не должно ограничиваться раздачей милостыни, а обязано приходить на помощь нуждающимся, не имеющим в данное время работы, для пре-

¹ «Трибун народа». Некоторые номера этой газеты переведены Е.В. Рубининым и помещены в издании: *Бабеф Г. Сочинения*. Т. 3. М.: Наука, 1977.

дупреждения народного бедствия или даже народного восстания. Затем и Тюрго говорил об этом в том же самом смысле. Ему даже удалось в бытность свою лиможским интендантом организовать принудительную помощь пострадавшим от неурожая, бывшего в Лимузене, для организации общественных работ (*ateliers de charité*), а потом в роли министра он добился ассигнований особой суммы для устройства благотворительных мастерских во всей Франции, чтобы оказывать помощь бедным посредством доставки им возможности трудиться. Мало того, в эдикте, отменявшем цехи, Тюрго прямо употребляет выражение «право трудиться» (*droit de travailler*), объявляя это право «собственностью каждого человека», а «эту собственность — первой, самой священной и самой неотъемлемой из всех» и тут же он выставляет принцип, что «государь (*souverain*) должен особенно заботиться об этом классе общества, у которого нет иной собственности, кроме труда и промыслов» (*industrie*), т. е. Тюрго не только освобождал личный труд от цеховых стеснений, но и находил еще нужным, чтобы государство и общество приходили на помощь людям, нуждающимся именно в труде. Вопрос, который таким способом решался Тюрго, давно уже имел во Франции практическое значение ввиду страшного развития нищенства, озаботившего и правительство, и общество, и публицистику и до 1789 г., озаботившего в 1789 г. составителей *cahiers*¹ и авторов политических брошюр, озаботившего, наконец, и первые два национальных собрания, и, между прочим, решался теоретически в смысле устройства благотворительных мастерских (*ateliers de charité*) на общественный счет, дабы лица, бедствующие от безработицы, могли найти занятие и средства к пропитанию, для образования же необходимых при этом средств предлагался налог в пользу бедных (*taxe des pauvres*), и рекомендовалось учреждение особых бюро благотворительности (*bureau de charité*). Можно даже сказать, что и в данном случае, как во многих других, указы и брошюры повторяли только идеи Тюрго, который, по словам Кондорсе, написавшего его биографию, главным образом и вызвал общее стремление к реформе благотворительности. Между тем и Тюрго, и Кондорсе были физиократами, а это значит, что, во-первых, они защищали права собственности и интересы собственников, а во-вторых, стояли на точке зрения теории, которая не только не признавала непримиримости интересов имущих и неимущих классов, лежащей в основе социалистического учения, но даже, наоборот, доказывала, тождественность интересов и даже во имя именно общественного блага, создаваемого лучшей системой сельского хозяйства, требовала превращения мелких хозяев в безземельных рабочих на крупных фермах. Бонсерф, автор брошюры о неудобстве феодальных прав, написанной по внушению Тюрго, тоже высказывал в осо-

¹ Наказы (*фр.*). — *Прим. ред.*

бой брошюре («De la nécessité et des moyens d'occuper avantageusement tous les gros ouvriers») мысль такого рода: каждый имеет право на существование, соединенное с обязанностью трудиться, общество же должно помогать своим членам пользоваться этим правом и исполнять эту обязанность, раз те или другие члены общества сами этого не могут сделать. Что Бонсерф в данном случае не был исключительным защитником рабочего класса как имеющего интересы, противоположные интересам класса собственников, можно видеть из его заботы (такой же как у Монтескье) о том, чтобы бедные, не имеющие работы, не сделались опасными, особенно соединившись в какое-либо сообщество. Во всяком случае, и здесь жизнь начинала ставить новые вопросы, и опять-таки участвовал в их разрешении не один Конвент.

В эпоху Конвента вопрос о распродаже национальных имуществ продолжал также стоять на очереди. Мы уже видели, что учредительное собрание в данном случае не обнаружило особенной заботливости о том, чтобы облегчить покупку земли крестьянам мелкими участками. Для комитета, которому поручено было это дело, на первом плане стояли при этой операции интересы казны, тем более, что здесь господствовал физиократический взгляд, неблагоприятный по отношению к мелкому землевладению и крестьянскому хозяйству. Комитет, занимавшийся вопросом (*comité de mendicité*, организованный в 1790 г.), тоже колебался между таким взглядом и той мыслью, что надел бедных землей был бы хорошим средством прекратить нищенство. Между прочим, в обществе существовало опасение, как бы при развитии мелкой собственности не пострадали интересы крупной, и этот взгляд высказывался в самом Конвенте. Когда здесь один депутат (Fauau) заявил, что народ не извлек выгоды из отчуждения национальных имуществ, прибавив к этому, что «без благосостояния и свобода непрочна» (*là où le bonheur n'est pas, la liberté chancelle*), то другой депутат (Lozeau) возразил ему, что если бы каждый обрабатывал собственное поле или собственный виноградник, торговля, ремесла и промышленность скоро погибли бы. Того же мнения держались некоторые конвентские комиссары в провинциях. Вообще, вопрос этот вызвал весьма обширную брошюрную литературу, часто рекомендовавшую образование мелкой собственности, но в ней почти совсем не заметно социалистических и коммунистических тенденций. Возражали авторам таких брошюр другие публицисты, доказывавшие необходимость крупной собственности и свободных рук для ее обработки. К эпохе Конвента вопрос этот получал все большее и большее значение чисто практического свойства. Долговременное революционное брожение усиливало бедность в деревнях, и крестьяне или уходили в армию, или отправлялись в города, где положение низших классов населения было не лучше. В народной массе все больше и больше развивалось стремление к приобретению земли, что не могло не подейст-

водить на демократических деятелей революции, тем более что в этом смысле составлялись и крестьянские петиции. Якобинцы видели в распродаже национальных имуществ политическое средство привязать народ к конституции¹, а также средство улучшить финансы, к чему прибавлялось еще соображение и о более равномерном распределении имуществ, но оно не было главным соображением и вообще отличалось некоторой неопределенностью. Один весьма популярный среди якобинцев памфлет, появившийся еще в 1790 г.², прямо ставил вопрос таким образом: нация лишь тогда может облегчить бедным приобретение ее имуществ, когда успеет расплатиться со своими долгами. Но особенно для нас важно то, что среди якобинцев было немало лиц, купивших себе земли, и что они не обнаруживали ни малейшей склонности с кем-либо ими делиться. В одном современном памфлете против якобинцев (*Le club des jacobins*) от имени народа высказывалась даже жалоба, что революция принесла выгоду (*a été heureuse*) только якобинцам, и что народ всегда будет ни во что не ставиться. Подобно тому, как в XVI в. особенно рьяными протестантами делались покупщики бывшей монастырской и церковной собственности, так в эпоху революции нередко записывались в «народные общества» якобинцев именно такие лица, которые приобрели покупкой землю из национальных имуществ³. Нередко между покупщиками имений и крестьянами, державшими в аренде отдельные участки, происходили даже столкновения, вследствие чего значительно усилились в это время аграрные преступления. Народная масса принимала подчас такое даже грозное положение, что окончательно приобретатели национальных имуществ успокоились лишь под сильной властью Наполеона. В общем Конвент несколько не изменил способа отчуждения национальных имуществ, сохранение которых за собой сделалось одним из стремлений буржуазии за все последующее время. В этом отношении революция конца XVIII в. удивительно напоминает, например, секуляризацию монастырской собственности в Англии в середине XVI в., когда члены парламента, пользовавшиеся из бывших монастырских земель, готовы были согласиться на восстановление католицизма, но ни под каким видом не давали согласия на реставрацию монастырской собственности⁴: тогда это было дворянство (лорды и джентри), теперь — буржуазия. Немудрено, что конституция III года (статьей 374) взяла под свою охрану («*comme garantie de la foi publique*») закон-

¹ С. Жюст говорил, что он не верит в упрочение свободы, пока будет существовать возможность подымать несчастных (*les malheureux*) против нового порядка вещей.

² «*Opinion de M. Polverel sur l'aliénation et l'emploi des biens nationaux*».

³ На это указывали еще Мишле и Анри Мартен (*Histoire de France depuis 1789*).

⁴ При этом лорды заявили, что у них есть мечи, которыми они будут защищать свое право. «Скорее мир будет опрокинут, чем мы отдадим назад наши имения», — говорили якобинцы.

ных покупателей (*acquéreurs*) национальных имуществ, каково бы ни было их происхождение. Все последующие конституции (консульская VIII года, императорская XII года и хартия 1814) гарантировали то же право. Таким образом, когда якобинцы защищали распродажу национальных имуществ, нередко они далеко не были при этом сторонниками идеи о наделе собственностью народной массы. Когда, однако, политические радикалы стали слишком задевать и новых собственников, последние даже стали отворачиваться от якобинизма, что было одним из источников реакции, наступившей после 9 термидора. Нужно еще заметить, что сами бывшие привилегированные нередко возбуждали в это время крестьянскую массу против буржуазии.

Другим важным актом Конвента, касающимся аграрных отношений, было издание закона о разделе общинных земель, т. е. таких угодий, которые находились в совместном владении всех жителей одной или нескольких общин или же одной какой-либо части общины. Еще легислатива декретировала 14 августа 1792 г. эту меру по отношению ко всем общинным угодьям, кроме лесов, причем делала этот раздел обязательным. Конвент своим декретом 10 июня 1793 г. объявлял раздел лишь факультативным: вопрос о разделе (притом поголовном) должен был решаться лицами обо-его пола, имеющими право на участие в нем и достигшими 21 года, и «если одна треть голосов будет за раздел, то раздел и будет решен» (притом уже бесповоротно). Декрет разрешал и отчуждение или отдачу в аренду общинных земель, как позволял продолжать ими пользоваться и сообща, деньги же от продажи или арендная плата должны были делиться поровну, а не употребляться каким-либо иным способом. Дележ производился медленно, да и продажа шла туго, и мера особого значения не имела. Любопытно, наконец, что в Конvente были еще голоса, требовавшие присоединения общинных земель прямо к национальным имуществам: это, конечно, значило бы уже просто экспроприировать крестьян.

После всего этого нельзя сказать, чтобы Конвент сделал какую-либо попытку изменить тот общественный строй, который был результатом первых двух лет революции и деятельности учредительного собрания. Еще менее что-либо подобное можно сказать о законодательстве времен директории. Все различие между первым и вторым периодом революции было таким образом преимущественно политическим.

В заключение мы сделаем лишь краткий очерк эпохи директории.

XLII. Внешние победы и внутреннее бессилие Франции в эпоху директории¹

Общий взгляд на эпоху директории. — Общие причины победы Франции в международной борьбе. — Французские победы после 1793 г. — Революционная пропаганда в соседних странах. — Нарушения конституции III года. — Отсутствие внутренней свободы. — Гракх Бабеф. — Jeunesse dorée. — Общественное настроение. — Генерал Бонапарт и 18 брюмера. — Заключение.

Общий характер истории Франции при директории может быть определен словами: эпоха внешних побед и внутреннего бессилия. Сама конституция III года не дала Франции прочной организации и скоро стала нарушаться, а вместе с тем, с одной стороны, делались попытки воскресить только что пережитую эпоху, завершившуюся переворотом 9 термидора, с другой же, начавшаяся реакция стала принимать роялистический характер. Все те, кто не желал ни возвращения якобинской диктатуры, ни восстановления старых политических и социальных порядков, рухнувших в 1789 г., — а таков был наиболее влиятельный общественный класс, буржуазия, — прежде всего нуждались в прочном порядке и в сильном правительстве, — в порядке, который делал бы невозможным возобновление якобинского деспотизма, в правительстве, которое исключало бы возможность повторения анархии. Между тем порядок или не устанавливался, или для его установления приходилось прибегать к нелегальным средствам государственных переворотов; террор снова возвращался; правительство оказывалось внутри разделенным, а якобинские и роялистические происки не прекращались. Это было какое-то внутреннее разложение, при котором общество вдобавок страдало своего рода апатией, утомлением, разочарованием, в то же время тяготясь всем этим и ища выхода из подобного состояния. Все наиболее способное, наиболее талантливое, наиболее живое или погибло в эпоху тер-

¹ D'Hericault. La révolution de thermidor; Thibaudeau. Histoire de la Convention et du Directoire; Barante. Histoire du Directoire. De Goncourt. La société française pendant le Directoire; Thureau-Dangin. Royalistes et républicains (здесь важна первая часть: La question de monarchie ou de république du 9 thermidor au 18 brumaire); Victor Pierre. La terreur sous le Directoire. Для внешней политики см.: Masson F. Le département des affaires étrangères pendant la révolution; Marc Dufraisse. Histoire du droit de paix et de guerre de 1789 à 1815. О волонтерах и революционных армиях см. соч. Rousset, Fr. Mège, Michelet, Chassin, Jung, Ch. Comte (история национальной гвардии), Rambaud (Les Français sur le Rhin), Gralli (L'armée française en Egypte) и др. Биографию Наполеона, его характеристику и рассказ о 18 брюмера, равно как указания на литературу о Наполеоне, оставляем до следующей книги (под названием «Консульство, Империя и Реставрация». — Прим. ред.). Там же литература по истории влияния Французской революции на Европу.

рора, уступив свое место посредственностям или же на границах Франции, а потом за ее пределами защищало отечество и вело революционную пропаганду. Можно сказать, что после 9 термидора главный интерес французской истории сосредотачивается на внешней политике: революция сказала последнее слово, остановилась, не пошла дальше, даже начала уступать место реакции, но это было только внутри Франции, потому что в Европе, наоборот, революционная Франция только входит в свою роль, одерживая победы над государствами «старого порядка». На войну в это время устремляется все, что отличалось революционным энтузиазмом, более энергичным характером, жадной деятельностью, подвигов, славы, уходит все, что не хочет переносить дома нужды, ищет легкой наживы, шума лагерей и битв. На войне создается дисциплинированная и организованная сила, и эта сила мало-помалу начинает чувствовать и сознавать себя как нечто отдельное и самостоятельное. Скоро «слава» и «добыча» делаются лозунгом этой армии вместо «отечества» и «свободы». Если еще раньше строились планы, опираясь на армию, совершать государственные перевороты, то ни старому двору, ни Буйлье, ни Лафайету, ни Дюмуре не удавалось даже начать осуществление своих замыслов: войско, чувствовавшее живую связь с народом, за ними не шло, да и сопротивление таким попыткам было бы оказано сильное. Теперь все стало изменяться: армия прониклась иным духом, а страна обессилела. Мало того: правители Франции сами стали вмешивать высших офицеров и солдат во внутреннюю политику, опираясь на их помощь в своих интригах и переворотах. За неудачей опыта с конституционной монархией последовала неудача опыта с республикой, впереди оставалась только военная диктатура. Когда явился человек, сумевший направить силу армии против конституционных учреждений страны, когда в этом человеке известные общественные элементы увидели спасителя внутреннего порядка от дальнейшей революции и спасителя приобретений революции от реставрации старого режима, диктатура эта и была основана, и если Францию она лишила политической свободы, то по отношению к Европе она получила, наоборот, значение дальнейшей организации революционного правительства для борьбы со старыми политическими и социальными формами. В сущности, *установление этой диктатуры было как бы завоеванием дезорганизованной Франции гражданской организованной Францией военной.*

Франция, объявившая в 1792 г. войну Австрии, к которой присоединилась Пруссия, и вызвавшая против себя в 1793 г. большую коалицию, спаслась от нашествия, благодаря, как известно, не одному патриотическому своему порыву и энергии революционного правительства, не одним своим армиям и способным генералам, но и вследствие того, что старая Европа, вступившая в борьбу с Францией, была дезорганизована. Когда французы вступали в Савойю, в Западную Германию, в Бельгию, они находили поддержку в местном населении, видевшем в них избавителей от старых поли-

тических и социальных порядков: революционная пропаганда составляла силу Франции. С другой стороны, коалиция, выступившая на защиту монархического принципа, состояла из элементов, имевших свои особые виды, не доверявших друг другу или находившихся между собой в соперничестве, готовых при удобном случае принести в жертву принцип, ради которого составила коалиция, тем или другим своим интересам. Далее от французских дел Европа, а, в частности, Австрия и Пруссия, начавшие войну, отвлекались делами польскими, т. е. обе державы опасались все свои силы двинуть на запад, чтобы не потерять на востоке своей доли в добыче: припомним, что в 1788 г. и в Польше началась новая эпоха (четырёхлетний сейм), что в 1791 г. произошла революция 3 мая, направленная против России, что в 1792 г. Россия вела войну с Речью Посполитой, что в 1793 г. совершился второй раздел Польши, что в 1794 г. вспыхнуло восстание Костюшки, что в 1795 г. остаток Речи Посполитой и совсем поделили между собой Россия, Австрия и Пруссия.

Уже было указано на то, что осенью 1793 г. Франция освободилась от опасности внешнего нашествия. Австрия и Пруссия, боявшиеся, что Россия одна захватит остаток Польши, готовы были даже вступить в переговоры с Робеспьером, если бы ему удалось организовать прочное правительство, тем более, что Франция снова перешла в наступление и вторично завоевала Бельгию, отнятую у нее после первого завоевания, овладела всем левым берегом Рейна от Голландии до Эльзаса, за чем последовало занятие и самой Голландии (1795), которая, приняв «Декларацию прав человека и гражданина», организовалась в Батавскую республику и заключила с Францией союз, а альпийская армия французов готовилась уже к вступлению в Италию. В том же самом году Пруссия заключила с Францией мир в Базеле, уступив республике свои владения на левом берегу Рейна. Так как от коалиции отстали еще Тоскана и Испания, то она теперь начала расстраиваться, и Франция вышла из этой борьбы со значительным увеличением своей территории и приобретением союзницы в лице Батавской республики. В 1796 и 1797 гг. французские армии переходили за Рейн, достигали Дуная, собирались даже идти на Вену. В то же время генерал Бонапарт перешел через Альпы (апрель 1796 г.) и заставил сардинского короля (май) уступить Франции Ниццу и Савойю и позволить ей занять некоторые из своих крепостей, потом занял Ломбардию (май), откинув австрийскую армию в Тироль, и заставил герцогов Пармы и Модены, самого папу, а также венецианский и генуэзский сенаты жить в мире с Францией и заплатить ей деньги. Папа, кроме того, должен был уступить французской республике Авиньон и отказаться от Болоньи, Феррары, Анконы и всей Романьи, которые были присоединены к Ломбардии, превратившейся в республику Цизальпинскую (1797). Так как путь в Вену для генерала Бонапарта был открыт, то и Австрия запросила мира, который был ей дан по Леобенскому договору: Австрия отказалась в

пользу Франции от Бельгии и владений на левом берегу Рейна и потеряла Ломбардию. В аристократических Венеции и Генуе произошли вместе с тем демократические революции. Первая из этих республик перестала существовать, разделенная между Австрией и Цизальпинской республикой (по Кампо-Формийскому миру), причем Франции достались Ионические острова, а Генуя превратилась в демократическую республику Лигурийскую (1797). Эти успехи Франции создавали ей вообще союзников среди народов, недовольных своим положением: ирландцы просили присылки флота, чтобы освободиться от Англии, поляки шли во французскую службу, немцы в Майнце, Кельне, Трире и Кобленце делали попытку организовать в республику; в Швейцарии подготавливалось восстание демократических кантонов против аристократического правления; в Пьемонте, в Риме, в Неаполе среднее сословие тоже собиралось низвергнуть свои правительства. Франция вмешалась скоро во внутренние смуты папской столицы, и ее населением при помощи генерала Бертье была провозглашена республика Римская (15 февраля 1797 г.), причем папа Пий VI был увезен сначала в Пизу, потом в Валанс (в Дофинэ). Затем последовало подобное же вмешательство в Швейцарию, которая обратилась в демократическую и единую и нераздельную республику Гельветическую (12 апреля 1798 г.). Пока Бонапарт отправился в египетскую экспедицию (для борьбы с Англией на пути в Индию), против Франции составила новая коалиция, к которой примкнули Россия, Турция, Неаполь и Сардиния. Временные успехи неаполитанских войск сменились полным поражением, и Неаполь превратился в республику Партенопейскую (23 января 1799 г.). *Таким образом, Франция в короткое время создала или преобразовала несколько республик:* Батавскую, Гельветическую, Цизальпинскую, Лигурийскую, Римскую, Партенопейскую. Только победы Суворова вырвали из рук французов Италию, что отразилось на общественном мнении Франции крайне неблагоприятно по отношению к директории. Итальянским поражениям противопоставляли победы Бонапарта в Египте и Сирии, хотя победы были еще одержаны и в Швейцарии, и в Голландии, которых коалиции не удалось отторгнуть от Франции.

Идея революционной пропаганды, как известно, принадлежала жиронодистам. В 1791 г. учредительное собрание торжественно отказалось от завоевательных войн и от покушений на свободу других народов, а Конвент декретом 19 ноября 1792 г. объявил, что Франция будет оказывать братскую помощь всем народам, которые захотят добиться свободы. Война, которую начала в этом году Франция, и получила характер революционной пропаганды прав человека и гражданина. Когда, однако, Франции пришлось защищать собственные границы, она временно отказалась от пропаганды, и конституция 1793 г., объявив, что Франция есть друг и естественный союзник свободных народов, прибавляла, что ни она не будет

вмешиваться в чужие дела, ни сама не допустит вмешательства в свои. Директория возвратилась к политике пропаганды, окружив Францию целым рядом новых республик. Кроме того, в это время Франция расширила свою собственную территорию до «естественных границ» старой Галлии (Рейн и Альпы), причем, однако, считала в некоторых случаях нужным сделать это лишь с согласия жителей присоединяемых стран по примеру народного голосования авиньонцев в 1791 г. Высокие принципы национальной независимости, невмешательства в чужие дела, братства народов, собственного согласия занятых стран на присоединение уступили с течением времени старой политике, и в эпоху директории начались страшные реквизиции и военные контрибуции, которые так широко были развиты уже генералом Бонапартом, превратившим революционную пропаганду для нации в войну ради завоеваний и европейской гегемонии, а для армии — в войну ради славы и добычи.

Внутреннее состояние Франции далеко не соответствовало внешнему блеску ее завоеваний в период с 1795 по 1799 г. В конституции III года были немаловажные недостатки, заключавшиеся в том, что она не давала никакого легального исхода на случай конфликта конституционных властей. Результатом этого были нарушения конституции, дважды совершенные директорией против советов и один раз советом против директории, причем при первом и третьем случаях и внутри директории происходили раздоры, а кроме того, и само падение конституции (18 брюмера) сделалось возможным лишь благодаря заговору двух директоров против своих товарищей и против обоих советов.

В законодательных палатах в силу закона, о котором было сказано в своем месте, две трети членов были из членов Конвента, именно из бывших жирондистов и более умеренных монтаньяров, одинаково не желавших возвращения террора, большей частью подававших голоса за казнь Людовика XVI и, кроме того, сделавших приобретения при распродаже национальных имуществ. Зато между остальной третью членов было некоторое количество роялистов или конституционных монархистов, которые, однако, все-таки были слишком немногочисленны для того, чтобы оказывать какое-либо влияние на дела. Между тем начиналось повсеместное успокоение страстей и, между прочим, страстей религиозных благодаря свободе культов, а также началось оживление сельского хозяйства, промышленности и торговли. Вместе с ослаблением прежней энергии в представителях новой Франции как бы воскресала Франция «старого порядка», возвращались эмигранты и неприсяжные священники, распространявшие манифесты «Людовика XVIII», пропагандировавшие с местными роялистами, агитировавшие на выборах. В 1797 г. на выборах прошло даже около 250 роялистов, которые тотчас же открыли свой клуб (Clichy) и получили вес в советах, а один из них (Бартеlemi) занял место вышедшего из директории

по жребию Летурнера, так что встревоженные конституционные монархисты сблизились с республиканцами и основали общий клуб (Salm). В 1797 г. в советах было уже роялистическое большинство, которое предприняло ряд мер, явно клонившихся к подготовке реставрации, и, между прочим, стояло в самой резкой оппозиции к директории, имея даже в ней за себя сторонника роялистов Бартелеми и шедшего с ним вместе Карно, еще не считая двух министров (министра военного и внутренних дел и министра полиции). Директор Баррас дал знать об опасности положения генералам Гошу (в западной армии) и Бонапарту, находившемуся в Италии. Завоеватель Италии написал энергичное письмо директорам, а, помимо того, и итальянская армия послала директории адрес с угрозами роялистам. С обеих сторон готовились к борьбе. Некоторые роялисты предлагали отложить дело до выборов 1798 г., но наиболее нетерпеливые хотели действовать без промедления. Директория решилась тогда на весьма крутую меру. Присланный Бонапартом генерал Ожеро (Augereau) арестовал главных роялистических депутатов; директория созвала республиканское меньшинство обоих советов, которое по предложению правительства санкционировало уничтожение выборов в 53 департаментах, введение чрезвычайных судов для подавления роялистических восстаний («белого террора»), ссылку 42 членов совета пятисот и 12 старейших, а с ними и двух директоров, равно как редакторов монархических газет, с чем вместе отменялась на год свобода печати, возобновлялись прежние суровые законы против эмигрантов и неприсяжных священников и т. п. Этот переворот, известный под названием 18 фрюктидора, нанес удар возрождению роялизма, находившегося в сношениях с эмиграцией и коалицией, но вместе с этим усилил противоположную партию крайних «патриотов», что вызвало со стороны директории предложение советам кассировать и часть выборов 1798 г. и заменить их другими: этот новый переворот получил название 22 флореаля (11 мая). Умеренные республиканцы снова получили тогда перевес. Но оба совета были не особенно довольны директорией и помогли двум директорам (Баррасу и Сизесу) устранить трех других, заменив их новыми (Роже-Дюко, Гойе и Муленом). Этот новый переворот известен под названием 30 прериала (18 июля 1799 г.). Все это указывало на крайнюю ненормальность тогдашней политической жизни. Правительство само же нарушало конституцию и, кроме того, принимало экстренные меры, грозившие возвращением террора. Между прочим, конституция III года сильно ограничивала право публичных собраний, а термидорский закон V года стремился и совсем их запретить. Свобода печати, провозглашенная конституцией, также стеснялась. Уже закон 27 жерминаля (16 апреля 1796 г.), направленный против роялистов и якобинцев, прямо грозил смертной казнью или ссылкой за предложение восстановить королевскую власть или конституцию 1793 г. Так как присяжные оправдывали журналистов, обвинявшихся по этому закону, то

правительство вступило прямо на путь административных мер. 18 фрюктидора из 70 парижских газет было запрещено 54, а их издатели и редакторы были сосланы, и на целый год периодическая пресса была отдана под полицейский надзор. Дело на том, однако, не остановилось, и за уничтожением сразу более, чем пятидесяти газет, последовали новые распоряжения такого же рода. Советы «пятисот» и «старейшин» давали согласие на подобные меры и, между прочим, вотивовали закон, устанавливавший штемпельный налог с каждого номера газет (19 фрюктидора), но не хотели издать общего закона о печати. Со своей стороны полиция разгоняла палочными ударами разносчиков газет, сколько-нибудь не нравившихся директории. Большей свободой пользовался при директории неприсяжный культ. Любопытно, что даже при роялистическом составе обоих советов в них господствовало еще вольтеррианское настроение относительно религии: в 1797 г. совет «пятисот» отверг, например, предложение одного депутата разрешить снова колокольный звон. Интересна также и еще раз сделанная попытка установления гражданской религии в духе деизма Руссо: в 1792 г. возникла секта «теофилантропов» (или теоандрофилов), к которой относился благосклонно один из директоров (Ларевейльер-Лепо), допустивший их отправлять свой культ Верховного Существа в соборе Парижской Богородицы вместе с католическим богослужением. После фрюктидора, впрочем, гонения на духовных усилились, и всякий священник мог быть по усмотрению правительства отправлен в ссылку. Население, однако, все более и более оставляло присяжных священников и возвращалось к прежнему культу. Вообще господствовавшему тогда официально направлению более приходилось бороться с реакцией, чем с продолжением революции. Если, однако, боязнь правительства перед повторением 13 вандемьера заставила его решиться на 18 фрюктидора и также при помощи военной силы, то директории грозило повторение — в новой только форме — и жерминаля, когда парижский пролетариат требовал «хлеба и конституции 1793 г.», равным образом вызвавшее со стороны директории экстренные меры: это был так называемый «заговор равных» (*conjuratiō des égaux*), во главе которого стоял Гракх Бабеф¹.

В истории коммунизма имя «Гракха» (собственно Франсуа-Ноэля) Бабефа и «бабувизма» получило весьма громкую известность. Бабеф принадлежал к числу теоретиков коммунизма, проповедовавших свои воззрения в прессе: у него был свой орган «*Le tribun du peuple*»², а кроме того, он со своими сторонниками устроил особый клуб (*Club de Panthéon* или *des égaux*). Движение бабувистов имело связь с якобинизмом, ибо «равные» хотели прежде всего (как и жерминальские инсургенты) восстановления конституции

¹ Кроме общих трудов по истории революции и по истории эпохи, а также по истории коммунизма, см.: *Fleury Ed.* Biographie de Baboeuf; *Buonarotti Ph.* Gracchus Baboeuf et la conjuration des égaux; *Advielles V.* Histoire de Gracchus Baboeuf et du Babouvisme.

² «Трибун народа» (фр.). — *Прим. ред.*

1793 г. и объявили себя последователями Робеспьера. Директория закрыла их клуб, и тогда «равные» начали тайную агитацию, чтобы подготовить восстание, на вербовав в короткое время до 17 тысяч сторонников. Некоторые из бывших террористов организовали тогда же «инсurreкционный комитет общественного спасения», который начал было пропаганду и в армии. Заговор был, однако, открыт, и известие о нем произвело сильный переполох среди буржуазии, т. к. Бабефу приписано было намерение произвести раздел земель. В сущности, план не был коммунистическим в строгом смысле, и «аграрный закон» Бабефа стоял даже в противоречии с его теорией об обобщении имуществ: так сказать, практической подкладкой заговора было недовольство народа тем, что на его долю осталось слишком мало из распроданных национальных имуществ. Бабеф поплатился головой (1796) за свой заговор, который заставил буржуазию начать еще подозрительнее относиться к якобинизму: между прочим, страх перед его возвращением был одним из условий, облегчивших Наполеону Бонапарту захват власти в свои руки.

Вообще после 9 термидора *началась во Франции буржуазная реакция против революции*, подготовившая наступление режима консульства и империи, но с наибольшей силой проявившаяся именно в первые годы XIX в., когда крепкая власть первого консула обеспечила за буржуазией ее приобретения от всякой опасности и со стороны народа, и со стороны привилегированных. Поколение, совершившее революцию 1789 г., сходило со сцены, а выступало на сцену новое поколение в лице так называемой «jeunesse dorée»¹, которая тотчас же заявила себя в общественной жизни после падения Робеспьера, между прочим, своим антиякобинским настроением. В то время как сверстники этой молодежи сражались на разных театрах тогдашней грандиозной борьбы, в Париже устраивались «балы жертв», на которых танцевали в трауре и могли присутствовать только лица, потерявшие кого-либо из родственников во время террора: на этих же балах принято было кланяться быстрым движением головы, как бы падающей под ударом гильотины.

Можно было бы собрать массу фактов, свидетельствующих об этой реакции против якобинизма, под которой таилось начало реакции против самой революции среди общественных классов, принимавших участие в движении и даже наиболее от него выигравших, таились зародыши реакции против всего XVIII в., проявившейся с наибольшей силой после падения Наполеона. В нижеследующем будет собрано несколько данных для характеристики общественного настроения во Франции во второй половине девяностых годов, т. е. после падения Робеспьера.

Вскоре после 9 термидора была составлена и сделалась весьма популярной в некоторых кругах общества новая песня, которой многие не прочь

¹ Золотая молодежь (фр.). — Прим. ред.

были заменить «Марсельезу». Называлась она «Пробуждение народа» («Reveil du peuple») и заключала в себе, например, такие слова, направленные против якобинцев: «Народ французский! Народ братьев! Неужели ты можешь смотреть, не содрагаясь от ужаса, как преступление поднимает знамя резни и террора? Потерпишь ли ты, чтобы лютая орда убийц и разбойников оскверняла своим свирепым дыханием землю живых людей?... Да, мы клянемся на вашей могиле именем нашей несчастной страны, что устроим одну гекатомбу из этих ужасных людоедов!» Особые надежды возлагала умеренная партия на молодое поколение. Один из деятелей буржуазной реакции Фрерон написал, например, такое воззвание к французской молодежи: «Доколе те, которые обладают знаниями и богатствами, будут довольствоваться тем, чтобы оглашать воздух одними бесполезными жалобами? Доколе будут они свободе и общественной безопасности платить дань напрасными вздохами, да жалостливыми слезами только? Или вы годны лишь на то, чтобы наслаждаться удовольствиями жизни, предаваться изнеженности, говорить только о достоинствах актеров и поваров, о преимуществах такого-то певца, такого-то портного? Или для вас тяжело оружие?... Неужели вы позволите перебить себя, как баранов? Неужели вы допустите, чтобы удавили ваших отцов, ваших жен, ваших детей? Нет, вы не стерпите, чтобы восторжествовала ненавистная партия! Вы закрыли клуб якобинцев. Вы сделаете больше: вы должны их уничтожить!» На почве этой реакции умеренная партия, поддерживаемая буржуазией, готова была даже соединиться с роялистами, которые казались поговорчивее. Причину этого явления хорошо вообще объясняет нам Бенжамен Констан в сочинении своем «Des réactions politiques» (1797). «Французская революция, — говорит он, — разрушив сначала привилегии, направилась затем против собственности и этим самым вышла за пределы господствовавших понятий. Против нее ополчились заинтересованные общественные классы и в своем испуге уже не довольствовались противодействием увлечениям и крайностям; они попятились еще дальше и стали во враждебное отношение ко всему кругу воззрений, связанных с революцией. Такие реакции порождаются естественной склонностью человека распространять свое сожаление на всю обстановку тех предметов, о которых собственно он сожалеет... Напуганные событиями люди предполагают, что для того, чтобы успокоиться и стать на ноги, они должны поднять все то, что в прежнее время их окружало, и даже то, что над ними тяготело: давление сверху считается залогом безопасности. И вот куда ни взглянешь, повсюду воскресают старые предрассудки, которые, казалось, давно были уничтожены. Их поддерживают, приплетая к ним мотивы: обсуждая вопросы законодательства, напоминают увлечения анархии, нападают на известный закон из-за его автора или из-за его даты, обвиняют отвлеченные теории, ссылаясь на злодеяния, которые не имеют с ними ничего общего, кроме единовременности; откапывают давно забытые софизмы в защиту

старинных заблуждений. Скептики и атеисты, в былое время щеголявшие вольнодумством и снискавшие себе некогда популярность своим дерзким отрицанием, ударились теперь в католическую мистику и с азартом проповедуют религиозную нетерпимость». Таков был переворот в общественном настроении. Любопытно познакомиться и с тем, что особенно читалось в это время. Самой популярной газетой сделался «*Journal des Débats*», а в нем печатали, например, такие вещи: «Революционные разбойники были особенно пропитаны моралью и правилами Вольтера: это был их глава, их апостол; они были его министрами, они исполняли самое дорогое и самое пламенное его желание *en écrasant l'infâme*¹. Известно, что все чудовища, которые бесчестили и раздирали Францию, ставили себе в заслугу быть философами и учениками Вольтера». «Под философией XVIII века, — говорится в другом месте, — я разумею все, что ложно в морали, в политике, в законодательстве». Или вот что было сказано в этой же газете об одном тогдашнем писателе: «Во всех пунктах он выбрал точку зрения, противоположную взглядам новейшей философии и, по нашему мнению, это довольно верное средство не ошибиться в заключениях». В другой газете, в «*Меркурии*», которая также была распространена, мы встречаем даже идеализацию старого режима. «В смутные времена в Англии прекращается действие *habeas corpus* и личная свобода преклоняется пред общим интересом². А во Франции, кроме только наших беспокойных времен, разве личная свобода подвергалась какой-либо опасности?» Автор статьи как бы совсем забыл о *lettres de cachet*³. По поводу выхода в свет одного сочинения тот же «*Меркурий*» писал: «Появился эта книжка лет 20 или 30 тому назад, ее автор приобрел бы себе известность: она была бы сожжена по приказанию парламента, о ней говорило бы все общество и к довершению ее успеха автора, пожалуй, засадили бы в Бастилию; теперь подобные воззрения потеряли интерес, общество остается равнодушным к автору и его сочинению». Классический республиканизм стал тоже терять кредит. «Чем более, — писал Вольней, — я изучал древность и ее хваленые государственные формы, тем более я убеждался, что правительство египетских мамелюков и алжирского бея не отличались существенно от спартанского и римского, и что для столь прославленных греков и римлян недостает только имени гуннов и вандалов, чтобы во всем остальном нам их напоминать». Замечательна еще одна сторона в литературе второй половины девяностых годов XVIII в. — поворот к религиозности, за которую хватались теперь, как за политическое средство, полагая, что религия необходима для обуздания народа. Когда некто Дидье издал книгу под заглавием «*Du retour à la religion*», о ней писали в газетах: «Гражданин Дидье

¹ Раздавить гадину (фр.). — Прим. ред.

² Не совсем верное представление о *habeas corpus*. См.: Дайси. Государственное право Англии.

³ Письма с печатью (фр.). — Прим. ред.

рассматривает религию лишь с точки зрения полезности ее для общества». О книге Жоффре «*Du culte public*» тоже писали в газетах таким образом: «Автор увидел, что не в качестве теолога нужно было говорить с нацией мало религиозной, что людям, сильно потрясенным политическими переворотами, нужно было показать, что спокойствие государств и здоровая политика покоятся на религиозных идеях, как на самой твердой опоре».

Буржуазия тем не менее, в конце концов, не могла соединиться с роялистами в прочном союзе, ибо главную силу последних составляли эмигранты. «Общественное мнение, — писал Бенжамен Констан, — представляет себе принцев и эмигрантов как завязанных и непримиримых врагов, от которых, как от Робеспьера, нечего ждать ни свободы, ни безопасности, ни пощады. Ежедневные писания, издающиеся за границей, как нельзя более утвердили этот взгляд в обществе. Нужно было самое громкое опровержение всех этих зажигательных брошюрчиков, всех этих неистовых разрушителей, которые в армии Конде, в кабаках, в клубах говорят так, как не говорил Чингисхан во главе двухсот тысяч своих татар». Таким образом, если буржуазия не соединилась с роялистами, то потому, что за ними стояли люди, проповедовавшие крестовый поход против революции, от которой столько выиграл средний класс. Монлозье, очень видный эмигрант, сам писал, например, по этому поводу: «Нас убеждают, что все проклинают революцию, и я этому верю. Но проклинать революцию и желать восстановления «старого порядка» вещей — две вещи разные. Все, чего желает Франция — это сохранить теперешние социальные отношения и приобрести покой. Никто не желает потерять плодов своих способностей и протекших событий. Генералы не хотят снова сделаться солдатами, судьи — приставами, мэры и президенты — простыми земледельцами и ремесленниками, покупщики наших имений не хотят их возвращения».

Замечательно, кроме того, наступление какой-то апатии к государственным делам в тех общественных слоях, которые, казалось, более всего участвовали в революции. «Наши неудачи, — говорится в одном современном свидетельстве, — и наши успехи не производят ни радости, ни беспокойства. Словно, читая историю наших битв, читают историю другого народа. Внутренние перемены также не производят никакого возбуждения. Из любопытства спрашивают друг друга, отвечают без интереса, выслушивают безучастно». Директории из провинций присылали такие донесения: «Наши богатые земледельцы, которые более всего выиграли от революции, оказываются самыми заклятыми врагами ее форм; если какой-либо гражданин, который от них зависит, хотя бы в какой-либо малости станет называть их *citoyen*¹, его тотчас же выгоняют из дома... Это позор целого класса, который один обогатился вследствие революции и ничего не потерял; республика не

¹ Гражданин (фр.). — Прим. ред.

должна была бы ожидать, что ее избалованные дети не захотят ее знать». «Деревенскому жителю живется хорошо. Он сделался себялюбив и не хочет принимать участия в общественных делах. Напротив, он смотрит на правительство, как на своего врага. Всеобщее недовольство, принявшее вид отчаяния, возбуждает и всеобщее раскаяние, что трон низвергнут». Городскому пролетариату приписывались такие слова: «Французы созданы не для республики. Стоило ли отправить одного короля, чтобы вместо него посадить пятерых? Нам нужен король! Лучше уж король, чем помирать с голода». Всеобщее утомление и разочарование вообще более всего характеризуют это общественное настроение второй половины девяностых годов. Особенно замечательно в этом отношении письмо Порталиса к Малле дю Пану¹, написанное за несколько недель до переворота 18 брюмера. «Нация слишком утомлена, чтобы дать себе самой государя; освободитель Франции должен идти с готовым планом, который в первое же мгновение был бы подходящим к усталости, в которой находится масса, потому что во второе мгновение тотчас выдвигаются на первый план честолюбцы». Такой человек «с готовым планом» и нашелся. Вот что писала позднее г-жа Сталь, дочь Неккера, в своих «*Considérations sur la révolution française*»: «Как раз 18 брюмера я возвращалась из Швейцарии в Париж, и когда я в нескольких милях от города меняла лошадей, мне сказали, что только что приехал директор Баррас в свое имение Гробуа, сопровождаемый жандармами. Почтари рассказывали новости дня, которым много жизни придавал народный способ изложения. В первый раз со времени революции на устах всех было собственное имя. До того времени говорили: учредительное собрание сделало то-то, народ — то-то, Конвент — то-то, теперь только говорили о том человеке, который должен был занять место всех, лишив род человеческий его имени, захватив всю славу для себя одного и мешая приобретать ее всякому живому существу». Здесь речь идет, конечно, о Наполеоне, но самый факт, на который указывает г-жа Сталь, стал возможным лишь благодаря общей реакции, апатии, утомлению и разочарованию.

Итак, человек с готовым планом нашелся и привел свой план в исполнение. В начале октября 1799 г., оставив свою армию в Египте, генерал Бонапарт по зову одного из своих братьев вернулся во Францию. За несколько месяцев перед этим переворот 30 прериаля доставил место в директории Сиезу, у которого был тоже свой план новой конституции, и Роже-Дюко, большому приятелю семьи Бонапартов. Заговор между ними быстро созрел и был приведен в исполнение. 18 брюмера (9 ноября) под предлогом будто бы открытого якобинского заговора совет старейшин вотировал перенесение заседаний из Сен-Клу и назначение Бонапарта комендантом Парижа.

¹ Порталис — политический деятель эпохи (1743 — 1807), Малле дю Пан — консервативный публицист.

Сиэс и Роже-Дюко подали в отставку, у Барраса отставку вынудили, Гойе и Мулена взяли под стражу. На другой день, 19 брюмера, над советом «пяти-сот» в Сен-Клу было совершено прямое насилие — изгнание солдатами народных представителей из зала заседания, после чего для управления Францией было образовано временное консульство из Бонапарта, Сиэса и Роже-Дюко и решено было выработать для страны новую конституцию (VIII года, как она потом называлась).

18 брюмера начался новый период не только в истории Франции, но и в истории всей Европы, которым и открывается XIX в., подходящий теперь уже к концу¹. Гражданин Бонапарт, первый консул, и Наполеон I, император французов, в одно и то же время и для современников, и для потомства представлялся то как первый из контрреволюционеров, то, наоборот, как продолжатель революции, причем и тот, и другой взгляд на него возникал и у врагов, и у сторонников революции. Каждая из таких, по-видимому, противоречивых точек зрения имеет свое основание: если видеть в революции главным образом установление политической свободы, правление Наполеона было контрреволюцией, но если в ней ставить на главное место разрушение старого католико-феодального строя, то Наполеон действительно продолжал революцию, распространял ее на другие страны Западной Европы и до известной степени возобновлял в них политику абсолютных правительств, действовавших в духе идей XVIII в. В империи Наполеона I воплотилась та же идея всемогущего, всепоглощающего и всеуравнивающего государства, которая была представлена одинаково и абсолютными монархиями второй половины XVIII в., и якобинской диктатурой 1793 г., — идея, перед которой должны были склониться и историческое право старого католико-феодального общества, сметенного во Франции бурей 1789 г., и естественное право личности, провозглашенное знаменитой «Декларацией прав человека и гражданина». Если, однако, Французская революция и оказала непосредственное влияние на другие страны Западной Европы, то главным образом именно благодаря тем переворотам, которые в ней произвел сам Наполеон. Его эпоха охватывает 15 лет (1799—1814), и после его падения немедленно открывается борьба, в которой против империи Наполеона, против Французской революции, против «просвещенного абсолютизма», против философии XVIII в. приняли участие представители католико-феодального строя. На этом мы и можем теперь остановиться в истории XVIII в. как эпохи, имеющей определенное историческое содержание, а потому и составляющей нечто цельное в истории культурно-социального развития народов Западной Европы.

¹ Настоящая книга вышла в свет в 1893 г. — *Прим. ред.*

Содержание

Вступление.	5
I. Изучение истории XVIII в.	5
Старые государственные и общественные порядки.	19
II. Сущность «старых порядков»	21
III. Период королевского абсолютизма	33
IV. Остатки феодальных учреждений	46
V. Английский парламент в XVIII в.	56
VI. Личная и общественная свобода в XVIII в.	71
VII. Аристократия и буржуазия в XVIII в.	81
VIII. Крестьянские отношения в XVIII в.	93
IX. Разложение цеховой организации	110
X. Связь «старых порядков» с внешней политикой	121
Новые культурные и общественные идеи	133
XI. Происхождение и общий характер Просвещения XVIII в.	135
XII. Жизнь и идеи Вольтера	149
XIII. Монтескье и его политическая теория	167
XIV. Руссо, его характер и идеи	182
XV. Дидро и энциклопедисты	202
XVI. Политические учения и общественные идеи XVIII в.	219
XVII. Отношение публицистики XVIII в. к народу	235
XVIII. Просвещение XVIII в. вне Франции	247
«Просвещенный абсолютизм»	261
XIX. Общий характер «просвещенного абсолютизма»	263
XX. Страны «просвещенного абсолютизма» и его представители	273
XXI. Фридрих II и прусская политика	284
XXII. Воспитание и характер Фридриха II	294
XXIII. Политические идеи и правительственная деятельность Фридриха II	305
XXIV. Мария-Терезия и Иосиф II	318
XXV. «Иозефинизм» и консервативная оппозиция	330
XXVI. Реформы в области администрации, финансов, суда и умственной жизни	339
XXVII. Государственная власть и католическая церковь во второй половине XVIII в.	347
XXVIII. Реформы в области сословных отношений и крестьянского быта	362

Французская революция.	373
XXIX. Местное и европейское значение революции.	374
XXX. Царствование Людовика XV.	381
XXXI. Тюрго и неудача его реформы	395
XXXII. Франция накануне революции.	411
XXXIII. Созыв генеральных штатов и указы 1789 г.	429
XXXIV. Первые месяцы революции.	445
XXXV. Монархия и нация в 1789–1791 гг.	462
XXXVI. Принципы индивидуальной свободы и народовластия в законодательстве конституанты	481
XXXVII. Преобразование общественного строя Франции во время революции	498
XXXVIII. Переход Франции к республике	517
XXXIX. Жирондисты и якобинцы	535
XL. Борьба партий в Конвенте и террор	550
XLI. Законодательство Конвента	570
XLII. Внешние победы и внутреннее бессилие Франции в эпоху директории	589

Научное издание

Кареев Николай Иванович

**История Западной Европы в Новое время.
Развитие культурных и социальных отношений.
Восемнадцатый век и Французская революция**

Редактор: Дамте Д.С.,
корректор: Башлай И.М.,
группа допечатной подготовки изданий:
Амитон Е.Л.,
Зеленцов П.О.,
Исакова Т.В.,
Коновалова Т.Ю.,
Крылов К.А.

Подписано в печать 20.10.2015. Формат 60 × 90/16.
Бумага офсетная. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 38,0. Тираж 1000 экз. Заказ №

Издательство «Академический проект»
(общество с ограниченной ответственностью),
адрес: 111399, г. Москва, ул. Мартеновская, 3;
сертификат соответствия
№ РОСС RU. AE51. Н 16070 от 13.03.2012;
орган по сертификации РОСС RU.0001.11AE51
ООО «Профи-сертификат».

«Гаудеамус»
(общество с ограниченной ответственностью),
адрес: 107352, г. Москва, ул. Просторная, 9, офис 34.

Отпечатано в областной типографии «Печатный двор»
(открытое акционерное общество),
адрес: 432049, г. Ульяновск, ул. Пушкарёва, 27.

**По вопросам приобретения книги
просим обращаться в издательство:**

телефоны: +7 495 305 3702, +7 495 305 6092,
факс: +7 495 305 6088,
e-mail: info@aproject.ru, zakaz@aproject.ru,
интернет-магазин: www.academ-pro.ru.

Издательство

«Академический проект»

предлагает

книги по философии,
психологии,
истории,
культурологии,
геополитике,
а также учебную
и справочную литературу
по гуманитарным дисциплинам
для вузов, лицеев, колледжей.

Вы можете приобрести книги:
купив их в нашем
интернет-магазине
www.academ-pro.ru,
заказав их по телефону
+7 495 305 3702,
по факсу
+7 495 305 6088
или по электронной почте
info@aproject.ru,
zakaz@aproject.ru.

Просим Вас быть внимательными и указывать
полный почтовый адрес и телефон /факс для обратной связи.
С каждым выполненным заказом Вы будете получать
информацию о новых книгах, выпущенных в свет
нашим издательством.

ЖДЕМ ВАШИХ ЗАКАЗОВ!

Издательство «Академический проект»,
адрес: 111399, Москва, ул. Мартеновская, 3,
телефоны: +7 495 305 3702, +7 495 305 6092,
e-mail: **info@aproject.ru**.

Книги издательства

«Академический проект»

Кареев Н.И.

**История Западной Европы в Новое время.
Развитие культурных и социальных отношений.
Переход от Средних веков к Новому времени**

(560 с.)

Книга «Переход от Средних веков к Новому времени» может рассматриваться как своего рода большое введение, призванное обосновать целостность западноевропейской истории. Кареев пишет: «Средневековый католицизм и феодализм несут на себе следы обособления, новая история принимает все более и более универсальный характер, и в этом последнем обстоятельстве заключается право новой западноевропейской истории на особое внимание, в силу чего и особый интерес получает и западное Средневековье, подготовившее романо-германские народы к той поистине всемирно-исторической роли, какую играют они сами и к какой призван всякий народ, усваивающий западную цивилизацию и участвующий в ее переработке в цивилизацию общеевропейскую и даже общечеловеческую».

Книги издательства

«Академический проект»

Кареев Н.И.

История Западной Европы в Новое время.

Развитие культурных и социальных отношений.

Реформация и политическая жизнь в XVI и XVII вв.

(560 с.)

Книга «Реформация и политическая жизнь в XVI и XVII вв.» посвящена истории Европы в XVI–XVII вв. По словам самого Кареева, это был «особый период, вполне заслуживающий название реформационного, т. к. основным его фактом является религиозная Реформация со всеми непосредственно примыкающими к ней событиями, начиная той попыткой политической и социальной революции, которую сделали в Германии рыцарское и крестьянское сословия, и кончая Вестфальским миром, прекратившим последнюю вооруженную борьбу католицизма с Реформацией, с одной стороны, а с другой — первой английской революцией, бывшей настолько же явлением религиозным, насколько политическим и социальным».

Книги издательства

«Академический проект»

Кареев Н.И.

История Западной Европы в Новое время.
Развитие культурных и социальных отношений.
XIX в. Консульство, Империя и Реставрация

(600 с.)

Книга «XIX в. Консульство, Империя и Реставрация» охватывает события первых десятилетий XIX столетия. Автор подчеркивает те глубокие изменения, которые произвела в европейском общественном сознании Французская революция. Кареев говорит: «Подобно Реформации, начавшейся в Германии и распространившейся оттуда на всю Западную Европу, и революция 1789 г., бывшая сначала... чисто местным событием в качестве политического и социального переворота во французской монархии, приобрела весьма скоро универсальное значение и по своему влиянию на остальную Европу, и по той еще причине, что сама революция эта была лишь одним из проявлений важного исторического процесса, который совершался вообще в культурной и социальной жизни романских и германских народов».